



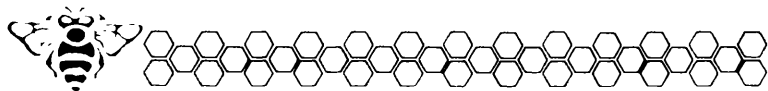
ЯЗЫК И КУЛЬТУРА ФАКТЫ И ЦЕННОСТИ

К 70-летию
Юрия Сергеевича Степанова



STUDIA PHILOLOGICA





РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА

ФАКТЫ И ЦЕННОСТИ

К 70-летию
Юрия Сергеевича Степанова

Ответственные редакторы:
Е. С. Кубрякова, Т. Е. Янко



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Москва
2001

**ББК 71я2
Я 41**

Издание осуществлено при поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ)
проект 01-04-18065

Я 41 **Язык и культура: Факты и ценности: К 70-летию Юрия
Сергеевича Степанова / Отв. ред. Е. С. Кубрякова, Т. Е. Ян-
ко. — М.: Языки славянской культуры, 2001. — 600 с.**

ISBN 5-94457-015-6

Сборник включает статьи на темы, поднятые в научном творчестве лингвиста, философа языка и культуролога академика Ю. С. Степанова. Это работы по теоретической лингвистике, индоевропейскому сравнительно-историческому языкознанию, семиотике, философии, философии языка, искусствознанию и литературоведению. Особое внимание уделяется греко-индоиранскому языкознанию, вопросам литовского языка, интерпретации текста, семантической типологии, литературе и искусству (Гоголь, Достоевский, Лопе де Вега, Пруст, Веласкес, Суриков). Книга адресуется широкому кругу семиологов, лингвистов, философов, литературоведов и искусствоведов.

ББК 71я2

Outside Russia, apart from the Publishing House itself (fax: 095 246-20-20 c/o M153, E-mail: koshelev.ad@mtu-net.ru), the Danish bookseller G·E·C GAD (fax: 45 86 20 9102, E-mail: slavic@gad.dk) has exclusive rights for sales on this book.

Право на продажу этой книги за пределами России, кроме издательства «Языки славянской культуры», имеет только датская книготорговая фирма G·E·C GAD.

ISBN 5-94457-015-6

© Авторы, 2001

ISBN 5-94457-015-6



9 785944 570154 >

Содержание

<i>Н. Д. Арутюнова, Е. С. Кубрякова. Юрий Сергеевич Степанов.</i> <i>Очерк научной деятельности</i>	9

I. Индоевропейское сравнительно-историческое языкознание	
<i>F. Bader (Paris). Traversées</i>	35
<i>Henry M. Hoenigswald (University of Pennsylvania). Osthoff and</i> <i>Homer</i>	55
<i>Winfred P. Lehmann (The University of Texas). Requirements in current</i> <i>Indo-European studies</i>	61
<i>Carol F. Justus (University of Texas at Austin). English 'have : heave',</i> <i>an Archaic Paradigm</i>	69
<i>В. П. Калыгин. Роль просодических признаков в истории кельтских</i> <i>языков</i>	91
<i>В. А. Кочергина. Префиксальные глаголы санскрита</i>	105
<i>Б. Б. Ходорковская. Имперфект конъюнктива в латинском языке.</i> <i>К вопросу о происхождении</i>	111
<i>К. Г. Красухин. Некоторые особенности микенского синтаксиса . .</i>	121
<i>Д. И. Эдельман. К реконструкции праиранского предложения . . .</i>	137

II. Семиотика, философия языка, философия	
<i>Себастьян Шаумян (Йельский университет, США). О понятии</i> <i>языкового знака</i>	149
<i>Р. М. Фрумкина. Константы культуры — продолжение темы</i>	167
<i>Предраг Пипер (Белград). В трехмерном пространстве языкозна-</i> <i>ния (и за его пределами)</i>	179
<i>Ю. В. Мониц. На стыке ритуала и языка: комплексная мотивация</i> <i>в семантической эволюции</i>	191
<i>Г. Е. Крейдлин. Риторика позы</i>	207
<i>Вас. Ю. Кузнецов. Философия языка и непрямая референция . . .</i>	217
<i>Т. М. Николаева. Металингвистический иконизм и социолингви-</i> <i>стическая дистрибуция этикетных речевых стереотипов . . .</i>	225
<i>Д. И. Руденко (Харьков). «Новый русский реализм»: в берегах и</i> <i>вне берегов постмодернизма</i>	235

<i>Н. В. Загурская</i> (Харьков). Образ-концепт сверхчеловека в контексте нового реализма	247
<i>М. И. Шапир</i> . Язык этики или этика языка? О деонтологии науки	257
<i>В. В. Ильин</i> . Язык — Понимание — Культура	267
<i>В. И. Постовалова</i> . Имяславие: pro et contra. К проблеме формирования реалистической философии языка в России	273

III. Теоретическая лингвистика

<i>Е. С. Кубрякова</i> . О связях когнитивной науки с семиотикой (определение интерпретанты знака)	283
<i>О. Н. Селиверстова</i> . «Когнитивная» и «концептуальная» лингвистика: их соотношение	293
<i>В. З. Демьянков</i> . Лингвистическая интерпретация текста: универсальные и национальные (идиоэтнические) стратегии	309
<i>М. А. Кронгауз</i> . Семантическая типология: время и пространство	325
<i>Г. А. Золотова</i> . К вопросу о релятивизации времени в тексте	335
<i>Ли Тоан Тханг</i> (Институт языкознания, Вьетнам). Пространственная локализация «верх — низ» во вьетнамском языке	347
<i>Ю. Л. Ворончиков</i> . Тожество и одноименность	363
<i>Т. Е. Янко</i> . Коммуникативная структура повествовательных предложений с препозицией глагола	371
<i>Н. Н. Болдырев</i> . Функционально-семиологический принцип исследования языковых единиц	383
<i>А. В. Вдовиченко</i> . Септуагинта в дискурсивной парадигме описания языка	395
<i>В. Н. Телия</i> . Концептообразующая флуктуация константы культуры «родная земля» в наименовании <i>родина</i>	409

IV. Литовский язык

<i>В. А. Родионов</i> . Литовский язык в школе академика Ю. С. Степанова	421
<i>Зигмас Зинкявичюс</i> (Вильнюс). Когда и как появились первые христианские молитвы на литовском языке?	435
<i>Витаутас Виткаускас</i> . Об изменении форм среднего рода в жемайтских говорах	441
<i>Казимерас Гаршва</i> (Вильнюс). Проблемы двустороннего сопоставления фонологических систем литовского и русского языков	447
<i>Алдона Паулаускене</i> (Вильнюс). Статус местоимений в грамматической системе языка	453
<i>О. Поляков</i> . Просодические универсалии и законы в балто-славянской языковой области	457

V. Культура и искусство

<i>Е. М. Верецагин. Древнейший славяно-русский канон Георгию Храбром: первая публикация</i>	473
<i>Н. И. Балашов. «Непринужденное самостояние» художника: Веласкес</i>	489
<i>В. Силюнас. Космовидение Лопе де Веги и судьба художественных стилей</i>	503
<i>Д. В. Сарабьянов. Суриков: национальные аспекты творчества</i> . . .	515
<i>Н. Д. Арутюнова. Символика уединения и единения в текстах Достоевского</i>	525
<i>С. И. Пискунова. «Мертвые души» и «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (к новой постановке проблемы)</i>	555
<i>Н. Ю. Бокадорова. Опыт описания классического балета как семиотической системы</i>	565
<i>А. Д. Михайлов. Почему Жан Сантей? (Об имени главного героя первого романа Марселя Пруста)</i>	579
<i>В. А. Лукин (г. Орел). «Как-художественный» текст и его структура</i>	585

Н. Д. Арутюнова, Е. С. Кубрякова

Юрий Сергеевич Степанов. Очерк научной деятельности

1. Самое начало

Юрий Сергеевич Степанов (далее мы применяем общепринятые в компьютерный век дружеские сокращения — ЮС) родился 20 июля 1930 г. в Москве. Можно сказать, одновременно в «старой» и «новой» Москве: по линии деда со стороны матери семья была середняцкая купеческая. По линии отца и матери — молодая, революционная, родители — «активисты революции». Район детства — старинная немецкая слобода, с Немецким кладбищем, садом б. Кадетского корпуса, «Головинским садом». В самом прямом смысле слова там ЮС научился в 4 года читать: отец водил его пальцем по надписи на гранитной стеле Петра I, называя буквы: «Труды Миниха моего сдѣлали меня здоровымъ. Я надѣюсь некогда ехать вместе с нимъ водою из Петербурга в Москву и выйти на берегъ в Головинскомъ саду». Мальчику казалось: вот-вот и сам царь, веселый и мальчишеский, — но царь! — выйдет здесь из своей подчонки. . .

«Две Москвы» сопровождали ЮС и в Московском университете, куда он поступил в 1948 г. на филологический факультет (испанское отделение): у него стало два любимых учителя. Один — профессор Дмитрий Евгеньевич М и х а л ь ч и, племянник Марии Николаевны Ермоловой, немолодой уже, всегда спокойный и элегантный в старом московском вкусе, знаток и любитель старой книги; навсегда запомнились ЮС походы Дмитрия Евгеньевича со студентами в отдел редких книг университетской библиотеки, где карточки каталога были составлены на палевом картоне еще в XVIII в. и где Дмитрий Евгеньевич раскрывал перед розовощекими восторженными слушателями пергаментные фолианты Испании, Италии и Франции. Другой — Константин Валерьянович Ц у р и н о в. Молодой, быстрый и желчный, бывший референт недавно закончившегося Нюрнбергского процесса, в семинар которого по средневековой испанской литературе и истории ЮС записался. Константин Валерьянович поручил ему тему «Песнь о Сиде».

В рекомендациях наставника было много Маркса и Энгельса, но много и почти неизвестных тогда у нас современных испанских исследователей: Константин Валерьянович не боялся идти против «закосяченных марксистов». Работа ЮС, по-видимому, удалась, Константин Валерьянович был доволен и выбрал ЮС для первого публичного выступления участников своего семинара. И это был провал. . . ЮС так увлекся темой, что за полтора часа семинарского времени успел изложить только вступление к своей работе. Но это стало для него и первым уроком научной композиции.

Испанский язык не был для ЮС случайным выбором. Еще в 16 лет он получил от отца огромную по тем временам сумму — примерно стоимость пары ботинок — и записался на платные курсы иностранных языков. Все места были уже заняты, оставалась одна вакансия на испанском отделении. Туда ЮС и попал. Среди преподавателей были настоящие испанцы — эмигранты войны в Испании. Язык давался ЮС легко, через полгода он уже бегло говорил по-испански, а весной получил — досрочно — свой первый диплом — переводчика испанского языка.

На факультете учиться было легко и приятно. Прежде всего языки, любимые языки! Латынь ЮС изучал вместе с «классиками», впрочем, за это пришлось побороться: как «неклассика» его допустили только к молчаливому присутствию, но этого было достаточно. Древнегреческим с «классиками» заниматься вообще не разрешили (почему это начальство всегда так опасалось всего неординарного?). И ЮС вместе с милым Ильей Толстым (правнуком великого писателя, впоследствии директором музея Ясной Поляны, так рано ушедшим из жизни) поздно вечером, после занятий на факультете, бегали на бесплатные частные уроки к старику-энтузиасту, не имевшему диплома и «лицензии», — Григорию Ивановичу Полякову. Григорий Иванович проводил уроки — да какие уроки! — восторженные беседы об античных древностях! — в тесной комнатке на Арбате, где нельзя было даже сидя выпрямить ноги, но зато можно было рассматривать и трогать античные статуэтки, амфоры, монеты. . .

Но шедевром уроков были, конечно, занятия испанским языком. Для начинающих, для тех, кто уже знал испанский, нескольких испанских детей и ЮС организовали особую группу с М а р и е й - Л у и с о й Г о н с а л е с. Эта живая, как ртуть, энергичная, красивая в прямом смысле слова женщина, эмигрантка, стала здесь для всех символом самой Испании. Выпускница Мадридского университета начала 30-х годов, ученица Мигеля де Унамуно того периода, она с мужем поселилась в Париже, где открыла небольшую испанскую книжную лавку. У них была замечательная компания (как выражались по-французски, *notre bande* «наша банда», притом не где-нибудь — в Париже!) кинорежиссер Буньюэль, Сальвадор Дали, Пикассо, Луи Арагон

и Эльза Триоле, наездами Маяковский. Дух этой «банды» (в это время не упоминая имен: шла борьба с «космополитами») Мария-Луиса несла студентам. Что касается испанского языка, то она была кладезем испанской речи: классические испанские обороты, народные поговорки и прибаутки (которые, как подозревали студенты, она иной раз сама тут же изобретала — вполне в народном духе), сочные комментарии к текстам и — экспансивная требовательность! К концу курса требования были такие: влетев как вихрь, в аудиторию (фактически, малюсенькую комнатнушку кафедры), Мария-Луиса распахивала наугад том «Дон Кихота» и в бешеном мадридском темпе (в мадридском испанском один из самых быстрых речевых темпов в Европе) вслух читала не останавливаясь минут пять сервантесовский текст, а затем — без передышки и без подготовки — нужно было по-русски точно изложить все содержание прочитанного и особо отметить — на слух — и передать встретившиеся там трудные обороты. ЮС с этим хорошо справлялся. Вот это была школа!

Итак, ЮС закончил филологический факультет с прекрасным знанием испанского и латыни, приличным — французского и английского, «изрядным» — древнегреческого и немецкого и некоторым (слабоватым) — санскрита (его преподавал профессор Михаил Николаевич Петерсон). Диплом — по синтаксису староиспанского языка (в сравнении с латинским, написанный под руководством профессора Рубена Александровича Будагова, был защищен с отличием, и студенты были выпущены. . . — в мир безработных!

Шел 1953 год, между СССР и Европой висел «железный занавес», внутри страны только что прокатилась волна «борьбы с космополитизмом», смыв и без того уже жалкие «ставки», «полставки», «четвертьставки» переводчиков, референтов, преподавателей иностранных языков и литератур. . . ЮС к тому времени уже был женат (тоже на «специалистке по испанскому языку»). Над молодой семьей нависла реальная угроза если не голодания, то житья впроголодь. . .

На помощь пришел Р. А. Будагов, предложив ЮС место у себя в аспирантуре по романской филологии. Административно это место числилось на кафедре общего и сравнительно-исторического языкознания, которой руководил профессор Владимир Андреевич Звегинцев. Работы не было, но деньги у государства были. В тот год в аспирантуре было оставлено 30% выпускников. Хоть ЮС и хотелось не сидеть над книгами, а работать, применить свои знания в жизни, но пришлось согласиться: на стипендию аспиранта можно было как-то существовать. ЮС навсегда сохранил благодарность Рубену Александровичу Будагову — своему первому и официальному научному руководителю, позднее выступив одним из инициаторов — вместе

с Н. Д. Арутюновой — и ответственным редактором юбилейного сборника в его честь («Общее и романское языкознание». Изд. МГУ, 1972).

Ярким событием аспирантуры было следующее. В те годы действовало новшество — помимо диссертации по основной теме (которой у ЮС был синтаксис староспанского и старофранцузского языков и которой и руководил Р. А. Будагов), аспирант должен был написать еще как бы «малую диссертацию» по теме какой-либо смежной науки, так называемый «спецвопрос». По нему назначался особый научный руководитель. Для ЮС была определена тема на стыке языкознания и логики — «Суждение и предложение», а руководителем — знаменитый логик и историк западной философии Павел Сергеевич Попов. Павел Сергеевич, прошедший курс в Гейдельбергском университете, переводчик Гегеля (соч., т. XIV, «Лекции по эстетике»), блестящий знаток немецкого языка, живший как бы в едином пространстве «философия — искусство» (он был братом знаменитой — и гонимой — художницы Любови Поповой; о духовной атмосфере, окружавшей эту семью, см. в кн.: Дмитрий С а р а б ь я н о в. Любовь Попова. М., Галарт, 1994), оказался идеальным наставником для ЮС, «подарком судьбы». Павел Сергеевич открывал перед учеником широчайшие заманчивые дали и одновременно придирчиво копался в мельчайших деталях исследования...

Через три года аспирантура была закончена. Сам ЮС считает, что дальнейший путь ему предрек профессор Николай Семенович П о с е л о в, знаток русского языка и русской философии, почти последний к тому времени, наряду с А. Ф. Лосевым, живой участник знаменитого «Московского психологического общества», разогнанного в 1922 г., в год высылки из России группы ученых на «философских пароходах». ЮС обращался к Николаю Семеновичу за консультациями по русской части своей диссертации. Возвращая текст и несколько опасливо оглянувшись (разговор происходил в коридоре университета), Николай Семенович тихо сказал: «А ведь вы — философ, под покровом лингвистики». . . «Быть под покровом» ощущалось как ключевое слово в языке Николая Семеновича. . .

Аспирантура была закончена, диссертация написана (но еще не защищена), и, несмотря на то, что у ЮС уже был стаж преподавания языкознания на филологическом факультете, — снова безработица! Но на этот раз положение было серьезнее, так как у ЮС уже был маленький ребенок, сын. . .

Выручил случай. Уже года три, а то и четыре, после марта 1953 г., на факультете стали не торопясь «оформлять» несколько человек для стажировки за границей. ЮС был в их числе. После 1956 г. «оформление» оживилось, и вот осенью 1957 г. можно было выезжать — в Париж!

2. Самообразование

- What beautiful hair you have: Does it curl by itself?
- Yes, with some help of others.

O. Wilde

В Париже ЮС поспешил записаться в разные учебные заведения (небольшую сумму на это Посольство СССР предоставляло по условиям стажировки).

В первый же день он записался в Сорбонну на курсы лингвиста профессора Андре Мартинэ (A. Martinet) по баскскому языку, литературоведа профессора Кастекса (Castex) «Тема зла в поэзии Новейшего времени», в Практическую школу высших штудий (Ecole pratique des hautes études) на курсы профессора Ж. (Г. Д.) Гурвича (выходца из России) по современной социологии и профессора Эмиля Бенвениста по методам структурного анализа; в Коллеж де Франс еще на один курс Э. Бенвениста по анализу латинских предлогов и на курс Р. Юнга (R. Huyghe) по искусству (вскоре он вышел отдельной книгой под привлекательным названием «Диалог с видимым миром»); купил абонемент в «Синематеку» на «Все ранние фильмы Чаплина», на лекции с огромными, во всю сцену, диапозитивами по новейшему искусству Франции в помещении театра «Эдуард VII», на выездные экскурсии по средневековым соборам Иль-де-Франса. И, может быть, самое главное — для регулярных ежедневных занятий в Высшую школу устных переводчиков по разряду французско-русского и русско-французского перевода. На этом деньги, отпущенные на учение, кончились. Но начало было положено: европейский ментальный мир открылся!

Не все удержалось в «репертуаре» ЮС. А. Мартинэ, общительный и экспансивный, в красной с синим клетчатой куртке, поразительно необычной для серых тонов Парижа, вечно бежавший, а не шедший по коридору, скорее отпугнул москвича, воспитанного совсем в другой обстановке. Профессор в начале первой же лекции объявил: «Я не знаю баскского языка, так же как не знаете и вы. Но я знаю, как изучать язык! Мы будем делать это вместе» — фактически речь шла о методике дескриптивного анализа, идею которого Мартинэ только что привез из США. У ЮС Мартинэ был «снят с репертуара». На «освободившемся месте» его заменил курс знаменитого старика Гюстава Гийома о глубинных психорациональных основах языка. Гийом читал свои лекции, глядя отсутствующим взглядом куда-то вне аудитории, в «ментальный мир» — говорили студенты, да и вряд ли он замечал студентов, которых было человек 5–6. Одет он был как Виктор Гюго на классических портретах — в просторную бархатную блузу без пояса, спускавшуюся почти до колен, с огромным шелковым шейным платком,

скорее даже бантом под подбородком. . . Студенты единодушно не понимали у него ничего! Но ходили прилежно: здесь ощущалось само присутствие «психосистемного» мира.

Привлекательнее всего оказались для ЮС курсы Э. Бенвениста, на которые можно было попасть, проходя мимо привратника, огромный, тоже полутемный, с массивными колоннами вестибюль Коллеж де Франс, похожий на фойе Большого театра в Москве. (Это было бесплатное учреждение. Требовалось только расписаться в огромной книге у привратника.) Курс Бенвениста по анализу латинских предлогов, несмотря на кажущуюся мелкость темы, был очень значительным. Он, по прямому определению самого лектора, был противопоставлен структурному анализу «глоссематиков» Копенгагенской школы Л. Ельмслева и, как показалось ЮС, также и курсу А. Мартинэ с его дескриптивной методикой. ЮС не пропустил ни одного занятия. Как-то раз профессор Бенвенист, с трудом подняв к глазам привратническую книгу и листая ее, сказал: «Я с удовольствием вижу здесь слушателей из разных стран Европы, и одно из самых регулярных посещений — господина Степанова из Москвы. Буду рад, господин Степанов, видеть вас также у меня дома», — он назвал адрес, день и час. Так завязались добрые отношения ученика и учителя, которого впоследствии ученик отблагодарил, организовав в Москве перевод и издание двух его книг — «Общее языкознание» (М., изд. Прогресс, 1972) и «Словарь индоевропейских социальных терминов» (М., Прогресс-Универс, 1995).

Занятия в школе переводчиков по специальности (хотя и не по экономике) шли так успешно, что к концу первого года — одновременно шел к концу и срок стажировки ЮС — школа предложила ЮС продлить его стажировку еще на год, для завершения полного курса, и оплатить за него стоимость обучения (довольно высокую). Как только об этом узнал в Посольстве СССР тогдашний советник по культуре («культуре»!), он распорядился немедленно отправить ЮС на родину.

3. Самооформление

По возвращении в Москву ЮС был тут же уволен из Московского университета, как говорили — «из-за отсутствия ставок, полуставок и даже четвертьставок для оплаты преподавателей», а точнее — из-за того, что «не вписывался в ансамбль». Пришлось перебиваться переводами, частными уроками и другими случайными заработками. Днем ЮС работал в пяти местах, перебегая с места на место, но зато по ночам и в выходные дни голова была свободна для оформления своих парижских идей и наблюдений.

В распоряжении ЮС была теперь достаточно полная и «лично приобретенная» картина живого французского языка, которым он, по признанию французов, владел как родным, — все «на слуху» и десятки записных книжек с аналитическими записями выражений и ситуаций. Нужно было все это упорядочить и прежде всего найти систему в своем собственном процессе упорядочения. ЮС хорошо усвоил — на примере своего учителя Э. Бенвениста, — что, как тот говорил, систему для своего предмета не следует создавать, ее нужно «распознать» в самом предмете.

Путь американских «дескриптивистов», когда к потоку чужой речи подходят как к первичному, «природному» феномену, где значение ни одного элемента наблюдателю не известно, ЮС отверг (еще во время курса А. Мартинэ по баскскому языку в Сорбонне и позднее, уже после знакомства с работами американцев по языкам американских индейцев). Он принял совсем другой исходный постулат:

(1) Живя в атмосфере культурных языков Европы, мы не можем подходить к ним так же, как американские дескриптивисты к языкам американских индейцев на основании своих постулатов, — здесь исследователь погружен в атмосферу наблюдаемого языка с самого начала, и значения очень многих элементов — слов, грамматических конструкций и целых выражений — ему известны, как известны и типовые ситуации языкового общения, исследователь не может «заткнуть уши» и притвориться перед самим собой, что ему неизвестно ничего — это была бы фальшивая, ложная ситуация с самого начала. Поэтому исходный, 1-й постулат, «суперпостулат» — он может быть назван также «постулатом сохранения экологии» — гласит: «не нарушай естественную ситуацию».

(2) Постулат 2-й, об исходном элементе. Поэтому исходным элементом своего описания языка (в то время это был французский язык) ЮС (и, по его системе, в принципе — любой «описатель») выбирает такое цельное выражение языка, в принципе любое, вовсе не обязательно минимальное, как в дистрибутивной процедуре американских дескриптивистов, про которое «описателю» заранее известно, что оно нечто значит. (А если известно, что именно оно значит, то и это знание учитывается в исходной точке описания.)

(3) Далее на том же основании (известность факта наблюдателю-«описателю») последний выбирает (подбирает) из известного ему запаса выражений другое выражение, которое может заменить собой первое в какой-либо ситуации общения (в каком-либо контексте или тексте); если «описатель» сам не может подобрать такую ситуацию или такой контекст, допускается спросить у носителя языка (информанта); в отличие от процедуры дескриптивистов здесь вовсе не предполагается, что «описатель» и информант не

понимают друг друга (см. 1-й постулат); этот 3-й постулат может быть назван **постулатом выбора** — им описывается тот факт, что говорящий на описываемом языке может выбирать одно из двух известных ему выражений, задача исследователя только точно описать, почему выбрано то или другое.

В этом постулате проглядывает более общее, философское основание, идущее от философии экзистенциализма (которая в то время во Франции и в Европе переживала период расцвета и к которой ЮС был внутренне близок); основание это гласит, что в любой момент нашей жизни мы стоим перед тем или иным выбором, подобно тому как игрок в шахматы в определенный момент поднял руку с фигурой от игровой доски и еще не опустил ее и не поставил фигуру; в такой момент игрок (и говорящий на языке) свободен: момент выбора есть момент неопределенности, нерешенности и подлинной свободы; в этот момент творится само «существование» (экзистенция), а существование, согласно этой философии, предшествует «сущности». (На этом же основании позднее, уже в более широкой системе, ЮС отвергал теорию знака де Соссюра, в которой «произвольность знака» определяется, по мнению ЮС, неверно, искаженно.)

(4) На следующем этапе вступает в силу принцип, взятый ЮС у лингвистов Пражской школы, а именно: имеется корреляция между количеством собственных признаков языкового знака (фонемы, слова с его значением, грамматической формы и т. д.) и сферой его употребления — чем больше признаков, тем уже сфера употребления, и наоборот. (В более расплывчатой форме, но принципиально тот же принцип известен в логике: «объем понятия» стоит в обратном отношении к «содержанию понятия», под «объемом» понимается класс предметов, покрываемый данным понятием, а под «содержанием» — совокупность признаков этих предметов, входящих в понятие. Эта формулировка, данная здесь лишь в довольно грубой форме, имеет многочисленные уточнения и вообще составляет одну из вековых проблем логики.) Этот постулат может быть назван **обратным соотношением объема и содержания**.

(5) Следующий постулат может быть назван **постулатом удлинения контекста**. Естественным процессом при использовании языка — а следовательно, и при его описании — является расширение рассматриваемого выражения каким-либо внешним знаком (новой морфемой или изменением морфемы, дополнительным словом и т. п.) для отражения дополнительного признака (установление которого происходит на 3-м этапе); на этом, 4-м, этапе исходное выражение и теперь расширенное выражение вновь рассматриваются в таком же соотношении, как и на более ранних этапах, т. е. процесс описания носит рекуррентный характер. (Если знаком

обозначить семантическое включение, то «рога» знака направлены от более богатого признаками члена в сторону менее богатого, следовательно, «более богатый» включается в «более бедный (признаками)»; соответственно сфера употребления мыслится как направленная в обратном направлении — от более широкой к более узкой, например: *дом* $\supset$ *дома* $\supset$ *у себя дома* $\supset$ *как у себя дома*.)

Таким путем может быть произведено семантическое описание грамматики, и оно плавно (недискретно) переходит в описание стилистики данного языка.

ЮС реализовал эту схему в двух книгах:

- «Структура французского языка. Морфология, словообразование, основы синтаксиса в норме французской речи». М., Высшая школа, 1965;
- «Французская стилистика». М., Высшая школа, 1965.

И обобщение и изложение системы дал в докторской диссертации:

- «Структурно-семантическое описание языка. Французский язык» (автореферат докт. дисс.). Московский университет. М., 1966.

Внутренняя система синтаксиса оставалась при этом, конечно, охваченной гораздо слабее, чем морфология, словообразование, грамматика и лексика, — в сущности, недостаточно. Поэтому дальнейшие работы ЮС, по-видимому, по какому-то внутреннему побуждению (поскольку всякий ищущий лингвист интуитивно стремится к полноте своей системы), были связаны больше всего с синтаксисом.

Зато эта система обнаружила хорошую полноту и применимость в другом отношении — в отношении к знакам коммуникации вообще, т. е. к с е м и о т и к е. Как раз в эти годы американские этнографы (по их номенклатуре, антропологи) обнаружили тип первичной ячейки человеческого общения, аналогичный слову и элементарному словосочетанию, в соматических (телесных) проявлениях коммуникации — жестах, позах тела, походках и т. п. Они называли такие ячейки «изолятами» (*isolates* — термин А. Hall'a). Это было как раз то, чего не хватало ЮС для обобщения его системы за пределы словесного языка. Он стал поступать с «изолятами» так же, как со словами и выражениями языка. Результатом этих работ стала система семиотики, изложенная сначала в брошюре

- «Семиотика», М., Наука, 1971

(вскоре переведенной на болгарский, венгерский, японский, частично на французский и немецкий языки). Семиотика стала для ЮС навсегда любимой сферой занятий и, в его понимании, наивысшим обобщением гуманитарных штудий и основой заложенной им в России дисциплины «философия языка». Через полтора десятилетия эти итоги были подведены в книгах:

- «В трехмерном пространстве языка. Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства». М., Наука, 1989.
- «Язык и Метод. К современной философии языка». М., Языки русской культуры, 1998.



В последующие годы заложенная таким образом система ЮС расширялась им в двух направлениях — по линии конкретных языковых исследований и по линии обобщения метода и принципов.

Конкретные исследования получили стержневую ось в виде понятия «длинного компонента», в настоящее время принятого многими лингвистами в России. «Длинный компонент» соединяет разные элементы одного целого — сочетающихся слов в словосочетании, субъекта и предиката в предложении, двух соседствующих звуков в речевом потоке. Понятие «длинный компонент» родилось из наблюдений, обобщенных ЮС в книгах о французском языке и в докторской диссертации: если два элемента сочетаются, то у них есть нечто общее, что как бы пронизывает все сочетание. В словосочетании это семантический длинный компонент.

В предложении, между его субъектом и предикатом, также семантический, но и некий логический длинный компонент (относящаяся к этому вопросу теория изложена ЮС в его книге

- «Имена. Предикаты. Предложения. Семиологическая грамматика». М., Наука, 1981, гл. IX и X.

В этот период в центре внимания ЮС были вполне конкретные лингвистические наблюдения в области фонологии. Подметив, как мы уже сказали, наличие «длинного компонента» в сочетаниях фонем, соседствующих в речевом потоке, нельзя было не заметить и ограничений этого компонента — границами слога. Так, оказалось, что слог — естественное явление потока речи, связанное с распределением струи воздуха при дыхании, — является подлинным основанием абстрактных единиц речи — фонем. Появилась работа ЮС

- «О зависимости понятия фонемы от понятия слога при синхронном описании и исторической реконструкции» // Вопросы языкознания, 1974, № 5.

Это свое положение ЮС применил к решению нескольких дискуссионных вопросов индоевропейского сравнительно-исторического языкознания, прежде всего к вопросу о количестве так называемых ларингальных фонем в протоиндоевропейском. Исходя из базовой единицы — слога и из разных способов его членения, т. е. из отнесения «длинного компонента» либо к первому, либо ко второму элементу, мы получаем две известные (и спорящие друг с другом) гипотезы:

1-я гипотеза	2-я гипотеза
(прото-и.-е. обладал одним гласным и тремя ларингалами)	(прото-и.-е. обладал одним ларингалом и тремя гласными)
э ₁ а-	эс-
э ₂ а-	эа-
э ₃ а-	эо-

Нетрудно видеть, что обе гипотезы основаны на одном и том же первичном факте, а именно на наличии трех типов слогов, различающихся своим «длинным компонентом». Дальнейшее представления, т. е. указанные две гипотезы, зависят уже от того, как осуществляется деление слога в самом языке и в системе описания исследователя. Следовательно, вопрос сводится к другой задаче — каково было слоговое деление в протоиндоевропейском языке (оно могло быть и несколько различным в его разных диалектах).

Далее, позже, ЮС применил тот же принцип к вопросу о строении слова в индоевропейском, а именно к тому явлению, когда «длинный компонент» проходит за пределами слога, по всей длине слова или по большей части его длины. Такой «длинный компонент» (под другим, конечно, термином, скорее вообще при отсутствии общего термина) был открыт в виде явления «аспирации» (придыхания согласного) и «десаспирации» (переноса придыхания с одного компонента слова на другой) в так называемом «законе Грассмана» (в 60-х годах XIX века). ЮС трактует закон Грассмана в составе целого класса сходных явлений — ларингализации (переноса признака ларингальности), глоттализации, фарингализации, слоговых интонаций (как в древнегреческом и балтийских языках), долготы слога и т. д. Системная сводка таких явлений была дана Д. И. Эдельман под общим термином «суперсегментные резонансные явления» в совместной с ЮС работе «Семиологический принцип описания языка» (в кн.: «Принципы описания языков мира». М., Наука, 1976). ЮС применил свой принцип к некоторым этимологическим задачам индоевропейских языков («Баба-Яга, Яма, Янус,

Ясон и другие. К вопросу о „нестрогом“ сравнительно-историческом методе // Вопросы языкознания, 1995, № 5). Под «нестрогим» методом ЮС понимает способ разложения (анализа) слова на непрedefируемые единицы, более «длинные», чем отдельные фонемы, — «непределельный, или не дискретный, анализ».

И, наконец, в последние годы разработка индоевропейских явлений по этой линии завершилась серией статей и докладов ЮС об акцентном строении индоевропейского слова, вообще об индоевропейской акцентологии. Подход ЮС оказался естественным образом противостоящим концепции так называемой «парадигматической» акцентологии (см. статью ЮС «Непарадигматические передвижения ударения в индоевропейском» // Вопросы языкознания, 1997, № 4 и др.).

*
* *
*

Что касается самого рекуррентного метода, как он был продемонстрирован в докторской диссертации ЮС (1966), то, следуя тому же самому принципу рекуррентного расширения, ЮС постарался и этот метод рассмотреть в более широкой системе, включить в некоторую более общую картину методов. Результатом этих размышлений стала книга «Методы и принципы современной лингвистики» (1975). Как заметил коллега и друг ЮС Жак Веренк, французский лингвист-теоретик, знаток русского языка и русской поэзии (ему принадлежит, в частности, исследование о творчестве Сергея Есенина), в одной из своих рецензий на работу ЮС, «он (ЮС) всегда стремится включить всякий предмет своей работы в какую-то более широкую систему».

Как вскоре выяснил ЮС, рекуррентный метод в узком смысле, т. е. на основе дистрибутивного подхода дескриптивистов, в то же время, что и первые работы ЮС в этом направлении (1960–66 гг.), был применен в США Хенри Хёнигсвальдом к описанию глубоких во временной ретроспективе исторических (диахронических) изменений в языке. ЮС показал, что у его собственного метода (в докт. дисс.), у исторического метода Хёнигсвальда и у «классического» дистрибутивизма одна и та же процедурная основа (логическая). ЮС включил это описание в свою книгу «Методы и принципы современной лингвистики» (1975). Но еще ранее он сделал шаг в расширении этой проблематики в другую сторону и стал рассматривать возможный синтез лингвистических направлений как формализуемую лингвистическую задачу; доклад на эту тему

- «Синтез лингвистических направлений как лингвистическая задача» был прочитан ЮС на Всемирном лингвистическом конгрессе в Бухаресте в 1967 г.

В первом варианте синтеза основой выступала «классическая дистрибуция». Несколько позже ЮС показал, что три базовых понятия трех классических школ структурализма — американского дескриптивизма («дистрибутивизма») — «дистрибуция», датского структурализма (Копенгагенского лингвистического кружка) — «функция» и Пражской лингвистической школы — «оппозиция» — могут быть совмещены таким же (процедурным, логическим) путем («Методы и принципы». С. 243—285).

Конечно, это не означает, что готовы будут совместиться три или четыре национальные школы, разделенные своим прошлым, традициями и своим менталитетом. Но это уже другой вопрос.

Как «другой вопрос» он возник для ЮС гораздо позже, лишь в последние годы, когда он стал представлять себе культуру в виде самоорганизующейся системы, в которой имеются некоторые хорошо определяемые принципы. Но для того чтобы они пришли в действие, из потенциальных стали реальными, нужны усилия людей, которые «запускают» механизм культуры своей энергией. (См. об этом в последнем разделе нашей статьи.) В то время, в 1970-е годы, этот вопрос встал для ЮС в более частном виде, но вполне естественно — из сравнения советской и американской лингвистики. И столь же естественным образом на него получился ответ: в ядре американских теорий методов лежали совершенно те же принципы, что и в советской лингвистике, но они покрывались «шапкой» различных терминов: «термин «металингвистика» в американском употреблении покрывал, по существу, те же вопросы об отношении процесса познания к общим принципам мировоззрения, что и термин «методология» в советской науке», только эти вопросы рассматривались с разных мировоззренческих позиций. Все же, если считать эти последние принадлежностью не самой позитивной науки, а внешним по отношению к ней — именно «позицией», «господствующей высотой, с которой смотрят на науку», — то возникало определенное представление, которого и добивался ЮС, что сама наука едина (см. «Методы и принципы». С. 5).

Результат этого утверждения ЮС был не научный, а скорее «околонаучный», или «административный». Вот как описывает его сам ЮС (журнал «Вопросы филологии». М., Инст. ин. яз., Инст. языкозн. РАН, № 3, 1999, с. 5): по выходе книги в свет «незамедлительно меня вызвали в „одно место“ к большому письменному столу, перед которым вызванному полагалось стоять, а не садиться. „Разве вы не знаете, что не может быть никаких разных „параллельных“ теорий, что есть только одна истинная лингвистическая

теория — марксистско-ленинская и что она развивается в СССР? — сказали из-за стола. — Напишите-ка нам объяснение к факту появления вашей книги, на двух-трех страницах!" — „Как бы не так“, — подумал я, а вслух сказал: „Конечно, напишу. Но это будет сложный текст“. — „Ничего, мы разберемся, — сказали из-за стола, уже с угрозой. — И быстро! Две недели!“ Конечно, я не написал ни через полмесяца, ни через месяц, ни через четыре. . . И на тот раз обошлось, забылось. . . » Серьезных последствий этот вызов, к счастью, не имел, отчасти по природным причинам: страшная эпидемия гриппа того года вызвала в рядах «вызывавших» длительные «бюллетени» и даже, это уже к несчастью, один смертный случай. Да и финансовое положение ЮС к тому времени упрочилось. Произошло это так.

4. Преподавание

После нескольких лет «начальной безработицы» (с 1964 г.) ЮС по приглашению филологического факультета подал на конкурс заведующих Кафедрой французского языка, выдержал его и был принят на эту должность, через год получил должность заведующего Кафедрой общего и сравнительно-исторического языкознания, приняв ее от Владимира Андреевича Звегинцева, который основал новую Кафедру структурной и прикладной лингвистики и перешел заведовать ею. На своей кафедре ЮС основал новую специализацию студентов — «Типология лингвистических систем» (см. брошюру того же наименования с подзаголовком «Программы специализации студентов»). С помощью охотно откликнувшихся коллег разных вузов курсы по этой специализации читали (на условиях почасовой оплаты): Б. В. Якушин, Б. А. Успенский (лингвист), В. А. Успенский (математик), А. А. Зализняк (будущий академик), Ю. Н. Караулов (будущий член-кор), Ю. Д. Апресян (будущий академик); математик Венцель и др.; свою первую лекцию по ностратическим языковым системам (ностратике) прочел при этой специализации В. М. Иллич-Свитыч. Специализация оказалась привлекательной для студентов и развивалась успешно. Но к началу 1970-х годов отношения с деканатом стали омрачаться. Этому способствовало то, что большинство членов кафедры симпатизировало «диссидентам», а на самого ЮС пала тень из-за того, что он собрал такую кафедру и — деталь, оказавшаяся важной, — сам ведет курс древнегреческого евангельского языка с чтением новозаветных текстов. Летом 1971 г. деканат нанес неожиданный удар. Принесе в деканат план курсов на сентябрь (вышеупомянутых и др.), ЮС получил в ответ: ни один курс не может быть принят: «Разумеется, не по причине увольнения кого бы то ни было! Мы не увольняем никого! А просто потому, что весь почасовой фонд оплаты аннулирован,

и, следовательно, ни один „почасовик“ по вашей кафедре не может более работать». Тем же летом ЮС подал заявление об уходе из Университета и благодаря Борису Александровичу Серебренникову, заведующему сектором общего языкознания Института языкознания Академии наук, был принят в этот сектор — где и работает до сих пор.

5. Погружение в индоевропейскую историю

С начала 1960-х годов для ЮС начался новый период — «погружение в историю». Он был связан с посещением Литвы. Сам Вильнюс поразил ЮС каким-то «другим временем»: на старинных часах соборной башни на площади Гедимина в центре города была только одна стрелка — часовая. Город, казалось, жил в каком-то особом, по сравнению с Москвой, медленном ритме. Этот ритм гармонировал с духом литовского языка, наполненного сокровищами тысячелетней древности. История здесь выступала на поверхность и манила войти в нее. . .

Впервые ЮС попал в Вильнюс в 1962 г., но не задержался там: он, по совету своего старого приятеля (впоследствии академика) Витаутаса Мажюлиса, проследовал в зону классического литовского языка, чтобы изучать язык на месте. Этим местом был маленький городок Серяджюс на берегу Немана, между Каунасом и Клайпедой. Там ЮС провел полтора месяца, и литовский язык, как говорят французы, lui venait facilement «пошел к нему легко». Правда, потом выяснилось, что в то время коренного населения оставалось в Серяджюсе мало, городок был наполнен переселенцами из других областей Литвы, но чистая литовская речь вокруг звучала.

В те годы ЮС подружился со своим сверстником, талантливым лингвистом (вскоре трагически погибшим) Йонасом Казлаускасом, автором оригинальной, полной новых идей «Исторической грамматики литовского языка» (Вильнюс, 1968) (ЮС откликнулся на нее рецензией в «Вопросах языкознания», 1971, № 4).

Усиленные занятия в Литве литовской речью и историей языка через несколько лет привели к тому, что ЮС смог нащупать свою собственную исследовательскую линию. Ее лейтмотивом стало следующее. В балтийских и славянских языках имеется некое древнее грамматико-лексическое ядро, особенно ярко проступающее при сравнении литовского и латышского, с одной стороны, со старославянским и древнерусским — с другой. Центром этого ядра является глагольная система: имеется ряд древних балто-славянских глагольных морфем, словообразовательных и словоизменительных, впаивших в глагольные лексемы архаического слоя лексики. К началу исторического периода это ядро расщепляется на две ветви так, что одни и те же

морфемы — показатели категорий в балтийских языках начинают выражать противопоставление залогов в форме глагольного слова (диатез), залога действия (активного) и залога испытываемого воздействия (медиального или пассивного), а в славянских языках те же самые исконные показатели начинают выражать противопоставление видов глагола (имеется в виду древнейшая система видовых противопоставлений) — вида несовершенного, протекающего и вида вне протекания (архаичного совершенного). Другие пары противопоставленных категорий становятся сопровождающими основное противопоставление, сопутствующими: в литовском языке активный глагол будет, как правило, иметь сопутствующий оттенок длительного вида, тогда как в славянском глагол длительного вида будет, тоже как правило, иметь сопутствующий оттенок активного действия; обратное в другой паре: неактивный глагол в литовском сочетается с сопутствующим недлительным (ариористным) значением вида, а в славянском недлительный (аористный) вид сочетается с сопутствующим значением неактивного (медиального) залога. Эта схема была сформулирована Ю. С. Степановым в его докладе VIII съезду славистов: «Славянский глагольный вид и балтийская диатеза (Проблема общего генезиса и реконструкции)» (1978 г.).

Если проследить развитие упомянутого центрального глагольного ядра в связи со строением смежных категорий (здесь действует тот же методический принцип рекуррентности, который уже был выявлен ЮС в его докторской диссертации, см. выше раздел 3), то обнаруживаются другие системные следствия «расщепления» этого ядра. А именно, в древнерусском языке противопоставление «активного» и «неактивного» начал проявляется в сфере имени — развивается категория одушевленности в имени, а в литовском то же исходное противопоставление развивается в сфере глагола, где непрерывно, все более расширяясь, формируются группы активных глаголов в противопоставлении глаголам испытываемого действия, свойственного главным образом вещам и неодушевленным предметам.

Если, наконец, проследить следствия расщепления исходного ядра в другом направлении, синтаксическом, последовательно удлиняя синтаксический контекст (рекуррентный принцип тот же), то мы получаем основу для системного понимания истории балтийского и славянского синтаксиса в их сравнении.

Дополнив эту концепцию ее общеевропейскими и протоиндоевропейскими истоками, «расширив ее в предысторию», ЮС смог создать свою систему исторического синтаксиса — в книге: «Индоевропейское предложение» (1989).

Продолжая в последующее десятилетие работу в этой области (в связи с чтением курса в Московском университете «Сравнительно-исторический

синтаксис индоевропейских языков»), ЮС пришел к более широкой исторической концепции. Синтаксис и семантику ЮС считает двумя основными сферами языка (в то время как морфология — лишь «техника» языка). Соответственно этому взгляду ЮС рассматривает континуум «семантика — синтаксис» и выделяет в нем на протяжении истории, в данном случае и.-е. языков, несколько центров аттракции, как бы зон, или полей, в границах которых совершаются связанные семантические и синтаксические преобразования — в одном поле одни, в другом — другие. У каждого центра аттракции есть довольно четко структурированное ядро — тип предложения, отличающийся семантикой своих субъектов и предикатов, так же как и их грамматической формой. Таких центров аттракции, соответственно их ядрам — базовым типам предложений, три:

1) неактивный субъект + неактивный глагол (т.е. субъект «вещь или подобное вещи», глагол типа и.-е. перфекта архаического слоя; семантический пример: «Камень лежит, торчит»);

2) активный субъект + активный глагол (т.е. субъект «человек» или «подобное человеку», «нечто имеющее жизненный цикл» — активные животные, деревья, активные стихии — ветер, вода, огонь и т.п.; глагол типа и.-е. категории «*actīva tantum*»; семантический пример «Человек лежит, ложится», «Ветер дует»);

3) активный субъект + активный глагол + объект (семантический пример «Человек кладет камень», «Воин убивает врага») (Индоевропейское предложение», 1989. С. 12 и сл.).

Эту концепцию ЮС положил в основу своих многочисленных наблюдений и систематизаций фактов русского и литовского синтаксиса и семантики (в серии статей), а также вытекающих из них некоторых теоретических обобщений.

Одним из них явилось расхождение ЮС с классической концепцией исторической грамматики Антуана Мейе и создание понятия «историческое портретирование слова». Обращаясь к тем же фактам, которые позже легли в основу концепции ЮС, А. Мейе в свое время утверждал, что рассмотрение лексики для понимания грамматики не имеет никакого значения. Он писал: «Там, где общиндоевропейский язык имел различные основы настоящего времени, принадлежащие к одному и тому же корню, общеславянский язык имеет различные глаголы, сродство которых более или менее ощутимо. Отвлекаясь от этих групп, представляющих чисто лексикографический интерес, рассмотрим...» и т.д. (А. Мейе. Общеславянский язык. Пер. с фр. М., 1951. С. 163, § 202). «Отвлекаясь» таким образом, Мейе жестко разделял грамматику и лексику, а тем самым и морфологию и синтаксис и направлял свои усилия к системной истории только грамматики. Этого как

раз решительно не допускает ЮС. В книге «Индоевропейское предложение» и еще ранее, в докладе 1978 г., он ввел новый тип исторического очерка — «историческое портретирование» глагола, т. е. единицы лексики, вместе с его грамматикой. Несколько огрубляя, это положение можно обобщить: каждая единица лексики, в данном случае глагол, имеет свою грамматику; сопряженное изменение этих двух черт — лексической и грамматической — и составляет «исторический» портрет слова. (ЮС рассмотрел таким образом группу слов, выражающих основные позы человеческого тела — стоять — «сидеть» — «лежать», прочертив связи от их лексических значений к исторической морфологии и далее к позам как явлению индоевропейской культуры.)

Прием «исторического портретирования» далее прямо требовал обобщения на все виды слов, прежде всего, конечно, на имена существительные. Для ЮС открывалась с этой, исторической, стороны новая тема — история понятий культуры (концептов) в их языковой форме и в их исторических изменениях. Для ЮС она оказалась связанной с его поездками по миру, где в разных университетских городах ЮС читал чаще лекции как «приглашенный профессор» («visiting professor») или (изредка) как докладчик на том или ином конгрессе.

6. ... И культуру

По мнению ЮС, зримый образ культуры (не структура — о ней речь дальше, в конце нашей статьи) похож на витраж готического собора: в нем тысячи цветных стеклышек, но увидеть их картину можно только при свете извне, при белом свете дня. . .

Каждое стеклышко — это концепт культуры, той или иной, испанской, датской, немецкой. . . ЮС собирал их, фиксировал, старался сопережить во время своих поездок по миру. (В этой связи мы и упомянули здесь разные города.) Самый образ мозаики пришел к ЮС при виде изумительного витража средневекового собора в Пальма-де-Майорка, где ЮС в 1986 г. возглавлял советскую делегацию лингвистов на I Конгрессе каталанского языка и сам читал (по-каталански) доклад об опыте «малых языков» России. Собор и его мозаика восхитили тогда нас всех. . .

Ячейкой культуры, по ЮС, собственно термином, который он и ввел в этом значении, является «концепт». «Концепт» — явление того же порядка, что «понятие», но последнее принадлежит логике, а первый, концепт, — культуре и науке о культуре. Различие между ними ЮС демонстрирует на таком примере, как «Противоречие» — это термин философии (гегельянской и марксистской). «Противоречие» как понятие имеет много трактовок, напри-

мер такую: «Тезис», «Антитезис» и «Снятие противоречий» как «Синтез». Как концепт соответствующее духовное образование — нечто иное, для ЮС оно идет от философии экзистенциализма. (Мы уже отмечали выше интерес ЮС к этой философии, возникший еще в парижские годы на публичных диспутах около кафе «Два Магога» [*Les Deux-Magots*]), и уже давно ЮС опубликовал свой очерк «От стиля к мировоззрению. Экзистенциальные идеи у Л. Толстого» [1973].) Теперь ЮС рассуждает применительно к концептам: допустим, говорит он, что два человека находятся в непримиримом антагонизме, между ними — коренное противоречие, скажем один оскорбил другого. Возможен ли здесь «синтез»? Разумеется, нет. Возможно ли здесь «снятие противоречий» по «философскому» образцу, как некое примирение? Тоже нет. Логически два данных человека не могут прийти к «снятию противоречий», но они могут — в процессе существования — их просто «изжить» — забыть (ибо существование предшествует сущности). Возможен и другой путь «снятия противоречия»: один человек, оскорбивший, приносит покаяние, а другой, оскорбленный, прощает. «Покаяние» и прощение — вот компоненты концепта «Противоречие» и концепта «Снятие противоречия» именно как концептов культуры.

«Понятия» логически осмысливаются, ставятся в логическую связь, синтезируются, осмысливаются как антиномии или, напротив, как варианты одного и того же, и т. д. «Концепты» же переживаются, от понятия можно отказаться, но в концепте, за концепт, можно покаяться. . .

В основе концепта как явления культуры (и часто он также — «коллективное бессознательное») ЮС находит «семантический треугольник» (ЮС детально исследовал этот вопрос). «Семантический треугольник» с его тремя вершинами (1—2—3) здесь тот же, что и в основе слова: (1) слово связано с (2) предметом обозначения, что и составляет его «значение», и с (3) «смыслом», который и составляет «концепт»; «смысл» включает в себя и переживания, личные или коллективные, связанные с концептом.

Свою «коллекцию концептов культуры» ЮС начал собирать уже лет 40 назад. Одним из первых образцов в ней были концепты «Мнение» и «Общественное мнение» (они как раз и обсуждались тогда в связи с экзистенциальными понятиями «Молва», «общественная молва», столь важными в те годы для советского общества в связи с отсутствием в нем гласности). Затем к нему присоединился, по существу, связанный с ним концепт «Интеллигенция» как, по ЮС, «сила, сознающая свою роль в определении движения общества и берущая на себя ответственность за это определение» (опубликовано только через много лет).

Коллекция разрасталась, российские концепты приходили в связь с концептами других европейских культур. Важным этапом размышлений по

этой линии стали доклад и статья ЮС на Конгрессе испанистов в Москве 1994 г. «Три испано-русских мотива из сравнительного «Концептуария» культур: „Целомудренная любовь“, „Деньги“, „Ужас“ (зрительный образ)» (опубликовано на испанском языке в Мадриде в 1995 г.). Зрительный, или живописный, образ «ужаса» («коллективное бессознательное») ЮС обнаружил в аналогии между картиной Гойи «Колосс» (ок. 1808 г.) (страшный великан-силач, возникающий из моря над толпой в панике разбегающихся людей, — только всеми забытый ослик неподвижно стоит посреди этого ужаса)* и картиной Б. Кустодиева «Большевик» (1920 г.) (огромная неопрятная фигура в сером шарфе и шапке-ушанке, со столь же огромным, закрывающим все небо красным знаменем, ступает, подобно Гулливеру у лилипутов, среди толпы, бегущей к Кремлю, от здания Румянцевского музея — позже Библиотека им. В. И. Ленина — туда же, к Кремлю; картина является как бы образным повторением другой картины Кустодиева, 1905 года, «Вступление» (огромный скелет выше домов, входит в улицу города). (По поводу картины 1920 г. ЮС приводит одну московскую легенду, известную среди старых москвичей: когда Ф. И. Шаляпин, портрет которого писал в то время Кустодиев, увидел у него дома эту картину, он содрогнулся и сказал: «Ну, пора уезжать!»).)

Продолжая свои изыскания по истории, ЮС обнаружил недавно древнейший исторический прообраз «семантического треугольника» (лежащего в основе концептов вообще) — в учении схоласта Иоанна Салисберийского (или Джона из Солсбери). Джон из Солсбери, родом англичанин, стал епископом одной из самых влиятельных и ученых католических общин во Франции, в Шартре, в XII в. — епископом Шартрским. В своем учении он связал суть человека, как она принадлежит человеку по его рождению и означает собственным (крестильным) именем человека, — его «значение», и суть человека по его жизненной роли, — его «смысл», или, как сказал бы ЮС, «концепт». Эти сущности могут расходиться: человек не то по существу, чем он является по своей «роли»: «Каждый играет ту роль, которую ему отводит верховный распорядитель спектакля — творец». Здесь лежит новое начало знаменитого афоризма «Весь мир — театр, и мы в нем актеры» и, далее, современной «теории ролей» (Т. Парсонса и др. в США). Как и всегда у ЮС, разные линии его исследования снова сомкнулись в более широкой системе: система концептов включила в себя концепт «Человека» как единства «рожденного» и «сделанного, ставшего», как неповторимого «живого существа» и его «роли».

* В 2000 г. авторство Гойи подвергнуто сомнению, но картина оставлена в музее Прадо.

Все это ЮС обобщил в обширной статье «Весь мир — театр», к написанию которой он привлек своего внука, Дмитрия Степанова (статья все еще ждет, который год, публикации).

*
* *
.

Вместе с тем ЮС не оставляет своих работ по линии «длинного компонента». Как мы уже отметили выше, это явление обнаруживается, помимо фонетики и лексики, и в строении предложения с соответствующим ему суждением. Здесь необходимо заведомо предположить, что в силу соединения некоторого субъекта с некоторым предикатом в их составе есть некоторые общие семантические признаки. Сообразно им суждения разделяются на «аналитические», такие, в которых главные признаки субъекта могут быть выявлены до акта данного суждения также и в предикате (путем анализа), и «синтетические», такие, в которых общие признаки могут быть выявлены только после акта суждения, после синтеза, т. е. после того, как говорящий сочетал данный субъект с данным предикатом. ЮС подвел под это различие свое понимание «длинного компонента» и расширил это понимание на постулаты этики, следующим образом. ЮС сравнивает этику Канта и этику Лейбница. Этика Канта основывается на понятии «категорического императива», а это последнее имеет основанием «синтетическое суждение априори», т. е. субъект и предикат такого суждения соединены как бы заранее, без анализа самим человеком, как априорные, необходимые. Но открываются они самим человеком, подобно тому как математические законы, законы чисел и т. п. существуют независимо от человека, но открываются им в научной деятельности. В этом же смысле можно сказать, что источником «категорического императива» является разум и свободная воля самого человека, «внутреннего человека», и этот источник автономен. Поэтому Кант — философ протестантизма и номинализма.

Напротив, у Лейбница синтетических суждений в строгом смысле термина вообще нет, все суждения, в сущности, аналитические, т. е. основание, по которому субъект соединяется с предикатом, «длинный компонент», уже предопределено в содержании субъекта предложения, «длинный компонент» как бы извлекается говорящим, субъектом в этом смысле, из термина-субъекта путем его анализа. Поскольку компонент, признак, заложен в термине-субъекте суждения, постольку субъект-человек, производящий суждение, не автономен, он в этой своей деятельности подчинен законам устройства мира, — по Лейбницу, в конечном счете, законам мироздания Бога. Это основание влечет Лейбница, в отличие от Канта, не к базовому понятию «категорического императива», а к иному базовому понятию — «моральной

необходимости»; субъект же морали — человек — не является автономным. Философ православия Сергей Булгаков прямо начинает соответствующий раздел своего трактата («Этика в православии», в кн.: «Православие») словами: «Само собою разумеется, православие не знает автономной этики, которая представляет преимущественную область и своеобразный духовный дар протестантизма. Этика для православия религиозна».

Все эти различия, вытекающие из вполне конкретных наблюдений над устройством языка, но влекущие, как мы видим, значительно более абстрактные следствия, легли в основание общих философских представлений ЮС, названных им (в отличие от номинализма англосаксонской школы и Канта) «Новым реализмом» (или «Новым русским реализмом»).

А этот последний вошел в еще более общую систему, включающую, с другой стороны, семиотику, — в систему «Философии языка». Она изложена ЮС в его последней книге «Язык и Метод. К современной философии языка» (М., Языки русской культуры, 1998).

7. Свет вечерний, свет Невечерний...

Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет.

С. Есенин

Духовная телесность не связана ни временем, ни пространством, и в применении к ней противопоставление духа и тела, спиритуализма и материализма теряет всякий смысл.

Сергий Булгаков. Свет Невечерний
(Сергиев Посад, 1917. С. 255).

Работа ЮС над концептами культуры не прекращается. Она вылилась в огромную книгу «Константы. Словарь русской культуры» (1-е изд., 66 печ. л., М., Языки русской культуры, 1997; 2-е изд., исправленное и дополненное, 80 печ. л., М., Академический проект, 2001).

Заключение нашей статьи мы изложим словами статьи о ЮС из двух словарей — «Философы России XIX–XX столетий. Биографии, идеи, труды». Изд. 2-е, М., Книга и бизнес, 1995; П. В. Алексеев. «Философы России XIX–XX столетий. Биографии, идеи, труды» (изд. 3-е, перераб. и доп. М., Академический проект, 1999 [это расширенное и приобретшее автора издание предыдущей книги]).

Главный предмет работ ЮС — культура, рассматриваемая как автономная сфера бытия, развивающаяся по своим собственным имманентным законам самоорганизующейся информационной системы. (Информационная система, — добавим мы, — в этом смысле то же, что семиотическая система, рассмотрению которой в ее разнообразных проявлениях ЮС одновременно посвятил другую большую книгу — «Язык и Метод. К современной философии языка» [63 печ. листа. Языки русской культуры. М., 1998].) По отношению к этой системе (культуре) общество и личности выступают лишь в качестве источников внешних импульсов, «энергодателями», приводящими систему в действие, запускающими механизмы культуры.

Структурный стержень таких систем (т. е. также и культуры) — явления типа «Язык», развивающиеся по непрерывной линии эволюции: тропизмы растений (т. е. доступные растениям движения их организмов, например изгибов стебля под влиянием света) — коммуникативные системы животных (например, брачные порхания бабочек, «язык» пчел и т. п.) — человеческий (естественный) язык — искусственные языки (в частности, математической логики, компьютеров).

Основной пласт культуры — духовная культура, представляемая, по ЮС, вполне конкретно — как система рядов концептов: «Свобода», «Правда», «Судьба», «Вера», «Любовь», «Добро — Зло», «Закон», «Власть», «Семья», «Радость», «Страх», «Тоска» и т. д. Очень часто, если не всегда, концепты культуры соединены с материальными носителями (подобно тому, как концепт в слове соединен с материальной формой слова, звуковой или письменной): «Вера» и «Храм», «Брак» и «Венчание, вообще ритуал заключения брака», «Огонь» и «Вода» как активные элементы бытия и т. д. От понятия в логическом смысле слова концепты, как мы уже отмечали выше, отличаются тем, что они не только осмысливаются рационально, но и переживаются, подобно «коллективному бессознательному».

Главные системные свойства концептов культуры, по ЮС, — метаморфизм и совмещаемость, подобные тем, какие выявляются и в языке. Метаморфизм проявляется в эволюции концепта и его материального коррелята во множестве форм при сохранении «ядра» — инварианта: так, концепт «высшего духовного существа» выступает в форме анимизма, в форме античных божеств, в форме единого Бога; храм выступает в форме языческого капища, христианского храма, молитвенного дома протестантов и т. д. Совмещаемость, или «концептуальное перемножение», состоит в том, что один и тот же концепт может интерпретироваться, «прочитываться» в двух или более различных системах, например «Этос (этика) художника» и «Партийность (художника, писателя)». Отсюда постоянное наличие систем «двоеверия» (фактически и точнее — систем двух и более культурных интерпре-

таций концептов, двух и более «культур» в смысле системы ЮС [но не в марксистском смысле «двух культур» в классовом обществе]], например гражданского и церковного брака в современной России.

Система взглядов ЮС представляется им самим — и это еще один системный принцип — не как «открытие», а как «филиация идей», «метаморфизм идей», как ступень в концептуальной эволюции. Идеями, соединенными филиацией в своей системе, ЮС считает следующие: категории «сущности» и «срединного бытия» («метаксю») Аристотеля; понятия «суждений факта» и «моральной необходимости» Лейбница; архетипы К. Г. Юнга; «коллективного бессознательного» Э. Дюркгейма; ноосферы В. И. Вернадского и П. Тейяра де Шардена; систему «оправдания добра» в философии Всеединства и особенно Влад. Соловьева; естественную этику П. А. Кропоткина и К. Лоренца (от этики высших животных к этике человека); семиотические идеи Ч. С. Пирса; семиотические идеи русского символизма, и особенно А. Белого; реконструкцию социальных концептов В. О. Ключевского и Э. Бенвениста.

Филиация идей, по ЮС, подобна световому лучу, по которому «внутренний человек» (дух и разум человека) осторожно ступает, как канатоходец, чтобы идти все выше. . .

I

Индоевропейское сравнительно-историческое языкознание

F. Bader
(Paris)

Traversées

1. Formes verbales de $*trh_2-$
2. Dérivés nominaux:
 - 2.1. nom-racine;
 - 2.2. système hétéroclitique:
 - 2.2.1. dérivé sigmatique;
 - 2.2.2. système de Caland et Wackernagel:
 - 2.2.2.1. $*-u-$;
 - 2.2.2.2. dénominatif à suffixe zéro;
 - 2.2.2.3. $*-i-$;
 - 2.2.2.4. dérivés en nasales:
 - 2.2.2.4.1. en $*-m...$;
 - 2.2.2.4.2. en $*-n-$;
 - 2.2.2.4.3. $*-nt-$;
 - 2.2.2.4.4. infixé suffixalisé;
 - 2.2.2.4.5. $*-eh_2-no-$ (*túrannos*, etc.);
- 2.3. thématique $*trh_2-o-$
3. Doublet en $*-k(h)-$ de $*trh_2-$:
 - 3.1. formes;
 - 3.2. explication:
 - 3.2.1. $*h_2$ laryngale sourde aspirée;
 - 3.2.2. phonétique des groupes en $*h_2$;
 - 3.2.3. $*trkh-$
4. Sémantique:
 - 4.1. techniques;
 - 4.2. foudre;
 - 4.3. la traversée du gué et évolutions sémantiques;
 - 4.4. eaux;
 - 4.5. l'espace-temps de la mort:
 - 4.5.1. lat. *tarentum*;
 - 4.5.2. les cinq formes grecques;
 - 4.6. traversée migratoire;
 - 4.7. onomastique étrusque

1. Très ancienne par la notion qu'elle véhicule, celle de «traverser», la racine **trh₂-*¹ a donné diverses formes verbales²: d'abord un moyen fondamental (à degré zéro, flexion moyenne, double diathèse sémantique), III sg. **trh₂ -e/o*, recharacterisé comme moyen, en raison du développement de l'actif, par agglutination de la désinence nouvelle **-to* à l'ancienne **-e/o*, qui prend alors le statut de «structure thématique»: **trh₂-e-to* > hitt. *tarrata* «être capable de, pouvoir» (avec **-rh₂-* > **-arh-* puis *-arr-* par assimilation); et divers présents nés d'une adéquation à la diathèse sémantique dynamique d'un actif morphologique, dont ils ont la flexion, avec d'abord le degré zéro de l'ancien moyen (type lat. *dat*, arm. *tam*) hitt. *tarahzi* «vaincre, être puissant, pouvoir» (cf. § 4.3), puis le thème II de l'actif, skr. *trāti* (**tr-eh₂-*) «protéger» (proprement «faire traverser [les difficultés]»), lat. *trāns* étant ambigu (**tr-eh₂-* ? **trh₂-*, avec une sonante voyelle longue née d'un traitement de **-rh₂-* où **-h₂-*, affaiblie comme consonne au contraire de ce qu'elle est encore dans hitt. **tarh-*, tombe avec allongement compensatoire de la sonante, **r̄* > lat. *-rā-*(?); et, à côté de ces présents radicaux athématiques, un paradigme mi-moyen mi-actif (III sg. **-e* / plur. **-enti*), tokh. A *tarkas*, *tārkeñc*, subjonctif (ancien présent), «congédier» (cf. § 3.1 pour le *-k-*); et des présents radicaux thématiques, à degré zéro, **tr-h₂-e/o-*, skr. *tirāti*, *turāti* «traverser, vaincre», et plein, skr. *tārati*, de même sens», lat. *terō* «user (en frottant)», gr. **terō* dans *tère-tron* «tarière»³, refait en **ter(h₂)-yo*. La racine a en effet donné les trois types de formes affixées usuelles qu'offre p.ex. **sth₂-*: suffixe tel que **-yo-*, cf. osq. STAÍT «stat»; infixé, cf. lat. (*dē-*)*stinō* < **st-n-h₂-*; redoublement, cf. lat. *sictī*, *sistō*, skr. *tasthé*, *tisthati*: avec **-yo-*, suffixe de présent, gr. *teirō* «user, faire souffrir», hitt. *tariyant-* (**-h₂y-* > *-iy-*) à côté de *tarrant-*, skr. *Tārya-*, anthroponyme avec nasale infixée (morphème de présent dynamique), hitt. *tarna-* «laisser», et suffixalisée, sans anaptyxe dans tokh. A *tārnās* et avec anaptyxe dans B *tārkanam*, et sans le **-k(h)-* du doublet de **trh₂-* (§ 3.1) qu'ont ces dernières formes, les noms déverbatifs qui témoignent de l'existence de ce présent hors du tokharien, du type skr. *tarañi-* «qui atteint le 'terme', qui sauve», gaul. *Taranis*, nom du dieu de l'orage, d'un homme, d'un fleuve (ce dernier sémantiquement proche de skr. *su-taraṇā-* (fleuve) «facile à traverser»); cf. § 2.2.2.4; avec redoublement, formes particulièrement nombreuses en sanskrit⁴, de sens «traverser,

¹ Je renvoie une fois pour toutes aux dictionnaires étymologiques d'usage, en y ajoutant Werba, 1997; Rix, 1998.

² Bader, 1997a.

³ Gr. *térettron* est un dérivé du présent thématique; il n'amène donc pas à poser une racine **ter-h₁-* comme on l'a parfois fait.

⁴ Mayrhofer, *EWAia* I 629, s.u. TAR I. Il y a d'autres formes redoublées: louv. *tatarh-* «briser», *tātariyamman-* «malédiction»: Melchert, 1993, s.u.; ou les noms de fleuves, *Titarēsios*, *Tārtaros*, ce dernier désignant l'étagé le plus profond de «traversée» des Enfers.

arriver au but», *tātāra*, *tatarūš-*; *titirur*, *titirvāms-*, *titūršati*; ou «surpasser, vaincre», *tutur-*, *tartur-*, *tartar-*, *tūtūrš-*, *tāturi-* «vainqueur»; av. *titar-* «vaincre»; etc. Le grec *tetrainō* «percer, trouer», de **te-trnh₂-yō-*, combine les trois sortes d'affixes, redoublement, infixes, suffixe⁵.

2. Les formes nominales de la racine sont nombreuses.

2.1. Elle a donné un nom-racine, qui figure au second membre de composés gr. *nék-tar*, skr. *ap-tur*, etc.⁶. Ceux-ci témoignent des deux traitements de **-trh₂-* le premier, de **-trh₂ > *-tarh₂ > *-tarr > -tar*, où *ṛ* voyelle devant laryngale a un traitement **ar* pandialectal⁷, et antérieur à l'amoussissement de **h₂* comme consonne, l'autre où celle-ci est assez affaiblie pour être identique, dans son résultat à celui de hitt. *gurtā-* «citadelle» **-ghṛ-to-*, à traitement **ṛ > ur* non spécifique du hittite (où on attendrait *ar*)⁸; on ne peut attribuer à ce traitement une couleur dialectale précise; mais il est largement répandu et est celui de p.ex. *túrannos* (§ 2.2.2.4.5).

2.2. D'autres formes nominales appartiennent au système hétéroclitique.

2.2.1. L'une est le thème sigmatique qu'on trouve souvent à côté de ce dernier⁹, skr. *tiras*, irl. *tar*, lat. *terebra* < **teres-ra* (cf. *fūnebris* pour l'évolution phonétique); **trh₂-s-* à degré zéro apparaît p.ex. dans le nom *Tuscī* des Etrusques, § 4.7.

2.2.2. Les autres relèvent du système de Galand-Wackernagel¹⁰. Comme on peut s'y attendre, la racine, ayant un **r* radical ne fournit pas de dérivés en **-r-* ni **-l-*: ils sont en **-u-*, **-i-*, **-m-*, **-n-*.

2.2.2.1. Le dérivé en **-u-* (suffixe de médio-parfait) survit comme adjectif (donc hors du dénominatif à suffixe zéro, § 2.2.2.2) soit avec vocalisme modifié (gr. *téru*: *asthenés*, *leptón*)¹¹, soit élargi, en:

**-ui-* (type lat. *suāuis*): hitt. *tarhui-li*-¹² «fort, puissant», skr. *tūrvi-* «vainqueur»; noms propres av. *Taurvi-*, *Taurvaēti-*, skr. *Turvīti-*, à second membre **h₁i-ti-* «à la venue victorieuse», à peu près lat. «*uēnī* (uīdī) uīcī»); et *Turvása-* et *Yadu* (de **h₁y-nd-u-* ?), note 63;

**-un-*: avec vocalisme zéro ancien hitt. *tarhun-alli-*, nom de fonctionnaire, zéro ou **e*, skr. *tārūna-*, plante ou animal nouveau-nés («qui traversent» pour

⁵ Présent «analogique, mais de quel verbe?»: DELG, s.u.

⁶ Schmitt, 1967, 186–192.

⁷ Bader, 1990.

⁸ Tischler, HEG, s. u. *gurtā-*.

⁹ Chantraine, 1967; Risch, 1974, 219.

¹⁰ Bader, 1977.

¹¹ Lamberterie, 1990, § 151–152.

¹² Weitenberg, 1984, § 321. Mon exposé n'étant pas exhaustif, je ne tiens pas compte de formes comme le dérivé en *-u-* hitt. *tarru-* de: *tarra-*.

naître); *e, gr. *terúnēs*, âne ou vieillard «usés»; *o, gr. *torúnē* «cuiller à pot», cf. hitt. *tarawar*, neutre en *-r/n < *trh₂-ew-r «pot servant de mesure» (pour la forme, cf., de *krh₂-, *karawar* / *karaun-* «corne» < *krh₂-ew-r/n, avec chute de *h₂- consécutive à la coloration vocalique qu'elle induit au degré plein suffixal, en regard de *karhua*, nom de plante, à suffixe de degré zéro); nom propre skr. *Turvása* < *trh₂w-n-ko-, en synchronie indienne formatique du type *yuvása-*, cf. lat. *iuuencus*¹³, mais à rapprocher aussi de gaul. *Turancus*, § 2.2.2.4.2 et de noms étrusques, § 4.7;

*-uo- nom du même personnage (nomin. *Turvás*); sous bénéfice d'inventaire j'ai rangé *turván-* dans les formations à infixé suffixalisé, § 2.2.2.4.4;

*-ut-; noms propres lyd. *Tarwi-alli*¹⁴ (*-eh₂-li-, cf. lat. -āli-, etc.); étrusco-latin *Tarut-ilius*;

*-us-; skr. *tárus* «victoire», *táruša* — «victorieux», *taruśyant* — «qui combat»; en Gaule, *Tarus-ātes*, *Tarus-cō*, *Trus-ci-ācus*, § 4.4; en Italie, anthroponyme *Tarusius*. Ces noms ont le vocalisme ancien, *tr₂u-s-, sauf le dernier, issu de la forme à métathèse *truh₂s- cf. *E-trūria*, dans l'onomastique (§ 4.7), et les formes qui en grec appartiennent à la famille de *tru(w)ō* sémantiquement: *trūs-ānōr* «qui fait souffrir les hommes»; *trūsi-bios* (estomac) «qui souffre de moyens de subsistance»; développement de présent en *-s-k- dans *trūskei trūkhei*, Hsch., à vrai dire homophone des noms en *truh₂s-ko- qui viennent d'être cités. Comme bien d'autres de la famille de *trh₂-, ces formes font partie de celles qui témoignent de la permanence d'un dérivé au-delà des évolutions sémantiques¹⁵, ici «traversée victorieuse», s'agissant des noms propres (cf. § 4.6), ou «souffrance», sens figuré issu de l'emploi technique de la racine (§ 4.1).

2.2.2.2. Non élargi, le dérivé en -u- survit dans un dénominateur à suffixe zéro athématique¹⁶ hitt. *tarhu-*, en concurrence avec *tarh-*¹⁷, et sujet à une métathèse en *truh₂-*, débutante, puisque le *r y conserve le caractère vocalique qui était normalement sien devant *h₂ consonne, III sg. *ta-ru-uh-zi* à côté de *tar-hu-uz-zi* (et de *tar-ah-zi*); de la même forme à *r > ar devant laryngale (ou d'un correspondant à degré plein, cf. gr. *téru*) procèdent skr. *táruṭr-* «celui qui vainc», *taruṭr-* «destiné à vaincre»¹⁸. Le dénominateur est thématique dans skr. *túrvaṭi* «vaincre», gr. *trúwō*¹⁹ «user, épuiser», de *truh₂- (III plur. à métathèse comparable dans gr. *truwousi* et hitt. *tar-ru-uh-ha-an-zi*), avec *-uh₂- > -uw-

¹³ Mayrhofer, *EWAia* I 658.

¹⁴ Gusmani, 1964, s. u.

¹⁵ Bader, 1997b.

¹⁶ Cf. Schwyzer, 1959, 723; Rix, 1995.

¹⁷ Oettinger, 1979, 220–223 (qui n' a pas vu l'origine de *tarhu-zi*).

¹⁸ Benveniste, 1948, 15.

¹⁹ Analyse juste par un dénominateur chez Benveniste, 1935, 56 (*contra*: Lamberterie, 1990, 395, № 5).

devant voyelle (allophone $\bar{u}$ - devant consonne, par chute de $*h_2$ et allongement compensatoire, cf. *té-trū-mai*, etc.)²⁰. L'existence du dénominatif à suffixe zéro et les accidents phonétiques, métathèse préventive à l'amuïssement de la laryngale, et chute elle-même $> *tr(h_2)u-$, p. ex. dans gr. *trūma* «peine», à côté de *trūma* «trou», ont démotivé comme adjectif la forme qui peut alors servir de radical à d'autres dérivés, comme gr. *trūpāō* «percer, trouer», lit. *trupū* «mettre en morceaux», etc., lit. *trūniū* «se corrompre, se putréfier», etc.; ont l'ancien degré plein suffixal $*trh_2\text{-eu-}$ (et coloration de *e* en *a* par h_2), gr. *traūma* «blessure» ($*\text{-troh}_2\text{-}$ dans *titrōskō* «blesser») ²¹, lit. *trāunau* «frotter», et, de $*trh_2\text{-eu-s-}$, lit. *traūšti* «briser»; etc.

2.2.2.3. Le dérivé $*trh_2\text{-i-}$ a lui aussi été victime d'accidents phonétiques. Il survit avec le vocalisme ancien dans gaul. *tarinca* «clou» $< trh_2\text{-i-n-ka-}$, avec la même formation complexe que gaul. *Turancus* $< *trh_2\text{-n-ko-}$, § 2.2.2.4.2, et skr. *Turvāsa-* $< *trh_2\text{-w-n-ko-}$, § 2.2.2.1; autre vocalisation du degré zéro dans le nom à redoublement skr. *tā-tur-i-* «vainqueur»; métathèse en $*tri\text{-}$ dans lat. *trītūra*, etc.; démotivée comme adjectif, la forme est élargie par $*\text{-g}^w\text{-}$ au perfectum de lat. *terō*, *trīui* et au présent gr. *tribō* «frotter, écraser». Le dérivé a donné le nom de nombre «trois»²², «qui dépasse» la paire de un et deux, $*tr(h_2)\text{-i-}$, cf. $*tri\text{-}$ en premier membre de composé, etc., et $*trey\text{-es}$, à degré suffixal plein bâti après la chute de la laryngale; celle-ci peut survivre dans hitt. *teriya-* «troisième», *tar(r)ıyanalli* — «qui appartient au troisième», etc., si leur -iy- vient du $\text{-ih}_2\text{-}$ de la forme à métathèse²³.

2.2.2.4. Le système hétéroclitique comprend, enfin, des formes en nasale.

2.2.2.4.1. Les unes sont en $*mn$, $*mōn$: lat. *termen*, *termō*, *terminus* «terme»; gr. *térma*, *térmon* «terme»; -mi- , gr. *térnios* «qui se trouve à la fin», *térmis* (*termid-* ? cf. myc. *temid-*) «bordure»; lat. *tarmes* (vocalisme ancien, refait dans *termes*) «termite», désignation de l'animal par métaphore de la «tare», nom en -mi-t comme lat. *termes* «rameau ébranché» ($< *(\text{traversé})$; -mo- à côté de $*\text{-mi-}$: hitt. et louv. *tarma/i-* «clou», gr. *tórmos* «mortaise, trou pour un pivot».

2.2.2.4.2. Les autres sont en -n- : (gaul. *Turancus* $< *trh_2\text{-n-ko-}$, anthroponyme, cf. § 2.2.2.3); gr. *térēn* «tendre», et *terenus*, sabin (Favorim ap. Macr.

²⁰ Un autre dénominatif du même type est celui de $*inh_2\text{-u-}$ (gr. *tanuō*, skr. *tanute*, etc.). De manière générale, l'étude de ce type de dénominatifs reste à faire.

²¹ Autre analyse (par $*\text{-h}_3$ à appendice vélaire) chez Martinet, 1950. Le vocalisme $*\text{-troh}_2\text{-}$ que je pose pour *titrōskō*, ainsi que pour *trōa*: *harpedonē* (§) et pour *Trōes* «Troyens» (§) est bien «apophonique».

²² Benveniste, 1962, 20–24; en dernier lieu, Shields, 2000.

²³ Pour Rikoff, 1995, $*h_2\text{-}$ tombe devant *y*; mais je pose une forme à métathèse, à traitement -iy- de $*\text{-ih}_2\text{-}$, comme par ailleurs pour «aller», de $*h_1\text{-i-}$ $> ih_1\text{-}$ $> iy\text{-}$ dans *iy-a-hha* «je vais» (superposable à gr. *iō*, subjonct ancien présent), forme antévocalique à côté de la forme antéconsonantique $*ih_1\text{-}$ $> \bar{i-}$, cf. lat. *itūr* «on va», athématique en regard du thématique *hi-iyattari* «il va».

3.18.13, Item quod est Tarentinas oues uel nuces, dicunt, quae sunt terentino a tereno quod est Sabinorum lingua molle...); gr. *tórnos* «compas, tour du charpentier»; *toronos* : *tornos* : *Tarantínoi*, Hsch., en *-ono à côté du *-ên- de *téren-*; etc.

2.2.2.4.3. Dans ces gloses sont mêlés des dérivés en *-n..., qui témoignent d'évolutions sémantiques diverses de la racine (cf. § 4.3), et le dérivé en *-(e)nt- de cette dernière, **trh₂-(e)nt*, dans des participes (hitt. *tarhant-*, skr. *tirant-*, *tárant-*), et des formes lexicalisées: comme dans ces gloses, noms de *Tarente* lieu de «traversée», gr. *Tarant-* < **trh₂-ent-* > lat. *Tarentum*; lat. *tarentu* «tombe», autre lieu de «traversée», § 4.5.1; skr. *tarantá-* «mer»; anthroponyme skr. *Tarantá-*, lat. *Tarentius*, *Terentius*; théonyme lyc. *Trqqñt-*, nom du dieu de l'orage²⁴, sous réserve d'en justifier la dorsale, § 3; adjectif verbal en *-nt-²⁵ au premier membre de skr. *tarád-dveṣa-* (Indra) «vainqueur de ses ennemis»; en *-nd- dans le nom du *Ceruus Tarandus* Linné, «renne» plutôt que «cerf», de **trh₂-end-o-*, proprement «rapide» (cf. skr. *turá-* «rapide», dit notamment de chevaux; cf. le nom du «cerf» grec. *élaphos* à côté de *elaphrós* «rapide»).

Si *-ent- procède du même système de dérivation que *-n-, il n'en va pas de même de deux autres séries de dérivés.

2.2.2.4.4. Les uns résultent de la suffixalisation de l'infixe du présent (§ 1), sans ou avec anaptyxe: skr. *tírṇa-* de **trh₂-no-*, mais de **trh₂-^onu-*, *ni-*, *no-*, gaul. *Taranu-* (*cnos*), nom du dieu de l'orage comme *Taranis*, et également antroponyme, CIL III 6150, etc., et nom de fleuve «*Tarn*» (affluent de la Garonne), cf. § 4.4; appellatifs skr. *tarāni-* «qui atteint le but, le terme», «qui sauve», *su-taraṇá-* (fleuve) «bien traversé», de vocalisme ambigu, comme toutes les formes indiennes en *tar-* (zéro **-rh₂-* ? **-e-* ?), au contraire dénominatif *turaṇya-* «se hâter» et des formes de sa famille comme *turaṇyú-* «rapide», ainsi que des formes de **trh₂-u-* auxquelles est transférée cette dérivation, skr. *turvan-* «victoire», *turvāni-* «qui l'emporte», *tu-turvāni-* «qui cherche à l'emporter», av. *taurvan-* «qui l'emporte» (à distinguer de hétéroclitique en -*r(n)*), cf. hitt. *tarawar*, § 2.2.2.1, av. *vīspa-taurvairī-* «dominatrice de tout»²⁶).

2.2.2.4.5. Les autres formations en nasale ont une formation complexe d'appartenance (**-eh₂-*) — détermination (-*no-*)²⁷, cf. **-eh₂-li-* dans hitt. *tarhun-alli-*, lyd. *tarvi-alli-*, § 2.2.2.1. Un exemple en est le nom du «tyran», gr. *túrannos* (**trh₂-*, muni de la formation en question), dont on peut rapprocher pour le sens

²⁴ Melchert, 1994, 282, 283, 285, 300, 306, 309, 310, 320, 323, 328; mais *Trqqñti* < **Tarhüntēi* pour Hajnal, 1995, 175.

²⁵ Bader, 1975.

²⁶ Duchesne-Guillemin, 1936, 109; composé de même sens *vīspa-tauruṣī*.

²⁷ Bader, 1988.

louv. hiér. *tarwana-*, titre princier²⁸, sans qu'on sache si (avec un vocalisme plus ancien) il offre la même formation, étant alors entièrement comparalale du point de vue étymologique (ce qui suppose une non-notation de la géminée), une formation en **^o-no-*, cf. véd. *turvāni-*, § 2.2.2.4.4.

2.3. Sans que l'examen des dérivés soit exhaustif, on citera encore le thématique **trh₂-o-*, avec son vocalisme ancien dans les noms de fleuves en Italie *Tarus*, *Tartarus*, en Gaule de villes (gaul. *Taro-dunon*, *Taro-duron*, *auj. Tarare*) et d'hommes (*Brogi-taros*²⁹, proprement «qui traverse la marche-frontière»); avec un vocalisme plus récent dans skr. *turá* — «rapide»; vocalisme ambigu dans skr. *tára* — «traversée (des eaux)»; etc.

3. Les dérivés de **trh₂-* examinés ont des doublets en **-kh-*.

3.1. Voici les formes:

**trh₂-e-* (skr. *tirāti*, etc.) / skr. *atrha-*, aoriste de *trmha-*, ci-dessous; tokh. *tarkaš*, subjonctif, ancien présent;

**tr-n-h₂-* présent infixé (gr. *te-trainō*, etc.) / skr. *trmha-* «écraser» (comme gr. *tribō*); infixé suffixalisé dans tokh. *A tārnās* s'il repose sur **tārknās*³⁰ sans anaptyxe, et avec anaptyxe B *tārkanam* (présent du type gr. *-anō*); déverbatifs de ce présent, sans et avec anaptyxe:

**trh₂-^oni-*, etc., cf. *tarāni-* § 2.2.2.4.4 / gr. *tarkhānion* : *entāphion*; *térkhanon* : *pénthos*, *kēdos* de la famille sémantique de *tārkhūō*, comme de **trh₂-n...*, sans anaptyxe (cf. skr. *tīrnā-*, § 2.2.2.4.4) *térkhnos* : *entāphia*, mais aussi «jeune pousse», comme skr. *tārūna-*, § 2.2.2.1; skr. *tārhaṇa-* «écrasant»;

**trh₂-o-*, cf. gaul. *-taros*, etc., § 2.3 / gr. *epitarkhon* : *epitāphion*; skr. *śata-tārham* «broyé cent fois»;

**trh₂-ent-* (hitt. *tarhant-*, etc., § 2.2.2.4.3) / lyc. *Trqḡnt-*, nom du dieu de l'orage;

**trh₂-i-* (§ 2.2.2.3) gr. *tarikhos* «momie, poisson séché», avec trois traces du **h₂* de **trih₂-* < **trh₂-i-*: vocalisation *ar* du **r* anciennement devant **h₂*, cf. hitt. *taruhh-*, § 2.2.2.2; **-kh-* substitut antévocalique de **-h₂*; *-ī-* < **-ih₂-* devant consonne. La première de ces marques a disparu de gr. *trikhōsai* : *thāpsai* (cf. gr. *triousi* à côté de hitt. *taruhhanzi*);

**trh₂-u-*, cf. hitt. *tarhu-*, § 2.2.2.1, gr. *tarkhūō* «rendre victorieux de la mort» (§ 4.5.2)³¹, dénominatif factitif d'adjectif en **-h₂-*, du type hitt. *newahh-*³², d'où le *-ū-*, et *trikhō* doublet de *trū(w)ō* «user», avec deux traces du *h₂* de **truh₂-*, *-ū-* antéconsonantique, et *-kh-* substitut antévocalique de **h₂*. Outre ces deux familles

²⁸ Laroche, 1960, № 371, p. 197–198.

²⁹ Schmidt, 1957, 275–276.

³⁰ Schmidt, 1988.

³¹ Interprétation très différente chez Janda, 1996.

³² Benveniste, 1962, 24.

grecques distinctes par le sens et par l'absence ou la présence de métathèse, relèvent aussi de **truh₂*- lat. *trux* «cruel» et «mis à mort» dans *tru(c)i cīdō*³³, cf. v. irl. *tru*, gén. *troich* «voué à la mort»³⁴; lett. *truksi*, lit. *trūksu*, *trūkti* «se déchirer en deux», *trūkis* «déchirure»; lit. *trunkū* «laisser échapper, lambiner», lat. *truncus* («ébranché», cf. *termes*, § 2.2.2.4.1) s'expliquent par un transfert de l'ancien présent infixé sur le radical anciennement nominal, **tru-n-k-*, ou par la formation de skr. *Turvāśa-* (§ 2.2.2.4.2), alors **tr(h₂)u-nko-*.

3.2. Ces doublets peuvent s'expliquer facilement par deux formes dont l'une est élargie (**trh₂-kh-*)³⁵, plus difficilement mais plus vraisemblablement par une forme dont le **-h₂-* a cédé la place à **-kh-* (cf. lat. *truc-* au lieu de **truh₂-*, lyc. *Trqñt-* au lieu de **trh₂-ént-*; etc.).

3.2.1. Par opposition à **h₁*, palatale comme le montre sa coloration en **e*, et à **h₃*, vélaire (coloration en **o*) et sonore, la laryngale **h₂* a pour traits pertinents d'être une sourde (comme le montrent les graphies géminées du cunéiforme type à l'intervocalique *-hha* < **-h₂e* I sg. moyenne), et une aspirée. Des deux traits, seul le second a une influence dans les traitements des groupes en occlusive sourde + **h₂*:

-th₂-* > *-th-* (désinence de II sg. moyenne **-th₂-e(i)*) > skr. et gr. *-tha*; hitt. *-tta*, et *-tti* (de présent en *-hi*); lat. *-tī* (perfectum); got. *-t* (prétérit); **-k^wh₂-* (sok^w-h₂i-o-* «compagnon») > skr. *sákhi*, lat. *socius*³⁶;

La laryngale assourdit de plus une sonore précédente, tout en l'aspirant: **-gh₂-*, dans des formes de l'adjectif «grand»: gr. *Akhi-leús*; skr. *máhi-*; hitt. *mekki*; got. *miki-ls*³⁷; il se peut que le dérivé ait le même suffixe **-h₂i-* que la forme précédente, en regard de **meg-l-* (gr. *megal-*) / **-r-* (gr. *megairō*) / *-n-* (lat. *magnus*) / **-y(e)s-* (lat. *magis*)³⁸, le suffixe consonantique **-h₂-* de gr. *mégas*, *méga* (alors dans sa variante de sandhi antéconsonantique) ne survivant que par l'anaptyxe (**megh₂-^os*), trace laissée par la laryngale après elle devant consonne, et non avant elle, devant voyelle comme dans le cas de **m(e)g-h₂i-* > **m(e)khi-*, par assimilation à la consonne précédente. Gr. *ánthrōpos* a un *-th-* d'épenthèse (en regard du *-d-* de *andrós*) provenant aussi de l'action de **h₂*. C'est un composé **h₂nr-h₃-k^wo-* «de la classe des hommes, humains», à sandhi interne **-rh₃-* > *-rō-*, à second membre «œil, visage devenu indice classificatoire, à premier membre nom de l'homme»; le traitement de celui-ci y est comparable à celui des groupes du type **-sn-* en grec, en sifflante, spirante comme les laryngales, et

³³ Ernout-Meillet, s. u. *trux*.

³⁴ LEIA, s. u. *tru*.

³⁵ Adams, 1999, 293–294.

³⁶ Bader, 1999a, 374–376.

³⁷ Bader, 1999a, 355–356; apparenté, *Akhaioi* < **mgh₂-ew-yo-*.

³⁸ Hamp, 1994.

nasale ou liquide, du type *-sn-* > *-nh-*, avec assourdissement de la sonante par le souffle sourd issu de *s et report d'aspiration de ce dernier³⁹: **h₂n-*⁴⁰ > *-nh-*, avec nasale assourdi par **h₂* et report de l'aspiration de celle-ci, d'où l'épenthèse en *-th-*; dans la flexion, la forme des cas forts, **h₂ner-*, à prothèse et, par suite, à syllabation *aner* garde à la nasale son caractère de dentale sonore; l'opposition entre celle-ci et la nasale sourde suivie d'aspiration phonétiquement attendue aux cas faibles (comme dans *ánthrōpos*) est nivelée morphologiquement dans la flexion au profit de la première (*andrós*, etc.).

3.2.2. Dans le détail, les évolutions phonétiques des groupes **-th₂-* (dont l'occlusive a un point d'articulation distant de celui de la laryngale) et **-gh₂-* ne posent pas exactement les mêmes problèmes. Dans le premier, l'évolution est **-th₂-* > **-th-*, conservé en sanskrit et en grec (sauf nivellements morphologiques du type de gr. *hístatai*, cf. *histāmi*, en regard de *tisthati* < **sth₂-e* ou de gr. *platús*, cf. skr. *prthú-*, à côté de *Plataiai* < **pl₁th₂-ew-yo-*, où la coloration vocalique entraîne la chute précoce de **h₂*, cf. hitt. *tarawar*, § 2.2.2.2.1); **-th-* / **-t-* ailleurs, par neutralisation de l'opposition **-th-* / **-t-* au profit de la sourde aspirée, de rendement phonologique supérieur (cf. skr. *tisthati*, *tasthé* / lat. *sistit*, *stetī*; skr. *pathi-kṛt-* / lat. *ponti-fex*⁴¹; etc, il en va de même pour le groupe à sourde labiovélaire, **-k^wh₂-* skr. *sákhi-*, lat. *socius* non **soqui*us comme on l'attendrait d'un dérivé **sok^w-yo-*, -*c-* au lieu de -*qu-* gardant trace de la laryngale⁴². Les résultats semblent identiques pour **-gh₂-* > **-kh-* (gr. *Akhi-*) > *-k-* (got. *mikils*, où *-k-* < **-kh-* a un traitement différent de **k* > *h*). Mais on ne peut savoir si la sourde donnée par la graphie géminée de hitt. *mekki*⁴³ est ou non aspirée, ni, surtout, quel est le rapport de **h₂*, spirante sourde aspirée, aux graphies gr. *khi*, skr. *-h-*, qui notent par ailleurs un phonème comparable, mais issu des anciennes sonores aspirées: ces graphèmes continuent-ils directement **h₂* à la manière du cunifforme *h* ? ou proviennent-ils de la spirantisation d'une ancienne occlusive? Les allitérations d' Il.7.85, *óphra he tarkhúsōsi kārē komōōntes Akhaiōi*, pourraient jouer entre spirante et occlusive sourde, ou entre occlusives sourdes aspirée et non aspirée. Cependant, le parallélisme du groupe en de le **th₂*, à *-th-* spirant en grec, nous fera opter pour une évolution phonétique de **-gh₂-* > *-kh-*, occlusive, spirantisée en grec et sanskrit (donc, ne notant pas directement l'ancienne laryngale), désaspirée ailleurs, où **kh* > **k*, occlusif.

3.2.3. Comparables à ceux de **m(e)gh₂-*, les aboutissements de *trh₂-* posent les mêmes problèmes, susceptibles des mêmes solutions. En tout état de cause,

³⁹ Lejeune, 1972, 121.

⁴⁰ Bader, 2001a: traitement de **n* > **an* après laryngale comme avant.

⁴¹ Campanile, 1982.

⁴² Mais pour Leumann, 1977, le -*c-* de *socius* vient du traitement de *-k^wy-*.

⁴³ Melchert, 1984, 26, 88, 126, 139, 153.

**lark(h)-* de **trh₂-* ne résulte pas du traitement d'un groupe comme **-gh₂-*: son occlusive vient d'une résistance morphologique à l'amuïssement de **h₂*, plus apte que la métathèse (intérieure comme elle, mais dont l'action n'est que dilatoire à la chute du phonème comme consonne à entraver la démotivation des dérivés et leur passage au statut de radicacaux (types *trūpāō*, et déjà *trūkhō*. On pourrait trouver à cela des exemples parallèles dans la famille de **krh₂-* «donner des coups»⁴⁴. Indiquons seulement ici que le substitut occlusif s'est morphologisé dans *trūkhō* et dans le type gr. *nēkhō*⁴⁵.

4. La racine «traverser» a donné lieu à bien des évolutions sémantiques, comme en témoignent nombre de termes cités jusqu'ici pour leurs formes. Et on étudiera, pour finir cinq de ses champs sémantiques: techniques; ciel; eaux; terre chthonienne; espace terrestre, avec ses eaux, qu'on traverse pour migrer.

4.1. Les techniques sont celles de la «tarière» (v. irl. *tarathar*, lat. *terebrā*, gr. *tērettron*), du «tenon, clou» (gr. *tórmōs*, hitt. et louv. *tarma* / i-: **-rh₂m-* > **-rrm-* > *-rm-*; v. irl. *tairnge*, gaul. *tarinca* < **trh₂i-n-ka*), d'où par métaphore le «termite» (§ 2.2.2.4.1), mais aussi, dans le domaine du tissage, *troia*; *hē krókē* «trama» «traversée» par le «traverseur», «fil», *trōa*: *harpedónē* (grâce à la navette), correspondants formels (**troh₂-ya* (**-h₂y-* > -(y)y-), et **troh₂-(s)-*) des toponyme et ethnique noms de «Troie» et des «Troyens», témoins onomastiques de l'emploi de la racine pour l'aboutissement «victorieux» de la «traversée» migratoire, § 4.6. Des techniques qui impliquent fait de tourner, usure, frottement sont sémantiquement issues les notions contenues dans gr. *tórnōs* «tour, compas de charpentier, mouvement circulaire», *kuklotērēs* «qui tourne comme une roue», lat. *terō*, v. sl. *tryti*, gr. *tru(w)ō*, *trībō*, lit. *trinù*, *trinti* «user, frotter, écraser», *trūniu*, *trunēti*, «se corrompre, s'affaiblir»; etc. En dehors des techniques, l'espace «traversé peut être celui du ciel, des eaux, de la terre.

4.2. La foudre «qui traverse» le ciel donne son nom au dieu de l'orage⁴⁶, lyc. *Trqgñt-*, participe de **trh₂-*, gaul. *Taranis*, à infixé suffixalisé (§ 2.2.2.4.4), et sur le dérivé en -u-, louv. *Tarhu-nt-* (participe du présent dénominatif, § 2.2.2.2) *Tarhunna-* (dérivé d'appartenance-détermination en **-h₂-no-*, avec **-h₂n-* > *-nn-*, en regard du traitement par chute de **h₂-* et allongement compensatoire qu' a le type lat. *Portūnus*, de même origine). Grand dieu, le dieu de l'orage, à la foudre «qui traverse», est en même temps «puissant», par une évolution sémantique qui résulte de la victoire sur les difficultés de la traversée.

4.3. La traversée comporte en effet des risques: «puissions-nous par des voies aisées traverser (*tarema*) tous les points difficiles, trouver aujourd'hui même un

⁴⁴ Bader, 1998.

⁴⁵ Chantraine, 1958, 230–231.

⁴⁶ Bader, 1999b.

gué vers le large», dit R.V. 10.113.10 (trad. Renou)⁴⁷. Et, si certains sens viennent des techniques (§ 4.1), la «victoire», si fréquente dans les formes de **trh*₂-, et qui a fini par être appliquée à tous ses champs sémantiques, est à l'origine celle qui est remportée sur les difficultés de la traversée: «vaincre» a pu donner naissance à «pouvoir, être capable de, être puissant», et par ailleurs à «terrasser, abattre (ses ennemis)», cf. skr. *tarād-dveṣa-* (Indra), § 2.2.2.4.3. La «victoire» sur les difficultés de la «traversée» ne peut être obtenue que si l'on a été à son «terme» (gr. *térma*, etc.); et la diathèse factitive «faire traverser» rend compte du sens «sauver» de skr. *trāti*, *trātī-*, etc., et de celui de «laisser, permettre» de hitt. *tarna-*; mais en cas d'échec, on abandonne, d'où AB *tārk-* «congédier» = «abandonner» en même temps que «mettre un terme à»; etc.

4.4. Aux eaux se rapportent les formes issues de **trh*₂-*ént-*, nom du golfe de Tarente, gr. *Táras*, -antos, lat. *Tarentum*, skr. *tarantá-* (§ 2.2.2.4.3), ainsi que skr. *tāra-* «traversée (des eaux)», *su-taranān*. . . *sindhūn*; «fleuves faciles à traverser». De là, des noms de fleuves, comme le *Tiārēsios*, affluent du Pénée et branche du Styx, Il. 2. 751–755⁴⁸, ou d'autres comme *Taranis* (nom identique à celui du nom gaulois du dieu de l'orage), affluent de la Garonne, forme à anaptyxe du nom de celle qui en est dépourvue, *Tarnis* «Tarn» *Tar-dubius*, *auj. Terdebbio* (Tessin); *Tartarus* (*auj. Tartaro*), Plin., N.H. 3.121; Tac., Hist. 3.9, *Tarus* (*auj. Taro*), Plin. N.H. 3.118; *Taravos*, petit fleuve de Corse, de **trh*₂-*ew-o-*, cf. le toponyme *Taravus*, *auj. Tharoux* (départ. du Gard)⁴⁹. Le nom propre peut être celui d'une ville, au bord d'un fleuve à traverser, comme gaul. *Taruscō* «Tarascon», à rapprocher du nom des *E-truscī*, avec un phonétisme plus ancien de **trh*₂-*u-s-*, comme dans *Tarus-ātēs*, nom d'un peuple d'Aquitaine, alors que *Trusci-ācus* (*auj. Drugeac*, départ. du Gard) a chance de reposer sur la même forme à métathèse que *Etruscī*, *Etrūria*. Il n'est guère possible de dire si *Terentius* (à côté du plus ancien *Tarantius*) a un rapport avec le fait que TERENCE a traversé la mer, puisqu'il venait d'Afrique: sans qu'on puisse toujours les analyser sémantiquement, un certain nombre d'anthroponymes ont chance d'être des «Victorieux» (cf. § 4.6) d'une traversée qui, au moins pour certains d'entre eux est une traversée migratoire, s'agissant p.ex. de l'indien *Turvāśa*, à qui Indra a fait traverser mer et rivières (§ 4.7) ou des *Tyrsēnes* / *Tuscī* / *Etruscī* venus par mer.

4.5. En la mort se conjoignent une «traversée» de l'espace-temps, espace qui est la terre chthonienne en laquelle est creusée la tombe, et temps de la vie d'un être qui a un «terme», mais temps pérenne grâce à la victoire remportée sur

⁴⁷ Renou, 1955.

⁴⁸ Ballabriga, 1986, 58–59.

⁴⁹ Formes gauloises prises chez Holder, 1904. Relevé non exhaustif; pour d'autres noms, voir p. ex. Krahe, 1925, 100–101; 1955, 112; 294.

la mort par l'immortalité que confèrent au disparu le non-oubli des vivants et, peut-être, la survie de l'âme aux Enfers (§ 4.5.2).

4.5.1. A ce champ sémantique appartient lat. *tarentum*, issu, en un autre emploi, de la forme qui s'est appliquée à la «traversée» des eaux, § 4.4, et à ses correspondants formels, participes hitt. *tarhant-*, skr. *tirānt-*, *tārant-*, nom du dieu de l'orage *Trqḡnt-*, etc., **trh₂-ént-o-*. Lat. *tarentum* a deux emplois⁵⁰. Glosé «*sepulchrum*» par Varron, L.L. 6. 23–24⁵¹, c'est le nom de la «tombe» de la mère adoptive des jumeaux romains, *Acca Larentia* (dont le nom a un lien phonologique fort avec *tarentum*)⁵²; et c'est le nom d'un lieu cultuel (situé au champ de Mars), comportant à une vingtaine de pieds sous terre, un autel dédié aux divinités chthoniennes Dis pater et Proserpine; en ses deux emplois, *tarentum* se rapporte donc à la «traversée» de la terre chthonienne. S'y joint la «traversée» du temps pour les siècles des siècles: d'une part, la cérémonie relative au lieu cultuel, auquel elle doit son nom de *ludi tarentini*, est célébrée un fois par siècle — durée idéale de la vie humaine dans la tradition i.e. -, ce qui lui vaut son autre nom de *ludi saeculārēs*⁵³; d'autre part, l'écriture pérennise le nom, celui de la morte, *Acca-s* (gén.), dans l'építaphe; celui du curateur du monument dans la dédicace, Publius Valerius Publicola.

4.5.2. Le grec possède cinq formes de ce champ sémantique de la mort L'une est le nom du mythique *Tártaros*, identique à celle du fleuve d'Italie homonyme (§ 4.4), forme à redoublement de **trh₂-o-*. Le mythe hésiodique du Tartare se rapporte bien à une «traversée» spatio-temporelle: Thg., 721–25 (trad. Mazon), «une enclume d'airain tomberait du ciel durant neuf jours et neuf nuits, avant d'atteindre le dixième jour à la terre; et, de même, une enclume d'airain tomberait de la terre neuf jours et neuf nuits avant d'atteindre au Tartare»; en d'autre termes, l'espace-temps est celui de l'éternité, par le temps cyclique opposé au temps fini sur terre de ceux qui sont aux Enfers: en une énigme arithmétique, comme en

⁵⁰ Watkins, 1995.

⁵¹ Vetter, 1958.

⁵² Avec une paire phonologique *ā* (*tarentum*) / *ā* (*Lārentia*, comme dans *Lāriſsa*, non *Lāres*). La raison d'être de ce doublet m'échappe; mais il s des parallèles, dans lesquels le changement d'une consonne est relié à un changement de concept: cf. les noms du dieu de l'orage en **trh₂-*, **per-(h₂ *kerh-*; des Pléiades, *peleiades* «Colombes» de **plh₂-* «migrer», et *pleiades* de **plh₁-* se rapportant à la «plénitude» de l'année; de la «mandragore», *dir kaia* et *kirkaia* parce qu'elle est employée par Circé; des tadornes, *khēnel pes* et de *Pēnelopē*; des *Pélasges*, devenus *Pélarges* en Attique, d'un nom appartenant au lexique grec, «cigognes»; de la source *Delphousa* et *Télphou* deux noms se rapportant à l'embryon et à l'enfouissement (**g^hhel-bh-* et **dhel-bh-*); etc.; autres exemples, encore, chez Bader, 1999b.

⁵³ Frazer, 1929, t.II, 191–200; Scheid, 1997, 103.

offrent d'autres auteurs grecs⁵⁴, l'éternité est définie par 9, deux fois (*addition* et *multiplication* = 18 (jours et nuits) soit le vingtième (*fraction*) d'une année solaire de 360 jours; d'autre part, 10 (jours et nuits) donnent la différence (par *soustraction*) entre les 360 jours de l'année solaire et les 350 jours de l'année lunaire; la solution de l'énigme est donnée par le *eniautós* de 740, «année qui revient une et même», malgré les *divisions*: jour et nuit, soleil diurne et lune nocturne, «terre noire et Tartare brumeux, mer inféconde et ciel étoilé (737–738), éternité cosmique et mort des hommes, La racine **trh₂-* est héritée pour la «traversée» de la mort, comme en témoigne skr. *tarāni mṛtyūm* «(by that rice-mess) let me overpath death»⁵⁵. Les deux éléments de ce syntagme **trh₂-mr-* sont distribués en Grèce dans deux noms qui font couple, le *nek-tar* (composé à second membre **-trh₂-* nom — racine > **-tarh₂* > **-tarr* > *-tar*) et l'*ambrosie*, en lesquels se répartissent le «cadavre», **nek-*, et la «mortalité», **mr-*. Entre ces deux termes dont le premier, *néktar*, appartient au champ sémantique ici étudié, Homère enserre les trois exemples de *tarkhūō* dans l'Iliade, en donnant implicitement la bonne étymologie de *néktar* par le *nekun* ... *tarkhūsōsi* d'Il. 7.84–85 du premier et les *ambrosiēi*... *ámbrota* du dernier, 16.670; ce faisant, il met en rapport l'immortalité des dieux et l'immortalité des morts⁵⁶, par les trois procédés que définissent les trois exemples de *tarkhūō*, dénominateur factitif en **-h₂-* (cf. note 32) de l'adjectif en *-u-*, **trh₂-u-*, «rendre victorieux de la mort: non-oubli des vivants qui procèdent à des funérailles destinées à pérenniser le souvenir du mort, par les deux sēma du premier, «tombeau» et «épitaphe» (comme dans le cas de *tarentum Accas*, § 4.5.1); possibilité de survie de l'âme du mort, dans le second, et, dans le troisième, embaumement de son corps, nécessité par la longue traversée de Troade en Lycie pour Sarpédon (et par la canicule pour Patrocle et Hector)⁵⁷. Après le Tartare, le nectar, et ce verbe de funérailles, la quatrième forme de **trh₂-* dans le champ sémantique de la mort est en grec *tarikh*-⁵⁸ «momie» et «poisson séché», deux formes de survie d'un cadavre, extérieurement si liées qu'en 1880

⁵⁴ Voir Dies, 1933; 1936; De Strycker, 1937; Endres-Schimmel, 1993, 272; Bader, 1997c.

⁵⁵ Schmitt, 1967, 190.

⁵⁶ Bader, 2001c.

⁵⁷ J'étudierai ailleurs l'embaumement, par «ambrosie» et «nectar» de ces héros.

⁵⁸ Bibliographie chez Boisacq, 1916, s. u. *tarkhuō* sur le lien étymologique judicieux, entre ce dernier et *tarikh*-. De plus modernes relient *tarkhuō* à lyc. *Trqḡt̃*-, sous prétexte que ce dernier est un théonyme lycien, et que *tarkhuō* est employé pour le général lycien Sarpédon; mais outre que le SENS («faire un héros de, traiter comme un dieu») n'est pas satisfaisant, l'un des trois exemples du verbe, le premier, est employé pour Hector, et la dorsale n'est pas propre aux seuls *Trqḡt̃*- et *tarkhuō*. Le lycisme volontaire d'Homère est ailleurs, dans le s- de *Sarpédon*, non grec en regard du h- de *Harpaliōn*, qui code la même conception de la mort comme «rapit».

l'octroi du Caire taxa des momies comme poissons séchés⁵⁹; et la cinquième forme grecque est le *trikhōsai*: *thāpsai* d'Hésychius, de valeur factitive («faire traverser») comme *tarkhūō* («rendre victorieux de la mort»), lui par sa formation en -ōō.

4.6. Le dernier des champs sémantiques de **trh₂-* ici abordé est celui de la «traversée» de l'espace terrestre qu'est la traversée migratoire, dans ses résultats et modalités. S'y conjoignent divers des sèmes ici analysés pour **trh₂-*. Elle est «victorieuse» quand elle a mis un «terme» aux errances, en un établissement apte à résister aux voisins hostiles à ce «qui ont traversé des frontières», cf. gaul. *Brogi-taros*, § 2.3, et sont devenus «puissants»: cet établissement est une place-forte: ainsi, *Troie* (§ 4.1) qui a une acropole naturelle (*Ilion aipeinēn*, Il., 15.558, etc.), devenue fortifiée avec une citadelle (*pūrgon*, 8.386) et des murailles (*teikhea*, 20. 295), protégeant une terre de culture (*enbōlax*, 6.315, etc.).—celle-ci et citadelle expliquant la dualité des noms d'*Ilion*, la «prairie»⁶⁰, et de *Troie* la Victorieuse de la traversée, sa citadelle⁶¹; ainsi, encore, *Tūrša* / *Tūrra*, où Gygès prit le titre de *turannos* (Et.M. 771.55), «ville lydienne «Citadelle aux tours», cf. gr. *tūrsis*, lat. *turris*; avec raison, les Anciens rattachaient à ces noms celui des *Tursènes* (D.H. 1.28.2, etc.), «peuple des tours»⁶², marque de leur victoire sur les difficultés de la traversée. Les modalités de cette dernière comportent une «traversée» des eaux, mer (skr. *tarantā-*; nom de *Tarente*), et fleuves avec leurs gués, parfois redoutables comme le Rhône à *Tarascon*, ou, à *Troie*, le Scamandre qu' Achille doit affronter au chant 21 par son ordalie dans l'eau du fleuve; ce n'est pas par hasard que les *Troyens* se sont établis à une croisée de fleuves, Scamandre et Simois, que *Tarse* est au bord du Cydnos, que *Pyrgi* est un port.

4.7. Les Tyrsènes qui prirent en Italie les noms de *Tuscī*, *Etruscī*, sont venus par la mer (et ont fait partie des Peuples de la Mer)⁶³. L'indien *Turvāśa*, lui a été amené avec *Yadu*⁶⁴ à travers les rivières et la mer par Indra, patron des

⁵⁹ Dunand-Lichtenberg (s. d.), 22.

⁶⁰ Voir Puhvel pour hitt. *wellu-*, gr. *Ēlusion pedion*; Watkins, 1986, pour *Wilusa*, nom louvite d'Ilion.

⁶¹ De même l'*Argos* du Péloponnèse, dont le nom est compris par les Anciens comme «plaine», a une *Lārissa* «Citadelle».

⁶² Biquel, 1997.

⁶³ Sandars, 1978.

⁶⁴ Dépourvu d'étymologie, *Yadu-* peut venir de **h₁y-nd-u-*, adjectif verbal en *-nd- (à cote du *-nt- de skr. *yat-*, etc.) de la racine «aller», **h₁y-*, avec, de plus, un suffixe *-u- qui, dans l'anthroponymie grecque, a le degré plein *-eu-, cf., e.g. *Eikad-eus*. Si ce dernier était apparente à lat. *uincō* et non à gr. *eikō* «reculer», ni à *eikōn*, de la famille de *éōika*, il offrirait la même notion de «victoire» que les deux noms indiens, parfois associés en un dvandv *Turvāśayadu*; en composé ou en groupe, ces deux noms sont à comparer à skr. *Turvīti-*, composé des mêmes lexèmes, **trh₂-* et **h₁i-* (§ 2.2.2.2.1); analysé plus haut comme *bahuvrihi* («à la venue victorieuse»), ce composé pourrait être

migrations aryennes, selon des traditions qui peuvent se rapporter à la préhistoire de ces dernières, les deux héros étant devenus éponymes de deux tribus aryennes⁶⁵. Or au nom de *Turvása-*, auquel est apparenté celui de gaul. *Turancus* (§ 2.2.2.4.2) sont apparentés les noms des Etrusques et de certains de leurs éponymes:

**tr₂u-s-ko-* > *E-truscī* **tr₂-s-ko-* > *Tuscī*, cf. *Turs-ēnoi*
 **tr₂w-ŋ-ko-* > *Turvása* **tr₂-ŋ-ko-* > *Turancus*

les uns sur **trh₂u-s-*, avec métathèse (-*truh₂-s-*: *E-trūria*), ou sans (*Turvása-*), les autres sur **trh₂u-n-*, deux formes élargies du thème en -*u-* (§ 2.2.2.1), ou sur les dérivés en *-*s-* et *-*n-* de **trh₂-* (§ 2.2.1; 2.2.2.4.2). En *Turvása-* sont unies deux formations, *-*n-* et *-*ko-*, distribuées en étrusque entre les ethniques d'Italie, en *-*ko-* (*Etruscī*, *Tuscī*), et les anthroponymes, aptes à être des éponymes:

**trh₂u-n-* > *Tarcun-ia* **trh₂-ōn-* > *Tarxōn*, *Tarcō*.

Ce dernier, frère du *Tyrrhénos* venue de Lydie et éponyme de la *Tyrrhénie*, est l'éponyme de *Tarcunia*, d'où vient *Tarquinius* (de **trh₂-ui-*, cf. § 2.2.2.1). D'étymologie i. e. par leur appartenance à la racine **trh₂-*, tantôt sous sa forme ancienne, tantôt sous celle du doublet en *-*kh-* (§ 3.1), et de fonction éponymique i. e. par leur rapport étymologique à skr. *Turvása*, ces noms étrusques de conquérants indo-européens devront faire l'objet d'une autre étude⁶⁶.

Bibliographie

Adams, Douglas Q.

1999 A Dictionary of Tocharian B. Amsterdam-Atlanta, G. A.: Rodopi.

Bader, Françoise

1975a Adjectifs verbaux hétéroclitiques (-*i-* / -*nt-*, -*u-*) en composition nominale. RPh 49/1, 19–48.

1975b La loi de Caland et Wackernagel en grec, in: Mélanges linguistiques offerts à E. Benveniste. Paris: Collection de la Société de Linguistique de Paris, 19–32.

1988 Génitifs-adjectifs et dérivés d'appartenance d'origine pronominal HS 101, 173–210.

aussi coordonnant, et signifier, comme *Turvasāyadu-* (*Turvasa-* (et) *Yadu-*) «qui traverse et vient», victorieux: le *uēnī*. . . *uīcī* de César peut représenter le même concept.

⁶⁵ Macdonell, 1897, 64.

⁶⁶ Bader, 2001c.

- 1990 Traitements de laryngales en groupe: allongement compensatoire, assimilation, anaptyxe, in: *La reconstruction des laryngales*, J. Kellens éd. Liège: Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres—Paris: Belles Lettres, 1–47.
- 1997a Actif et moyen dans le verbe, in: *E. Benveniste vingt ans après. Actes du Colloque de Cérisy*. M. Arrivé et Cl. Normand éd., N° spécial de LINX, 41–59.
- 1997b Principes de méthode étymologique, in: *Atti del Convegno della S. I.G., «L'indeuropeo: prospettive e retrospettive»* (Milan: IULM). Rome: il Calamo, 31–80.
- 1997c Les calendriers perpétuels d' Hésiode et d' Homère, la table de Pythagore, le cycle de Méton, l' âge de la mort d' Ulysse et l' épitaphe de Patrocle, in: *Scritti in memoria di E. Campanile*, M. P. Bologna, F. Motta, C. Orlandi éd. Pise: Pacini, 61–110.
- 1998a Le nom de la «corne» et ses métaphores dans les langues i. e. anciennes, in: *Mélanges de linguistique et de littérature anciennes offerts à Cl. Moussy*, B. Bureau et Chr. Nicolas éd. Louvain-Paris: Peeters, 3–13.
- 1999a Les Grands de l' Iliade et les Achéménides. REG 112, 337–382.
- 1999b Des Pléiades à *Vṛtra-han-*, au loup-garou et à l' orage: l' hermétisme étymologique des poètes, in: *Essays in Poetics, Literary History and Linguistics presented to V. V. Ivanov*. Moscou: OGI. 473–487.
- 2001a Diathèse et aspect dans quelques présents grecs à nasale (à paraître dans les *Mélanges D. Cohen*).
- 2001b L' immortalité des morts (à paraître dans les *Mélanges H. Rosén*).
- 2001c Noms de conquérants i. e. en étrusque (à paraître dans les *Mélanges de Simone*).

Ballabriga, Alain

- 1986 *Le Soleil et le Tartare. L' image mythique du monde en Grèce archaïque*. Paris: EHESS.

Benveniste, Emile

- 1935 *Origines de la formation des noms en indo-européen*. Paris: Maisonneuve.
- 1948 *Noms d' agent et noms d' action en indo-européen*. Paris: Maisonneuve.
- 1962 *Hittite et indo-européen*. Paris: Maisonneuve.

Boisacq, Emile

- 1916 *Dictionnaire étymologique de la langue grecque*. Heidelberg: Winter—Paris: Klincksieck.

Briquel, Dominique

- 1997 Les Tyrrhènes, peuple des tours. Rome: Ecole française.

Campanile, Enrico

- 1982 Sulla preistoria di lat. pontifex. SCO 33. 291–97.

Chantraine, Pierre

- 1958 Grammaire homérique I: Paris: Klincksieck.
1967 Exemples de la loi de Caland, in: Beiträge zur Indogermanistik und Keltologie J. Pokorny... gewidmet, W. Meid éd. Innsbruck: IBS 13. 21–23.
1968–1990 Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. Paris: Klincksieck.

De Strycker, E.

- 1937 Une énigme mathématique dans l'Hippias majeur, in: Mélanges E. Boisacq = Annuaire de l'institut de philologie et d'histoire orientales et slaves 5. 317–326.

Dies, Auguste

- 1933 Le nombre nuptial de Platon (Rép, 546 B/C). CRAI, 228–235.
1936 Le nombre de Platon. Essai d'exégèse et d'histoire. Extrait des Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres. Paris: Imprimerie Nationale.

Duchesne-Guillemin, Jacques

- 1936 Les composés de l'Avesta. Liège: Faculté de Philosophie et Lettres. — Paris: Droz.

Dunand, Françoise — Lichtenberg, Roger

- s. d. Les momies. Un voyage dans l'éternité. Paris: Découvertes Gallimard.

Endres, Franz Carl — Schimmel, Annemarie

- 1993 Das Mysterium der Zahl. Zahlensymbolik im Kulturvergleich. München: Diederichs.

Ernout, Alfred — Meillet, Antoine

- 1959 Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots, 4^{ème} éd. par J. ANDRE. Paris: Klincksieck.

Frazer, Sir James Georg

- 1929 Publius Ovidius Naso Fastorum libri sex. Londres: Macmillan.

Gusmani, Roberto

- 1964 Lydisches Wörterbuch. Heidelberg: Winter.

Hajnal, Ivo

1995 *Der lydische Vokalismus*. Graz: Leykam.

Hamp, Eric

1994 *The laryngeal heteroclites*, in: *Festschrift für K. H. Schmidt*. R. Bielmeyer & R. Stempel éds. Berlin—New York: de Gruyter, 35—40.

Holder, Alfred

1904 *Altceltischer Sprachschatz*. Leipzig: Teubner.

Janda, Michael

1996 *Das Einsperren der Totengeister: homerisch tarkhúō*. *Die Sprache* 38/1, 76—86.

Krahe, Hans

1925 *Das alten Balkanillyrischen geographisches Namen*. Heidelberg: Winter.

1955 *Die Sprache der Illyrier I*. Wiesbaden: Harrassowitz.

Lamberterie, Charles de

1990 *Les adjectifs grecs en -ys. Sémantique et comparaison*. Louvain: Peeters.

Laroche

1960 *Les hiéroglyphes hittites I. L'écriture*. Paris: CNRS.

L. E. I. A. = Vendryes, Joseph—Bachellery, Edouard—Lambert, Pierre-Yves

1959 *et suiv.: Lexique étymologique de l'irlandais ancien*. Dublin Institute for advanced Studies. Paris: CNRS.

Lejeune, Michel

1972 *Phonétique historique du mycénien et du grec ancien*. Paris: Klincksieck.

Leumann, Manu

1977 *Lateinische Grammatik I*. Munich: Beck.

Macdonell, Arthur Antony

1897 *Vedic Mythology*. Strasbourg: Trubner.

Martinet, André

1950 *Le vocalisme -o- non apophonique en indo-européen*, *Word* 6. 205—216 = 1964: *Economie des changements phonétiques*. Berne: Frake. 212—234.

Mayrhofer, Manfred

1986—1999 *Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen*. Heidelberg: Winter.

Melchert, H. Craig

- 1984 Studies in Hittite historical phonology. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
1993 Cuneiform Luvian Lexicon. Chapel Hill, N.C.
1994 Anatolian historical phonology. Amsterdam—Atlanta: Rodopi.

Oettinger, Norbert

- 1979 Die Stammbildung des hethitischen Verbums. Nuremberg: Hans Carl.

Puhvel, Jaan

- 1968 Meadows of the Otherworld in I. E. tradition. ZVS 83. 69 = 1981: *Analecta Indoeuropea*. Innsbruck: IBS 35. 210–215.

Renou, Louis

- 1955 Les pouvoirs de la parole dans le Rg Veda. E.V.P.I. 1627, Paris: de Boccard.

Rikov, Georgi T.

- 1995 I. E. $*h_2$ and $*h_3$ before *y* and *i* in Hittite, in: Kuryłowicz Memorial Volume I. Cracow Universitas. 187–190.

Risch, Ernst

- 1974 Wortbildung der homerischen Sprache. Berlin—New York: Walter de Gruyter.

Rix, Helmut

- 1995 Griechisch epistamai. Morphologie und etymologie, in: *Festschrift für Kl. Strunk*. Innsbruck: IBS, 237.
1998 *Lexicon der indogermanischen Verben*. Wiesbaden: Reichert.

Sandars, N.K.

- 1978 The Sea People Warriors of the ancient Mediterranean 1250–1150 B.B. Londres: Thames & Hudson.

Scheid, John

- 1997 L'écrit et l'écriture dans la religion romaine: mythe et réalité, in: *Lire l'écrit. Textes, archives, bibliothèques dans l'antiquité. Ateliers 12. Cahiers de la maison de la recherche. Université. Ch. de Gaulle. Lille III.* 99–108.

Schmidt, Karl Horst

- 1957 Die Komposition in gallischen Personennamen. Tübingen: Niemeyer.

Schmidt, Klaus T.

- 1988 Stellungsbedingte Konsonantisierung von $*h_2$ im Tokharischen, in: *Die Laryngalthorie und die Rekonstruktion des indogermanisch Laut-*

und Formensystems. A. Bammesberger éd. Heidelberg: Winter. 471—480.

Schmitt, Rüdiger

1967 Dichtung und Dichtersprache in indogermanischer Zeit. Wiesbaden: Harrassowitz.

Schwyzler, Eduard

1959 Griechische Grammatik I. Munich: Beck.

Shields, Kenneth

2000 Some comments about the Hittite Numerals 3, in: Studies on the Pre-Greek Languages in honor of Charles Carter, Y. L. Arbeitman éd., Louvain—Paris: Peeters, 211—219.

Tischler, Johann

1977 et suiv.: Hethitisches etymologisches Glossar. Innsbruck: IBS 20.

Vetter, Emil

1958 Zum Text von Varros Schrift über die lateinische Sprache Rh. M. 10L. 257—285; 289; 323.

Watkins, Calvert

1986 The language of the Trojans = 1994: Selected Writings II. Innsbruck: IBS 80. 700—717.

1995 Latin *tarentum Accas*, the *ludi saeculares* and I. E. eschatology, in: How to kill a Dragon. Aspects of I. E. Poetics. New York—Oxford: O. U. P. 347—356.

Weitenberg, Joseph Johannes Sicco

1984 Die hethitischen u-Stämme. Amsterdam: Rodopi.

Werba, Chlodwig H.

1995 Verba indo-arica. Die primären und sekundären Wurzeln der Sanskrit-Sprache. Pars I: Radices primariae. Vienne: österreichische Akademie der Wissenschaften.

Henry M. Hoenigswald
(University of Pennsylvania)

Osthoff and Homer

In Homer and Hesiod constructs with monosyllabic, verse-final enclitics (and de-facto enclitics like *δέ*), beginning, as most of them do, with a consonant, fall into two sharply distinct classes. Where the host word ends in a long vowel plus -n the construct in question seems to occur freely. Examples are: *θεῶν τε* ||, or *μάχην τε* ||, or *ἔην γε* || ‘it was he’. The same is true of animate thematic accusatives plural in -ους and -ας (such as *θεούς τε* || and *στοναχάς τε* || ‘groanings’. These constructs, too, occur apparently without significant restriction.

On the other side of the ledger, the entire Homeric/Hesiodian corpus gives us at verse end just five good cases of the host word ending in a long vowel plus -s other than an accusative plural—in other words, of forms which had never had a nasal before the final -s, such as the gen. sg. ***μάχης τε* ||. In other words, *μάχην τε* || occurs; ***μάχης τε* || does (practically) not occur. *Ἀτρείδης τε* (... *δέ*) is quite normal further to the left (witness the familiar seventh line of the Iliad, || *Ἀτρείδης τε ἄναξ ἀνδρῶν*...), though it is prohibited in the sixth foot, with the nearly unique exception of Z 64 (... *Ἄ δέ* ||). Orthotone monosyllables are even more restricted than enclitic ones, inasmuch as both ***μάχης κῆρ* || and ***μάχης κῆρ* ||, ***θεούς κῆρ* || are excluded at verse end.

It is by now a matter of record that orthotone monosyllables (such as *κῆρ* ‘heart’) do not occur at end of line if they would make the preceding stretch not just long, but superlong (ie. culminating in a long vowel or diphthong followed by two or more consonants, or in a short vowel followed by three or more consonants)¹. There are only two deviant passages—one, with *Ζεύς*, in the Iliad, ... *αἶ κεν ἐμοὶ Ζεύς* ||², and one in the Odyssey, ... *ἀλλ’ ἄρα μιν φῶγῃ* ||—a minuscule number. That both these deviant cadences happen to have their word boundary between the first and the second nonsyllabic is probably an accident. On the other hand, the number of lines which conform by showing no more than simple length in the sixth foot (... *αἶ κέ ποθι Ζεύς* ||), vastly outnumber the two

¹ Henry M. Hoenigswald, «The prosody of the Epic adonius and its prehistory». *Illinois Classical Studies* XVI (1991), pp. 1–13.

² Zeta being the equivalent of a two-consonant cluster.

deviant scansion. What is more, the overall frequency of superlongs generated at word boundaries in other locations in the line is in no way involved.

Enclitic and de-facto enclitic constructs occupy the intermediate ground as seen from the two extreme configurations found in the cadence of the sixth foot. At one end we have word interior with its close phonological transitions, where all kinds of superlongs are commonplace: (οἶσθα ||, ἐφῆπται ||, ὄλωνται ||). At the other end we have a full, non-clitic break before verse-final orthotone monosyllabic words (where even **θεῶν κῆρ ||, **μάχην κῆρ || and **θεοὺς κῆρ ||, **στοναχὰς κῆρ || are forbidden). In the middle between the two we find hosts with their enclitics.

The dactylic hexameter is not the only meter where morph boundaries of graded magnitude can function as metrical breaks and condition such phenomena as the admissibility of resolutions in iambs and trochees and a good many others. All of them contribute, each in its own way, to the control and reduction of superlong syllables from the flow of poetic speech.

The findings reported above came as a surprise, but they make sense. It is well known that the end of the line tends to exhibit the meter in its purest and most uncompromising form and is therefore of special importance. The turns θεῶν τε and στοναχὰς τε have this in common that their shapes would be different if they were unitary words rather than hosts with their clitics. Osthoff's Law, it could be surmised, would reduce θεῶν τε to **θεόν τε, just as προκῶν νῆσος 'island of the deer (pl.)' became Προκόννησος upon coalescing into one word, the way the name of the Hellespont did.

Here a digression is in order. In addition to the rules we have so far discussed, there is another, equally powerful rule, well known at least since Karl Meister — a rule against spondees in the fifth foot that are word-final (κρη̄ λευκόν || is an isolated exception³). The phrase Ἑλλης πόντος escaped Meister's rule by becoming a compound and going to Ἑλλη̄σποντος first. In unitary words like ζωρηχθέντων || spondaic line endings are quite common.

Returning to where we left off: just as θεῶν τε || could be credited to Osthoff's Law, so also the accusatives *-ons +k^we, *-ans +k^we could be expected to end up as -ος τε; so that we would have στοναχὰς τε, with a short *a*, i.e. the host word with a final syllable long, but not superlong, by position. This recalls the word-interior phonology of such words as κεστός 'embroidered' (< *κενστός < *κεντ-τός; cp. κεντέω 'prick'). The behavior of *-o(n)s k^we *-a(n)s k^we mirrors that of the proclitic definite article at Gortyn in Crete, where it is τὸνς ἐλευθέρους (when the host begins with a vowel — ἐλευθέρους) but τὸς καδεστόνς 'the relatives' (when the host begins with a consonant — καδεστόνς).

³ Karl Meister, *Die homerische Kunstsprache*. Leipzig 1921 [repr. Darmstadt 1966], pp. 8–9.

Much of this is no longer very new although it can still stand some systematizing. It also raises further questions that demand an answer. We mentioned Osthoff's Law. On the face of it, Osthoff's Law is a simple sound-change — perhaps a 'natural' sound change, if that is a recommendation. Nevertheless, Osthoff's Law is elusive. There has always been controversy on how to formulate it. Sixty years ago, Schwyzler had this to say, apropos of early Greek:

No one disputes the abridgement of long vowels before liquid or nasal plus a following consonant. However, reliable material is scarce⁴.

In particular, the treatment of these improper 'long diphthongs' with liquids or nasals in the second position tended to become separated from that accorded to the shortening of long diphthongs in which the semivowels *y* or *w* take the place of the liquid or nasal. Johannes Schmidt wanted to explain away Osthoff's Law of both kinds, improper and proper, but his radical scepticism was not generally shared. Most scholars end up with examples like *γρόντες*, nom. pl., (alongside *ἔγγυμεν* etc.); and *ἔγγον*, 3. pl., in Pindar, a form which was taken as proof that word-final **-t* was still in existence when the vowel was shortened. Furthermore, there are scattered and uncertain examples such as *πέρον* 'heel', a possible cognate to Skt. *pārṣṇi-* unless the latter is simply the *vrddhi* of a noun with a vowel that had always been short. There is also the loanword *Πέρονης* 'Persian' which has an *ā* at the source; but that *ā*, of course, is Iranian, and the idea that it was first borrowed with an Ionic long alpha and then shortened by Osthoff's Law is not altogether tidy.

Lejeune holds on to *γρόντες* and *ἔγγον*⁵. Sihler sides with Lejeune though he sees a complication, which, however, he dismisses summarily when he says:

... there is room for question about the historical status of a reconstruction like **γρόντες* [sic]; but the central point remains, namely, that a form like *γρόντες* cannot be the unaltered reflex of any thinkable etymon⁶.

On the matter of thinkability it is possible to disagree, though. Rix regards the participial stem of *γρόντος*, *-es* as the straightforward outcome of **gnéh₃-nt-*, with full-grade **e* and loss of the laryngeal between syllabics⁷. There may well be conflicting opinions on this point, but it takes more than assertion to refute it.

⁴ Eduard Schwyzler, *Griechische Grammatik*, I. München 1939, p. 279.

⁵ Michel Lejeune, *Phonétique historique du mycénien et du grec ancien*. Paris 1972, pp. 219.

⁶ Andrew Sihler, *New comparative grammar of Greek and Latin*. New York, Oxford 1995, p. 74.

⁷ Helmut Rix, *Historische Grammatik des Griechischen*. Darmstadt 1976, p. 234.

If all the examples cited may be explained, but do not have to be explained, by Osthoff's Law, the question is whether there are any cases at all which require Osthoff's Law.

Perhaps the Herodotean word for 'midday' qualifies: *μεσαμβρίη*, derived from turns like *μέσον ἡμέρᾱ*, *μέση ἡμέρα*. Whatever is responsible for the absence of the vowel after the *μ* (Szermerényi naturally thought of syncope⁸), the long vowel preceding the consonant cluster *μρ/μβρ* looks as though it had undergone its Osthoff shortening before Ionic *ᾱ* went to *η*.

Beyond *μεσαμβρίη*, we are left with *Προκόννησος*, of which we have spoken, a juxtaposition such as could have been coined at any time. It is marginal to the lexicon, but presumably a true Osthoff shortening. When long vowels do occur before *ν* plus consonant, for instance in subjunctives like *λέγωνται*, and (after vowel contraction) in active participles like *τιμώντες*, they are ordinary analogical remakings in paradigms, immune from Osthoff's Law which by now has run its course.

This result is meagre, and it is easy to see why it must be. As Beekes has put it, with pardonable oversimplification, «PIE had a vowel after every two consonants»⁹. In other words, much of the structure which would emerge as output of Osthoff's Law is already inherited IE structure, leaving little scope to a specific Osthoff process. The fact is that sound laws of all kinds conspire to keep the inheritance in being — the whole complex of Sievers' Law and its anteconsonantal extension is one example¹⁰.

Nevertheless, superlong syllables will sometimes arise in Greek — mostly from sound-laws and from syntactic or clitic juxtapositions. As long as the inherited structure is alive, they tend to be eliminated again, by other sound-laws or by morphological innovation. One of these corrections is Osthoff's Law, such as it is. Marginal debris like *Προκόννησος* testifies to it. In addition we now have Homeric metrical practice, no longer quite as puzzling as it had seemed.

To be sure, some of the difficulties encountered in establishing Osthoff's Law as a sound law are not easily removed. . . Not only is the evidence exiguous; it is also full of allomorphic diversification. In such material to identify and

⁸ Oswald Szermerényi, *Syncope in Greek and Indo-European and the nature of Indo-European accent*, Naples 1964, pp. 160–2.

⁹ R. S. P. Beekes, Review of M. Peters, *Untersuchungen zur Vertretung der indogermanischen Laryngale im Griechischen*. *Kratylos* 26 (1981 [1982]) 106–15, p. 110.

¹⁰ This is not the place to show how detail after detail in the Rigveda confirms the Homeric state of affairs. Greek and Indo-Iranian are the two branches of Indo-European which have preserved that inherited structure well, together with the quantitative meter and the type of word accent that go with it. It is not believable that this classical coincidence could be a shared innovation.

isolate clear-cut, chronologically well-defined, merger-based phonological processes would at least require a painstaking, stage-wise plotting of contrasts and neutralizations against environmen—an effort that is not often undertaken. . .

It remains to ask what the textual consequences are, if any. One grotesque extreme would be actually to write, say, the genitive plural, ****θεόν τε ||**, and the accusative singular of the *ā*-stems, ****μάχην τε ||** into our Homer, the way some scholars of the past handled the digamma. It is much more likely, however, that, by the time in which something like a concrete text has emerged the facts were construed morphologically, and that the admissibility of the cadences concerned was handed down only as the idiosyncrasy of particular grammatical forms—genitives and accusatives plural for instance.

Winfred P. Lehmann
(The University of Texas)

Requirements in current Indo-European studies

1. Objectives in Indo-European studies

Many statements concerning Proto-Indo-European and especially the early dialects must now be changed. The changes are required because of the aims underlying earlier studies and the resultant reconstructions. These aims are stated in the first part of Brugmann's introduction to the second edition of the *Grundriss* (1897: ix). The introduction begins with the sentence: «In recent years it has been pointed out repeatedly that truly scientific grammar must emancipate itself more and more from the purely systematic form and adopt the form of historical presentation». Brugmann goes on to say that the proper procedure would be to present the facts of linguistic history in the relationship and chronological sequence in which they occurred. But then he points out that a chronology, especially of the prehistoric period is far from achievement; as a result he fears that any presentation of the history of Indo-European that relates the various languages to one another is far in the future. He accordingly maintains his systematic presentation.

With this aim he posits a phonological system in which each of the stops has four members, e.g. *p ph b bh*, as do the fricatives, e.g. *s sh z zh*. The inflectional morphology is treated similarly. Nominal inflection has eight cases. Verbal inflection also has a large number of categories. Among these is the injunctive, posited on the basis of imperfect tense forms found in the early Sanskrit texts without the augment. While grammars of the individual dialects may not include all these categories when they relate their systems with that of the parent language, in general they treat Brugmann's presentation as historical rather than systematic. For this reason they require revision similar to that required for the language posited in the *Grundriss* and other handbooks in accord with it.

Meillet follows the same procedure as did Brugmann, which he states forcefully in his *Introduction* (1937: vii). «This is not a grammar of Indo-European; Indo-European is unknown, and the agreements (*concordances*) are the only

reality that the comparatist has available for studying. Comparative grammar does not aim to reconstruct Indo-European, but, thanks to the determination of common elements indicated by *concordances*, to show in each of the historically attested idioms which are continuations of an old form of the language and which are due to a unique and original development».

For various reasons historical grammarians must now aim to treat Indo-European and the early dialects realistically. Among these reasons is the discovery of texts that were unavailable to Brugmann: texts in the Anatolian and Tocharian languages and in Mycenaean Greek that provide additional historical perspective. These texts, especially the Anatolian, have grammatical systems far different from those of the languages that were accessible to Brugmann. Moreover, we do not limit ourselves to use of the comparative method, as did Brugmann and Meillet for the most part, but we also apply the method of internal reconstruction. We also deal more fully with residues. And probably most important, we examine the data in accordance with the findings of typological research. For earlier Indo-Europeanists Sanskrit, Greek and Latin served as patterns. Even grammars of languages that were not Indo-European were designed on such patterns; in some grammars of Japanese, the language, though lacking nominal inflection, was equipped with a paradigm of eight cases consisting of nouns and selected postpositions. Moreover, some impetus has come from archeologists and geneticists who have provided data for reconstructing the settlement of Europe from the eighth millennium or earlier; by contrast the systematic presentation of Indo-European yielded a language four or five millennia later. Accordingly, as Gamkrelidze and Ivanov state in their *Introduction* (1984: xci; 1995: cii): «The motionless, static PIE scheme must be replaced with a chronologically dynamic system, one which, like any attested language, had its history and evolutionary dynamics». In the same way, many of the grammars for the dialects must now be rewritten in accordance with this approach.

2. Grammars maintaining the Proto-Indo-European language assumed by the systematic approach

In view of the prestige of Brugmann, Meillet and their associates, subsequent grammars of Indo-European have largely maintained the phonological and especially the inflectional systems proposed by them. For illustrations we limit our attention to the system of segmental phonemes, the nominal cases and the major verbal inflections for tense/aspect, noting briefly first the views of Szemerényi and Beekes.

Szemerényi posits virtually the same phonological system that Brugmann had for the «system that immediately preceded the individual languages» (1996:

69–70). He assumes four manners of articulation for stops, e.g. *b*, *p*, *bh*, *ph*; besides labials and dentals he assumes similar sets of palatals, velars and labio-velars, though only one spirant. He also assumes five long and short vowels, as well as diphthongs. Items like the laryngeals and glottalics he discusses with an excellent though sceptical account for them in a later chapter on the «prehistory of the Indo-European phonological system» (1996: 111–54), where he presents a slightly different system from that on pp. 69–70 (1996: 150).

Beekes by contrast omits the voiceless aspirated stops, assumes three laryngeals, six sonants, but of vowels only short *a* and *o*, which also form diphthongs with *i* and *u* (1995: 124). In his subsequent discussion he accepts the glottalic theory, positing pre-glottalized elements, e.g. *'p* (132–33); he does not discuss the weighty objections that Szemerényi raised to the theory (1966: 151–4).

For nominal inflection Beekes posits eight cases: nominative, vocative, accusative, genitive, ablative, dative, locative, instrumental (1995: 173). In brief notes following the list he does admit that «a separate form for the ablative singular is found only with the *o*-stems»; he also adds that «the genitive ending *-es* is perhaps post-PIE». Then he goes on to say: «In many languages the number of cases has been reduced. Those concerned are almost always the last four». His categories for the verb are similarly extensive. He posits two voices, in his term, genders: «active, middle». He also posits three plus tenses: «present (with imperfect); aorist; perfect (perhaps with pluperfect)». And there are five moods: «indicative, injunctive, subjunctive, optative, imperative». Then, commenting that Hittite, «the oldest known Indo-European language... had a very simple system», he accounts for it through a «simplifying process» (1995: 223).

Similarly, Szemerényi states «that Indo-European had at least eight cases» (1996: 158). For the verb he also posits two voices, but «three to six tenses: present, aorist, perfect; perhaps also future, imperative, pluperfect», and, omitting the injunctive, only four moods (1996: 231).

Both authors recognize that they have posited a sizable set of inflections, larger than those in most of the dialects. To account for the difference between the parent language and the dialects they assume reductions.

3. Phonological systems posited for Proto-Indo-European in grammars for selected dialects

Schwyzler deals with phonology from the point of view of Greek, treating first the changes to the time of Middle and then New Greek (1939: 169–289) and then discussing the origin of the sounds (1939: 290–364), finally presenting a table of the Indo-European system and its representation in Greek (1939:

365–71). The system there is much like that of Brugmann. Leumann explicitly maintains the system of Brugmann, which in his view has «relatively general acceptance» (1963: 55). Included in it are five short and long vowels plus schwa, six short and long diphthongs with *i* and *u* as second member; short and long sonants, five series of consonants with four members each, and the spirants *s* and *z*. Streitberg does the same for Germanic, listing the vowels by normal and zero grade (1896: 31), and then the consonants (1896: 97). Prokosch's system is much the same, though like Schwyzler for Greek he starts out from the Germanic reflexes and then proposes their etyma (1939: 37–47, 93–97). Thurneysen also «follows Brugmann's Grundriss» for the «Indo-European sounds adopted» in his treatment for Old Irish (1961: 120).

We may then say that Brugmann's system has been highly influential for depicting the phonemic system of Indo-European and then accounting for the developments in the dialects. Among modifications in grammars is the assumption of laryngeals, of only three series of stops, and of glottalics—though these are not held by all specialists in relating the dialects to the parent language.

4. Inflectional categories posited in handbooks for selected dialects

The grammatical systems are treated similarly. Schwyzler assumes for Indo-European the eight cases listed above, in contrast with the five formally distinguished in Greek. In his account the ablative is represented syntactically by the genitive, the locative and instrumental syntactically by the dative. For the tenses he assumes a contrast between the present/aorist and the perfect, with the imperfect and aorist beginning to differentiate. The future is a Greek development. He also assumes four moods (1939: 639–41). In his view the Indo-European noun system has the categories proposed by Brugmann, while his Indo-European verb system has fewer categories than Brugmann's.

Leumann assumes the standard eight cases for Indo-European (1963: 265–75). For the verbs he posits five moods, including the injunctive. He also assumes the standard Indo-European inflectional system for the verb, noting however that it expressed aspect rather than tense. In his treatment the Latin perfect developed from the aorist and perfect; the Indo-European system was therefore given up and Latin created a new one, as also of the futures and the pluperfect.

In his somewhat idiosyncratic and bibliography-free handbook for Greek and Latin Seiler treats the inflectional systems primarily from a functional point of view. His phonological system for Proto-Indo-European is primarily that of Brugmann (1995: 35, 135). But his inflectional system departs from those of «traditional handbooks» «because [these] are more at home with forms than with functions» (1995: 444). Curiously his identification of «stative vs. eventive»

verbs in Proto-Indo-European correlates well with the system of active languages although unlike Gamkrelidze and Ivanov he does not propose that Proto-Indo-European was an active language (1995: 445 *et passim*).

In his handbook on Proto-Germanic Streitberg posits for Indo-European the eight cases listed above, stating that «Germanic has had various losses» (1896: 224). Similarly, Prokosch, who goes on to add however that «not all of them (the cases) were in use in all stem classes and numbers alike» (1939: 230). For verbs Prokosch assumes five tenses: «present, imperfect, aorist, perfect, and future,» and four «modes: indicative, imperative, subjunctive and optative» (1939: 207–8). In contrast with Prokosch, Streitberg assumes for Indo-European only aspectual relations among verb forms (1896: 278–80). But then he goes on to say that «of so-called tenses Indo-European possessed the present, the imperfect, perfect, pluperfect, *s*-aorist and the future» (280). Of these the present and perfect were maintained in Germanic, and only doubtful examples of others. He also assumes four moods (281–2).

Without reviewing more examples, we may conclude that the standard handbooks assume for the most part the phonological and grammatical systems of Proto-Indo-European that Brugmann and his contemporaries posited.

5. The phonological and grammatical system posited by Gamkrelidze and Ivanov

In accordance with their statement quoted above, Gamkrelidze and Ivanov have posited systems for Proto-Indo-European that are undergoing change. The phonological system they propose is presented at great length (1995: 5–230), in part to support their assumption of glottalics rather than voiced stops. Since they posit three members of the labial, dental and three velar orders, and their assumption of glottalic articulation is sub-phonemic, their system of stops is similar to that of Brugmann, though lacking a fourth member that Brugmann represented with *ph*, etc. In addition they posit with «reservations» a labiodental order and two members of a postvelar order, *q'* and *q^h*, as well as three *s*'s parallel to the three orders of velars (1995: 116). Relating this system to that of each dialect requires a fairly lengthy treatment in any new or revised handbook.

While their system of vowels, sonants and laryngeals for early Indo-European differs strikingly from that of Brugmann and Meillet, their later phonological system at the time of dialect development is roughly similar in having six sonants, each with three allophones, e.g. *i y iy*, and three sets of short and long vowels, e.g. *e a o* (1995: 146, 168 *et passim*). With some difference of notation, they represent the roots much as did Pokorny, e.g. **b^her-* 'carry', **wes-* 'good', **men-* 'spirit', etc. (1995: 186).

Their treatment of the grammatical system is remarkably short, less than a hundred pages, much of which is devoted to typological concerns (1995: 233–321). They are interested in sorting out the development of the nominative, accusative and genitive and the dative, locative (1995: 233–50). But they do not provide their view of the declensional system of Proto-Indo-European at the time of the dialects. Their comments on the verb are even shorter (1995: 254–67), dealing especially with the «verbal endings, **mi* and **Ha*, associated with active and inactive argument» (1995: 255–60). The grammars of individual dialects that might make use of their reconstruction of Proto-Indo-European then have only general guidance for relationships with the parent language.

6. The pattern of future handbooks for the dialects

Whether or not one accepts the Proto-Indo-European system of Gamkrelidze and Ivanov, future handbooks must be based on the principle that the inflectional systems in the dialects are expanded rather than reduced. Expansion of the declensional system is greatest in the eastern dialects, especially Indo-Iranian, although even in it some of the adverbial cases have not developed distinct forms in the plural. In western dialects, such as Germanic, the affixes of adverbial cases may be recognized that have not been incorporated into the nominal system; for example, the *-ō(d)* ending which is the basis of the ablative singular of *o*-stems in Latin remains an adverbial marker (Streitberg 1896: 230). Similarly, verbal affixes such as the *s*-aorist that became prominent in Indo-Iranian and Greek. These have not developed into inflectional markers in Germanic.

The drift of Indo-European is from active to accusative structure. Early, or Pre-Indo-European, must be recognized as having three grammatical categories: nouns, verbs and particles. Selected particles indicated grammatical relationships and thereupon provided the later inflectional markers, as Hirt recognized without providing a systematic explanation in the absence of knowledge of active languages (*IGr* III: 166–82, IV: 345–63). Reasons for their incorporation and the resultant expansion of inflectional systems may be internal or external, but that determination must be left to the authors of new grammars for the dialects.

7. Inferences based on the grammatical structure of individual dialects

Among assumptions we may make on the basis of the characteristics noted above is time of departure of individual dialects from the homeland. Dialects with simplest inflectional systems, especially for verbs, such as Anatolian and Germanic, were the earliest to leave. On the other hand, the Indo-Iranian, Ar-

menian and Greek dialects remained longest. With more space we could support these assumptions with other evidence.

We may also relate the extent of development of inflections with other characteristics of active languages. Presumably those languages that maintained capabilities for expanding inflections longest also retained other active characteristics such as version in the verbal system. Through scrutinizing the dialects in the light of typological structures we may gain a more precise view of each of the dialects in their development as well as of Indo-European itself.

In this way the handbooks of each dialect will be histories that extend over a period of seven or more millennia rather than treatments of characteristics that were identified at one point in that period from a few dialects. In each dialect or group of dialects elements, categories and constructions will be treated for their introduction as well as their maintenance or loss with the aim to account for that language in the course of its existence.

References

Beekes, Robert S. P.

1995 *Comparative Indo-European Linguistics*. An Introduction. Amsterdam: Benjamins.

Brugmann, Karl

1897–1916 *Vergleichende Laut-, Stammbindungs- und Flexionslehre der indogermanischen Sprachen*. 2nd ed. Strassburg: Trübner.

Gamkrelidze, Thomas V. and Vyacheslav V. Ivanov

1995 *Indo-European and the Indo-Europeans*. Berlin: Mouton de Gruyter.

Hirt, Hermann

1921–1937 *Indogermanische Grammatik*, I–VII. Heidelberg: Winter.

Leumann, Manu, Johann B. Hoffmann, and Anton Szantyr

1963–1979 *Lateinische Grammatik* I–III. Munich: Beck.

Meillet, Antoine

1937 *Introduction à l'étude comparative des langues Indo-européennes*. Paris: Hachette.

Prokosch, Eduard

1939 *A Comparative Germanic Grammar*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Schwyzler, Eduard

1939–1950 *Griechische Grammatik*. 2 vols. Munich: Beck.

Sihler, Andrew L.

1995 *New Comparative Grammar of Greek and Latin*. New York: Oxford.

Streitberg, Wilhelm

1896 *Germanische Grammatik*. Heidelberg: Winter.

Szemerényi, Oswald J. L.

1996 *Introduction to Indo-European Linguistics*. Oxford: University Press.

Thurneysen, Rudolf

1961 *A Grammar of Old Irish*. Trans. by D. A. Binchy and Osborn Bergin.
Dublin: Institute for Advanced Studies.

Carol F. Justus
(University of Texas at Austin)

English 'have : heave', an Archaic Paradigm¹

0.0 Introduction

How old is the obsolete alternation 'have : heave'? Does it go back into Indo-European (IE) prehistory, or only as far as Germanic? In honor of Professor Stepanov, this study examines an inner Germanic problem in its IE context. If a Pre-IE stage of IE, as an active language, had intransitive verb types, how would such an older system have been replaced by the primarily transitive verbs of modern IE nominative-accusative languages? This paper examines paradigmatic derivational patterns in the oldest attested Germanic language, Gothic. Germanic weak class verbs such as 'have' and 'heave', with elder cousins, Gothic *haban* 'have' and *haffan* 'heave, lift' are pivotal in this process.

Gothic weak class I verbs such as *haffan* are part of a new Germanic pattern of derivation which resulted in new transitive verbs. Speakers of Proto-Germanic created new transitive verbs reflected in English pairs such as 'fall : fell', 'drink : drench'. Some, such as 'heave', became obsolete, while others became specialized ('fell' is restricted to making a tree 'fall'), and the new transitive verb of possession expanded as a new perfect auxiliary. This study examines the Gothic system for clues concerning this old process.

0.1 The Typological Context

If an early prehistoric stage of Indo-European (IE), based on primary (intransitive) active and inactive verbs as in sentences such as 'The stone is lying' (inactive subject + inactive verb) and 'A man is walking' (active subject + active

¹ An earlier version of this study was presented at the meeting of the Modern Language Association in Chicago (December 29, 1999) organized by Thomas Shannon, for whose comments and those of Raul Avranovich and other members of the audience I am grateful. My thanks too to Paul Hopper and Andriy Danylenko for subsequent discussion of IE 'have', although all errors and omissions remain my own.

verb: Stepanov 1989; see also Klimov 1974; Gamkrelidze & Ivanov 1995: 233–303), lacked both a transitive verb of possession and the passive voice (Lehmann 1993: 214–223), then the transitive verbs of sentences such as ‘The hero slew the dragon’ (active subject + verb + active object) would have been syntactically or morphologically derived. Without non-derived transitive verbs, the basic verbal roots would not have been sufficiently transitive to be passivized (Justus 1982). Between a Pre-IE without active-inactive structures and the modern nominative-accusative IE languages would lie periods during which IE languages acquired new transitive verbs of possession and new base verbs sufficiently transitive to be passivized.

In Georgian (Kartvelian) an older ergative system with both transitive and intransitive verb classes became active in type (Harris 1985: 329–330 *passim*). We thus do not expect the direction of typological change among active, ergative, and nominative-accusative types to follow one universal path of change, as Klimov (1974) had suggested. Yet the grammar of Common Germanic of perhaps as early as the second millennium BC (Ramat 1998: 381–387) also has a story to tell. How would a northern European time and space so distant from that of Caucasian speakers of Kartvelian have differed? This study offers comparative typological data on change in morphological, if not also syntactic, processes.

0.2 Cognates of English ‘have : heave’

English archaic ‘heave’, ‘heft’, and ‘hefty’ or ‘heavy’ are now separate from ‘have’, but earlier Germanic cognates suggest that this was not always so.

Chart I: Germanic Cognates of have : heave’

English	‘have’	‘heave’ (‘heft’)	‘heavy’
Gothic	<i>hab-a-n</i> < * <i>hab-a-</i>	<i>haf-ja-n</i>	
OHG	<i>hab-ē-n</i> < * <i>hab-ē-</i>	<i>heffen</i> < * <i>haf-ja-</i>	<i>hebig</i>
Dutch	<i>hebben</i>	<i>heffen</i> < * <i>haf-ja-</i>	<i>hevig</i>
Old Saxon	<i>habbean</i> < * <i>hab-ē-</i>	<i>hebbian</i> (analogy)	<i>hebig</i>
		‘to raise, lift’	
German	<i>haben</i> < * <i>hab-ē-</i>	<i>heben</i> (analogy)	<i>heftig</i>
Old Icelandic	<i>hafa</i> (analogy)	<i>haffa</i> < * <i>haf-ja</i>	<i>hǫfugr</i>
Old English	<i>habban</i>	<i>hebban</i> (analogy)	<i>hefig</i>
		‘lift with force’	

Germanic ‘have’ forms typically belong to Germanic weak class III verbs, while weak class I ‘heave’ forms are derived by means of the Germanic suffix **-ja-*. Yet the relationship between Gothic *haban* ‘have’ and *haffan* ‘lift (heave)’ is muddled by the consonant alternation *-b/-p-* that has not been leveled in all

languages by analogy. Meillet (1970: 85 *passim*) viewed the pair as similar to Gothic types *fulls* : *fulljan* 'full : fill', *kann* : *kannjan* 'know : make known', and *sat* 'sat' : *satjan* 'to seat', while others were less convinced (Lehmann 1986: 167). That transitive verbs of possession are new IE dialectal creations has long been known (Lehmann 1993: 221–223), and 'have', as an innovation, entered the system of Germanic grammar as a transitive weak class III verb similar to Gothic *witan* 'observe' and *munan* 'intend' (see 1.3 below). Was the Germanic transitive verb of possession isolated as an innovation? This study examines the inner Gothic system in which it occurs, returning in (1.5) to historical implications.

0.3 Before Gothic

PIE verbal roots fell into two intransitive classes, Neu's (1976 *passim*) *aktivum* and *perfektum* or *stativum* with reflexes in the *-mi* and *-hi* conjugations of Hittite. Gamkrelidze & Ivanov (1995: 254–260) reconstructed the semantics of these classes as active versus inactive or stative, while Sihler (1995: 442–480) analyzed them as eventive versus stative. Sihler's eventive verbs included **ey-* 'go' and **b^(h)er-* 'bear, carry', active **-m(i)* inflection, stative verbs the medium tantum, **k^(h)ey-* 'lie in place' (Hittite *kitta*, Greek *κεῖται*, Sanskrit *śaye*, *śete* 'lie in place' with middle **-H-o(i)* or *-to(i)* person inflection. PIE statives, **b^(h)eid^(h)-* 'trust' and **woit^(h)-*² 'know', may be added here.

0.3.1 Germanic Verb Classes

Polomé (1962; 1982: 53; 1983) and Lehmann (1995: 35–41; *pace* Ramat 1998: 403) reconstruct the Germanic verbal system as archaic in ways comparable to Hittite. Both have a past-nonpast opposition and reflexes of old active and stative verb classes. The Hittite *-hi* conjugation and Germanic preterite present verbs reflect an old stative. Some Germanic strong preterites (*beidan* 'wait', strong class I) recall the old stative perfect ablaut preserved in Gothic preterite present, *wait* 'knows', *witum* 'we know' (PIE **o* grade singular: zero grade plural), while others innovated on that type in one way (*sitan* 'to sit': Prokosch 1938: 170–186) or another (strong V, VI classes: Lehmann 1995: 40–41; Prokosch 1938: 192–195; 160–186).

Chart II: Gothic Singular: Plural Ablaut

PIE Root	Present SG	Present PL	Preterite SG	Preterite PL
<i>*woit^(h)-</i> ,	<i>wait</i> 'knows'	<i>wit-um</i>		
<i>*wit^(h)-</i>	(prt. prs.)	'we know'	—	—

² Reconstructions follow Gamkrelidze's glottalic hypothesis, with minor differences.

Chart II: Gothic Singular: Plural Ablaut

PIE Root	Present SG	Present PL	Preterite SG	Preterite PL
*b ^(h) eid ^(h) -	<i>beid-i-p</i> 'waits' (I)	<i>beid-a-m</i> 'we wait'	<i>baiþ</i> 'waited'	<i>bid-um</i> 'we waited'
*set'-	<i>sit-i-p</i> 'sits' (V)	<i>sit-a-m</i> 'we sit'	<i>sat</i> 'sat'	<i>se:t-um</i> 'we sat'
*sa:k'- ³	<i>sak</i> 'scold!' (VI)	* <i>sakum</i> 'we scold'	<i>(ga-)sok</i> 'rebuked'	<i>sokun</i> 'they rebuked'

Lehmann (1995: 40; 46–48), following Meid, identified strong verb classes V, VI, and preterite presents as reflexes of a prehistoric stative, other classes as reflexes of a prehistoric active class.

Germanic preterite presents (*witan* 'know') differed from strong verbs (*beidan*) by the fact that they had present meanings but no corresponding preterite forms and perfect singular endings⁴. Germanic preterite presents are often the ancestors of English modals and relic nouns such as 'wit'.

Chart III: English Modals and Gothic Preterite Presents

'can'	<i>kann</i> 'knows'	<i>kunnum</i> 'we know'	(Lehmann 1986: 222–3)
'shall'	<i>skal</i> 'owes'	<i>skulum</i> 'we owe'	(Lehmann 1986: 313–4)
'wit'	<i>wait</i> 'knows'	<i>witum</i> 'we know'	(Lehmann 1986: 406–7)

By the time of English, the modal verbs are all that is left of such prehistoric statives.

0.3.2 Other Germanic Innovations

Germanic characteristically differed from the other IE languages with its new dental preterite ('fill, fill-ed', 'walk, walk-ed') and its weak verb classes (Polomé 1962: 878; Lehmann 1995: 44–46; Ramat 1998: 403–404). Older ablauting strong verbs ('sing, sang, sung') were themselves an innovation on the old stative (Justus 1999a: 626–627). Gothic weak verbs typically show dental preterite tense inflection (Krause 1968: 223–226) and fall into subclasses with regard to

³ Gothic *sokjan* 'seek' is a relative of Gothic *sakan*, both from PIE *sa:k'- (Lehmann 1986: 292–293; 318), see also Latin *sa:gus* 'sign', *sa:gio*: '(I) know' (Ernout & Meillet 1959: 589) and Hittite *sakija-* [sag-] 'make known' from *i*-stem *sagai-* 'sign, omen': Justus (1981:14; 1982:295–297), but separate from Hittite *sak(k)-sek(k)-* 'know' [sak-/sek-] (pace Lehmann 318) and Latin *scio*: '(I) know' (Ernout & Meillet 1959: 602–603). Hittite double medial -kk- reflects PIE *k^(h), -g- reflects PIE *k'.

⁴ See Ramat (1998: 403–404); Prokosch (1938: 145–151; 187–193); Krause (1968: 211–213; 222–223; 229–234; 248–250).

derivational (suffix) patterns. Classes I and III are the weak classes to which *haffjan* 'lift' and *haban* 'have' belong. Roots of some weak verbs may reflect Pre-IE actives (Lehmann 1995: 42–43), but some reflect statives as well (e.g., 'full').

Chart IV: Gothic Weak Class I & III Verb Types

PIE Roots	Infinitive	Present		Preterite	
		3SG	1PL	3SG	1PL
*p^(h)l-eH-	<i>full-ja-n</i>	<i>full-j-ip</i>	<i>full-ja-m</i>	<i>full-i-da</i>	<i>full-i-ded-um</i>
Gmc Weak I	'to fill'	'fills'	'we fill'	'filled'	'we filled'
(*k^(h)ap^(h)-)⁵	<i>haf-ja-n</i>	<i>haf-j-ip</i>	<i>haf-ja-m</i>	<i>haf-i-da</i>	<i>haf-i-ded-um</i>
	'to lift'	'lifts'	'we lift'	'lifted'	'we lifted'
(*g^(h)ab^(h)-)	<i>hab-a-n</i>	<i>hab-a-ip</i>	<i>hab-a-m</i>	<i>hab-ai-da</i>	<i>hab-ai-ded-um</i>
Gmc Weak III	'to have'	'has'	'we have'	'had'	'we had'

Gothic weak class I verbs are characterized by *-ja-* suffixes, weak class III by thematic *-ai-/a-*. Despite recognition that Germanic and Sanskrit present classes have been «reorganized in many ways» (Prokosch 1938: 147), weak verb class suffixes are often identified with PIE forms, class I *-ja-* with PIE **-e:-ye/o-*, class III with the middle **-o-* or stative **-e:-* (but see 1.5 below). Of the other weak classes, II is marked by *-o-* (Germanic **-o-*, PIE **-aH-*), IV by *-na-* (sometimes identified with PIE ablauting **-naH-/nH-*; Prokosch 1968: 239–247). Before discussing PIE relations as such, Section (1) examines inner Germanic relations.

1.0 Gothic *-ja-* Derivation and Transitivity

Gothic verbs with *-ja-* derivation differ in transitivity. Some few are derived intransitives of the type *þaurjan* 'thirst' and *goljan* 'greet', while many are derived transitives. Intransitive Gothic *-ja-*verbs of the *þaur-jan* type quite likely reflect old PIE types (see Sanskrit *tr̥s-ya-ti* 'is thirsty': Krause 1968: 239), while those like *goljan* are based on *-i-*stem nouns (*gol-ei-ns* 'greeting': *gol-jan* 'greet'), where *-ja-* is the phonological result of adding a verbal ending to an *-i-*stem noun. Both lack the transitive active force of the *-ja-* suffix as in *full-ja-n* 'fill', *sat-ja-n* 'set', *kann-ja-n* 'make known'. Inside Gothic, formal *-ja-*verbs thus differ. Productive transitive active derivatives are of concern here, not inherited intransitives *-ja-*verbs and Germanic denominatives from *i-*stem nouns.

The distinction here between transitive active *ja-*verbs and intransitive relics is synchronic as opposed to traditional divisions based on comparative-historical

⁵ Gamkrelidze & Ivanov's reconstruction (see 1.5 below).

criteria that divide weak class I verbs as (1) primary underived (*taujan* 'do'), (2) denominative (*fulljan* 'fill'), (3) intensive or iterative (*kausjan* 'experience'), and (4) causative (*satjan* 'set' or *ur-raisjan* 'raise': Krause 1968: 239–240; Prokosch 1938: 193–204). Traditional accounts compare strong class VI *-ja*-verbs such as *skapjan* 'create' and *hafjan* 'lift' rather with *-n-* infixed verbs (*standan*, *stoth*, *stothum*: Prokosch 1938: 173–175; Krause 1968: 234) than with derivations in *-ja-*. This study examines inner Gothic form and meaning relations and compares transitive active *-ja-* derived verbs with Germanic roots corresponding to those to which *-ja-* forms are added. Most transitive active *-ja*-verbs are weak class I denominatives, others are deverbative from bases with a vocalism.

Most transitivity *-ja-* types belong to the weak class I denominative set derived from adjectival or nominal bases. These range from *fulls* 'full' : *fulljan* 'fill' beside weak class IV *fullnan* 'become full' to *namo* 'name' : *namjan* '(call by) name' without weak class IV correspondences (1.2 below). A few transitive active weak class I verbs such as *kannjan* 'make known' correspond to preterite present singulars (see *kann* 'knows': 1.3 below), while a third type includes transitive active weak class I verbs such as *satjan* derived from preterites of intransitive strong verbs (*sat* 'sat') and strong class VI verbs such as *skapjan* 'create' corresponding to presents with a vocalism (1.4 below). Sections (1.1–4) deal with synchronic patterns of transitivity increase, before section (2.0) returns to Gothic *hafjan* 'lift' and its PIE historical-comparative context.

1.1 Transitivity Degrees

Transitivity here refers, not only to the syntactic transitivity of verbs that take accusative direct objects, but also to semantic differences that distinguish such transitive verbs as 'have', 'hit', and 'kill' from one another. While syntactically transitive, English 'have' is not semantically transitive enough to be passivized (*The book was had by me) as is 'kill' (*The dragon was slain by the hero) nor does 'hit' have the terminal affect on its object that 'kill' has. An action implying an intentional change of the state of its object ('kill, fill') is also more transitive than one which does not affect it ('hit, touch, have'), and unintentional (experiencing) statives such as 'think, know, receive' are less transitive than intentional 'intend', which is in turn less transitive than agentive 'fill' and 'kill'. Semantically (intransitive) stative roots may be as low in transitivity as adjectives ('full') and stative verbs ('know') or the syntactically transitive verb of possession 'have'. Gothic derivational morphology seems to have been sensitive to such distinctions.

1.2 Derivation from Adjectives and Nouns

«Denominative» weak class I verbs in *-ja-* derive transitive active verbs from (intransitive stative) adjectives or nouns. Resulting verbs mean 'make (to) be in the state expressed by the base' and often have corresponding weak class IV intransitive inchoative derivations in *-na-* meaning 'be, come into the state expressed by the base'.

Chart V: Gothic Transitive Active & Inchoative Derivations

Noun or Adjective Base PIE Root	Weak Class I: + <i>-ja-</i>	Weak Class IV: + <i>-na-</i>
<i>full-s</i> 'full' *p ^(h) l-eH-	<i>fulljan</i> 'fill, make full'	<i>fullnan</i> 'fill, become full'
<i>mikil-s</i> 'great, many'	<i>mikiljan</i>	<i>mikilnan</i>
*mek'-H- (Latin <i>mag-</i> <i>nus</i>)	'magnify, make great'	'become enlarged'
<i>hail-s</i> 'hale, healthy, whole'	(<i>ga-</i>) <i>hailjan</i> 'heal, make whole'	<i>ga-hailnan</i> 'become healed'
*k ^h ay-lo- (post-PIE)		
<i>daups</i> 'dead' (<i>daups</i> 'death')	<i>daupjan</i> 'kill, make dead'	(<i>ga-</i>) <i>daupnan</i> 'die, be- come dead'
(Gmc development of *d ^(h) ew-)		
<i>niujis</i> 'new'	(<i>ana-</i>) <i>niujan</i> 'renew'	
*new-yo- Lat. <i>novus</i>	(Latin <i>nov-ā-re</i> 'renew')	
<i>namo</i> 'name' *(o)nomn	<i>namjan</i> '(call by) name'	

English 'fill', with raised/umlauted root vowel (**filljan* < *fulljan*) and loss of the suffix reflects the old Germanic transitive active form. English 'hale : heal' similarly corresponds to Gothic *hails* : *hailjan* from northern European **kaylo-* (see Welsh *coel* 'omen', Old Prussian *kails* 'hail!', German *heil*: Benveniste 1973: 451–452). This type proliferates in Gothic, also in isolated weak class I verbs such as Gothic *warmjan* 'warm, make warm' (the extant Gothic Bible does not attest *warm, well known elsewhere in Germanic). In English older pairs (adjective or noun : transitive active verb) have often become homophonous. So English 'right' (Gothic *raihts* 'straight, right' : *raidjan* 'order, establish'), 'light' (English 'light' : Gothic nouns *liuhap* 'light' : *liuhtjan* 'give light'), and 'murder' (*maurpr* 'murder, death' : *maurprjan* 'kill, murder') are only distinguishing syntactically.

Modern English 'quick : quicken, make alive' preserves archaic relics of Gothic *giu-s* 'quick, alive' : *ga-giujan* 'quicken, make alive' : *ga-giunan* 'become alive', while other Gothic pairs such as *hauh-s* 'high' : *hauhjan* 'make

high, praise': *us-hauhnan* 'be glorified') have been replaced as in German *hoch* 'high': new prefixed *er-höhen* 'raise, increase'. English 'new': re-new' by contrast took its prefix from Old French/Latin influence, not German *neu*: *er-neuern* (see Gothic *niujis*: (*ana*)-*niujan*). Elsewhere suppletive pairs have replaced the older Germanic pattern. English 'great': magnify', with suppletion based on Latin borrowing, replace Gothic *mikils*: *mikiljan*; and English 'dead': kill' replace Gothic *daups*: *daupjan*. Gothic pairs, *doms* 'discernment' (< PIE *d^(h)eH- 'put, place'): *domjan* 'judge'; *haurn* 'horn' (< PIE *k^(h)er- 'top, head'): *haurnjan* 'blow a horn'; *ward* 'word' (< PIE *wer-d^(h)- 'speak'): (*ubil*)-*wardjan* 'speak (evil)'; Latin *verbum*) have no modern English counterparts.

The productivity of this type in Gothic (with parallels in other Germanic languages) suggests that Germanic knew such a transitivity process. If some weak verbs reflect old Pre-IE active roots (Lehmann 1995: 43), not old statives, this may account for differences between *maurþr* 'murder' (active?) and stative root *daups* 'dead'. One old inherent lexical action type undoubtedly lent itself more readily to inchoative derivation than another. Would a passive such as 'become judged' too have contradicted the sense of the Gothic inchoative in the way that stative adjectival bases such as 'full' and 'hale, healthy' did not? Otherwise, the variable fate of forms in modern Germanic languages by contrast suggests that it was lost in more recent Germanic linguistic history.

1.3 Correspondences of Preterite Present Roots

Like adjectives and nouns, Gothic preterite presents refer to a state or condition, a meaning low in transitivity. Weak class III verbs, (active in Germanic with animate subjects: Lehmann 1995: 43), have infinitives homophonous with preterite present infinitives.

Example:

WITAN 'know, have knowledge' John 7, 27 (Streitberg 1971:38–39)

... ni manna wait hwathro ist (οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν)

'... no man knows from whence he is'

WITAN 'recognize, observe' John 9, 16 (Streitberg 1971:48–49)

... sa manna nist fram guda, thande sabbate daga ni witaþ

(οὗτος ὁ ἄνθρωπος οὐκ ἔστιν παρὰ τοῦ Θεοῦ, ὅτι ὁ σάββατον οὐ τηρεῖ)

'... this man is not from God because he does not recognize the Sabbath (day).'

When the weak III suffix *-ai/-a-* and present endings disambiguates finite forms, this suggests a possible derivational relation between preterite presents and weak class III verbs. Both preterite presents and weak class III verbs are semantically stative (and syntactically transitive: 'knows from whence he is', 'observes the Sabbath'), but they differ in activity. Preterite present *wait* 'knows' and *man* 'thinks' are involuntary statives, but weak III *witaiþ* 'recognizes, observes' implies an intentional state. Weak class I *-ja-* derivatives, by contrast, with their own Weak I verb suffixes, imply a conscious agent.

Emphasis on IE historical origins has obscured the inner Gothic transitivity relation between involuntary preterite present statives and agentive weak class I transitive actives on the one hand and weak class III intentional states on the other. From an IE perspective, Germanic weak class III roots are derived from older perfect plural and root aorists, weak class I roots from the PIE stative perfect singular (Jasanoff 1978: 77–82). From an inner Gothic perspective, however, weak class I transitive actives correspond to preterite present singular root forms (*kannjan* 'make known', *kann* 'knows'), weak class III verbs to preterite present infinitive and plural roots (*witan*, *wait*, *witum* 'know', *witan*, *witaiþ* 'observe'). From such relic correspondences we see old preterite present roots splitting with weak class I and III verbs generalizing different root forms, weak class I verbs the singular (*kann* 'knows' > *kannjan* 'make known'), weak class III the infinitive or plural (*witan* 'know', *witum* 'we know' > *witan*, (to observe', *witaiþ* 'observes').

Chart VI: Gothic Relics of a Germanic Pattern?⁶

Preterite Present	Weak Class I	Weak Class III
SG <i>kann</i> 'know'	<i>kannjan</i> 'make known'	
INF <i>kunnan</i>		(<i>ga-</i>) <i>kunnan</i> 'experience' *(<i>ga-</i>) <i>kunnaip</i> 'experiences'
SG <i>wait</i> 'knows' (?* <i>waitjan</i> 'explain')		
INF <i>witan</i>		<i>witan</i> 'observe', <i>witaiþ</i> 'observes'
SG <i>man</i> 'thinks' (?* <i>manjan</i> 'remind')		
INF <i>munan</i>		<i>munan</i> 'intend', * <i>munaiþ</i> 'intends'
SG <i>lais</i> 'know, have knowledge'	<i>laisjan</i> 'teach'	
INF ?* <i>lisan</i>		(* <i>lisan</i> 'learn', ?* <i>lisaip</i> 'learns')
SG <i>og</i> 'fear'	<i>ogjan</i> 'frighten'	
INF * <i>agan</i>	<i>in-agan</i> 'admonish'	(?* <i>agan</i> 'revere', ?* <i>agaiþ</i> 'reveres')

⁶ Asterisks here mean that the corpus is too limited to have attested it, but that grammars project it. A question mark means that this study projects the form.

If a preterite present: weak class III: weak class I pattern was once productive, we would expect weak I counterparts, **watjan* 'explain' (?) beside attested preterite present *wait* 'knows' and weak III *witaip* 'observes' or ?**manjan* 're-
mind' beside *man* 'thinks' and *munaip* 'intends'. For preterite present singular, *lais* 'knows' and weak I *laisjan* 'teach' there should then have been a weak class III **lisan* 'learn' with third singular **lisaip* 'learns'. When German *lernen* (see English 'learn'), an intransitive inchoative corresponding to transitive active *lehren* 'teach' appears to fill the weak verb III slot, it recalls the pattern of correspondence between weak class IV inchoatives and weak I transitive actives such as *ga-daupnan* 'die, become dead', *ga-daupan* 'kill, make dead' (1.2 above). Would an attested inchoative *lernen* 'learn' and supposed weak class III **lisan* 'learn' have differed as unintentional 'become knowledgeable' and intentional 'learn (as a result of study)'? Or was the inherent action type of a **lisan* such that the same derivational categories did not apply to it?

The pair, *og* 'fear' : *ogjan* 'frighten', suggests a possible weak III correspondent **agan* ?'revere', ?*agaip* 'reveres'. Germanic **a* here would reflect a zero grade (short) **o* from PIE long **o*: rather than a PIE perfect (short) **o*. Germanic infinitive **agan* 'to fear' thus would be a preterite present or weak III infinitive. Such a form is reflected in the participle *un-agands* 'fearless'. Semantically *in-agan* 'exhort, admonish, put fear into' is transitive active. Is it built on a weak III **agan* ? 'revere', or a root with a vocalism homophonous with more usual preterite present (and strong preterite) singulars? The weak preterite, *ohta* 'feared', suggests further remodeling with this verb.

Innovating on PIE **wel-* 'want', a Germanic preterite present *wilan* 'be desirous', with present singular ?**wal* would have formed the basis for transitive active *waljan* 'select' and *wiljan* 'want, will' (irregular weak verb) on the pattern of weak class III correspondences of preterite present infinitives and plurals. Sparsely attested preterite present *aigan* 'have, possess', *aig* 'possesses, has' (**eyk*^(h) - 'possess, have ability': Lehmann 1986: 14), with derived cognates in Old English and Old High German 'acquire, take possession of', would seem to preserve an unintentional state from which intentional Old English *a:gian* 'possess, acquire' (Modern English 'own') and Old High German *eigine:n* 'take possession of' are derived.

1.4 Derivation from Intransitive Strong Verbs

Transitive active weak class I verbs corresponded, not only to preterite present singular roots (*kann* 'knows', *kannjan* 'make known') but also to singular roots of strong verb preterites (*sitan*, preterite *sat*, weak verb I *satjan* 'set'), while some

transitive active strong VI *-ja-* verbs simply corresponded to a root (present or preterite) with *a* vocalism.

Chart VII: Gothic Intransitive Strong Verbs and Derivatives

PIE Root	Intransitive Present, Strong Preterite	New Transitive Actives Weak I, Strong VI Present
*er- 'set in motion'	<i>ur-reisan</i> (I), <i>ur-rai</i> 'arose'	<i>ur-rai</i> jan (I) 'rouse, wake'
*k'ew-s- 'taste' (English 'drink')	<i>kiusan</i> (II), <i>kaus</i> 'tried' <i>drigkan</i> (III), <i>dragk</i> 'drank'	<i>kausjan</i> (I) 'experience' <i>dragkjan</i> (I) 'give to drink'
(English 'burn')	<i>brinnen</i> (III), <i>brann</i> 'burned'	<i>ga-brannjan</i> (I) 'burn'
*set- 'sit'	<i>sitan</i> (V), <i>sat</i> 'sat'	<i>sat-ja-n</i> 'set' (I)
*leg^(h)- 'lie down'	<i>ligan</i> (V), <i>lag</i> 'lay'	<i>lag-ja-n</i> (I) 'lay, place'
*weg^(h)- 'travel'	<i>ga-wigan</i> (V), <i>*ga-wag</i> 'shook'	<i>wag-ja-n</i> (VI) 'shake'
*wek'- 'be lively'	<i>wakan</i> (VI or wk III) 'wake', <i>*wak</i> 'woke'	<i>wakjan</i> 'wake'
*Hwek'- 'increase'	<i>*wahsen</i> (V), <i>*wahs</i> 'grew'	<i>wahsjan</i> (VI) 'grow'
(German <i>scharf</i>)	<i>skaban</i> (VI) 'shear, shave', <i>*skap</i> 'shaved'	(<i>ga-</i>) <i>skapjan</i> (VI) 'cre- ate'

Lehmann (1995: 38–40) suggested that Germanic preterite presents, many strong preterites, and strong classes VI and VII presents reflected Pre-IE stative roots. In Germanic roots with *a* vocalism shared a meaning that lent itself to transitive active *-ja-* derivation. Traditional classifications of intensive or iterative (*kausjan* 'experience' beside strong verb II *kiusan* 'test, try') distinct from causative (*satjan* 'set', *kannjan* 'make known') ignore a Germanic unity of patterning. Weak verb I (*ur-rai*jan 'raise, rouse, wake' corresponds to Gothic strong preterite singular *ur-rai*s 'arose' (see present *ur-rei*sen 'arise') just as transitive active *kannjan* 'make known' does to preterite present singular *kann* 'knows', and strong class VI *-ja-* verbs such as (*ga-*)*skapjan* 'create' correspond to presents with *a* vocalism (*skaban* 'shear').

Wakan 'wake, be awake', ambiguously strong verb VI or weak verb III, beside transitive active *wakjan* 'wake up' (Lehmann 1986: 392) persists in Germanic inchoatives such as 'awaken' (Kluge 1995: 869), while ambiguous English 'wake' is often clarified as 'awaken' and 'wake up'. Gothic *wakjan* parallels *sat-*

jan 'set' and *wagjan* 'shake', but *wahsjan* 'grow' (intransitive and transitive: Streitberg 1971: 164), must have ousted an intransitive **wahsan* 'increase' preserved in Gothic *us-wahsans* 'adult, of age' with Germanic parallels in Old High German *wahsen* 'grow, wax' (Lehmann 1986: 387), German *wachsen* 'grow' and English 'wax' as in the 'waxing' of the moon (Kluge 1995: 869). A Modern German strong verb V, *wachsen* 'become large' then persists with no transitive active counterpart, while English 'grow', like Gothic *wahsjan*, is both transitive and intransitive. It is not clear how Gothic *aukan* (strong verb VII) 'increase' (PIE **hwek'-*) fits. Is it a later loan based on Latin *augeo* 'increase'?

Such patterns, preserved in Gothic to differing degrees, were inherited from Germanic, not PIE. Pairs *haban* 'have' (weak III), *haffan* 'lift' (strong VI) are similar in patterning to *skaban* 'shear' and (*ga-*)*skapjan* 'create' (both strong VI) with strong VI transitive active *-ja-* forms based on a present root with a vocalism. Both verbs, with similar root structure, have problematic etymologies (2.0 below). Correspondences between the Gothic root of *skapjan* 'shear, shave' and Lithuanian *skabùs*, Latvian *skabrs* 'sharp' (see German *scharf*) perhaps recall an old northern European root on which Germanic (and Latin with *scabo*: '(I) shave, scratch') innovated. A further *skapjan* '(do) harm, injure' (strong VI), apparent denominative from *i*-stem *skapis* 'harm, injustice', has a meaning that fits transitive active *-ja-* derivation.

The strong class V verb *bidjan* 'ask, pray' alone is not built on a root with a vocalism, but on a zero grade corresponding to *beidan* 'wait' (strong class I; PIE **b^(h)ey-d^(h)-* 'trust': Justus & McWhirter 2000 ms.). Does this suggest that *in-agjan* 'put fear into, admonish' (Chart IV above) might be derived from zero grade **agan* ? 'revere', that weak class III verbs once formed a further basis for *-ja-* derivation? This deserves further study. Relations between denominative weak class I *raidjan* 'order, establish' (*raihis* 'straight, just'; PIE **rek-* 'extend', Gothic, *reiks* 'ruler') and Gothic *rathjo* 'account, count', *rodjan* 'speak', formally regular *rikan* (stv V) 'gather, heap up', and weak I *uf-rakjan* 'reach out, extend' (English 'rake', possibly Greek *orégo*: Lehmann 1986: 284) also deserve more study in a comparative Germanic context, as do other forms. Gothic attestations may be masked by its corpus limited to Wulfila's translation of the Bible.

1.5 Comparative-Historical Implications

The traditional account of transitive active weak I Gothic verbs identifies them with a PIE perfect **o*-grade plus PIE **e*:-*ye/o*- (Prokosch 1938: 187–193; Krause 1968: 253–257). Because Sanskrit *-áya-* forms causatives built on what has been identified with the PIE perfect singular *o* grade, it has been

identified with Gothic transitive active *-ja-*, and Gothic *wahsjan*, Sanskrit *vaks-āya-ti* '(make) grow' are viewed as cognate (Chantraine 1968: 141).

While Germanic **wahs-*, Sanskrit *vaks* both reflect a PIE **Hwek's-*, Gothic *wahs-ja-n* is unlikely to correspond to Sanskrit *vaks-āya-ti* '(make) grow', which is a secondary derivation compared with the older pattern of transitivity alternation between intransitive middle (*vārdhate* 'grow') and transitive active (*vārdhati* '(make) grow'). Not only is the old Sanskrit transitivity alternation distinct from a Gothic intransitive **wahsan* 'grow, increase' : transitive *wahsjan* 'grow, make grow', but Greek transitive: intransitive pairs *αὔξω · αὐξάνω* '(I) grow, (I) increase' (< **H-wek'-*, **Huk'-*) represent yet another independent IE mechanism (see also Sihler 1995: 519–520; 509–510 who notes an «overall lack of IE congruence between various IE branches» in such formations).

Because of the age and complexity of the Sanskrit system and the excellent inner synchronic description that the Sanskrit grammarians left, the temptation has been to superimpose the Sanskrit ten present verb classes on the other IE languages. So Prokosch (1938: 147–159) compared Germanic strong classes V (Gmc **sitjan* 'sit' < **sed-jo-*: see below), VI (Gothic *skapjan* 'harm'), and «the majority of Weak Verbs» with Sanskrit present classes 4 (see *di.v-ya-* *-mi* 'I play') and 10 (see *co.r-āya-* *-mi* 'I steal'). This has left a legacy of confusion as regards PIE (athematic) **-ye/o-* and thematic **-e-ye/o-* (or an ablauting **-e-ye/o-* < **-eH₁-ye/o-*), and Germanic weak class I verbs with present conjugation vowels, *-ja-* : *-j(i)-* or *-ja-* : *-ei-* (weak I: Krause 1968: 253–254).

1.5.1 PIE **-e-ye/o-* and Germanic

A major formal problem for identifying Germanic present classes with **-e-ye/o-* (ablauting with **-e-ye/o-*) is that, as Polomé (1967: 86–90) noted, Sanskrit *-āya-* causatives are thematic, while Gothic *-ja-* forms lack the theme vowel. Cognates of Gothic weak III verbs are often stative: Gothic *þahan*, Old High German *dage:n*, Latin *tace:re* 'to be silent'; Gothic *witan* 'to observe', Latin *vide:re*, Old Church Slavonic *videiēti* 'to see'; Gothic *haban*, Old High German *habe: n*, *habe:re* 'to have'). When Latin and Old High German counterparts reflected another athematic suffix, a stative **-e-* (Polomé 1967: 90–91), Polomé conflated stative, intransitive, medio-passive, and the Greek aorist passive *-η⁷* with Germanic weak III verbs (1967: 91–92). This did not solve grammatical problems, but identification of a stative **-e-* with weak class III verbs, separated

⁷ Sihler (1995: 497–498) analyzed Greek aorist **-eH₁-* statives as a possible innovation, pointing to the inherent contradiction in meaning between a stative and the (punctual) aorist, without, however, correcting identification of Germanic weak class III verbs with **-eH₁-ye/o-*.

PIE *-e:- reflexes from inner Germanic uses of an athematic IE *-ye/o- (Polomé 1967: 87–90) and from PIE *e:-ye/o-. Germanic weak class III verbs reflect PIE *-e:- and weak class I -ja- forms a PIE *-ye/o-.

1.5.2 PIE *-e:- and the Stative

While Old High German *habē:n* and Latin *habē:re*, formally reflect *-e:-, Gothic *haban* with weak III stem vowel alternation, -ai-/a- (Krause 1968: 255) is less clear. Posing the question as to the form of a PIE stative, Jasanoff (1978: 94–117) rejected a diphthongal origin of Germanic weak III verbs, as had Polomé, but derived them from an old athematic (perfect) middle *-o- (which had undergone processes of remodeling) with addition of active, instead of middle, endings (Jasanoff 1978: 56–93; 73–76). In the remodeling that Germanic underwent, a weak III Germanic -ai-/a- suffix (of perfect or aorist middle origin plus present endings) would have become separated from the stative *-e:- that was productive only in Latin and formally separate from a PIE present type in *-e:-, *-e:-ye/o-, or *-e:i- (Jasanoff 1978: 93). Language-specific developments of historical (dialectal) stative forms thus had different sources (1978: 118–126). Whatever the PIE relations of Germanic weak class III forms, they were derivational (see Lehmann 1995: 43), and in the remodeled Germanic system, an independent innovation. Germanic forms, like Latin ‘have’, were also syntactically transitive, if semantically stative.

1.5.3 PIE *-ye/o- in Germanic and IE

As noted above, Gothic *þauršjan* ‘be thirsty, thirst’, cognate with Sanskrit intransitive active *tṛṣyati* (< *t^(h)ers-t^(h)- ‘dry’) reflects an intransitive PIE *-ye/o- by contrast with Germanic transitive active -ja- forms. Intransitive *-ye/o- has been identified as durative or intensive in Vedic *mānyate* ‘thinks’ and Greek *μαίνεται* ‘rages, is mad’ (< present middle *mnye-t-o-i), forms that inherited the same PIE root as Gothic preterite present *man*, *munan* ‘thinks, to think’. Sihler separated this thematic durative *-ye/o- from a transitive *-ye/o- (Latin *specio*-, Vedic *páśyati* ‘see’), from an innovating Sanskrit passive -ya- (1995: 502–503), and from thematic classes (1995: 515–518), showing how variable in meaning this old form became in dialectal IE uses. Did he then mean to further suggest that the *-ye/o- of «the stative complex *-eH₁-ye/o-» was remodeled in Italic, Germanic, and Balto-Slavic as separate *-eH₁- alternating with *-ye/o- suffixes (Sihler 1995: 503; 497)? It is not clear.

PIE durative *-ye/o- has reflexes in intransitive presents such as Old Icelandic *sitja*, *liggja*; Old English *sittan*, *liggan*; German *sitzen*, Old High German *liggen*,

suggesting a Germanic *e*-grade present stative **sit-ja-*, independent of Latin *sede:re* (< PIE **set'-e:-*) 'to sit'. The **-ye/o-* reflected in intransitive *sitja* differs clearly in meaning from that of Gothic *satjan* 'set'. Comparison with Sanskrit *sa:dáyati* 'seats, sets' (*sadati* 'sits, takes a seat') should now be viewed as a parallel independent innovation. Gothic *satjan* reflects an athematic **-ye/o-* by contrast with thematic **e-ye/o-* of *sa:dáyati*, and the Sanskrit root *sa:d-* is lengthened, Gothic *sat* is not. If lengthened grade *sa:dáyati* 'seats', as often thought, restores the **e : o* distinction of an old PIE present: perfect distinction where sound changes have obliterated it, this is an inner Sanskrit innovation. Each language has independently chosen from a repertoire of PIE forms and used them in new dialectal systems of grammar. If transitive active Gothic *-ja-* verbs reflect a PIE **-ye/o-*, they mostly use it for new inner Germanic purposes. Such inner Germanic innovations that characterize a new grammatical system are too often neglected in emphasizing the now well-established IE character of Germanic.

2.0 Gothic *haban* 'have' : *hafjan* 'lift'

Returning to English 'have : heave' and its old Germanic cousins, Gothic *haban* 'have' : *hafjan* 'lift (heave)', Meillet's (1970: 85) view that these problematic forms fit a more general grammatical pattern, is confirmed. That pattern, moreover, is an innovation, not of PIE origin.

When weak class I *hafjan* 'lift' corresponds to weak class III *haban*, it follows a pattern of transitivity similar to that of weak class III and weak class I verbs of the type, (*ga-*)*kunna* 'to experience', *kannjan* 'to make known' (1.3). So the historically ambiguous vocalism of *haban* could reflect a zero grade parallel to that of weak class III (*ga-*)*kunnan* 'to experience', and *hafjan* should reflect a full grade corresponding to a preterite present singular **hab* 'holds' (historically ambiguous perfect) parallel to preterite present singular *kann*, *kannjan* 'to make known' (1.3). Synchronically, *hafjan* also recalls the *a* vocalism of *satjan* 'set' (weak I correspondent of strong V preterite *sat* 'sat') and *skaban* 'shear', (*ga-*)*skapjan* 'create' (strong VI present with *a* vocalism, weak I derivative: 1.4).

Chart VIII: 'Have' and Gothic Transitivity Derivation

STATIVE/ INTENTIONAL	STATE	TRANSITIVE ACTIVE
1.3 <i>ga-kunnan</i> 'experience' (wk III)	<i>kann</i> , <i>kunnan</i> 'know' (preterite present)	<i>kannjan</i> 'make known' (wk I)
1.4a <i>sitan</i> 'sit, take a seat' (str V)	<i>sat</i> 'sat' (strong preterite)	<i>satjan</i> 'seat, set' (wk I)

Chart VIII: 'Have' and Gothic Transitivity Derivation

STATIVE/ INTENTIONAL	STATE	TRANSITIVE ACTIVE
1.4b <i>skaban</i> 'shear' (str. VI)	?* <i>skaban</i> 'be sharp'	(<i>ga</i> -) <i>skapjan</i> 'create' (str. VI)
1.3 <i>haban</i> 'have' (wk III)	* <i>hab</i> 'holds' (prt. prs)	<i>haffan</i> 'lift'
1.4a ?* <i>hiban</i> 'to hold onto' (str V)	* <i>haf</i> 'held' (str. prt.)	(wk I)

Following a type (1.3) pattern, *haban* 'have' parallels intentional stative weak class III verbs *ga-kunnan* 'experience' and *munan* 'intend' which correspond to preterite presents, *kunnan* 'know' and *munan* 'think'. On this model a lost preterite present ?**hab*, ?**haban* 'to hold' (ambiguously full or zero grade reflex) should correspond to weak I verb, *haffan* 'lift', parallel with *kann* 'knows', *kannjan* 'make known'.

Historically, Germanic *a* reflects both PIE **o* grade perfects and zero grades of some roots. Phonotactic conditions under which an *a* vowel (from PIE schwa) breaks up a difficult consonant cluster ($T_1schwaT_2\acute{o}$ - < a $T_1T_2\acute{o}$ - type: Kurylowicz 1968: 245) would account for *a* vocalism of the sort that occurs in Gothic strong class VI verbs *haffan* 'lift, heave', *skapjan* 'harm', English 'scathe'; *skaban* 'shave, shear', (*ga*-)*skapjan* 'create', German *schaffen* 'do, accomplish' (from zero grade roots: Prokosch 1938: 152–153), as would the perfect full grade **o*. Within Germanic, the *a* vocalism, irrespective of its history, seems to correlate with transitive active *-ja*- derivation.

The consonant alternation of *haban*, *haffan* is more complicated. Because *haban* is a weak verb, we cannot know what a strong preterite counterpart would have been, but we do know that strong verb V *giban* 'to give' has a preterite singular *gaf* 'gave' from which we might have expected a ?**gafjan* 'make give', parallel to strong verb *sitan* 'sit', *sat* 'sat', *saijan* 'set'. The consonant alternation of *haban* and *haffan* has been leveled in German *haben* : *heben*, Old Icelandic *hafa* : *heffa*, English 'have : heave'; Chart I above), but Gothic preserves the pattern the *-b/-f* of *giban*, *gaf* in which a final *-p* is devoiced. Was *haban* a remodeled strong class V?

In Germanic languages other than Gothic, such a consonant alternation might be related to Verner's Law (Justus 1999a: 617–618). When similar Italic (Latin, Oscan, and Umbrian) forms showed similar alternations, however, it was explained as root contamination, if not common inheritance from the glottalic root **g*^(h)*ab*^(h)/**k*^(h)*ap*^(h)- with voicing alternation (Justus 1999a: 619–620; 626).

In terms of root structure, weak class I *haffan* 'lift', is comparable to (*ga*-)*skapjan* 'create' with present strong class VI *skaban* 'shave, shear', both

with *a* vocalism (1.4b), if with different consonant alternations. For *skaban*, Baltic (and Latin) forms argue that the root may be borrowed (1.4 above). PIE reconstructions of *skaban* and *haban*, *(s)kēp-, (s)kāp-, (s)kēb(h)-, and (s)kāb(h)- 'cut with a sharp tool, split' (Lehmann 1986: 307) and *ghabh- and *kap- 'seize, take' (Lehmann 1986: 167) reflect similar problems. Is this typical of certain kinds of loan words into Germanic?

Outside Germanic, Ernout & Meillet (1959: 288; 97) found different root forms with similar stative: transitive active suffixes deriving stative: transitive active pairs, 'have : take', in Latin, Old Church Slavic, and Lithuanian.

Chart IX: Northern IE 'have: lift, take'

Gothic	<i>hab-a-n</i> 'to have'	<i>haf-ja-n</i> 'to lift'
Latin	<i>hab-e:-re</i> 'to have'	<i>cap-io:</i> 'I take, seize'
Old Irish	—	<i>gaib-i-m</i> 'I take'
Old Church Slavic	<i>im-ě-ti</i> 'to have'	<i>im-q</i> 'I take'
Lithuanian	<i>tur-ė-ti</i> 'to have'	<i>tver-i-ù</i> 'I take'

While Gothic, Old Irish, and Latin suggest both cognate root and suffix patterns, Old Church Slavic *im-ě-ti* 'to have' : *imq* 'I take' and Lithuanian *tur-ė-ti* 'to have' : *tveriu* 'I take', recall only the suffix pattern (Justus 1999a: 622–623), but all attest to a similar pattern of transitivity derivation. Within Latin, pairs such as *iace:re* 'to lie', *iacio* '(I) throw' parallel second conjugation *habe:re* 'to have': third conjugation present *capio* '(I) take, seize', suggesting that this pattern was not entirely isolated.

The fact that Baltic, Slavic, and Latin all share similar, but not identical, grammatical patterns of transitivity derivation suggests that Gothic *haban* : *haffan* arose during a period of post-PIE contact in northern Europe. When this derivational pattern applies to new IE transitive verbs of possession, we have further reason to suppose that a northwest European pattern of derivation is innovative (post-PIE) in Germanic. If so, such a pattern should take its place beside Germanic lexical innovations that shared with Balto-Slavic or Latin (or Celtic) during layers of post-PIE contacts (Polomé 1972; 1983; 1992 *passim* and others). If an old root *g^(h)ab^(h)/*k^(h)ap^(h)- is reflected in *haban* 'have', *haffan* 'lift', then it also reflects a relation with Gothic *gabei* 'wealth' (Justus 1999a: 621; 635–636; 1999b: 89–91) that is as old as Common Germanic. English 'have : heave' recalls this period.

Whether a PIE root accounts for *haban* and *haffan* or not, Germanic patterns (Chart I) attest to a period when a paradigmatic 'have : heave' alternation type was productive. With the rise of new transitive stative verbs such Latin *habe:re* 'to have' and Gothic weak class III *haban* 'to have' in alternation with *haffan* 'lift, heave', both Latin and Germanic gave birth to a similar new transitive verb

of possession. The innovating grammar into which both were born represents an innovation on older patterns preserved in Gothic preterite present root alternations based on number (*wait*, plural *witum*). Latin *habe:re* 'to have' and *vide:re* 'to see' took one path, Gothic weak class III *haban* and *witan* 'observe' another (Justus 1999a: 625–627). Within Gothic *haban* 'have' and *haffan* 'lift, heave' are relics of new transitive stative and transitive active derivational patterns.

Beyond inner Germanic and northwestern IE dialect areas, such grammatical innovations have implications for the changing system of IE grammar. If Pre-IE or early PIE was active in type (Lehmann 1993; Stepanov 1989), such morphological patterns of transitivity derivation would add increasing numbers of transitive verbs to a system in which intransitive active and stative bases predominated.

3.0 Conclusions

Basic formal correspondences have been known for long time, but their grammatical context has mostly been ignored in the emphasis on identifying inherited IE forms. With the PIE status of the branches established, a more important task is to identify and evaluate dialectal innovations. Not only does the *-e-* stative of Latin *habe:re* represent a new transitive stative verb of possession by contrast with intransitive *mihi est* stative possession (Bauer 1996), but it is both more transitive than *mihi est* and less transitive than 'take' (Justus 1999a: 633–634). The patterning of Gothic transitivity *-ja-*, found mostly among weak class I verbs, but also in a subclass of strong class VI verbs, represents an important mechanism for deriving by degrees the transitivity that lies between a Pre-IE with intransitive active and stative roots and modern nominative-accusative Germanic languages. In Gothic transitivity *-ja-* types corresponded to intransitive conditions and transitive states as well as other derived types such as *ga-kunnan* 'experience' or *munan* 'intend' and *fullnan* 'become full'.

Chart X: Gothic Transitivity *-ja-* Types

Type	CONDITIONS & STATES	-JA- DERIVATION
(1.2)	<i>fulls</i> 'full' <i>daups</i> 'dead', <i>daupus</i> 'death'	<i>full-jan</i> 'make full' or 'fill' <i>daup-jan</i> 'kill'
(1.3)	<i>kann</i> 'knows' <i>lais</i> 'know'	<i>kann-jan</i> 'make known' <i>laisjan</i> 'frighten'
(1.4)	<i>sat</i> 'sat' ?*skap-s 'sharp' (<i>skaban</i> 'shear') ?*haban 'hold' (<i>haban</i> 'have')	<i>satj-an</i> 'set, make sit' <i>ga-skapjan</i> 'create' <i>haffan</i> 'lift, heave'

The English archaic paradigm, 'have : heave', preserves a millennia-old pattern of derivation which characterizes Germanic as a branch separate from the other IE languages. This pattern of transitivity derivation recalls a mechanism by which the IE languages as a group drifted away from an old Pre-IE active-inactive structure toward more recent nominative-accusative structures. It had the effect of creating many of the new transitive verbs to which the modern passive now applies.

Particulars of an active stage of Pre-IE are mostly lost in the prehistory of the Indo-European languages. The hypothesis that active language characteristics once existed takes on new life, however, when it explains otherwise anomalous archaisms. The suggestion here is that the old 'have : heave' pattern is best explained as a relic of a period when transitivity derivation was productive. In the modern nominative-accusative languages, its work has been done, so it disappears.

With twentieth century contributions to comparative-historical methods now encoded in dictionaries such as Lehmann (1986), we are in a position to explore implications of hypotheses that have resulted from the PIE etymological method. We should now date suffixes with transitivity derivational function in their post-PIE context. Inherited archaisms reinforce our conviction that the IE languages shared a common prehistoric period of development, but systematic differences identify separate paths of development and point in directions of grammatical drift. While Gothic derivation of transitive active verbs reflects a Germanic innovation, transitivity derivation as a grammatical process points to a more pervasive kind of change in progress.

References

Bauer, Brigitte

- 1996 Residues of Non-nominative Syntax in Latin: the *mihi est* Construction. *Historische Sprachforschung* 109. 241–256.

Benveniste, Émile

- 1973 *Indo-European Language and Society*. Translated from the 1969 French original by Elizabeth Palmer with summaries and tables by Jean Lallot. (Miami Linguistics Series 12.) Coral Gables: University of Miami Press.

Chantraine, Pierre

- 1968 *Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots*. Vol. I: A–K. Paris: Klincksieck.

Ernout, Alfred, & Antoine Meillet

- 1959 *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots.* Paris: Klincksieck.

Gamkrelidze, Thomas V., & V. V. Ivanov

- 1995 *Indo-European and Indo-Europeans.* Translated from the 1984 Russian original by Johanna Nichols. Berlin: de Gruyter.

Harris, Alice C.

- 1985 *Diachronic Syntax: The Kartvelian Case.* (= Syntax and Semantics, 18.) NY: Academic Press.

Jasanoff, Jay

- 1978 *Stative and Middle in Indo-European.* (= Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft, 23.) Innsbruck: Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck.

Justus, Carol F.

- 1981 *The Hittite Verb sak(k)/sek(k)- 'know; make known; acknowledge'.* (= Materialien zu einem hethitischen Thesaurus, 10.) Heidelberg: Carl Winter.
- 1982 Directions for Indo-European Etymology, with special reference to grammatical category. *Perspectives on Historical Linguistics*, ed. by W. P. Lehmann & Yakov Malkiel, 292–328. (= *Current Issues in Linguistic Theory* 24.) Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.
- 1999a Indo-European 'have': A Grammatical Etymology. *Language & Typological Variation: In Honor of Winfred P. Lehmann on the Occasion of his 83rd Birthday*. Vol. II: *Grammatical Universals & Typology*, ed. by C. F. Justus & Edgar C. Polomé, 613–641. JIES Monograph 31.
- 1999b The Arrival of Italic and Germanic 'have' in Late Indo-European. *Proceedings of the Tenth Annual UCLA Conference*, ed. by Karlene Jones-Bley, Martin E. Huld, Angela Della Volpe, & Miriam Robbins Dexter, 77–94. JIES Monograph 32.

Justus, Carol F. & Darien A. McWhirter

- 2000 ms. Indo-European Religious Dialect Divisions. To appear in: *Gedenkschrift for Edgar C. Polomé*, ed. by Bridget Drinka. *General Linguistics* 39.

Klimov, Georgij A.

- 1974 On the character of languages of active typology. *Linguistics* 131. 11–25.

Kluge, Friedrich, & Elmar Seebold

Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 23rd expanded edition, ed. by Elmar Seebold. Berlin & NY: Walter de Gruyter.

Krause, Wolfgang

1968 *Handbuch des Gotischen*. 3rd unedited edition. Munich: Beck.

Kurylowicz, Jerzy

1968 *The Inflectional Categories of Indo-European*. Heidelberg: Winter.

Lehmann, Winfred P

1986 *A Gothic Etymological Dictionary*. Based on the 3rd ed. of Sigmund Feist's *Vergleichendes Wörterbuch der Gotischen Sprache*. Leiden: Brill.

1993 *Theoretical Bases of Indo-European Linguistics*. London: Routledge.

1995 *Residues of Pre-Indo-European Active Structure and their Implications for the Relationships among the Dialects*. Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft, Vorträge und Kleinere Schriften, 61. Innsbruck: Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck.

Meillet, Antoine

1970 *General Characteristics of the Germanic Languages*. Translated from the French original by William P. Dismukes with inclusion of corrections from 1922, 1926, & 1930 editions of the 1916 original. (= Miami Linguistics Series, 6.) Coral Gables: University of Miami Press.

Neu, Erich

1976 Zur Rekonstruktion des indogermanischen Verbalsystems. In: *Studies in Greek, Italic, & IE Linguistics. Festschrift for L. K. Palmer*, ed. by Anna Morpurgo Davies & Wolfgang Meid, 239–254. Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft, 16.

Polomé, Edgar C

1962 Diachronic Development of Structural Patterns in the Germanic Conjugation System. *Proceedings of the Ninth International Congress of Linguists* (= *Janua Linguarum*.) The Hague: Mouton.

1967 On the Origin of Germanic Class III of Weak Verbs. *Beiträge zur Indogermanistik und Keltologie. Julius Pokorny zum 80. Geburtstag gewidmet*, ed. by Wolfgang Meid, 83–92. IBS, 13.

1972 Germanic and the Other Indo-European Languages. In: *Toward a Grammar of Proto-Germanic*, ed. by Frans van Coetsem & Herbert L. Kufner, 43–69. Tübingen: Max Niemeyer.

- 1982 Germanic as an Archaic Indo-European Language. *Festschrift für Karl Schneider*, ed. by Kurt R. Jankowsky & Ernst S. Dick, 51–59. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.
 - 1983 The Dialect Position of Germanic within West-Indo-European. In: *Proceedings of the XIIIth International Congress of Linguists, August 29 – September 4, 1982, Tokyo*, ed. by Shiō Hattori, Kazuko Inoue, Tadao Shimomiya, & Yoshio Nagashima, 733–742. Tokyo & The Hague: CIPL.
 - 1992 Germanic, Northwest-Indo-European, and Pre-Indo-European Substrates. *Recent Developments in Germanic Linguistics*, ed. by Rosina Lippi-Green, 47–55. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.
- Prokosch, Eduard*
- 1938 *A Comparative Germanic Grammar*. (= William Dwight Whitney Linguistic Series.) Baltimore: Linguistic Society of America.
- Ramat, Paolo*
- 1998 The Germanic Languages. In: *The Indo-European Languages*, ed. by Anna Giacalone Ramat & Paolo Ramat, 380–414. English version of the Italian original. London & NY: Routledge.
- Sihler, Andrew*
- 1995 *New Comparative Grammar of Greek and Latin*. Oxford: Oxford University Press.
- Stepanov, Yu. S*
- 1989 *Indoevropetskoe Predlozhenie*. Moscow: Nauka.
- Streitberg, Wilhelm, ed.*
- 1971 [1822] *Die gotische Bibel*. 6th unchanged edition. Heidelberg: Carl Winter.

В. П. Калыгин

Роль просодических признаков в истории кельтских языков

Историческая фонетика кельтских языков практически всегда представляется как история сегментных фонем. Однако роль супraseгментных явлений очевидна даже при беглом взгляде на основные фонетические процессы в истории кельтских языков. Представляется весьма перспективным дать хотя бы самый общий и предварительный анализ в духе идей, высказанных Ю. С. Степановым в 70-е годы в ряде статей [Степанов 1974; Степанов, Эдельман 1978].

В середине I тыс. н. э. в истории кельтских языков наступает эпоха кардинальных перемен, вызванных, как обычно пишут в стандартных пособиях по истории кельтских языков, появлением силового ударения. Попробуем представить действие двух важнейших фонетических процессов (палатализации и лениции) на более широком фоне.

Палатализация

Мне хотелось бы рассмотреть несколько взаимосвязанных вопросов, возникающих при описании и изучении палатализации в кельтских языках, в сравнении с аналогичными явлениями и проблематикой, обсуждаемой славистами, поскольку, во-первых, в славистике эта проблематика изучена значительно лучше, чем в кельтологии, а во-вторых, славянский фон позволяет увидеть некоторые аспекты этого явления, которые обычно ускользают от внимания кельтологов.

По-видимому, следует говорить о трех видах (в диахронии — о трех стадиях) палатализации [ср. Bhat 1978]. Первый вид (α) имеет артикуляторный характер и является сугубо фонетическим явлением, имеющим широкое распространение. Результатом действия процессов второго вида (β) является образование фонологически значимой корреляции по твердости /мягкости, как в русском /n/: /n'/, /l/: /l'/, т. е. ряд *непалатализованных* согласных (твердых, веларизованных и т. п.) противопоставлен ряду *палатализованных*

(невеляризованных, смягченных). В третьем случае (γ) происходит образование особого ряда среднеезычных, внутри которого, в свою очередь, могут складываться противопоставления по твердости /мягкости (например, в литовском — /f/ : /f'/, /t/ : /t'/). В некоторых языках этот процесс завершается ассимиляцией согласного. Как в свое время отмечал Р. О. Якобсон [Якобсон 1962, 164], все мягкие согласные, фонологически противопоставленные соответствующим твердым, реализуются в виде палатализованных, а не в виде палатальных, которые образуют свои особые ряды противопоставлений. Различие между видами (этапами) (β) и (γ) палатализации является также важным моментом, различающим процессы палатализации в кельтских и славянских языках: палатализация в славянских языках включает оба этапа, тогда как сфера действия кельтской (гойдельской) палатализации — процессы типа (β).

Консонантизм, реконструируемый для пракеельтского [о периодизации см.: Королев 1984, 31], сохраняет «кентумный» характер, но в то же время близок к набору праславянских согласных в том смысле, что не различает индоевропейских смычных простых и смычных придыхательных:

[*-*] *b t d k g k^w g^w s l r m n*

Прочерк [*-*] указывает на отсутствие в системе консонантизма *p*: падение и-е **p* является наиболее характерным признаком выделения пракеельтского как особого языкового образования («промежуточного» праязыка) из более древней языковой общности. Есть основания считать, что пракеельтские согласные различались как «сильные» и «слабые».

Материал континентальных кельтских языков не позволяет с уверенностью говорить о наличии или отсутствии палатализованных согласных в этих языках. Палатализация, имевшая место на начальных этапах формирования романских языков на территориях с (романизированным) кельтским населением, едва ли может быть истолкована как свидетельство наличия палатализованных, а в дальнейшем — палатальных в соответствующих языках-субстратах. Тем самым, говоря о палатализации в кельтских языках, мы практически всегда говорим о палатализации в островных кельтских языках.

История палатализации в гойдельских языках начинается с позднегоидельского (огамиического) периода и является важной частью радикальной перестройки всей фонологической системы, а вслед за ней и других уровней языка.

ГОЙДЕЛЬСКИЙ КОНСОНАНТИЗМ

смычные	<i>T : t K : k K^w : k^w B : b D : d G : g (G^w : g^w)</i>
сбилянты глухие	<i>S : s</i>
боковые звонкие	<i>L : l</i>

дрожащие звонкие	$R : r$
носовые	$M : m \quad N : n$

Для прагойдельского консонантизма наиболее существенным было противопоставление «сильный» (T) : «слабый» (t), реконструировать же оппозицию «твердый» : «мягкий» у нас нет оснований.

Начало процессов палатализации, лениции (см. ниже) в консонантизме, с одной стороны, синкопы и апокопы в вокализме, с другой стороны, обычно связывают с появлением силового ударения, оказывшим разрушительное действие на фонологическую систему. Весь комплекс этих явлений иногда называют «акцентной революцией». Ее следствием для консонантизма было троекратное увеличение числа согласных фонем.

В результате лениции фонологическая оппозиция «сильные» : «слабые» сохранилась, но изменилось ее фонетическое содержание: сильные (неленированные) сохранились как таковые, а слабые (ленированные) изменили место артикуляции. При палатализации место артикуляции не изменялось, но образовался новый, маркированный ряд, который имел один дополнительный признак — палатализованность. Засвидетельствованный письменными памятниками древнеирландский язык имел следующую систему консонантизма:

Сильные

Непалатализованные $k \quad g \quad b \quad t \quad d \quad L \quad R \quad N \quad m \quad s \quad f$

Палатализованные $k' \quad g' \quad b' \quad t' \quad d' \quad L' \quad R' \quad N' \quad m' \quad f' \quad f'$

Слабые

Непалатализованные $\chi \quad \gamma \quad v \quad \theta \quad \delta \quad l \quad r \quad n \quad \mu \quad h \quad \emptyset$

Палатализованные $\chi' \quad \gamma' \quad v' \quad \theta' \quad \delta' \quad l' \quad r' \quad n' \quad \mu' \quad h' \quad \emptyset$

Формирование ряда палатализованных согласных, по-видимому, происходило в три этапа. В общем виде этот процесс можно охарактеризовать следующим образом: «Противопоставление мягких и твердых согласных в интервокальном положении возникло в конце 5-го века и до периода синкопы выступало только на уровне аллофонов; фонологизировалось оно только во второй половине 6-го века» [Королев 1984, 34]. После фундаментального исследования Д. Грина [Greene 1974] стали более понятными основные моменты процесса палатализации.

Первая палатализация затрагивала, за отдельными исключениями, одиночные согласные в интервокальном положении после преломления гласных в ударных слогах.

Вторая палатализация была вызвана соседством с *i/e* в конечном слове (до апокопы).

Схематично этот процесс можно представить следующим образом [Green 1974, 133; cf. Mac Manus 1991, 90 sq.]:

	стадия I	стадия II	др.-ирл.
nom. sg.	*baLah	*baLah	ball
gen. sg.	*baL'i	*baL'i	baill
dat. sg.	*baLu	*bauLu	bauil, buill
voc. sg.	*baLe	*baL'i	baill

Третья палатализация имела место после синкопы $\bar{e}$ (< $\bar{a}$): *cairtea* (acc. pl. от *carca* 'друг') < **karēda* < **karantās*.

Как уже было сказано, палатализация в протоирландском не вела к образованию особого ряда палатальных согласных. В дальнейшем в ирландском и шотландском языках это положение в основном сохраняется. Отмечаются тенденции к депалатализации в некоторых ирландских и шотландских диалектах (в основном это касается лабиальных [O'Dochartaigh 1987, 82]). Тенденции к утрате палатализованных отмечаются и в некоторых славянских языках [Sadnik 1998]. Причины, вызвавшие эти тенденции, остаются, насколько мне известно, во многом невыясненными [ср. Jakobson 1962, 164, 176].

Начало палатализации в славянских языках объясняют перераспределением признака *дизности* (*палатальности*)/*бемольности* (*велярности*) внутри слога $C + V^i > C^i + V$ (в случае палатализации) и $C + V^o > C^o + V$ (в случае лабиовеляризации) [подробнее см.: Журавлев 1966; Бирнбаум 1987, 70 сл.], т.е. смягчение согласного есть результат переноса (ассимиляции) дизности с гласного на согласный. В кельтских языках закон открытых слогов не действовал и, по-видимому, закрытых слогов всегда было достаточно много. Это делает невозможным механический перенос методов, разработанных славистами, на кельтский материал.

В результате синкопы и апокопы число слогов в древнеирландском слове стало в среднем меньше, чем в протоирландском. Исчезнувшие гласные, как и во многих других языках, оставили после себя след: окончание nom. pl. $\bar{i}$ в **wig-ī* 'мужи' палатализует предшествующее *r*, которое трудно было выразить средствами древнеирландской орфографии, передававшей обычно палатализованное качество согласного посредством $\bar{i}$ перед этим согласным, например *teich* /t'eχ'/. Подобным же образом на письме передавали, например, формы датива *fiur* < **wigū*, показывая, что *g* претерпело некоторые изменения под воздействием *u*. Выстраивалась стройная система консонантизма, включавшая палатализованные ~ нейтральные ~ огубленные. Если

данные современных гойдельских языков подтверждают фонемный статус первых двух рядов, то с огубленными/веляризованными дело обстоит сложнее [ср. Ternes 1973, 23 sqq].

Если мы обратимся к материалу современных ирландских и шотландских диалектов, то обнаружим несколько интересных для нас особенностей. Первая будет состоять в том, что почти все описания указывают на то, что между палатализованным согласным и следующим за ним гласным непременного ряда, а также за непременным гласным и следующим за ним палатализованным согласным появляется нефонологический глайд: breóite [br^ho't^hə] или tiugh [t^hu^hv]. По-видимому, появление глайда между палатализованным согласным и гласным можно считать «орализацией» просодического признака дизности, носителем которого является слог. В то же время глайд свидетельствует об относительно слабой аккомодации гласных и согласных сегментов внутри слога [подробнее см.: Степанов 1974]: между согласным-носителем дизности и непременным гласным образуется «буферная» зона в виде *i*-образного призвука, который «удерживает» смычные согласные в рамках альвеолярной и/или палатодентальной артикуляции и не позволяет им эволюционировать в сторону палатального (среднеязычного) ряда [ср. O'Dochartaigh 1987, 82]. С диахронической точки зрения палатализованные согласные являются остатками древнего слога, утратившего гласный как сегментный элемент, но сохранившие слоговой признак дизности на согласном.

Сходные явления наблюдаются и в некоторых других случаях. В ирландских диалектах отмечены случаи отсутствия палатализации согласных перед гласными переднего ряда: *muir* /mir'/, *duine* /din'ə/, *fuil* /fil'/ . В шотландском им соответствуют /mur'/, /dun'ə/, /ful'/, т. е. практически сохраняется древнеирландское состояние. Изменения в ирландском, по-видимому, объясняются не спонтанным и немотивированным переходом *u* > *i*, но перераспределением признаков дизности и бемольности в слоге: этимологическое *u* было вытеснено на супraseгментный уровень гласным *i*, развившимся из *i*-образного глайда, предшествовавшего палатализованному согласному (соотв. *г*, *п*, *л* в приведенных примерах). Исконное *u* превратилось супraseгментный признак предшествующего согласного и фонетически выражается, подобно описанным выше случаям «орализации» дизности, в отчетливо фиксируемом фонетистами *u*-образном призвуке у лабиальных и веляризованной артикуляции дентальных и заднеязычных согласных: [m^wir'], [f^wil'], [d^oin'ə].

Вторую особенность можно было бы с известной долей условности назвать реконструированной палатализацией. Речь идет о появлении палатализованного согласного в фонетически «немотивированных» позициях.

Так, в современном произношении анлаут /o/ в *eochaig* 'ключ' /охэг'/ или /a/ в *eagach* 'весна' /агэх/ не могут вызывать палатализации предшествующего согласного, но тем не менее, сочетаясь с артиклем, эти слова смягчают финаль артикля: *an eochaig* /əN'охэг'/ и соотв. *an t-eagach* /əN't'агэх/. В литературе описываются случаи регулярного отсутствия палатализации, в определенных случаях, когда для того имелись фонетические условия: *uisge* /is'k'ə/ 'вода' не вызывает смягчения ауслаута артикля *an t-uisge* /əNt is'k'ə/, как и *an oidhche* 'ночь' /əN i:x'ə/. Орфография соответствующих древнеирландских слов — *echaig* и *eagach* — показывает, что они начинались с гласных переднего ряда, регулярное написание с *o* и *a* появилось в среднеирландский период. Во всяком случае начало этого процесса распознается по колебаниям в написании, типа *coire*, *saire*, *suire* 'котел' в рукописях, что отражает изменения [k^wor'e] > [k^wə'ɾ'ə] > /k^oir'ə/.

Другим симптомом слабой аккомодации в пределах слога может служить наличие корреляции гласных по признаку дизности [Степанов 1974, 99]. Эта корреляция далеко не везде имеет фонематический характер, и может быть, стоило бы говорить лишь о наличии тенденции к противопоставлению по открытости/закрытости в различных диалектах. В диалекте Кош Файрге (граф. Голуэй на западе Ирландии) фиксируются два ряда [de Bhalldraithe 1945, 2]:

дизный ряд	<i>i</i>	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>ó</i> (закрытое)
недизный ряд	-	<i>ɛ</i>	<i>a</i>	<i>ò</i> (открытое) <i>и</i> <i>э</i>

В одном из южных диалектов (графство Уотерфорд, населенный пункт Ринг) [Breatnach 1947, XI]:

дизный ряд	<i>i</i>	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>ó</i> (закрытое)
недизный ряд	-	<i>ɛ</i>	<i>a</i>	<i>ò</i> (открытое) <i>и</i> <i>э</i>

В шотландских диалектах [Ternes 1973, 145] фиксируется редкая для европейских языков тернарная оппозиция, которая квалифицируется обычно как «переднеязычные неогубленные ~ заднеязычные неогубленные ~ заднеязычные огубленные»:

<i>i</i>		<i>i</i>	<i>u</i>
<i>e</i>		<i>ə</i>	<i>ó</i>
	<i>ɛ</i>	<i>ò</i>	
	<i>a</i>		

Из сказанного выше можно заключить, что отличие ирландской палатализации от, скажем, русской состоит в более слабой аккомодации внутри

ирландского слога. «Выталкивание» дизности из консонантного сегмента приводит к формированию (особенно в Донеголе) *i*-образного глайда, который и оказывается носителем признака палатализованности, т. е. качества палатальности в дискретном виде. В русском языке этот признак остается в пределах консонантного сегмента, что, как показывает история русского и других славянских языков, способствует «циклической» палатализации, преобразовавшей уже несколько раз смычные в аффрикаты. В то же время ирландский вокализм, хотя очень непоследовательно, в зависимости от акцентных условий, структуры слога и т. п. в различных диалектах, имеет тенденцию к противопоставлению закрытых (дизных) — открытых (недизных) гласных; более отчетливо эта тенденция выступает в шотландском.

Коль скоро мы коснулись соотношения консонантизма и вокализма в связи с палатализацией, то позволим себе еще несколько замечаний по этому поводу.

В результате палатализации число согласных увеличивается — в идеале — вдвое, — но обычно это число меньше (например, в ирландском сильное /R/ не имеет пары). Часто фонологизации палатализованных аллофонов предшествует падение последующей гласной. Активизация процессов синкопы и апокопы обычно связывается с действием динамического ударения.

Если мы сравнить соотношение согласных и гласных в кельтских языках, то получается любопытная картина. В ирландском и шотландском языках количество согласных (41 и 59 соотв.) относится к числу гласных (12 и 18) как 3,42 и 3,28. В валлийском и бретонском языках, в которых нет палатализации, коэффициент будет 1,31 и 0,95. Столь значительный разброс наблюдается в русском и белорусском языках, имеющих динамическое ударение и палатазованные согласные, с одной стороны, и в сербохорватском и словенском языках, имеющих слоговые акценты и не знающих палатализации. Табулярно эти соотношения можно представить следующим образом:

язык	согласные	гласные	коэф.	ударение	палат.
ирландский	41	12	3,42	дин.	+
шотландский	59	18	3,28	дин./сл. акц.	+
валлийский	17	13	1,31	дин./сл. акц.	—
бретонский	20	21	0,95	дин./?	—
русский	32	5	6,4	дин.	+
белорусский	38	5	7,6	дин.	+
сербохорватский	22	11	2,0	сл. акц.	—
словенский	20	14	1,43	сл. акц.	—

В качестве примечания отметим, что дискутируется вопрос о наличии в валлийском и бретонском языках слоговых акцентов [Pilch 1990; Pilch

1992; Thomas 1992]. Несомненно, что этот вопрос требует более пристального изучения и методологического обоснования, но предварительные данные говорят о том, что возможна некая связь между коэффициентом соотношения согласных и гласных в данном языке, типом ударения и наличием/отсутствием палатализации: в языках с палатализацией присутствует силовое ударение и количество согласных в несколько раз превышает число гласных; в языках, не имеющих палатализованных согласных, могут быть слоговые акценты, а коэффициент будет не более двух.

Лениция

Фонологические процессы, сопровождающие леницию, были весьма подробно описаны А. Мартине [Martinet 1952] и в общих чертах могут быть определены следующим образом.

Лениция, т.е. ослабление произношения согласного, возникает в тех случаях, когда согласный окружен звуками максимально открытой артикуляции, т.е. преимущественно гласными и *w*, а также в случае, если за согласным следуют сонанты *l*, *r*, *n*. В таких условиях согласный приобретает две отличающиеся друг от друга артикуляции: в «сильной» позиции он сохраняет первоначальную артикуляцию, а в «слабой» позиции происходит полная или частичная утрата смычки или — в более общем виде — введение гласного элемента в сегмент согласного.

Следует различать два типа лениции. Когда говорят, что в древнеирландском начальный согласный в именах женского рода претерпевает леницию *ind thúath*, то имеют в виду морфологический аспект лениции, так как в др-ирл. изменение *t > th* фонетически не обусловлено и графемы *t* и *th* обозначают различные фонемы /*t*/ и /*θ*/. Соответственно, в более ранний, «доморфологический» период *t* и *th* обозначали аллофоны одной фонемы. О явлениях этого типа написано довольно много [Мартине 1960, 187; более поздняя литература: Калыгин, Королев 1989, 10–13].

Если лениция есть появление слабого аллофона, то эволюцию можно представить следующим образом:

- (1) /-oko-/ /-osko-/ /-so ko-/ /-sos ko-/,

где *k* практически везде одинаков.

Следующий этап лениции ведет к замсе *k > x* в интервокальном положении; новая фонема не образуется:

- (2) [-oko-] [-osko-] [-so ko-] [-sos ko-]

Такое положение можно наблюдать в современном испанском языке.

На третьем этапе, когда в результате действия силового ударения исчезают безударные гласные, мы имеем такую картину:

(3) /-ox(o)-/ /-osk(o)-/ /-s xo-/ /-sos ko-/

На последнем этапе k и x — различные фонемы.

В кельтских языках лениция действует через границу слова. Как отмечал А. Мартине, ударение в таком случае слабое, как, например, в испанском, или практически отсутствует, как в баскском. Фонетическое единство слова, таким образом, выражено неотчетливо. Процесс ленирования согласных стал развиваться, когда еще сохранялось музыкальное ударение (pitch accent), постулируемое для древних индоевропейских языков, а дистрибуция гласных и согласных сохраняется в целом такой, какая характерна для реконструируемого индоевропейского праязыка, т. е. до появления сильного динамического ударения, которое предполагается для того, чтобы объяснить исчезновение большого числа первоначальных гласных в островных кельтских языках [Martinet 1952, 194–195].

В континентальных кельтских языках трудно говорить о лениции. Более надежен и шире представлен галльский материал, но и он не дает возможности утверждать, что ослабление согласных носило регулярный характер. В галльских надписях и в латинской (реже в греческой) передаче галльских слов встречаются случаимены согласных, которые в принципе могли бы быть истолкованы как их (согласных) ослабление в интервокальной позиции. Так, у Цезаря мы находим этноним *Petrocorii*, который в более позднем тексте Григория Турского встречается в форме *Petrogoricus*, отражающее фонетическое /g/, но этот переход вполне соответствует романской модели и не может быть безоговорочно признан кельтским. Материал более ранних надписей неоднороден. Он может свидетельствовать и об аспирации (gnatha в Галлии при регулярном gnata), а употребление ζ греками при передаче галатских имен Γαῖζατοριξ ~ γαιζάται, *gaesati* (ср. *gaesum*)¹ может быть истолковано как озвончение интервокального s в галатском¹. Существуют и другие моменты, затрудняющие чтение и толкование галльского материала, в частности римляне могли воспринимать галльское слабое g как латинское глухое c; кроме того, g и c были графически близки, и поэтому в ряде случаев нельзя понять, какая из этих букв перед нами.

Галльский консонантизм практически идентичен реконструируемой системе согласных для протобриттского; система интервокальных смычных может быть представлена следующим образом [Martinet 1952, 197]:

¹ Язык кельтского племени галатов, мигрировавших в 3-м в. до н. э. в Малую Азию, считается диалектом галльского языка.

-pp-	-tt-	-kk-
-p-	-t-	-k-
-b-	-d-	-g-

Геминированные согласные могут восходить к обще- или протокельтскому, поскольку часто встречаются в тех же словах в гойдельском. Большинство из них возникли, по-видимому, как экспрессивные, другие же появились в результате регулярного фонетического развития, в том числе ассимиляции. Фиксируются преимущественно глухие геминированные, хотя нет принципиальных возражений против их звонких аналогов. Ситуация в этом смысле сходна с латинской: в латыни геминированные глухие обычно встречаются и на морфемном шве (ap-pello) и в других позициях (bucca), тогда как звонкие геминаты встречаются в основном на стыке морфем (ab-brevio) и имеют тенденцию исчезать.

Эволюция интервокальных смычных в бриттском протекала следующим образом:

-b-, -d-, -g- ослабляются в звонкие спиранты -β-, -ḏ-, -γ-;

-p-, -t-, -k- озвончаются в -b-, -d-, -g-;

-pp-, -tt-, -kk- переходят в простые (сильно артикулируемые) -p-, -t-, -k-, с последующим переходом в -f-, -θ-, -x-.

В целом, за исключением спирантизации простых глухих, эти процессы находят параллели в западнороманских языках, в чем усматривают проявление кельтского субстрата².

Для протогойдельского реконструируются следующие интервокальные смычные:

-tt-	-kk-	-k ^w k ^w -
-t-	-k-	-k ^w -
-dd-	-gg-	-g ^w g ^w -
-b-	-d-	-g ^w -

² Фонетический процесс ослабления согласных в определенных позициях охватывает территорию, заселенную кельтами около 3-го века до н. э., — северную Италию, Швейцарию, Галлию, центральную и северную Иберию, Британские острова. Тем не менее говорить о влиянии субстрата затруднительно. Можно фиксировать структурные особенности, способствующие появлению лениции, каковыми являются часто встречающиеся геминированные не только на стыке морфем, но также в начале и середине слова. В диалектах северной Галлии ударные гласные в открытых слогах удлиннялись (позднее дифтонгизировались), но -ll- и -nn- упростились в -l- и -n-, не вызвав никакого смещения. Благоприятные условия возникают, если язык различает три следующих слоговых типа — att(a), at(a), āt(a), как в ранних этапах развития кельтских языков. В поддержку субстратного происхождения лениции в романских диалектах может свидетельствовать то, что в классической латыни слоговые модели att(a), at(a), āt(a), āt(a), имели тенденцию переходить в att(a) : at(a), att(a) : āt(a).

По происхождению гойдельские геминаты сходны с бриттскими и, по меньшей мере частично, восходят к протокельтскому. Звонкие геминаты развились в гойдельском из сочетаний *-nt-* > *-nd-* > *-dd-*, *-nk-* > *-ng-* > *-gg-*, *-nkʷ-* > *-ngʷ-* > *-gʷgʷ-*. В древнеирландском эти геминированные развиваются в простые.

В общих чертах процесс протекал следующим образом [Martinet 1952, 200]:

I		II		III
[atta]	>	[a-t:a]	>	[ata]
[ata]	>	[ada]	>	[aθa]
[adda]	>	[a-d:a]	>	[ada]
[ada]	>			[aθa]

По-видимому, переход [a-t:a] > [ata] не завершился полностью в древнеирландский период, поскольку в рукописях часто встречаются колебания в орфографии *-tt-* и *-ss-* вместо *-t-* и *-s-*. Скорее всего, фонологизация ленированных согласных завершилась после действия апокопы, т. е. в начале 6-го века, когда звуковые последовательности (на рубеже гойдельского и архаического ирландского периодов) приобрели вид (3).

Согласно А. Мартине [Martinet 1952, 216], одним из благоприятных условий для появления лениции является фонетически слабое ударение, не служащее маркированию границ слова. Во время появления лениции дистрибуция гласных и согласных не претерпела существенных изменений по сравнению с индоевропейским праязыком. Следовательно, раннее кельтское ударение не обладало ярко выраженной силой³. Достаточно широко распространенная геминация в сочетании со слабым ударением существовала и в таких языках, как древнегреческий и санскрит, но не привела к формированию дистинктивных моделей типа лениции. Значит, были и другие факторы, способствовавшие появлению лениции.

Некоторые обобщения

Очевидно, что причины, вызвавшие действие обоих процессов (лениции и палатализации), нужно искать в изменении взаимоотношений вокалических и консонантных сегментов в звуковых последовательностях под влиянием некоторых просодических факторов. Примерно за сто лет, т. е. с начала процесса лениции в середине 5-го века и до завершения синкопы

³ В поздней латыни, по-видимому, ударение испытало «усиление», судя по эволюции гласных.

в середине 6-го века, радикально изменился не только звуковой облик ирландского языка, но произошли существенные изменения в морфологии и синтаксисе. Фонетические метаморфозы привели к размытию старой структуры слова и его составляющих. Сокращение длины слова в основном за счет выпавших в результате синкопы и апокопы гласных привело к иному соотношению слога и морфемы: в слове оказалось очень мало «звуковой материи» для выражения грамматических значений, принимая во внимание то обстоятельство, что древнеирландский язык в результате фонетических преобразований не стал аналитическим, как, например, старофранцузский. Древнеирландский язык сохранял падежную систему, хотя и несколько редуцированную по сравнению с протокельтским [Калыгин, Королев 1989, 15 и сл.], но вполне жизнеспособную. Система глагола практически не была затронута аналитизмом. Иными словами, морфология имени и глагола в основных своих чертах продолжала оставаться суффиксальной «правосторонней». Слева располагались, за некоторыми исключениями, синтаксические показатели. Правая часть слова резко сократилась, и сократилось «пространство для маневра» в выражении важных грамматических значений. Так, гойдельское словосочетание **esio damos* ‘его бык’ (им. п. ед. ч.) превратилось в древнеирландском в *a dhām /a dām/*, которое отличается от родительного падежа лишь отсутствием палатализации конечного *μ* — *a dhaim*. Отсутствие лениции начального было также значимо: *a dām /a dām/* восходит к гойдельскому **esiās damos* ‘ее бык’. Лениция, таким образом, функционировала как «начальная» флексия. Ситуация принципиально не изменилась и в новоирландском. Возьмем сочетание притяжательного местоимения *a* и существительного *seann* ‘голова’ (*/k’auN/* в мунстерском произношении): в сочетании с местоимением мужского рода анлаут существительного будет претерпевать леницию — *a cheann /a x’auN/* ‘его голова’ (в генитиве *an chinn /an x’i:N’/*), во множественном числе (обоих родов) будет иметь место эклипсис — *a gseann /a g’auN/* ‘их голова’, в женском роде ед. ч. анлаут остается неизменным (что также грамматически значимо) — *a seann* ‘ее голова’. Таким образом, морфема со значением притяжательности выражается не столько посредством *a*, сколько изменениями в анлауте существительного, которые эта морфема вызывает: для мужского рода это будет *a* + *спирантизация*, для женского рода *a* + *отсутствие изменений*, для множественного числа *a* + *звонкость*.

Увеличение числа согласных в результате лениции и палатализации подержало флективную морфологию и компенсировало сокращение длины слова, сделав возможной разветвленную систему начальных и конечных чередований согласных. Эта система оказалась весьма устойчивой и существует поныне. Прозрачность границ слова и то, что некоторые морфемы

выражаются лишь одним дифференциальным признаком фонемы (можно сказать, что граница морфемы проходит внутри фонемы), обусловили формирование неких акцентно-семантических блоков, образуемых собственно словом (смысловым ядром), несущим основное динамическое ударение (как правило, на первом слоге корня), и примыкающими к нему клитиками. Эти блоки малоподвижны в структуре предложения, они тяготеют к определенному месту в предложении. В этом плане интересным может оказаться сравнение с материалом нивхского языка, в котором просматривается некая зависимость между чередованиями согласных и порядком слов в предложении [Крейнович 1937].

Таким образом, изменение характера примыкания согласного и гласного на исходе гойдельского периода вызвало цепную реакцию изменений в морфологии и синтаксисе ирландского языка. Признаки дизности и бемольности сместились на консонантные сегменты и породили новые разряды фонем, которые послужили строительным материалом для новой морфологии. Эта морфология базировалась как на «левосторонних» показателях, так и на показателях, присоединяемых справа. В истории ирландского языка неоднократно происходило смещение части просодических признаков с консонантного сегмента на гласный, который получал соответствующую окраску, изменяясь в сторону *i* или *u*. Тем не менее аккомодация по дизности в слоге никогда не заходила настолько далеко, чтобы «продвинуть» палатализованные согласные в палатальные. В этом смысле лениции была более «глубоким» процессом, приведшим в определенных условиях к утрате смычки. Устойчивость лениции и палатализации как грамматических средств в ирландском языке объясняется их тесной увязкой с целым рядом других грамматических характеристик. Их исчезновение с неизбежностью должно привести к перестройке всей системы языка либо к его деградации, как это можно наблюдать в недавно вымершем мэнкском языке, близко родственном ирландскому.

Литература

Бирнбаум Х. Праславянский язык. М., 1987.

Журавлев В. К. Группофонема как основная фонологическая единица праславянского языка // Исследования по фонологии. М., 1966.

Королев А. А. Язык древнейших ирландских памятников. М., 1984.

Калыгин В. П., Королев А. А. Введение в кельтскую филологию. М., 1989.

Крейнович Е. А. Фонетика нивхского (гиляцкого) языка. М — Л., 1937.

- Степанов Ю. С. О зависимости понятия фонемы от понятия слога при синхронном описании и исторической реконструкции // ВЯ № 5. 1974.
- Степанов Ю. С., Эдельман Д. И. Семиологический принцип описания языка // Принципы описания языков мира. М., 1978.
- Якобсон Р. О. К характеристике евразийского языкового союза // Jakobson R. Selected Writings. Vol. 1. 's-Gravenhage, 1962.
- Bhat D. N. S. A general study of palatalization // Universals of human language. Vol. 2. Phonology. Ed. J. Greenberg. Stanford, 1978.
- Greene D. The growth of palatalization in Irish // Transactions of the Philological Society. (1973), 1974, p. 127–136.
- Martinet A. Celtic lenition and Western Romance Consonants // Language. Vol. 28, 1952, p. 192–217.
- O'Dochartaigh C. Dialects of Ulster Irish. Belfast, 1987.
- Pilch H. Breton Phonetics: A New Analysis // Studia Japonica Celtica. Vol. 3, 1990, p. 9–50.
- Pilch H. L'accentologie comparé des langues celtiques // Études celtiques. Vol. 29, 1992, p. 490.
- Sadnik E. Phonemtypologie der slawischen Sprachen und ihre Bedeutung für die Erforschung der diachronischen Phonologie // Zeitschrift für Slawistik. Bd. 43, 1998.
- Ternes E. The Phonemic Analysis of Scottish Gaelic. Hamburg, 1973.
- Thomas A. Welsh // The Celtic Languages. Ed. by MacAulay D. Cambridge, 1992.

Префиксальные глаголы санскрита

Префиксальное словообразование — общиндоевропейский процесс морфологической деривации, который протекал независимо в каждом из древних индоевропейских языков в связи с особенностями словоупотребления и формирования служебных слов в каждом из них. Он привел к разным результатам в языках современных.

В санскрите префиксация как бы пронизывает всю систему языка. Она выступает как один из словообразовательных способов у всех частей речи. О префиксальном словообразовании существительных, прилагательных и наречий мы уже писали¹. Тема предлагаемой статьи — некоторые аспекты префиксального словообразования глаголов санскрита.

Своеобразие древнеиндийской префиксации заключается в том, что в тот период истории индийских языков, который мы исследуем, префиксы-превербы были «молоды».

«Общиндоевропейский язык, будучи системой -OpV-, характеризовался целой группой реляционных элементов, представляющих собой синтаксически одновременно послелоги и превербы»². Причем «реляционный элемент {-p-} в синтагме структуры -OpV- выступает в грамматической функции „послелога“ по отношению к составляющей О и в функции „преверба“ по отношению к составляющей V»³, т. е. они являются полуслужебными словами с двойственный синтаксической направленностью.

Подобные полуслужебные слова в структуре предложения сохраняются в ведийском языке. Превербы/адвербы и предлоги/послелоги ведийского могли относиться как к глаголу, так и к имени, стояли в препозиции или постпозиции к ним, в контактном или дистантном положении. Например,

*bhadra āçvā haritaḥ sūryasya
citra etagvā anumadayaḥ*

¹ В. А. Кочергина. Словообразование санскрита. М., изд. МГУ, 1990. Гл. II Префиксация, с. 49—128.

² Т. В. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванов. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси, изд. Тбилисского университета, 1984, Т. I, с. 357.

³ Там же, с. 355.

*namasyanto diva ā prṣṭham asthuḥ
pari dyāvāprthivī yanti sadyah*

«Счастливые золотистые кони солнца,
светлые, быстрые, сопровождаемые ликованием,
достойные почитания, вступили на поверхность неба.
Они обходят вокруг небо и землю за (один) день⁴».

Подобные полуслужебные слова в грамматических трудах древнеиндийских языковедов⁵ упоминались как один из четырех разрядов слов (частей речи), называемый *упасарга* (*upasarga*). Панини уточняет: «глагольным определением (является слово) упасарга⁶», т. е. функция упасарга уже понималась как уточняющая значение глагола. Лексическую глагольную морфему индийские ученые называли *вачака* (*vaācaka*), т. е. 'говорящий, сообщающий', а слова упасарга называли *дъѣтака* (*dyotaka*), т. е. 'высветляющий, поясняющий'. Наиболее полное описание слов упасарга содержит трактат Чандрогомина Тилака⁷.

Упасарга представлены следующими словами: *a, ati, adhi, anu, apa, ava, ā, ut/ud, upa, ku, dur/dus/duṣ/duḥ, ni, nis/nir, parā, pari, pra, prati, vi, sa/sam, su*.

Из них *a, ku, dur/dus/duṣ/duḥ, sa* и *su* — древнейшие общиндоевропейские именные префиксы, они остаются за рамками предлагаемой статьи.

Каждое из слов упасарга имеет свой тип значения и, в большей или меньшей степени сохраняя или варьируя его, участвует в словообразовании⁸.

Мы наблюдали слова упасарга в памятниках на эпическом санскрите. Материалом исследования послужил язык поэмы Бхагавадгиты⁹ (часть эпоса Махабхарата VII в. до н. э. — III в. н. э.).

Анализ языка Бхагавадгиты показал, что слова упасарга в сочетании с глаголом в подавляющем большинстве случаев стали префиксами; ничтожно малая их часть функционирует в эпическом санскрите как предлоги-последлоги.

⁴ *Rigveda*, I, 115, 3. Гимн Солнцу. Цит. по Vedachrestomathie, hrsg. von A. Hillebrandt. Berlin, 1885, S. 5.

⁵ Yaska, Nirukta, I, 1.

⁶ I, 4, 59. The *Aṣṭādhyāyī* of Pāṇini. Vol. I, p. 194. Ed. Ç. Ch. Vasu, V Ed., Delhi, 1988.

⁷ Ch. Tilak. *Nipātāvyayopasargavṛtti*. Trirupati, 1951.

⁸ Типы значений упасарга см. в книге В. А. Кочергиной. Словообразование санскрита. М., 1990, с. 56–58.

⁹ The *Bhagavadgītā* with eleven commentaries. First Collection. Critically ed. by G. S. Sadhale. Vol. I–III. Bombay, 1935–1938.

Индекс префиксации глагола в эпическом санскрите $\approx 30\%$. Интересно отметить, что отношение префиксальных глаголов и префиксальных отглагольных существительных, выражаемое в процентах, дает отношение 34—35% к 66—65%, т. е. префиксальных глаголов почти в два раза меньше, чем образованных от них имен существительных.

Обратимся к префиксальным глаголам эпического санскрита, рассматривая личные формы, а также причастия, деепричастия и инфинитивы.

Префиксальные глаголы по степени мотивированности их значения распределяются на три группы:

I группа, в которой значение производного глагола выводимо из значений корня и префикса. Такие глаголы составляют 60% от общего числа префиксальных глаголов. Глагольный корень обозначает конкретное действие, в частности движение. Префикс действительно «высветляет» в таких случаях значение корня. Это и понятно, так как слова упасарга в сочетании с глаголом передавали прежде всего пространственные отношения между актантами. Рассмотрим значения нескольких префиксальных глаголов, относимых нами к I группе.

ā — основной тип значения — ‘направленность действия к субъекту’:

gam — ‘идти’,	āgam — ‘приходить; приближаться’
nī — ‘нести’,	ānī — ‘приносить, принести’
dā — ‘давать’,	ādā — ‘взять, брать (себе)’

ā всегда стоит в контактном положении по отношению к корню, что свидетельствует о его более раннем переходе в разряд префиксов.

nī — основной тип значения — ‘движение назад, вниз’:

vart — ‘вертеться’,	nivart — ‘двигаться назад, возвращаться; исчезать’
grah — ‘хватать’,	nigrah — ‘отвлекать; уводить в сторону’
pat — ‘падать’,	nipat — ‘падать вниз; доставаться, выпадать’

pra — основной тип значения — ‘движение вперед, начало действия’. Модификация этого значения особенно зависит от семантики глагольного корня.

yā — ‘идти’,	prayā — ‘отправляться, пускаться в путь’
sthā — ‘стать’,	prasthā — ‘прибывать (о воде в океане)’
vart — ‘вертеться’,	pravart — ‘двигаться вперед; отправляться куда-л.’

sam — основной тип значения — ‘движение с, вместе с’. В зависимости от семантики глагольного корня это может быть и движение в одну точку, центростремительное движение:

- gam** — ‘идти’, **saṅgam** — ‘сходиться, встречаться; стекаться (о реках)’
yam — ‘держат’, **saṁyam** — ‘держат со всех сторон; связывать (волосы)’
ās — ‘сидеть’, **samās** — ‘сидеть вместе с кем-л. (Instr.).’

Нередко **sam** присоединяется к другому префиксальному глаголу, при этом **sam** оказывается в дистантном положении по отношению к корню, т. е. позже переходит в префикс.

- sam-upa-sthā** — ‘выступать вместе’
sam-ā-gam — ‘сходиться’

Глаголы с **sam** составляют 10% всех префиксальных глаголов.

vi — основной тип значения — ‘движение в разные стороны, рассеивание; исчезновение’

- dru** — ‘бежать’, **vidru** — ‘разбегаться (в стороны)’
yuj — ‘связывать, соединять’, **viyuj** — ‘развязывать; освобождать’

vi при наличии у глагола еще одного префикса стоит в дистантном положении, т. е. как префикс начинает употребляться позже. Префикс **vi** очень продуктивен, он встретился у 15% всех префиксальных глаголов.

II группу составляет префиксальные глаголы, близкие по значению производному глаголу, т. е. лексическое значение слов упасарга в них выветрилось, побледнело. Эти глаголы составляют примерно 30% всех производных глаголов.

Поддаляющее большинство таких случаев приходится на глаголы с отвлеченным значением, представленные несколькими семантическими подгруппами. Среди них

а) глаголы восприятия:

- ikṣ** ‘смотреть’ — **nirikṣ** ‘смотреть, рассматривать’
ṣru ‘слушать’ — **abhiṣru** ‘слушать, воспринимать’

б) глаголы, обозначающие состояние:

tap 'гореть; страдать' — **sañtap** 'гореть, страдать, испытать боль'

harṣ 'радоваться' — **sañharṣ** 'радоваться; быть в восхищении'

в) глаголы обозначающие умственную деятельность:

cint 'думать' — **sañcint** 'думать, размышлять'

man 'думать; считать' — **samman** 'думать, считать за (с двойным винительным падежом — считать кого... за...)'

г) глаголы речи:

ah 'говорить' — **prāh** 'говорить, сообщать'

bhāṣ 'говорить' — **prabhāṣ** 'говорить, сообщать'.

Важно отметить, что префиксальные глаголы этой подгруппы всегда сочетаются с прямым дополнением.

Бесприставочные глаголы того же значения обычно употребляются без прямого дополнения.

К этой же группе относятся такие префиксальные глаголы, в которых значение префикса в соединении с глаголом конкретного значения как бы оказывается избыточным, дублирующим. Например, **svaj** 'обнимать' — и то же **parisvaj** (**pari** 'вокруг, кругом'); **diṣ** 'указывать' — и то же **upadiṣ**; **grah** 'хватать' и то же **pratigrah**.

III группа — производные глаголы, у которых префикс не сохраняет определенного значения, характерного для исходного слова упасарга, а производный префиксальный глагол сильно отличается по значению от исходного корня. Это 8—9% производных от ограниченного количества корней. Например

vid 'знать' — **āvid** 'приглашать, предлагать'

labh 'брать' — **ālabh** 'убивать'

vas 'жить' — **upavas** 'поститься'.

В более позднем классическом санскрите наблюдается тенденция к ослаблению или даже утрате непосредственной связи значения префикса со значением исходного слова упасарга, изменения и колебания значений префиксов в зависимости от семантики глагольного корня и актантов в предложении, развитие многозначности и омонимии префиксов. Все это способствовало, видимо, в дальнейшем уменьшению семантической определенности префикса, характерной для слов упасарга, развитию асимметрии в системе глагольных префиксов, ее усложнению.

Интересна дальнейшая судьба глагольных префиксов санскрита. Поскольку индийские языки, как писал Сунити Кумар Чаттерджи, «выросли, образно говоря, в атмосфере санскрита¹⁰», то древнеиндийская префиксация перешла в составе слов *tatsama* в современные языки. Но префиксация сохранилась только в системе имени, у тех существительных, которые образованы от санскритских префиксальных глаголов. Что касается самих глаголов, то кардинальные изменения в звуковом облике слов в среднеиндийский период привели к слиянию префикса с корнем и к образованию новой глагольной основы, уже не соотносимой с санскритским глагольным корнем и древним префиксом — упасарга.

Утрата морфологической прозрачности префиксальных глаголов санскрита привела к тому, что, например, в современном хинди префиксация как продуктивный способ словообразования глаголов исчезает.

¹⁰ С. К. Чаттерджи. Введение в индоарийское языкознание. М., 1977, с. 173.

Имперфект конъюнктива в латинском языке. К вопросу о происхождении

Лингвистической науке известны различные теории происхождения латинского (италийского) имперфекта конъюнктива, и все же А. Зилер [Sihler 1995], автор последней сравнительной грамматики латинского и древнегреческого языков, считает этот вопрос абсолютно темным. За последнее десятилетие появились три работы [J. Jasanoff 1991; G. Meiser 1993; R. Stempel 1998], посвященные латинскому (италийскому) имперфекту конъюнктива, разные по использованному материалу, по объему, по тем выводам, к которым приходят авторы, но сходные в двух положениях, взятых в основу статьи:

1. Имперфект конъюнктива является новообразованием в италийских языках.

2. Суффикс *-sē-* представляет собой морфемный комплекс, возникший из комбинации имеющихся в италийских языках глагольных суффиксов.

Верны ли эти положения? Не требуют ли они специального исследования?

I. Семантика имперфекта конъюнктива

Ф. Тома [F. Thomas 1938], посвятивший главу своей книги о латинском конъюнктиве имперфекту конъюнктива, писал, что основная трудность, возникающая при изучении семантики имперфекта конъюнктива, связана с неясностью временного значения его форм, поскольку в ранней латыни формы имперфекта конъюнктива функционируют и в плане настоящего времени, и в плане прошедшего времени. Следует заметить, что такое двойное временное значение наблюдается не во всех видах употребления форм имперфекта конъюнктива, но, как правило, в условном предложении. Примечательно, что именно в условных нереальных предложениях, а также при выражении неисполнимого желания имеется параллелизм в функционировании форм имперфекта конъюнктива и презенса конъюнктива. Для понимания семантики этих форм необходимо учитывать прагматический аспект

текста. Для исследования взяты тексты комедий Плавта, еще сохраняющие закономерности функционирования глагольных форм в ранней латыни.

1. Презенс конъюнктива при выражении неисполнимого желания

Plt. Asin. 417 диалог приезжего купца и раба, который выдает себя за распорядителя в доме, чтобы завладеть деньгами купца: *Quaeso hercle noli. . . mea causa hunc verberare. — Utinam nunc stimulus in manu mihi sit* «Прошу тебя не бей его из-за меня». — «Был бы у меня в руках кнут». Слова пожелания отражают ложную, придуманную рабом ситуацию. Plt. Most. 233 Слова влюбленного юноши: *Utinam nunc meus emortuus pater ad me nuntietur, ut ego exheredem meis bonis me faciam atque haec sit heres* «О, если бы сообщили мне о смерти моего отца, чтобы я лишил себя наследства и чтобы она стала наследницей». Очевидно, что сам говорящий не верит в исполнимость своего желания, настолько ложна эта ситуация. Ср. Plt. Capt. 996.

2. Имперфект конъюнктива при выражении неисполнимого желания

Plt. Amph. 574 диалог царя Амфитриона и его раба: *Homo hic ebruius est, ut opinor. — Utinam ita essem! — Tu istic, ubi bibisti? — Nusquam equidem bibi. «Этот человек, думаю, пьян. — О, если бы так. — Где ты напился? — Нигде я не пил».* Из контекста ясно, что неисполнимость желания, выраженно-го посредством формы имперфекта конъюнктива, отражает объективную невозможность ситуации. Plt. Rud. 531 диалог двоих потерпевших кораблекрушение: *Ut fortunati sunt fabri ferrarii, qui apud carbones adsident — Utinam fortuna nunc anetina uterer, ut quom exiissem ex aqua, arerem tamen* «Какие счастливые кузнецы, которые сидят возле углей и всегда им тепло». — «Была бы у меня сейчас утиная судьба, чтобы был я сухим, когда вышел из воды». Неисполнимость желания, выраженного формами *uterer, arerem*, очевидна, так как вся желаемая ситуация объективно невозможна. См. также Plt. Merc. 817–823; Pseud. 306; Trin. 1028. Эти примеры показывают, что различие в употреблении форм имперфекта конъюнктива и презенса конъюнктива связано с различием ситуаций, отраженных в словах пожеланий: имперфект конъюнктива употребляется, когда желание не исполнимо из-за объективной невозможности ситуации, презенс же конъюнктива — когда желание мнимое или когда оно отражает ложную, придуманную ситуацию.

3. Презенс конъюнктива в условных нереальных предложениях

Plt. Asin. 188 слова сводни юноше, который добивается встречи с де-вушкой: *Si ecceator nunc habeas quod des, alia verba prachibeas, nunc quia nihil*

habes, maledictis te eam ducare postulas «Клянись, если бы ты теперь имел что дать, говорил бы ты иначе, но так как теперь ты ничего не имеешь, то бранью желаешь увести ее». Plt. Asin. 392 диалог приезжего и раба в доме Деменета: Quid quaeritas? — Demaeneta volebam. — Si sit domi, dicam tibi. «Что ищешь? — Хотел я Деменета. — Если бы был он дома, я сказал бы тебе». Plt. Poen. 1219 Si sim Iuppiter, iam hercle ego illam uxorem ducam «Если бы я был Юпитером, сразу же, клянись, взял бы ее в жены». В условных предложениях со сказуемым в форме презенса конъюнктива речь идет о ситуациях, невозможных в настоящий момент. Отнесенность к настоящему времени часто подчеркивается лексически: si... nunc habeas «если бы ты теперь имел»; si sit domi «если бы был он дома (сейчас)»; iam... uxorem ducam «сразу же взял бы в жены».

4. Имперфект конъюнктива в условных нереальных предложениях

Часто условное нереальное предложение со сказуемым в форме имперфекта конъюнктива является отрицательным. Отрицание в форме союза (nī, nisi), или частицы (non), или префикса (in-) усиливает выражение нереальности ситуации, о которой говорится в условном предложении. Например, Plt. Aul. 741 у старика пропал спрятанный им горшок с деньгами. Юноша, которого старик обвиняет, говорит: Factum est illud, fieri infectum non potest. Deos credo voluisse. Nam nī vellent, non fieret «Это произошло и стать не происшедшим не может. Думаю, боги так хотели. Если бы не хотели, не произошло бы». Plt. Most. 460 хозяин возвращается домой и, так как дверь заперта, стучит. Происходит диалог между ним и его рабом: Eho an tu tetigisti has aedis? — Cur non tangerem? — Tetigisti? — Quo modo pultare potui, si non tangerem? «Ох! Ты дотронулся до этого дома? — Почему бы мне не дотронуться? — Дотронулся? — Как мог я стучать, если бы не дотронулся?» Plt. Trin. 113 старик рассказывает о своем друге: Mihi commendavit virginem gnatam suam et rem suam omnem et... filium. Naec si mihi inimicus esset, credo haud crederet «Он поручил мне свою дочь и все свое имущество и сына. Если бы не был он мне другом, то, думаю, не доверил бы мне». В этих условных предложениях говорится о ситуациях, невозможных в прошлом. Наряду с такими предложениями в тексте Плавта есть немало условных нереальных предложений со сказуемым в форме имперфекта конъюнктива, в которых речь идет о ситуациях, невозможных в настоящем времени. Например, Plt. Asin. 592 разговор юноши и девушки: Cur me retentas? — Quia tui amans abeuntis ego. — Vale. — Aliquanto amplius valerem, si hic maneres. Почему ты меня держишь? — Потому что я люблю тебя, и, когда ты уходишь, мне недостает тебя. — Будь здорова! — Я была бы здоровее, если бы ты здесь оставался. Plt. Asin. 196 разговор юноши со сводней: Ubi illaec

8 — 1390

quae dedi ante? — Abusa. Nam si ea durarent mihi, mulier mitteretur ad te. «Где то, что я дал раньше? — Истрачено. А если бы еще было у меня, то девушку послала бы тебе». Так же Plt. Amph. 522; Asin. 674; Persa 590. Эти примеры позволяют прийти к выводу, что формы имперфекта конъюнктива в ранней латыни еще не имели значения определенного времени, как позже в классической латыни. Они функционируют только как модальные формы, обозначая нереальную по объективной причине ситуацию. Отнесенность к тому или иному временному плану показывает контекст.

Таким образом, семантическое отличие имперфекта конъюнктива от презенса конъюнктива в ранней латыни обнаруживается в двух областях: в плане временных отношений формы презенса конъюнктива указывают на то, что действие происходит в настоящий момент, формы же имперфекта конъюнктива являются атемпоральными; в плане модальности формы имперфекта конъюнктива обозначают неисполнимость желания по объективной причине, тогда как формы презенса конъюнктива функционируют в таком контексте, из которого ясно, что желание неисполнимо, так как связано с ложной, выдуманной ситуацией. Краткое семантическое определение имперфекта конъюнктива — категория ирреальности — удобно и отражает основное и наиболее раннее его значение. То, что именно имперфект конъюнктива является в ранней латыни основным грамматическим средством выражения ирреальности, доказывается употреблением архаичной формы имперфекта конъюнктива *foret* в условном предложении весьма архаичной структуры, имеющем характер формулы: *absque me (te) foret* «если бы было без меня (тебя)» = «если бы меня (тебя) не было». В этом условном предложении, по мнению Я. Ваккернагеля [Wackernagel 1942], союзом является *-que* «если». Но уже в ранней латыни *-que* не имеет этого значения, кроме как в этой формуле. Модальное значение условности, нереальности выражается только глагольной формой имперфекта конъюнктива *foret* (или *esset*), никакой другой глагол в этой формуле не встречается. Например, Plt. Trin. 832 *Nam absque foret te, sat scio in alto distraxissent* «Если бы тебя не было, вздернули бы меня, уверен, на дыбу». Plt. Men. 1022 *Nam absque te esset, hodie nunquam ad solem occasum viverem* «Если бы тебя не было, то не жить бы мне сегодня до захода солнца». Как и в обычном нереальном условном предложении со сказуемым в форме имперфекта конъюнктива, так и в этом архаичном условном предложении отнесенность ситуации ко времени (к настоящему или к прошедшему) определяется из контекста.

Формы имперфекта конъюнктива встречаются в ранней латыни и в других видах употребления при выражении приказа, возможности действия, сомнения и т. д., отличаясь семантически от форм презенса конъюнктива только дополнительным значением прошедшего времени, — употребление,

безусловно, более позднее, получившее продолжение и развитие в классической латыни.

II. Морфология

Среди форм имперфекта конъюнктива есть две формы, которые стоят вне системы форм латинского глагола, так как образованы не от основы презенса, но непосредственно от корня: *foret* (форм презенса с этой основой в латинском языке нет) и *faxet* (презенс *facio*).

На особое положение глагола *foret* обращали внимание грамматисты Древнего Рима. Присциан перечисляет все известные формы этого глагола и отмечает: *Sunt verba, quibus desunt et tempora et personae, ut fores, foret, forent, fore* «Есть глаголы, у которых нет ни времен, ни (всех) лиц, как *fores, foret, forent, fore*» [Grammatici Latini. II: 420]. Есть еще одна особенность словоформы *foret*, связанная с ее корневым вокализмом. Лат. *foret*, как и соответствующая форма в оскском языке *fusid*, имеет в корне краткое -и- и восходит к праиталийскому **fusē* — с и.-е. корнем **bhuH-* «быть». Этот корень с ларингалом в исходе имеет две формы: антеконсонантная форма *bhū-*С- и антевокалическая **bhū-*В-. Краткость корневого гласного в лат. *foret*, оск. *fusid* традиционно объясняют влиянием однокоренной формы презенса конъюнктива *fuat* [Leumann 1977]. Однако принятые определения этих форм — презенс конъюнктива и имперфект конъюнктива — не отражают их соотношения в языковой системе. Каждая из этих архаичных словоформ — *fuat* и *foret* — имеет свою область функционирования, свои грамматические и лексические значения: *fuat* нередко употребляется как синоним глагола *fiō* [F. Thomas 1938: 16]. Словоформе *foret* это лексическое значение чуждо. Кроме того, форма *foret*, как и другие формы имперфекта конъюнктива, не имеет в ранней латыни значения прошедшего времени во всех видах употребления. Поэтому предположение о влиянии корневого вокализма формы *fuat* на форму *foret* вряд ли верно. Скорее, следует считать, что краткость корневого гласного была присуща форме имперфекта конъюнктива *foret* изначально. Краткостью корневого -й- оба автономных образования косвенных наклонений *fuat* и *foret* были противопоставлены в ранней латыни формам индикатива *fuit, fūimus*, имеющим долгое корневое -ū- (в классической латыни *fuit, fūimus* с кратким -й-).

Другая изолированная форма имперфекта конъюнктива *faxet* встречается только один раз в условном нереальном предложении в комедии Плавта «Псевдол» 499: *pistrinum in mundo scibam, si id faxem, mihi* «Я знал: если сделал бы это, тотчас мне на мельницу». Как и *foret*, словоформа *faxet* име-

ет нулевую ступень корневого вокализма **fak-sē-* (и.-е. корень **dheH₁-k-/dhH₁-k-*).

Итак, морфологическими приметами двух архаичных форм имперфекта конъюнктива в латинском языке являются нулевой вокализм корня, суффикс *-sē-* и вторичные личные окончания (ср. окончание 3-го л. ед. ч. *-d* в оск. *fusid*). Переход от архаичных корневых форм к более поздним формам имперфекта конъюнктива, вошедшим в систему инфекта, был связан, возможно, с соотношением форм имперфекта конъюнктива и инфинитива: как *fore* : *foret*, так *daret*, *esse* : *esset* и т. д.

Экспонент формы имперфекта конъюнктива суффикс *-sē-* рассматривается традиционно в лингвистике как морфемный комплекс, члены которого *-s-* и *-ē-* объясняются по-разному: в *-s-* видят по происхождению, как правило, суффикс сигматического аориста или сигматического будущего. В работах последнего десятилетия [Jasanoff 1991; Meiser 1993; Stempel 1998] имперфект конъюнктива считается новообразованием в итальянских языках, лингвисты же предыдущего поколения [Wackemagel 1897; Hirt 1915; Stang 1966] искали связи итальянского образования на *-sē-* в других языках. В 30-е годы значительное признание получила теория Ваккернагеля — Хирта о древнегреческом, так наз. «эолийском» оптативе на *-seī* и генетической связи его с итальянским имперфектом конъюнктива на *-sē-* (**-sej-e-*) и с прусским оптативом на *-sei*, что давало возможность реконструировать индоевропейский тип оптатива на **-sej-*. В 3-м томе индogerманской грамматики 1969 г., посвященном глаголу, К. Уоткинс [Watkins 1969] не упоминает этот тип оптатива на **-sej-*. Разрушил эту теорию Г. Рикс [Rix 1976]. Он утверждает, что и.-е. суффикс оптатива *-ij-* (в его нотации и.-е. оптатив на **-ī/ij-*) сохранился в критских формах оптатива, например 3-м л. мн. ч. *λυσιαν*. Суффикс же «эолийского» оптатива *-seī* появился в результате диссимиляции гласных: *-ij-* > *-ej-*. Однако следует заметить, что формы оптатива типа *λυσιαν* имеют место в тексте Гортинских законов 5-го века до н. э., тогда как формы оптатива на *-seī* преобладают в гомеровском языке 8-го века до н. э.

Новый импульс к поискам дает тохарский материал. Доказано, что тохарский имперфект с суффиксом *-i-* и *-ou-* восходит к и.-е. оптативу. У двух глаголов «быть» и «идти» формы имперфекта особые в обоих тохарских языках. В тохарском В, в котором не было монофтонгизации дифтонгов, формы имперфекта этих двух глаголов имеют дифтонг *-ej-* и вторичные личные окончания, в тохарском А на месте дифтонга *-ej-* стоит *-e-* и личные окончания первичные. Глагол «быть» (и.-е. корень **es-*): 3-м л. ед. ч. тох. В *ʃeu*, тох. А *ʃeʃ*, 3-м л. мн. ч. тох. В *ʃeuem*, тох. А *ʃeʃc*. Глагол «идти» (и.-е. корень **ej-*): 3-м л. ед. ч. тох. В *uey*, тох. А *ueʃ*, 3-м л. мн. ч. тох. В *ueuem*, тох. А *ueʃc* [Krause, Thomas 1960]. Корневой вокализм этих форм

одинаково представлен в тох. А и в тох. В нулевой ступени. В тох. В сохранилась более древняя морфологическая структура форм опатива глаголов «быть» и «идти»: помимо нулевого вокализма корня сохранился суффикс опатива *-ej-* и вторичные личные окончания. Эти морфологические признаки позволяют видеть структурное сходство тохарских форм опатива на *-ej-* и итальянских архаичных форм имперфекта конъюнктива: лат. *foret*, осл. *fusid*, лат. *faxet*, которые также имеют нулевой вокализм корня, вторичные личные окончания и суффикс *-sē- (*-sej-e-)*. Есть сходство также в семантике сравниваемых форм: значение ирреалиса свойственно латинским формам имперфекта конъюнктива и формам опатива (= имперфекта) глагола «быть» в обоих тохарских языках. Например, тох. А II 9 *kuprene waṣtāṣ ma lāñcāl šeṣ... sakravartti wāl nasāl šeṣ* «если бы он не ушел из дома... стал бы царем Sakravartti» [Thomas 1964]. При несомненном структурном и функциональном сходстве форм итальянского имперфекта конъюнктива и тохарского опатива глаголов «быть» и «идти» есть различие в форме суффикса: *-ej-* в тохарских языках, *-sē- (*-sej-e-)* в итальянских. Выше уже говорилось, что элемент *-s-* в составе суффикса итал. *-sē-*, прусс. *-sei* обычно считался по происхождению суффиксом сигматического аориста или сигматического будущего. Против первого предположения Хр. Станг [Stang 1966] указал, что глаголы с и.-е. корнями **bhuH-*, **ei-* не имели на раннем этапе истории сигматического аориста. Считать, что итальянские формы с суффиксом *-sē-* были по происхождению опативом сигматического будущего, трудно из-за позднего появления этой категории в истории языков, как в древнегреческом языке. Может быть, логичнее считать *-s-* в составе суффикса *-se (*-sej-e-)* неэтимологическим элементом, который служил расширению исходного суффикса **-ej-*, сохранившегося в тохарских языках только у двух глаголов. В связи с этим интересна гипотеза Руйка [Ruijgh 1992], который, рассматривая варианты написания микенских слов, пришел к выводу, что один из графических знаков обозначал согласный *-h-* и использовался в словах с хиазом на морфемном шве как неэтимологический согласный *-h- (*-s-)* для предотвращения слияния гласных. По его мнению, в микенском языке *-h-* перед гласным чередовалось с *-s-* перед согласным (например, презенс **ξéh-ω-*: перфект *έ-ξεσ-ταί*), что привело в древнегреческом языке к распространению *-s-* как расширителя морфем в глагольном спряжении.

Возможно, подобное неэтимологическое *-s-* на стыке двух морфем — глагольного корня с гласным в исходе и суффикса опатива **-ej-* — способствовало появлению расширенного варианта суффикса **-s-ej-* в некоторых индоевропейских языках. В итальянских языках суффикс **-sej-* был дополнительно расширен за счет тематического гласного **-sej-e- > -sē-*. Примеча-

тельно, что тематический опатив на *-eǵ → *-seǵ(-e-) был у атематических глаголов (и.-е. *bhuH- 'становиться, быть', *es- 'быть', *dheH₁-k- 'класть, делать', *eǵ- 'идти') и, по всей вероятности, предшествовал формированию типа тематического опатива на *-oi-, который возник на основе тематических глаголов. Основной функцией форм тематического опатива на *-eǵ-, *-seǵ(-e-) было выражение нереальности в отличие от опатива на *-iē/ǵ-, служившего выражению желательного или предполагаемого действия или состояния.

Таким образом, есть основания считать, что латинский (италийский) имперфект конъюнктива на -sē- не был новообразованием в языке, и можно поставить его по происхождению в ряд образований опатива с суффиксом *-eǵ-, *-seǵ-, следы которых сохранились в тохарских языках, в прусском языке и, как считали Вакернагель, Хирт, Швицер [Wackernagel 1897, Hirt 1915, Schwyzer 1939], в гомеровском языке и в диалектах древнегреческого языка.

Такие характеристики отдельных архаичных форм латинского (италийского) имперфекта конъюнктива, как образование непосредственно от корня, нулевой вокализм корня и полный вокализм суффикса -sē- (*-seǵ-e-), вторичные окончания, а в плане содержания — модальное значение ирреалиса и отсутствие временного значения, позволяют видеть в латинском имперфекте конъюнктива одну из очень древних морфологических категорий глагола, прошедшую длинный путь от чисто модальной категории к категории прошедшего времени конъюнктива.

Литература

- Hirt H. 1915 — Zur Verbalflexion. Zum aeolischen Optativ // IF. 1915, Bd. 35.
- Jasanoff J. 1991 — The origin of the italic imperfect subjunctive // HS. 1991, Bd. 104.
- Krause W., Thomas W. 1960 — Tocharisches Elementarbuch. Heidelberg, 1960: 217.
- Leumann M. 1977 — Lateinische Laut- und Formenlehre. München, 1977: 524.
- Meiser G. 1993 — Uritalische Modussyntax: zur Genese des Konjunktiv Imperfekt // Oskisch-Umbrisch, hrsg. von H. Rix. Wiesbaden, 1993.
- Rix H. 1976 — Historische Grammatik des Griechischen. Darmstadt, 1976: 233.
- Ruijgh C. 1928 — L'emploi mycénien de -h- intervocalique comme consonne de liaison entre deux morphemes // Mnemosyne. 1992, vol. 45, 4.

- Sihler A. 1995 — *New comparative grammar of Greek and Latin*. New York, 1995: 600.
- Stang Chr. 1966 — *Vergleichende Grammatik der Baltischen Sprachen*. Oslo, 1966: 442.
- Stempel R. 1998 — *Zu Vorgeschichte und Entwicklung des lateinischen Tempus- und Modusystems* // HS. 1998. Bd. 111, 2.
- Thomas F. 1938 — *Recherches sur le subjonctif latin*. Paris, 1938: 199.
- Wackernagel J. — *Idg. -que als alte Nebensatzleitende Konjunktion* // KZ, 1942. Bd. 67.
- Wackernagel J. 1897 — *Vermischte Beiträge zur griechischen Sprachkunde*. Basel, 1897: 79.
- Watkins C. 1969 — *Indogermanische Grammatik*. Bd. III. *Geschichte der idg. Verbalflexion*. Heidelberg, 1969: 226.
- Schwyzler E. 1939 — *Griechische Grammatik*. Bd. I. München, 1939: 797.

Некоторые особенности микенского синтаксиса

Тема, которой посвящены заметки, довольно традиционна. Она разрабатывалась в трудах Ф. Бадер и Вяч. Вс. Иванова. Автор делает попытку взглянуть на нее с точки зрения акцентологической концепции индоевропейского предложения, заявленной, в частности, в расширенном понимании закона Вакернагеля [Красухин 1977]: ударные частицы полнозначны и относятся ко всему предложению (или синтагме); у безударных частиц редуцируется значение; их значение существенно главным образом для предшествующего им члена предложения.

1. Препозитивная частица *o/fo* и ее постпозитивный аналог

Эта частица нередко стоит в абсолютном начале предложения, и за ней следует глагол: (1) *jo ijesi mezana ereutere diwejewe* (PY Cn 3) *ιω ιενσι Μεζανα(ι) Ερευτερε(ι) Διφειφει* «так пустили в Мезану(?) для Елевтерия (или эревтера — сборщика пошлин?) Дивиевия»; (2) *ougufo opia₂ga epikowo* (PY An 657) *ω Φυντοι οτιαλα επικουροι* «так охраняют побережье стражники»; (3) *odidosi durutomo amotejonade epiruta* (PY Vn 10) *ω διδονσι δρυτομοι αρμοτειαυδε επιφута 50* «так дают дровосеки в Армотей (из Армотей?) деревья — 50 (штук)»; (4) *odoke akosota/tuweta arepazoo/tuwea arepate zesomeno* (PY Un 267) *ω δωκε Α(λ)ξο(ν)τας θυφεσται αλειφαζωι θυφαι αλειφατει ζεσομενοι* «это дал А(л)ксонтас(?) парфюмеру — изготовителю благовоний для варки благовонного масла»; (5) *jodososi koretere dumateqe* (PY Jn 829) *ω δωσονσι χωρητηρες θυμαντερες-qe* «это дадут сельские управители (?) и исполнители (?)»; (6) *odasa[to] akoso[ta] eqeta ereutero* (PY Wa 917) *ω दाσσато Α(λ)ξοnτας επετας ελευδερος* «так распределил А(л)ксонтас (?), свободный чиновник»; (7) *odekasato akosota simako* *169 22 *61 12... (PY Pn 30) *ω δεκ-сато Α(λ)ξοnτας Σ...* «это получил А(л)ксонтас Симакос (?) 22 (?) нехватка 12»; (8) *ozeto kesadoro* *34-topi (PY Vn 130) *ω ζητο Κεσσανδρος...* *34-τοφι «так распределил Кессандр с помощью (?)»; (9) *joasesosi sia₂ro opidamijo* (PY Cn 608) *ιω ασησονσι σιαλους οπιδαμιοι* «так выкормят свиней жители»; (10) *oorerosi rino* (PY Nn 228) *ω οφελλονσι λινον* «так должны (доставить)

лен»; (11) *ooporo aro* [miio pesero/pu₂ke maratuwo PT 1[... (MY Ge 602) *ω ορφον...* Ψελλος Pu₂ke *μαρατφον* «это были должны Пселлос и П.: укроп 1 пучок»; (12) *owide akosota togoqejomeno aoura a₂risa* (PY Eq 213) *ω Fide A(λ)ξο(ι/υ)τας τροβειουμενος αρουρας αλισσανς(?)* «это увидел А(л)ксонтас, обходящий пашни приморские (?)».

Есть несколько примеров, не укладывающихся в это правило:

А. Конструкция с частицей *o-* стоит не в начале предложения: (13) *qasirewijote* ja *mogoqa toto wete oakerese* (PY Sn 64) *βασιλεφινωτες: ja μοροτας тотωι Fετει ω αγγησε* «царствующие: казначей (?) в этом году собрал столько»; (14) *amakoto meno joterepato ekeseesi/ qerasija aminisode pasi teoi are* (KN Fr 14) *αμακτο μενος ιω τρεψαντο (δρεψαντο¹) εξεσι Q. Αμνισουδε πανσι θεοις Αγγη (?)* «в месяц гемактий так обратились (разделили пищу?): отправят(ся)² к Q. (имя божества) в Аминису, всем богам, Аресу». Но надо отметить что большая часть слов из этой таблицы в словарях помечается как *obscurum*, поэтому наша интерпретация весьма условна. Р. Шмитт-Бранд полагает, что в этих случаях проявилась двойная функция местоимения **io-*, могущего начинать предложение или же относить его к предшествующему тексту [Schmitt-Brand 1973]. Ср. (15) *yó dyam ástabhnat sá janasa índrah* (RV II 12, 2) «кто небо укрепил, тот люди, Индра»; *yáj jayathas tád áhar...* *apibo* (RV III 48, 2) «когда ты родился, в тот день пил»; (16) *lokó yás te adriava indrehá tata a gáhi* (III 37, 11) «тот мир который твой, Индра отсюда сюда приди». Ф. Бадер [Bader 1974] и вслед за ней Вяч. Вс. Иванов [1979] полагают, что частица *o/o* всегда занимала первое место в синтагме; причиной перенесения частицы с глаголом в конец предложения является конструкция *toto wete, amako meno*, которая обозначает временной промежуток. С нашей же точки зрения, эта конструкция приобрела именно такой вид благодаря тому, что в ней сильное логическое ударение лежит на именах. В таблице речь идет, судя по всему, о сборе налогов, осуществленном разными должностными лицами. Поэтому она начинается с заглавного *qasirewijote*; следующие строки делают акцент на именах «царствующих». Выражение *oakerese* противостоит следующему: *kadowo mogoqa ouqe akereke rugo mogoqa ouqe akereke K. μοροδας ουτε αγγησε, Ρ. μοροτας ουτε αγγησε*. Иными словами, вводное предложение с частицей *o* противостоит отрицательному. Это позволяет восстановить еще одну функцию частицы *o/o* — утвердительную. В той же таблице (13) формула *toto wete oakerese* повторяется 7 раз, что подтверждает наше толкование. (Палмер переводит здесь *o-* «in addition», против чего возражает

¹ На таком чтении настаивает Э. Вильборг [Vilborg 1960].

² Форма *ekeseesi* не имеет общепринятого толкования. Ее объясняют [Словарь 1986] как дат. мн. ч. неясного имени. С нашей точки зрения, его можно трактовать и как буд. вр. от глагола *εξιμι*: *εξιπονσι* (с возможной опиской?).

Дж. Хукер [Hooker 1968].) Аналогично в KN Fp 14 синтагма *amakoto meno* может рассматриваться как заголовок. Вообще, наличие конструкции «о + глагол» не в начале таблицы позволяет существенно скорректировать правило Ф. Бадер. Для этого следует учесть, что дошедшие до нас микенские тексты — это не повествования, а канцелярские тексты, сначала именующие ситуацию, затем более подробно описывающие ее. Поэтому первая строка в табличке носит вводный характер. В этом случае глагол действительно тяготеет к частице, носящей, по выражению Х. Розена, «суперординативный» характер, т. е. указывающий на начало текста, охватывающий текст в целом. Иное название для такой функции — катафорическая, т. е. указывающая на последующий текст (в противоположность анафоре, относящей слово или высказывание к предыдущему). Напротив, внутри текста такая частица относилась к одному предложению и могла противопоставить его другим предложениям. Следует заметить, что отрицательная частица часто встречается в середине таблицы; ср.: (17) *deweoazkoraija VELUM 1234/tosade oudidoto VELUM 459* (PY Ng 319) *Δεφεροαιγολαια V 1234, τοσαδε ου διδoto V 459* «В ближнее побережье — ткани 1234; вот столько не дано — 459»; (18) *peraazkoraija VELUM 200 [tosade oudidoto VELUM] (PY Ng 332) Περααιγολαια V 200... τοσαδε ου διδoto V...* «В дальнее побережье — ткани 200...; вот сколько не дано — тканей...» Единственный пример отрицательной частицы в начале таблицы: (19) *ouparokene[to.].kawotara[...].poro/puro kereza rawijajao kowo AU 15* (PY Ad 686) *ου παρογενετο Αλκαφοταρας (??) Πυλων kereza λαφαιων κορφοι AU 15* «не прибыл Алкаотар (?) в Пилосе, Кереза юноши из пленных (или — лавийайцев)» (текст поврежден, поэтому интерпретация затруднена. Но, по-видимому, он лишен жесткого деления на заголовочную и информативную часть, поэтому первая строка может содержать в себе иные конструкции, чем в заголовках, в которых обычно не сообщалась отрицательная информация).

В. Между вводной частицей и глаголом помещается другая частица или имя: (20) *oarate dekasato areijo ouce po[raitija VELUM 30...* (KN Le 41) *ω αποδεν δεξατο Αρηιος ουκε πο[...* «так из другого места получил Арейос... ткани...» Частица *arote* носит явно дейктический характер, поэтому она предшествует глаголу и стоит после вводной частицы. Другой контекст — (21) *joaminisode didosi[...]/kupesero LB 30* (KN O 464) *ω Αμινσονδε διδουσι[...]/κυφελος LB 30* «так дали в Амнис ящик (или — имя собств.?) 30 мер веса...» Здесь, как видим, совсем иной порядок слов, чем в (1): *oijesi mezana* «так отправили в Мезану». Возможно, наличие дейктического элемента *-de* уподобило имя города дейктическим комплексам и привело его на второе безударное место в предложение. С другой стороны, в кносской таблице за глаголом почти сразу следует имя подлежащего или прямого

дополнения. В пиловской же записи вслед за этой вводной фразой следует перечисление имен в номинативе (субъектов предложения), имен местности и имен получателей в дативе (косвенных дополнений) при общем предикате, который здесь входит в состав заголовочной фразы. Находясь на втором, послеударном месте, он и приобретает декларативный характер [Wackernagel 1892]. То же значение характеризует и другие глаголы, стоящие на втором месте в предложении, непосредственно после частицы *o/jo*: *odidosi*, *ouruto*, *owide*. Все эти глаголы, как показывают вышеприведенные примеры, стоят в начале таблицы и вводят ее содержание.

С. Третье отступление от общего правила едва ли даже заслуживает такого названия. В PY Vn 20 текст читается не с наречия *o*, а с однокоренного ему местоимения *oa₂* (*oη*): (22) *oa₂epidedato/ parawewowono* «так роздано» (*ἐπιδέδοται*) (*nomen obscurum*). Частица *a₂*, по-видимому, представляет собой дополнительный дейктический показатель. Довольно распространена в пиловских таблицах частица *oda₂* *ωδ' a* или *ωδ' ha*. Этот комплекс начинает таблицу или отдельное сообщение в таблице. Ср.: (23) *oda₂ anakēe opetote/ [erisowa ijereu [] 1/newokito ijereu daijakireu 1/to]uko kusamenijo metapa 1/aeriqota[] owitono 1/aikota adara [... (vacant 2)/ oda₂ ekeioto akotono/ pa-kuro₂ kewijo/] kareu ekommenatao *34-te/] kekujo/] meta porudasijo/] menua₂/ marateu apuke/] qotewo i-*65/nawesijou timitoqo* (PY An 218). Эта надпись состоит по большей части из имен собственных. Поэтому транслитерации в греческий здесь поддаются стк. 1: *ωδ' ha αναγειν οφελλοντες* «вот так обзаванные привести», стк. 3 — *δαι-αγρευς* «распределитель полей» стк. 9. — *ωδ' a(p) ευκειοντοι ακτοινοι* «вот так подлежат (налогу) невладелец земельного участка». В этих контекстах частица имеет ярко выраженный катафорический характер. Во многих других контекстах этот комплекс, скорее, подытоживает сказанное ранее, он анафоричен. Ср.: (24) *qerekotao kitimena tosode pemo GRA 2 1/10 3/ oda₂ onatere ekosi qerekotao kotona* (PY En 659) Q. *κτιμενα τοσοδε σπερμο 1/ωδ' a(p) ονατερες εχονσι* Q. *κτοινα* «П-а (ИС) частное владение — столько зерна. Вот так арендаторы держат участок П-а». С вариациями эта формула повторяется в той же таблице (стк. 7–8): *adamaojo kotona kitimena tosode pemo 8/ oda₂ onatere ekosi adamaojo kotona Αδμαοιο κτοινα κτιμενα τοσοδε σπερμο 8/ ωδ a(p) ονατερες εχονσι Αδμαοιο κτοινα*. Показательно, что за этими фразами не следует указаний на меры: величина подати была указана ранее, и следующее за ней предложение завершает сообщение. В других контекстах разбираемый комплекс следует охарактеризовать как связанный и с предыдущим, и последующим сообщениями. В той же таблице En 659 находим: *aiqewo kotona kitimena tosode pemo GRA 1,2 oda₂ tara₂to teojo doero onato eke tosode pemo GRA 1,3 (12) «А. частный участок — столько зерна 11; также Стратон(?) раб божий имеет надел, столько*

зерна 1,3». Если сообщение о владении участка рассматривать как посылку, а указание на количество зерна — как дань, то *oda₂* — комплекс, вводящий новую посылку. Интерес заслуживает серия таблиц Ма 90—222, где этот комплекс встречается после записей, обозначающих меру, например Ма 90: (25) *meta₂* *146 28 RI (weight) 28 KE (weight) 2 PEL 13 O (weight) 6 ME 600/ *oda₂* *kakewe oudidosi* *146 1 RI (weight) 1 [] *kurewe oudidosi* *146 4 RI (weight) 4 PEL 2 KE (weight) 3 ME 100 *Meta₂*. . . *ωδ'ha χαλμεφε₂ ουδιδοςι*. . . К. *ου διδοσι* «Метапа: Ткани(?) 28. . . (вес) 28. . . (вес) Шкура 13. . . (вес) 6. . . 600; и вот кузнецы не дали: ткани 1. . . (вес) 1. . . К (имя этноса?) не дали ткани 4. . . (вес) 4 Шкура 2. . . (вес) 3. . . 100». Двойная — анафорическая и катафорическая — функция рассматриваемого комплекса здесь самоочевидна. Здесь надо отметить точку зрения Дж. Хукера, который подчеркивал необязательность постановки *o/o* в начале предложения. По его мнению, также неправомерно сравнивать *o/o* с гомеровским *ὄς*, так как последняя обозначала скорее устремленность назад, в отличие от крито-микенской. Устремленность вперед (катафоричность, по нашей терминологии) у Гомера выражала скорее частица *ὅδε*. Это вполне справедливо, но функция гомеровского (и не только гомеровского) *ὄς* более сложна.

Следует заметить, что в кносских табличках вообще мало конструкций «частица + глагол», как в пилосских. Здесь глагол стоит обычно после имени, как в первой, так и в последующих строках: (26) *poserojo eesi* /MUL 1 *kowa* 1 *kowo* 1 (KN Ai 63) П. *εενσι*/M 1 *χορφα* 1 *χορφο₂* 1 «(Собственность) П.: 1 женщина, 1 девочка, 1 мальчик»; (27) *jo₂pa ouqe pεpa₂to upo CAR* [.] I QIIA *aromotemena ouqe anija poti eesi* (KN Sd 4022) *οπα ουτε πεδ-βατον CAR αρμοτμενα ουτε ανιαι ποσι εενσι* «. . . нет ступеньки у колесницы: вожжи не в наличии»; (27) *woreu doke* [*jawone* (KN Ws 1707) W. *δωκε* «В. взял». Поэтому в кносских текстах иногда дублируется глагол, который в пилосских текстах был бы вынесен в заглавную строку: (28) *65 *ponuwe atipamo pere LANA 91/sidajo pere poroto LANA 42 apote pere LANA 69* (KN Od 562) *Νονυφε₂ Αντιφαμος φερε₂ LANA 91 Σιδαιος πρωτον φερε₂ LANA 42 αποδεν φερε₂ LANA 69* «Нонию Антифамон приносит 91 меру шерсти, сперва Сидеец 42 меры из других мест — 69 мер»; (29) *podaqeresijewo poro/RO sirako qirijato kutero kurozojo doero MAN^B 1* (KN B 822) П. *πωλος Σιρακος πριατο Κυζερος Κυροιο δουλος M 1* «Жеребенок П., Сиракос купил, Ките-рос; раб Кирова — 1 человек». Исключение из общего правила: в Кносе — упоминавшиеся контексты (20) (*oapote didosi*) и (21) (*joaminisode didosi*).

В Пилосе же, несмотря на обилие предложений, начинающихся с частицы, достаточно распространены предложения, где глагол стоит после имени. Например, (29) *akeo akere metapa paro karasuno OVIS 30* (PY Cc 660) A. *αγειρει Μεταπα₂ παρο K. O 30* «А. собирает в Метапе у К. 30 овец».

Надпись характерна тем, что сообщает о единичном случае, не требующем вводно-обобщающих предложений. Аналогично (30) *oaa2 kakewe a2tero weto didosi* (PY Ma 365) *ω δ' α χαλκωφες ατερον φετος διδοσι* «также кузнецы (в) другой год дадут» — предложение второй строчки не катафорическое, а анафорическое. Распространены предложения с глаголом *eke* «имеет» который всегда занимает второе место: (31) *kereteu eke onato paro morobrewi poiweuei* «Кртей имеет участок у Моробра пастуха». В таблицах Eb идут ряды предложений с *eke*. Ясно, что в здесь он обозначает не совместное, а партикулярное владение лиц, упоминающихся в этих табличках. Поэтому к каждому имени лица требуется особый глагол. Помимо порядка SVO, возможен и противоположный: (32) *sarapeda posidaoni dosomo/owidetai dosomo ekerawo/dose turo* (PY Un 718) *Σ. Ποσιδαονι δοσμον οφιδεταις (οφιδεταις?) δοσμον τοσον Εχελαιος(?) δωσει: τυρος...* «В Сарпедε(?) Посейдону приношение; овечьим жрецам приношение в таком количестве Эхелай даст: сыр...» Поскольку имя *dosomo* повторяется как в первой, так и во второй строке, то неудивительно, что оно оказывается выделенным — вынесенным впереди глагола.

Но вот на что необходимо обратить внимание. Ф. Бадер и Вяч. Вс. Иванов совершенно правы, полагая, что глагол в конструкциях *ooperosi*, *jodidosi* безударен по закону Вакернагеля, ибо стоит после частиц. Но, согласно тому же исследователю, после имени глагол, стоящий на втором месте в предложении, также безударен. И ставится глагол на второе место (после имени) в том случае, если предложение носит не повествовательный, а репрезентативный характер, информирующий прежде всего о деятеле, а не о действии [Wackernagel 1892 58]. Впрочем, как показал контекст (32), сильный логический акцент может лежать и на объекте, когда этого требует контекст. Таким образом, рассмотрение места глагола показало, что крито-микенские предложения можно разделить на две группы: репрезентативные начинающиеся с имени и обобщающие начинающиеся с частицы *o/fo*. Помимо них есть также утвердительные и отрицательные предложения, представленные, в частности, в (13): *oakerese* vs. *ouqe akerece*. Наконец, можно привести и относительное предложение: (33) *owide pu2keqiri ote wanaka teke aukewa damokoro/qerana wanasiwija qoukara kokireja* 204 1 (PY Ta 711) *ω φιδε Π. οτε Favaξ θηκε ΑυγεFav δαμοκορον: βερανα³ FavaξiFina βουκαρα κορχυλεια...* «Вот что увидел Π., когда царь назначил Авгея дамокором (заведующим продовольствием): царский сосуд с бычьей головой из ракушки». Это классическое временное придаточное предложение с союзом *ote*. Здесь глагол находится не после частицы, поэтому мы вправе предполагать его ударность

³ Этимология микен. *qerana* неясна; может быть, здесь наличествует корень *g^uer- «поглощать», что связано с функцией предмета: «сосуд для питья».

(по аналогии с ведическими придаточными предложениями). Но чрезвычайно instructивно то, что в одном контексте встретились два различных предложения, маркированных близкими по морфемному составу частицами. Предложение с *o* и безударным глаголом носит обобщающий характер, с *ote* — чисто относительное. Поэтому возникает вопрос о происхождении и функции самой этой частицы.

Прежде всего: являются ли *o/o* фонетическими вариантами или разными по происхождению формами? Относительно второй сомнений в ее происхождении не возникает: корень **io-* широко представлен в различных индоевропейских языках; его первичное значение — релятивность и/или указательность. Что же касается варианта *o*, то Дж. Хукер [Hooker 1968] считает, что он появился под влиянием минойского (языка линейного письма А) субстрата и сравнивает микен. *o/o* с формами табличек из Айна-Триада *aru* (HT 9a) — *jau* (HT 6a), *asasara* (I 12) — *jasasara* (I 16). М. Лежен [Lejeune 1976] видел здесь отражение старой и новой произносительных норм в микенских таблицах⁴. Другой пример такой же вариации — силлабемы *a* и *a₂*, вторая из которых, по мнению исследователя, отражает прагреч. *ha*; ср. *Akia₂rija* = *aigihallia* «прибрежная область». В микенских таблицах встречаются вариации такого типа: *jake* (PY Mn 11) — *a₂ke* (KN V 118) — *ake* (KN Ai 739, Ak 7001 et al.) Таким образом, М. Лежен реконструирует здесь процесс **i* > *h* (> *0*?), который не завершился в микенском. Здесь можно было бы привести в пример также *jaketere* (PY Mn 11) = *a₂ketere* (Kn V 118) = *aketere* (PY Fr 1206), сравниваемое с *ασκητήρες* «ремесленники; подмастерья (кузнеца)» (последнее толкование см.: Словарь 1986, 101); впрочем, согласно словарю [Chadwick-Baumbach 1963, 177], имя *aketere* может быть сравнено и с *ἄκος* «лекарство». В этом случае приходится отделять его от *jaketere*. Именно такого рода примеры внушают мысль о возможности иных объяснений, чем предложенное М. Леженом.

Вяч. Вс. Иванов [1979] полагал, что это местоимение, представленное также в русск. *вот* < **отъ*, *авось* < **a-o-сь*. Его аблаутный вариант *e* и есть аугмент. Таким образом, микенское *odoke*, *owide* может быть сравнено с классическим *εδοκε*, *εφιδε*. Однако натянутость такого объяснения несомненна. Во-первых, частица *o* свободно сочетается и с презенсом (*odidosi*, *oasesosi*). Во-вторых, аугмент — это не просто начинающая предложение ча-

⁴ Наличие двух норм для одного диалекта, в принципе, вполне правдоподобно. И. М. Тронский [1973] подчеркивал именно наддиалектный характер крито-микенского идиома, и этим, в частности, можно объяснить то, что этот диалект прямо не относится ни к одной из древнегреческих диалектных групп. А Ю. В. Откупщиков [1988] считает даже возможным охарактеризовать язык крито-микенских табличек как своеобразное койнэ всех палеобалканских (греческого, фракийского, фригийского, «пеласгийского», карийского) языков.

стица (как полагают Иванов и Уоткинс [Watkins 1963]). Очевидно, что она должна была обозначать либо завершенность, либо отдаленность. Поэтому аугмент целесообразно сравнивать с греч. η 'уже', ε-κει 'там' [Brugmann 1893 811; Schwyzler 1939, 651; ср. Красухин 1992]. Что же касается микенского o/jo, то мы можем лишь повторить то, о чем говорили в цитированной статье: вариант jo восходит к и.-е. *io- o — к *so-. Здесь мы полностью солидарны с К. Уоткинсом [Watkins 1963]. Оба корня находятся в несомненной корреляции друг с другом, ср. многочисленные соотносительные предложения у Гомера и в Ригведе: (34) ως δ' ὅτ' ἀπὸ τοῖσιν αὐτῇ ἀραρῇ πικρὸισι λιδοῖσι//... ως ἀραρὸν κορυθῆς τε καὶ ἀσπίδ' ἐμφαλοέσσαι (Ил. 16 212–4) «как человек отделяет стену плотными камнями, так сомкнулись шлемы и усеянные бляхами панцири». Первое ως, очевидно, относительное местоимение (<*io-) второе — указательное в функции коррелятива (<*so-); (35) yo jata eva prathamano manasvan devo devan kratuna paryabhusat yasya cusmad rodasi abhyasetam nṛmnasya manha sa janasa indrah (RV II 12, 1) «кто могучий, первый рожденный бог богов силой превзошел, от чьего дыхания небо и земля укрепились(?), тот, люди, Индра». Этот гимн вообще примечателен тем, что он почти полностью состоит из конструкций с относительными предложениями: 14 из 15 стихов заканчиваются коррелятивом sa janasa indrah «тот, люди, Индра». И во всех этих предложениях ударно только местоимение sa. Напротив, в сочетающихся с ними относительных предложениях ударно и местоимение yo, и глагол. Это характерная черта ведийских релятивов: оппозиция ударного предиката в подчиненном предложении и безударного в главном. В других мертвых языках она не столь очевидна, так как в них не изображается на письме фразовое ударение. Вакернагель [Wackernagel 1892, 59] полагал, что нечто подобное имело место в древневерхненемецком; поэтому в независимом предложении глагол стоит на втором месте (атоническом), в придаточном — в конце предложения, что может отражать древнейшее состояние. Вероятно, в относительных предложениях существовали две акцентные вершины: местоимение и глагол. Также следует подчеркнуть, что, по-видимому, именно акцентология служила главным различием предложений относительных и аппозиций с указательными местоимениями. Возьмем ведический текст с аппозитивными и относительными предложениями: (36) sahasraçirṣa purusah sahasraksah sahasrapat/sa bhumim visvato vrtvati atisthad daçangulam//purusa evedam sarvam yad bhutam yac ca bhavyam/utamṛtatvasyeçano yad annenatirohati (RV X 90, 1–2) «тысячеглавый Пуруша, тысячеокый, тысяченогий, он на земле десятипалой повсюду высоко стоял, Пуруша, тот, который все бывшее и сущее владеющий бессмертием, так мощно взрастил». Как видим, существенной

разницы между предложениями, вводимыми местоимениями *ya* 'который' и *sa* 'этот, он', нет.

Можно подытожить результаты исследования. Частица *o/jo*, стоявшая в начале предложения (колона) в крито-микенских текстах, обладала сильным фразовым ударением. Следующее за ней место, напротив, было ярко выражено безударным. Его могли занимать частицы, глагол, имя местности. Эта частица, подобно большинству дейктических элементов, начинающих синтагму, могла быть одновременно анафорической и катафорической. Бесспорно, что, встав в начале колоны, частица *o/jo* благодаря своей сильной ударности обособляла его.

Но в пиловских табличках нашелся единственный пример иной позиции данной частицы. В *Et 312* дважды встретилось сочетание *tosojo rema*: (37) *wapakatero temeno/ t. p. GRA 10 (1–2) Fałakteron temeño tosojo oterma*. . . «царский надел — столько зерна — б»; *worokijonejo eremo/ t. p. GRA 6 Foruioveon eremo tosojo oterma* «обрабатываемая⁵ земля — столько зерна — б». Во всех известных нам пособиях форма *tosojo* трактуется как род. п. ед. ч., вполне аналогичная гомеровскому *tāsoio* 'столького'. Но наличие генитива именно в этом контексте ничем не обосновано. С точки зрения синтаксиса остается непонятным, чем он может управлять, а перевод «царский участок; столько зерно» будет вполне аграмматическим. В количественных конструкциях в генитиве стоит имя субстанции, а не количества. Далее, во всех остальных пиловских текстах, где упоминается зерно, количественное местоимение отнюдь не стоит в генитиве: *toso remo tosoo otermo* или *tosode remo tosoo-de otermo*. Такое сопоставление позволяет определить -*jo* в данном случае не как морфему генитива, а как частицу, функционально подобную -*de*, т. е. выражающую противопоставление предшествующей конструкции и направленность на последнее сообщение. Вместе с тем ее функция строго отвечает предложенному нами расширенному пониманию закона Вакернагеля: она прежде всего модифицирует местоимение *toso*. Для более же точного определения генезиса этой частицы можно предложить две линии внешнего сравнения, не исключаящие друг друга. В хеттском известна сочинительная частица -*ia*, функционально подобная *-*k*² в других языках. Как указывает Фридрих, она связывает как отдельные слова, так и члены предложения. Ср. (38) *appanti kunanti-ia mekki esta* (KBo III 4 IV 20) «пленных и убитых было много»; (39) *numu ^DISTAR GASAN-IA kuit kanissan harta SES-IA-ia-mu ^INIR. GAL-is assu harta* (Hatt. I 28) «и как Иштар, госпожа моя, благоволила ко мне, и брат мой Муваттали хорошо

⁵ Слово *worokijonejo* остается не вполне ясным; помимо «обрабатываемый» предлагались также сравнения с *ρωξ* «щель», *ορυεων* «член жреческой коллегии в Афинах».

относился ко мне». Сочетание *-ia...ia* может означать также «как... так»: (40) *SA¹ Attarissiia-ia 1LU SIG₅-an kuennir anzel-a-kan 1 LU SIG₅-an kuennir* (Madd. I 64) «(как) и у Аттарисия одного знатного человека убили, (так) и у нас знатного человека убили»; (41) *erpiit-a mekki kuennipit-a mekki* (Kbo II 5 III 36) «(как) и захватили много, (так) и убили много». Одинарная же частица *-ia* может значить и «также»: (42) *nuuaza apass-a DINGIR^{LIM}-is kisat* (Kbo III 4 I 13) «и он также богом стал». Помимо усилительного значения, наблюдается также и противительное: (43) *karu 30 GUD^{HLA} peskir kinun-a 15 GUD^{HLA} pai* (Ges. 57) «раньше давали по 30 быков, сейчас же по 15 быков дают» [Фридрих 1952, 154–5]. Последний пример наглядно показывает отличие *-ia* от «суперординативных» частиц *ni, ta, su*, стоящих в начале предложения. Постпозитив обозначает не начало нового предложения, а продолжение старого, заключающееся во введении нового предиката, связанного конъюнкцией или противопоставлением со старым предикатом. И если препозитивы могут стоять в начале текста, то постпозитив *-ia* требует предшествующей информации.

Очевидно, то же можно сказать и о микенской форме *tosojo*. Местоимение, маркированное этим артиклем, можно интерпретировать и как выражающее конъюнкцию («и столько зерна»), и противопоставление («зерна же столько», «а столько зерна»). Элемент *-io*, возможно, имеет общее происхождение с флексией генитива тематической основы **-os-io* > микен. *-ojo*, гомер. *-oio* [Knobloch 1951], но наличие двух идентичных по происхождению языковых единиц с разной функцией не должно удивлять. Для примера сошлемся на микенский же формант *-de*, обозначающий в сочетании *tosode* рето соединительность-противительность, а в соединении с именем — направление (*amisode* «в Амнису»). Понятно, что здесь *-io* вполне синонимично *-de* в первом значении, которое богато представлено в послемикенскую эпоху: функция этого постпозитива — анафора. Форма *tosojo* может быть сопоставлена и с балто-славянскими членными прилагательными. Их значение неопределенности и непредикативности также вполне соотносится с микенским местоимением.

2. Частица *qe* в микенском

Следует отметить, что в большинстве случаев она употребляется в значении соединительного союза: (44) *tomako wonoqosoqe* (KN Ch 897) *Στομαχος Βοινοκος τε* «Стомах и Войнок»; (45) *koretere + 5* слов на *-qe* (PY Jn 829); возможна также редупликация этой частицы (ср. послемикенское *те... те*): (46) *ekesiqe patajoiqe aikasama* (PY Jn 829) *ερχεσι τε παλταιοις τε αιχμηα* (?) «острие для копий и дротиков». Явная конъюнкция — (47) *o]daa₂*

ijereu karawijoporoqe egetaqe wetereuqe onata toside pemo GRA 21, 1/10 6 (Eb 313) *ωδ' α ιερεις κλαφιφορος τε επτας τε F(?)*⁶ *те оната тосиде спермо* «Вот так священник, и ключеносец, и спутник и В.(?) — участки. Столько вот зерна — 21,6». Это *qe...* *qe* может иметь и не просто соединительное, а скорее выделительное значение: (48) *ekeqe euketoqe* (PY Eb 297) *εχει τε ευχεται τε* «владеет и просит» или: «владеет; просит же...», также (49) *jreu [asi]toporoqo kamaeu ekeqe wozeqe toside pemo GRA 2 1/10 5* (Eb 177& 1010) ... *ασιτοπορος χαμαευς εχει τε φορζει τε тосиде спермо* «пекарь-земледелец и владеет, и работает (= обрабатывает землю) 2,5»; (50) *jko kamaeu mikata padajeu ekeqe[wozeqe]* (Eb 839) *χαμαευς μιχτας π. εχει τε φορζει τε* «земледелец, смешиватель, падаевс⁷ и владеет и работает»; (51) *ko mijkata padeweu kamaeu ekeqe wozeqe* (Ep 617, 13). Во всех этих случаях допустим перевод «и владеет, и работает», «владеет, но и работает» (совмещает функции владельца и земледельца). Все эти употребления находят параллели в классическом греческом. Но в серии пиловских таблиц находим её постановку после одинарного глагола. В одном тексте можно найти ту же соединительно-выделительную функцию, что и в рассмотренных выше примерах. Это довольно большая таблица Ep 301 (3 строк), состоящая из двух частей, описывающих разные типы землевладельцев: (52) *kekemena kotona anono toside pemo GRA 1 1/10 1 aitijoqo onato eke paro damo kekemena kotona toside pemo 1/10 1 κεκειμενα κτοινα ανωνος тосиде спермо...* *Αιτιοψ ονατον εχει παρο дамо κεκειμενα κτοινα тосиде спермо* «подлежащая земля без пользователя — столько зерна 1,1; Айтиопс имеет надел от народа — подлежащий участок — столько зерна 0,1». Тексты, подобные второй строке, встречаются (с вариациями имен собственных и мер зерна) в стк. 3—5; в стк. 6 находим: (53) *pikereu ekeqe kekeimena kotona kotonooko toso pemo GRA 1/60 Π. εχει τε κεκειμενα κτοινα κτοινooxos тоso спермо* «Π. также имеет подлежащий участок землевладелец; столько зерна 1/60». (54) *reka teojo doera ekeqe onato kekemena kotona GRA 4 paro damo toside pemo GRA 2* (PY Eb 886) *Ρ. δεοιο δεελα εχει τε ονατον κεκειμενα κτοινα ΑΛΦΙ 4 παρο дамо тосиде спермо ΑΛΦΙ 2* «Р. раба божья имеет участок на общинной земле — пшеницы 4 меры, для народа вот сколько зерна — 2 меры». Эта частица явно не служит конъюнкцией, и её интерпретация представляет серьезные затруднения. Вентрис и Чедвик ограничиваются замечанием о том, что частица *qe* мало изменяет значение глагола [Ventrис-Chadwich 1973, 246],

⁶ Определяется как имя собственное, что довольно странно в данном контексте, после имен должностных лиц. Не связана ли эта форма с греч. *ἑσθήης* и не означает ли она нечто вроде «хранитель гардероба» (*ἑσθηρευς*)?

⁷ *padajeu* и *padeweu* (Ep 617), возможно, суть разные написания имени одной и той же должности или этника. Идентифицировать их с каким-нибудь греческим словом пока не представляется возможным.

Пальмер определяет ее как проспективную: «как известно» [Palmer 1960, 53], против чего — Рейг [Ruijgh 1956, 145]. Отметим также оригинальную точку зрения Дж. Хукера [Hooker 1968], согласно которой частица *qe* находит параллель в минойском языке. И микенское *ekeqe* может быть сравнено с минойским *караqe* (HT 6a) Формы на *-qe* встречаются также в HT 23, 37.

Надо сказать, что сами контексты (всего 46 одинарных глаголов *eke* с комплементом *qe*) слишком лапидарны и не дают достаточных возможностей для точной интерпретации частицы. Поэтому представляется целесообразным обратиться к функции частицы **k^ue* в родственных языках.

В хеттском место этой частицы в основном занято *-ia*, соединительный и выделительный постпозитив, происходящий из местоимения **io-*, часто исполняющего те же функции, что и **k^ue-* (о нем в свое время). Тем не менее в хеттском встречается и и.-е. **-k^ue*. Прежде всего это союз *takku* ‘если’, неоднократно привлекавший внимание исследователей. Его в первую очередь целесообразно сравнивать с греч. *tote* ‘когда’, нем. *doch* ‘все-таки’, др.-ирл. *toch* ‘и’. Далее этот же союз сравнивают со слав. *такъ*, лит. *toks* ‘такой’, лтш. *taks*. Впрочем, по этому поводу К. Уоткинс замечает, что упомянутые балто-славянские местоимения суть полноизменяемые формы, тогда как хеттский союз — нет, поэтому между ними и не может быть прямых параллелей [Watkins 1985, 491]. Заслуживает внимания в этой связи и функционирование простого союза *ta* в хеттском. У него две функции: А. сочинение предложений: (55) *LUMES GISBANSUR-kan 2 NINDA mitgaimius danzi tas LU.GAL SAL.LU.GAL-ri piianzi ta parsiianzi LUMES GISBANSUR-kan 2 NINDA mitgaimis appanzi naskan appa suppaia GISBANSUR HIA-as tiianzi* [Фридрих 1960, 160] «люди стола 2 хлеба берут и их (*ta-as*) царю и царице подносят и ломают; люди стола 2 хлеба берут и вот их (*nu-as-kan*) на чистые столы помещают». Из приведенного контекста ясно, что союз *ta* соединял не только сочиненные предложения, но и однородные сказуемые. В новохеттский период он был вытеснен союзом *nu*, встретившимся и в приведенном контексте. В. Выделение главного предложения: (56) *takku IR^{MES}-SU GEME^{MES}-SU kuelkua hurkel iianzi tus arnuuanzi* (Gesetz., 196) «если чьи-нибудь рабы и рабыни злодеяние сотворят, то их (*ta-us*) уведут».

В этих случаях союз *ta* имеет ярко выраженное анафорическое значение. Он может быть сравним с местоимением *sa/ta-* в древнеиндийском, *o/to-* в гомеровском с той лишь разницей, что эти местоимения полноизменяемы. Однако маркирование аподосиса объединяет их с хеттским союзом, происходящим от одного корня. Напротив, союз *takku* ‘если’ имеет выраженно катафорический характер, что ясно видно в параграфе из хеттских законов, процитированном выше. Вообще, каждый параграф открывается этой частицей. Значение этого союза представляет собой развитие более арха-

ического. С греч. *τοτε*⁸ хетт. *takku* соотносится так же, как русск. *коли* с укр. *коли* 'когда'. Нем. *doch* позволяет установить выделительное значение, др.-ирл. *toch* — соединительное. Иными словами, союз **to-k^ue* обозначал соположение событий, и из этого развилась идея их временной и причинной соотнесенности.

Следует заметить, что частица *-kku* встречается в хеттском и в постпозиции к именам и местоимениям. Х. Айхнер [Eichner 1971] указывает на следующие контексты: (57) *le-uatta nahi tuelku uastais uggat SIG₅-ziiami UL-akku tuel uastais ugar SIG₅-ziiami* (KUB XXIII 24 I 43, 5) «не бойся; твой ли это грех, я сделаю это хорошо, не твой ли это грех, я сделаю это хорошо»; (58) *E-ḡi kuit harkzi LU.ULU^{LU}-ku GUD-ku UDU-ku eszi* (Ges., I, 96) «что в доме погибнет, будь (то) мужчина ли, корова ли, овца ли...»; (59) *nu ku-uari^D UTU-us mumiezzi [ḡi-ku happenni-kku GIS-ikku hahhali-kku mumiezzi* (XXXVI 44 IV 8) «когда солнце зашло, в воду(?) ли, в дерево ли, в лес ли зашло...» Ср. также (60) *LU-n-aku... SAL-n-aku* (Ges. 12) «мужчины ли, женщины ли». Таким образом, частица *-kku* может быть переведена как «и», но, выражаясь языком логики, она выражает не конъюнкцию, а нестрогую дизъюнкцию («или А, или В или АВ»).

Такой же характер иногда может носить и составной союз *takku*: (61) *tak-ku GUD takku ANSU.KUR. RA* (3, 70) «или корова, или лошадь...», ср. также п. 46—47, где нестрогая дизъюнкция выражается союзами *takku... ta* [Eichner 1971]. Уоткинс прибавляет к этому еще несколько транслитерированных им контекстов из KBo XXV 80 [Watkins 1985, 493—4]: (62) 3 *PARISI ZID.DA ZIZ hadantas 6 PARISI parsur hatar-ku zinail-ku 5 PARISI zikuki ANA E^{LU.MES} URIDI 10 PARISI SEAM SA ANSE.KUR. RA^{MES}* «3 меры муки из сушеной полбы; 6 мер похлебки — или чечевицы, или бобов; 5 мер *zikaki* для дома и для слуг-*damsatalla*; 10 мер ячменя для лошадей». Для соотнесения хетт. *-(k)ku* с и.-е. **k^ue* Уоткинс высказывает три важных положения. 1. Цепочка *-ku... -ku* 'ли... ли' предполагает отдельное **-ku* 'если'. 2. *-ku* 'также' предполагает **k^ue* 'и'. 3. *-ku* 'если' также предполагает и.-е. **k^ue* 'и'.

Уместно сравнить хеттский условный союз с греческим. В нем существуют две формы: *ei* и *ai*. Вторая из них, по мнению Швицера, происходит из частицы, обозначавшей желание [Schwyzer 1939, 568]. Первая же — местный падеж местоимения **e* (ср. русск. *э-тот*, оск. *e-tantu*). Форма **ei* пофонемно совпадает со слав. *ě*. Тем самым еще раз подтверждается род-

⁸ Это сопоставление, однако, вызывает некоторые сомнения. Микен. *ote* (PY Na 711) как будто не позволяет восстанавливать здесь лабиовелярный; ср. также лесбийское *ота*, *пота*. С другой стороны, беотийское *тоха*, крит. *оха*, *тоха*, *тоха* и подобные же формы во всех дорийских диалектах свидетельствуют о том, что вторая часть местоимения могла варьироваться (**-k^ue/*-te/*-ka*).

ство соединительного и условного союза. Присоединение же частицы *-te* (<**k^{ue}*) придает союзу обобщающее значение: *ēte... ēte* 'ли... ли'. Проиллюстрируем это цитатой из Эринны (IV в. до н.э., смешанный дорийско-эпический диалект): (64) *ait' astoi telēdōit' aiθ' eteroptolies* (fr. 4, 4) «земляки ли подойдут или жители других городов». Если обычный условный союз выделяет из универсума предметную область, в которой может осуществиться действие, названное в аподосисе, то союз *ēte... ēte* маркирует как выделенную область универсума (*astoi*), так и ее дополнение (*eteroptolies*), охватывая, таким образом, весь универсум. Таким образом, уже данные хеттского и греческого языков позволяют определить некоторые разновидности его изначальной функции: конъюнкция, реализуемая как собственно конъюнкция, нестрогая дизъюнкция, выделение маркированно-го члена, временное и причинное соположение двух событий.

Условная функция **k^{ue}* ярко проявляется в ведическом. Здесь встречаются предложения такого типа: (65) *indraç sa mrlāyati no/nā nah paçad aghām paçat* (RV II 41, 11) «и Индра добр для нас; да не достигнет нас позже зло». Это дословный перевод, но по смыслу более подходит «Если Индра добр к нам» (перевод Т. Я. Елизаренковой — «Если Индра нас помилует, зло не достигнет нас сзади»). Поэтому здесь наглядно видно, как союз конъюнкции развивается в условный. Но его функции все же остаются слишком неспецифичными. Поэтому уже в Ригведе появляется составной союз *céd* (*sa + id*), обозначающий именно условность. Это союз, безусловно, поздний, его акцентуация уже не подчиняется закону Вакернагеля (он может быть ударным в позиции после первого члена предложения вследствие того, что ударение, собственно, несет на себе местоимение *id*, находящееся после безударного *sa*). Ср.: (66) *vi céd uchanti açvina uşasah/ prā vam brāhmani karāvo bharante* (VII 72, 4) «если зори сияют, о Ашвины, поэты приносят вам гимны». Впрочем, оба союза — *sa* и *céd* — в Ригведе встречаются редко; последний — несколько чаще в ведической прозе [Delbr(ck 1888, 592)]. Но само наличие этих союзов в Ригведе представляет несомненный интерес. Во-первых, это, пожалуй, единственный пример союзов протасиса, стоящих не на первом месте в колонне. Во-вторых, это единственные маркеры относительного предложения в индоиранских языках, образованные корнем **k^{ue}*- а не **io*-. В-третьих, они составляют явную конкуренцию иным способам выражения условности в древнеиндийском. В-четвертых, простое соположение предложений в конструкции *parataxis pro hypotaxi* способно, по мнению Й. Шпейера [Speyer 1896 90], выражать условность: (67) *sām āçvaramaç cāraṇti no nāro/ smākam indra rathīno jayantu* (VI 47 31) «(если) герои с крылатыми лошадьми движутся на нас, да будет победоносным наш Индра боец на колеснице». Впрочем, Уитни и Гельднер переводили

эту конструкцию как сочиненную. Ясно, что в любом случае конструкция выражает временную связь названных в ней событий. В этой связи Леман [Lehmann 1985, 231] указывает на то, что ударность глагола в первом предложении и его безударность во втором свидетельствуют о гипотактичности первого высказывания. Впрочем, вопрос о *parataxis pro hypotaxi* требует более обстоятельного исследования. Во всяком случае, бессоюзное соположение двух предложений можно рассматривать как наиболее примитивный и архаичный вид конъюнкции.

Заметим также, что и наиболее распространенный тип условных предложений в древнеиндийском — с союзом *yad, yadi* — выражает иногда более широкую связь предложений, чем простая обусловленность: (68) *supravanām tāva vira viryām/ yád ékena krátuna vindāse vāsu* (II 13, 11) «заслуживает восхваления, о муж, твоё деяние, когда/если/ибо одним деянием находишь благо»; (70) *ghlānti va etād yajñām yád enam tānvate* (ÇB 4, 3, 1, 1) «так убивают жертву, потому что/если/когда/ её двигают» [Lehmann 1985, 232]. Впрочем, именно в данном предложении, на наш взгляд, условный характер союза *yad* и вводимого им предложения очевиден.

Теперь, после обзора частицы **k^he* в ведическом и хеттском мы можем предложить свою интерпретацию несоединительного союза *qe* в микенских таблицах. Фраза типа *reka... ekeqe onato kekemena kotona* GRA 4 должна, на наш взгляд, переводиться так: «если/поскольку Р. владеет земельным участком (из) общинных владений, (то подлежит получению) зерна 4 меры». Особенности микенских деловых текстов — выражение презумпции с помощью иероглифа — сделали эту условную или причинную конструкцию менее очевидной.

Литература

- Иванов Вяч. Вс. Отражение индоевропейской синтаксической акцентуации в микенском греческом // *Balkanica: Лингвистический сборник*. М., 1979.
- Красухин К. Г. Дейктические элементы в категориях времени и наклонения // *Человеческий фактор в языке: Коммуникация. Модальность*. Дэйксис. М., 1992.
- Красухин К. Г. Закон Вакернагеля и структура индоевропейского предложения // *Вестник Московского Университета: Серия 9 «Филология»*, 1997, № 6.
- Откупщиков Ю. В. Догреческий субстрат. Л., 1988.

- Предметно-понятийный словарь греческого языка: Крито-микенский период / Сост. Казанский Н. Н., Казанскене В. П. Л., 1986.
- Тронский И. М. Вопросы языкового развития в античном обществе. Л., 1973.
- Фридрих Й. Краткая грамматика эттского языка. М., 1952.
- Bader F. Une isoglosse greco-tocharienne: *yo* casuel // Bulletin de Societe de Linguistique de Paris. 1975, v. 70.
- Brugmann K. Griechische Grammatik. Strassburg, 1893.
- Chadwick J., Baumbach L. The Mucenaeen Greek Vocabulary // Glotta, 1963. Bd. 41.
- Eichner H. 1971.
- Hooker J. 1968.
- Lejeune M. Traite de philologie grec. Paris, 1976.
- Lehmann W. P. The conditional clauses in RigVeda // Sprachwissenschaftliche Forschungen: Festschrift J. Knobloch. Innsbruck, 1985.
- Palmer L. R. The Interpretation of Mycenaean Greek Texts, Oxford 1963.
- Ruigh C. J. Études sur la grammaire et le vocabulaire du grec mycénien. Amsterdam, 1967.
- Schwyzer E. Griechische Grammatik. München, 1939.
- Speyer J. The Sanskrit Syntax. Halle, 1891.
- Ventris M., Chadwick J. Documents in Mycenaean Greek. Oxford, 1973.
- Vilborg E. A tentative grammar of Mycenaean Greek. Göteborg, 1960.
- Wackernagel J. Über ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung // Indogermanische Forschungen, 1892, Bd. I.
- Watkins C. Preliminaries to the reconstruction of Indo-European sentence // IX World Congress of Linguists. Cambridge (MA), 1963.
- Watkins C. Hittite *-kku* // Sprachwissenschaftliche Forschungen: Festschrift J. Knobloch. Innsbruck, 1985.

К реконструкции праиранского предложения

Сравнительно-историческое и историко-типологическое изучение синтаксиса языков иранской семьи и реконструкция синтаксических характеристик (праязыка или более раннего состояния отдельно взятого иранского языка в условиях отсутствия древней письменной традиции) встречаются с рядом трудностей, вызываемых как спецификой иранского материала, так и свойствами самого синтаксиса как подсистемы языка. Относительная подвижность синтаксиса, его ареальная приуроченность и проницаемость для иноязычных воздействий зачастую обуславливают несводимость к единому структурному прототипу разных конструкций, сходных по содержанию, даже у близкородственных языков.

Так, например, модальные обороты намерения, возможности, желания в таджикском языке обычно бывают представлены в виде инфинитивных сочетаний (типа «я не смог прийти»), свойственных языкам Средней Азии, а в близкородственном ему персидском — в виде построений с придаточным предложением, в котором основной глагол выступает в личной форме сослагательного наклонения (типа «я не смог [чтобы я] пришел[-бы]»), что типологически сближает персидский язык с языками балканского союза (подробнее о «балканизмах» персидского языка см. [Эдельман 1989, 335–339]). При этом известно, что обе модели исконны и продолжают соответствующие древнеиранские — одни с инфинитивом основного глагола, другие — с косвенными наклонениями, хотя в истории обоих языков инфинитив был трансформирован, а древние косвенные наклонения (кроме императива) исчезли и взамен были выработаны новые. В итоге мы наблюдаем в современной таджикской модели продолжение в целом древней инфинитивной конструкции (хотя и с определенными материальными изменениями), а в персидской модели — продолжение древней «косвенной» конструкции, перенесенное на новую форму сослагательного наклонения. При этом не совсем ясно, было ли такое развитие обеих конструкций вполне спонтанным или оно было поддержано или стимулировано ареальными тенденциями: ср. «депрессию» инфинитива в языках балканского союза, включая поздние

языки региона — тюркские [Покровская 1977, 215] и обилие и разнообразие инфинитивных конструкций в иранских языках Средней и Центральной Азии.

Для других иранских языков в условиях отсутствия текста предшествующих состояний языка (то есть текста праязыка или какого-либо из вымерших языков, например скифского, мидийского) либо малого объема такого текста (например, аланского) реконструкция элементов синтаксиса и целостных синтаксических структур вынуждена в основном опираться на показания других языковых подсистем, прежде всего морфологической (которая в силу своей консервативности хранит элементы, появившиеся в иных, более ранних синтаксических условиях), и других уровней, включая лексический, а в определенных случаях также фонологический. Эти особенности сравнительно-исторического синтаксиса и методические выводы из них описаны в литературе по индоевропейским и другим языкам, здесь следует лишь подчеркнуть, что указанными свойствами синтаксиса диктуются и некоторые частные приемы в изучении его истории, особенно в реконструкции: здесь в большей мере, чем при реконструкции других языковых подсистем и уровней, используются данные, получаемые косвенными путями, промежуточной (или «встречной») реконструкцией, различными историко-типологическими приемами (включая внутреннюю реконструкцию), типологической интерпретацией, ареальными сопоставлениями и даже средствами генеративной грамматики (например, [Lehmann 1980, 6 и сл.]).

Естественно, что для исторического синтаксиса в большей степени, чем для морфологии и тем более фонетики, существенно обращение к содержательной стороне языка и ее изменениям.

Предложенный и последовательно проведенный Ю. С. Степановым [Степанов 1989] подход к реконструкции главных черт протоиндоевропейской синтаксической системы создал новые методические ориентиры и возможности для реконструкции праиранской и различных древнеиранских синтаксических систем. Имеются в виду принятые им принципы исследования и описания трех основных синтаксических параметров: а) набора структурных схем предложения, б) «лексических вхождений» (т. е. набора лексем, занимающих места предикатов и актантов в каждой из структурных схем) и в) взаимодействия главных типов предложения, которое приводит к появлению новых синтаксических конструкций [Степанов 1989, 6 и сл.].

С учетом сказанного, общеиранская праязыковая синтаксическая система может быть реконструирована в основных чертах на основании показаний как более поздних иранских языков, так и предполагаемых более ранних систем — общеарийской и индоевропейской (устанавливаемых по данным

других индоевропейских языков), а также с опорой на реконструируемые общеиранские системы морфологии, лексики (и частично фонетики) и — что особенно важно — на элементы содержательной стороны языка, проявляющиеся в «лексических вхождениях». Разумеется, общая схема построения простого предложения и отдельных словосочетаний (как внутри простого предложения, так и — отчасти — выходящих за его рамки) прослеживается исторически более отчетливо, чем синтаксис сложного предложения.

Так, известно, что почти во всех иранских языках, начиная с древнейших, относительно быстро развилось резкое противопоставление синтаксических конструкций, ориентированных на передачу отношений переходности/непереходности глагола, имевшее результатом выработку в синтаксисе подавляющего большинства языков противопоставления переходных «эргативных» конструкций (то есть конструкций так называемого «вторичного эргатива», или «эргативообразных», «псевдопассивных» и т. п. — различия в названиях связаны с традициями разных школ) и непереходных «номинативных». Впоследствии эти конструкции внедряются в глагольную морфологию.

Суть этого процесса заключалась в том, что причастные результативные обороты (так называемый «перифрастический перфект») с причастиями на *-ta, реже — на *-na (и от отдельных глаголов — на *-ça-), выступавшие вначале как свободные словосочетания, становились жестко закрепленными результативными конструкциями, а впоследствии — аналитическими глагольными формами. Позднее в части языков они подверглись вторичному синтезу и в большинстве языков внедрились в претеритальную сферу. Построение этих древнеиранских конструкций, различающихся по признаку переходности/непереходности основного смыслового глагола, как и в индоарийских и в некоторых других индоевропейских языках, подчинялось определенным общим синтаксическим правилам.

Конструкции с непереходными глаголами строились по модели *ažam čjuta- ahmi 'я ушел', букв. 'я ушедший есмь', где имя субъекта выступало в номинативе и с ним согласовывались: а) причастие — в падеже (номинатив), числе, роде (например, в ед. ч. м. р. *čjutaḥ, ж. р. *čjūtā, ср. р. *čjutam; мн. ч. м. и ж. р. *čjūtāh), б) связка — в лице и числе (в данном примере — в 1-м л. ед. ч.).

Конструкции с переходными глаголами были организованы по принципу посессивных оборотов, в которых субъект действия выступал как посессор его результата. При этом в тот ранний период в древних иранских диалектах глагол со значением 'иметь' еще отсутствовал: глаголы от корня *dar-приобрели это абстрактное значение позднее и не во всех языках (в части языков такое значение отсутствует; в отдельных языках рефлексы произ-

водных от **dar-* используются только в устойчивых сочетаниях, обычно калькированных с аналогичных сочетаний других языков). В связи с этим моделью для таких оборотов послужили связочные посессивные конструкции (типа «у меня есть...»), характеризовавшиеся первоначально пассивным значением («у меня сделано // сделанное (есть)'), ср. соответствующие «посессивные» конструкции с глаголом «иметь» («я имею прочитанной эту книгу») в индоевропейских языках Европы, но обороты «иранского» типа «у меня все приготовлено» в русских говорах, для которых глагол «иметь» не характерен. Подробнее см. [Бенвенист 1974, 192 и сл.].

Такие конструкции строились по модели оборотов, зафиксированных в древнеперсидском: **ima... mana // mai kartam (asti)* 'это... у меня // мной сделанное // сделано (есть)', где логический субъект синтаксически выражен в виде косвенного дополнения — именем в генитиве (в части языков также в инструменталисе) либо энклитическим местоимением (в данном примере — генитивом местоимения 1-го лица *mana* // энклитики *mai*); объект — в виде подлежащего — именем в номинативе (здесь указательным местоимением *ima*). Факультативная связка (*asti* 'есть') согласовывалась в лице и числе с формальным подлежащим, то есть соотносилась с объектом действия. О форме причастий нет единого мнения. Факт ориентации связки на объект и ряд других косвенных данных указывают на то, что причастие также должно было согласовываться с объектом (подробнее [Лившиц 1951; 1954; Пирейко 1968, 13–14; Эдельман 1973, 178; 1987, 319]), однако не исключена и его неизменяемость [Боголюбов 1982, 4–5]. Возможно также, что в разных регионах иранского праязыкового ареала и в разных группах древних диалектов эти конструкции могли иметь и согласуемые (с объектом), и несогласуемые причастия, аналогично такому различию в русских говорах.

Грамматикализация этих (и иных аналогичных) конструкций «перифрастического перфекта» происходила значительно позднее, параллельно и неодновременно по разным регионам и диалектным зонам иранского мира. Лишь в единичных языках (хорезмийском, согдийском) эти конструкции грамматикализировались относительно поздно, когда глагол **dar-* уже сформировал значение 'иметь', а сфера претерита была занята историческими формами имперфекта (а также новыми, построенными по «имперфектному» принципу). Поэтому здесь перфект переходных глаголов построен по «европейской» модели («я сделанным имею»).

Для нас в этой картине истории перфектных конструкций существенно то, что и в тех, и в других языках (т.е. в языках «have», и в языках «be») вырабатывалось их различие, ориентированное на семантическую классификацию глаголов — переходных и непереходных. При этом существенная

перестройка синтаксиса предложений с переходными глаголами, хотя и происходила в разных иранских языках в различное время, параллельно и независимо, тем не менее началась относительно рано и была содержательно (и отчасти структурно) общей не только для разных иранских языков, но и для индоарийских и для ряда индоевропейских языков Европы. А это означает, что в иранской праязыковой системе, скорее всего, имплицитно уже присутствовала семантическая классификация глаголов по признаку переходности/непереходности.

Косвенно это членение подтверждается судьбой праиранских глагольных презентных основ, поскольку оно способствовало относительно длительной и устойчивой продуктивности тех из них, которые оказались ориентированы на передачу этого признака, во всяком случае в восточноиранских языках. Здесь характерны переходные и непереходные глаголы, в которых продолжают соответствовать древние: 1) каузативные основы с сильной огласовкой и суффиксом **-aia-* и основы с назальными аффиксами, входившие в формы переходных глаголов; 2) основы со слабой огласовкой и суффиксом **-ia-* и основы с суффиксом **-sa-*, входившие в большинстве случаев в формы непереходных глаголов и продолжавшие индоевропейские инхоативные на **-ske/o-*. Простые тематические и вторичные тематизированные были нейтральны и распределялись по парадигмам в оппозиции к тем или другим — различным образом по разным языкам. Впоследствии указанные типы основ на некоторое время стали моделями образования новых переходных и непереходных глаголов. Далее при отмирании суффиксов с **i̯* (с сохранением их рудиментов в виде умлаутизации корневого гласного) и трансформации огласовок корня различия переходных/непереходных глаголов маркируются и фонетическим (точнее, морфонологическим) способом — изменением корневой огласовки. Подробнее см. [Соколова 1973 114—132; Эдельман 1990, 101, 135, 137].

По признаку косвенного оформления имени субъекта к эргативным конструкциям формально примыкают, а иногда и совпадают с ними некоторые конструкции иного содержания, продолжающие древние посессивные, состояния, истинно пассивные и др., возникшие из различных связочных оборотов. Подробнее см. [Эдельман 1974, 25—31]. Из них для нас сейчас интересны конструкции с прошедшими временами непереходных глаголов активной одушевленной семантики типа «плакать», «смеяться» «лгать», «чихать», «мычать», «кукарекать» «испражняться», «плясать» и т. п. Наибольшее количество таких глаголов отмечено в пашто (см. [Дворянков 1960, 70—71]). Они имеют относительно закрепленный ареал распространения (языки Центральноазиатского языкового союза, выявлены в мунджанском, части памирских, в парачи, белуджском и др.) и скорее всего возникли под

воздействием субстрата (есть веские основания полагать что язык или языки субстрата относились к языкам активной типологии). Подробнее о происхождении здесь этих конструкций см. [Эдельман 1980, 25–26, 31]. Эти ареально закрепленные конструкции, обозначающие активное непереходное действие и/или состояние живого существа, могли присоединиться формально к переходным относительно поздно либо поддержать существовавшее в языках центральноазиатского ареала семантическое выделение этой группы глаголов в особый класс, способствовавшее их особому маркированию, отличному от большинства непереходных. При этом именное словозменение, способы согласования глагола и ряд других грамматических черт указывают на семантическую классификацию существительных в этих же языках по принципу «личность/неличность» или «человек/животное, вещь, понятие», то есть отражают свойственное и другим иранским языкам более новое членение имен, чем «одушевленные/неодушевленные».

Отдельного внимания заслуживает оформление имен субъекта и объекта в номинативной и «эргативной» конструкциях, особенно в связи с тем, что первоначальная картина (номинатив субъекта в «непереходной» номинативной конструкции ~ номинатив при формах непрошедших времен и косвенный падеж при формах прошедших времен в условиях аккумулятива/номинатива имени объекта со временем стала затухать, особенно в связи со сворачиванием падежной парадигмы и с тенденцией к унификации в ряде языков «номинативных» и «эргативных» построений. В части языков субъект представлен именем в прямом падеже в обеих конструкциях, хотя в ряде случаев это имя может этимологически продолжать форму исторического генитива, реже — инструменталю, в том числе и при свертывании древней парадигмы до нуля, как, например, в персидском, где местоимение 1-го лица и форма мн. числа имен восходят к формам генитива. Объект обычно утрачивает древнее аккумулятивное оформление, чему способствуют и некоторые формальные причины, а затем получает в большинстве языков новую маркировку — в виде предлогов, префиксов, послелогов, часто в зависимости от дополнительных содержательных факторов, главным образом определенности/неопределенности денотата, или от вхождения имени объекта в состав темы или ремы. В результате существенную роль в их оппозиции в предложении начинает играть общий порядок основных членов предложения: в подавляющем большинстве языков закрепился порядок SOV, в единичных SVO (хорезмийский) или с колебаниями SOV/SVO (осетинский). В условиях отсутствия дополнительной маркировки имени объекта решающим способом выражения противопоставления субъекта/объекта оказывается взаимное расположение имен: как правило, объект следует за

субъектом; обратные случаи, диктуемые обычно стилистическими мотивами, редки (подробнее [Эдельман 1990, 252–253]).

Таким образом, рассмотрение динамики содержательного характера передаваемых отношений и формальных признаков основных синтаксических моделей в истории иранских языков дает возможность реконструировать их соотношение в более раннем, предположительно общеиранском, состоянии.

Для характеристики содержательной стороны языковой системы праязыкового периода существенными представляются следующие факты (отразившиеся частично в языке Авесты, в меньшей степени — в текстах древнеперсидских надписей и в уже сильно трансформированном виде — в языках более поздних периодов).

1. В подсистеме глагола древнее индоевропейское значение активности/инактивности актантов (подробнее об активном строе индоевропейского см. [Климов 1973; Гамкрелидзе, Иванов 1984 I, 267 и сл.; Степанов 1989, 11 и сл.]) было в значительной мере утрачено. Перфект уже в языке Авесты выражает результативное действие, а иногда даже выступает в функции имперфекта, т. е. с утерей древнего значения «категории состояния». Впоследствии (это видно по древнеперсидским текстам) он отрицает. Оппозиция актива/медиума в глаголе также в значительной мере теряет старое (во всяком случае, доиранское) значение активности/инактивности актантов; при этом она частично была ориентирована на передачу отношений «версии» — *ragasmaipadam/atmanepadam* (действие для другого/действие для себя), постепенно сдвигаясь к передаче отношений диатезы центробежности/центростремительности. Однако, не дойдя до передачи отношений переходности/непереходности, она стала формальной. Парадигма медиума постепенно утрачивается, ее рефлексy прослеживаются лишь в отдельных языках после древнего периода, однако уже чисто этимологически — в виде рудиментов древних окончаний, не передающих каких-либо значений, отличных от окончаний актива.

Вместе с тем в глагольной лексике имплицитно уже имелось разделение на семантические классы переходных/непереходных глаголов, что выражалось в возможности/невозможности присутствия в предложении специально оформленного имени прямого объекта.

2. Имя объекта переходных глаголов уже имело особое оформление — аккумулятивом (для имен несреднего рода), в отличие от имен субъекта, оформляемого номинативом (для той же группы имен). И хотя аккумулятив выполнял, помимо маркировки имени объекта, многие другие функции (указание на направление движения, протяженность в пространстве и времени, отношение и т. д.), существенным представляется тот факт, что он был противопоставлен падежу субъекта — номинативу — при выражении субъектно-

объектных отношений, а также то, что одно и то же имя (мужского или женского рода) могло выступать в номинативе или аккузативе в зависимости от его роли в предложении, отражавшей активную или пассивную роль данного актанта в данной ситуации.

Все эти признаки указывают, что язык этого периода был в своей основе уже номинативным (или, в иной терминологии, аккузативным, номинативно-аккузативным), в отличие от активного раннеиндоевропейского, поскольку: 1) и субъект, и объект в праиранском языке уже осознавались (с соответствующим оформлением имен) как ситуационные, а не лексически заданные активный и инактивный классы актантов; 2) была уже (как минимум в виде тенденции) лексическая классификация глаголов по переходности/непереходности (в отличие от активности/инактивности более раннего периода); 3) строй предложения уже был подготовлен к передаче субъектно-объектных отношений.

Литература

- Бенвенист 1974 — Бенвенист Э. Общая лингвистика (Под редакцией, с вступительной статьей и комментариями Ю. С. Степанова). М., 1974.
- Боголюбов 1982 — Боголюбов М. Н. Категория безличности и переходность пассивных форм // VIII Всесоюзная научная конференция «Актуальные проблемы иранской филологии» (тез. докл.). Душанбе, 1982.
- Гамкрелидзе, Иванов 1984 — Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Т. I—II. М., 1984.
- Дворянков 1960 — Дворянков Н. А. Язык пушту. М., 1960.
- Климов 1973 — Климов Г. А. Типология языков активного строя и реконструкция праиндоевропейского // Изв. АН СССР, СЛЯ, 1973, т. 32, № 5.
- Лившиц 1951 — Лившиц В. А. Местоимения в афганском языке (пашто) Канд. дис. М., 1951.
- Лившиц 1954 — Лившиц В. А. О внутренних законах развития таджикского языка // Изв. АН ТаджССР, Отд. обществ. наук, 1954, № 5.
- Пирейко 1968 — Пирейко Л. А. Основные вопросы эргативности на материале индоиранских языков. М., 1968.
- Покровская 1977 — Покровская Л. А. Развитие внутривидовых изменений в балкано-турецких диалектах под влиянием славянских языков

// Altaica. Proceedings of the 19th Annual Meeting of the Permanent International Altaistic Conference. Helsinki. 1977.

Соколова 1973 — Соколова В. С. Генетические отношения мунджанского языка и шугнано-язгулямской языковой группы. Л., 1973.

Степанов 1989 — Степанов Ю. С. Индоевропейское предложение. М., 1989.

Эдельман 1973 — Эдельман Д. И. Относительная хронология некоторых фонетических и морфологических явлений в северопамирских языках // Лингвогеография, диалектология и история языка. Кишинев, 1973.

Эдельман 1974 — Эдельман Д. И. О конструкциях предложения в иранских языках // ВЯ, 1974, № 1.

Эдельман 1980 — Эдельман Д. И. К субстратному наследию Центральноазиатского языкового союза // ВЯ, 1980, № 5.

Эдельман 1987 — Эдельман Д. И. Шугнано-рушанская группа // Основы иранского языкознания. Новоиранские языки: Восточная группа. М., 1987.

Эдельман 1989 — Эдельман Д. И. Еще раз об иранско-европейских изоглоссах // Изв. АН СССР, СЛЯ, 1989, т. 48, № 4.

Эдельман 1990 — Эдельман Д. И. Сравнительная грамматика восточноиранских языков. Морфология. Элементы синтаксиса. М., 1990.

Lehmann 1980 — Lehmann W. P. Proto-Indo-European Syntax. University of Texas Press. Austin and London. 1974, 2nd printing. 1980.

II

Семиотика, философия языка, философия

Себастьян Шаумян
(Йельский университет, США)

О понятии языкового знака

Проблемы семиотики, как и любой науки, определяются внутренней логикой ее развития, а не национальной принадлежностью ученого или философа, который ею занимается. Однако, смотря по излюбленным темам и способам работы с ними, можно различать национальные школы. Так, Юрий Сергеевич Степанов различает три национальные школы семиотики и философии языка: англосаксонскую, французскую и российскую. По его словам, российская школа характеризуется стремлением к тонкому концептуальному анализу и к различным его расширениям (Степанов 1998: 11).

Настоящая работа, как и другие мои работы (Шаумян 1962, 1999; Shaumyan 1968, 1987), сделана в русле традиций российской школы с ее повышенным интересом к концептуальному анализу как фундаменту семиотики, лингвистики и философии языка. Я займусь концептуальным анализом языкового знака.

Как обстоит дело с понятием языкового знака в современной семиотике, лингвистике и философии языка?

Влиятельные современные теории языка исходят из допущения, что слова есть языковые знаки, значения которых — это объективно существующие предметы. Этот взгляд на языковые знаки можно назвать *объективизмом*. Объективизм считает, что слово имеет значение для нас лишь постольку, поскольку слово замещает, репрезентирует нечто лежащее за пределами языка. Поэтому ключевой вопрос объективизма — это всегда: что репрезентируется словами? Глядя по тому, какой ответ дается на этот вопрос, в лингвистической и философской традиции существует два рода объективизма: внешний и внутренний. Внешний объективизм считает, что предметы, репрезентируемые словами, находятся в мире, внешнем в отношении пользователей языком. Внутренний объективизм, напротив, полагает, что предметы, репрезентируемые словами, находятся в мире, внутреннем в отношении пользователей языком. Возможно и соединение обоих родов объективизма; например, Расселл и Фреге считают, что значения слов — это не только физические, но и абстрактные предметы. Фреге считает предметами числа, классы, направления линий и функции истины. Сходным образом дело обстоит и в

лингвистике: Монтегю, Хомский и многие другие лингвисты считают, что слова репрезентируют различные физические, психологические и логические предметы или понятия.

Слова есть знаки. Существенная особенность объективизма состоит в том, что физические предметы или понятия существуют до знаков, называющих их. Знакомая с многовековой историей объективизма, идущей от греков и прежде всего от Платона, мы узнаем о постоянных спорах, о том, произвольны ли имена физических предметов или понятий или же они мотивированы их природой. Например, в диалоге Платона «Кратил» один из участников спора, Кратил, настаивает на том, что все вещи имеют вытекающие из их природы естественные имена, тогда как его оппонент, Гермоген, отстаивает взгляд, что имена — это просто удобные, совершенно произвольные звуковые ярлыки. Локк защищал взгляд о произвольности знака, тогда как в противоположность ему Лейбниц считал, что существует определенная естественная связь между предметами и знаками, которые их называют. Но, несмотря на различия во взглядах на природу связи между предметами и их знаками, ни Кратил или Гермоген, ни Локк или Лейбниц не сомневаются в том, что предметы существуют до знаков, называющих их. С объективистской точки зрения язык есть, по существу, номенклатура — определенное множество терминов, соответствующее такому же множеству вещей.

В своем трактате *Об истолковании* Аристотель выдвинул интересную разновидность объективистского понимания знака. Он начинает с допущения, что внешний мир существует независимо от наблюдателей и для всех них одинаков. При этом он, однако, вводит возможность двоякого толкования знака: знак можно толковать 1) как элемент, репрезентирующий предмет внешнего мира или 2) как элемент, репрезентирующий соответствующее понятие или представление о внешнем предмете. Двоякое толкование применимо не только к словесным, но и к другим знакам. Например, про статую Александра Македонского можно сказать, что она репрезентирует либо Александра Македонского, либо представление скульптора об Александре Македонском. Про карту местности можно сказать, что она репрезентирует либо местность, либо анализ местности, сделанный картографом. Таким образом, Аристотель ввел новую конфигурацию объективистского понимания знака, которую составляют три элемента: 1) слово, 2) внешний предмет, 3) представление о внешнем предмете. Эта тернарная модель Аристотеля перекочевала сначала к Пирсу, а потом к Огдену и Ричардсу (Ogden and Richards 1949). И Пирс, и Огден, и Ричардс облекли модель Аристотеля в сложную терминологию (особенно сложную у Пирса). Но за терминологической сложностью модель Аристотеля видна ясно.

Объективистское понимание знака находим и у Фреге. Фреге расщепил понятие о значении на два понятия: *предметное значение* (Bedeutung) и *смысловое значение* (Sinn) (Frege 1992: 25–50). По Фреге, смысловые значения принадлежат к третьему миру, который отличается и от физического мира, и от мира нашего сознания. Смысловые значения отличаются от материальных предметов тем, что они не могут восприниматься органами чувств, тогда как материальные предметы могут. Но их объединяет с материальными предметами то, что, как и материальные предметы, они существуют независимо от нашего сознания.

Действительно ли языковые знаки репрезентируют предметы, внешние по отношению к языку? Как это ни парадоксально, на этот вопрос мы отвечаем отрицательно. Хотя, пользуясь языком, мы называем предметы, лежащие за пределами языка, но в некотором роде эти предметы создаются языком: язык есть система понятий, содержание которых основано на конвенциональной концептуализации мира. Эта система понятий есть всего лишь форма выражения и сообщения наших мыслей, форма анализа действительности. Такой взгляд на язык был впервые высказан Гумбольдтом и применен им к анализу конкретных языков, но честь первой попытки объяснить язык как форму отражения действительности принадлежит де Соссюру.

Заслуга де Соссюра состоит в постановке вопроса: как языку возможно быть формой анализа действительности? Отвечая на этот вопрос, де Соссюр ввел два понятия: *различие* и *ценность*. Опираясь на эти понятия, де Соссюр показал несостоятельность объективизма и в противоположность ему предложил структурное понимание знака. Все же по ряду причин, которые я рассмотрю ниже, де Соссюру не удалось построить удовлетворительную структурную теорию языкового знака. Между тем правильная теория языкового знака должна иметь первостепенное значение для лингвистических исследований. Поэтому я предлагаю новую структурную теорию языкового знака. Полное изложение этой теории дано в подготовленной к печати моей новой книге. Здесь же я изложу ее основные идеи и ее существенные отличия от теории де Соссюра.

В предлагаемой теории языковой знак определяется через следующие примитивные понятия:

1. *Быть знаком для*: X есть знак для Y.
2. *Быть означаемым для*: Y есть означаемое для X.
3. *Семиотическая ценность* пары X, Y.

В качестве синонима выражения «быть знаком для» я буду употреблять «иметь означаемое»: *X* имеет означаемое *Y*. В качестве синонима «быть означаемым для» я буду употреблять «иметь знак»: *Y* имеет знак *X*. Выражения *X* и *Y* относятся не к предметам самим по себе, а к предметам как членам отношений. Нет класса предметов, которые могли бы быть знаками в силу их природных свойств, так же как нет класса людей, которые в силу их природных свойств могли бы хозяевами, предками или мужьями. Отношение между понятиями «знак» и «означаемое» аналогично отношениям между «хозяин» и «слуга», «предок» и «потомок», «муж» и «жена». Знак имеет двоякий характер: с одной стороны, знак есть некоторый мыслимый физический предмет, а с другой — знак означает нечто — свойство знака, не вытекающее из его физической природы. В свою очередь, и означаемое имеет двоякий характер: с одной стороны, означаемое есть некоторый мыслимый предмет, а с другой — означаемое имеет знак — отношение, не вытекающее из природы мыслимого предмета, самого по себе. Точно так же двоякий характер имеет хозяин: с одной стороны, хозяин есть некоторое физическое тело, а с другой — хозяин имеет слугу — отношение, не вытекающее из природы физического тела. В свою очередь, и слуга имеет двоякий характер: с одной стороны, слуга есть некоторое физическое тело, а с другой — слуга имеет хозяина — отношение, не вытекающее из природы физического тела.

Физические предметы есть знаки языка только в силу интерпретации их как знаков говорящими на данном языке. С точки зрения внешнего наблюдателя, знак есть просто звук, и ничего более. Точно так же некоторые предметы есть означаемые для данного языка только в силу интерпретации их говорящими в качестве означаемых. С точки зрения внешнего наблюдателя, означаемые есть просто некоторые предметы.

Перехожу к понятию семиотической ценности. Семиотическая ценность знаков и означаемых — это их свойство, характеризующее семиотическими различиями. А семиотические различия — это различия между означаемыми, сопряженные с различиями между знаками. Понятие семиотической ценности отвечает на вопрос: как язык служит формой анализа действительности? Знаки и означаемые не существуют вне семиотических различий между знаками и вне семиотических различий между означаемыми. Ошибочно думать, что семиотические различия между означаемыми отражают заданные вперед, не зависящие от языка различия между предметами мира. Парадоксальное свойство семиотических различий состоит в том, что они образуют структуры, порождающие знаки и означаемые. Поэтому фундаментальные элементы языка — это семиотические различия между знаками

и семиотические различия между означаемыми, а не знаки и означаемые сами по себе.

Семиотическая ценность означающих и означаемых определяются законом различения.

Закон различения: в семиотическом отношении только те различия между означаемыми существенны, которые соответствуют разным знакам; и, наоборот, только те различия между знаками существенны, которые соответствуют разным означаемым. Отсюда, если два разных означаемых соответствуют разным знакам, то они принадлежат к разным классам означаемых, если же два разных означаемых соответствуют одному и тому же знаку, то они принадлежат к одному и тому же классу означаемых; и, наоборот, если два разных знака соответствуют разным означаемым, то они принадлежат к разным классам знаков, если же два разных знака соответствуют одному и тому же означаемому, то они принадлежат к одному и тому же классу знаков.

Язык есть система семиотических различий, система семиотических ценностей. Чтобы представить это свойство языка в наглядной форме, де Соссюр сравнивал язык с игрою в шахматы, рассматривая эту игру в качестве модели языка. Подобно тому как свойства шахматных фигур определяются не их объективной, материальной природой, а их функциональными различиями, их структурными соотношениями, точно так же различия между знаками и различия между означаемыми определяются не их заданными вперед свойствами, независимыми от языка, а их семиотическими различиями, их структурными соотношениями.

Независимо от де Соссюра общее понятие игры (не специально игры в шахматы, как у де Соссюра) как модели языка было использовано Витгенштейном в его посмертно изданных *Philosophische Untersuchungen* (Wittgenstein 1958). Игра как модель языка была у Витгенштейна, как и у де Соссюра, средством для иллюстрации аргументов против объективизма. Витгенштейн был в философии первым, кто выступил с решительной критикой объективизма у прежних философов и провозгласил структурное понимание знака и означаемого. У Витгенштейна атака против объективизма связана с коренной эволюцией в его взглядах. Критикуя объективизм, Витгенштейн критиковал тем самым свою прежнюю позицию объективизма, которую он занимал в своем «Логико-философском трактате». Так, в этой работе он писал: «Имя означает объект. Объект есть его значение» (Витгенштейн 1958, параграф 3.203, термин «значение» Витгенштейн употребляет в смысле нашего термина «означаемое»). И далее: «Элементарное предложение состоит из имен. Оно есть связь, сцепление имен» (там же, параграф 4.22). Таким образом, возможность строить элементарные пред-

ложения основана у раннего Витгенштейна на допущении, что слова есть имена объектов, внешних по отношению к языку.

Введем понятие *знаковой ситуации*. Знаковая ситуация есть высказывание «X есть знак для Y» или равнозначное ему высказывание «X имеет означаемое Y». Как видим, в знаковую ситуацию входят как бинарные отношения «быть знаком для» или «иметь означаемое», так и члены этих отношений X и Y. Мы интерпретируем знаковую ситуацию «X имеет означаемое Y» как предикат, приписывающий знаку X свойство, состоящее в том, что знак X имеет своим означаемым предмет Y. Чтобы назвать это свойство, введем термин «значение». Значение знака X — это не предмет Y, а лишь то, что знак X имеет в качестве своего означаемого предмет Y и что участники коммуникации знают об этом.

Для наглядности значение можно представить в эксплицитной записи по методу Фитча (Fitch 1952: 94). Пусть P есть некоторое высказывание, R — предмет, упоминаемый в высказывании P, а $R \setminus P$ — свойство, которое высказывание P приписывает предмету R. Например,

(*дерево*) / [*дерево* имеет означаемое «дерево»]

есть значение, то есть свойство, приписываемое знаку *дерево* высказыванием «*дерево* имеет означаемое 'дерево'». Выражение

(*дерево*) / [*дерево* имеет означаемое «дерево»]

можно также рассматривать как эксплицитное представление содержания высказывания «Значение *дерева* есть 'дерево'».

Очень важно понять, что знаковая ситуация «X имеет означаемое Y» выступает в качестве предиката, характеризующего существенное свойство знака X, но при этом означаемое Y не есть часть знака X. Иными словами, хотя означаемое Y есть существенная сторона характеристики знака X, оно само внешне по отношению к знаку X. Как увидим ниже, причина ложного анализа понятия знака у де Соссюра есть та, что де Соссюр смешивает знаковую ситуацию «X имеет означаемое Y» как предикат, характеризующий существенное свойство знака, с означаемым Y как предметом, для которого X есть знак.

Установить значение некоторого знака X можно разными способами: указать на предметы, обозначаемые данным знаком, описать обозначаемые предметы словами, представить рисунки этих предметов, описать правила оперирования знаком в разных контекстах и т. д., но все это будет описанием способов того, как установить значение знака X, а не определением смысла выражения «значение знака X». Смысл же выражения «Y есть значение знака X» заключается лишь в том, что Y есть предмет, имеющий знак X, и этот факт не зависит от того, каким способом мы его устанавливаем.

Рассмотрим знак и означаемое более подробно.

ЗНАК. Разные знаки не обязательно есть разные звуковые сегменты. Разными знаками могут быть одинаковые звуковые сегменты, отличающиеся друг от друга разными позициями в линейных последовательностях знаков (сравни в английском *John killed Tom* «Джон убил Тома» и *Tom killed John* «Том убил Джона»). Могут быть и нулевые знаки; например, в слове *читала* окончание *-а* есть знак женского рода, тогда как отсутствие этого окончания в слове *читал* есть знак мужского рода.

ОЗНАЧАЕМОЕ. Определяя означаемое как предмет, имеющий знак, я понимаю термин «предмет» в самом широком смысле: предмет есть все, что может быть воспринято органами чувств, представлено в сознании, названо и т. п., например «собака», «электрон», «вселенная», «ненависть», «Пегас» — любое свойство, любое отношение. Это *интенциональный предмет* в смысле Гуссерля. Под интенциональным предметом Гуссерль имеет в виду не обязательно реальный предмет, но все, что мы полагаем в качестве акта нашего сознания: это может быть предмет реальный или нереальный, фактивный или просто абсурдный (Husserl 1948: 353).

Форму знака образуют единицы, называемые фонемами. Форма знака состоит из одной или нескольких фонем. Например, «стол» состоит из четырех фонем, а «и» — из одной. Функция фонем заключается в том, чтобы различать знаки. Фонема есть диакритика, т. е. различительный элемент. Фонема не имеет значения, она имеет только различительную функцию, и в этом отличие фонемы от знака — единицы, имеющей значение. Конечно, в качестве единиц, составляющих форму знака, фонемы принадлежат знаковой системе языка.

Чтобы характеризовать семиотическую природу фонемы, я ввожу бинарное отношение «быть диакритикой для»: фонема *X* есть диакритика для знака *Y*. Подобно тому как мы различаем предмет «знак» и отношение «быть знаком для», точно так же мы различаем предмет «фонема» и отношение «быть диакритикой для». Звук как физический элемент не есть лингвистический феномен; звук становится лингвистическим феноменом только как фонема, т. е. только как первый член отношения «быть диакритикой для», вторым членом которого является знак. Вот пример конкретных единиц, служащих членами отношения «быть диакритикой для»: в слове «кот» звуки *k*, *o*, *t* служат первыми членами отношения «быть диакритикой для», а знак *kot* служит вторым членом этого отношения. Знак *kot* имеет значение, но звуки *k*, *o*, *t* не имеют значений: их роль состоит в том, чтобы отличать одни знаки от других, в данном случае знак *kot* от знаков *rot*, *kit*, *kol*, и т. д.

Перехожу к критике теории языкового знака у де Соссюра. Де Соссюру принадлежит важнейшее утверждение о знаковой природе языка: «Язык —

это система знаков, в которой единственно существенным является *соединение смысла и акустического образа*» (Соссюр 1933: 52). Из этого вытекает, что отношения между звуком и значением действительно составляют предмет, называемый «языком», и что единственно существенной задачей лингвистики должно быть исследование этих отношений. В этом утверждении запечатлено глубокое проникновение в сущность языка, и мы ждем теоретического осмысления и строгой экспликации понятия «соединение смысла и акустического образа». Надо полагать, что именно в качестве экспликации этого понятия де Соссюр предложил новое понимание знака. По де Соссюру, термин «знак» обозначает комбинацию понятия и акустического образа. Можно ли считать знак комбинацией звука и понятия? Рассмотрим доводы де Соссюра в поддержку его взгляда, что знак есть комбинация звука и понятия.

Мы называем *знаком* комбинацию понятия и акустического образа; но в ходячем употреблении этот термин обычно обозначает только акустический образ, например слово (*дерево* и т. д.). Забывают, что если *дерево* называется знаком, то лишь постольку, поскольку в него включено понятие «дерево», так что идея чувственной стороны подразумевает идею целого (де Соссюр 1933: 78).

Мы принимаем глубокое теоретическое утверждение де Соссюра, что в языке «единственно существенным является соединение смысла и акустического образа». Однако из этого утверждения отнюдь не следует, что знак включает понятие. Трудно согласиться с его утверждением, что слово *дерево* есть знак потому, что оно включает понятие «дерево». Правда, звуковой сегмент *derevo* есть знак потому, что он обозначает «дерево», но отсюда не следует, что обозначаемое знаком понятие «дерево» есть часть знака *derevo*. Точно так же мужчина есть муж потому, что он имеет жену, но отсюда не следует, что жена есть часть мужа.

Рассуждение де Соссюра ошибочно, потому что он смешивает два совершенно разных понятия: 1) предмет *X* принадлежит к классу *K* в силу того, что он находится в некотором отношении к предмету *Y*; 2) предмет *X* принадлежит к классу *K* в силу того, что предмет *Y* есть часть предмета *X*.

Рассмотренное выше понятие знаковой ситуации описывает тот факт, что между знаком *X* и означаемым *Y* существует определенное соотношение: *X* имеет означаемое *Y*. Но, хотя предикат «имеет означаемое *Y*» характеризует существенное и неотъемлемое свойство знака *X*, отсюда, как было показано, еще не следует, что означаемое *Y* есть часть знака *X*.

Надо строго различать и не смешивать три совершенно разных понятия: 1) знак, 2) означаемое, 3) иметь означаемое. Термин «значение» равнозначен по своему содержанию термину «иметь означаемое». Знак есть потому знак, что он имеет означаемое, но означаемое не есть часть знака, оно находится вне него. Точно так же различаются три совершенно разных понятия: 1) муж, 2) жена, 3) иметь жену. Муж есть потому муж, что он имеет жену, но жена не есть часть мужа.

Ошибка де Соссюра в том, что он смешал совершенно разные понятия «означаемое» и «иметь означаемое», объединив эти два понятия в одном понятии — в понятии «означаемое».

Как было сказано выше, знак действительно имеет две стороны, но отнюдь не в смысле комбинации звука и обозначаемого понятия, как полагал де Соссюр, а в смысле предмета, имеющего двойственный характер: с одной стороны, знак есть физический предмет, а с другой — знак есть член отношения «быть знаком для», т. е. предмет, имеющий означаемое. Аналогично, муж есть предмет, имеющий двойственный характер: с одной стороны, муж есть мужчина, т. е. биологический феномен, а с другой — этот биологический феномен есть член отношения «быть мужем», т. е. он имеет жену.

Если *дерево* называется знаком, то не потому, что в него включено понятие «дерево», как утверждал де Соссюр, а потому, что знак *дерево* обозначает понятие или предмет «дерево». По де Соссюру, знак состоит из *означающего* и *означаемого*. На самом же деле в терминах де Соссюра следует различать три совершенно разных понятия: 1) означающее, 2) означаемое, 3) иметь означаемое. Самый же термин «знак» становится равнозначным с термином «означающее». Если рассуждать в терминах де Соссюра, то его ошибка в том, что он смешал два совершенно разных понятия «означаемое» и «иметь означаемое», назвав «иметь означаемое» термином «означаемое», и произвольно использовал термин «знак» для обозначения фиктивного единства означающего и означаемого.

Мы можем говорить о дуализме знака. Действительно, знак есть дуалистическое понятие. Но дуалистическое не в смысле комбинации звука и значения, а в смысле комбинации звука и отношения «иметь значение». В терминах де Соссюра знак есть дуалистическое понятие, но не в смысле комбинации означающего и означаемого, а в смысле комбинации означающего и отношения «иметь означаемое».

Определение знака как комбинации звука и обозначаемого понятия (комбинации означающего и означаемого) — ошибка. Но это интересная ошибка — один из многочисленных в истории наук примеров того, что в ложных представлениях могут быть скрыты глубокие идеи, открывающие новые горизонты исследования: определяя знак как комбинацию звука и понятия, де

Соссюр представил в ложной форме глубокую идею о тесной связи звука и понятия. В эту глубокую идею мы вносим необходимую ясность, раскрывая подлинную природу знака.

Рассмотрим теперь, какие следствия вытекают из структурного понятия о знаке для понимания соотношения языка и мышления и для методологии лингвистических исследований.

По традиционному, объективистскому понятию о знаке, ясно изложенному уже у Аристотеля, мышление предшествует языку. В процессе мышления, которое начинается с предметов реального мира, слова являются в последнюю очередь. Предполагается, что слова, знаки есть просто средство для выражения мыслей. Таким образом, чтобы узнать значение слова, мы должны узнать, какую мысль слово выражает. В рамках такого представления о знаках разумно для определения значения слова просто указывать на предмет, скажем, чтобы определить значение слова «кенгуру», разумно просто указать на кенгуру.

С точки зрения игры как модели языка дело в корне меняется. Если слова подобны шахматным фигурам, то вряд ли имеет смысл спрашивать, какую мысль выражает слово «слон». Указывать на слона для объяснения значения слова «слон» — это похоже на то, чтобы указывать на слона для объяснения значения шахматной фигуры «слон». На самом деле, чтобы узнать значение шахматной фигуры «слон», мы должны узнать функции этой фигуры в шахматной игре. Подобным же образом, чтобы узнать значение слова «слон», мы должны определить место этого слова в системе языка. На основании сходных рассуждений мы отвергаем традиционное понимание знаков как средства выражения мыслей и приходим к идее единства знака и мысли. По образному сравнению де Соссюра, подобно тому как невозможно разрезать одну сторону листа бумаги, не разрезав другую, точно так же невозможно в языке отделить звук от мысли или мысль от звука. Из структурного понятия о знаке вытекает идея о сложном дуалистическом объекте *язык-мышление*. Язык не есть средство внешнего выражения мышления, понимаемого в качестве самодостаточного процесса. В действительности процесс мышления и процесс оперирования знаками языка составляют сложный, двуединый процесс.

Для методологии лингвистических исследований первостепенную важность имеют два понятия: структура знака и иерархия знаков.

Структура знака есть его способность распадаться по звукам и значению на категориальную часть и лексическую часть. Категориальная часть знака указывает на его принадлежность к определенной категории, или классу знаков (термин «категория» я употребляю как равнозначный с термином «класс»). Лексическая часть знака указывает на какое-либо его конкрет-

ное значение. Например, слово *гуляю* распадается по звукам и значению на лексическую часть *гуля-* и категориальную часть *-ю*. Лексическая часть имеет значение конкретного действия, тогда как категориальная часть значит, что слово *гуляю* принадлежит к классу слов со значением действия, то есть к глаголам (я опускаю характеристики подклассов). Лексические и категориальные части слов могут гармонировать друг с другом, а могут и противоречить друг другу. Например, обе эти части гармонируют друг с другом в слове *гуляю*, но противоречат друг другу в слове *гуляние*. Дело в том, что категориальная часть *-ние* слова *гуляние* значит, что это слово принадлежит к классу слов со значением предмета. Это слово представляет действие в качестве предмета. Мы не должны удивляться этому. Ведь язык не есть средство описания элементов реальности, как если бы они были заданы до языка; язык есть форма анализа реальности, форма мышления.

Трудно переоценить фундаментальное значение понятия структуры знака для лингвистических исследований. В (Shaumyan 1987) приведены многочисленные примеры серьезных ошибок в ряде лингвистических работ, проистекающие из незнания этого важнейшего инструмента анализа языка. Здесь я ограничусь одним очень характерным примером.

Рассмотрим классический семантический анализ английского глагола *kill* «убить» как каузативного глагола у МакКоли (McCawley 1958) — аналогичный анализ находим у Ю. Д. Апресяна (Апресян 1995: 21).

По МакКоли, глагол *kill* распадается на семантические компоненты так:

kill = *cause become minus alive*.

Это — ложный анализ. Ложный потому, что опирается на наивную идею, будто бы возможность каузативной перифразы глагола *kill* — достаточное основание для того, чтобы считать его каузативным глаголом. Не зная структуры знака, МакКоли не различает в слове *kill* его лексическую и категориальную части (категориальная часть этого слова имеет вид нулевого аффикса). Следуя традиции, МакКоли не ищет структуру слова *kill*, а пытается определить логические компоненты значения этого слова путем его перефразирования. Анализ знаков путем перефразирования их значений противоречит закону различения: различие между значениями должно соотноситься с различием между звуками. Иначе говоря, различия между значениями должны быть закодированы посредством различий между звуками — язык есть кодирующее устройство.

В английском языке настоящие каузативные глаголы составляют небольшую группу слов, в которой категориальными знаками, противопоставляемыми каузации отсутствию каузации, служат чередования гласных, например: *sit: set* (I sit by the table, I set the table), *fall: fell* (the tree falls, the

lumberjack fells the tree). Глагол *kill* не имеет ни альтернативы *kill*: **kell*, ни других категориальных знаков каузативного значения.

Лингвистическая семантика интересуется значениями, но не заботится о структуре знаков. Она хочет анализировать значения независимо от структуры знаков; она хочет знать значения, но ничего не хочет знать о структуре знаков. Однако подлинная семантическая проблема состоит в том, чтобы исследовать, каким образом значения организованы в отношении к знакам. Чтобы видеть эту проблему, чтобы понимать ее, надо быть способным понимать, что средства выражения и то, что они выражают, взаимосвязаны и дополняют друг друга. Никакое значение не существует отдельно от структуры знака. Лингвистическая семантика не понимает, что семантическая проблема есть семиотическая проблема.

Перехожу к понятию иерархии знаков, которое для лингвистики столь же важно, как и понятие структуры знака. Под иерархией знаков я имею в виду класс знаков, в котором мы находим главный знак, имеющий собственное значение, называемое его нормальным значением, и знаки, полученные от главного путем наложения на его собственное значение собственных значений других знаков. В результате из главного знака возникает ряд производных знаков с двухслойными значениями (собственное значение знака, принимаемого за главный, + собственное значение другого знака), называемых экспрессивными. Под экспрессивными я имею в виду значения, усиливающие выразительность языка.

Иерархия знаков, как я ее сейчас охарактеризовал, определяется законом наложения.

Закон наложения. Всякий знак имеет одно не зависящее от контекста значение, называемое его собственным значением, и ряд зависящих от контекста значений, называемых экспрессивными значениями данного знака. Если в контексте *K* на собственное значение *F* знака *A* накладывается собственное значением *G* знака *B*, то возникает производный от *A* знак *C*, имеющий двухслойное экспрессивное значение *F qua G* (символ *qua* значит «в качестве»).

Рассмотрим примеры иерархии знаков. Слово *осел* в его собственном значении обозначает определенное животное, в экспрессивном же значении оно служит синонимом выражения «глупый, упрямый человек». Всякая метафора — это употребление слова в его экспрессивном двухслойном значении. Точно так же обстоит дело с категориальными значениями. Например, собственное синтаксическое значение прилагательных — это атрибутивное употребление — как в выражении «больные люди». Но слово «больные» в

одном из своих экспрессивных синтаксических значений может употребляться — так же как существительное — в качестве подлежащего в предложении.

Незнание или игнорирование иерархии знаков ведет к серьезным трудностям при анализе значений слов и предложений. Вот пример. Ю. Д. Апресян утверждает, что главное свойство значений граммемы (= флективная грамматическая категория, в нашей терминологии) — это отсутствие семантического инварианта. Например, по его мнению, ложно рассматривать «совпадение с моментом речи», «предшествование моменту речи» и «следование за моментом речи» в качестве инвариантов граммем PRES, PAST, FUT. В обоснование своего мнения Апресян ссылается на тот факт, что каждая из этих граммем может употребляться в смысле другой граммемы. Ясно, что Апресян смешивает понятие инварианта с понятием общего значения. Да, это верно, что, поскольку каждая из этих граммем может употребляться в смысле другой граммемы, мы не можем выделить общие значения, по которым эти граммемы отличались бы друг от друга. Но инвариант не есть общее значение. Инвариант есть собственное значение некоторого знака относительно операции наложения на это значение собственных значений других знаков. Под этим углом зрения тот факт, что каждая из этих граммем может употребляться в смысле другой граммемы, подтверждает, а не опровергает взгляд, что приведенные значения есть инварианты граммем PRES, PAST, FUT. По закону наложения, каждая граммема должна иметь собственное значение, инвариантное относительно ее различных совмещений с наложенными на нее другими граммемами. В нашем случае каждая из приведенных граммем может совмещаться с наложенными на нее остальными граммемами данного набора граммем. Правильный анализ этих граммем выгляди так: 1) PRES, PRES qua PAST, PRES qua FUT; 2) PAST, PAST qua PRES, PAST qua FUT; 3) FUT, FUT qua PRES, FUT qua PAST.

Различие между инвариантным (собственным) значением знака и его экспрессивными значениями аналогично различию между личностью актера и лицами, которых он представляет. Например, вот актер, которого мы видим на сцене. Это Гамлет, но не сам Гамлет, а Смоктуновский, исполняющий эту роль. Заметим двойственность: Смоктуновский/Гамлет. На личность Смоктуновского «наложена» роль Гамлета. Личность Смоктуновского не тождественна личности Гамлета, но представляет чуждую личность — вымышленного Гамлета. Зритель воспринимает грим и жесты, слова и поступки Смоктуновского как что-то свойственное поэтическому образу Гамлета. Наблюдая, как Смоктуновский исполняет разные роли, скажем роль Гамлета, Иванова или Баха, мы видим, что он претерпевает разные изме-

нения в результате «наложения» на него разных ролей, но личность его остается инвариантной, т. е. неизменной относительно этих изменений.

По аналогии, то же самое касается и граммем, о которых говорит Апре-сян. Возьмем граммему PRES. Настоящее время, обозначаемое знаком PRES, есть собственное значение, так сказать, «личность» этой граммемы. Но она может также употребляться и в роли граммемы прошедшего времени и граммемы будущего времени. Заметим двойственность: PRES qua PAST и PRES qua FUT. Граммема настоящего времени может представлять грам-мему прошедшего или будущего времени, но от этого она не делается тождественной с ними. Хотя граммема настоящего времени претерпевает изменения в результате «наложения» на нее ролей прошедшего и будущего времени, настоящее время остается инвариантным, т. е. неизменным отно-сительно этих изменений.

Все сказанное выше приводит нас к главному выводу из структурной теории языкового знака. Главный вывод из этой теории состоит в том, что необходимо развивать новую лингвистическую дисциплину, которую я на-зываю *семиотической грамматикой*. Предмет семиотической грамматики есть категориальная система языка, определяемая через структуру и иерар-хию лингвистических знаков.

Семиотическая грамматика прямо противоположна лингвистической се-мантике, которая, не зная структуры знака и иерархии знаков или не пони-мая важных следствий из этих понятий, подменяет лингвистический анализ значения знака разложением его на логические компоненты.

Для семиотической грамматики я ввожу понятие *экстремальной кате-горияльной системы*. Нужда в этом понятии вытекает из отсутствия необ-ходимого соответствия между категориальной и лексической частью слова. Правильное соответствие мы наблюдаем в слове *стол*, где грамматическое и лексическое значения оба относятся к некоторому предмету. Однако ча-сто категориальное и лексическое значения действуют в разных или даже в противоположных направлениях. Например, грамматическое значение слова *вращение* относится к предмету, а его лексическое значение — к процес-су. Обратно, грамматическое значение слова *учительствовать* относится к процессу, а его лексическое значение — к предмету.

Конфликт между категориальным и лексическим значениями я назы-ваю *антиномией между категориальной системой и словарем*. Мы должны остерегаться смешивать лексические значения с категориальными значени-ями. Это смешение проистекает из того, что в реальных языках категориаль-ные значения тесно переплетены с лексическими значениями. В реальном мире категориальная система не существует в чистом виде, свободном от ограничений, накладываемых на нее словарем и линейным расположением

знаков. Однако, формулируя законы грамматики, мы должны абстрагироваться от лексических и линейных ограничений на правила грамматики индивидуальных языков. Законы грамматики не могут формулироваться в терминах лексических и линейных ограничений на правила грамматики индивидуальных языков подобно тому, как законы механики не могут формулироваться в терминах ограничений на движение, налагаемых на него трением и другими силами, действующими в реальном мире. Экстремальная категориальная система есть идеализация, рассматривающая реальную категориальную систему в чистом виде, освобожденном от ограничений, накладываемых на нее словарем и линейным расположением знаков. Эта идеализация в теории грамматики подобна идеализации в механике, где закон инерции и другие законы движения составляют экстремальную систему механики, свободную от ограничений, накладываемых на движение силами, действующими в реальном мире.

В реальном мире на грамматические структуры накладываются лексические и линейные ограничения. Грамматическая структура, не зависящая от ее лексической и линейной репрезентации, — это экстремальный предмет. Мы нуждаемся в нем в качестве инструмента объяснения. Возьмем пассивизацию. Чтобы понять этот грамматический процесс, мы должны: 1) абстрагировать грамматическую структуру от ее лексической репрезентации; 2) абстрагировать грамматическую структуру от ее линейной репрезентации. В разных языках на процесс пассивизации накладываются разные лексические и линейные ограничения, но сущность пассивизации одинакова во всех языках, где пассивизация встречается. Закон пассивизации должен формулироваться в терминах грамматических отношений независимо от ограничений, накладываемых на них словарем и правилами порядка слов, которые различны в разных языках.

На этом я заканчиваю изложение основных идей новой структурной теории языкового знака. Моей целью было показать важное значение этой теории как науки о том, каким образом из основных свойств языкового знака вытекают свойства языка как формы наших мыслей, формы коммуникации и формы анализа действительности. Моей целью было также представить основания для главного вывода из теории языкового знака, который состоит в том, что необходимо развивать новую лингвистическую дисциплину, которую я называю семиотической грамматикой.

Приношу благодарность М. И. Лекомцевой за замечания по вопросам семиотики, позволившие мне сделать изложение более ясным.

Литература

Апресян Ю. Д.

1995 *Избранные труды*, том II. М., Языки русской культуры.

Витгенштейн Людвиг

1958 *Логико-философский трактат*. Перевод с немецкого. М., Издательство иностранной литературы.

Соссюр Фердинанд де

1933 *Курс общей лингвистики*. Перевод со второго французского издания А. М. Сухотина. М., СОЦЭКГИЗ.

Степанов Ю. С.

1988 *Язык и метод. К современной философии языка*. М., Языки русской культуры.

Шаумян С. К.

1962 *Проблемы теоретической фонологии*. М., Издательство Академии Наук СССР.

1999 «Абстракция в современной лингвистике». *Логос* # 1 (1999) 11, М., Дом интеллектуальной книги.

Fitch Frederic Brenton

1952 *Symbolic Logic*. New York: The Ronald Press Company.

Frege G.

1892 «Über Sinn und Bedeutung». *Zeitschrift für Philosophie und Philosophische Kritik*.

Husserl Edmund

1948 *Erfahrung und Urteil (Untersuchungen zur Genealogie der Logik)*. Hamburg.

McCawley J. D.

1968 'Lexical Insertion in Transformational Grammar without Deep Structure'. In B. I. Darden, C.-I. N. Bailey, and A. Davison (eds.), *Papers from the Fourth Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society*, University of Chicago, Chicago, Illinois.

Ogden C. K. and Richards, I. A.

1949 *The Meaning of Meaning*. 10th edn. London: Routledge & Kegan Paul.

Шаумян Sebastian

1968 *Problems of Theoretical Phonology*. The Hague/Paris: Mouton.

- 1987 *A Semiotic Theory of Language*. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.

Wittgenstein L.

- 1958 *Philosophische Untersuchungen*. 2nd edn. G.E.M. Anscombe and Rhees (eds.), G. E. M. Anscombe (trans.). Oxford: Oxford University Press.

Константы культуры — продолжение темы

В эпоху «бури и натиска», к которой в лингвистике я отношу период приблизительно до 1968 года, все мы много говорили о «строгости». Этой строгостью мы были в немалой степени зачарованы. Вспоминая наши тогдашние споры, я понимаю, что мы постоянно увязали в деталях из-за невозможности точно сказать, что имеется в виду в том или ином частном случае.

Некогда Монтень в эссе «О педантизме» в качестве примера неуместно-го пристрастия к точности описал человека, который «никогда не решится сказать, что у него на задку завелась парша, пока не справится в своем лексиконе, что, собственно, значит *зад* и что значит *парша*» [Монтень 1998, с. 168]. Это шутовское замечание хорошо описывает дух тогдашних дискуссий о семантических проблемах. Не случайно смолоду мы так восхищались знаменитым афоризмом Витгенштейна: «То, что вообще может быть сказано, может быть сказано ясно, а о чем невозможно говорить, о том следует молчать».

Один из моих собратьев по той далекой эпохе, талантливый ревнитель строгости Ю. И. Левин, в 90-е годы так описал нашу общую эволюцию: «Я считаю этот методологический ригоризм одним из самых вредных явлений во всей истории философии: самооскопление, даже во имя идейной чистоты, не может быть плодотворным» [Левин 1994, с.128].

«Константы. Словарь русской культуры» Ю. С. Степанова [Степанов 1997] — не просто плод огромного труда, но именно повествование о том, о чем если не невозможно говорить, то, во всяком случае, говорить предельно трудно. В статье «Культура», предваряющей том, я нашла следующую формулировку: «... значения тех обиходных слов, которые употребляются не только в общем языке, но и в науке, постоянно стремятся к научному понятию как своему пределу, но достигают его каждый раз тогда, когда наука (или техника) уже оставила это понятие и, отталкиваясь от него, ушла вперед» (с. 33).

Такой подход отражает познавательную установку, согласно которой наука не только описывает «готовый» мир, но и творит мир. В самом деле,

люди всегда испытывали тупое отчаяние от непреодолимости иных препятствий, остро переживали малость собственных сил, мучались от противоречивых импульсов. Но концептуализация этих переживаний, их воплощение в такие слова, как *бессознательное*, *стресс*, *фрустрация*, *амбивалентность*, отчасти сняли проблему «безъязыкости» обычного человека, позволили говорить о том, о чем ранее действительно оставалось лишь молчать.

Согласимся тем не менее, что в поисках слов для выражения наших смутных настроений и чувств, равно как при попытках понять смысл текстов, где соответствующие слова используются, мы попадаем в иное положение, чем герой Монтеня. И совершенно нелишне было бы иметь под рукой хороший «лексикон».

Восторг, ревность, зависть, гордость, отчаяние и прочие порывы и экзистенциальные состояния присущи нам как людям культуры; они приобретены, а не врожденны. Развиваясь, человеческая личность проходит огромный путь: от инстинктивной зависимости младенца от матери — к любви к ней; от ориентировочного инстинкта, присущего всем высокоорганизованным животным, к сугубо человеческой потребности в новизне сигналов, воспринимаемых из внешнего мира.

Писатели, философы, мудрецы, отцы Церкви оформляют в концепты то, что совместно вытесано культурным опытом отдельной личности и того сообщества, к которому эта личность принадлежит. Концепт выражается словесно, что порождает иллюзию простоты понимания его смысла, его Sinn. Так, ребенок, выучившись читать по стихам Пушкина, надеется узнать из словаря Ожегова, что такое «страсть».

Понимающе переглянувшись, спросим себя: а откуда может узнать — пусть не ребенок, но хотя бы подросток, — что «на самом деле» имеется в виду, когда в обычном тексте он сталкивается со словом *бессознательное*, *вытеснение*, *эдипов комплекс*? Я намеренно выбрала примеры из модели психического мира, основанной на теориях Фрейда. Именно эта модель (в изрядно профанированном виде) стала источником большого количества обиходных слов, которые употребляются в общем языке, так что тезис Ю. С. Степанова, процитированный ранее, напрямую относится к описанной мною ситуации.

Известный физик Л. И. Мандельштам любил в своих лекциях приводить пример с набором железных и медных шариков разного размера. Если эти шарики сортировать с помощью сита, набор будет описан как состоящий из больших и маленьких шариков. Если же воспользоваться магнитом, то набор будет описан как состоящий из железных и медных шариков. Чтобы извлечь из этого примера мораль, надо осознать, что выбор метода и определяемое им описание всегда и неизбежно сопряжены с риском. «Константы»

Ю. С. Степанова являют нам пример безусловной научной отваги. Я попыталась последовать поданному им примеру, но в сугубо миниатюрном жанре.

Ниже предлагаются эскизы словарных статей, описывающих некоторые «культурные концепты» из сферы психологии личности. Гипотетический лексикон, куда они входят, рассчитан на неискушенного и притом преимущественно юного читателя, воспитанного в русской культуре.

ИГРА

Смысл этого понятия, казалось бы, ясен: все мы в детстве играем — в мячик, в прятки, в куклы, в войну. Те, кто знаком с компьютером, играют в компьютерные и. Играют и молодые животные, притом домашние животные играют и с нами, и между собой, а дикие — друг с другом. Но это лишь один из смыслов понятия и., который мы обозначим И-1.

Взрослые тоже играют — в шахматы, в футбол, в азартные игры — в карты, в рулетку. Некоторые виды продуманных шуток (не всегда невинных) мы называем «розыгрышем». Существует и профессиональная деятельность, содержанием которой является и., — это профессия актера, исполняющего разные роли. Ясно, что здесь имеется в виду нечто иное, чем в И-1, поэтому эти виды и. мы обозначим И-2.

Метафорически понятие роли продуктивно используется для описания отношений между людьми в социуме (т. е. в обществе). Если роль — это то, кем человек является во время или на время той или иной и., то «социальные роли» — это определенные типы нашего поведения в социальных ситуациях, наши временные или постоянные амплуа. Об этом американский психолог и психиатр Эрик Берне написал известную книгу «Игры, в которые играют люди». И. «в смысле Берне» мы обозначим как И-3.

И-1 — это единственный вид деятельности ребенка, существующий у всех народов. Ребенка не надо учить и.: он играет спонтанно и с удовольствием. Для детей раннего возраста характерны так называемые манипулятивные и.: во время купания ребенок шлепает ладонями по воде; сидя в манеже, рвет бумагу, пересыпает камешки; научившись ходить, тянет за уголок скатерть, переворачивает вверх дном любую посуду.

С помощью И-1 ребенок бессознательно усваивает свойства предметов и материалов, обретает ориентацию во времени и пространстве, в общем — познает материальный мир. Несколько позже, стреляя в игрушечного тигра из игрушечного ружья («я — охотник!») или глядя плюшевого мишку («я — мама!»), ребенок получает возможность проявить свои эмоции — выплеснуть агрессию или выразить нежность. В ролевых и. ребенок как бы примеряет на себя разные виды занятий взрослого — лечит кукол, изображает телеведущего или героя сказки.

В случаях, когда взрослый говорит, ребенок облекает свой эмоциональный опыт в операции с предметами. Лучше всего об этом рассказала Анна Фрейд, описавшая реакции детей на разрушительные бомбардировки Лондона немецкими самолетами во время Второй мировой войны. В противоположность взрослым, которые вслух снова и снова вспоминали о пережитых ужасах, дети почти никогда не говорили об этом. Они строили что-то из кубиков, потом на эти постройки падали бомбы, выли «сирены», стонали «раненые» и т. д.

И-2 — это (по происхождению) деятельность взрослых, которая предполагает выполнение следующих условий:

1) она совершается согласно определенным и заранее известным правилам;

2) эта деятельность изначально бесполезна и ценна сама по себе: хотя выигрыш в И-2 может иметь немалую материальную ценность, но по сути своей даже и. на деньги, например в тотализатор на бегах, дарит участникам прежде всего эмоциональный подъем в виде переживания азарта;

3) И-2 обычно включает элементы состязательности — в ней в том или ином виде присутствуют победившие и проигравшие.

Для ребенка, поглощенного свободной и., обозначенной выше как И-1, важен именно процесс, ведущий к самореализации ребенка как личности, а не результат. Ребенок пяти лет, от которого спортшкола требует обязательного достижения результата, принудительно занят И-2. Это совсем не та и., которую ООН провозгласила неотъемлемым правом ребенка. Вернее было бы сказать, что в данном случае это право нарушается.

Театр и карнавал — от века известные формы И-2 — ценны тем, что позволяют нам прожить много разных жизней. В театре перевоплощаются только актеры, зритель же включен в И-2 относительно пассивно, в меру своего сопереживания тому, что происходит на сцене. Актер побеждает, убеждая зрителя в подлинности происходящего, — но проигрывает, если зритель остается равнодушным. На карнавале перевоплощаются все, освобождаясь от ролей, напоминающих об однообразных буднях, и принимая роли, несущие свободу от привычек и повседневных обязательств. При этом как театральные, так и карнавалы действия всегда жестко регулируются правилами — граница между сценой и залом, праздником и буднями осознается как ненарушимая.

И-3, понимаемая по Берне, не имеет ничего общего с И-1 и мало общего с И-2. Описание человеческих взаимодействий построено Берне на основе гипотезы о том, что в психике каждого человека есть черты «Родителя», «Ребенка» и «Взрослого». «Ребенок» сосредоточивает в себе сильные и слабые стороны детской натуры: он раскован и действует под влиянием

минуты, он стремится к удовольствию, но беспомощен. «Родитель» воплощает моральный контроль: он всегда готов защитить слабого, но чрезмерно требователен. «Взрослый» уравновешен и трезв. И-3 — это ситуация, когда один из участников взаимодействия неосознанно выбирает заведомо психологически выгодную для него позицию.

Один из примеров И-3 по Берне — это взаимодействие по схеме «Да, но...» Здесь один человек занимает позицию «Ребенка» и на первый взгляд обращается к другому за помощью и советом как к «Родителю». Однако в ответ на любые советы «Ребенок» возражает по схеме «Да, но...» Например, «Ребенок» жалуется на усталость, но находит множество мнимых причин, объясняющих, почему никакой отдых для него сейчас невозможен. На деле в этой и. «Ребенку» вовсе не нужен совет — он просто хочет, чтобы его пожалели.

Разумеется, понятие и. в широком смысле не сводимо к тому, что мы описали выше. Голландский культуролог Йоханнес Хейзинга прославился книгой «Человек играющий», где он показал, что многие виды человеческой деятельности продуктивно рассматривать как и. Хейзинга внес в наше понимание человека представление о ценности спонтанного и раскованного самовыражения, об изначально неограниченной возможности творчества, в чем бы оно ни состояло.

Не менее замечательно написал о творчестве как о свободной и возвышенной и. независимого ума, свободного от узко понимаемой «полезности», Герман Гессе в книге «Игра в бисер». В катастрофической атмосфере Второй мировой войны Гессе, живший в нейтральной Швейцарии, получал сотни писем от тех, кто, прочитав его книгу, нашел в ней для себя моральную опору.

ИНФАНТИЛЬНОСТЬ

Инфантильным мы называем поведение, не соответствующее тому, что мы ожидаем от личности данного биологического возраста. Например, когда психически здоровый ребенок десяти лет развлекает себя тем, что часами протыкает в бумаге дырки гвоздем, можно говорить о его и., хотя для детей двух-трех лет такие игры типичны. Инфантильным мы называем и молодого человека двадцати лет, который живет родительским умом и заботами, не задумываясь о том, что его родители не вечны. Тем самым понятие и. имеет относительный характер: оно коренится в определенных культурных представлениях о том, какими, с точки зрения данного культурного сообщества, должны быть поведение, жизненные ориентации и предпочтения человека, достигшего определенного возрастного рубежа.

В первой половине XIX века в России подростки были студентами, молодые люди — полковниками. Молодыми вступали в активную жизнь и

разночинцы — Добролюбов, умерший в двадцать пять лет, успел стать влиятельным критиком. Мало кто помнит, что одному из самых сложных героев русской литературы, Ивану Карамазову, всего двадцать два года. Замужество в семнадцать лет означало для молодой женщины полную независимость от родительской семьи, ответственность за будущих детей, дом и хозяйство.

Этот переход от беззаботной юности к ответственной жизни описан Толстым в «Анне Карениной», когда он рассказывает о первых месяцах замужества Кити Щербатской. Кити еще не привыкла к тому, что теперь она может купить себе сколько угодно конфет, но она уже отвечает за благополучие новой семьи.

Современные юноши и девушки часто слышат от взрослых упреки в и. Обоснованны ли они? Если да, то почему на эти упреки молодые люди чаще всего отвечают агрессией? В значительной мере потому, что претензии старших не конкретизированы и не идут далее фраз наподобие «я (мы) в твои годы...». Зрелость создается не пережитыми испытаниями как таковыми, но вынесенным из них социальным опытом, который в нормальных условиях является основой культурной традиции: ведь человек взрослеет, следуя определенным культурным образцам. В «мире без границ» юный англичанин усваивает понятие неприкосновенности личности на том же уровне безоговорочности, как юный японец — понятие о почитании старших. На основе таких и им подобных культурных образцов формируется ответственная личность, т. е. личность, способная осознанно выбирать из возможных поступков, а не просто пытаться удовлетворить сиюминутные желания, не заботясь о последствиях, — а ведь именно так поступают дети.

Части современной молодежи действительно не хватает чувства ответственности, для многих характерно отсутствие адекватных представлений о нашем недавнем прошлом, знать которое крайне важно для понимания особенностей переживаемого сейчас переломного периода в истории нашей страны.

Все мы являемся свидетелями разрыва в культурной традиции. Он объективно обусловлен крушением политического режима коммунизма. На этом фоне усилилось неосознанное и нередко агрессивное сопротивление авторитарному стилю воспитания, исторически присущему нашему обществу.

В резко изменившихся условиях молодой человек нередко действует только в том кругу понятий и событий, где можно с наименьшими усилиями получить побольше удовольствий, что как раз и характерно для инфантильного стиля поведения. Выход за эти пределы, требующий терпения, мужества и ответственности, и будет означать обретение реальной, а не «паспортной» зрелости.

«Я» И «ОНО»

Так называется одна из самых известных работ Фрейда, вышедшая в 1923 г. В заглавии отражена центральная идея трехчастной модели психики, предложенной Фрейдом. Личность человека в этой модели представлена как арена взаимодействия трех структур: «Я» (лат. *Ego*), «Оно» (лат. *Id*) и «Сверх-Я» (лат. *Super-ego*).

«Я» представляет индивида, стремящегося поступать ответственно: «Я» ставит цели, планирует, выбирает, оценивает, принимает решения. «Я» любит, ненавидит, страдает. Безусловное свойство «Я» — бессознательная установка на целостность и непротиворечивость. Здоровая личность являет собой структуру, а не мозаику. Сохранению «Я» именно как структуры способствует (по определению Фрейда) механизм психологической защиты. Используя его, «Я» бессознательно исключает из сферы, доступной здравому размышлению, все, что для «Я» представляется плохим, недолжным или же составляет предмет вожделения, которое не может быть удовлетворено. Этот процесс называется вытеснением.

Вытесненный материал составляет содержание «Оно». «Оно» — сфера подсознания. Там аккумулируются запретные в данной культуре влечения и фантазии — прежде всего влечения сексуального характера, но не только они. Отношения между «Я» и «Оно» регулирует — также на бессознательном уровне — «Сверх-Я». «Сверх-Я» воплощает одновременно и закон (сведения о должном), и запрет на то, что в данном социуме считается недопустимым.

Согласно теории Фрейда, эти аспекты нашей психики находятся в состоянии постоянного конфликта. «Оно» не только служит «вместилищем» неприемлемых для осознания и потому регулярно вытесняемых влечений — из него исходят своего рода импульсы, которые побуждают «Я» к удовлетворению запретных влечений.

Естественно, что в сфере «Оно» обречено пребывать именно то, что в данной культуре считается дурным и заведомо осуждается. Так, для традиционной русской культуры сексуальные желания ребенка или юной девушки — предмет безусловного запрета со стороны «Сверх-Я», а значит, соответствующие влечения составляют содержание «Оно». В то же время в культуре Таити сексуальные игры между детьми противоположного пола поощряются, а привлекательность девушки-невесты тем больше, чем обширнее ее добрые связи. Очевидно, что если подобные проявления сексуальности социально приемлемы, то они и не вытесняются в «Оно».

В рассказе Бунина «Чистый понедельник» описание напряженных эротических отношений героев дано с помощью предельно выразительных реалистических деталей. Эти описания тем не менее согласуются с сугубо

русской культурной традицией и потому без протеста со стороны психологической «цензуры» воспринимаются нашим «Я».

«Сверх-Я» мыслилось Фрейдом и его последователями как культурно-обусловленная цензура, которая пресекает попытки «Я» осуществить «запретные» желания. При этом защитная функция «Я» реализуется, минуя сознание: в этом и состоит специфика механизма вытеснения. Противопоставление «Я» — «Оно» не работает вне «Сверх-Я», поскольку именно последнее выступает как инстанция, «сортирующая» психический материал на приемлемый для «Я» и разрушительный для «Я», дабы этот материал не вышел за пределы «Оно».

Например, в литературе многократно описаны случаи, когда ребенок, чувствуя себя несчастным или обиженным, воображает свою смерть как наказание несправедливых к нему родителей или учителей. Эти фантазии не выходят за рамки представлений об отчаянии мамы или удрученных собственной жестокостью товарищей по играм. «Сверх-Я», однако, не допускает в «Я» фантазий, где бы возмездие и кара настигали мать — это может осуществиться только в сновидениях, над которыми властно «Оно».

Существенно, что Фрейд не был моралистом: все его построения вне оценочны. Как врач-психоаналитик, он одинаково беспристрастно анализировал «Оно» пациенты, бессознательно желавшей смерти своему отцу, и терзания человека, готового уступить любимую жену другому в неосознаваемой надежде снять с себя ответственность за судьбу этой женщины.

Модель «Я» — «Оно» — «Сверх-Я» позволила по-новому понять многие психические процессы, с помощью которых человек преодолевает жизненные трудности. Примером может быть введенное Фрейдом понятие «работа скорби». Это бессознательная переработка человеком страдания, связанного со смертью близких.

Раньше представлялось, что постепенное ослабление страдания происходит как бы само собой. Фрейд показал, что человек перерабатывает чувство утраты бессознательно, но от того не менее активно. Случается, что эта переработка носит патологический характер — в частности, сводится к упорному самообвинению и вызывает состояние полной безысходности. Психоаналитик может помочь пациенту, обнажая безосновательность переживаемого им чувства вины.

«Я-КОНЦЕПЦИЯ»

Некогда великий французский философ Паскаль заметил, что ветвь никогда не может постичь смысла всего дерева. Человек также не может знать всего о себе, потому что единичная личность существует не в вакууме, а в сложном переплетении социальных связей. За нами и вокруг нас — семья и предки, родной город и история страны, где мы родились. Культура

и эпоха незаметно формируют нас с первых месяцев жизни, и само наше «Я» — продукт истории, среды, воспитания, а не только наших физических и психических особенностей.

Насколько сами мы это осознаем? Как вообще мы понимаем себя как субъекта жизни и ответственности? Термин Я-к. ориентирован на то, чтобы показать, что сформировавшаяся личность имеет некий ответ на эти вопросы, хотя, как правило, не формулирует его для себя в явном виде.

Нередко Я-к. обнаруживает себя, так сказать, от противного, по принципу «А я и не знал, что...». Например, житель большого города уезжает отдохнуть от суеты в глухую деревню. Там все друг другу родня, к нему тоже доброжелательны, однако сам он ощущает себя крайне незащищенным и даже неуместным. Это заставляет человека всерьез задуматься о том, от чего же зависит его самоощущение и самооценка — ведь сам-то он не изменился и к тому же получил именно то, чего хотел, — тишину, рыбалку.

Причины такого дискомфорта человек чаще всего не может назвать, тем более что обычно мы склонны видеть корень зла не в себе, а в других людях или в не зависящих от нас обстоятельствах.

Психолог, анализирующий описанный случай, пришел к следующему выводу. Анонимность жизни в большом городе, т. е. привычка жить незамеченным среди толпы, была необходима нашему герою как воздух, хотя сам он об этом и не подозревал. Теперь же его «Я» лишилось привычной защиты от вынужденного общения с другими людьми — а он и не знал, что нормальное функционирование его «Я» предполагает такую отгороженность. Не исключено, что без помощи психолога этот новый и важный опыт остался бы неосознанным, а душевный дискомфорт был бы списан на погоду, отсутствие телефона и т. п.

Я-к. — это наш неосознаваемый образ самих себя. Можно выразиться и иначе: это невидимый автопортрет, который открывается нашему внутреннему взору преимущественно в кризисные моменты. Иногда нас так «не устраивает» увиденное, что мы, сами того не зная, немедленно вооружаемся розовыми очками — и успокаиваемся.

Окружающие нас люди меньше всего интересуются нашей Я-к., но в той мере, в какой судьбы людей пересекаются, все мы (тоже чаще всего неосознанно) вынуждены считаться с Я-к. других — либо принимать ее, либо бороться с нею.

Поскольку психика душевно здорового человека представляет собой достаточно прочную структуру, то и Я-к. не должна содержать несовместимые положения и непримиримые противоречия. Беспочинная тревога, неуживчивость, подавленность, смена настроений и желаний, столь свойственные юности, обычно говорят о том, что Я-к. не сформировалась, не устоялась.

Как соотносятся Я-к. и жизненный опыт? Изменяется ли она с возрастом и если да, то как? Разумеется, наша Я-к. меняется вместе с нами. Такие критические для жизненного пути ступени, как выбор профессии, вступление в брак, материнство и отцовство, утрата близких, тяжелая болезнь, переезд в другую страну, — все это требует определенного пересмотра Я-к., поскольку только при этом условии человек может приспособиться, адаптироваться к новым обстоятельствам. Однако зависимость между тем, как мы себя «мыслим», и тем, как мы можем управлять своей жизнью, далека от прямолинейной. Ограниченный человек на склоне лет может видеть себя умудренным опытом, хотя его опыт именно в силу ограниченности малоценен. Возможно и обратное: человек яркий может считать, что он жил недолжным образом или что он неправильно использовал свой дар.

В повести Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» портрет героя, написанный его другом-художником на холсте, волшебным образом зеркально отражал все то дурное, что совершал в своей жизни Дориан; сам же Дориан был над портретом не властен. Напротив того, мы можем — в попытках объяснить себе себя же — переписывать свой «невидимый автопортрет» много раз. Ничто тем не менее не дает нам гарантии его «адекватности натуре», за исключением, быть может, чувства внутренней гармонии, которое моментами переживается всеми. К сожалению, как длительное состояние оно доступно немногим счастливым.

ФРУСТРАЦИЯ

У каждого человека есть безусловные ценностные установки — то, что он считает для себя главным в жизни, непреложным и бесспорным. Для жителя древней Спарты — это способность скрывать физическую боль, для верного традиции японца — способность скрывать боль душевную, для русского дворянина высшей ценностью было понятие чести. Характерная для англичан остранившая вежливость отражает освященную законом ценность личной неприкосновенности.

Но жизнь сложна, и ничто не гарантирует человеку гармоничную реализацию важнейших для него ценностей.

Талантливый скрипач сломал руку и уже не сможет играть; девушка собралась замуж, но любимая мать против; я мечтал быть моряком, но медкомиссия лишила меня этой перспективы. Именно в такие моменты нас настигает фрустрация.

Фрустрация — это реакция человека на неразрешимый внутренний конфликт, который возникает из несовместимости самых важных для данной личности целей и ценностей. В романе Толстого «Анна Каренина» именно состояние фрустрации приводит Анну к самоубийству.

Хотя бы раз в жизни фрустрацию переживают все. Как правило, фрустрация — временное состояние отдельных людей, и большинство находит в себе силы, чтобы справиться с ней и жить дальше. Но если фрустрация становится постоянным уделом больших масс, то это уже угроза для общества в целом. Фрустрация в русской армии перед февральской революцией 1917 года описана Ф. Степуном в его мемуарах «Бывшее и несбывшееся». Начав воевать «за веру, царя и отечество», крестьяне — большинство армии — к 1916 году стали просто массой, для которой единственной ценностью осталось возвращение к труду на своей земле. «Вьетнамский», «афганский» и «чеченский» синдромы — тоже проявления массовой фрустрации, равно как и реакции миллионов беженцев — жертв этнических конфликтов в современном мире.

Человек (нередко подсознательно) стремится избежать фрустрации и приспособиться, адаптироваться к реальности. Многие чудовищные и саморазрушительные действия — агрессия, самоубийство, вандализм, наркомания — оказываются объяснимыми (но не оправданными!), если их рассматривать не просто как злую волю, а как безнадежные попытки избавиться от фрустрации.

Литература

Монтень М. Опыты. Кн. 1—2. СПб., 1998. 963 с.

Левин Ю. И. Истина в дискурсе // Семиотика и информатика. Вып. 34. М., 1994. С. 124—162.

Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры. М., 1997. 824 с.

Предраг Пипер
(Белград)

В трехмерном пространстве языкознания (и за его пределами)

1. «Нет ничего более естественного, как представлять себе язык в виде пространства или объема, в котором люди формируют свои идеи» [7, 175]. Заглавие известной книги Ю. С. Степанова и приведенное здесь первое предложение из этой книги являются очередным убедительным подтверждением способности метафоры менять, в определенных пределах, свое содержание, не меняя его выражения. Книга эта, как известно, посвящена языковому синтаксису, семантике и прагматике, а метафора *трехмерного пространства* языка в ее заглавии эффектно выведена из реальной трехмерности физического пространства.

В заглавии настоящей статьи в подобной метафоре заключено иное содержание, а именно факт распространенности пространственных метафор (ПМ) в метаязыке лингвистики.

Существует ли принципиальное различие между ПМ в языке и ПМ в языкознании? Ответ на этот полуриторический вопрос не может быть однозначным, а основная цель данной статьи заключается в попытке показать в основных чертах общее и отличное между ПМ в названных двух сферах употребления.

2. В дискурсе научной работы, в языкознании так же, как и за его пределами, широко принято осмыслять ход исследования как «дорогу», имеющую «исходную», или «отправную», точку и «конечную цель», к которой автор в роли путешественника «приходит» сам или вместе с читателем (напр. *присмотримся ближе, вернемся к нашему предмету* и т. п.), «наталкиваясь» на «камни преткновения» и другие «препятствия», в то время как другие исследователи нередко «обходят» проблемы молчанием. Он, правда, иногда и делает «отступления», и «забегает вперед», но обычно «возвращается» к проблеме, даже «подходит к ней вплотную» и в конце концов в «рамках» определенного научного «направления» «приходит» к некоторым выводам. При этом предмет исследования «ставится в центр» внимания и рассматривается «с одной стороны» и «с другой стороны»; отдельные

его части могут рассматриваться «попутно» или «выдвигаться на первый план» и рассматриваться «на фоне» других; для большей образности представления пространства научного дискурса прибегается к геометрическим метафорам типа «точка» зрения, проводить «параллель», «парочный «круг», «смотреть сквозь «призму» и т. п.; автор даже для лучшей ориентации в пространстве текста может начинать с «предисловия» и «введения» и закончить «приложением», отсылать читателя смотреть «выше» или «ниже», как будто текст написан на свитке папируса и т. д., см. [5; 9].

3. Лингвистическая терминология кишит пространственными метафорами (напр. *уровень, поле, транспозиция, метафора, стратификация, подлежащее, прилагательное, междометие* и т. д.). Для образования соответствующих терминов используются, зачастую бессознательно, критерии, на которых организованы системы предлогов, приставок, прилагательных, наречий и других языковых единиц, имеющих пространственные значения. В первую очередь это противопоставление «внутреннего» «внешнему» (напр., *внутренняя история языка/внешняя история языка*) с использованием различных средств для образования подобных метафор (ср. *эндофора/экзофора, имплицитный/эксплицитный* и т. п.), нередко с уточнением отношений в рамках «внутреннего» при помощи понятий «центра» и «периферии» (напр. *центр и периферия функционально-семантического поля, медальный залог, интра-персональный речевой акт*) или «глубинного», которое противопоставляется «поверхностному» как «внешнему» (напр., *глубинная структура/поверхностная структура*) и т. д.¹

Локализация во «внешнем» лингвистическом пространстве предоставляет больше возможностей. Это, во-первых, локализация «в уровне» вообще, локализация его передней или задней стороной (напр., *переднее поле/заднее поле* в грамматике зависимостей), или боковыми сторонами (напр., *левая/правая валентность*), или локализация «вне уровня» локализатора, для выражения которой обычно используются префиксы и префиксоиды *над-, сверх-, гипер-, супер-, под-, гипо-, суб-* и т. п. (напр., *сверхфразовое единство, суперсегментные признаки, подтекст, гипероним, гипоним* и т. д.).

Существенным для локализации в лингвистическом пространстве может оказываться критерий количества (исчисляемого или неисчисляемого). Для локализации при помощи морфем *меж(ду)* или *интер* требуются, по край-

¹ Такими и подобными терминами фактически обозначаются локализатор и ориентир локализации в лингвистическом пространстве, в то время как сам объект локализации присутствует реально или потенциально в конституции, напр. В *глубинной* (= ориентир) *структуре* (= локализатор) выделен *узел именной группы* (= объект локализации), так же как, например, *Внутри* (= ориентир) *дама* (= локализатор) *раздавалась музыка* (= объект локализации).

ней мере, два локализатора (напр., *междialeктный, интерфикс*), которые могут и не называться (напр., *междометие, интерпозиция*); для выражения небольшого расстояния между локализатором и объектом локализации в пространстве языкознания используются термины, в составе которых такие элементы, как *пар(а)-, проксимальный, дистальный, сопутствующий, сопровождающий* и т. п. (напр., *паронимы, паралингвистика, сопровождающее значение*); для обозначения большого или небольшого расстояния по мыслимой вертикали — прилагательные *высокий/низкий* (напр., *стиль*) и т. п.

Лингвистические ПМ отличаются друг от друга в большей или меньшей степени не только в разных языках, но и в пределах одного языка (в зависимости от теории, к которой относятся). По этой причине, а также вследствие широкой распространенности ПМ в терминологических окказионализмах и полутерминологических выражениях лингвистические ПМ в русском или в каком-нибудь другом языке не образуют единой терминологической подсистемы со сколько-нибудь определенными границами.

4. Многовековая традиция изучения ПМ как предмета грамматики обогатилась в XX веке рядом новых идей и теорий. Теории ПМ, развивавшиеся и развивающиеся в XX веке в рамках разных лингвистических моделей (напр., структурной, стратификационной, порождающей, когнитивной), несмотря на общность предмета и вытекающих отсюда точек соприкосновения, в частности терминологических, оказались в терминологическом отношении достаточно отдаленными друг от друга, сохранив как общую черту установку на создание концептуального аппарата теории в основном при помощи ПМ [13]. Таким образом, вопрос о ПМ вырисовывается, по крайней мере, в трех планах: ПМ в языке, ПМ в языкознании, ПМ в метаязыке теорий ПМ (включая сюда сам термин *метафора*).

Начиная с последнего и применяя своего рода теоретическую «интроспекцию», мы можем сослаться на теорию семантических локализаций², разновидность теории ПМ, концептуальным аппаратом которой охвачены понятия, относящиеся к элементам ситуативной рамки локализации (локализатор, объект локализации, ориентир), к ориентационным аспектам локализации (напр., *интралокализация, экстралокализация, проксимальность, дистальность*) и к ее динамическим аспектам (напр., *локативность, транс-*

² Теория семантических локализаций разрабатывается с 1977 года [см. 14] как частная лингвистическая теория, направленная на описание и объяснение отдельных семантических феноменов в свете изоморфности и изофункциональности семантических категорий, выражающихся в ряде случаев средствами с пространственными значениями как функционально первичными (напр., *в среду, в клетку, в пять раз, в ремонт, как в карман, в ящик* и т. п.), и приобретающих таким образом пространственную иконичность, что имеет языковые и внеязыковые объяснения (см. также следующую сноску).

лативность, аблативность, адлативность, перлативность, а также *центростремительные* и *центробежные тенденции* в дискурсе и языке и проч.).

Естественно предположить, что распространенность пространственных метафор в лингвистической терминологии является частным случаем общей распространенности ПМ в языке. Для человека как существа, обладающего физико-пространственными признаками и нуждающегося в ежеминутной ориентации в пространстве, пространственные критерии имеют большое значение, чем легко объясняется его склонность к восприятию и осмыслению непространственных явлений наподобие пространственных. В этом можно также видеть способность человека улавливать в окружающем и исполняющем его универсуме некоторые закономерности, сводимые при всей их внешней разнородности к общим принципам, которые вследствие распространенности и разнообразия пространственных выражений удобно именовать в терминах пространственных метафор³.

При всем разнообразии идей в теориях ПМ, резко увеличивающемся в последние годы, оно, естественно, несравнимо беднее разнообразия самих пространственных метафор в каком-нибудь одном языке, не говоря уж о группе языков или обо всех известных языках. Этот частный случай отставания теории от эмпирии свидетельствует о том, что пространственные метафоры в большинстве случаев не являются продуктом теоретических решений и сознательных установок на «пространственное» осмысление непространственных явлений, а возникают спонтанно и интуитивно.

5. Метаязыковые ПМ, в принципе, могут также возникать спонтанно, однако они и создаются (более или менее продуманно) и в этом отношении различаются между собой в зависимости от степени их теоретической

³ В теории семантических локализаций распространенность ПМ на разных уровнях языковой структуры объясняется в первую очередь взаимодействием протолокализации (представленной в выражениях со значением пространственной локализации) и постулированного *принципа надкатегориальной локализации* (имеющего психическую основу в рефлексе когнитивной ориентации [10], общего для различных семантических категорий (напр., пространства, времени, принадлежности, сравнения и др.), в которых выражение этого принципа осуществляется в большей или меньшей степени по образцу пространственных выражений (протолокализация) как наиболее полное его проявление. Объяснения различных семантических отношений как локализаций разного уровня отвлеченности могут применяться (в качестве конструктора) и там, где пространственная иконичность отсутствует, напр. в объяснении механизма функционирования глагольных времен в славянских языках, содержания отдельных семантических категорий (напр., определенность/неопределенность как локализация семантического содержания языкового высказывания или его части «внутри» или «за пределами» ментального опыта участника или участников в общении), функционирования дейктических элементов, порядка слов и актуального членения предложения и т. д.

обоснованности, наиболее полно представленной в локалистских теориях падежей или в современных когнитивных теориях метафор. В большинстве же случаев метаязыковые ПМ, будучи лишь намеками или косвенными подтверждениями теории ПМ, являются терминами паралокалистского или криптолокалистского содержания, в зависимости от степени сознательной ориентации автора термина на какую-нибудь из локалистских теорий падежей или на какую-нибудь другую теорию ПМ.

6. Критерий степени сознательного выбора терминологического решения, отчасти проходящий по нечеткой границе между языковыми и метаязыковыми пространственными метафорами, имеет эпистемологическое значение, будучи соотношенным с вопросом о роли интуиции в словотворчестве и, в частности, в терминотворчестве. Лингвистические работы по интуиции в подавляющем большинстве посвящены попыткам обосновать решения разного рода частных лингвистических проблем (в современной лингвистике это чаще всего проблемы, связанные с теорией порождающей грамматики и с языковой компетенцией). Однако проблематика интуиции в языке нуждается в более широкой теоретической разработке, которая бы сделала возможным не только создание целостной теории интуиции в языке, но и выход за пределы логического анализа языка в той степени, в какой сущность языка не поддается рациональным и дискурсивным объяснениям⁴.

7. Распространенность ПМ в повседневном и в научном языке объясняется рядом причин, начиная с нейрофизиологических и кончая, условно, географическими, причем, конечно, центральное место принадлежит лингвистическим объяснениям (включая сюда, в частности, общее направление развития полисемии от конкретных к абстрактным значениям и склонность раз употребленной метафоры индуцировать в том же тексте употребление других ей категориально родственных метафор). К краткому обзору возможных причин распространенности ПМ, изложенному в другом месте, см. [11; 13; 14], здесь добавляем гипотезу о пространственных метафорах как результате словотворчества представителей различных языковых этноколлективов, выведенного из их интуиции о закономерностях окружающего их мира, проявления которого они склонны видеть как варианты одной и той же сущности, а именно как локализации разных степеней отвлеченности, и поэтому облекать их в пространственные метафоры.

8. В языкознании вопрос об интуиции неоднократно выдвигался, например, в связи с эстетической функцией языка (Б. Кроче), языковой компетен-

⁴ Здесь можно провести параллель не только с интуитивизмом в философии, но и с интуиционизмом как направлением в математике и логике, признающим главным и единственным критерием правомерности методов и результатов этих наук их интуитивную убедительность, см. [1, 221], [8, 1758–1759].

цией (Н. Хомский), герменевтикой (Э. Итконен), изучением иностранных языков (Ф. Малиж) и другими вопросами, см. [8]. На понятие интуиции, хотя и молчаливо, опираются лингвистические концепции эмпатии, прагматических пресуппозиций, импликатур, некоторых постулатов успешных речевых актов (учет знаний и коммуникативных ожиданий адресата) и т. д. В конечном итоге все «повреждения» речевой формы — фонетические (напр., отступления от произносительной нормы), морфологические (напр., усеченные формы), синтаксические (эллипсис, парцелляции и т. п.), дискурсные (дефектность речевой ситуации, напр. общение с незнакомым собеседником в темноте и проч.) более-менее восполняются не только данными предварительного опыта о неполно представленном целом речевой ситуации, но также — хотя бы в некоторой степени — интуитивно приобретенными знаниями об этой ситуации см. [3, 190]. Множество примеров в пользу такой точки зрения можно найти в ситуациях, когда у человека, слушающего на незнакомом или малознакомом иностранном языке песни, поэзию, проповедь (напр., т. н. *ангельский язык*, [3 191], пьесы, глоссолалии и т. п., при достаточно сильной интенции и эмпатии степень понимания содержания как целого значительно превосходит непонимание отдельных его частей. Когнитивные ситуации, опирающиеся на интуицию, воплотились в русском языке в таких фразеологизмах, как *понимать с полуслова, без слов понятно, быть настроенным на один лад с кем-нибудь, быть на одной волне с кем-нибудь* и т. п., или просвечивают во внутренней форме слова, как, например, в сербском языке, в котором в одном и том же этимологическом ряду со словами когнитивной семантики *словити* (рус. *слыть*), *прословити* (рус. *промолвить*) *слушати* (рус. *слышать*) находится и *слутити* (рус. *иметь неясные знания, которые трудно обосновать; предугадывать; предчувствовать*)⁵.

Единственная языковая функция, получившая прочное теоретическое интуитивистское обоснование (в работах Б. Кроче, К. Фосслера и некоторых представителей его школы, а также некоторых представителей неолингвистического направления), — это функция эстетическая. Связи интуиции с другими языковыми функциями исследованы фрагментарно и разрозненно, что относится также к референциальной и метаязыковой функциям, непосредственно относящимся к вопросу о метафорах в трехмерном пространстве языкознания.

9. В философии проблемам интуиции отводилось больше внимания, чем в языкознании. Интуиция как особый тип познания вместе с чувственным

⁵ Таким образом, в отличие от русской трехчленной модели, связанной с концептом 'Слово' [7, 247], для сербского языка характерна четырехчленная модель: (1) *словити*, (2) *слушати*, (3) *словити* (рус. *слыть*) и (4) *слутити*.

познанием, памятью, воображением и мышлением (в формах понятий, суждений и заключений) является центральным понятием интуитивистского направления в философии (и интуиционистского направления в связи с математикой и логикой), будучи и до оформления этого направления А. Бергсоном включенной в учения ряда философов, как, например, Аристотеля, Декарта, Локка, Лейбница, Спинозы, индийских философов (начиная со 2-го века н. э.) и других философов восточной и западной цивилизации. Хотя в понятие интуиции не вкладывается всегда одно и то же содержание, интуиции, как правило, отводится более высокий статус по сравнению с другими типами познания [15, 345–347].

В русской философии «зародыши учений о знании как непосредственном постижении самой действительности восходят к славянофилам И. Киреевскому и А. Хомякову» [3, 139], получив наиболее развитую форму в учении Н. О. Лосского [3], у которого интуиция является краеугольным камнем его гносеологии и философской системы в целом, будучи одновременно составной частью его философии персонализма и теории мира как органического целого. По словам Н. О. Лосского, «Интуитивизм [...] есть учение о том, что познаваемый предмет, даже и в случае знания о внешнем мире, вступает в сознание познающего индивидуума в *подлиннике* самолично и потому познается так, как он существует, независимо от акта познания. Словом *интуиция* обозначаю это *непосредственное видение, непосредственное созерцание* предмета познающим субъектом» [3, 137]. Н. О. Лосский там же подчеркивает, что в его теории интуиция не означает (хотя и не исключает) иррациональности, видения конкретной нераздельной целостности бытия, а также «не означает мышления, *перескакивающего через посредствующие звенья*, протекающие в области подсознательного, руководимого тактом, озарением, гениальной догадкой и т. п.»

10. Типы познания, в общих чертах, согласно критериям степени опосредованности познания и степени его вербализованности (восходя от более опосредованных и вербализованных типов к типам, у которых эти признаки представлены слабее или вообще могут отсутствовать), могут являться *внешней, посредственной вербализацией* (писание и чтение, язык жестов и проч.); *внешней устной вербализацией* (говорение и слушание); *внутренней вербализацией* (мышление, включающее внутреннюю речь или ее элементы); *невербальным дискретным мышлением* (напр., математическое мышление); *чувственным познанием* и, наконец, *интуитивным познанием* как наиболее непосредственным, полным и цельным типом познания, более других подходящим и для познания объектов, имеющих размытые границы. Вместе с тем интуиция — сильно персонализированный тип познания, требующий высокоразвитой способности эмпатии, обеспечивающей иден-

тификацию субъекта познания с его объектом. Благодаря тому факту, что все элементы и части универсума, в сущности, являются частями одного целого, достаточно сильное проявление такого чувства и восприятия мира, так же как и интенции субъекта познания эмпатически «вжиться» в объект, стирает границу между субъектом и объектом, делая из объекта наблюдения объект своеобразного самонаблюдения, точнее интроспекции.

11. Будучи проявлением подчеркнуто личного отношения, интуитивное познание, можно предположить, характеризуется категориальными признаками симпатии, гетеропатии (паропатии или антипатии), апатии и т. п., сопровождающими и другие виды познания и в некоторой степени обуславливающими качество познания. Более сильное проявление признака интуитивной симпатии, хотя бы в одностороннем порядке, обеспечивает в принципе более высокое качество интуитивного познания, и наоборот (вплоть до таких случаев, о которых говорим *плохая интуиция, ошибка интуиции, подвела интуиция* и т. п.). Этим же объясняется и большая степень взаимопонимания между эмоционально близкими людьми даже тогда, когда для этого нет опоры в достаточно продолжительном опыте⁶.

В сочетаниях интуиции с другими типами познания она в одних случаях может иметь сопровождающую, в других — главенствующую роль, возрастающую по мере отсутствия опоры на какой-нибудь другой тип познания. Дети, например, меньше, чем взрослые, могут опираться на память и вербализованное дискурсивное мышление, вследствие чего они более ориентированы на интуитивное познание, подобно представителям культур с низким уровнем вербализованного дискурсивного мышления или подобно тому, как взрослые при встрече с незнакомой ситуацией, которую некогда обдумывать, также поневоле прибегают к интуитивным решениям, и т. п.

12. В рассмотрении вопроса о возникновении и распространении ПМ в языке (и, в частности, в языкознании) особое значение приобретает интуиция как основа речевого творчества, имеющая место прежде всего в словопроизводстве и речепроизводстве. В бросающейся в глаза развитости систем ПМ в естественных языках вряд ли можно видеть результат дискурсивных сознательных поисков наиболее подходящих выражений для обо-

⁶ Содержание приведенных здесь терминов, очевидно, отличается от того, которое им придается в повседневной жизни, напр. под симпатией здесь имеется в виду разновидность чувственной интуиции, т. е. чувство гармонии, вызванной внутренней аналогией между субъектом и объектом познания (одушевленного или неодушевленного), что может иметь значение для вопроса о форме, степени и качестве положительного или отрицательного воздействия объекта познания на субъект познания. Помимо интуиции чувственной и интеллектуальной в речи проявляются и мистическая интуиция (напр., в молитве как вербализованном общении с Богом).

значения непространственных отношений. Более вероятным представляется видеть в этих выражениях плоды интуитивной метафорической вербализации преимущественно интуитивного познания мира в различных языковых этноколлективах. Предполагаемая интуитивная основа словопроизводства в той степени, в какой ее существование является реальным, относится и к сфере терминотворчества, в частности лингвистического, где продуманное создание терминов не является редким, хотя и не исключает роли интуиции в этом процессе.

С лингвистической точки зрения интерес может представлять выделение в рамках интеллектуальной интуиции *интуиции номинации* как интуитивного установления аналогического отношения между новым содержанием и чем-то уже известным, название которого по этой причине используется (целиком или частично) как наиболее соответствующее для номинации нового содержания⁷. С этой точки зрения в распространенности ПМ в различных языках можно усматривать языковое подтверждение интуиции представителей данных языковых этноколлективов о ПМ как в ряде случаев наиболее соответствующем способе номинации одного из принципов окружающего и исполняющего их мира.

Поскольку интуитивные познания в основе своей обычно недискурсивны (согласно некоторым мнениям, они вообще недискурсивны), их воплощение в высказывании должно пройти процесс дискурсивизации — наиболее короткий в наиболее сжатых высказываниях (напр., междометия, вокативные, императивные и вообще одночленные предложения и т.п.). В этом отношении интуитивное познание ярче воплощается в слове, чем в высказывании, имеющем форму сложного предложения или сверхфразового единства (что, правда, противоречит бахтинской концепции слова как аббревиатуры высказывания). Будучи минимальной единицей, которая может быть высказыванием или частью высказывания, включая однофонемные морфемы (напр., *О!*), слово является наиболее сжатой вербализацией интуитивного опыта, речевым ступком интуитивного познания⁸.

Помимо словотворчества и речетворчества как результата установления в первую очередь интуитивной связи между знаниями, имеющимися в (язы-

⁷ Ср. «Интуитивное чувство сходства играет огромную роль в практическом мышлении, определяющем поведение человека, и оно не может не отразиться в повседневной речи. В этом заключен неизбежный и неиссякаемый источник метафоры „в быту“», см. [2, 8].

Теория внутренних аналогий между внешне отдаленными феноменами разработана выдающимся сербским математиком, философом и писателем М. Петровичем в его феноменологии переноса, см. [4].

⁸ Вероятно, наряду с другими причинами, и этим отчасти объясняется центральная роль слова в филологических традициях древних цивилизаций.

ковом) опыте, и их выражений, с новыми содержаниями как проявлениями той же сущности (как целого) на уровне слова или высказывания языковая интуиция налицо и в различных случаях осуществления успешного общения вопреки формальной неполноте или неправильности дискурса, но ее динамические механизмы пока известны лишь в общих чертах (см. выше, п. 8).



Почти полная замкнутость языкознания, так же как, более или менее, и других наук, в рамках эмпирических, каузальных и дискурсивных доказательств имеет свою цену, и это наиболее наглядно проявляется в объяснительных ограничениях такого подхода. Признание за интуицией статуса, не только равноправного с другими типами (вербализованного) познания в повседневной жизни и в науке, но и специального эпистемологического статуса (вопреки невозможности проверки интуитивных доказательств традиционными средствами), так же как и особого значения, которое интуиция имеет в речевом творчестве, сделало бы возможным в понимании и объяснении языковых феноменов перешагнуть из трехмерного пространства языка и языкознания в ту их сферу, за волшебным зеркалом рациональной рефлексии, в которой царят некоторые другие, еще недостаточно известные нам законы или витают призраки недоказанных гипотез.

Литература

1. *Философский энциклопедический словарь*. Ред. коллегия: С. С. Аверинцев и др. 2 изд. М., Советская энциклопедия, 1989.
2. *Арутюнова Н. Д.* Метафора и дискурс // *Теория метафоры*: Сборник. Вступ. ст. и сост. Н. Д. Арутюновой; Общ. ред. Н. Д. Арутюновой и М. А. Журинской. М., Прогресс, 1990, с. 5—33.
3. *Лосский Н. О.* Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция / Сост. А. П. Поляков; Подгот. текста и примеч. Р. К. Медведевой. М., Республика, 1995.
4. *Петровић М.* Метафоре и алегорије. — Београд: Српска књижевна задруга, 1967.
5. *Пипер П.* Хронотоп текста као функционално-семантичка категорија српскохрватског језика // *Научни састанак слависта у Вукове дане*, 20/2, 1991, с. 23—31.

6. Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры. Опыт исследования. М., Языки русской культуры, 1997.
7. Степанов Ю. С. Язык и метод: К современной философии языка. М., Языки русской культуры, 1998.
8. *The Encyclopedia of Language and Linguistics*. Vol. 1–10. — Editor-in-chief R. E. Asher. — Oxford — New York — Seoul — Tokyo: Pergamon Press, 1994.
9. Klikovac L. Naučna argumentacija je putovanje i druge metafore. — Сборник Матице српске за филологију и лингвистику, XXXV/2, 1992, с. 179–185.
10. *The Orienting Reflex in Humans*. — H. D. Kimmel, E. H. van Olst, J. F. Oriebeke (eds.). — Hillsdale: Erlbaum, 1979.
11. Piper P. Zamenički prilozi (gramatički status i semantički tipovi). — Novi Sad: Institut za strane jezike i književnosti, 1983.
12. Piper P. O psixolingvističkim osnovama opozicije «unutra/spolja» kao mogućnom konstitutivnom faktoru sistema semantičkih kategorija // Godišnjak Saveza društava za primenjenu lingvistiku Jugoslavije, Sarajevo, 7–8, 1984, s. 223–231.
13. Piper P. Language in space and space in language. // Yugoslav General Linguistics. — Selected, edited, and introduced by Milorad Radovanović. — Amsterdam: John Benjamins, 1988, pp. 241–263.
14. Piper P. Jezik i prostor. — Beograd: Čigoja — XX vek, 1997.
15. Reese W. L. Dictionary of Philosophy and Religion: Eastern and Western Thought. — New and enlarged edition. — New Jersey: Humanities Press, 1996.



На стыке ритуала и языка: комплексная мотивация в семантической эволюции

Все динамические процессы в социальной жизни организованы таким образом, что самые значительные события в жизни человечества происходят (или, по крайней мере, зарождаются) в «пограничных» областях, на стыках интересов различных индивидов, групп, государств, идеологий и т. п. И эта тенденция отнюдь не ограничивается жизнью человеческого сообщества. Можно без особого преувеличения говорить о том, что *вся* знаковая жизнь природы рождается в непрерывных процессах перекраивания границ между различными системами, и «текучесть» содержательной стороны знака напрямую связана с постоянной изменчивостью этих границ.

В этом общем знаковом потоке находятся и процессы взаимодействия между различными научными дисциплинами. И здесь также, разумеется, важнейшую роль в рождении нового знания играют исследования междисциплинарного характера. Что касается языкознания, то здесь, помимо давних связей с психологией и математикой, можно отметить относительно свежую тенденцию к сближению с биологическими дисциплинами. К числу пионеров в этом направлении, бесспорно, относится Ю. С. Степанов, который в своей «Семиотике» [Степанов 1971] первым из лингвистов оценил достижения этологии и, определив надлежащее место явлению биологического ритуала в общем потоке знакообразования, открыл новую грань в понимании проблемы глоттогенеза. Ниже мы попытаемся показать, какие перспективы для решения некоторых лингвистических проблем могут открыться в пути, начало которому положено исследовательской деятельностью Ю. С. Степанова.

В самом широком понимании ритуал может быть представлен как проявление знакового поведения, наблюдающееся у целого класса самоорганизующихся систем: от сообществ животных до различных форм социальной жизни человека. Как на биологическом, так и на культурном уровне ритуал предстает в качестве инструмента, посредством которого его носитель создает, структурирует и поддерживает (обороняет) свое жизненное пространство, «космос». То есть одна из важнейших функций ритуала может

быть охарактеризована как *регулирующая*, или *упорядочивающая*. Результирующим продуктом этой функции является *граница «своего» мира* (линия обороны), находящая в человеческой культуре различные воплощения, что в языковых фактах отражается главным образом в виде «ограды» (см. ниже). Такое понимание ритуала приложимо ко всем стадиям его биологического и культурного генезиса.

Простейшая (базовая, или прототипическая) схема коммуникативного взаимодействия устроена по принципу регулирующего контура и состоит из двух типов ритуалов, которые можно обобщенно охарактеризовать как «угрожающая демонстрация» и «умиротворение». Ритуалам первого типа было предreshено сыграть более заметную роль в человеческой культуре, поскольку они становились своего рода боевыми знаменами и одновременно символами, «именами» конкурирующих социальных групп, создававшимися на базе боевых кличей¹.

Важно подчеркнуть, что одной из главных особенностей ритуала (главным образом это касается ритуала угрожающей демонстрации) является его функциональная амбивалентность, которая обусловлена исходно заданной на уровне межгрупповых взаимодействий одновременной его направленностью к двум противоположным адресатам: «своему» и «чужому». В соответствии с этими направлениями в пределах знаковой функции ритуала, согласно К. Лоренцу, выделяются его базовые функциональные (= семантические) параметры: 1) сплочение ограниченного числа особей одного вида в единое социальное целое (координирующая, или связующе-объединяющая, функция, обращенность к «своему» адресату); 2) обособление этого целого от внешней среды (защитная, или охранно-оборонительная, функция, обращенность к «чужому» адресату).

В естественных условиях ритуальное поведение запускается в ограниченном наборе стандартных ситуаций, структурные параметры которых и определяют фоновое содержание ритуальных знаков. Исходный фон здесь задают ситуации конфликтного столкновения, т. е. как раз те ситуации, в которых эволюция и вырабатывает первичные формы ритуализованного поведения. Схема процесса протекания таких ситуаций имеет довольно простую циклическую организацию, которую в самых общих чертах можно представить в следующем виде: охранное наблюдение за границами территории при вторжении «чужого» переходит в оборону и/или изгнание, завершающееся торжеством победителя и возвращением к обыденному охранному наблюдению.

¹ Более подробно и обоснованно затрагиваемая здесь проблема представлена в [Монич 2000]. Характерно, что предлагаемая нами в отмеченной работе схема эволюционной трансформации ритуальных символов в языковые существенно перекликается с гипотезой В. И. Абаева, согласно которой первые слова человеческого языка могли быть только «символами нарекающих коллективов» [Абаев 1993].

нию. Высокая частотность таких ситуаций и их первостепенная жизненная значимость выдвигают связанные с ними ментальные репрезентации на передний план, вследствие чего психическая организация индивидов в целом структурируется в соответствии с доминирующими в этих ситуациях схемами. Наиболее общий уровень организации таких схем ранее был назван нами «*психосемантической матрицей*» [Монич 2000: 84–85]. Это одно из ключевых понятий нашей концепции, так как оно является своего рода мостом между семиотическими процессами, обуславливающими категориализацию воспринимаемых организмом явлений внешнего мира, и собственно семантическими явлениями, фиксируемыми в конкретном языковом материале.

В двух словах наиболее обобщенный уровень организации информации в соответствии с психосемантической матрицей можно описать следующим образом: в бессознательных процессах, протекающих в психике индивида, вся поступающая информация распределяется по трем зонам — это «свое», «чужое» и «пограничное» пространства. «Свое» пространство представляет собой круг, который находится в непрерывном охранно-оборонительном вращении. Амбивалентный ритуал-клятва («священные узы» и «угроза-проклятие») локализован одновременно в центре и на границах круга, т. е. в линии, вычерчиваемой вращением. Это и есть наиболее общие контуры психосемантической матрицы. Реальность существования подобной схемы, как нам кажется, подтверждается тем, что в самых разных культурах и в самое разное время стабильно продуцируются одинаковым образом организованные (в соответствии со структурами матрицы) мифологические и языковые картины мира. Данному наиболее генерализованному уровню подчинены более конкретные типы структурных связей, самые существенные из которых мы и пытаемся представить в настоящей статье. Однако следует сразу оговориться, что под генерализацией мы здесь понимаем отнюдь не целенаправленную деятельность обобщающей мысли, а спонтанный процесс укладывания информации в исходно заданные рамки, т. е. психосемантическая матрица рассматривается прежде всего как врожденный, существующий а priori организующий принцип.

Ранее нами был проведен анализ материала словаря Ю. Покорного [Рокоту 1959] на предмет соотносимости семантики праиндоевропейских омонимичных групп с семантическими параметрами ритуала. Этот анализ дал результаты, оказавшиеся практически в полном соответствии с теоретическими ожиданиями (более подробно см. [Монич 2000: 90–95]). Вкратце характеризуя отмеченное соответствие, можно остановиться на следующих моментах. Наиболее доминирующие семантические темы индоевропейской омонимии, представленные с приблизительно равной частотностью в при-

мерно 60% омонимичных форм, насчитывающих более трех значений, отражают три типа реалий: 1) действия, нацеленные на разрушение целостности объекта, — бить рубить, колоть ранить, рвать; 2) действия, объединяемые в словаре Ю. Покорного по признаку сгибания, — вертеть(ся), гнуть(ся) наклонять, связывать плести и т. п.; 3) звукоподражания, среди которых преобладают действия, производимые артикуляционным аппаратом, — рычать, реветь, мычать, говорить, звать и т. п. В данных семантических темах представлены как раз те поведенческие реалии, которые отчетливо выделяются на фоне общего восприятия динамики конфликтного взаимодействия своей аффективной броскостью и наибольшей биологической значимостью, т. е. экстралингвистические данные, основанные на хорошо известных психологических закономерностях, здесь соответствуют данным, полученным в ходе статистического анализа языкового материала. В следующих по частотности темах (особенно отчетливо это проявляется с четвертой по шестую) без особого труда распознаются формулировки, отражающие функциональную направленность действий, представленных в первых трех темах: 4) защищать(ся), оборонять(ся), беречь, хранить, покрывать, помогать, покровительствовать и т. п. (около 50%); 5) требовать, добиваться, захватывать, грабить, гнать, преследовать и т. п. (около 35%); 6) обманывать, лгать, быть хитрым, коварным, извращенным, поврежденным или испорченным и т. п. (около 30%); 7) внимательно наблюдать, думать, понимать, быть осторожным и т. п. (около 25%). С учетом седьмой темы, отражающей охранное наблюдение, вычерчивается очерченный выше общий план ситуации конфликтного взаимодействия. Регулярная уживаемость отмеченных семантических тем в рамках единой звуковой формы предстает вполне закономерной, если принять во внимание тот факт, что звуковой язык является метазнаковой системой по отношению к более эволюционно ранним системам коммуникации. То есть звуковая форма кодирует как сами невербальные знаки вместе с их денотатами (1–3 темы), так и их сигнификативные значения (4–7 и ряд других тем), и, таким образом, в ее семантической структуре оказывается как минимум на один содержательный план больше, чем у соотносимого с ней невербального знака.

Наблюдения над особенностями семантических трансформаций в различных группах слов при сопоставлении с матричными структурами ритуала позволяют сделать некоторые выводы относительно закономерностей семантического развития и семантической эволюции в целом. Прежде всего следует отметить, что семантика архаичных слов опирается на *сложные мотивационные комплексы*, и между словами одного этимологического гнезда обычно отсутствуют те гипотетические *линейные* связи, которые нередко постулируются в этимологических исследованиях, опирающихся на метод по-

строения цепочек семантических переходов. Вместо этого различные сочетания смыслов, представленные в родственных словах, зачастую образуют отношения *взаимодополнительности* между отдельными значимыми участками целостного понятийного поля². Вследствие этого, на наш взгляд, при исследовании семантических отношений (особенно это касается архаичной лексики) следовало бы почаще воздерживаться от поиска «первичности» тех или иных значений, вместо чего было бы полезнее перемещать акцент на способы «существования» значений в каких-либо единых концептуальных рамках, а также на способы, которыми достигается выделенность, «броскость» того или иного элемента смысла на фоне других значений.

Как вытекает из специфики функционирования ритуальных символов, первичные имена социальных групп так или иначе должны были находиться под действием упомянутой выше психосемантической матрицы, производящей глубинную переработку и упорядочивание более конкретизированных комплексов представлений. Ниже мы попытаемся очертить некоторые вероятные типы семантических отношений в связи с отмеченной комплексностью, синкретичностью базовой семантики.

В переходе от ритуала к языку отчетливо выделимо промежуточное звено, которое мы обозначаем термином «клятва» (подробнее см. [Монич 2000: 72–74]). В двух словах этот переход может быть представлен в следующем виде: исходную сетку семантических связей и отношений, о чем уже было сказано выше, задает психосемантическая матрица, формально выраженная ритуализованным поведением. Последнее, в свою очередь, «отряжает» в зарождающуюся языковую систему своего звукового представителя — клятву, где она, освобождаясь от аффекта наличной ситуации и теряя в конкурирующем взаимодействии с другими клятвами связь со своим исходным носителем, т. е. определенной социальной группой, становится полноценным условным знаком. Поскольку в референтную сферу ритуального знака входит весь мир представляемого им коллектива со всеми его сложными иерархическими и пространственно-временными структурами, то это позволяет с известной осторожностью предположить, что психосемантическая матрица, подобно тому как каждая клетка содержит в себе информацию о строении всего многоклеточного организма, заключает в себе все базовые типы семантических связей, отображающихся как в динамике языкового развития, так и в синхронном функционировании языкового знака.

² В указанном аспекте в выигрышном свете предстает концепция «круговорота общения», предлагаемая Ю. С. Степановым [Степанов 1997: 246 и далее], где определяемые трехфазовой моделью действия смыслы не выводятся друг из друга (ср., например, *славить* — *слышать* — *слыть*), а онтологически заданы самой ситуацией коммуникативного взаимодействия.

Отметим наиболее характерные типы связей в семантике, непосредственно соотносимой с циклом прототипического конфликтного взаимодействия. Начнем со связей, отражающих динамику последнего.

1. В ментальных структурах, содержащих информацию о цикле прототипического взаимодействия, выделим ряд относительно целостных сцен, последовательно сменяющих друг друга в процессе развития ситуации. По нашим наблюдениям, один из самых часто встречающихся типов семантической связи основан именно на *смежности сцен ментальной репрезентации*. Наиболее часто встречается чередование таких сцен, как: 1) охранный наблюдение, 2) оборона территории, 3) изгнание и преследование противника. Несколько реже к ним добавляется четвертая сцена — победное торжество, — обычно имплицитированная в семантике 'расти, увеличиваться' и 'широкий, просторный, свободный'³. Например — в рамках контекстуальных реализаций одного слова, — лат. *agere* 'гнать, вести' (сцена 3) и 'соблюдать, сохранять' (сцена 1), англ. *charge* 'обвинение, атака' (сцена 2) и 'ответственность, забота, опека' (сцена 1), др.-инд. *váratī* 'покрывает, окружает, прячет' (сцена 1) и 'предотвращает, сдерживает, отражает, подавляет' (сцена 2, отчасти 3), др.-греч. (гом.) *ἐρυσθαι* 'оберегать' (сцена 1) и 'спасать, защищаться, отражать' (сцена 2) и — в диахронии и генетических связях — и.-е. **g^hen-*: латышск. *ganīt* 'стеречь, пасти' (сцена 1), *dzēni dzīt* 'защищать' (сцена 2), др.-исл. *gunnr* 'борьба' (сцена 2), русск. *гнать* (сцена 3), и.-е. **uer-*: др.-греч. (ион.) *ῥερε* 'забота, беспокойство, тревожность; охрана, защита' (сцена 1 и отчасти 2), др.-в.-н. *wara* 'внимательность, предусмотрительность, надзор, попечение' (сцена 1), *wart* 'сторож, стражник, охранник' (сцена 1), *weri* 'оборона, сопротивление, защита' (сцена 2), лит. *varýti* 'гнать' (сцена 3), гот. *wrikan* 'преследовать' (сцена 3), англос. *wrecan* 'теснить, гнать, мстить' (сцена 3), др.-инд. *várjati* 'поворачивает, отвращает, срывает, отстраняет, отбрасывает' (сцены 2–3), *várdhati/várdhate* 'поднимает дух, вдохновляет; растет, усиливается' (акцентируется преимущественно сцена 4), *vrdhá* 'покровитель, помощь, поощрение, поклонение; радующий(ся)' (сцены 2 и 4), *urú-* 'широкий, далекий, просторный; нестесненный, свободный, безопасный, надежный' (семантика свободного пространства связана с преодолением опасности, со сценой 4; в деривации от *urú-* к *urúsyati* 'ищет безопасное

³ Победное торжество, будучи отчетливо выраженным символическим актом, закономерно оказывался более частым в цепях, имеющих тенденцию к отражению различных ступеней знаковости (см. ниже, п. 4), как, например, в др.-греч. *veixéō* 'бранить, порицать; браниться, сориться' и *uixē* 'победа'. Здесь, как видно, налицо и смежность сцен, предстающих в данном случае как действие и его результат, но сцена борьбы здесь с явно выраженным знаковым характером, так как здесь акцентируется не прямая агрессия, а ее символическое замещение вербальными угрозами и оскорблениями.

пространство, скрывается, ускользает, избегает; защищает, оберегает, спасает' наблюдается возврат к сценам 1–2; ср. также вьетн. *bác* 'опровергать, опротестовывать; отвергать, отклонять' и 'просторный, обширный, широкий').

2. Следующий тип связи мы сочли целесообразным охарактеризовать как *связь между фоном и фигурой*. Например, латышск. *dzēni, dzīt* 'защищать', др.-исл. *ginnr* 'борьба' (русск. *оборона, бороться*) отражают фон, тогда как ирл. *gonim* 'раню', др.-инд. *hánti* 'бьет' (др.-исл. *beria* 'бить', лат. *ferire* 'бить, рубить, колоть') фиксируют на этом фоне конкретный элемент действия. То же самое наблюдается в таких контекстуальных реализациях лат. *agere*, как 'метать (копье)', 'бить, прорубаться' при основном значении 'гнать, вести'.

Как можно заметить, выделенные типы семантических связей способны как проявляться совместно, чередуясь друг с другом в рамках контекстуальных реализаций одного слова — например, конкретное действие третьей сцены может обобщенно символизировать четвертую (ср. англ. *to beat* 'бить' и 'побеждать, превосходить', также русск. *бить, побить (рекорд)*), — так и образовывать диахронические деривационные нити, позволяющие объединять родственные факты различных языков.

Отмеченными путями, по нашему мнению, должно было осуществляться разграничение конкретного и общего в семантике знака на начальных этапах языкового развития. И — вследствие того, что ритуальные символы являлись представителями социальных групп — это должно было протекать в процессах конкурентного распределения зон референции в общей семантической сфере: как в деривационных процессах между знаками производными и производными, так и между формально отличными, гетерогенными знаками. В этих процессах постепенно снималась исходная референтная неопределенность слова. И происходило это благодаря тому, что к динамическому речевому контексту добавлялся особый статический контекст — языковая система, т. е. семантические возможности каждого знака сужались и определялись его местом в окружении других знаков.

Таким образом, суммируя сказанное, можно подчеркнуть, что в контексте данного анализа выражение «тип семантической связи» равнозначно выражению «способ разграничения или формирования значений».

3. Попытаемся охарактеризовать процессы, дробящие общие ментальные репрезентации на отдельные участки и тем самым создающие базу для их распределения между различными знаками. По нашему мнению, наиболее удобный и экономный критерий для классификации типов семантических связей представляют собой *сами* ментальные процессы, активизирующиеся при порождении и интерпретации знака. Рассмотрим с этой позиции

два выделенных выше типа связи. Первый — смежность сцен — представляет собой обзор панорамы события в динамике временного развертывания, своего рода прокручивание кадров картины. Второй — выделение тех или иных фигур на общем фоне — сопряжен с пространственным планом, с процессами сужения-расширения фокуса внимания, в которых тот или иной участок сцены либо подается крупным планом, либо слабо различим на общем фоне, т. е. наблюдатель как бы то приближается, то удаляется от наблюдаемого события. В согласии с этими процессами говорящий, желая обратить внимание на нужный фрагмент, выбирает соответствующие знаки и конструирует необходимый контекст.

Рассмотренные типы фиксации значения имеют определенное сходство с методами описания, практикуемыми в тех областях лингвистики, которые соприкасаются с логикой и философией. Наблюдатель здесь всегда отстранен от анализируемой ситуации, о чем само за себя говорит даваемое в рамках этой традиции определение значения как «связи между ситуацией высказывания и описываемой ситуацией» [Mulder 1995: 477]. Типы семантических связей, о которых пойдет речь ниже, в большей мере соответствуют методам описания когнитивной традиции, где наблюдатель как бы погружается в ситуацию и оценивает ее значения, вживаясь в образ какого-либо из участников. Такая позиция закономерно перемещает акцент с прагматики высказывания на общую прагматику формирующего семантические структуры взаимодействия. Поэтому значение здесь определяется прежде всего через сами процессы формирования концептуальной системы, с учетом сенсорного и моторного опыта и «полным охватом физического, социального, культурного и лингвистического контекста» [Langacker 1995: 108].

Таким образом, подобно тому как в науке при исследовании одного и того же предмета рождаются различные парадигмы, ниже можно будет видеть, какие отличные от предыдущих значения рождаются при оценке тех же реалий, но с другой позиции.

4. Следующий тип динамической связи, пожалуй, наиболее важен для различения в коммуникации и вместе с тем наиболее сложен с точки зрения интерпретации его семиозиса. Данный тип связи отражает саму ступенчатость знаковости и проявляется в сочетании значений *символического и биологически релевантного характера*, границы между которыми весьма условны и во многом зависят от позиции наблюдателя. Процесс проявления ступеней знаковости в аспекте перехода от биологической ритуализации к культурной детально описан в [Степанов 1998: 133–138], где автор обозначает его как «от жеста к акту» или «жест вместо акта». Семантическая игра между символическостью и биологической релевантностью действия

наблюдается во множестве случаев. Приведем лишь некоторые примеры: русск. *зарить* 'пристально смотреть' и 'заинтересовать, раздражать, возбуждать', славянские рефлексy и.-е. **kar-*: болг. *коря́* 'порицаю', *ка́рам* 'погоняю, привожу в движение, управляю движением', сербохорв. *kār* 'укор, наказание' и 'забота', др.-русск. *корь* 'оскорбление, брань', польск. *kara* 'кара', русск. *кара*, *корить*, словен. *koriti* 'наказывать', польск. *korzyć* 'унижать, смирять', русск. *покорять*, *укорять*, словен. *karati* 'порицать, делать выговор', чешск. *karati* 'упрекать, укорять'; в тюркских языках: кум. *ур-* 'бить' и 'наказывать', кирг. *ур-* 'бить' и 'проклинать'; во вьетнамском: *trùng* 'угрожающе таращить глаза' и 'наказывать, налагать взыскания' (в другой тональности — *trùng* фиксируется значение 'примета, предзнаменование, признак'), *trón* 'вращать глазами в гневе' и 'рывок, бросок' и т. д. Можно заметить, что в подобных фактах семантика колеблется от фиксации знакового поведенческого акта к фиксации менее знакового действия или, как в русск. *зарить*, психического состояния, с которыми соотнесен данный знак. Данный тип связи специфичен тем, что в нем смежность сцен сочетается с подчеркиванием *знаковой фигуры*, т. е. смежность проходит именно по элементам фигуры, значимой для наблюдателя. Это, как мы уже отмечали в пункте 3, обусловлено тем, что наблюдатель здесь как бы погружается в ситуацию и описывает ее изнутри, принимая позицию какого-либо из участников. Зрительно осязаемый фон здесь практически вытесняется эмоциональным фоном.

5. Предыдущий тип связи, или дифференциации значений, можно отнести к отражению реалий, различаемых на уровне бытовой коммуникации и тем самым — близких или даже тождественных реалиям общебиологического характера. На более высоких ступенях ритуализации появляются особые коннотации. Отображающие их типы семантических связей можно было бы выделить в особый тип и обобщенно охарактеризовать как «*ритуальный акт — его социально значимый результат*».

Возьмем для примера следующие факты: англ. *ban* 'запрет; проклятие, анафема', *banner* 'знамя, стяг', *banns* 'оглашение имен, вступающих в брак', нем. *Bann* 'изгнание, объявление вне закона; обаяние, чары', *Banner* 'знамя'. В связях этих слов видно, что символическое вербально-ритуальное действие, замещая соответствующие физические (например, удары, толчки или преследование бегущего), является перформативом. Это же действие закрепляет социальное установление, освящая брачный союз, а также способно оказывать магическое воздействие. Символичность действия утрированно подчеркнута значением 'знамя', промаркированным в деривации суффиксом деятеля/орудия действия. Бесспорно, как знамя, так и вербальный акт являются яркими фигурами на общем фоне, но во что выльется вер-

бальный акт — в проклятие-атаку или в торжественное провозглашение, — уже прямо зависит от социального положения адресата («свой», «враг» или «преступник»). Таким образом, интерпретация здесь прямо зависит от типа социальных отношений между коммуникантами. Здесь мы выходим на *символические зоны психосемантической матрицы*.

В качестве особых подтипов в рассматриваемом типе связей можно было бы выделить ряд специфических характеристик динамики и структуры социальных отношений. Относительно нейтральный в оценочном плане подтип можно назвать *перформативом «ограждения»*, установления ограничительной линии. Сюда можно было бы отнести такие факты, как др.-греч. *ὄρκος* 'клятва' и *ἔρκος* 'ограда, преграда', англ. *rail* 'поперечина, перила, ограда' при *to rail* 'ругать(ся), бранить(ся)' и 'обносить оградой', англ. *mark* 'знак, метка' и 'граница, предел; рубеж, пограничная область', сербохорв. *застава* 'знамя' при рус. *застава* 'сторожевой пограничный пост' и т.п. Здесь намечается переход от действий конфликтной динамики к различным воплощениям и осмыслениям их результата.

6. Клятва, как было отмечено выше, одновременно локализована как на границе, так и в центре «своего» круга. На этом противопоставлении-единстве завязана амбивалентная семантическая игра, в ходе которой возникают базовые культурные концепты. В целом, рассматриваемые ниже связи можно охарактеризовать как *связи, отражающие ступенчатый рост обобщения опыта в понятиях*. Здесь процессы генерализации протекают в трех магистральных направлениях, определяемых зонами психосемантической матрицы (см. выше).

Наиболее характерными для пограничной зоны являются понятия, связанные с представлениями о судьбе, законе, власти, а также о способах и средствах существования. Как уже было отмечено выше, на фоне общего восприятия конфликтного взаимодействия наиболее ярко окрашенную аффектом фигуру вырисовывают три типа реалий, которые к тому же, составляют наиболее частотные темы праиндоевропейской омонимии. Это (1) угрожающе-предостерегающий звуковой сигнал (рык, боевой клич, брань, вербальная угроза и т.п.), (2) жесты и действия нападения (удар, бросок и т.п.) и (3) действия уклонения (отвод удара, уворачивание и т.п.). Именно от этого прототипического «треугольника», по нашему мнению, берут начало три разные ветви концептуализации, приводящие к становлению концептов «Судьба», «Закон», «Жизнь» и других соприкасающихся с ними понятий.

При акцентировании внимания на вербальном акте, спроецированном в потусторонний мир, рождаются коннотации предустановленности миропорядка, предопределенности жизненного пути свыше, обреченности смерт-

ного человека, свойственные, например, в рамках концептуальной сферы закона — др.-инд. *vratá-* ‘закон, воля, приказ; обряд, ритуал, обет’; в рамках сферы судьбы — лат. *fātum* (< *fāri* ‘говорить, вещать, прорицать’) или русск. *рок*. (при *речь, реку*). Употребления термина *vratá-* в значениях типа ‘исполнение ритуальной службы’, ‘жизнь в соответствии с данным обетом’, ‘образ жизни’ и т. п., а также наличие лат. *fās* ‘естественное право, высший закон, веление неба’ (того же корня, что и *fātum*) говорят о смежности и, видимо, исходной недифференцированности понятийных сфер судьбы и закона. Как нетрудно заметить, коннотации закона возникают при фокусировании внимания на деятеле, тогда как концептуализация понятийной сферы судьбы протекает при смещении фокуса в сторону объекта, претерпевающего действие.

Перенос акцента на второй тип действий, приобретающих в человеческой культуре благодаря использованию различных орудий такие смыслы, как «рубить», «колоть», «резать» и т. п., приводит в процессе абстрагирования к образованию понятия «делить». Результат действия последнего, распространяясь на относительно протяженные этапы жизненного пути, осмысливается в конечном счете как «доля, участь». Здесь, в отличие от божественного «рока», преобладают коннотации зависимости от рамок социальной структуры, задающей границы деятельности и поведения, что закономерно порождает и понятия, связанные с правовой практикой, например др.-греч. *νόμος* ‘обычай, закон’ (< *νέμω* ‘разделять, распределять, давать’). Употребления *νέμω* в значениях ‘пасти, кормить’ (мотивации охраны, заботы), ‘пользоваться, владеть’, ‘населять, обитать, жить’ и, соответственно, *νόμος* в значениях ‘пастбище’, ‘страна, область, округ’ и ‘местопребывание’, так же как и в случае с др.-инд. *vratá-*, указывают на смежность сфер судьбы и закона, только здесь обе сферы обобщаются в более нейтральных в оценочном плане понятия.

Последние наиболее отчетливо проявляются в третьем пути концептуализации, где акцент практически полностью смещается на сам субъект действия. Здесь уже и понятие судьбы, в отличие от предыдущих случаев, ставится в зависимость от правильности поведения своего субъекта, или, грубо — но в соответствии с данной семантической спецификой — говоря, от его способности «изворачиваться», «вертеться» (ср. др.-исл. *urdr*, др.-англ. *wyrd*, др.-в.-н. *wurt* ‘судьба’). То есть концепт «Судьба» здесь мотивируется универсальным способом сохранения, основанном на следовании биологическим скриптам, обеспечивающим выживание. Разумеется, этим мотивом не исчерпываются все нити в рассматриваемом пути становления концепта «Судьба». Его можно расценивать как «лейтмотив», отражающий представление о том, что существует возможность, правильно *извернувшись* в ответ

на поворот судьбы, сориентировавшись в ее превратности, воспользоваться шансом, с чем, вероятно, отчасти связаны коннотации судьбы-удачи. В подобных случаях могут обнаруживаться и иные коннотации из того же ритуального комплекса, как, например, мотив «чреватости» судьбы в имени венецкой богини *Vrotah* (от того же и.-е. **uer-t-*, от которого образованы отмеченные выше германские слова со значением 'судьба'), олицетворявшей изменчивость и превратность и в то же время покровительствовавшей родам, рождению; также, вероятно, мотивы прядения нитей судьбы (ср. русск. *веретено* и т. д.) и назначенного времени, срока (ср. русск. *время* < и.-е. **uer-t-*).

Чаше же всего (видимо, без учета упомянутых коннотаций) в ходе осмысления обобщенных в образе вращения охранно-оборонительных реакций рождаются такие генерализованные понятия, как «жизнь», «поведение», «деятельность» и т. п. (ср. др.-инд. *vartate* 'вертится; существует, проживает; случается', *vṛttā-* 'деятельность, поведение; случай, событие', *vṛtti-* 'поворот; поведение, деятельность, работа; нрав, привычка, образ мыслей; средства к существованию', *vartani-* 'колея, путь, дорога'; также лат. *agere* в значении 'жить, пребывать', русск. *обитать*, связанное, вероятно, с *вить* через *витать*, и т. д.).

7. При смещении фокуса внимания за пределы круга «своего» пространства рядом с пограничной зоной рождаются понятия, фиксирующие представления о чужом, враждебном мире или об отклоняющемся, не соответствующем норме поведении. Это отражается, например, в таких фактах, как др.-инд. *vrjinā-* 'кривой, фальшивый' и *vrjanī-* 'плетень, загон', а также 'зло, коварство', др.-русс. *ворь* 'забор, ограда' и 'преступник, мошенник', др.-русс. *врагъ*, др.-исл. *vargr* 'волк, изгой, преступник', др.-в.-н. *war(a)g*, англос. *wearg* 'грабитель, преступник' (при *wiergan* 'проклинать'), др.-прусс. *wargs* 'плохой', лит. *vařgas* 'нужда, беда, бедствие' и т. д. Вероятно, подобные понятия исходно мотивируются как 'отвергаемое, отвращаемое' или 'то, чего надлежит избегать, остерегаться'.

8. При акцентировании внутренней зоны «своего» пространства в противоположность динамической конфликтной семантике, рождающейся в зоне границы, фиксируются смыслы, связанные в большей мере с идеями устойчивости, стабильности. Все же, поскольку идеи границы и центра взаимно обратимы и постоянно переходят друг в друга, и здесь также наблюдается некоторая двойственность. Однако она уже изрядно оттеснена на задний план и поэтому не является особой помехой в отграничении понятий, тяготеющих к умиротворяющей, всесвязующей идее центра, от нагруженных коннотациями конфликтных столкновений понятий, рождающихся при акцентировании пограничной зоны.

Прототипические мотивации со всей очевидностью обнаруживаются в таких фактах, где концептуализация внутренних отношений завязана на «ударе» и «клятве», например лат. *pāx* 'мир, мирный договор; покой, спокойствие; содействие, благоволение' (< *pangere* 'вбивать, вколачивать; слагать, сочинять'), др.-русс. *вѣра* 'доверие' и 'присяга, клятва' (ср. употребления нем. *schwören (auf)* и англ. *to swear (by)* в значении 'свято, безгранично верить'), др.-исл. *Vār* 'богиня верной клятвы', *vārar* 'обет верности', англос. *wær* 'договор, верность, защита', ср.-в.-н. *wāre* 'договор, согласие, мир', лат. *vērus*, др.-ирл. *fír* 'истинный, правдивый' и т. д.

9. Своего рода статические рамки для затронутых выше типов связи задает хорошо известная разнovidность метонимии, охарактеризованная в свое время М. М. Покровским [Покровский 1959: 41–43], где по типу «сосуд — содержимое» референция слова колеблется от границы места обитания до его населения (ср. др.-инд. *vrjāna-* 'ограда, граница; область; община, население, народ', як. *улу:*с 'общество, обширный родовой союз; волость' и т. д.). В данный тип связи естественным образом вплетаются метафорические отношения между устройством социального мира и устройством «мира» строительного материала, хорошо известные из работ Й. Трира (см., например, [Trier 1941]). Нередко на этом фоне возникает также такая существенная характеристика пространства, как его центр, обычно локализующийся в возвышенном (= лучшем) месте, что, по всей видимости, обуславливалось реалиями выбора наиболее стратегически выгодного для устройства поселения места (ср. ср.-ирл. *ferias* 'стержень, веретено; земляной вал', норв. *hov* 'возвышенность, небольшой холм' при др.-исл. *hof* 'храм', англос. *hof* 'изгородь, дом, храм', др.-в.-н. *hof* 'замкнутое пространство вокруг дома, двор, имущество' и *houf* 'куча, масса, толпа, вооруженный отряд', корейск. [Н, обозначающее ряд таких понятий, как 'родословная, род, фамилия, поколение', 'отряд, команда, подразделение; ряды, шеренга, строй', 'возвышение, помост, подмостки', 'большой, крупный, великий', 'стебель, палка, стержень']).

10. К числу древнейших связей метафорического характера, вероятно, следует отнести параллели между аффективными отражениями конфликтного взаимодействия и атмосферного явления грозы, проявление которых допустимо видеть, например, в таких фактах, как др.-инд. *ṣīkate* 'брызжет' и '(быстро) передвигается', *ṣīkara* 'мелкий дождь', *ṣīkayati* 'сердится', 'говорит (угрожающе или повелевающе)' и 'светит', возможно, в генетических связях таких слов, как др.-в.-н. *swerian* 'клясться, говорить определенно', др.-в.-н. *giswerc* 'грозовые тучи', др.-инд. *svárati* 'звучит, раздается; воспекает, восхваляет; сияет', *svargá-* 'небо', *svaráyati* (с типичной ритуальной амбивалентностью) 'придирается, ругает, порицает; воспекает, восхваляет',

также англос. *sweorg* 'темнота, облако, туман', нидерл. *zwerk* 'туча, облачное небо', русск. *свара* 'ссора, вражда, перебранка', словен. *svariti* 'порицать, предостерегать' и т. д.

Приведенные выше наблюдения, как нам кажется, позволяют, хотя и с известной осторожностью, говорить о том, что все типичные семантические темы ритуала и возникающие в результате их взаимодействия связи *запрограммированы* в психосемантической матрице подобно тому, как хранится и в дальнейшем развитии материализуется в различные ткани и органы генетическая информация, исходно сосредоточенная в одной клетке. В процессе развития организма это осуществляется по так называемой «открытой программе», в которой содержится информация — сразу перевода на язык лингвистики — о *необходимом контекстуальном окружении*, при попадании в которое клеткам предписано образовывать строго определенный орган (= значение) (см. [Луренц 1998: 300–303]). Из биологии развития можно было бы привести ряд поразительных по точности совпадения в плане функций-значений образуемых органов и условий их возникновения параллелей семантической деривации в языках, однако это уже выходит за рамки настоящей статьи.

Используя понятие открытой программы, например, можно говорить о том, что концепт «Судьба» формируется при соблюдении следующих условий: 1) должна быть акцентирована матричная зона границы, или, иначе говоря, стадия перехода от одного жизненного цикла к другому (в том числе, разумеется, к смерти, что видно по коннотациям таких слов, как *рок*, *фатальный*); 2) к моменту формирования концепта «Судьба» должен оформиться в качестве его базы ряд менее генерализованных понятий типа «Необходимость», «Неизбежность», «Обязательство (долг)» и т. п.; 3) в фокусе внимания должна оказаться именно «претерпевающая» сторона, вынужденная обороняться или подчиняться давлению обстоятельств, так как в противном случае при учете своих особых условий оформятся такие концепты, как «Закон», «Власть» или «Свобода»⁴; 4) все это должно произойти не при отстраненном наблюдении за другими лицами, а при рефлексии над событиями собственной биографии или, по меньшей мере, при сопереживании другим (проекции другого в себя), так как только это может придать необходимую эмоциональную окраску, отличающую концепт «Судьба» от нейтрального концепта «Жизнь».

⁴ Для становления концепта «Свобода», например, по нашему мнению, необходимы представления о «своей» власти за пределами «огороженного пространства», т. е. представления о «расширенном и безопасном пространстве», что в свою очередь говорит об акцентировании прототипической сцены «благополучного исхода», «победного торжества».

Разумеется, в качестве примера мы дали весьма грубый и приблизительный очерк, учитывающий к тому же только «ментальные» условия разрешения матричной информации в концепт «Судьба».

Завершая статью, еще раз подчеркнем, что, как можно заключить из специфики затронутых здесь семантических связей, обычно практикуемые в этимологии методы построения линейных цепочек, нацеленных на объяснение переходов от одного смысла к другому, но отражающих скорее ход рефлексии самого исследователя, часто оказываются недостаточно объяснительными, а порой и вводящими в заблуждение. По нашему мнению, только опора на матричные представления, комплексно отражающие базовый жизненный опыт, может служить альтернативой отмеченным методам. Какие бы цепочки смысловых связей ни возникали в рефлексиирующем сознании, на уровне синкретизма архаичных представлений они все равно обречены на вращение в кругу жестко связанного комплекса значимостей и ценностей первобытного общества, где «жизнь» не только в понятийном, но и в онтологическом плане невозможна без круга своей общины и ее обустроенного жизненного пространства. В данном кругу акцентирование одного смысла не исключает остальные, а лишь отводит их в этот момент на *периферию*. Поэтому, как нам кажется, хотя бы частичное освобождение этимологии от «рока» вечного блуждания в цепях линейных смысловых переходов может наступить лишь при условии замены линейной мотивации комплексной.

Литература

Абаев В. И.

1993 О происхождении языка // *Язык в океане языков*. Новосибирск, 1993.

Лоренц К.

1998 *Оборотная сторона зеркала*. М., 1998.

Монич Ю. В.

2000 Амбивалентные функции ритуала в эволюции языковых систем // *Вопросы языкознания*, 2000, № 6.

Покровский М. М.

1959 *Избранные работы по языкознанию*. М., 1959.

Степанов Ю. С.

1971 *Семиотика*. М., 1971.

1997 *Словарь русской культуры*. М., 1997.

1998 *Язык и метод*. М., 1998.

Langacker R.

- 1995 Cognitive grammar // Handbook of pragmatics. Amsterdam; Philadelphia, 1995.

Mulder De W.

- 1995 Situation semantics // Handbook of pragmatics. Amsterdam; Philadelphia, 1995.

Pokorny J.

- 1959 Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1—2. Bern; München, 1959—1965.

Trier J.

- 1941 *First*. Über die Stellung des Zauns im Denken der Vorzeit // Nachrichten der Akad. der Wissenschaften zu Göttingen. Philol.-hist. Klasse. Neue Folge. Fachgruppe IV (= Nachrichten aus der Neueren Philologie und Literaturwissenschaft. 3 Bd. 1940—1941). Göttingen, 1941.

Г. Е. Крейдлин

Риторика позы

1. Введение

Сегодня, когда человеческое общество стоит на пороге кардинальной смены научной и культурной парадигм, вызванной сближением различных точек зрения на природу мышления, на способы знаковой концептуализации мира и содержание коммуникативных процессов, перед исследователями открываются новые возможности для анализа конкретных механизмов построения языковых и культурных текстов. Границы, установленные частными науками, постепенно сглаживаются, элементы теоретического и методологического аппаратов начинают проникать из одной системы в другую, и на смену узкопрофессиональным взглядам приходит междисциплинарный, интегральный подход, связывающий и взаимодополняющий различные научные парадигмы.

Соотношение различных пространств бытия знака и бытия мысли всегда были в центре научных интересов Ю. С. Степанова. Изучение языковых и неязыковых значений, анализ референтных свойств знаковых выражений и способов семиотизации, проблема выбора знаковых единиц разных типов по их соответствию предмету мысли, намерениям говорящего и его знаниям о мире и собеседнике — вот та точка, в которой смыкаются многие исследовательские поиски ученого.

В устном коммуникативном акте наряду с языковыми принимают участие разнообразные неязыковые знаки, такие как жесты рук, знаки-касания, позы, выражения лица или взгляды. Люди общаются между собой не только с помощью слов, но и посредством телесных поз и движений. Каждый из атрибутов тела, будь то форма, размер, положение или рост, при определенных условиях выражает или передает некоторое значение. Даже неисполнение жеста, когда, например, человек сдерживает проявление на лице своих подлинных чувств радости или горя — мы часто говорим в подобных случаях, что *По лицу человека ничего не видно* или что *У него непроницаемое лицо*, — может оказаться столь же значимым, как смех или слезы. Возраст,

род занятий, жизненные радости и невзгоды, чувства и мысли — все оставляет следы на человеческом теле и находит свое отражение в невербальном поведении человека. Тело, его движения и действия, по словам замечательного отечественного историка и философа М. Я. Гефтера, «являются таким же историческим документом, свидетельствующим о прошлом, как дневник или грамота».

Невербальные единицы и их последовательности могут действовать как вместе с языковыми знаками, усиливая, уточняя или вовсе изменяя значения посылаемых языковых сообщений, так и выступать независимо от языка, заменяя отдельные его слова или высказывания. Рассматриваемые ниже невербальные знаковые единицы обоих видов я буду называть далее для краткости просто жестами. Таким образом, жесты представляют собой полнозначные единицы, основная идея и функция которых — семиотическая, а именно выражать значение и передавать его партнеру по данному коммуникативному акту. В этом отношении жест в максимальной степени подобен речевому слову или фразе в диалоге. Коммуникативная и интерактивная значимость жеста, будь то изображение действия или события, выражение эмоций или передача информации, поддержание беседы или подчеркивание в ней каких-то моментов, является весьма высокой.

По данным первых английских памятников, где встречается слово *gesture* 'жест', оно имело в тот период времени значение 'то, как человек стоит или ходит'. А. Кендон отмечает, что позднее, в британских трактатах, относящихся к риторике, *gesture* применялось только для обозначения правильного невербального (телесного) риторического поведения оратора во время произнесения речей, то есть относилось к тому, как оратор должен использовать возможности своего тела, чтобы воздействовать на слушателей [Кендон 1981, с. 150—151]. Такое словоупотребление предполагает специфические значимые движения рук, ног, корпуса или лица — иначе, все то, что мы сегодня имеем в виду под термином *жест*.

Из невербальных модальностей самыми важными в общении всегда считались жесты рук (их иногда даже называют *собственно жесты*), касания, выражения лица, голосовые качества, а также использование личного и социального пространства. Что же касается поз, то они по сей день находятся на периферии внимания специалистов в области невербальной семиотики. Несмотря на высокую культурную и психологическую значимость поз как инструмента коммуникации, этот вид знаков остается без должного внимания. Так, нам до сих пор мало известно о том, какое значение имеет та или иная поза в данном жестовом языке, почему и когда она встречается и каковы ее функции в разного рода интерактивных процессах. Между тем позы как элементы телесной жизни человека играют исключительно важную

роль в коммуникации. Они не только являются самостоятельным фактором, регулирующим и преобразующим общение: в коммуникативном акте позы редко встречаются изолированно от других знаков, а тесно взаимодействуют с ними. При этом образуются своеобразные знаковые комплексы, синтез и анализ которых являются предметом невербальной семиотики — интегральной науки, изучающей невербальное поведение и взаимодействие людей; см. Крейдлин 2000а.

В настоящей работе ставится задача обсудить некоторые риторические аспекты, связанные с позами¹. Сразу же оговорюсь: слово *поза* используется нами *sensu stricto*, то есть как единица, обозначающая знак. Это значение мы будем далее обозначать *поза 2* (эквивалент английского *posture*). Лексема *поза 2* (аналог английского слова *pose* или словосочетания *body position*) противопоставлена лексеме *поза 1*, выражающей биологически обусловленное статичное положение тела, его размещение в физическом пространстве. *Поза 1* как естественная конфигурация тела присутствует в любой ситуации и знаком не является: человек не *принимает позу 1* для выражения какого-то смысла, он в ней *находится, пребывает* и может изменить позу, если захочет. По общей конфигурации тела и его частей, по их ориентации можно многое узнать о коммуникативном акте и его участниках. Иными словами, поза как антропоморфное положение тела (*поза 1*) в конкретном акте общения может восприниматься и интерпретироваться как семантически нагруженная знаковая единица (*поза 2*). В этом случае положение тела полностью контролируется субъектом: человек принимает ту или иную позу сознательно, приспособляя ее для выражения и передачи нужного ему смысла.

Обычная сфера применения *позы 2* — это выражение межличностных и социальных связей между участниками коммуникации. Использование в коммуникативном акте конкретной позы, относящейся к русскому языку тела, зависит от разнообразных экстралингвистических факторов — пола, возраста, социального положения, принадлежности к той или иной этнической, религиозной, социальной или профессиональной группе, физического и психического состояния участников и пр. Тем не менее существуют общие принципы, лежащие в основе использования русских поз и жестов, независимо от значений указанных кинетических параметров. Ниже мы покажем действие этих принципов на примере образования невербальных риторических фигур.

¹ Коммуникативным, прежде всего этическим и этикетным, смыслом и функциям, относящимся к невербальным знакам, посвящена наша статья [Крейдлин 2000б] (в печати).

2. Позы. Риторика, этика и этикет

Значение и употребление некоторых жестов может быть охарактеризовано в терминах риторических, большей частью тропических, фигур, таких как метафора, метонимия, синекдоха, гиперболa, ирония и т. п. Жесты могут выражать и передавать как буквальное значение, то есть значение, раскрываемое в словарном толковании жеста, так и небуквальное, которое, будучи семантическим производным (дериватом) от исходного, «вычисляется» с использованием механизма и правил семантического вывода, когнитивных операций или сценариев, типовых метафорических схем.

Подобно тому как это происходит в диалоге на естественном языке, поверхностное оформление смысла с помощью жестового кода всегда осуществляется отправителем сообщения, реализующим свои коммуникативные намерения и учитывающим различные условия и характер коммуникации. Адресат, чтобы понять полученное им высказывание, должен выявить пропозициональные установки и интенции своего партнера и понять смысл сказанного. И также подобно тому, как это бывает в диалоге на естественном языке, понимание особенно затруднено, когда адресат сталкивается с **художественными невербальными средствами**, прежде всего с **жестовыми тропами**. Жесты с тропической организацией значения, использующиеся в акте коммуникации в риторических целях, мы называем **риторическими** (соответственно выделяются и **риторические позы**).

У риторических жестов есть свои функции в коммуникативном акте: помимо передачи точного значения, они участвуют в обработке исполнения сообщения. Риторические жесты используются, например, в процессе становления жестово-интонационной структуры коммуникативного акта. По удачному замечанию, сделанному Н. Дрэй и Д. МакНилом [Дрэй, МакНил 1990], они «связаны с процессом определения коммуникативных контрастов», который весьма существен для производства и понимания речи. При использовании риторических жестов акцент со слова переносится на визуальный образ, который это слово порождает; слова должны быть **увидены** — в этом тезисе кроется существо ораторского приема употребления риторического жеста. Выступающий может перевоплотиться в чудовище или дикого зверя с целью внушить аудитории страх или ужас (риторический прием, называемый *бестиялизацией*), он может превратиться в смиренного грешника, чтобы выразить идеи набожности и повиновения, — подобные телесные метаморфозы призваны выразить словесно невыразимое, и в этом можно видеть цель и назначение риторических жестов.

Примером риторических иллюстративных жестов, относящихся к основам ораторской техники, типичной, например, для Франции XVIII века, служат особые символические позы и движения, иконически отображаю-

щие некоторые стороны подобного перевоплощения. См. следующую рекомендацию: «Когда ты говоришь о жестокой вещи или гневно, сожми кулак и потряси рукой. Когда ты говоришь о вещах небесных или божественных, возведи очи и укажи пальцем на небо <... > Когда ты говоришь о святой вещи или набожно, воздешь руки» (М. Баксанделл, цит. по [Ямпольский 1994, с. 30]). Эмблематический комплекс «жест + поза» кулак Дантона² (форма «человек стоит смиренно, рука вытянута вперед, пальцы сжаты в кулаке») тоже имел риторическое употребление: искусный оратор, подавляя речь, стоял, плотно сжимал губы и, выкатив глаза, устремлял кулак в сторону аудитории. Это сочетание позы и жеста является очевидной невербальной метафорой, выражающей, помимо прямого значения, установку на отталкивание и одновременно на вторжение, проникновение в аудиторию, а также то, что все эти действия происходят в актуальном настоящем времени.

В России тоже большое значение придавалось умению жестикулировать во время публичного выступления. Так, М. М. Сперанский, известный политик и государственный деятель России XIX века, считал, что рука оратора должна действовать, когда нужно дополнять и подчеркивать понятия, что хорошая ораторская речь сочетается с жестами, передающими эмоциональное состояние говорящего и подчеркивающими внутреннюю убедительность произносимого. К. С. Станиславский неоднократно повторял актерам, чтобы те обращали много внимания на роль жеста и мимики в своей игре на сцене; он призывал их при словесном общении «говорить не столько уху, сколько глазам».

Бытовые позы как важнейшая разновидность обыденных жестов скрывают в себе разнообразные оценки социального и психологического (морального, этического, эстетического) характера. Например, принимая конкретную позу, один из участников коммуникации может дать другому понять, что **сидеть на стуле** в присутствии третьего лица, значительно старше по возрасту, крайне неприлично, и подобным способом вынудить партнера подняться. Я имею в виду употребление здесь жестикулирующим **невербальной гиперболы** — риторической фигуры, передающей усиленную версию выражаемого значения. Адресант использует прием подражания, принимая позу, тождественную позе партнера, хотя сам считает данную позу неподобающей в данной ситуации.

Выбранная модель поведения не только служит непосредственной цели выражения значения, но и, так сказать, сверхцели — отразить намерение

² Названия жестов всех типов здесь и далее даются, как это принято в современной кинесике и невербальной семиотике, жирным шрифтом, форма жеста заключается в обычные двойные кавычки, а смысл жеста, как обычно, передается с помощью марровских кавычек.

жестикулирующего заставить партнера понять, что сидение на стуле неприлично. Адресат начинает осознавать неуместность своей позы, встает или как-то иначе меняет позу. Подобный способ невербального взаимодействия очень часто употребляется в ситуации, когда использование языка невозможно или, по меньшей мере, неуместно. Кроме того, по существующим этикетным нормам имитация жеста должна скрываться от третьих лиц; она допустима лишь при общении «лицом к лицу». Дублирование позы, однако, в нашем примере это не только гипербола, это также **невербальный акт иронии**, поскольку говорящий действует тут не как ребенок, которому просто нравится поза взрослого, и по этой причине он ее постоянно копирует. Жестикулирующий действует сознательно, с иронией обвиняя адресата. Прямое буквальное значение позы, таким образом, сосуществует в контексте с риторическим невербальным значением.

С помощью позы можно преувеличить степень заинтересованности в разговоре или, напротив, выразить чрезмерную усталость и нежелание продолжать беседу. Мы можем использовать **фигуру литоты**, которая также выделяет затрагивающие нас отдельные моменты или аспекты беседы. В процессе диалога человек активно пользуется **метафорой отклика**, выражая жестами заинтересованности (приближается к собеседнику, принимает более открытые позы, смотрит партнеру в глаза, часто кивает и т. п.) или незаинтересованность (отодвигается от партнера, поворачивает корпус и смотрит в сторону и др.). Таким невербальным поведением человек демонстрирует степень своего участия в разговоре и то, насколько она или он увлечены его темой.

Аллюзия — еще одна риторическая фигура, которая может быть выражена позой. В соответствии с определением, данным в работе [Кастельфранчи, Поджи 1998], невербальная аллюзия — это прием неявного невербального обозначения кого-то или чего-то без прямого упоминания объекта номинации, но позволяющий другому вывести путем умозаключения, что именно обозначается, и понять, почему посылающий сообщение не делает этого явным образом. Типичной для русской культуры комбинацией позы и жеста, содержащей аллюзию, является форма «слегка приподнявшись или вытягивая вверх корпус, указать головой вверх и вбок, глаза при этом смотрят тоже чуть вверх и вбок». Данная конфигурация означает непосредственно лишь, что «там есть кое-кто». Однако коннотация или оттенок аллюзии, стоящие за этой формой, позволяют заключить, что «этот кое-кто — весьма важное лицо, занимающее социально очень высокое положение, начальство, которое все знает, за всем следит и все контролирует». Подобная невербальная реализация метафоры верха (*up-metaphor* в терминах Джонсона и Лакова) открывает для адресата возможность осознать виртуальное присутствие в

ситуации третьего лица, так сказать высшего наблюдателя, и учесть это обстоятельство в своих будущих действиях.

Многие риторические употребления напрямую связаны с оценками, поддерживающимися в семантике поз. Из оценок, закодированных в повседневных позах, больше всего не повезло этическим и эстетическим — мне, во всяком случае, не известны какие-либо систематические исследования в этом направлении. Описаны формы и смыслы отдельных поз разных культур, проведены экспериментальные исследования, характеризующие эмоциональное состояние носителя позы, его физические и психические свойства, межличностные отношения между участниками коммуникации, установлены тождества, сходства и различия между позами разных культур, однако работ, в задачу которых входил бы детальный анализ этических и эстетических функций этого типа невербальных знаков, еще нет. Между тем настало время поставить вопрос о создании особой невербальной этики коммуникации и коммуникативных взаимоотношений, описать наиболее важные ее элементы и оценить степень свободы действий, которой одно тело обладает в отношении другого. Следует, в частности, задаться вопросом о том, выражается ли с помощью позы и если да, то как, например, стыд или скромность, необходимо выявить и описать наиболее характерные для данной культуры приличные и неприличные позы, касания, взгляды или мануальные жесты, подробно изучить допустимые этические квалификации и оценки пространства и времени коммуникации. Поскольку на базе этических и этикетных оценок возникают многие невербальные риторические употребления, описание этических и этикетных норм невербального поведения откроет дорогу для построения риторики поз и мануальных жестов.

Этика позы неразрывно связана с этикетом, а потому этические оценки распространяются на этикетные манеры. Составляют даже особые кодексы поведения человека в обществе, касающиеся положений тел, их квалификации и оценки. Вот один лишь простой пример. Если в комнату входит гостья, то по нормам европейской культуры — но не, например, мусульманской — сидящему мужчине, если тот не очень стар, болен и т. п., полагается встать, чтобы поприветствовать вошедшую, оказав ей уважение, познакомиться с ней (быть ей представленным) или просто уступить ей место. Такое поведение мужчин, однако, многими женщинами-феминистками на Западе рассматривается как проявление неравенства полов.

Примерно 50 лет тому назад американский антрополог Г. Хьюис предпринял пионерское исследование наиболее широко распространенных поз разных культур (см. [Хьюис 1955, Хьюис 1957]). В своей работе он опирался на многочисленные фотографии, рисунки и эскизы поз и их отдельных компонентов. В частности, он обнаружил, что любимая многими культурами

ми поза сидеть на стуле в действительности не является универсальной и что многие неевропейские культуры предпочитают иную сидячую позу, «сидеть на корточках» (ср. также японскую позу сидеть на татами). В некоторых из таких культур, добавим мы, знак сесть на стул может выступать в функции тропа, показывающего, что субъект или некто третий является иностранцем.

С анатомической точки зрения мировой репертуар знаков-поз относительно невелик, что, по-видимому, связано с небольшим общим числом антропоморфно допустимых позиций тела. Согласно подсчетам Г. Хьюиса (который, однако, совсем не учел, например, славянские культуры, ряд южноамериканских и др.), количество общепринятых бытовых поз по разным культурам где-то порядка тысячи. А если мы объединим алломорфные варианты в одну лексему, то у нас будет всего не более трехсот поз, распределенных по разным регионам и культурам, и каждая с уникальной формой и значением.

Каждая из мировых культур имеет свои стереотипные и ритуализованные социальные позы со своими оценками. Например, в русской культуре командные и сервильные позы считаются негативными с моральной точки зрения. Невербальные нормы лучше всего раскрываются в ритуальных и этикетных контекстах, однако кодирование норм позами меняется в соответствии с культурными принципами и согласуется с формальными требованиями, принятыми в данном обществе. Так, в европейских и североамериканской культурах человек обычно встает перед сидящим или стоящим партнером, особенно если тот старше по возрасту или социальному положению. Однако официант всегда стоит перед клиентом независимо от возраста и пола обоих лиц, продавец стоит перед покупателем, низший военный чин — перед высшим и т. п., и это положение тела является несомненным риторическим индикатором признания существующей в обществе иерархии и знаком уважения. В то же время на островах Фиджи и Тонга точно в таких же коммуникативных условиях человек занимает сидячее положение, что отражает принятые там социальные нормы. Индейцы витуто разговаривают, только сидя напротив друг друга, и никогда не вступают в общение стоя. Беседуя, они не смотрят один на другого, а смотрят в сторону на посторонние предметы, и такое невербальное поведение совершенно отлично от того, к которому мы привыкли.

Ритуал в значительной степени модифицирует семантику позы и ее отдельных элементов. Рассмотрим, например, свадебную церемонию в центральной части России. Одна из частей церемонии состоит в том, что жених и невеста должны посадить дерево. Между тем иногда пара не сажает дерево, а описывает посадку символически и аллегорически, участвуя в особом

танце. Посадка и выращивание дерева становятся невербальной метафорой установления и укрепления семейных уз.

В римском свадебном обряде сохранился след патриархального похищения: жена не должна входить в дом мужа сама, тот обязан внести ее в дом на руках, чтобы она не коснулась порога. Быть похищенным означает действовать не по своей воле, а чувствовать, что тебя кто-то или что-то ведет, и этот смысл передается метафорически позой и знаковым движением.

Подведу итог сказанному. Аналогично тому, как это происходит в естественном языке, выбор поверхностной реализации смысла с помощью жестового риторического кода каждый раз осуществляется с учетом коммуникативных намерений отправителя сообщения и имеющихся контекстных условий. Адресат, чтобы понять высказывание, должен эти намерения и установки партнера выявить. Изоморфизм или, скажем точнее, высокая степень сходства процессов вербального и невербального художественного оформления устного текста подчеркивает сходные черты в лексических знаках двух языков — естественного и жестового.

Литература

- Дрэй, МакНил 1990 — *Dray N. L., McNeil D. Gestures during discourse: the contextual structuring of thought // S. L. Tsohatzidas (ed.) Meaning and prototypes. Studies in linguistic categorization.* New York: Routledge, 1990, 465–487.
- Кастельфранчи, Поджи 1998 — *Castelfranchi C., Poggi I. La scienza dell'inganno.* Roma: NIS Carocci, 1998.
- Кендон 1981 — *Kendon A. Geography of gestures. Semiotica*, 37, № 1/2, 1981, 129–163.
- Крейдлин 2000а — *Крейдлин Г. Е. Невербальная семиотика в ее соотношении с вербальной. Автореферат на соискание ученой степени доктора филологических наук.* М., МГУ, 2000.
- Крейдлин 2000б — *Крейдлин Г. Е. Русские жесты и жестовые фразеологизмы: отражение наивной этики в невербальном и вербальном кодах // Логический анализ языка (под ред. Н. Д. Арутюновой).* М., 2000 (в печати).
- Хьюис 1955 — *Hewes G. H. World distribution of certain postural habits. American anthropologist*, 57, № 2, 1955, 231–244.
- Хьюис 1957 — *Hewes G. H. The anthropology of posture. Scientific American*, 196, № 2, 1957, 122–132.

Ямпольский 1994 — Ямпольский М. Б. Жест палача, оратора, актера // *Ad Marginem* '93. Ежегодник Лаборатории постклассических исследований Института философии РАН. М.: «Ad Marginem», 1994, 21—70.

Философия языка и непрямая референция

Конечно, было бы странно начинать текст, посвященный непрямой референции, со слова «конечно» — и даже не потому, что академическая традиция философии языка не предполагает, как правило, отступлений от повествовательной отстраненности, но скорее потому, что подобное перформативное начало должно, казалось бы, говорить о другом. . .

Уже здесь возникают трудности. В какой степени можно считать, что непрямая референция представляет собой уже тематизированную проблему? Или проблема как раз и заключается в ее непонятном статусе? Каким образом непрямую референцию можно (и нужно) обсуждать? Принимаемый по умолчанию способ рассмотрения предметности предписывает непосредственно схватить и описать искомое. Но как возможно прямо и непосредственно зафиксировать то, что как раз исключает прямое соотнесение? Ведь для точного отображения чего-то неопределенного, зыбкого и размытого потребовалось бы использовать не менее расплывчатые средства — не в том, разумеется, смысле, чтобы для живописного изображения облаков воспользоваться кисточкой из тумана: тут уместнее вести речь о технологии и технике. С другой стороны, применение косвенных указаний при всей своей тонкости и гибкости привело бы к нечеткости результатов, порождающих бесконечное множество интерпретаций. Интуитивная ясность избранного фокуса нашего мысленного взгляда начинает немедленно замутняться при первых же попытках тщательно с ней разобраться.

Характерно, что свойственное науке стремление к четким описаниям и, по возможности, однозначным объяснениям всех процессов и явлений превращается в философии языка (вслед за лингвистикой) в преимущественное внимание именно к прямой референции, не говоря уже о господстве соответствующих методов. Семантическое различение означаемого-означающего, бывшее истоком семиотики и образующее ее концептуальный центр¹, нацелено на обнаружение в первую очередь именно прямых связей и отношений между знаками и объектами различной природы. И даже допол-

¹ Ср.: Степанов Ю. С. Язык и метод. М., 1998.

нение денотации² коннотацией ничего по сути дела не меняет: добавочные значения, выражающие эмоциональное содержание, как бы прибавляются к основным³. Как только речь заходит об означивании, мы попадаем под неодолимый пресс дескриптивности со всеми вытекающими отсюда последствиями. Таким образом, восприятие и понимание языка оказывается сконцентрированным вокруг прямореференциальных его возможностей, при том что практически все косвенные и неявные остаются в тени.

Непрямой референции повезло в этом смысле даже меньше, чем молчанию, хотя и молчание трактуется, как правило, в качестве говорящего, сообщающего нечто. «Все мы знаем, как трудно понять, что „значит“ молчание. . . Часто бывает легче ощутить особенности молчания, почувствовать его эффект, чем объяснить, что же оно значит. Когда молчание тягостно, продолжительно или упорно, оно имеет определенный смысл, а иногда даже очень большой смысл. Однако оно редко поддается переводу в традиционном понимании этого слова. „Прямой“ смысл молчания всегда лишь вероятность, и часто даже не удается как следует определить эту вероятность. Когда же это удастся, то в большинстве случаев здесь помогает анализ референтной ситуации»⁴. Иными словами, если у каждого языкового знака должен быть свой референт (пусть даже и не один), то у отсутствующего знака — точнее, у знака отсутствия знаков — тоже должен быть свой, пусть и не прямо очевидный.

Классический и, пожалуй, самый известный случай непрямого референции — это метафора⁵, буквальное перенесение языковых значений, которое становится в некотором смысле модельным для всех случаев косвенного употребления слов. «По-видимому, нет необходимости особо подчеркивать тот факт, что среди литературных средств выразительности метасемеме отводится центральное место. . . Представить себе поэтическое сочинение без метафоры чрезвычайно трудно»⁶. Более того, практически невозможно найти область, где метафора бы отсутствовала: повседневная речь и научный трактат, философское эссе и юридический документ — везде обнаруживаются метафоры, хотя иногда, быть может, стершиеся, застывшие. Попытки достигнуть предельной точности и однозначности, избавившись от любых метафор, предпринимаемые чаще всего в связи с поиском чет-

² Тонкие различия между референцией и корреспонденцией, денотатом и экстенционалом и т. д. в данном случае не являются принципиальными.

³ См., например: Говердовский В. И. Коннотемная структура слова. Харьков, 1989.

⁴ Дюбуа Ж. Общая риторика / Дюбуа Ж., Пир Ф., Тринон А. и др. М., 1986. С. 233–234.

⁵ См.: Теория метафоры. М., 1990.

⁶ Дюбуа Ж. Общая риторика. . . С. 169.

кой формулировки законов — будь то законы социокультурные/юридические или природные/научные, — оказываются поэтому неуспешными. На каком-то уровне уточнений мы неизбежно сталкиваемся с принципиальной и неустрашимой неопределенностью наших неосознаваемых онтолого-гносеологических предпосылок и допущений, которая проявляется в том числе в виде глубинной метафоричности наших мировоззренческих суждений. С другой стороны, и метафора не может быть абсолютно произвольной — в любом случае необходима та или иная привязка к устойчивым ассоциативным полям и спектрам интерпретативных ожиданий, иначе текст рискует достичь сингулярно замкнутого, экзотерически не воспринимаемого состояния.

И вместе с тем, несмотря на все многообразие концепций, претендующих на истолкование метафоры, ее референция «осуществляется обычно через установление ее анафорической связи с прямой номинацией предмета»⁷. То есть даже метафора понимается через соотнесение с прямой референцией, через своего рода иерархическую суперпозицию различных прямых референций, когда эффект переноса достигается путем комбинирования и перекombинирования смещаемых друг относительно друга смысловых векторов.

Существует ли, однако, непрямая референция, которую без остатка нельзя было бы редуцировать каким бы то ни было образом к прямой?

Возможно, такую референцию олицетворяет символ? Действительно, символ как нерасчленимое единство предметного облика и многозначного смысла одновременно и представляет сам себя, и отсылает к чему-то другому, которое не просто обозначается, а включается в смысловую перспективу, в пределе бесконечную. «Подлинно символ есть начало *интеграции*. Здесь морфема преодолевает свой обособленный и отвлеченный смысл, становясь условным способом рассмотрения реального смысла. . . Символически понятый, термин есть уже не обозначение, а обнаружение, не указание на самого себя, а указание на другое. *Сюм-балло* — совместный бросок, столкновение, створение, сопряжение, совпадение, созачатие; неисчерпаемую градацию значений предлагает нам это греческое слово. Смысл их один: ничто не ограничено собой, не довлеет себе, не исчерпывается собою, но властно требует иного. . . »⁸ Тем не менее, кроме прямого референта знака-символа, символическая ситуация предполагает наличие более или менее устойчивой связи между символизируемым и символизирующим. Поэтому символ напоминает своего рода предметно воплощенную метафору, понятую в самом

⁷ Арутюнова Н. Д. Метафора // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 269.

⁸ Свасьян К. А. Проблема символа в современной философии. Ереван, 1980. С. 180.

широком смысле. И тем самым на достаточно высоких порядках рефлексии тоже оказывается сводимым к комплексным композициям прямых референций.

Может быть, стоило бы сначала разобраться с референцией как таковой, с этим странным процессом — результатом — состоянием — свойством соотношения/соотношения одного (выступающего как означающее, символизирующее...) с другим (означаемое, символизируемое...), имени с вещью. Само собой разумеется, реальность (таинственная и проблематичная⁹) вещей может быть весьма различна: от материальных объектов до идеальных концептов¹⁰, от логически возможных миров до миров мифических или художественных... «Репрезентация начинается с принципа, утверждающего, что знак и реальное начало эквивалентны (даже в том случае, если эта эквивалентность и утопична, то все же это является фундаментальной аксиомой). В общем, симуляция начинается с утопии, благодаря принципу эквивалентности, с радикального отрицания знака как ценности, с понимания знака как реверсии и с вынесения смертного приговора любой референции. В том случае, когда репрезентация пытается абсорбировать симуляцию, интерпретируя ее как фальшивую репрезентацию, симуляция включает в себя всю репрезентацию как единое целое, понимаемую как симулакрум. Важнейшим поворотным моментом является переход от знаков, которые скрывают нечто, к знакам, которые скрывают от нас тот факт, что они не означают ничего»¹¹. Так что референция, экстрагируемая во все более чистом и прямом виде, все сильнее истончается, превращаясь в собственную тень: даже при ближайшем рассмотрении зазор между вещью и ее именем не может уменьшиться.

В результате вырисовывается чрезвычайно навязчивая альтернатива: или, по знаковой формуле, «всякий знак отсылает к другому знаку»¹², а любой текст — к иному тексту, и тогда мы вынуждены безвыходно вращаться в этом символическом кругу; или каждый знак и каждый текст отсылают непременно к некоей более-менее известной, экстралингвистической, экстрасемиотической действительности, и тогда все опять-таки сводится в конечном счете к прямой референции.

Как возможна все-таки непрямая референция? Зачем она могла бы быть нужна?

Наверное, ответ на эти вопросы один и тот же. Если возможно балансировать между прямым указанием на конкретную предметность и беско-

⁹ См., например: Руднев В. Прочь от реальности. М., 2000.

¹⁰ Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. М., 1997.

¹¹ Бодриар Ж. Прецессия симулакра // *Silentium*, вып. 1. СПб., 1991. С. 207.

¹² Деррида Ж. О грамматологии. М., 2000. С. 163.

нечной регрессией символических отсылок и отсрочек, то в таком случае оказывается возможным косвенное, не прямое свидетельство о том, на что никаким иным образом взглянуть не удастся. Иначе говоря, не прямая референция должна не просто кивать в сторону чего-то иного, могущего быть выраженным также и прямо, но должна оставаться единственным способом намекнуть на недоступное схватыванию, на постоянно ускользающее. Ведь если мы можем нечто переформулировать, выразить прямо или косвенно, назвать или метафорически описать, локализовать непосредственным указанием или изобразить, то совершенно незачем изыскивать какие-то еще изощренные средства освоения.

Когда мудрец, изъясняющийся, по обыкновению, обиняками, изрекает, что, мол, если тебе на нечто указывают, то надо смотреть на указанное, а не на указующий перст или сам по себе жест указания, — это вовсе не универсальный рецепт всегда правильного действия (в конце концов описанная ситуация может быть образцом как раз того, как надо указывать) и не инвариантный алгоритм понимания происходящего (возможно, совершенный жест был сигналом для группы захвата, сидящей в засаде), равно как и не тривиальный пример демонстрации действительности остенсивного определения, базирующегося на все той же пресловутой прямой референции, и уж тем более не способ блеснуть метафорическими красотами стиля, а попытка обратить внимание на недостижимое прямым указанием.

Подобным образом устроены и «безумные речи» Чжуан-цзы. «Вся тьма вещей — словно раскинутая сеть, и нет в ней начала — в этом тоже заключалось искусство Пути древних. Чжуан Чжоу услышал об этих заветах и возлюбил их. В невнятных речах, сумасбродных словах, дерзновенных и непостижимых выражениях он давал себе волю, ничем себя не ограничивая, и не держался определенного взгляда на вещи. . . Посредством слов, „подобных перевертывающемуся кубку“, он следовал превращениям мира. . . Хотя писания его вычурны, дерзновенность их безобидна. Хотя речи его сумбурны, беспорядочность их доставляет удовольствие. В них таится неизбывная полнота смысла. . . И все же его правда соответствия переменам и постижения вещей безмерна и неуловима. Как она безбрежна, как темна! Невозможно ее исчерпать»¹³. Симптоматично, что повествование ведется от третьего лица, причем рассказчик не берется пересказывать изречения великого даоса и не излагает сухой протокольный отчет о проделанной тем работе. Наслаивание нарративных инстанций и очевидная метафорика мерцающих и переливающихся образов явно не являются самоцелью, однако тут нет еще и дзенских технологий, где коаны предназначены вызывать про-

¹³ Чжуан-цзы. Ле-цзы. М., 1995. С. 281–282.

светление. Тем не менее этот текст умудряется изящно говорить о чем-то таком, что иначе, по-видимому, в принципе невыразимо.

Если библейские притчи или мифологический эпос прочитывать и воспринимать то ли как художественный вымысел, то ли как историческое повествование, то ли как аллегорический пересказ реальных событий, то ли как набор иллюзорных обманов и добросовестных заблуждений, то ли как символическое описание ценностных императивов, то ли как клиническое свидетельство измененных состояний сознания, то ли как идеологически искаженное отображение общественных отношений, то ли как, наконец, просто образец цветистых метафор — тогда мы никогда не поймем, что же в них видели создатели и поклонники, не поймем их истины¹⁴. И вовсе не потому, что в Библии или мифе к языку и литературе еще что-то добавлено, а потому, что дело тут не в этом. Священное писание священо совсем не в силу каких бы то ни было особенностей использования лексики, стилистики, риторики или даже дискурса, но — постольку, поскольку доступными натуралистическими средствами повествует о недоступном супранатуралистическом, совершая очевидно невозможное действие. Божественное не ограничивается своим именем, равно как и именованием вообще.

Или возьмем стихи. Нельзя не согласиться с мнением ученого, что «назначение искусства как такового, как метода состоит в том, чтобы делать утверждаемые им интуитивные истины непреложными и убедительными», чтобы осуществлять «утверждение авторитета интуитивного суждения, „доказательство недоказуемого“»¹⁵, но искусство, безусловно, этой своей методологической функцией никоим образом не исчерпывается. «Сказка ложь, да в ней намек! / Добрым молодцам урок»¹⁶. Естественно, к морально-нравственному убеждению искусство тоже не сводится. Урок литературных произведений или изобразительных артефактов не может быть выражен краткими концептуальными тезисами. Недаром Лев Толстой в ответ на вопрос о смысле «Войны и мира» не без иронии предлагал воспроизвести весь роман слово в слово. Еще сильнее это относится к стихам. Стихи рождаются, если проза неуместна. Пресловутая неперебиваемость стихотворений возникает оттого же, отчего нельзя значимость стиха сложить из удачно подобранных рифм и ярких метафор. Пересказывать стихи бессмысленно. Значит, они тоже пытаются сказать нам о несказанном и несказуемом.

¹⁴ Ср.: Хюбнер К. Истина мифа. М., 1996.

¹⁵ Фейнберг Е. Л. Две культуры. Интуиция и логика в искусстве и науке. М., 1992. С. 131–132.

¹⁶ Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в 10-ти тт. Т. 4. М. — Л., 1950. С. 482.

Интересно, что одни из наиболее тонких и сложных взаимосвязей и взаимозависимостей между языком и миром выявляются, когда философия обращается к своему собственному языку, языку философии. «Философия несет в себе язык. Сочетание „язык философии“ должно поэтому звучать примерно как „свечение света“. Легко догадаться, что нечто подобное должно произойти и с „философией языка“. Нужны специальные операции по искусственному разграничению понятий, чтобы удержать эти две на вид — в их грамматической форме — такие разные темы от слияния друг с другом и с мыслью. . . Философия и есть язык»¹⁷. А язык философии наряду с лингвистическими включает также и нелингвистические действия. Начиная со времени своего возникновения философия никогда особенно не была очарована языком, хотя и была вынуждена часто его использовать. Достаточно вспомнить Диогена Синопского, чьи невербальные эскапады — житие в бочке, поиск человека днем с фонарем, рукоблудство на площади, хождение как возражение на аргументы Зенона — стали образцом философских деяний. Конечно, говорить про действия — это совсем не то же самое, что действовать, но говорить про действия — это и не то же, что говорить про слова; описания возможности действий самих по себе действий не заменяют. Людвиг Витгенштейн отвечал свистом или чтением стихов на просьбу прокомментировать «Логико-философский трактат», ухитряясь не молчать о том, о чем невозможно говорить¹⁸.

Философские рассуждения не отсылают прямо и непосредственно к внеязыковому универсуму, а выстраивают сложные отношения со смыслом. «Смысл — это и выражаемое, то есть выраженное предложением, и атрибут положения вещей. . . Но он не сливается ни с предложением, ни с положением вещей или качеством, которое данное предложение обозначает. Он является именно границей между предложениями и вещами. . . Именно поэтому смысл и есть „событие“, при условии что событие не смешивается со своим пространственно-временным становлением в положении вещей»¹⁹. Событие мысли оказывается событием смысла, хотя обратное верно не всегда.

Философская мысль разворачивается по причудливым траекториям, задавая и конституируя концептуальное пространство внутренних дистанций и отстояний, зазоров и не прямых указаний. «Вот перед нами живописная картина. . . — например, сезанновский натюрморт с яблоками. Ясно, что это не описание или изображение Сезанном яблок вне картины, а понимание

¹⁷ Библихин В. В. *Язык философии*. М., 1993. С. 4; 383.

¹⁸ Ср.: Витгенштейн Л. *Философские работы*. Ч. 1. М., 1994. С. 73.

¹⁹ Делез Ж. *Логика смысла* // Делез Ж. *Логика смысла*. Фуко М. *Theatrum philosophicum*. М. — Екатеринбург, 1998. С. 42.

чего-то посредством этих изображенных яблок, вернее порождение ими понимания чего-то другого. Сезанн „мыслит яблоками“ — и в сознании реализуется нечто, к чему просто вниманием глаз мы не придем. В этом смысле картина Сезанна не о яблоках, а эта картина „яблоками о чем-то“, т. е. выявление посредством яблок каких-то возможностей нашего зрения, которые теперь исходят из яблок и их восприятием в нас распространяются. Но спросите Сезанна или нас, как устроено претворение в „яблоки“ чего-то другого, чтобы мы понимали и сделанное („яблоки“), и это другое, то на это или нет ответа, или это уже совсем другой вопрос, вопрос совершенно других уровней сознания²⁰. Соотношение физических яблок, изображений яблок на картине, мысленных реконструкций действительности этих изображений, затем инструментальность самого по себе разбираемого примера — все это образует серию рефлексивных уровней, которая призвана реконструировать в том числе и многообразие возможностей не прямой референции.

Любой образец задает, как известно, бесконечное множество измерений, трактовок и воспроизведений; принцип единства мира утверждает, что любая вещь связана некоторым образом с любой другой. Поэтому каждый знак или предмет может отсылать к каждому — прямо или косвенно. Но утверждение безразличности всех соотношений чревато безразличностью самого этого утверждения. Так что необходимы разграничения, различения, реализации выбора. Невзирая на постоянную опасность быть неправильно понятым или слишком прямолинейно истолкованным, все равно приходится сотворять какие-то произведения — в надежде, что удастся выразить невыразимое. Проблема обычно не существует заранее, до всякого рассмотрения, но возникает, создается и проявляется в процессе исследования.

Таким образом, непрямая референция принципиально не укладывается в ряд риторических фигур. Она присутствует там и тогда, где и когда прямая референция бессмысленна или невозможна. Достаточно несложно бывает сказать, как и с помощью чего непрямая референция разворачивается, но совершенно бессмысленно спрашивать, к чему именно она отсылает — ведь даже сама возможность ответа на такой вопрос превратила бы ее в прямую референцию. В отличие от метафоры, которую можно уподобить, пожалуй, мосту к другому берегу предметности — как вычурный и ажурный виадук, заменяющий упрощенно-утилитарный и чисто функциональный прямой мост простой референциальности, — непрямая референция похожа скорее на навесной, консольный мост над пропастью, наращиваемый в неизвестность, к невидимой цели. . .

²⁰ Мамардашвили М. К. Классический и неклассический идеалы рациональности. М., 1994. С. 74–75.

Металингвистический иконизм и социолингвистическая дистрибуция этикетных речевых стереотипов

В своей замечательной работе «В поисках сущности языка» Р. Якобсон, рассмотревший ранее в статье о шифтерах индексальные знаки, обращается к знакам иконическим, обнаруживая при этом удивительные свойства в самом, казалось бы, чисто конвенциональном языковом устройстве. См.: «Последовательность глаголов *veni, vidi, vici* сообщает нам о порядке деяний Цезаря прежде всего и главным образом потому, что последовательность сочиненных форм прошедшего времени используется для воспроизведения хода событий. Временной порядок речевых форм имеет тенденцию к зеркальному отражению порядка повествуемых событий по времени или по степени важности. Такая последовательность, как „На собрании присутствовали президент и государственный секретарь“, гораздо более обычна, чем обратная, потому что первая позиция в паре официальных членов отражает более высокое официальное положение» (Якобсон 1983: 107). В этой же статье Р. Якобсон отмечает «иконичность» грамматики (морфологии): превосходная степень в индоевропейских языках выражена более «протяженным» словом, чем положительная. «Есть языки, в которых формы множественного числа отличаются от форм единственного дополнительной морфемой, в то время как, по данным Гринберга, нет такого языка, в котором это отношение было бы обратным» (там же: 110).

Идею иконичности, как кажется, можно продолжить и для языковой парадигматической сферы. А именно: привычная парадигма личных местоимений Я — ТЫ — ОН (ОНА, ОНО) — МЫ — ВЫ — ОНИ представляется некоей извечной и незыблемой природной структурой. А между тем, по сути, она всего лишь факт отстоявшегося веками металингвистического описания. В принципе ведь можно представить и иную модель: Я — ТЫ — МЫ... или ТЫ — ОН — Я — ВЫ и т. д. Однако такое расположение кажется странным и немыслимым. Почему? Потому ли, что оно просто привычно по урокам грамматики или оно что-то отражает?

В течение очень долгого времени местоимения, в особенности личные местоимения, в грамматической теории большого места не занимали. Они рассматривались, явно или неявно, в качестве «субститутов» знаменательных слов, иначе говоря, невольно считались чем-то вторичным, замещающим, анафорическим. Только в последние годы наступил некий «взрыв» в металингвистической местоименной парадигме, после работ Н. Ю. Шведовой (Шведова 1997; Шведова 1999). Н. Ю. Шведова предложила именно местоимения считать первичными «исходами», минимизированными единицами всеохватывающего выхода в мир, когда описание окружающего нас Универсума удовлетворяется через систему заданных Человеком Миру вопросов, то есть через местоимения.

Расположим эту парадигму в виде графической схемы:



Гипотеза наша состоит в том, что парадигматическая дистанцированность является удобным металингвистическим построением для описания личностной дистанцированности в этикетном речевом поведении.

Что является «ближайшим» для Я? По вертикали это ТЫ.

И действительно, для русского языка ТЫ служит показателем близости для Я; долгое время (до XVII века) это и было для русских основной формой обращения к Другому. Несколько стертым сейчас в нашем современном сознании является тот примечательный факт, что русские этикетные формулы, в отличие от, например, западноевропейских, ориентированы на 2-е, а не на 1-е лицо. А именно: *Здравствуй(те)* — то есть: Ты будь здоров, а не Я сообщая тебе о «хорошем дне»; *Пожалуйста* — это Ты меня пожалуй, а не Я тебя прошу (*Bitte*); *Спасибо* — Пусть Тебя спасет Бог, а не Я тебя благодарю.

ВЫ отделено от Я на два шага — как по вертикали, так и по горизонтали. Дистанцированность увеличивается. Однако в русском общении одновременно действовали две противоположных по духу тенденции: 1) стремление быть близким Другому и 2) стремление к некоторому самоуничижению, возвышению Другого в том случае, если он дистанцирован и социально. Этому стремлению удовлетворяли разные языковые средства: например, называние Я с уменьшительным суффиксом, а Другого — полным именем и отчеством: *Ивашка* — *Алексей Петрович*. Этому же, по сути, служат и добавления типа *милостивый государь*, *Ваше высокоблагородие* и т. д. Какова

же их функция в свете идей Р. Якобсона об иконичности языковых структур? Они «увеличивают протяженность» именуемого лица и тем самым увеличивают его вес в соотношении с лицом Я.

Именно это делаем мы и теперь, когда добавляем нечто при письменном обращении к Другому. Все эти *Дорогой Саша, Глубокоуважаемый профессор Сергеев, Здравствуйте, Александра Михайловна* и т. д. по сути именно и являются иконическим воплощением увеличения масштабов Другого. Разумеется, интимнее (то есть дистанцированность уменьшается) обращения краткие: *Миша, Мама* и т. д. На возникающий вопрос о нарастающих суффиксальных цепочках при деминутивах и «сюсюкающих» именах можно ответить, что здесь также имеет место иконичность, но из другого семантического измерения — протяженность ласкательного имени как бы соответствует величине любви или нежности.

Естественно, что максимально удаленным от Я в парадигме личного местоимения является ОНИ. Оно удалено от Я уже на три шага при любом из двух возможных отсчетов. Именно эта форма и была характерной для называния одного лица представителями «низкого класса» в том случае, если речь шла о подчеркнутом уважении. Добавлялось еще и «слово-ерс», то есть ОНИ-С.

Это иконичное отражение «весомости» соотносится не только с обращением к Другому, но и с желанием увеличить свою речь, то есть повысить значимость Я. Речь идет о явлении, очень характерном, но, как кажется, еще никем не описанном, а именно о стремлении сделать слово более длинным и потому как бы более весомым. Несомненно, что интеллектual выбирает более короткое слово в ниже приводимых парах, а обыватель (особенно это было характерно для лиц, занимающих некие кажущиеся им значительными «номенклатурные» должности) более длинное (часто удлинение вербальной единицы ограничивается хотя бы одним слогом).

См. такие пары: *Муж — супруг; Жена — супруга; Есть — кушать; Жить — проживать; Будьте добры — Будьте любезны; Учить язык — Изучать язык; Сообщать — информировать; Спать — отдыхать* и т. д.

Интересно то, что этому удлинению подлежат самые простые слова, передающие базовые и важные жизненные понятия. Иначе говоря, обыватель интуитивно хочет повысить значимость таких базовых понятий, увеличивая объем эквивалентных им лексических единиц. Вероятно, прежде такую «удлиняющую» роль играло упомянутое выше «слово-ерс» и другие добавки подобного типа.

Однако существует и средство повысить значимость Я. Ближайшими парадигматическими «соседями» Я являются ТЫ и МЫ. Естественно, что по линии увеличения своего веса (движение на один шаг по горизонтали)

должен осуществляться переход к МЫ. И действительно, именно такое МЫ существует в речи самых высокопоставленных особ, принято оно и в русской (и не только в русской) научной речи. Однако Я может переходить и на один шаг по вертикали — к ТЫ. В этом случае Я как бы вливается в некую общность и тем самым обобщается: *Что ты ни скажешь, все неудачно! Что посеешь, то и пожнешь* и под.

Для современного русского этикета существует правило не употреблять местоимение Он (Она) в присутствии Другого, к которому это местоимение обращено. Действительно, трудно слушать, как говорят в твоём присутствии: *А ты ей сказала, чтобы она расписалась?* и под. Почему? Думаю, потому, что ОНА находится слишком близко к ТЫ по парадигме. Выходом из этого в разных языках бывают разные этикетные речевые приемы. Например, совершенно очевидно, что польское *pan, pani, państwo* являются выходом из местоименной парадигмы и переходом в иную и тем самым по-другому дистанцированную парадигму имени. Эти польские формы являются как бы двуликими: они употребляются и при обращении, и при разговоре о человеке в третьем лице. В русской традиции этим заменяющим средством является именование: *А ты сказала Маше, чтобы она расписалась?*

Предлагаемое описание этикетных аппелятивов-стереотипов через парадигму личных местоимений, как представляется, может служить основанием для типологии языковых средств обращения к Другому. Характерно, что в тех случаях, когда обращение к Другому выходит из привычного круга второго лица (например, итальянское вежливое обращение на *Lei*, то есть по женскому роду единственного числа), оно всегда имеет интерпретативное подтверждение в виде именного сочетания, то есть опять-таки выхода за пределы местоименной парадигмы (*Lei* восходит к *Vostra signoria*, то есть аналогично русскому «Ваша милость», однако не нашедшему подкрепляющего эквивалента в местоименной парадигме). В языках более древних, когда социум был минимизирован, осуществлялось только движение на один шаг в пределах местоименной парадигмы (примеры здесь излишни, так как очевидны). Максимальное расширение социального пространства порождает дистанцированное отношение к Другому: видимо, неслучайно обращение на ВЫ в русском этикете появилось именно во времена Петра Первого, то есть тогда, когда Россия стала империей. Таким образом, еще раз и еще раз мы можем наблюдать иконичность языковой системы употребления: расширение геопространства отражается иконическим образом в дистанцированности речевой системы обращения. Крайним случаем, безусловно, является выбор местоимения при обращении к «правлящей морями» Британии: практически только дистанцированное ВЫ (*You*).

Однако при создании подобной типологии необходима осторожность. Так, на первый взгляд русская и французская системы отношения Я / Другой кажутся совпадающими: есть Я и есть Ты / Вы с примерно аналогичными семантическими коннотациями в употреблении. Однако это не так. Как блестяще показал Ж. Лакан, французский язык расщепил Я, разделив его на дискурсивное Je и секуляризованное Moi. Тем самым, по мнению Ж. Лакана, французский язык вывел Другого как часть подсознательного Я и перевел его в сознательно употребляемую единицу речевого употребления (об этом «расщеплении» его во французской коммуникации и тем самым речевой экспликации Другого в самом себе говорится во многих работах Ж. Лакана: см., в частности, Лакан 1995, Лакан 1997 и др.).

Различие русской и французской моделей употребления местоименной парадигмы проявляет себя и в бытовых ситуациях. Так, я не раз совершала этикетную ошибку, спрашивая — в соответствии с русской моделью — в магазинах, кассах вокзалов и под.: *Вы завтра до какого часа работаете?* или *Вы в субботу когда кончаете работу?* — и только изумленный вопрос сотрудницы: *Moi, madame?* возвращал меня к иной местоименной модели.

Таким образом, открывается возможность не только первичного, собственно парадигматического сопоставления местоименных дистанций в их этикетном употреблении, но и типологии вторичной, основывающейся на способах и видах замены местоименного компонента неместоименным или частично местоименным: именем, словосочетанием, стереотипизированной конструкцией. Возможна и «третичная» типология, сопоставляющая необязательные, но распространенные структуры в коммуникации. Так, например, можно предположить, что при общении близких людей русские люди употребляют имена собственные (вообще, русское коммуникативное общение просто насыщено именами собственными, особенно при обращении) — там, где в англоязычной традиции слышишь *darling* и под., в немецкой — *Schatzy* и под.

В семиотическом плане с возникновением отношения Я — Вы оппозиция Я // Другой становится секуляризованной, отделяясь от оппозиции Свой / Чужой. Известно, что на противоположности Я — Ты и Я — Вы в тех системах, где они различаются, строится очень большое число коммуникативных смысловых наложений и очевидное для перцепции столь же большое число их интерпретаций. Поэтому на сегодняшний день очень интересно проследить, различаются или совпадают эти две оппозиции в районах старопатриархальной культуры.

Все сказанное выше, разумеется, соотносится со ставшей широко известной монографией Брауна и Левинсона (Brown, Levinson 1987). Вежливость в их работе разделяется на негативную, или отрицательную (*neg-*

ative politeness), и позитивную, или положительную (positive politeness). Негативная вежливость связана с очевидным для европейской ментальности желанием человека отгородиться от окружающих, хотеть, чтобы они никак не вторгались в его внутреннее «пространство», а соблюдали при контакте дистанцию. Позитивная вежливость связана с идеей открытости для коммуниканта, возможности сделать шаги в этом пространстве Другого. Метафорически речь идет как бы о двух «лицах» (faces): негативном и позитивном. Эта теория за десять лет разрабатывалась и дорабатывалась многократно. Так, в частности, она оказалась объясняющей и для русской языковой реальности: эта дихотомия помогла Р. Бенаккьо решить вопрос о выборе вида русского глагола в императиве, когда возможны оба вида. Совершенный вид, скорее, ориентирован на негативную вежливость, несовершенный — на отношения «неформальные» (Бенаккьо 1997). Уточнению и дальнейшей разработке этой теории посвящена и более общая статья Е. А. Земской о категории вежливости в русском языке (Земская 1997). Итак, самой существенной в их работе идеей является прямая декларация существования некоего «пространства», разделяющего коммуникантов.

Таким образом, в социальной коммуникации в этикетных обращениях непрерывно осуществляется балансирование между движением в рамках местоименной парадигмы: см. выше Я — ТЫ > Я — ВЫ; Я — ОНИ и т. д. и переводом местоименной этикетной базы в плоскость субстантивной парадигмы с возможным выходом снова в заменяющее это субстантивное сочетание местоимение.

В англоязычной речевой практике уже давно употреблялась некая форма аппеллятива, которая одновременно была обращена и на проверку канала связи: что-нибудь вроде: John? — Sir?! Таким образом, в интонации, манифестирующей этот тип коммуникации, заложено обращение сразу к двум компонентам речевого акта по знаменитой шестичленной схеме Р. Якобсона: обращение к адресату и к каналу связи (проверка). Подобной структуры в русской интонационной системе еще недавно не было. В таких ситуациях русские говорили нечто вроде: *Да!?* или *Слушаю!*, даже *Что?!* и под. Но после «перестройки», с возникновением принципиально нового устройства СМИ (Средств Массовой Информации), особенно при возникновении Независимого Телевидения (НТВ), именно такая форма с аналогичной интонацией появилась и в русском речевом общении. Мы ее слышим обычно в начале и в конце включения корреспондента: *Татьяна!?*; *Евгений?!* Интерпретация ее в принципе оказывается полисемантической: это и проверка канала, и призыв к собеседнику включиться далее и сообщать нужную информацию, и обращение к нему лично.

Меняющееся отношение к пространству дистанцирующегося Другого демонстрирует и широко распространившееся в последние годы употребление *извините* в тех ситуативных контекстах, когда ранее употреблялось *спасибо* и *пожалуйста*. Это *извините* начинает становиться и начинающим, и заканчивающим разговор. Может казаться, что это изменение не стоит внимания или оно не столь серьезно. Между тем, в частности, на некоторую новизну употребления этого слова обратила внимание австрийская славистка Р. Ратмайр (Rathmayr 1996). Она считает, что это новое *извините* является компрессией *спасибо* + *извините за беспокойство*. Примеры Ратмайр: Tanja doma?... — A ona večerom budet? — Da. — Izvinite. На вопрос об улице: Ne mogu vam skazat', sama ne znaju. — Izvinite (Rathmayr 1996: 65). Потребность в «извинении» расширяется: звонящие просят их извинить за звонок вечером, за звонок утром, за звонок на дачу, за звонок домой (однажды я, не выдержав, спросила: *Домой, а не — куда?* Звонившая ответила прекрасно: *Да я просто так, ведь надо было как-то извиниться*).

В статье, посвященной речевому мышлению обывателя (Николаева 1999), мною были намечены три основные черты его речеповедения: 1) тенденция к укрупнению масштаба отдельного факта, 2) нелюбовь к конкретному единичному феномену, 3) нелюбовь к точной информации. К этим чертам можно добавить и 4) стремление создать зону псевдонеудобства, прося прощение за которые, он вторгается в пространство дистанцировавшегося ранее Другого. Происходит манипуляция негативной и позитивной вежливостью, если эту схему рассматривать в более широком аспекте.

Интерпретация этого как будто бы безобидного явления может быть троякой или, при более подробном рассмотрении, трехступенчатой.

Во-первых, это может быть скрытым воздействием английского *sorry*, которое и употребляется сейчас по функциональному полю довольно близко к *извините*. Но и такое широкое употребление *sorry* в свою очередь заменяет более раннее обращение *Sir!*, к которому оно приближается по звучанию. Возможно, *sorry* повлияло и на другие языки Европы. Так, в Италии тоже говорят о неинтеллигентности *scusi* ('извините').

Во-вторых, некоторое объяснение этому наступлению на дистанцию Другого мы находим именно в самой теории Другого (L'Autre), подробно разработанной Ж.-П. Сартром (Сартр 1997): «Другой — это скрытая смерть моих возможностей, поскольку я переживаю эту смерть как скрытую посреди мира. Со взглядом другого ситуация ускользает от меня, или... я больше не хозяин ситуации <...>. Объективация другого была бы крушением его бытия-взгляда... Объективация другого есть защита моего бытия, которое освобождает меня как раз от моего бытия для другого, придавая другому бытие для меня... Конечно, Другой есть условие моего нерас-

крытого бытия. Но он представляет собой индивидуальное и конкретное условие его. Он не втянут в мое бытие посреди мира в качестве одной из его составных частей <...> с того времени как Другой является мне в качестве объекта, его субъективность становится простым свойством рассматриваемого объекта. И тем самым я себя восстанавливаю: ибо я не могу быть объектом для объекта» (Сартр 1997: 1669). В переводе на более привычную для нас терминологию это означает стремление индивида подавить личность Другого, десубъективировать его, превратить в управляемый и предсказуемый объект. Таким образом, создается некоторая определяемая не адресатом, а адресантом зона обязательных потенциальных неудобств, причиняемых адресату, за которые необходимо у него попросить прощения. Кажущаяся смиренность и скромность, как представляется, являются следствием активности по превращению негативной вежливости в позитивную, то есть вторжением в «пространство» Другого. За него решается вопрос, удобно ему или неудобно, трудно или нетрудно, даже — поздно сейчас или непоздно. Тем самым он превращается из активной Личности в пассивную. Например, *«А. Д. просил Вас позвонить ему в десять вечера. — Это уже для него поздно, я лучше утром пораньше»* и под. (Важным свидетельством предыдущего по отношению к моему поколению является раздраженная реакция на извинения за причиненные неудобства у моего аспирантского руководителя А. А. Реформатского: *«Все время теперь извиняются перед беспомощным стариком-рамолитиком!»*)

Но почему эти явления привлекают к себе внимание именно в XX веке?

Ответом на это может быть третье объяснение. Это дает современная социальная психология, которая, по сути, и развилась только в XX веке, после трудов Г. Тарда и Г. Ле Бона. Дело в том, что именно в XX веке наступает век масс, век толпы (см. соответствующие названия книг: см., например, С. Московичи. Век толп. М., 1996 (я называю российские издания в переводе), С. Московичи. Машина, творящая богов. М., 1998, Г. Лебон (вариант Ле Бон). Психология толп. М., 1999, Г. Тард. Мнение и толпа. М., 1999. См. также работу З. Фрейда. Психология масс и анализ «Я», 1921). Общая идея в этих работах состоит в том, что усредненному индивиду (Обывателю — в том смысле, как это упоминалось выше) не хватает в общении некоторой энергии, *materia prima*, которую он стремится получить, вторгаясь в пространство Другой личности. В наибольшем количестве он ее получает, находясь в толпе, в которой происходит нивелировка личности и вспыхивает общая энергия коллективного бессознательного.

Почему же этой энергии стало так не хватать именно в XX веке? Несомненно, это связано в свою очередь с материальным преуспеянием капиталистического мира, которое — опять-таки — опирается на протестантский

постулат (поскольку большинство преуспевающих стран исповедуют протестантскую религию) об индивидуальной (а не соборной) ответственности личности за свои поступки, ибо поодиночке все будут представлять перед Высшим судом, и — что главное для кальвинизма — благосостояние личности, ее богатство есть признак высшей отмеченности и признания заслуг (Московичи 1998: 261–263).

Таким образом, эти две противоречащие друг другу тенденции — впитывание коллективной энергии через коллективные же встречи и неизбежное психологическое одиночество людей «рыночной экономики» — и ведут к изменению этикетных формул, когда собеседнику «навязывают» некоторую зону неудобства, за которую у него же просят прощения. Сложным образом это накладывается на прежнюю русскую модель самопринижения и на совсем новую, когда для современной молодежи оказывается одним из важнейших компонентов личности «Уверенность в себе» (Шариков, Баранова 1999).

Заканчивая это конспективное и, скорее, гипотетическое обращение еще раз взглянуть в иконическую обусловленность этикетных формул, необходимо все же оговорить, что все сказанное и цитируемое относится к психологии именно городского обывателя, в наибольшей степени знакомой автору.

Литература

- Бенаккьо 1997 — *Бенаккьо Р.* Выражение вежливости формами повелительного наклонения несовершенного и совершенного вида в русском языке // Труды аспектологического семинара филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, т. 3. М., 1997.
- Земская 1997 — *Земская Е. А.* Категория вежливости: общие вопросы — национально-культурная специфика русского языка // *Zeitschrift für slavische Philologie*. Bd. LY1, Heft 2, 1997.
- Лакан 1995 — *Лакан Ж.* Функция и поле речи и языка в психоанализе. М., Гнозис, 1995.
- Лакан 1997 — *Лакан Ж.* Инстанция буквы в бессознательном, или Судьба разума после Фрейда. М., Русское феноменологическое общество, 1997.
- Московичи 1998 — *Московичи С.* Машина, творящая богов. М., 1998.
- Николаева 1999 — Речевая модель «обывателя» и идеи Н. С. Трубецкого — Р. О. Якобсона об оппозициях и «валоризации» // *Поэтика. История*

- литературы. Лингвистика. Сборник к 70-летию В. В. Иванова. М., 1999.
- Сартр 1997 — *Сартр Ж.-П.* Бытие и ничто (Существование другого) // От Я к Другому. Минск, 1997.
- Шариков, Баранова 1999 — *Шариков А. В., Баранова Э. А.* О связи ценностных и массово-коммуникативных ориентаций // «Психологический журнал», май—июнь 1999, т. 20, № 3.
- Шведова 1998 — *Шведова Н. Ю.* Местоимение и смысл. Класс русских местоимений и открываемые ими смысловые пространства. М., 1998.
- Шведова 1999 — *Шведова Н. Ю.* Теоретические результаты, полученные в работе над «русским семантическим словарем» // «Вопросы языкознания», 1999, № 1.
- Якобсон 1983 — *Якобсон Р.* В поисках сущности языка // Семиотика. М., 1983.
- Brown, Levinson 1987 — *Brown P., Levinson S. C.* Politeness. Some universals in language usage. Cambridge, 1987.
- Rathmayr 1996 — *Rathmayr R.* Pragmatik der Entschuldigen. Köln — Weimar — Wien, 1996.

Д. И. Руденко
(Харьков)

«Новый русский реализм»: в берегах и вне берегов постмодернизма

В этой статье мы попытаемся показать, что лингвофилософская — философская — концепция Ю. С. Степанова позволяет нетривиально и доказательно *центрировать* хаотично-игровую ситуацию постмодерна — прежде всего путем ответа на вопрос: что наступает после постмодерна? Более того, подразумеваемый ответ не только не исключает, но и акцентирует, выделяет *эклетицизм* гармонии (какой бы условной ее ни считать) постмодерна, богатство и разнородность его составляющих — в той мере, в какой они осмысливаются современной философией языка. Это та энергия, которую дает если не хаос, когда его не боятся, то эклектика. (У Музиля: «Эклектику следовало бы определить как нечто среднее и посредничающее между духом и вожделением» [Музиль 1999, с. 206].)

Мы имеем в виду «новый русский реализм» Ю. С. Степанова. Его недавно вышедшая обобщающая книга о философии языка («Язык и метод») заканчивается рассуждением о требовании «практической морали» по Лейбницу: человек должен стремиться, в меру своих сил, познавать «достаточные основания», т. е. в ограниченном виде идти тем же путем, каким действовал Бог при создании тварного мира, осуществлять индивидуальное «стремление к лучшему». «Если устремление к Современной философии языка способствует достижению хотя бы этой, лейбницевской цели, то задача настоящей книги уже выполнена» [Степанов 1998, с. 753]. (Отчасти даже в духе Паскаля: «Если вы идете по направлению к Богу — вы уже достигли его».)

Вероятно, стремление (скорее, впрочем, не вполне осознаваемое) к познанию «достаточных оснований» характеризует большинство социокультурных ситуаций «усталости от эклектики» — и одновременно центрирует, придает целостность на первый взгляд эклектичным гносеологическим построениям. (В этой связи вполне наивным и излишним выглядит «оправдательное» суждение В. Руднева относительно «трех источников и трех составных частей» Нового реализма: «Наше безусловное уважение к

Ю. С. Степанову не позволяет нам сказать, что он, смешивая философию языка и православие, идет на поводу у постсоветской идеологической конъюнктуры» [Руднев 1998, с. 42].)

Ощущение границы, возможно границы между *пост-* и «*постпост-*» модерном, достаточно отчетливо прослеживается в «Человеке без свойств» Музиля: «Это были — в вопросе, всерьез его не очень-то трогавшем [устройство дома], — та знакомая бессвязность идей и то расширение их без средоточия, которые характерны для современности и составляют ее своеобразную арифметику, перескакивающую с пятого на десятое, но не знающую единства. Постепенно он стал выдумывать вообще только невыполнимые интерьеры, вращающиеся комнаты, калейдоскопические устройства, трансформируемые приспособления для души, и его идеи становились все более и более бессодержательными. Наконец, он пришел к той точке, куда его тянуло. Отец его выразил бы это примерно так: кто может выполнить все, что ему ни заблагорассудится, тот вскоре уже и сам не знает, чего ему желать. Ульрих повторял себе это с великим наслаждением. Эта подержанная мудрость показалась ему исключительно новой мыслью. Человека нужно стеснить в его возможностях, планах и чувствах всяческими предрассудками, традициями, трудностями и ограничениями, как безумца смирительной рубашкой, и лишь тогда то, что он способен создать, приобретет, может быть, ценность, зрелость и прочность... Невозможно и впрямь перечесать, что означает эта мысль!» [Музиль 1984, с. 43].

Пространство, в котором происходят события романа, — Австро-Венгрия, прототип Какании накануне ее распада, — обладает вполне «постмодернистскими» чертами: «Любили сверхчеловека и любили недочеловека; преклонялись перед здоровьем и солнцем и преклонялись перед хрупкостью чахоточных девушек; воодушевленно исповедовали веру в героев и веру в рядового человека; были доверчивы и скептичны, естественны и напыщенны, крепки и хилы; мечтали о старых аллеях замков, осенних садах, стекляннных прудах, драгоценных камнях, гашише, болезни, демонизме, но и о прериях, широких горизонтах, кузницах и прокатных станах, голых борцах, восстаниях трудящихся рабов, первобытной половой любви и разрушении общества. Это были, конечно, противоречия и весьма разные боевые кличи, но у них было общее дыхание; если бы кто-нибудь разложил то время на части, получилась бы бессмыслица вроде углового круга, который хочет состоять из деревянного железа, но в действительности все сплавилось в мерцающий смысл» [Там же, с. 80]. Имея в виду последнюю фразу, заметим, что «центры» пространства эклектики, конечно, не являются статичными и могут «схватываться» через образ-концепт *мерцания* (у Б. Шульца, который часто сближает образы света и границы, сгиба: «... мир

дрожал и мерцал в своих изломах, опасно высывался, рискуя вывалиться из всех мер и правил» [Шульц 1993, с. 118]). И все же именно эти центры порождают «энергию эклектики», воспринимающуюся — и создающуюся — субъектом.

Интересно (и, видимо, не случайно), что в наше время именно в одном из маргинальных пространств империи, которую описывает Музиль (Западная Украина, Галиция), возникают идеи сходной направленности. Мы имеем в виду то, что называют «субъективной демиургией» (неплохой образ и для «нового русского реализма»): «Именно демиургия как сквозное творение в литературе... идет на смену постмодерну. На смену ситуации, в которой концептуализированное цитирование преобладает над творчеством как таковым, над онтическим творчеством как созданием нового, еще не явленного в существующем мире. Это проект, возможность. Кто-то скажет, что это уже было, для кого-то демиургические, супернарративные, суперповествовательные практики — это прошлое. Для меня это будущее» (В. Ешкелев)» [Украинский глоссарий 1998, с. 9]. Во всяком случае, один из авторов, относящихся к этому направлению, дает вполне приемлемый — и ироничный — ответ на вопрос «Что надоело в постмодернизме» (хотя как раз «надоела ирония») [Курицын 2000, с. 288]; украинский в цитате неизбежен).

Таким образом, о постмодернизме остается сказать, что он:

«а) агностичний, агонізуючий, амбівалентний, американський, анемічно-німецький

[...]

е) євнухоподібний

ж) жартоцентричний, жидомасонський

[...]

о) онтологічно маргінальний

[...]

щ) ще раз іронічний

[...]

я) яловий» [Андрухович 1999, с. 116–117].

Излишне говорить о «вершинности», центральности «субъективного демиурга» — в рамках его стремления познавать «достаточные основания», приблизиться (приближаться) к отчасти (чуть) большей гармонии эклектики. На этом пути его самовосприятие может быть сходно с ощущениями «человека без свойств»; кстати, возможно, в приобретении свойств и состоит движение к гармонии. Ср. о том же пространстве, в каком-то смысле пространстве пост(недо)модерна, у Ю. Андруховича: «Я живу в испокон веков подозреваемой и униженной части света. Эта часть света называется Галицией. Возможно, поэтому мне не остается ничего другого, как при-

знать себя постмодернистом [...] Есть регионы настоящие, целостные даже в своей разрушенности и уродстве. Галиция же — насквозь искусственная, сшитая воедино белыми нитками псевдоисторических домыслов и политиканских интриг [...] С перспективы Полесья Галиция не просто жалкая — она постмодернистская. Но я имею иную перспективу. Точнее, не имею ее, ибо нахожусь здесь, внутри, это моя территория, это мой подозреваемый и уничижаемый мир. Крепостные каменные стены вокруг него давно повалены, рвы засыпаны историческим хламом и культурным мусором, каким-то битым фарфором, обломками черной гаварецкой керамики и гуцульскими изразцами. Моя линия обороны — это я сам, но у меня нет иного выхода, как только защищать этот кусок, этот лоскут, эти лоскуты, расползающиеся во все стороны» [Андрухович 1999, с. 117–119] (ср. у Делеза: «Согнуть линию так, чтобы удалось на ней жить, вместе с ней, — дело жизни или смерти» [Deleuze 1990, p. 151]).

Не случайно и ощущение *обреченности*: «Выхода все равно нет: мы обречены на лето, как и на все другое, — на жизнь в этой стране, в этом мире, в его информационных полях, в его причудливых, лишенных целомудрия культурах, от которых не спасет ни одна эмиграция. Мы обречены, и в этом есть огромное облегчение, если бы я только знал, что имею в виду» [Издрик 1997, с. 7].

Возможно, отсюда «облегчение» — это обреченность (но не смирение) на «правила», «логику» того познавательного движения, о котором говорит Ю. С. Степанов. В этом смысле субъект, именно в силу ограниченности — вполне или не вполне осознаваемой (далеко не каждый творец «обладает» априорной полнотой знания о создаваемом мире, «энциклопедией будущего космоса» или хотя бы знает об отсутствии у него такого знания и его недосягаемости, так же как большинству владеющих языком вряд ли известно, что «носитель языка в принципе не может знать значений слов своего языка» [Степанов 1998, с. 708]), возможностей его демиургии, ограниченности пространства, даже «возможного», тех познавательных элементов, из которых он создает свой «возможный мир», оказывается в большей мере *автором картины мира*, точки зрения («проекции») на мир, порождающей его целостность, чем в «чистой» ситуации постмодерна, хотя бы отчасти избавляющейся от страха перед «необъятностью трансцендента» [Шульц 1993, с. 101].

Идея «субъективной демиургии», трактуемая в духе философии языка Ю. С. Степанова, лишена метафорической чрезмерности, как если бы предполагалось, что стремление «внутреннего человека» [Степанов 1998, с. 745–746] к познанию «достаточных оснований» всегда осознанно и имеет только позитивную направленность. Напротив, «наилучший из миров

невозможно помыслить, не услышав вызывающих дрожь криков ненависти Вельзевула» [Deleuze 1988, p. 102] — образ, очень удачный для характеристики лейбнищевского понимания теодицеи. Даже проклятые — проклятые потому, что они в каждый момент сами себя подвергают перманентному проклятию, — служат, что умножает их злобу, общему прогрессу мира не своим негативным примером, а тем, что не используя открытую для всех возможность спасения, предоставляют ее остальным (эта идея, впрочем, не лишена оттенка своеобразной брутальности), «освобождают бесконечную величину (quantité) возможного прогресса» [Ibid., p. 101]. (Интересно сопоставить с таким пониманием теодицеи название ненаписанного стихотворения Борхеса о русской революции — «Лист Мебиуса окровавленный»: «Стороны оппозиции склеивались революцией между собой по схеме «листа Мебиуса»: «можно было из местоположения «добра» без препон попасть в местоположение «зла» на односторонней территории революции и вернуться опять в район дислокации добра» [Земляной 1997, с. 8]. Отсюда вытекает идея единосущности Христа и Иуды.)

В этом контексте стоит упомянуть концепцию У. Блейка [см.: Блейк 1993], который, исходя из «учения о соответствиях» Э. Сведенборга, считавшего, что земной мир является точным соответствием мира небесного, но менее совершенным, менее одухотворенным, и в каждом человеке заключено небо в мельчайшей своей форме (идея, вполне соотносимая с понятиями монады и возможного мира), представляет, в «Бракосочетании Неба и Ада», Добро как пассивное, всеприемлющее и безвольное начало, а Зло — как начало активное, созидующее, так как оно, ломая традиционные представления, движет развитием мысли. Только единение, «бракосочетание» двух противоположных начал, позволяет достичь подлинной духовности. Отсюда вытекает отказ от жесткого соотношения греховного тела со Злом, а души с Добром: душа и плоть едины, и, следовательно, бракосочетание Добра и Зла происходит не только в мироздании, но и в каждом из смертных («возможных миров»).

Включая эти идеи в сферу нашей проблематики, можно предположить, что колебания между «постмодерном» и его «после», определяемые *мечтой* стремления к гармоничности «возможного мира» (далеко не всегда однозначного «стремления к лучшему»), и деятельности, активности этого стремления в значительной степени происходят в пространстве «эклектичной гармонии» языка, бесконечного числа его возможностей, «деконструкций» и осмысливаются философом языка. Философом языка, стремящимся прояснить особенности «герметизации» универсума дискурса, к примеру, является Г. Маркузе: «Синтаксис стяжения провозглашает примирение противоположностей, объединяя их в прочную и уже знакомую структуру. Я

попытаюсь показать, что «чистая бомба» и «безвредные осадки» — только крайние проявления нормального стиля [...] Универсум дискурса, в котором примиряются противоположности, обладает твердой основой для такого объединения, а именно «высокой деструктивностью» [Маркузе 1994, с. 116–117]. (Эклектичность одного из фрагментов языкового возможного мира, возможности, прежде всего возможность «величайшей толерантности», порождаемые языком, таким образом, трактуются как имеющие однозначно репрессивный характер, преграждающие путь «развитию смысла», т. е. движению к гармонии, постижению «достаточных оснований».)

В сущности, проблемы «стебба», который становится жизнью, или того, что «сегодняшняя российская интеллигенция пытается защититься от мира — то ли припасть к корням, то ли все превратить в стебб» [см.: Липман 1998], также являются в значительной мере лингвофилософскими проблемами — поиска гармонии между языковым и материальными возможными мирами, равновесия «языковой» и «реальной» свободы, снятия «репрессивного характера» дискурса архаизации.

Последнее, впрочем, отчасти относится и к дискурсу субъективной демиургии, который в некоторых смыслах (контекстах) может рассматриваться как попытка «новой тотальности». Правда, жанр *fantasy*, к примеру Дж. Толкиен, в котором он реализуется в одной из наиболее чистых форм, вряд ли заслуживает инвектив в духе Маркузе. *Стебб* предполагает скорее отказ субъекта от своей центральности (даже «распыленной»), «демиургичности», претензии на власть. Однако и такая ситуация может рассматриваться как своего рода «рассеянная тотальность», налагающая запрет на выделение каких-либо центров, «вершин» игры.

Подчинение, в той или иной форме, правилам, которые условно можно назвать правилами «субъективного центра, центрирования», оказывается своего рода *валей к безволию* [ср.: Руденко 1994] человека, погруженного в сферу (атмосферу) непрерывного и тотального развертывания возможных миров, отчасти теряющего способность к активному действию и в то же время оказывающегося перед необходимостью выбора между ними, выбора, который сам создает новые возможные миры. Пожалуй, в культурной ситуации *после* постмодерна лучше используются те возможности порождения новых, «децентрированных» центров, которые создает Игра, — лучше потому, что ее вершинность сопрягается с вершинностью субъекта, его индивидуальными правилами своей в той или иной мере ограниченной в возможностях и в то же время определяющей идеей (даже не вполне отчетливой) поиска «достаточных оснований» для поступка демиургии. Тем самым отчасти деконструируется постмодернистская утопия мира как вечного настоящего, бесконечного игрового самоповторения.

Здесь есть опасность чрезмерно («в диминуционном запале») поколебать, ограничить «необъятность трансцендента» [Шульц 1993, с. 101]. Однако вершинность, «демиургийность» субъекта порождает и возможность нового расширения границ бытия (ср.: «На самом деле стриптиз бы себя спросить, а был ли Бог хоть в какие-то времена могущественней, чем в наши, возвестившие о его смерти» [Жакоте 1998, с. 11]), и возможность создания новых, не фиксированных центров в сфере имманентного, перемещения центров вслед за собой.

У Л. Норфолка, автора одного из наиболее интересных «постмодернистских» романов 90-х, есть рассуждение об игре в шахматы: «Когда он начал ценить жесткую красоту этих правил, он понял оброненное как-то его отцом замечание, что настоящим шахматистом может стать только человек, не обладающий собственной волей» [Норфолк 1996, с. 160]. Правила, по Лейбницу и Степанову, оказываются не менее жесткими (последняя опасность угрожает прежде всего тем, кто «подвергает себя непрерывному проклятию»), действительно, могут не требовать осознанного волевого усилия (ср. там же: «... неясное понимание того, что перед ним велась игра по абсолютно точно определенным правилам и что он не знает даже основного ее смысла»).

Однако они, пожалуй, даже более красивы. Именно потому что «субъективный демиург», оказываясь вершиной — «новым центром» — своего «возможного универсума», порождает новые нежесткие, несистемные центры, в том числе центры философского дискурса. (Включение в книгу детального анализа «философских персоналий», прежде всего Э. Бенвениста, таким образом, также оказывается внутренне мотивированным.) Игра, состоящая в создании *собственной* (ср. у Норфолка же образ-концепт облака, каждая из птиц которого летела по своей собственной, неповторимой траектории: «И облако это летело естественным образом к своей заданной цели, двигаясь по дуге собственной орбиты; и сама эта орбита была подвержена влияниям других, больших или малых кругов и сфер. Случайность и расчет» [Там же, с. 443]), но целостной мозаики из фрагментов бытия, допускает бесконечное число индивидуальных, спонтанных решений — предполагающих, однако, некий, пусть даже смутный, основной смысл.

Полушутливое суждение, по которому закон иерархии действует совместно с законом деградации и пародии [Milosz 1985, p. 103], оказывается, таким образом, не вполне универсальным именно в силу того, что центр является не жестко фиксированным, а центром-проекцией, вершиной, точкой зрения на бесконечно развертывающийся мир. В таком, «процессуальном», контексте этот центр может рассматриваться как единый.

Поиск новых, даже почти невозможных центров (скажем, «центров-сгибаний») может осуществляться в, казалось бы, заведомо безнадежных в этом смысле ситуациях. Иногда он неизбежно обречен на неудачу и ценен лишь как процесс, движение, а не как результат. Интересна в этом смысле принадлежащая М. Фуко идея книжной серии «Параллельные жизни» (ее первый том содержит досье (воспоминания и описание случая) гермафродита Эркюлин Барбен (1838—1868), покончившего с собой).

«Параллельные линии, мне известно, для того и созданы, чтобы соединиться в бесконечности. Представим себе другие, которые где-то в неопределенном пространстве расходятся. Нет ни точки встречи, ни места для сосредоточения. Часто у них не было другого отклика в пространстве, кроме их приговора. Надо было бы ухватиться за них и удержать в движении, которое их разделяет: следовало бы отыскать мгновенный и вспыхнувший след их прочерчивания, оставленный ими, когда они устремлялись во тьму, в которой «уже больше ничего не может быть высказано» и где все их «доброе имя» («*renommée*») уже утрачено. Это было бы как бы оборотной стороной Плутарха: настолько параллельные жизни, что никто уже не может их соединить» [*Herculine Barbin* 1978]. Впрочем, и приговор обреченного (condamnation) — имеется в виду неспособность человека, о котором идет речь, соединить свою судьбу с женщиной — тоже может рассматриваться как виртуальный, именно в своей отрицательности, центр, «центр отталкивания».

Способность к порождению новых или восстановлению забытых центров достаточно отчетливо присуща и феномену, который определяется как *после* постмодерна (кстати, идеи Фуко, скажем «Историю сексуальности», вполне можно рассматривать в таком аспекте). Потенциал такого порождения заложен в природе самого постмодерна, трактуемого как металитература, рассказывающая «истории об историях», обладающая выраженными чертами двойного кодирования. Постпостмодерн в некотором смысле является «рассказом о постмодерне» — хотя и критическим, менее произвольным, более «волевым», выводящим голос из кавычек. (Характерно, что постмодернистские тексты могут рассматриваться как своего рода палимпсесты, заданная вторичность которых предполагает своеобразное смирение — перед лицом не столько Духа, сколько бесконечного децентрированного текста («Текста».) Кстати, элитарность (впрочем, иногда скорее квазиэлитарность — многие постмодернистские авторы могут рассматриваться как «писатели для среднего класса») постмодерна является оборотной стороной такого смирения — текст бытия воспринимается как настолько необъятный, что даже попытка его постижения доступна немногим.

В таком смысле показательны «суперповествовательные» практики «субъективной демиургии» — или, скажем, слова У. Эко, считающего, что ему «удалось сохранить вкус к повествованию, доступному всем людям и возрастам, в то время как многие утратили этот вкус из боязни опуститься до потребностей масс, до потребностей толпы. . . занимательное повествование важно, оно должно существовать и в литературе с большой буквы, если вообще еще есть такая литература» [Эко 1999, с. 9] — своего рода вершинная (не претендующая на роль классического центра) занимательность.

Таким образом, в целом оказывается очень уместным то понимание прагматики, которое устанавливается в «Новом реализме»: «Прагматику теперь можно определить как дисциплину, предметом которой является связанный и достаточно длинный текст в его динамике — *дискурс*, соотношенный с главным субъектом, с «Эго всего текста, с творящим текст человеком. Человек — автор событий. По крайней мере событий, заключающихся в говорении» [Степанов 1998, с. 708]. Ср. (в контексте рассуждений о *после* постмодерна): «Другой находится прежде всего во мне самом, и я говорю от его имени. Я знаю о неизбежном разрыве между своим мышлением (умным молчанием в себе) и говорением — и то, что я говорю, не полностью равняется тому, что я думаю» [Эпштейн 2000, с. 290]¹.

В сферу «субъективной демиургии» может быть включен и «неоакадемизм», «новый русский классицизм» в понимании Т. Новикова [см.: Новиков 1998], предполагающий обращение к античным идеалам добра и красоты, возвращение искусству волевого измерения, своеобразного веселья: в современном мире истина не столько доказывается, сколько утверждается волевым усилием. При этом имеется в виду скорее коллективная, хотя и не предполагающая жесткой тотальности, воля, «возрождение интереса к героическому началу в жизни» [Кондратович 1998, с. 13].

Интересна (скажем, в контексте «центрирования децентрированного» или, скорее, возникновения новой его проекции, которая порождается в игре *différance*) идея *пост*деконструкции, получающая такую трактовку: «Следует толковать термин *пост*деконструкция в том смысле, что деконструкция перестает быть первичной, как метафизика, которую она критиковала, чтобы стать. . . *пост* в смысле последующей. Скорее, чем в качестве формы деконструкции, которая приходит на смену своей «классической», или ортодоксальной, форме, ее понимают как такую, что определяется через это *пост* того, что следует за наукой. Не как форму деконструкции

¹ Любопытно (уже в собственно лингвистическом плане), что Ж. Деррида, развивая концепцию деконструкции *фаллоцентризма* и опираясь при этом на категории Аристотеля и идеи Бенвениста, уделяет особое внимание предложениям третьего лица единственного числа настоящего времени с глаголом «быть» [см.: Derrida 1972, p. 237–246].

после другой — способ обеспечить преемственность, — но как второй ряд, идущий за наукой, и только она и определяет его в качестве второго. А значит, мы подходим к смещению (*déplacement*) деконструкции, вернее ее размещению (*emplacement*), ведь смещение было бы дополнительной философской операцией, связанной с предварительным переворотом. Речь идет о том, чтобы ее описать в ее же *реальном положении-вещей* (*état-de-chose réel*). А согласно с реальными условиями, она может следовать только во втором ряду» [*Lamelle* 1989, p. 180]. Таким образом, «наука» оказывается точкой отсчета (или даже «проекции»), по отношению к которой определяются центры постдеконструкции — или, скорее, постдеконструкций². Скажем, физика Эйнштейна (и метафизические поэмы Блейка) оказываются деконструкцией, «обвалом» абсолютного пространства Ньютона, а в качестве их, собственной (пост)деконструкции можно рассматривать ситуацию (скорее, гипотетическую), когда наука вновь обнаруживает первоначала алхимии, основанные на теории архетипов и законе аналогии, когда великий раскол подходит к концу и снова восстанавливаются связи между религией, наукой, философией [см.: *Milosz* 1985, p. 261—262].

Естественно, и «относительное», и «абсолютное» пространство может порождать и иные (пост)деконструкции — например, в духе противопоставления «мягкого» и «твердого», музыки и скульптуры: «Нет ли какого-то шарлатанства в том, чтобы выводить все сущее из бракосочетания бытия и места, суммы глобального и локального, предельной протяженности и предельной вместимости?.. В этом смысле современный и ничуть не более сложный фокус можно назвать топологическим» [*Cepp* 1998, с. 11]. «Вершиной проекции» здесь оказывается лежащая у истоков и геометрии с арифметикой, и языка музыка. Однако и ей «недоступно твердое, эта пара мягкого»; впрочем, поскольку суть скульптуры, бытие ее сущности — молчание, применительно к ней можно говорить о своеобразной «вершине молчания», деконструкции-пресуппозиции.

Даже русский поставангард М. Шемякина, на первый взгляд являющийся «чистой деконструкцией», «рецептуализмом» (в полипространстве творцом-художником «легко и весело о-существима пере-становка МЕСТ: взаимная ИГРА МЕСТАМИ. И в этой ИГРЕ взаимоположения МЕСТ знаков, которую ведет художник, знаки «сами суть места, а не просто принадлежат определенному месту» [*Лён* 1998, с. 8]), также должен определяться не

² Структурно сопоставим ход мысли М. Эпштейна, который, рассуждая о *про-то-(пост)пост...*, модернизме) пишет, что он снова оказывается перед будущим (т. е. не является тем, что непосредственно сменяет «классический» постмодерн), тем самым выходя за собственный предел: можно говорить лишь о начале, которое обнаруживает бесконечность «отрицательно», как мнимость и невозможность конца, самоиронию конечного [см.: *Эпштейн* 2000, с. 283—296].

как *post* самого авангарда, а как *post* иного, в данном случае эстетики (уже не эстетики прекрасного, а эстетики истины-алетейи, что, видимо, отчасти акцентирует «вершинность» соответствующей проекции; характерно критическое отношение к тем школам постмодернизма, которые ориентированы на «дурную бесконечность»). Излишне говорить, что «постдеконструкция поставангарда» вполне может порождать новые *postpost*.

Вообще говоря, рассуждение о постпостмодерне может отчасти показаться проявлением дурного вкуса (в духе, скажем, М. Эпштейна: «Вместо умножения этих „пост“ я бы предложил определить современность как время „прото“» [Эпштейн 2000, с. 288]). Однако философия языка — «Новый русский реализм» — Ю. С. Степанова обладает тем, что можно назвать *цен* трированной *интертекстуальностью*. Мы имеем в виду наличие в тексте некоторого центра, инициирующего и стимулирующего интеракцию, происходящую внутри текста, пересечение в нем различных «слов» (текстов), тем самым — возникновение новых (текстуальных) возможных миров, необходимое расширение, при восприятии текста, его интертекстуальной перспективы. Здесь может идти речь и о некоторых *основаниях* (VS, *основатели* Фуко) дискурсивности (ср., скажем, *prelevements* Ю. Кристевой) [детальнее см.: Руденко 1999, с. 367—374]. В таком контексте постановка *вопроса* о *после* постмодерна оказывается оправданной.

Философия языка Юрия Степанова достаточно радикально предохраняет от *инфляции*, понимаемой в духе Юнга, рассуждения которого, кстати, очень интересно соотносятся с трактовкой парадигматической парадигмы философии языка у Степанова («... мне кажется важным, что некоторые люди, или каждый индивидуально, начнут понимать, что имеются содержания, которые не принадлежат личностному эго, а должны быть приписаны психическому не-эго. Эту ментальную операцию необходимо предпринять если мы хотим избежать инфляции» [Юнг 1997, с. 469]).

Литература

Андрухович Ю. Дезорієнтація на місцевості. Івано-Франкіаск, 1999

Блейк У. Песни Невинности и Опыта. СПб 1993.

Жакотте Ф. Шалфей у дороги / Книжное обозрение 1998

Земляной С. Лист Мебиуса окровавленный // Независимая газета №156.

Издрик. Обреченность на лето // День, 1997 №142.

- Кондратович В. Неоакадемизм — веселая наука // Книжное обозрение «Ex libris НГ», 1998, № 44.
- Курицын В. Русский литературный постмодернизм. М., 2000.
- Лён С. На карнавале: Михаил Шемякин как идеолог и лидер русского постановгарда // Независимая газета, 1998, № 22.
- Липман М. Семнадцать ответов на русский вопрос // Итоги, 1998, № 46.
- Маркузе Г. Одномерный человек. М., 1994.
- Музиль Р. Человек без свойств. М., 1984. Кн. 1.
- Музиль Р. Малая проза. М., 1999. Т. 2.
- Новиков Т. Новый русский классицизм. СПб., 1998.
- Норфолк У. Словарь Ламплиера. М., 1996.
- Руденко Д. И. Пространство: грань бытия // Философия языка: в границах и вне границ. Харьков, 1994. Т. 2.
- Руденко Д. И. Игра: книга, которая (не) получилась // Философия языка: в границах и вне границ. Харьков, 1999. Т. 3—4.
- Руднев В. Что есть новый реализм? // На посту, 1998, № 2.
- Серр М. Гермес, или Философия предлогов // Книжное обозрение «Ex libris НГ», 1998, № 2.
- Степанов Ю. С. Язык и Метод: К современной философии языка. М., 1998.
- Украинский глоссарий // Книжное обозрение «Ex libris НГ», 1998, № 40.
- Шульц Б. Коричные лавки. Санатория под клепсидрой. М. — Иерусалим, 1993.
- Эко У. Остров Накануне. СПб., 1999.
- Эшштейн М. Постмодерн в России. М., 2000.
- Юнг К. Г. Психология и алхимия. М. — К., 1997.
- Deleuze G. Le pli. Leibniz et le baroque. P., 1988.
- Deleuze G. Pourparlers, 1972—1990. P., 1990.
- Derrida J. Marges de la philosophie. P., 1972.
- Herculine Barbin dit Alexina B. présenté par Michel Foucault. P., 1978.
- Laruelle F. Philosophie et non-philosophie. Liege-Bruxelles, 1989.
- Milosz Cz. La Terre d'Ulro: Méditation sur l'espace et la religion. P., 1985.

Н. В. Загурская
(Харьков)

Образ-концепт сверхчеловека в контексте нового реализма

Ю. С. Степанов отмечает, что «в культурологических исследованиях возникновение понятия „ментальные (воображаемые, возможные и т. п.) миры“ и понятия „Мир-Вселенная“ обычно никак не связываются и предстают как два различных процесса» [Степанов 1994, с. 4]. Ведь первый является предметом логики, а второй — естествознания. Но «это — один и тот же процесс концептуального развития» [там же], потому что новый реализм предполагает распределение концептуализма между реализмом и номинализмом.

Чтобы каким-то образом обозначить положение «сверхчеловека» в новой реальности (как пространства нового реализма), рассмотрим спецификацию сверхчеловеческого у юнгианца Э. Бенца [Benz 1960] (не упуская из вида фукианско-делезовское понимание сверхчеловеческого, о котором подробнее ниже).

П. Успенский справедливо подчеркивает: «Идея сверхчеловека стара как мир» [Успенский 1993, с. 128]. Это утверждение вполне отражает также и позицию К. Г. Юнга, который рассматривал в качестве сверхлюдей мифологических героев, сверхчеловеческие существа, боголюдей и вообще все те образы, которые так или иначе отражают процесс и реализацию трансформации субъективности. Он проводит это рассмотрение на обширном мифологическом и культурологическом материале. Что касается европейской культуры Нового времени, то Э. Бенц предлагает классифицировать эти вариации на тему сверхчеловека следующим образом.

Во-первых, это сверхчеловек как носитель абсолютной политической власти, реализующий свою сверхчеловечность через ее волевую компоненту, которая и ограничивает власть до исключительно политической. Такой сверхчеловек является героем «Государя» Макиавелли или «Тамерлана Великого» К. Марло. Последний утверждает, что

«... быть царем завиднее, чем богом:

Я думаю, что царские утехы

Неведомы богам на небесах» [Марло 1961, с. 72].

Он отказывается от абсолютной власти в пользу власти земной. Конечно, он в некоторых случаях использует и магическую силу, которой естественным образом обладает. Так, скажем, глаза Тамерлана сравниваются с магическими «стеклами», то есть кристаллами. Именно этот тип сверхчеловека позднее будет трансформирован в «белокурую бестию», произвольно манипулирующую людьми. При всем своем показном стремлении к упорядочению мира на рациональной основе сверхчеловек-«бестия» также не чурается использовать при этом всякого рода оккультные знания. Однако и государю и бестии в равной мере чужда мистическая отрешенность.

В современной же культуре, согласно делезовскому представлению о сверхскладчатой основе компьютерной виртуальности, он воплотился в образе «компьютерного гения», который манипулирует уже реальными, но виртуальными людьми, то есть, по сути дела, техникой, с помощью которой они создаются. Это упрощает и усиливает власть такого сверхчеловека и вполне согласуется с концепцией тоталитарности Э. Фромма, потому что в этом случае сверхчеловек-«властелин» управляет идеальными подчиненными искусственного происхождения.

Второй тип новоевропейского сверхчеловека — это маг, владеющий тайнами природы. Этот тип воплотился в образе героя легенды о Фаусте и ее многочисленных литературных обработок. Среди них выделяются «Фауст» Гете и «Трагическая история доктора Фауста» К. Марло.

Архетипика образа Фауста отсылает к ситуации, когда человек, утомленный тривальностью обыденного и ожиданием райского блаженства, решает здесь и сейчас попытаться справиться с «Духом Тяжести» христианских представлений о природе человека. Однако такого рода «легкость» так или иначе оборачивается пагубным легкомыслием. И перед героем разверзается «шизофреническая бездна», сюжетно выраженная в виде расплаты за удовольствия, полученные от Дьявола. На первый взгляд танцующий и легкий Мефистофель оказывается еще более подходящей кандидатурой на роль «Духа Тяжести», поскольку в его образе воплощается грядущее возмездие за легкость.

Но при этом земная власть Фауста и продолжительность ее действия конечно же превышают человеческие возможности. Особенно интересным аспектом в этой связи оказываются его представления об области применения этой власти:

«... те чудеса, что магия свершит,

Тебя от прочих знаний отвратят.

Кто астрологии постиг основы, —

Обогащен познанием языков,

Уразумел природу минералов» [Марло 1961, с. 218].

«Познание языков» и «природы минералов» в этом случае выглядит как метафора овладения вероятностной компьютерной реальностью, базирующейся на «складчатости потенциалов кремния» [Deleuze 1986, p. 140] и языках программирования. Очевидно, что в этом случае этот вид формы-Сверхчеловек соотносится с предыдущим видом. Однако, несколько забегая вперед, скажем, что более адекватным образом постсовременного воплощения этого вида формы-Сверхчеловек является индивид, осознавший свой трансперсональный опыт в качестве такового.

Пути такого осознания могут существенно различаться между собой: их разнообразие простирается от достаточно радикальных тибетских практик перерождения по «Бардо Тхотрол», трансформирующих природу индивидуальной субъективности, до осознания трансперсональных аспектов повседневности. Уже не вызывает сомнения то, что, в принципе, это просто разные формы одного и того же процесса, ведь состояние бардо присутствует в каждом моменте бытия, и именно это обуславливает бытийную процессуальность, потому что обозначает ежесекундное возникновение или угасание возможных миров.

В принципе, все это можно рассматривать как процесс осознания субъектом своих собственных границ, а «„новый реализм“ акцентирует, бесспорно, именно концепт *границы* — „новой“ границы возможностей субъекта в познании „достаточных оснований“, границы его „возможного мира“, границы между отдельными его фрагментами, границы „внешнего“ и „внутреннего“, „поверхностного“ и „глубинного“» [Руденко 1999, с. 362]. В таком случае получается, что под сверхчеловеком следует понимать индивида, непрерывно осознающего собственные границы и балансирующего между теми или иными возможностями самореализации.

Массовая культура XX века предлагает нам развитие этой темы в образе супермена. Это, вопреки распространенному мнению, не просто продукт перцепции ницшеанских идей американским прагматизмом в его популяризированной форме. Он существенно отличен от *overman*'а (а именно такова традиция перевода ницшеовского *übermensch*). Он не возвышается над бытием, а, снова же, пребывает на границе между ним и собственной субъективностью.

Во многом это иллюстрирует мысль о том, что «*категория субъекта — центральная категория современной прагматики*» [Степанов 1998, с. 700]. В таком случае осмысленность и абсурдность языковых миров не вступают в противоречие между собой, а практически взаимодействуют. Ю. С. Степанов конкретизирует эту мысль так: важно не то, что люди говорят, а как и зачем они это говорят (то есть, если перефразировать это в терминах семиотики, для человеческого общения важна не семантика, а прагматика

высказывания). А это, в свою очередь, обусловило тот факт, что «в настоящее время „проблема субъекта“ характеризует весь комплекс гуманитарных наук» [Там же, с. 698].

Вот почему, как ни парадоксально это звучит, образ *superman*'а совершенно не соотносится с той или иной абстракцией человеческого, он совершенно реален, хотя эта реальность носит исключительно вероятностно-фантастичный характер. Э. Бенц настаивает на том, что этот образ развивает линию «Государя», сверхчеловеческие способности которого подкреплены мощью современной техники. Это, снова же, свидетельствует о тесной взаимосвязи воплощений сверхчеловеческого. Однако политическая власть *superman*'а выглядит более чем сомнительной: сограждане то и дело выражают ему свое недоверие, будучи не в силах постигнуть смысл его действий. К тому же (особенно это касается другой вариации на тему *superman*'а — *batman*'а), сочетание в его натуре божественного и brutального не позволяет ему стать полноправным властителем: он то и дело оказывается на социальных маргиналиях. Во всяком случае, в повседневной жизни *superman*, как правило, человек маленький (даже в последнем сериале о нем — *Лоис и Кларк. Новые приключения Супермена* — он работает простым репортером) и обретает сверхъестественную силу только время от времени.

Третья предложенная Э. Бенцем форма воплощения сверхчеловеческого — «божественный» и всемогущий художник. Эта форма в значительной степени реализовалась в мифах о «титанах» эпохи Возрождения. Но их «титаничность» во многом и состояла в том, что они с легкостью интегрировали в себе «бога и зверя», являясь «творениями неопределенного образа», по определению Пико делла Мирандола. Однако он не видел в этом ничего сверхчеловеческого, считая эту неопределенность атрибутом человеческого в целом.

Но только «титаны» были способны полностью реализовать эту неопределенность со всем многообразием вариантов, содержащихся в ней. Попытки искусственного распространения такого рода подхода к сущности человека не имели тотального успеха. В качестве примеров можно назвать вагнеровскую теорию синтеза искусств и проект русского авангарда, со временем слившиеся с тоталитарной государственностью. Но сегодня, когда новый реализм позволяет «увязать в рамках одной теории проблемы языкознания, психологии, социологии и истории культуры» [Степанов 1998, с. 31], мы в каком-то смысле возвращаемся к возрожденческому идеалу универсального художника, который может приложить свои таланты к любой сфере деятельности.

Но теперь такой художник в широком смысле этого слова все чаще маркируется не как собственно художник, а как поэт. Не вызывает сомнения,

что это во многом связано с тем, что постсовременный мир не может быть осмыслен с помощью метафизики присутствия, в нем логофоцентризм в значительной степени потеснен деконструктивным письмом. В этом случае идеальным творцом становится художник-концептуалист, комбинирующий в своем творчестве элементы разных видов искусства, причем без какой-либо претензии на глобализацию своего творчества, как это было в случае Р. Вагнера и его последователей, которые рассматривали в качестве поля для реализации своих художественных проектов весь доступный их восприятию мир.

Изменение этой ситуации в какой-то степени обусловлено и тем, что, как уже упоминалось, новый реализм предполагает распределение концептуализма между реализмом и номинализмом. Эта ситуация отражает баланс между вероятностью и реальностью, свойственный постсовременной культуре. Несмотря на то, что разница между концептуализмом как философским направлением и концептуализмом как художественным направлением очевидна, а новый реализм не может быть отождествлен с концептуализмом, представляется, что художник-концептуалист адекватнее всего воплощает образ гения в постсовременной культуре, а также в ситуации нового реализма.

И именно он оказывается наиболее склонным к слиянию искусства и теории искусства, творческого акта и критической рефлексии, что является одним из сущностных признаков нового реализма. Художник-концептуалист вполне вписывается в мифопэтику сверхчеловеческого. «По Аристотелю [а его вклад в теорию нового реализма трудно переоценить. — Н. З.], — пишет У. Эко в контексте сверхчеловеческого мифа, — трагическое открытие состоит в том, что, когда персонаж [имеется в виду сверхчеловек. — Н. З.] проходит одновременно через происшествия, неувязки, жалкие случайности и ужасы, все это завершается катастрофой; романтическое открытие — я считаю — состоит в том, что, когда эти драматические узлы развязываются серийным производством, которым и сочленяются, становясь своим собственным концом в популярном романе, они должны умножаться *ad infinitum*» [Еко 1993, р. 118]. А что же как не комикс, наиболее популярная форма визуального концептуализма, выразительнее всего воплощает эту бесконечность? Супермен же впервые появляется на свет именно как герой комикса.

Другой источник и составная часть нового реализма — патристика воскрешает образ сверхчеловека-мага, трансформирующегося, однако, в православного мистика. Идея этой трансформации хорошо выражается в постановке проблемы *двоеверия* как «постоянного состояния общества» [Степанов, Проскурин 1993, с. 3]. Такой мистик выходит за пределы человеческо-

го, не заглядывая при этом в шизофренично-инфермальную бездну (как это произошло с Фаустом), но и не отрываясь при этом от реальности.

Эта ситуация отражается в переходе от сугубо пространственного к пространственно-временному восприятию мира и проявляется в создании сакральных алфавитных текстов, которые могут интерпретироваться в качестве концептуалистских текстов. Алфавитное построение как символизация цикличности переплетается здесь с выраженным религиозным содержанием. Это еще раз подчеркивает взаимосвязь воплощений формы-Сверхчеловек в рамках нового реализма.

С этими формами связано и семиотическое «господство» над дискурсивной стихией, как это убедительно показал Р. Барт. Этот «господин», конечно, продолжает линию сверхчеловека как макиавеллиевского «государя» или «компьютерного гения», но в значительной степени отличается от них. Это господство письма, которое уже совершенно *атопично* (снова Р. Барт), оно не отменяет войну языков (т. е. дискурсов), но смещает ее [Барт 1994, с. 540]. Такого рода господство может быть соотнесено скорее не с господством в гегелевском смысле этого слова, а с желанием, превращая «господина» из завоевателя «старого» мира в творца ментальных миров.

Учитывая все вышесказанное, представляется, что лейтмотивы реалистического понимания — «„пространство“, „ментальный мир“, „дискурс“, „язык“, философствование о языке» [Степанов 1998, с. 689] — порождают новый тип субъективности и это — сверхчеловек в «новореалистичном» понимании этого образа-концепта.



Тем не менее образ-концепт сверхчеловека в философии, как правило, все еще воспринимается — особенно непрямыми участниками процесса философствования, наблюдателями со стороны — в качестве некоей абстракции, некоего идеала, к которому должен стремиться человек. Отклонения от такого подхода могут заключаться только в радикальном изменении отношения к этому идеалу, когда человеку советуют избегать посягательств на статус сверхчеловека в связи с его явно негативной маркированностью. Тут идет речь о лукиановском сверхчеловеке-тиране, «белокурой бестии» и прочих сверхчеловеках, с которыми постсовременный реальный человек вряд ли сможет символически самоотождествиться и, следовательно, рассматривать в качестве идеала.

В любом случае речь идет о чем-то иллюзорном, в крайнем случае фантазматичном или воображаемом в лакановском смысле этого слова. Образ-концепт сверхчеловека понимается как «нарциссическая самость», которая

«способна к многочисленным идентификациям, но не имеет идентичности; в избегании последней — весь смысл ее существования („я не есть я“)» [Романов 1998, с. 252]. Постсовременная культура помещает такого рода субъективности-самости в самые благоприятные условия, поскольку нарциссичность является одной из неотъемлемых черт индивида, успешно взаимодействующего с ней [см., например, Смирнов 1994, с. 1994].

Возможно, что именно так создается «„жизненный мир“» [*Lebenswelt* Э. Гуссерля. — Н. 3.], мир, складывающийся из мнений о мире, — *doxa*» [Степанов 1985, с. 207]. И это один из этапов естественного становления сознания. Однако в данном случае речь идет скорее не об этом мире, а о «промежуточном мире» (*Zwischenwelt*) Л. Вейстербера, «который складывается из значений языка и стоит между сознанием человека и объективным миром» [там же].

Идея этого мира восходит еще к идее «особой картины мира» Б. Спинозы. Она представлялась ему наиболее адекватной и создавалась при помощи его же собственной философии. Такой подход сразу же приводит к вопросу о сверхчеловечности гения. Он, конечно, всегда в какой-то мере нарциссичен, но только в той мере, которая позволяет ему создавать свой собственный мир, в ходе создания которого гений, собственно, и утверждается в качестве такового. Немного отвлекаясь и забегая вперед, отметим, что это касается не только сверхчеловека-гения, но и сверхчеловека-героя. Так, например, в древнегреческой мифологии эпизод с участием Медузы Горгоны присутствует только в мифе о Персее и примыкающих, а с участием лернейской гидры — только в Гераклиаде. Таким образом, герой всегда создает собственный мир, используя, конечно, и элементы «старых» миров.

Такой *Zwischenwelt* отличается от *Lebenswelt* тем, что породившее его сознание вполне осознает искусственность этого мира и тем не менее признает его реальность и заставляет других хотя бы отчасти признать ее в качестве таковой. Но это, конечно, не объективная реальность, а реальность языковая, новая. В каком-то смысле *Zwischenwelt* может быть соотнесен с образом-концептом складки М. Фуко — Ж. Делеза. Ведь «ключевое слово нового философствования („между“ чем-то и чем-то) — „пространство“» [Степанов 1998, 655]. А метафора складки выглядит как наиболее точное воплощение языкового пространства философствования. Складка презентует промежуточное положение этого пространства, она всегда образуется на границе между членами той или иной бинарной оппозиции. Ж. Делез выделяет четыре таких оппозиции и, следовательно, четыре складки субъективации, о которых идет речь в работах М. Фуко: 1) тело, его удовольствия и вожделение; 2) соотношение сил; 3) сущность и истина; 4) бессмертие или смерть (Deleuze 1986, 111–114). Однако, поскольку складка своим *вздыма-*

нием (использование терминологии М. Хайдеггера представляется нам весьма уместным, хотя последний и олицетворяет несколько иную традицию философствования о связи пространства с субъективностью) всегда провоцирует «рябь», затрагивающую всю разделительную поверхность, всегда расположена между двумя другими складками, то в этом случае речь может идти не о единичной складке, а о некой *сверхскладчатости*, что позволяет деконструировать бесконечное количество бинарных оппозиций.

Одна из таких оппозиций, в некотором смысле символизирующая оппозитивность вообще и чрезвычайно важная в обсуждаемом контексте, — это оппозиция страты и стратегии, которая может быть отождествлена с оппозицией идеологии и гносеологии. Именно на границе между ними и может сформироваться складка как пространство мысли и субъективности. «Мыслить — означает сгибать, удваивать внешнее равнообъемным ему внутренним. Общая топология мысли, которая началась уже „по соседству“ с сингулярностями, теперь завершается складыванием внешнего во внутреннее: „внутри внешнее, и наоборот“» [Deleuze 1986, p. 126; см. также Deleuze 1988], снова размышляет Ж. Делез по поводу теперь уже *Истории безумия* М. Фуко. Если же этот хрупкий баланс, тонкое различие внешнего и внутреннего, разлагивается, то мы получаем либо образ полубезумного гения-интроверта (во многом именно это так сближает темы гениальности и помешательства), либо пресловутой белокурой бестии.

Но принципиальная полискладчатость, или сверхскладчатость, умножающая возможные пространства языковой игры, воскрешает образ-концепт сверхчеловека-игрока и танцора. Так же как и у Ф. Ницше, здесь имеются в виду по большей части языковые игры и «танцы», подразумевающие легкое, но не легковесное отношение к языковой реальности. И, несмотря на то, что он предлагал «танцевать» как головой, так и ногами, телесность здесь явно выступает в качестве феномена языкового или семиотического.

«... Язык не является источником развития философии или искусства, но он в определенной мере (которую не следует преувеличивать) „придаёт изгиб“ линии их развития. Язык в этом утверждении понимается не как тот или иной отдельный, конкретный, национальный, этнический или, как еще говорят, „идиознтический“ язык, а как человеческий язык вообще, рассматриваемый со стороны его общих свойств, логико-лингвистических констант», — пишет Ю. С. Степанов [Степанов 1985, с. 5], очень точно обозначая взаимосвязи постнеклассической философии с языком. Кроме того, здесь намечена еще одна важная для нас тема — тема «человеческого языка вообще», который также может быть обозначен как «ментальный язык» [Линкер 1999]. Этот язык никак не соотносится с так называемой гипотезой Сепира — Уорфа. Скорее, это то, что можно назвать «ментальным языком».

Ведь «чтобы эти языки могли служить целям мышления и рассуждения, они должны выглядеть намного более похожими друг на друга, чем их разговорные варианты, и, скорее всего, это вообще один и тот же язык: универсальный ментальный» [*там же*, с. 49]. И именно такой подход делает возможным метафоризацию пространства мысли и субъективности в качестве *складки*, потому что «в настоящее время мы должны рассматривать проблему языковой относительности как часть более общего вопроса о позиции наблюдателя при исследовании культуры и языка» [Степанов 1998, с. 43], то есть того, кто имеет возможность осознать эту относительность и определить свою позицию по отношению к ней.

А принципиальная *сверхскладчатость* [Deleuze 1986, p. 131–141], которую она провоцирует, в свою очередь, делает возможным новое осмысление образа-концепта сверхчеловека.

В таком случае этот образ-концепт целиком попадает в сферу философской «языковой игры», но в эту же сферу попадает и сама постсовременная культура и постсовременный мир в целом. Это происходит после того, как философы жизни (к которым, с большим количеством оговорок, мы все-таки причисляем и Ф. Ницше) тематизировали сумерки и закат европейской культуры, одновременно со смертью/концом истории, искусства, человека/субъекта и т. п. После этого «апокалипсиса» как раз и возникает, *реализуется, разворачивается и раскладывается* воображаемый мир, населенный сверхчеловечеством. Понятно, что этот мир вовсе не утопичен, поскольку он создается не на пустом месте и не на руинах до основания разрушенной «старой» реальности, а путем ее творческого преобразования. А в таком случае количество таких миров потенциально бесконечно. Ж. Деррида прямо связывает *конец человека* в одноименной книге с актуализацией архетипики сверхчеловеческого, связанной с «активной забывчивостью» «знания» в пользу мечты, воображения (*dream*) [Spivak 1976, p. XXX].

Образ-концепт «сверхчеловека» остается ключевым термином философствования.

Литература

- Барт Р. Война языков / Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994.
- Марло К. Сочинения. М., 1961.
- Пинкер С. Языковой инстинкт // Логос, 1999, № 8–9.
- Романов И. Ю. Lebenswelt сверхчеловека: к психоаналитическому диагнозу постсовременности // Философские перипетии. Вестник ХГУ, 1998, № 409.

- Руденко Д. И.* Книга, которая (не) получилась // *Философия языка: в границах и вне границ.* Х., 1999. Т. 3—4.
- Смирнов И. П.* Психодиахронологика. Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней. М., 1994.
- Степанов Ю. С.* В трехмерном пространстве языка. Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства. М., 1985.
- Степанов Ю. С.* Пространства и миры — «новый», «воображаемый», «ментальный» и прочие // *Философия языка: в границах и вне границ.* Х., 1994. Т. 2.
- Степанов Ю. С.* Язык и метод. К современной философии языка. М., 1998.
- Степанов Ю. С., Проскурин С. Г.* Константы мировой культуры. Алфавиты и алфавитные тексты в периоды двоеверия. М., 1993.
- Успенский П. Д.* Новая модель вселенной. СПб., 1993.
- Benz E.* Der dreifache Aspekt des Übermenschen // *Eranos-Jahrbuch*, 1959. Bd. 28. Z., 1960.
- Deleuze G.* Foucault. P., 1986.
- Deleuze G.* Le pli. Leibniz et le baroque. P., 1988.
- Eco U.* De Superman au Surhomme. P., 1993.
- Foucault M.* Les mots et les choses. Un archeologie des sciences humaines. P., 1966.
- Spivak G. C.* Translator's Preface // *Derrida J. Of Grammatology.* Baltimore and London, 1976.

Язык этики или этика языка? О деонтологии науки

Специализированные отрасли человеческой деятельности, помимо общезначимых принципов (вроде не оубій, не оубради и т. п.), руководствуются — или должны руководствоваться — специальными нормами профессиональной этики (см. Степанов 1997а: 355). На вопрос, почему должны, есть лишь один ответ: потому что нарушение профессиональных этических норм может обесценить и обесмыслить данный вид деятельности. По этой причине всякий раз, собираясь пересмотреть те или иные нормы, мы должны отдавать себе отчет в том, какие именно ценности соотносятся с отбрасываемыми нормами, и, если эти ценности не подлежат пересмотру, нам не остается ничего другого, как сохранить нормы в неприкосновенности.

Очевидно, что те или иные профессиональные этические нормы связаны со спецификой данного вида деятельности в отличие от всех остальных. Поэтому, чтобы уяснить природу и характер научной этики, надо сперва уяснить себе своеобразие науки. Ее специфика обусловлена не только тем, что основная цель науки — познание, и даже не тем, что научное познание — в отличие, например, от религиозного или художественного — обладает, если можно так выразиться, свойством принудительной истинности (в эмпирических науках теория считается истинной до тех пор, пока она не опровергнута или хотя бы потеснена другой теорией, которая имеет не худшую фактологическую базу, но при этом несовместима с первой). Существо научного познания заключается прежде всего в том, что его результаты должны быть изложены определенным способом, причем способ этот проистекает из стремления добывать знание, которое могло бы носить общеобязательный характер. Если мы не заняты психологией творчества, нам не важно, как ученый пришел к своей теории: индуктивно, дедуктивно или интуитивно, — важно, как он эту теорию изложил. Иными словами, специфика науки напрямую связана с ее языком, с его синтактикой, семантикой и прагматикой. Предельное выражение эта тенденция находит в предложениях типа: *наука — это язык; нет научного содержания, есть лишь научное выражение* (см. Шапир 1993: 128–129; 1995а). Это верно в том смысле, что нет

собственно научных идей, теорий, гипотез: та или иная идея может стать научной, художественной или религиозной в зависимости от того, как она изложена.

Конечно, это не значит, что религия, искусство и наука отличаются друг от друга не содержанием, а выражением. Всем областям духовной культуры свойственна более тесная, чем в быту, связь между мыслью и словом, или, что то же самое, повышенная содержательность формы (см. Шапир 1993: 128–131; 2000: 10–17). Сущность этой формы — в гибкости выразительных средств, пусть и за счет их общедоступности. Это сближает язык науки со всеми прочими языками духовной культуры, которые из двух основных функций человеческой речи — выразить смысл и его передать — оказывают предпочтение первой, служа главным образом для выявления содержания, воплощаемого по возможности полно и наиболее адекватным способом. При этом содержание и выражение взаимно ограничивают друг друга: смысл литургии невыразим на языке математики, и наоборот. Поэтому можно сказать, что одна и та же идея, будучи «рассказанной», например, языком искусства и языком науки, становится в каком-то смысле двумя разными идеями.

Отсюда следует важный вывод: язык науки накладывает пути на ее содержание, устанавливая тем самым пределы научного познания. Но было бы наивно думать, что цель науки — полное, абсолютное и безграничное знание о мире. Вместе с тем знание, к которому стремится наука, призвано быть универсальным, общеобязательным для всех членов международного научного сообщества. Более того, неполный и относительный характер научного знания является неминуемой расплатой за его общеобязательность, или, как это принято называть, за его объективность. Тем, кому эта цена кажется непомерно высокой, сто́ит напомнить, что познание не является привилегией науки и с успехом может осуществляться за ее границами. Не беда, если науке недоступно (или пока недоступно) то, что давно доступно другим областям культуры, — будем довольствоваться тем, что многие знания и умения достигнуты исключительно наукой или при ее посредничестве. Слишком увлеченно раздвигая границы научного познания, мы рискуем уничтожить саму науку и лишиться даже того, что имеем.

Благодаря интимной связи между содержанием и выражением ценности духовной культуры распространяются на соответствующие языки. В силу этого «этические предписания формулируются в каждом из альтернативных (ментальных. — М. Ш.) миров особо и зависят от его языка» (Степанов 1998: 740). В рамках нашей культурной традиции знание, на которое нацелена наука, без сомнения, относится к числу фундаментальных культурных ценностей: оно ценно само по себе, ценно независимо от того, что еще оно

может дать; и так как научным это знание делает способ изложения, он тоже получает высокий аксиологический статус. Вот почему не будет преувеличением утверждать, что основным содержанием собственно научной этики является этика языка, то есть строгое соблюдение норм научного языкового поведения.

В общем виде эти нормы, или требования к языку науки, столь же просто сформулировать, сколь непросто исполнить. Научные высказывания должны отличаться четкостью, ясностью, логической непротиворечивостью и поддаваться проверке, то есть быть в принципе доказуемыми либо опровержимыми: претендовать на научность может только такое знание, которое способно оказаться как истинным, так и ложным, — «вечные истины» к науке не имеют никакого отношения (ср. Popper 1935). На деле эта лаконичная заповедь разрастается в развернутую систему запретов и рекомендаций, существующую в форме логико-методологических образцов, или «парадигм», дающих «научному сообществу модель постановки проблем и их решений» (Kuhn 1962: X). Содержание этих «парадигм» сколько-нибудь систематически излагается только в работах по логике и методологии науки, которые по отношению к научному языку играют роль своего рода грамматик. Правда, сомневаясь в их адекватности, ученые в эти грамматики почти не заглядывают. Знание языка науки приобретается скорее практическим участием в научном исследовании, нежели усвоением правил, регулирующих научную деятельность (см. Kuhn 1962: 46 и др.). Но это в равной мере касается и «естественных языков»: рядовой их носитель к помощи грамматик тоже прибегает нечасто, и это не мешает ему худо-бедно соблюдать языковую норму, но и не помогает исправлять языковые ошибки. Указание на то, что разные логико-методологические системы по-разному определяют правила грамматики научного языка, так же мало мешает проводимой аналогии, как и историческая изменчивость этих правил: разве мы не сталкиваемся постоянно с разными грамматиками одного языка и разве грамматика языка не меняется с течением времени?

Ни изменчивость, ни относительность логико-методологических правил не отменяют ценности научного языка, как такового, так же как они не ставят под сомнение уместность и необходимость его своеобразной грамматической урегулированности. Природа этих правил проистекает из претензии науки на объективное, общезначимое знание, и, хотя обязательность эпистемологических норм ничуть не выше, чем этических, нарушение тех и других еще не означает их отсутствия. Нарушение нормы может быть исправлено, отказ от нормы непоправим.

Телеологию этических норм научного языка удобно наблюдать на таком, казалось бы, второстепенном явлении, как роль цитаты и ссылки. Особое

место, какое в научной грамматике занимает проблема чужой речи, меньше всего связано с императивом не оукради. Слов нет, красть грешно, но запрет на присвоение чужого в науке формулируется и исполняется не строже, чем за ее пределами, а потому он никак не может служить для ее спецификации. Плагиа́т в искусстве столь же позорен, как в науке, но статус цитаты там и там совершенно разный. Ссылки при цитировании, неизбежные в ученом труде, сплошь и рядом отсутствуют, например, в поэтических произведениях. Когда Ломоносов предпринимает Елисавете:

(...) Ни гнѣвъ стихій ни ветха древность
 Похвалъ Твоихъ не пресѣчь,
 Къ Тебѣ усердной музы пламень,
 Вѣчныя нежель твердый камень (...),

он, безусловно, цитирует оду Горация «К Мельпомене» (Carm. III, 30), но никак не декларирует своего заимствования (Шапир 1999б). *Ни гнѣвъ стихій ни ветха древность* — эта строка синтаксически и семантически повторяет Горация, чей «памятник» не смогут разрушить «ни едкий дождь, ни яростный Аквилон, ни вереница бесчисленных лет». (...) *Къ Тебѣ усердной музы пламень, // Вѣчныя нежель твердый камень* (...) — твердость камня играет здесь ту же роль, что и прочность меди у Горация, а сравнительная форма *вѣчныя* выступает эквивалентом латинского *perennius*, то есть сравнительной формы прилагательного *perennis* 'прочный, долговечный, вечный': *Exegi monumentum aere perennius* (в передаче Фета: *Воздвигъ я памятникъ вѣчнѣе мѣди прочной* (...)).

Примеров, свидетельствующих, что ссылки в художественном тексте факультативны, разумеется, сколько угодно. В первой главе «Евгения Онегина» говорится о воспетой Назоном «Науке любви» (I, VIII, 10), однако в седьмой главе ту же поэму Овидия Пушкин цитирует, не называя автора и не отмечая самого факта цитаты: *У ночи много звѣздъ прелестныхъ, // Красавицъ много на Москвѣ* (7, LII, 1–2). Вряд ли в этом парафразе Овидия: (...) *Quot caelum stellae, tot habet tua Roma puellas* = (...) *Сколько на небе звезд, столько в твоём Риме молоденьких женщин* (Ars amat. I, 59) — кто-нибудь захочет увидеть плагиат, равно как и в ломоносовском парафразе Горация (см. также Шапир 1997а; 1999а). Поэтому название статьи М. О. Гершензона (1925) — «Плагиаты Пушкина» — воспринимается не иначе как метафора (ср. Гиппиус 1930). И дело не в том, что источники цитат известны и легко узнаваемы: до недавнего времени они не были указаны ни в одном комментарии или исследовании, а значит, они не так уж очевидны. Дело в том, что чужое слово в поэтическом произведении внедрено в совершенно иную семантическую структуру, нежели в произведении научном.

Смысл слова во многом зависит от контекста, но в поэзии это контекст, в первую очередь, синтагматический, определяемый местоположением слова в тексте, а в науке это контекст, в первую очередь, парадигматический, определяемый местоположением термина в концепции. Как писал А. В. Исаченко, «для того, чтобы „понять“ данный термин, надо понять всю теорию и надо знать место, занимаемое данным термином в рамках этой теории» (1962: 24). Таким образом, научная ссылка — это как минимум указание на тот парадигматический контекст, из которого слово, выражение или высказывание извлечено. Из тезиса Исаченко также вытекает, что один и тот же термин в разных теориях может иметь разное значение; этот феномен, о котором знает любой историк науки, у Т. С. Куна (Kuhn 1970) и особенно у П. Фейерабенда (Feuerabend 1975) был радикализован как принцип «несоизмеримости» теорий. Поэтому научная ссылка есть еще и средство избежать эквивокации: если в языке поэзии одновременная актуализация двух значений, как правило, только приветствуется (см. Шапир 2000, 12–17; Перцов 2000), то в науке она приводит к нежелательным логическим ошибкам.

Даже неточная научная цитата претендует на аутентичность; даже точная поэтическая цитата обычно функционирует как приблизительная, ибо провоцирует смысловой сдвиг. Графическая выделенность чужих слов в художественном произведении еще ни о чем не говорит: *И ты, и я — мы все имели честь // «Мир посетить в минуты роковые»* {...} («Дом Поэта», 1926). Второй из этих стихов заключен Волошиным в кавычки, хотя это не более чем парафраз. Поэтическая цитата, обыгрывающая семантическое различие между цитируемым и цитирующим контекстом, по своей природе метафорична; научная цитата, ориентированная на семантическое тождество двух контекстов, по своей природе метонимична (точнее, она являет собой синекдоху, ибо представляет и замещает цитируемый источник целиком). Между прочим, метонимичность цитаты связана в науке с неполнотой и относительностью знания, обреченного иметь коллективный характер: исследовательские труды — как правило, фрагменты общей «постройки», и недостающие части конструкции восполняются ссылками на коллег. Те же самые неполнота и относительность заставляют ссылаться на чужие работы и тогда, когда выводы коллег противоречат нашим собственным: требование объективности и проверяемости предполагает возможность обсуждения всех аргументов и контраргументов.

Сказанного достаточно, чтобы понять, в какой степени затронутый аспект научного дискурса зависит от его общих задач. Неточное, недобросовестное цитирование отдаляет нас от глобальной стратегической цели, которую преследует наука, а измена этой цели противоречит самой сути научной этики и может привести к девальвации исследовательской рабо-

ты как таковой. Этот вывод банален, и в нем не было бы нужды, если бы нормы цитирования и другие законы научного языкового поведения не попирались на каждом шагу. Иногда кажется, что мы уже смирились с тем, что во многих, в том числе в основополагающих, работах игнорируются труды предшественников и оппонентов; содержатся в принципе не проверяемые утверждения; отсутствуют определения базовых понятий, не имеющих общепринятого толкования; нарушаются основные законы логики и методологии науки: законы тождества, противоречия, исключенного третьего и закон достаточного основания (см. об этом, например, Шапир 1989; 19976; а также Степанов 1997а: 726–727; 19976: 666).

Если такое обращение с языком науки позволяют себе позитивисты, чего тогда ждать от представителей философского авангарда и постмодерна? С этой точки зрения наиболее примечателен эпистемологический анархизм П. Фейерабенда. В его дерзкой и остроумной книге «Против методологического принуждения» основной постулат формулируется в терминах этического нигилизма: «... нет такого правила, сколь угодно правдоподобного и эпистемологически обоснованного, которое не было бы нарушено в то или иное время»; «... единственным „правилом“, всегда остающимся в силе, является правило „все дозволено“» (Feuerabend 1975: 23, 296). Как видно уже из этих цитат, свой главный «методологический» принцип Фейерабенд мотивирует исторически: в науке постоянно возникают споры и противоречия, допускаются ошибки и разрабатываются тупиковые направления, пересматриваются не только конкретные решения, но и методологические предписания, одним словом, происходит черт знает что, и тем не менее наука развивается — значит, делает вывод Фейерабенд, «допустимо все»: *anything goes*, или, в немецком переводе книги, *tach, was du willst* (Feuerabend 1975: 28; 1976: 45).

К сожалению, положение дел в современной науке нередко само дает повод для нигилистической этики. «... Шайки интеллектуальных паразитов, — негодует Фейерабенд, — разрабатывают свои убогие проекты на деньги налогоплательщиков и навязывают их молодому поколению в качестве „фундаментальных знаний“» (Feuerabend 1976: 17 Апп. 6; как пример никчемной «интеллектуальной моды» фигурирует «лингвистическая философия»). Но дело у Фейерабенда отнюдь не исчерпывается критикой науки: эпистемологический анархист предпринимает критику научности. Он показывает, что при разработке теорий, которые современная наука числит среди своих достижений, не раз допускались логические противоречия и фактические несообразности. С другой стороны, даже плохие, позднее отброшенные теории были небесполезны: согласно Фейерабенду, не существует идеи, сколь

бы устаревшей и абсурдной она и казалась, которая была бы неспособна улучшить наше познание (Feuerabend 1975: 47 и др.).

Все это во многом справедливо, но требует существенной оговорки: взгляды Коперника и Галилея не потому попали в число научных достижений, что были противоречивы и плохо согласовывались с фактами, а потому, что эти внутренние и внешние противоречия впоследствии удалось устранить. Палеонтологический анализ языка или теория церковнославянско-русской диплоссии, возможно, были бесполезны для языкознания, но не потому, что они достаточно плохи, а потому, что недостаточно хороши: успех возможен только на пути рационально-критического их анализа и при условии осознания их дефектов. Ясно, что из ложной посылки или с помощью некорректного умозаключения можно получить истинный вывод. Но науку не интересуют чистые выводы: ее цель не оправдывает средства. Путь к истине для науки не менее важен, чем сама истина (разумеется, этот путь я понимаю не историко-психологически, а логико-методологически и этико-лингвистически).

Фейерабенд, однако, свои исторические наблюдения резюмирует совсем по-другому: наука, которая постоянно ошибается и противоречит, расходится с фактами и выдумывает мнимости, ничем не лучше религиозного мифа. Поэтому привилегию на общезначимость у нее надлежит отнять: «... освободим общество от удушающей власти идеологически окаменевшей науки, как наши предки освободили нас от удушающей власти Единственной Истинной Религии!» (Feuerabend 1975: 307). В самом деле, учение Н. Я. Марра или ему подобное — феномен не столько научный, сколько идеологический. Но наука может не быть идеологией и не должна быть идеологией. Даже если Фейерабенд прав и на свете действительно нет ни одной теории, вполне совместимой с фактами, это свидетельствует лишь о том, что ни одна теория не может считаться принудительно истинной, а вовсе не о том, что к таким теориям не нужно стремиться. Если бы науке пришлось выбирать между истиной и объективностью, на мой взгляд, стоило бы отдать свои симпатии последней: ученым скорее пристало оперировать с объективно ложной информацией, чем с субъективно истинной. Фейерабенд рассудил иначе: «... реформа наук, которая сделает их... более субъективными... в высшей степени необходима» (Feuerabend 1975: 175). Методологический субъективизм имел бы свои резоны, если бы наука была единственной формой духовной культуры. Но поскольку это не так, желание отнять у науки ее интересующую принудительность может нас лишить одного из важнейших языков.

Фейерабенд по натуре авангардист (не случайно свою методологию он называет дадаистской). Его концепция направлена против застоя: лозунг

большие теории хороших и разных — Фейерабенд называет это «всемерной пролиферцией теорий» — призван, по мнению философа, способствовать прогрессу познания. Но, как и всякий авангард, методологический дадаизм Фейерабенда прокладывает дорогу постмодернистской реакции. Критика науки и научности, так же как намерение лишить науку ее специфики, пришла по душе и была поддержана идеологами постмодерна, озабоченными уже не проблемами духовной или материальной эволюции человечества, а проблемами культурного генезиса, то есть воспроизводства и потребления. Мне уже приходилось излагать свой взгляд на постмодерн как на бунт быта («цивилизации») против чуждой ему духовной культуры (см. Шапир 1995б). Не повторяя сказанного, я хочу процитировать пассаж из книги Петера Козловски «Культура постмодерна», проникнутой духом антисциентизма. «Постмодерн, — пишет автор, — это философский эссенциализм (Essentialismus), так как все достигнутые в модерне различения и разграничения, все то плохое, что было порождено искусством, наукой и религией в отрыве друг от друга, — все это (...) (постмодерн. — М. Ш.) оценивает не как последнее слово, а как подлежащее обязательному преодолению неправильное развитие, которому в жизни должна быть противопоставлена новая интеграция этих трех областей духовного» (Koslowsky 1987: 26–27). Проще говоря, постмодерн предполагает взять от каждой из областей духовной культуры то, что ему нравится, и смешать это в быту (и после этого постмодернисты еще смеют рассуждать об утопичности авангарда).

Если бы проект постмодерна был, не ровен час, реализован, мы лишились бы и религии, и искусства, и науки: именно к этому ведет предложение Фейерабенда дополнить теорию эволюции улучшенным вариантом книги Бытия (Feuerabend 1975: 30). В утопии постмодерна все три области духовной культуры поглощаются бытом: именно с точки зрения бытовых потребностей и проводится деконструкция науки (под предлогом ее гуманизации). А в основе лежит убеждение в том, что наука не самоценна, но обязана обслуживать общество. Фейерабенд объясняет потребителю, что тот может, не опасаясь последствий, отнять привилегии у науки: «Мы будем развиваться и прогрессировать с помощью многочисленных *добровольных* рабов из университетов и лабораторий, которые снабжают нас лекарствами, газом, электричеством, атомными бомбами, замороженными обедами, а иногда — интересными волшебными сказками» (Feuerabend 1975: 300).

Человечеству — вопреки тому, что оно любит повторять, — неведомы «вечные ценности» в собственном смысле слова (признаваемые всеми, всегда и везде). По остроумному замечанию М. Л. Гаспарова, вечные ценности — это «временные ценности прошлых эпох, урезанные применительно к ценностям собственной эпохи» (1979: 26). Мы помним, что заповеди не

оу́вiй и не оу́кра́ди стояли в одном ряду и были наравне с требованиями не делать изображений и соблюдать субботу. Очень легко допустить, что в близком или далеком будущем и научное познание, как таковое, утратит свою ценность. Для многих это уже произошло. Поэтому тех ученых, кто еще не успел откликнуться на призыв постмодерна и покамест не пересмотрел традиционных ценностей нашей культуры, я призываю к неукоснительному исполнению норм языка науки, в рамках которой нераздельно слиты этическое и эпистемологическое. Нарушая эти нормы, мы совершаем подлог, то есть выдаем за науку то, что таковой не является. Но ничто так не обесценивает научной деятельности, как ее имитация.

В заключение считаю необходимым подчеркнуть, что мое эссе не претендует ни на глубину, ни на оригинальность, ни тем более на научность. Оно носит откровенно аксиологический, а следовательно, метафизический характер. Но напоминание о связи культурных ценностей и профессиональных этических норм может быть не лишним для тех, кто в борьбе с экспансией быта в область духовной культуры все-таки предполагает упорствовать.

Литература

- Гаспаров 1979 — *Гаспаров М.* Филология как нравственность // Лит. обозрение, 1979, № 10. С. 26–27.
- Гершензон 1925 — *Гершензон М. О.* Плагиаты Пушкина // Искусство, 1925, № 2. С. 257–264.
- Гиппиус 1930 — *Гиппиус В.* К вопросу о пушкинских «плагиатах» // Пушкин и его современники: Материалы и исслед. Л., 1930. Вып. XXXVIII/XXXIX. С. 37–46.
- Исаченко 1962 — *Исаченко А. В.* Термин-описание или термин-название Славянска лингвистична терминология. София, 1962. [Кн.] I С. 19–25.
- Перцов 2000 — *Перцов Н. В.* О неоднозначности в поэтическом языке // Вopr. языкознания, 2000, № 3. С. 55–82
- Степанов 1997a — *Степанов Ю. С.* Константы: Словарь русской культуры Опыт исследования. М., 1997.
- Степанов 1997b — *Степанов Ю. С.* Язык художественной литературы Русский язык: Энцикл. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., 1997 С. 666–669
- Степанов 1998 — *Степанов Ю. С.* Язык и метод. К современной философии языка. М., 1998.

- Шапир 1989 — *Шапир М. И.* Теория «церковнославянско-русской диглоссии» и ее сторонники: По поводу книги Б. А. Успенского *История русского литературного языка (XI–XVII вв.)* // Russ. Ling. 1989. Vol. 13, № 3. P. 271–309.
- Шапир 1993 — *Шапир М. И.* Язык быта / языки духовной культуры // Путь, 1993, № 3. С. 120–138.
- Шапир 1995a — [*Шапир М. И.*] От редакции // Philologica. 1995. Т. 2, № 3/4. С. 125.
- Шапир 1995b — *Шапир М. И.* Эстетический опыт XX века: авангард и пост-модернизм // Philologica. 1995. Т. 2, № 3/4. С. 135–143.
- Шапир 1997a — *Шапир М. И.* Пушкин и Овидий: дополнение к комментарию: («Евгений Онегин» 7, LII, 1–2) // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. 1997. Т. 56, № 3. С. 37–39.
- Шапир 1997b — *М. Ш.* [Рец. на кн.:] Успенский Б. А. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.). М., 1994 // Philologica. 1997. Т. 4, № 8/10. С. 359–380.
- Шапир 1999a — *Шапир М. И.* Пушкин и Овидий: новые материалы: (Из коммент. к «Евгению Онегину») // А. С. Пушкин и мировая культура: Междунар. науч. конф.: Материалы. М., 1999. С. 49–51.
- Шапир 1999b — *Шапир М. И.* Ломоносов и Гораций: дополнение к комментарию: («Я знак бессмертия себе воздвигнул. . .») // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. 1999. Т. 58, № 1. С. 56–59.
- Шапир 2000 — *Шапир М. И.* Universum versus: Язык — стих — смысл в русской поэзии XVIII–XX веков. М., 2000. Кн. 1 (= Philologica russica et speculativa; T. I).
- Feyerabend 1975 — *Feyerabend P.* Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge. L., 1975.
- Feyerabend 1976 — *Feyerabend P.* Wider den Methodenzwang: Skizze einer anarchistischen Erkenntnistheorie. Frankfurt a. M., 1976.
- Koslowsky 1987 — *Koslowsky P.* Die postmoderne Kultur: Gesellschaftlich-kulturelle Konsequenzen der technischen Entwicklung. München, 1987.
- Kuhn 1962 — *Kuhn T. S.* The Structure of Scientific Revolutions. Chicago; L., 1962 (= Foundations of The Unity of Science; Vol. II, № 2).
- Popper 1935 — *Popper K.* Logic der Forschung: Zur Erkenntnistheorie der modernen Naturwissenschaft. Wien, 1935 (= Schriften zur wissenschaftlichen Weltauffassung; Bd. 9).

Язык — Понимание — Культура

Сугубо ошибался проводивший откровенный логизм Витгенштейн, применительно к языку утверждавший: «Так как все присутствует здесь и все открыто, то не нужно ничего объяснять. . . то, что скрыто, нас не интересует», напротив, интересует, и главным образом то, что называется естественным террором языка. Суть в том, что актуальное пользование языком означает и актуальное пользование сцепленной с ним онтологией. Поскольку мир включен в выразительный языковой ресурс, очерченное лексическое пространство, содержательная характерологичность мира обусловлены свойствами языка.

Разумеется, ошибался и Есенин, полагавший, будто «Земля одинакова кругом; то, что видит перс, то видит и чукот, поэтому грамота одинакова, и читать ее и писать по ней, избегая тождественности, невозможно почти совсем»¹. В силу того, что «грамота» «не одинакова», «читают», «пишут», «понимают» мир люди «не тождественно».

В нашем языке семь автономных категорий, производящих подразделение электромагнитного спектра. В диалекте басса аборигенов Либерии лишь две соответственных категории. Воспринимая действительность, категоризируя, понятийно члени ее, аборигены называют два цвета. Зрение — «агрегат умозаключений», — указывает М. Пруст. Действительность славянина богаче действительности либерийского туземца, ибо витиеватей, репрезентативней язык, кодифицирующий, символизирующий дополнительные пласты реальности. В некотором вполне очевидном отношении мир полнокровней для человека, обладающего большим лексическим потенциалом (запасом языка).

В выревании идеи связи языка с миропониманием языкового коллектива подчеркнем непреходящность рефлексии трех проблем:

1. Проблема статуса предельных понятийных единиц языка (категорий). Одним из первых обсуждал ее Порфирий, обострявший: «. . . представляется

¹ Есенин С. А. Собр. соч. Т. 5. М., 1962. С. 38.

вопрос относительно родов и видов: существуют ли они в действительности... или же только в мышлении; и если существуют в действительности, то телесны ли они, или бестелесны, и существуют ли они отдельно от чувственных вещей, или в них, слитно с ними».

Проблема Порфирия, как известно, навеяна оценкой аристотелевского списка категорий, который включал: сущность, качество, количество, отношение, место, время, положение, обладание, действие, страдание². Спрашивается: 1) как Аристотель понимал гносеологическую природу категорий; 2) какими соображениями он руководствовался при задании этого списка?

Ключом к ответу на вопросы выступает следующее. «Аристотель, — указывает Бенвенист, — выделяет совокупность предикатов, которые можно высказать о бытии, и стремится определить логический статус каждого из них». Оказывается, что «такие типы являются прежде всего языковыми категориями, и Аристотель, выделяя их как универсальные... получает в результате основные и исходные категории языка, на котором он мыслит»³.

Разрабатывая перечень категорий, следовательно, Аристотель «ставил своей целью учесть все возможные в предложении предикаты, при условии, что каждый термин имеет значение в изолированном употреблении, а не в составе синтагмы. Неосознанно он принял в качестве критерия эмпирическую обязательность особого выражения для каждого предиката. Таким образом... того не желая, он неизбежно должен был возвратиться к тем различиям, которые... язык выявляет между основными классами форм, потому что эти классы и формы как раз и имеют языковое значение только благодаря разнице между ними. Он полагал, что определяет свойства объектов, а установил лишь сущности языка: ведь именно язык благодаря своим собственным категориям позволяет распознать и определить эти свойства»; «язык придает основную форму тем свойствам, которые разум признает за вещами»⁴.

Итак, исходя из языка (в чем убеждает самый список аристотелевских категорий, содержащий понятия, имеющие отношение лишь к субъекту), Аристотель предпринял попытку «указать те формы, в каких можно высказаться о каком-нибудь предмете, что он есть»⁵. Введенный в заблуждение авторитетом языка, Аристотель, однако, ошибочно отождествил «виды высказываемого» с «видами бытия».

Из сказанного вытекает:

а) мы не мыслим мир иначе как с помощью категорий;

² Аристотель. Категории. М., 1939. С. 6.

³ Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974. С. 107.

⁴ Там же. С. 111.

⁵ Ланге Н. История материализма. Киев — Харьков. Т. 1. С. 99.

б) исконный смысл учения о категориях тот именно и есть, чтоб отыскать те основные понятия, которые дают опору и свет среди пестрого хаоса наших неартикулируемых представлений⁶;

в) мы воспринимаем образы вещей, известных нам из прошлого артикулированного опыта; из всей массы раздражителей, действующих на нас, мы отбираем те признаки, которые играют ведущую роль в выделении функций вещей и которые мы обозначаем названиями, — только участие речи (языка) в восприятии «придает ему обобщенный, категориальный характер»⁷.

2. Проблема специфичности ментальных типов, индуцируемых использованием конкретных языков. Предысторией здесь служат мысли В. Гумбольдта, разработавшего доктрину внутренней формы языка как выражения индивидуального мирозерцания народа, равно как соображения Дюркгейма и Гране о передаче категориальным строем языка условий социального бытия народов. Все это подчиняет существо категориальных сечений реальности типу языковой культуры. Как писал Сепир, «реальный мир» в значительной мере «бессознательно выстроен согласно языковым привычкам определенной группы. Не существует двух таких достаточно сходных языков, о которых можно было бы сказать, что они представляют совершенно идентичную социальную группу»⁸. Таким образом, языковые каркасы, навешиваемые ими гипотезы существования, постулаты значения детерминируют качество объективации мира. Язык эскимосов, располагающий различающимися до десятка оттенков белизны фигурами, предопределяет комплексную поведенческую жизнеориентацию, отличающую ее (по параметрам от ментальных до бытовых) от жизнеориентаций носителей иных языковых каркасов.

3. Проблема онтологизации языковых структур. Содержание духовной (понятийной) сферы относится к мыслимому, а не натурно существующему. «Бытие» само по себе не есть предмет реальный; оно не сообщает материального существования. Между тем в рассуждениях на абстрактно-концептуальном уровне «бытие» через набор субстантивных постулатов, постулатов значения вводится, приписывается. Так, говорится о кварках, партонах, тахаонах, торсионных полях и т. п. как о неких сущностях, наделенных существованием. В «чистом», наиболее отрешенном, достаточно произвольном виде существование задается в математике и логике. Излишне доказывать, что изучающие возможные миры и опирающиеся при этом на аксиоматику указанные дисциплины зачастую никак не корреспондируются

⁶ См.: Тренделенбург А. Логические исследования. Ч. II. М., 1868. С. 153.

⁷ Лурия А. Р. Процесс отражения в свете современной нейропсихологии // *Вопр. психологии*, 1968, № 3. С. 152.

⁸ Language. 1929. V. 5. P. 209.

с вещным натурно-практическим миром (анализ «мнимой двойной точки в бесконечности»).

В духовности, очевидно, оценивается не подлинный реальный мир, а некие его состояния, выражаемые в значимых для опыта понятиях. «Бытие есть понятие, а не существование», — подчеркивает Бердяев, борясь с натуралистической метафизикой, которая объективирует и гипостазировывает процессы мысли, «выбрасывая их вовне и принимая их за „объективные“ реальности»⁹.

Представляющие предмет бердяевской критики «объективация», «гипостазирование» осмысливаются М. Фуко под видом «интерпретации». Интерпретация, отмечает он, никогда не может завершиться. Это потому, что не существует никакого «интерпретируемого». «Не существует ничего абсолютно первичного, что подлежало бы интерпретации, так как все, в сущности, уже есть интерпретация, любой знак по своей природе есть не вещь, предлагающая себя для интерпретации, а интерпретация других знаков. Если угодно, не существует никакого *interpretandum*, которое не было уже *interpretans*. В интерпретации устанавливается скорее не отношение разъяснения, а отношение принуждения. Интерпретация не поясняет некий предмет, подлежащий интерпретированию и ей якобы пассивно отдающийся, — она может лишь насильственно овладеть уже имеющейся интерпретацией и должна ее ниспровергнуть, перевернуть, сокрушить... Интерпретируется не то, что есть в означаемом, но, по сути дела, следующее: кто именно осуществил интерпретацию. Основное в интерпретации — сам интерпретатор...»¹⁰

Подытоживая, правильно уточнить: онтология в ее философском прочтении есть совокупность потенциальных (ненатуралистических) «объективаций», «интерпретаций». Она есть множество принципиальных допущений о том, что, возможно, является коррелятом теоретических построений. Доктринальные задачи онтологии поэтому обуславливаются заданием, обоснованием, введением субстантивных постулатов, очерчивающих образ (понятие) составляющей подоплеку мысли предметной сферы. Полагание мира через призму категориального аппарата, сцепленного с ним уморасположения, задач философствования — в этом и состоит назначение онтологии, формирующей класс референтов утверждаемого. Последний (класс) несет на себе печать масштабной стилистики реальности, зависимой от интенций и потенций культуры, выражает частные и общие особенности тех или иных философий.

⁹ Бердяев Н. А. Самосознание. М., 1990. С. 277.

¹⁰ Фуко М. Ницше, Фрейд, Маркс // Кентавр, 1994, № 2. С. 52–53.

Общие особенности. В центре античной культуры — добродетельное сопричастие гражданскому общинно-полисному. В центре средневековой культуры — постижение красоты, смысла божеского. Перестав осознавать себя гражданином замкнутой общины-полиса, призванным обеспечить его жизнедеятельность (в этом состояла добродетель гражданина), направив свой разум на постижение иной, божественной жизни, философ необходимо перестраивает основания философии.

В контексте теологически ориентированной культуры логика оказалась способом созерцания бога, этика обозначала пути его постижения. Они стали моментами единой теологической системы. «В результате античные категории обретают своеобразную этико-теологическую нагруженность. Когнитивные акты суждения нагружаются актами нравственного суждения, а механизм когнитивных актов — механизмами нравственных актов спасения, что повлекло... интерпретацию аристотелевых категорий, во-первых, под углом зрения любви или ненависти, во-вторых, как иносказаний (тропов), поскольку любая категория, сколько бы точной она ни казалась для „земного“ разума, оказывается лишь примерной относительно разума божественного...»¹¹

Разность культур — разность онтологий. По этой причине онтологию можно расценивать как семантическое ядро культуры, производящее смыслозначимые каркасы мира. В античности они граждански, в средневековые они религиозно ориентированы, что выражает общую (эпохальную) размерность философии.

Частные особенности. В зависимости от специфики авторского в том или ином философском учении, системе реализуется спектр реифицирующих диспозиций. Здесь фигурируют дробящие бытие на модусы оппозиции: подлинное — мнимое; доступное — недоступное; имманентное — трансцендентное; обладаемое — запредельное; должное — сущее; абстрактное — конкретное; очевидное — таинственное; частичное — целостное; эссенциальное — экзистенциальное; субстанциональное — акцидентальное; идеальное — материальное; чувственное — интеллигибельное; истинное — ложное; творящее — творимое; актуальное — потенциальное; свободное — зависимое и т. д. В этих формах законоположения и смыслопорождения развертываются конкретные сценарии бытия как демонстрации авторских вкусов, склонностей, убеждений.

На основе того, что границы языка, который субъект понимает, есть границы его мира, произрастает капитальная проблема понимания. Ввиду отсутствия универсальных естественных предметных кодов восприятия мира сознание носителей конкретных языков семантически дифференциро-

¹¹ Неретина С. С. Слово и текст в средневековой культуре. М., 1994. С. 56.

вано, что порождает содержательные разрывы, разломы между трактовками, толкованиями явлений у представителей разных языковых общностей от этнических до культурных. Мир таков, как его формирует для восприятия язык, отсюда достижение понимания — переживания другого как своей возможности — предполагает выработку общезначимых адекватных средств трансляции с языка на язык. Концептуальным рычагом в этом деле выступает аппарат математизации, формализации, научной строгой категоризации; политическим средством здесь оказывается толерантность, консенсуальность; обиходным ресурсом служат радушие, отзывчивость, открытость¹². Препятствием в преодолении барьеров между языково ориентированными типами сознаний является формальная невозможность полного устранения из них элементов уникальности, составляющая пафос ограничительного регулятора Куайна о нереализуемости радикального перевода с языка на язык.

¹² См.: Степанов Ю. С. Язык и метод. М., 1998.

Имяславие: pro et contra. К проблеме формирования реалистической философии языка в России*

Имяславие... даже среди единомышленников одни считают... в настоящее время «составной частью» своего философского мировоззрения, другие — и автор настоящего очерка также — лишь одним из «источников», хотя и очень близким к нам.

Ю. С. Степанов [9, 713]

В своей недавней книге «Язык и метод», посвященной анализу современной философии языка с позиции семиотики, Ю. С. Степанов развивает мысль о формировании в отечественной философии особого неореалистического направления, называемого им «Новым реализмом», или «новым российским реализмом», характерной чертой которого является его лингвофилософская направленность — «постоянное соотнесение философствования с данными языка» [9, 715]. Задавшись целью «ментально оформить» это направление, Юрий Сергеевич определяет историческую линию, в рамках которой формируется данное направление философии языка в России, как «реализм» и отчасти «концептуализм» (широко понимаемые) в их соотношении с «номинализмом».

В интерпретации Ю. С. Степанова реализм в его широком понимании (а соответственно, и новый российский реализм) есть течение в философии языка и философии имени, признающее факт существования за выражениями языка неких объективных (не психологических) сущностей — вещей, концептов (идей, эйдосов, универсалий), логических истин (а в отдельных случаях и истин этических), которые при этом не «извлекаются» из языка и не «конституируются» на его основе (хотя язык и предоставляет такие

* Исследование выполнялось при поддержке РФГФ. Проект № 99-04-00293 а. В работе сохраняются орфографические варианты написания цитируемых источников.

возможности), в отличие от номинализма, согласно которому «онтологические объекты» не признаются существующими вне и до всякого языка и «извлекаются» из языка или «конституируются» на его основе [9, 581, 693].

Новый реализм, в реконструкции Степанова, включает три взаимосвязанных направления, объединяемых общей установкой на постижение глубинных основ бытия. При характеристике этих направлений Юрий Сергеевич различает в каждом из них его «источник» как начало традиции и его «составную (современную) часть», границы между которыми являются достаточно условными и зависят часто от точки зрения исследователя.

Первое направление, выделяемое Ю. С. Степановым в составе Нового реализма, — это собственно философское направление, которое имеет своим источником реалистическую философию, а составной частью — семиотическую философию языка, смыкающуюся с философской логикой. Второе, или патристическое (религиозно-богословское), направление имеет своим источником Патристику Восточной христианской церкви, а составной частью — так называемый Непатристический синтез — новый опыт возобновления на современном этапе творческой связи культуры с духовным наследием Отцов церкви. И, наконец, третье направление — эстетическое, у которого, по замечанию Юрия Сергеевича, нет пока ни самоназвания, ни какого-либо наименования в культуре, — имеет своим источником искусство и теорию искусства, рассматриваемые в аспекте их отношения к проблеме «творец-истолкователь», и как составную часть — определенное течение в современной сфере культуры, предметом постижения которого являются «высшие», ненаблюдаемые реальности.

Как и всякое формирующееся синтетическое направление, Новый реализм в России стоит перед двумя задачами — задачей создания своего собственного «языка философствования», о чем упоминает и сам Ю. С. Степанов, с печалью замечая, что «... в России, как нигде в мире, боятся говорить о своем собственном „языке философствования“» [9, 689], и задачей согласования в пространстве своего философствования различных направлений в его составе, какими являются в новом российском реализме, как уже отмечалось, философское, патристическое и эстетическое направления.

Известный вклад в разработку этих задач может дать опыт изучения так называемого имяславия — духовно-мистического учения о природе и почитании Имени Божиего, или, при расширительном понимании, учения о реальности и онтологичности имени и слова, как таковых, — в философии языка П. А. Флоренского, С. Н. Булгакова и А. Ф. Лосева [1; 10; 6], развиваемой ими в рамках программы цельного знания школы Всеединства с ее установкой на синтез философии, богословия, науки, искусства, нравственности в составе единого миропонимания.

В аналитическом описании Нового реализма у Ю. С. Степанова имяславие включается в состав второго — патристического — направления. И это имеет свои основания. Учение об Имени Божием — одна из глубинных проблем патристического богословия. Здесь важно отметить, что центральной дискуссионной проблемой Афонских споров начала XX века о природе и почитании Имени Божия, в ходе которых и формировалась концепция «русского имяславия», был именно вопрос о догматическом статусе имяславского учения об Имени Божием, установлении того, представляет ли собой имяславие православное святоотеческое учение и мистический опыт, коренящийся в глубинах православной духовности, и прежде всего в монашеском духовном опыте исихазма (священнобезмолвия), как веровали имяславцы, ссылаясь на таких отцов и учителей Церкви, как Афанасий Великий, Иоанн Златоуст, Исихий Иерусалимский и особенно Симеон Новый Богослов, или же имяславие есть еретическое учение и новоявленное «суесловие», как думали их противники имяборцы. Проблема православного статуса учения об Имени Божием остается дискуссионной и в наши дни. И если, например, в представлении А. Ф. Лосева имяславие было теоретическим выражением умного делания и Иисусовой молитвы¹ — вековой опоры православия (такую точку зрения Лосев сохранял, видимо, до последних дней жизни) [6], то в глазах С. С. Хоружего, размышляющего над темой имяславия в контексте проблем исихазма и паламизма, русское имяславие «заведомо не лежит в русле ортодоксального исихазма» [11, 100].

Как подчеркивает Ю. С. Степанов, современный Новый реализм, развивая позицию реализма в широком понимании, не исключает также «некоторого синтеза реалистических и номиналистических идей» [9, 612]. Изучение истории Афонских споров об Имени Божием, философское ядро которых составляет многовековое противопоставление полярных позиций номинализма и реализма, и особенно изучение истории интерпретации центрального имяславческого тезиса «Имя Божие есть Бог» (и его уточняющих вариантов²) в аспекте реализма-номинализма предоставляет уникальный материал для осмысления отмечаемой Ю. С. Степановым тенденции.

Уже самые первые наблюдения над историей философской интерпретации Афонских споров свидетельствуют о том, что если для исторического (классического) имяславия и имяборчества периода начала Афонских спо-

¹ Текст Иисусовой молитвы составляет краткое молитвословие «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя (грешного)».

² См., например, формулы: «Имя Божие есть Бог и именно Сам Бог, но Бог не есть ни имя Его, ни Самое Имя Его» [10]; «Имя Божие есть энергия Божия, неразрывная с самой сущностью Бога, и потому есть Сам Бог... однако, Бог отличен от своих энергий и Своего имени, и потому Бог не есть ни Свое Имя, ни имя вообще» [7, 15].

ров было характерно резкое противопоставление позиций реализма и номинализма в интерпретации природы Имени Божия и молитвы и использование только реалистических или же, напротив, только чисто номиналистических схем и формул при интерпретации имени и молитвы (по имяславческой формуле этого времени в ее философской транскрипции — «имя вещи есть сама вещь» в противоположность имяборческому тезису — «имя вещи есть только знак»), то для последующих периодов формирования философии и богословия имени характерна тенденция к снятию такой резкой оппозиции реализма-номинализма при интерпретации молитвы и Имени и тенденция к известной коррекции чисто реалистических или же чисто номиналистических формул.

Так, реалистическая формула «Имя Божие есть Бог» исторического имяславия в современном синергийном богословии, где принимается синергийная интерпретация молитвы и Имени Божия как единства Божественной и человеческой энергий, может считаться истинной, по мысли прот. А. Геронимуса, только на самом высшем — семантическом — уровне Богопричастия, где не только Имя Божие, но и «имя тварного сущего, если понимать его как нетварный логос сущего, есть Божественная энергия» [3, 73]. На прагматическом же уровне — пути молитвенного Богопризывания — Имя Божие — это синергия Бога и человека. Вне прагматического контекста Имя есть «остывшее» имя. По утверждению С. С. Хоружего, снимающего ригоризм номиналистической трактовки молитвы и имени исторического имяборчества, Имя Божие в Иисусовой молитве есть «только средство, не цель, хотя это средство и не пустой произвольный знак» [11, 101]. Таким образом, полагает Хоружий, перед нами «не номинализм и не реализм, а иное, третье: православный энергетизм, утверждающий, что Имя вполне „номинально“ вне молитвы и вполне „реально“ в молитве, синергии, обожении» [Там же].

В плане понимания путей синтеза направлений в Новом реализме и участия в этом процессе третьего — эстетического — направления представляет интерес рассмотрение опыта имяславского миропонимания и истолкования художественной реальности у Вяч. Иванова, разделявшего позиции реалистического символизма с его устремленностью к постижению онтологической сущности вещей. «Я как бы вижу все вещи в славе, и, по-моему, поэт и есть тот, кто славословит», — говорил Вяч. Иванов (цит. по: [5, 396]), а его современники изумлялись постоянной готовности Иванова «славословить». Как отмечает О. Дешарт (Шор), свои мысли об истинном, т. е. поэтическом, наименовании Вяч. Иванов высказывал, всматриваясь в творчество «имяславца» Пушкина, который, именуя вещи и их отношения, берет вещи «эйдетически», выявляя в них идею как «первообраз» [4, 212]. В видении Иванова имена Пушкина «суть живые энергии самих идей» [Там же].

Пушкин, — замечал Вяч. Иванов в своей статье «О новейших теоретических исканиях в области художественного слова», — «метко схватывает сущности и право их именует, они же сами непосредственно являют в ответ на правое их именование свою связь и смысл — до некоей заповедной черты, когда наименование прекращается, потому что за нею — область немоты. . . » [Там же].

Как уже отмечалось, описание философии языка в книге Ю. С. Степанова «Язык и метод» происходит по плану, задаваемому самой семиотикой. Новый реализм в этой книге развертывается в пространстве «Система и Текст». И в этой связи обращение к опыту имяславия, которое обращает внимание на некоторые глубинные процессы взаимоотношения Системы (ее единиц) и Текста, может представлять для осмысления путей формирования реалистической философии имени также определенный интерес. Так, по учению имяславцев, «молитва Иисусова и еще кратче Имя Иисус есть краткое содержание всего Евангелия» (цит. по: [10, 336]). В расширенном толковании прот. А. Геронимуса «Имя Иисусово есть (свернутое) Евангелие и Евангелие есть (развернутое) имя Иисуса Христа» [2, 38].

Тема имяславия, как видим, явно или неявно присутствует при развертывании всех направлений нового российского реализма, в понимании Ю. С. Степанова, выступая, по его словам, в роли их источников или же составных частей. Что же касается участия конкретных идей философов имяславия в формировании концепции Нового реализма, то, в видении Ю. С. Степанова, здесь остается много неясностей. Это касается, в первую очередь, философии имени А. Ф. Лосева, которого Юрий Сергеевич называл «великой фигурой» философии имени XX века, полагая, однако, при этом, что идеи Лосева в их соотношении с Новым реализмом составляют особую и еще не решенную проблему [9, 716, 736]. Это связано, по мысли Ю. С. Степанова, с тем, что новый российский реализм в целом тяготеет к «аристотелевской линии» и предполагает тем самым разработку «логики» вообще, философской логики и специальных систем логик, а система А. Ф. Лосева тяготеет к платонизму и неоплатонизму, сосредоточивая свое внимание на «метафизике» и диалектической логике. «И как можно было бы применить систему А. Ф. Лосева к иному материалу, чем у него? И кто вообще мог бы „повторить“ его ход мысли?» — восклицает Юрий Сергеевич [9, 718].

Представляется, что одна из линий установления соотношения системы А. Ф. Лосева с общими установками Нового реализма может быть связана с реконструкцией разрабатываемой Лосевым инвариантной логической «формальной» структуры имяславия, не зависимой от какого бы ни было опыта переживания имен — религиозного или же чисто жизненного, — и с

последующим сравнением данной логической структуры имяславия с философскими логиками Нового реализма. В первом варианте своей работы «Вещь и имя» Лосев так писал о существовании такой инвариантной структуры имяславия: «Каждая религия безусловно содержит в себе то или иное учение о Божественных и прочих именах, и потому учение об имени, собственно говоря, совсем не обладает никаким содержательным характером. Учение об имени в этом смысле чисто формально, и оно совершенно не зависит по своей структуре от того содержания, которое вкладывает в него та или другая религия. Даже более того. Учение об имени не зависит ни от какого и вообще жизненного содержания. Можно выбирать любые имена, можно наполнять их любым содержанием, — все равно логическая структура имяславия останется совершенно одинаковой и для всякой исторической религии, и для всякого нерелигиозного социального образования. Конечно, некоторая печать данного типа религиозного содержания останется и на логической структуре имени, но это явление вторичного порядка, а первично и в отвлеченном смысле все равно останется одинаковой та общедиалектическая конструкция, которую мы вскрыли раньше. . . и в конце еще раз точно формулируем именно в применении к истории живых религий» [7, 306].

Проект Нового реализма в «ментальном осмыслении» Ю. С. Степанова открывает новые пути для лингвистической мысли XXI в. с ее установкой на реалистическое понимание языка как «дома бытия духа» [8, 28].

Литература

1. Булгаков С. Н. Философия имени. Париж, 1953.
2. Геронимус А., прот. Математика в контексте православного богословия. М., 1993. Рукопись.
3. Геронимус А., прот. Заметки по богословию имени и языка // Современная философия языка в России. Предварительные публикации 1998 г. Сост. и общая ред. Ю. С. Степанова. М., 1999.
4. Иванов Вяч. Ив. Собрание сочинений. Т. 1. Брюссель, 1971.
5. Иванова Л. В. Воспоминания. Книга об отце. М., 1992.
6. Лосев А. Ф. Имя. Сочинения и переводы. Сост. и общ. ред. А. А. Тахо-Годи. СПб., 1997.
7. Лосев А. Ф. Личность и Абсолют. Сост. и общ. ред. А. А. Тахо-Годи. М., 1999.

8. Степанов Ю. С. Изменчивый «образ языка» в науке XX в. // Язык и наука конца 20-го века. Сост. и общ. ред. Ю. С. Степанова. М., 1995.
9. Степанов Ю. С. Язык и метод. К современной философии языка. М., 1998.
10. Флоренский П. А. Т. 2. У водоразделов мысли. М., 1990.
11. Хоружий С. С. Аналитический словарь исихастской антропологии // Синергия. Проблемы аскетики и мистики Православия. М., 1995.

III

Теоретическая лингвистика

О связях когнитивной науки с семиотикой (определение интерпретанты знака)

Перечисляя отличительные признаки когнитивной науки (далее — КН), неизменно называют среди них ее междисциплинарный характер. И действительно, вряд ли может быть назван когнитивным такой подход к явлениям языка, который не учитывает связи этого явления с теорией восприятия или другими психологическими данными. Между тем, хотя список наук, включающихся в общие научно-исследовательские программы по изучению человеческого разума, обычно достаточно обширен, среди наук когнитивного цикла очень редко упоминается семиотика. Такое положение дел представляется тем более парадоксальным, что некий семиотический фон явно прослеживается уже у первых ученых, стоявших у истоков когнитивизма. Так, Т. Виноград указывает, что вся мыслительная деятельность человека может быть определена как деятельность символическая (Виноград 1983), а в задачи первого поколения когнитологов входили непременно задачи по анализу ментальных репрезентаций в голове человека и описанию их связей с формами языка. Наконец, в когнитивной грамматике Р. Лангакера все основано на положении о том, что язык по своей природе символичен и что грамматика языка есть не что иное, как «структурированный инвентарь конвенциональных языковых знаков» (Langacker 1987, 57 и сл.).

Есть все основания считать, что вообще ключевым понятием КН на ранних этапах ее развития являлось понятие ментальной репрезентации. Но к ней самой применяли определение ее как сущности знаковой: репрезентация есть отражение мира в голове человека и, как таковая, она стоит вместо чего-то в материальном или же в духовном мире. В определении репрезентации подчеркивалось, что само появление и развитие репрезентаций в сознании человека связано с памятью на отсутствующие в восприятии объекты или же их расположение (ср. Бейтс 1984, 95). По общему признанию, таким образом, репрезентации представляли собой особые символические отражения окружающей нас действительности (ср., например, McShane 1991, 95 и сл.). Несмотря на все это, связи КН с семиотикой специально не изучались (см. Jona 1990, 17 и сл.).

В настоящем сообщении, восполняя этот существенный пробел, мы бы хотели продемонстрировать важность понимания указанных связей на таком небольшом фрагменте описания языка, который связан с описанием **номинативных актов**, осуществляемых с помощью словообразовательных средств языка, а потому имеет прямое отношение и к описанию центральной единицы словообразовательной системы — к описанию производного слова (далее ПС), и, конечно, к описанию процессов номинации, и, наконец, к выделению в качестве главных компонентов этого процесса когнитивных и семиотических составляющих.

Когнитивные аспекты номинативного акта обуславливаются уже тем, что в этом акте знание невербализованное и дотоле смутное, неявное, диффузное обретает более четкие очертания, «собирается» в единую концептуальную (когнитивную) структуру, закладывающую основания будущему значению знака. Ошибочно считать, что такая структура существует в готовом виде до акта номинации, как ошибочно считать и то, что и языковая форма в готовом виде предшествует рождению обозначения: и значение, и форма складываются в этом процессе, в известном смысле находят друг друга, открывая тем самым дорогу появлению Слова — этой блестяще описанной Ю. С. Степановым «плотной сущности» (Степанов 1997, 250). Чтобы стать единицей самостоятельной, независимой от говорящего и слушающего единицей, которая одна только и делает возможным передачу мысли одного человека к другому, единицей, которая оказывается «предметом обмена в „круговороте общения“», должен состояться акт ее создания. Номинативный акт поэтому и следует рассматривать прежде всего как акт формирования и акт фиксации языковой формой — словом — определенной концептуальной структуры, структуры знания.

Роль слова при этом настолько огромна, что это позволяет Ю. С. Степанову подчеркнуть в его замечательной книге о константах русской культуры: «... русская культура реально существует в той мере, в какой существуют значения русских (и древнерусских) слов, означающих культурные концепты» (Степанов 1997, 9). Сам он прослеживает возникновение подобных значений путем этимологического анализа слов. Мы же, продолжая, по сути дела, ту же линию анализа, обращаемся к другому материалу — синхронному, предлагая осуществить как бы синхронную реконструкцию словообразовательного акта, но рассмотрев его не с точки зрения используемой в нем техники его протекания или же последствий акта (в виде появления в его результате нового производного слова), мы ставим здесь своей целью описать такой акт как акт **семиозиса**.

Задача выяснения того, «при каких условиях протекает семиозис и что происходит в этом процессе», была сформулирована Ч. Моррисом, и обычно

она решалась как требующая установления составляющих этого процесса (Моррис 1983, 84), притом в сугубо теоретическом плане. И хотя сам Моррис подчеркивает, что «знаковый анализ — это изучение синтаксического, семантического и прагматического измерений конкретных процессов семиозиса» (Моррис 1983, 78), фактически он ограничивается тем, что объясняет суть каждого из указанных измерений в самом общем виде. В качестве таких общих указаний следует принять и его слова о том, что каждый отдельный акт семиозиса должен быть описан «как включающий три (или четыре) фактора: то, что выступает как знак; то, на что указывает (*refers to*) знак; воздействие, в силу которого соответствующая вещь оказывается для интерпретатора знаком» (Моррис 1983, 39). Жизнь знака в семиотической системе определяется, следовательно, впоследствии тремя его «измерениями»: тем, как строится его тело и какой субстанцией оно представлено; тем, что оно значит или обозначает (на что указывает), и, наконец, тем, какое воздействие производит (какой эффект вызывает его употребление).

Обобщая перечисленные черты (или аспекты) знака, Р. Якобсон подчеркнет позднее, что знак должен быть, с одной стороны, перцептуально воспринимаемым (*perceptible*), а с другой — интерпретируемым (*interpretable*) или же доступным пониманию (*intelligible*), см. (Jakobson 1971, 345, см. также 268 и сл., 274–275 и др.). Таким образом, в свойствах знака подчеркивается его материальность и его интерпретируемость. Суть первого свойства раскрывается через анализ тела знака, т.е. законотелителя. Суть второго — при обращении к понятию интерпретанты. Как отмечается в одной из последних теоретических работ, посвященных семиотике, свойство интерпретируемости знака должно быть раскрыто через понятие его значения, т.е. сама интерпретируемость — это следствие того, что знак служит выражению определенного значения (Keller 1998, 47). Он же цитирует слова Л. Витгенштейна о том, что «... значением слова является то, что объясняется самим объяснением значения» (там же, 43). Под интерпретантой знака мы и имеем в виду подобное объяснение.

Вообще говоря, справедливо считается, что понятие интерпретанты является собой пример одного из наиболее сложных терминов всей семиотической теории (см. Степанов 1983, 585 и сл.; Булыгина 1983, 597; Goshke 1990, 28 и др.). И все же, учитывая соображения семиотиков о том, что все аспекты семиозиса взаимосвязаны и что все «измерения» определяют соотносительно друг друга, реляционно, отражаясь в конечном счете в интерпретанте знака, следует ставить вопрос именно о том, как строится интерпретанта языкового знака. Мы пытаемся найти ответ на этот вопрос, проследив за тем, как возникает такой языковой знак, как производное

слово (далее — ПС), т. е. слово, деривационную историю которого можно непосредственно наблюдать (в дискурсе) или же восстановить в тексте.

Применительно к языку акт семиозиса заключается в поисках и нахождении конкретной языковой формы, которая «упаковывает» складывающееся в голове говорящего (новое) значение. «Знак вещи или события есть их смысл, — пишет А. Ф. Лосев, — но не просто смысл, а такой, который осуществлен, воплощен или дан на каком-нибудь субстрате» (Лосев 1976, 55–56). «Воплощение» смысла в языке, т. е. его объективация, происходит при выборе особого «субстрата» — какой-либо из форм материи языка. Отношения именования, которые мы здесь рассматриваем как обеспечиваемые средствами словообразования, реализуются именно тогда, когда «какие-то смыслы привязываются к какому-то звуковому отрезку» (Эко 1998, 51). Звуковая последовательность, выбираемая в актах словообразования, должна удовлетворять вполне определенным и достаточно жестким требованиям. И хотя уникальность ПС можно аргументировать, рассматривая по отдельности каждую из составляющих акта семиозиса, пожалуй, именно тело этого знака оказывается способным служить ключом не только для понимания особенностей поверхностей (морфолого-деривационной) структуры ПС, но и для понимания его когнитивных черт.

Будучи, по определению, замкнутым пределами слова, тело знака производного представляет собой особую комбинаторику готовых знаков, комбинацию этих знаков, их особую конструкцию. Эта конструкция выступает одновременно и как мотивированная указанными готовыми знаками, и как составная, а значит, членимая. В качестве готовых знаков из внутреннего (ментального) лексикона говорящего выбираются те из них, которые оказываются способными представить основное содержание мотивирующего суждения, т. е. метонимически представить его содержание по принципу *pars pro toto*. Происходит это в условиях, когда часть пропозиции так или иначе сохраняется в теле знака (ср. *мы приехали — наш приезд*). На этом, собственно, и строится далее иконически весь производный знак: содержательной расчлененности объективируемой концептуальной (когнитивной, пропозициональной) структуры соответствует формальная расчлененность тела знака. Это же повторяется и в интерпретанте знака.

Если устройство ПС из готовых знаков и в комбинациях, предусмотренных словообразовательными правилами, открывает широкие возможности повторять некие образцы тел в разных процессах аналогии, т. е. воспроизводить эти тела с новыми «заполнителями» в актах порождения новых единиц номинации, в актах восприятия ПС это создает разные стратегии угадывания их смысла: по известной слушающему словообразовательной модели (*африканист* как *русист* или *славист*), по ее отсылочной части (в

силу знания корня/корней и их значений) или же, наконец, в силу знания таких элементов конструкции, как префиксы или суффиксы. ПС в целом выступает как особый гештальт, т. е. как когнитивная структура, являющаяся одновременно и целостным (холистическим) и анализируемым (расчленяемым по мере необходимости) знаком, причем вдобавок — и как структура, разложимая более чем одним способом, зависящим от принимаемой точки зрения (ср. Лакофф 1981, 359). Хорошо известно, например, замечание Г. О. Винокура о том, что *учительство* в собирательном значении (*учителя* и *учительницы*) можно считать мотивированным словом *учитель* (и членившись, соответственно, на такие словообразовательные составляющие, как *учитель-ство*), но можно считать и «сложенным» и по-другому: в опоре на глагол *учить* (ср. *годы его учительства* как 'годы, когда он учил').

Очевидно, что гештальтные свойства знака открывают — при возможности разложить тело знака на разные составляющие — путь к разным толкованиям слова (каждая из его частей может активизировать разные связанные с нею фреймы, т. е. разные структуры знания), и, на наш взгляд, именно это способствует тому, что интерпретация ПС может в конечном счете принимать более сложные формы, нежели интерпретация знака простого, немотивированного, произвольного.

Так, прежде всего, простое полнозначное слово надо выучить как «штучную» единицу: в его форме ничто не может нам подсказать, с каким значением оно ассоциируется (даже редкие случаи звукоподражания в чужом языке угадываются не сразу). Напротив, как мы уже отметили выше, распознаванию значения ПС помогает и его внутренняя форма, и отдельные его компоненты. Семантическая прозрачность многих ПС делает их удобной формой хранения знаний и разъяснения новых знаний на основе старых. Они реферируют к знакомым единицам. Можно поэтому сказать, что они воздействуют на адресата, активизируя в его памяти разные кванты знания и разные ассоциации с этими знаниями. Это же соображение позволяет нам трактовать концепт воздействия или эффекта ПС не столько в прагматическом аспекте, как это нередко делается при истолковании термина «интерпретанта» (см, например, Моррис 1983, 39–40 или 82–83), сколько в более широком смысле слова. На такую возможность, впрочем, указывает и Ч. Пирс (см. Пирс 1983, 152 и сл.). Сошлемся также на мнение С. Ульманна, который определяет референцию (то, к чему реферирует знак) как «информацию, которую имя сообщает слушателю» (цит. по Эко 1998, 49). Ведь производное слово самим своим телом достаточно эксплицитно сообщает эту информацию.

Все вышесказанное отражается и на интерпретанте производного знака. Мы связываем ее с такой цепочкой знаков, которая **разъясняет/интерпре-**

тирует знак. Как пишет У. Эко, «чтобы установить, какова интерпретанта того или знака, нужно обозначить этот знак с помощью другого знака, интерпретантой которого, в свою очередь, будет следующий знак и т.д.» (Эко 1998, 53). В качестве такого знака могут выступать синонимы, могут — у исконного знака — его иноязычные эквиваленты, могут — аналитические дескрипции и дефиниции. Таким образом, интерпретанты знака фиксируют итоги семиотической операции, называемой «знак за знак». Каждый знак, чтобы быть понятым, нуждается в интерпретации, это неоднократно повторяли в специальной литературе (ср. Jakobson 1971, 244; 346; 703; см. также Keller 1998 и др.). О том, какой системой интерпретант может быть представлен языковой знак в своей системе, мы уже писали ранее (Кубрякова 1993, 25 и сл.). Дополним теперь это описание еще несколькими моментами.

Во-первых, в отличие от простого слова производное слово требует действия по отношению к нему правил **инференции**, т.е. известных умозаключений, — правил семантического вывода. Интересно, что само понятие словообразовательной модели может быть существенно уточнено за счет указания на такое правило (см. Кубрякова 1999). Так, например, вряд ли служило бы опознанию человека такое прилагательное, как *носатый* или *брюхатый* (животы и носы есть у всех), поэтому обычно они обозначают 'с большим носом/брюхом'; ср. также отыменные названия производителей действия, для понимания которых надо достроить предикат (*гитарист*, *фельетонист*) и т.п.

Во-вторых, сколько бы ни вводить разных интерпретант знака (ср., например, известное различие интерпретант по денотату или сигнификату знака у Ю. С. Степанова), у производного слова их всегда больше, чем у простого. Подобное положение дел есть результат того, что ПС желательно дать словообразовательную дефиницию — интерпретанту, которая бы фиксировала способ представления семантики данного языка. Словообразовательной интерпретантой мы бы предложили называть такое разъяснение значений ПС, которое указывает как на непосредственный источник его мотивации, так и на операцию по его преобразованию (типа *ученик* — '*тот, кто учится...*', *учитель* — '*тот, кто учит...*'). Необходимость таких интерпретант в словаре возникает лишь тогда, когда ПС содержит некоторую совокупность **скрытых значений**, т.е. когда оно частично «лексикализировано» и не полностью объяснимо по правилам композиционной семантики (ср. *ночник* или же *дневник* с их разными значениями). Даже тогда, когда ПС представляется семантически прозрачным, оно может нуждаться в дополнительных разъяснениях, ср. *косарь* — '*тот, кто косит траву*'.

Интересно отметить, что наличие в составе ПС определенного аффикса фактически ограничивает диапазон значений, описываемых интерпре-

тантой: так, классификационные суффиксы осуществляют профилирование своей основы, относя слово в целом к определенной категории (ср., например, суффиксы вместилищ разного рода, суффиксы производителей действия и т. п.). В отличие от них префиксы указывают на модификации значения — они фиксируют в интерпретанте конкретный характер этой модификации — локативной, оценочной, фазисной и т. п. (ср. *зацвести* и *отцвести*).

Вместе с тем нельзя не отметить, что целый ряд ПС нуждается в лексической интерпретанте (ср. *объявление* — '*афиша*' и пр.). Это создает ситуацию, когда ПС можно дать двойную интерпретацию. Так, слову *заколка* можно дать (как, например, в словаре С. И. Ожегова) интерпретанту '*шпилька для волос*', т. е. интерпретанту лексическую. Можно, однако, объяснить его значение и интерпретантой словообразовательной — '*то, чем закалывают волосы*'. Ср. также слово *выход*, которое можно истолковать лексически как '*время появления на сцене актеров-исполнителей*', но можно и деривационно — как '*момент, когда актеры выходят на сцену*' и т. п.

В-третьих, следует специально обратить внимание на тот факт, что при использовании ПС в тексте или дискурсе интерпретация ПС связана с тем, относится ли приписываемый конкретному ПС признак к нему как целостному обозначению или же, напротив, к какой-либо из его частей. Так, в обороте типа *долгое строительство* признак явно отнесен к глаголу (*строили долго*), но в обороте *советское строительство* признак отнесен к обозначенной деятельности в целом. Его можно интерпретировать и как '*деятельность, которая осуществлялась в советское время*', и как '*деятельность, которую осуществляли советские строители*'. Ср. также *промышленное строительство* в отличие от *высотного* или *монтажного*. Как когда-то заметил З. Вендлер (правда, по другому поводу), красивая танцовщица может означать и 'ту, кто красиво танцует', и 'ту, которая является просто красивой женщиной'! (Вендлер 1981, 537).

Заключая, можно было бы сказать, что одна из этих интерпретант позволяет отождествить объект, а другая — описать его. В целом же, если понимать интерпретанту знака расширительно, как мы пытались показать в этой работе, становится ясным, что семиотические характеристики производных слов не менее значимы для понимания специфики этих единиц, чем ранее нами описанные ономаσιологические или же когнитивные. Более того: увиденные через акт семиозиса, семиотические характеристики ПС вообще и его интерпретант в частности позволяют углубить и сами наши представления об ономаσιологических и когнитивных аспектах ПС как имени, «в своей форме выражающем свое производство от других слов (имен) того же языка» (Степанов 1998, 679).

Литература

- Бейтс Э. Интенции, конвенции и символы // Психолингвистика. Сб. ст. М., Прогресс, 1984, 50—102.
- Булыгина Т. В. Комментарий к кн.: Семиотика. М., Радуга, 1983, 585—627.
- Вендлер З. О слове good // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. X. М., Прогресс, 1981, 531—554.
- Виноград Т. К процессуальному пониманию семантики // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 12. М., Прогресс, 1983, С. 123—170.
- Кубрякова Е. С. Возвращаясь к определению знака // ВЯ, 1993, № 4, 18—28.
- Кубрякова Е. С. Когнитивные аспекты словообразования и связанные с ними правила инференции (семантического вывода) // Neue Wege der Slavistischen Wortbildungsforschung / Hrs von R. Belentschikov. — Frankfurt am Main: Lang, 1999, S. 23—36.
- Лакофф Дж. Лингвистические гештальты // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. X. М., 1981, с. 350—368.
- Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., Искусство, 1971. 367 с.
- Моррис Ч. У. Основания теории знаков // Семиотика. М., Радуга, 1983, с. 37—89.
- Пирс Ч. С. Из работы «Элементы логики. Grammatica speculativa» // Семиотика. М., Радуга, 1983, с. 151—210.
- Степанов Ю. С., Булыгина Т. В. Комментарий к кн.: Семиотика. М., Радуга, 1983, с. 585—627.
- Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. М., Языки русской культуры, 1997, 824 с.
- Степанов Ю. С. Язык и метод. К современной философии языка. М., Языки русской культуры, 1998, 779 с.
- У. Эко. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. М., Петрополис, 1998, 431 с.
- Goschke Th. Wissen ohne Symbole? Das Programm des neueren Kollektivismus // Zeitschrift für Semiotik, Bd 12, 1990, H. 1—2, S. 9—23.
- Jakobson R. Selected writings, vol. II. Word and Language. — The Hague-Paris: Mouton, 1971. — 752 p.

Jorna R. J. Wissensrepräsentationen in Künstlichen Intelligenzen. Zeichentheorie und Kognitionsforschung // Zeitschrift für Semiotik Bd. 12, H. 1–2, 1990, S. 9–23.

Keller R. A Theory of Linguistic Signs. — Oxf. Univ. Press, 1998. — 262 p.

Langacker R. W. Foundations of Cognitive Grammar, vol. 1. — Stanford: St. Univ. Press, 1987. — 516 p.

McShane. Cognitive Development. An Information Processing Approach. — Cambridge (Mass.): Blackwell, 1991. — 394 p.

«Когнитивная» и «концептуальная» лингвистика: их соотношение

Одна из наиболее характерных черт научного творчества Ю. С. Степанова — исключительная широта объекта рассмотрения, включающего в себя не только язык, но и другие знаковые системы, а также построенные с их помощью отображения реальных или воображаемых миров [см. прежде всего Степанов 1998]. Такой широкий взгляд позволяет обнаружить общность в принципах организации языка, материальной и духовной культуры. Выбранная точка зрения определила и особый подход к анализу самих научных теорий. Как мне представляется, в книге Ю. С. Степанова выделяются два аспекта их рассмотрения: а) традиционный, определяемый их соответствием/несоответствием объекту исследования; б) как бы «художественный», раскрывающий особенности отраженного в научных работах видения своего объекта независимо от того, ложное оно или истинное, а также — и даже прежде всего — особенности их внутренней организации, их «стиля» в очень широком смысле этого слова. Анализ научных концепций с указанной последней точки зрения представляется очень интересным, так как, несомненно, может способствовать выявлению стандартных форм человеческого мышления и повторяющихся «содержательных» представлений. Так, в книге Ю. С. Степанова, например, выявляется сходство между «крайним», как я бы сказала, структурализмом и абстракционизмом в литературе и живописи [указ. соч.: 37]. Устанавливается сходство между понятиями, лежащими в основе литературоведческих работ Р. Барта и историка науки М. Фуко [указ. соч.: 48–49]. Очень интересной представляется также мысль Ю. С. Степанова о том, что в основе разных концепций могут лежать одни и те же схемы (например, треугольник Фреге), функции составных элементов которых при этом меняются — «обращение схемы» (например, может происходить превращение вещи, обозначаемой знаком, в знак, уподобляемый своему означающему) [указ. соч.: 147].

Особое место в книге Ю. С. Степанова занимает выявление «семейного сходства» между американскими и русскими лингвофилософскими школами. Интересные результаты такого сопоставления и натолкнули автора

предлагаемой здесь статьи на мысль сравнить некоторые идеи американской когнитивистики со сходными теоретическими положениями европейской, и в частности русской, лингвистики. Следует сразу подчеркнуть, что сравнение касается только языковых проблем, хотя вообще когнитивные исследования относятся к гораздо более широкому кругу явлений.

1. «Когнитивное» направление возникло в Америке в 70-х — 80-х годах и вскоре получило положительные отклики во многих странах, и в частности в России (см., например, Демьянков 1994, Кубрякова 1994, 2000, Вежицкая 1996, Баранов, Долгопольский 1996, Фундаментальные направления современной американской лингвистики 1998, гл. IX — XI, Касевич 1998, Рахилина 2000). В этих работах детально рассмотрены основные положения «когнитивной» лингвистики и многие ее достижения, а также особенности разрабатываемого понятийного аппарата (в частности, широта использования графических средств как «метаязыка» описания семантических концептов). В некоторых из указанных работ проводится также сопоставление когнитивной лингвистики с другими лингвистическими направлениями и вообще с общим направлением развития лингвистических идей [Демьянков 1994, Касевич 1998, Ченки 1998, Рахилина 2000].

При этом иногда даются весьма различные оценки когнитивной лингвистики [ср., например, Касевич 1998 и Кубрякова 2000]. Линия сопоставления будет продолжена и в предлагаемой статье. В фокусе внимания будет поставлен вопрос не об общих постулируемых исследователями целях и задачах, а о том, что к настоящему времени дала когнитивная семантика для более адекватного описания языка как в области исходных общетеоретических предпосылок, так и в области их непосредственного приложения к исследованию конкретного языкового материала.

Будут учитываться только самые общие теоретические предпосылки. Такое ограничение определяется и размером предлагаемой статьи, и тем, что конкретный понятийный аппарат когнитивистов хорошо отражен в указанных выше образах, и тем, что именно самые общие теоретические предпосылки, как представляется, наиболее значимы для характеристики рассматриваемого направления как собственно лингвистического течения.

Для каждой семантической теории первым и самым центральным является вопрос о том, как понимается в ней значение языкового знака. Ответ на этот вопрос фактически определяет выбор самого предмета исследования. Вследствие этого семантические теории можно классифицировать прежде всего под углом зрения предлагаемой трактовки данного вопроса. Отвечая на него в своей программной статье An overview of cognitive grammar [1988], Р. Лангакер пишет: «В ерстической концепции когнитивной грамматики значение отождествляется с концептуализацией (понимаемой весьма широко),

которая должна быть эксплицирована в терминах когнитивной обработки» (1988: 5)—и дальше: «Когнитивная грамматика учитывает „субъективный“ взгляд на значение. Семантическое содержание (value) языкового выражения определяется не только присущими объекту или ситуации, которые оно описывает, свойствами, но и, прежде всего, способом их представления» (1988, 6—7). Понимание значения как концепта позволяет отнести когнитивизм к концептуальной семантике. Концептуальная семантика в принятом здесь понимании не образует отдельного направления, но может входить в разные лингвистические направления (перекрещивающаяся классификация). Термин *концепт* или понятия, соответствующие ему, используются, например, для определения значения и в теории Ф. де Соссюра, и в психологическом направлении конца XIX века. Конечно, при этом представление о содержании языковых концептов могут в той или иной степени различаться. Так, структуралисты акцентируют внимание на роли различных элементов. Для психологического же направления чрезвычайно важно положение о том, что в значении отражается не непосредственное восприятие внешнего мира, а представления, возникающие при «вторичной» когнитивной обработке первичных данных (см. о понятии апперцепции [Потебня 1999, VIII]).

Положение о том, что содержание семантики не соответствует простому отображению «мира», присутствует, как хорошо известно, в более ранних исследованиях (см. прежде всего концепцию Гумбольдта).

Близкие положения были и в американской лингвистике (см. «ментализм»).

Однако потом в американской лингвистике возникли очень сильные течения, отбрасывающие такое понимание значения вследствие того, что оно рассматривалось как недоступные верификации и, следовательно, несоответствующее объекту научного исследования языка (см. об этом A. Langacker 1988).

Первой отрицательной реакцией на ментализм был бихевиоризм, затем широкое распространение получил дескриптивизм. В последнее время американская лингвистика оказалась под сильным воздействием формальной логики, используя аппарат которой и были сделаны попытки описать лингвистическую семантику. При этом значение отождествлялось с набором тех условий, при которых употребление языковой единицы истинно (о критике такого понимания значения см. Langacker, указ. соч.: 6—11).

Вероятно, еще более сильное влияние на американскую лингвистику оказали идеи «порождающей» грамматики, в рамках которой грамматические структуры отделялись от выражаемого ими семантического содержания. Вследствие этого усилия значительной части лингвистов были направ-

нены на выявление чисто формальных, а не семантических свойств грамматических структур.

Исключительно широкое распространение перечисленных научных течений способствовало тому, что американские когнитивисты осознали себя как представителей принципиально нового направления, что помогло их объединению, а также той силе и ярости, с которой они формировали свои «еретические» положения [см. прежде всего Langacker, 1988: Lakoff 1987, Talmy 1988 и др.].

В европейской лингвистике перечисленные выше научные течения либо вообще не были приняты (бихевиоризм), либо имели и имеют гораздо меньшее влияние.

В результате этого многие положения американских когнитивистов обычно воспринимаются европейским, и в частности русским, читателем не как еретические, а как скорее традиционные, но не обязательно общепринятые.

Первым из них является, как уже говорилось, трактовка значения как концепта, причем для большинства лингвистов она всегда связывалась с представлением о том, что значения не предопределяются однозначно свойствами денотативного класса.

В связи с этим отмечу понимание значения как «наивного понятия» в работах Л. В. Щербы, установления связи значения с процессом апперцепции (в работах А. А. Потебни) и т. д.

К числу традиционных для многих европейских лингвистов относится и понимание языка (*langue*) не как порождающей системы. Поэтому слова Р. Лангакера о том, что «грамматика языка просто обеспечивает говорящих на этом языке набором символических средств — говорящие же используют эти средства для создания и оценки языковых выражений, опираясь на свои способности к категоризации и установлению взаимосвязей» [Langacker 1988: 5] воспринимаются прежде всего как возвращение к традиционным лингвистическим представлениям. (Ср. например: определение языка (*langue*) Ф. де Соссюром как системы знаков.) Не менее традиционным, в частности, и для русской лингвистики является и положение когнитивистов о двустороннем характере грамматических, и в том числе синтаксических, единиц. Собственно, все русские грамматики строятся, опираясь на это положение [см., например, В. В. Виноградов 1986, Грамматики 54, 80].

Следует также отметить, что Р. Лангакер в трактовке частей речи возвращается к представлению о наличии у них своего обобщенного значения — предметность у существительных, процессность у глаголов и т. д. [Langacker, 1988: 22].

Несомненно положительный отклик должны вызывать у многих европейских лингвистов (и в том числе русских) возражения Р. Лангакера против крайней математизации лингвистики.

Таким образом, когнитивная семантика — это прежде всего возвращение к уже имеющимся в лингвистике, но временно отброшенным в некоторых лингвистических течениях представлениям.

2. Вместе с тем, хотя американский когнитивизм и вливается в основное русло развития семантики, он составляет в нем особое течение. Его своеобразие, как представляется, заключается не столько в тесной связи и взаимодействии с теорией познания, на что указывают сами когнитивисты, сколько в воздействии на него (как положительном, так и отрицательном) предшествующих этапов развития американской лингвистики и также в исключительном внимании именно к уровню перцепции (что отличает американских когнитивистов от психологических направлений конца XIX — начала XX века). Особенности американского когнитивизма проявляются в отборе методов и приемов описания, а также в отборе тех языковых проблем, которые оказываются в центре изучения.

Рассмотрим перечисленные особенности.

2.1. Одно из проявлений влияния предшествующих этапов развития заключается, с моей точки зрения, в том, что, вопреки общетеоретической установке, исследователи фактически часто описывают свойства денотативной ситуации (денотата), а не то, как она представлена языковым знаком. Такому видению объекта исследования способствует и переоценка значимости перцепции. Эта переоценка приводит к тому, что выделяются по преимуществу концепты, непосредственно отражающие наблюдаемые свойства денотата. Так, в исключительно детальной и по-своему блестящей работе К. Бругман и Дж. Лакоффа [1988], посвященной слову *over*, устанавливаются в основном денотативные типы, а не значения этого слова (сказанное в первую очередь относится к исходным пространственным значениям этого слова). Именно традицией идти от денотата можно объяснить то, что К. Бругман и Дж. Лакофф связывают одни и те же «пространственные картинки» (*imagery schemes*) и со словом *over*, и со словом *above*. Эта последняя лексема используется для описания стативного значения *over*. В приводимой ими «картинке» учитывается только положение траекстора (*trajector*) (т. е. объекта, пространственное положение которого устанавливается; в другой терминологии — это референт) выше того объекта (*land-mark*), по отношению к которому устанавливается положение траекстора (в другой терминологии — *land-mark* — это ориентир, релятум). Как показали исследования Т. Н. Мальяр [1995] и К. Ковентри [1998], семантика слов *over* и *above* различается и по характеру концептуализации пространства,

и по связанным с этой концептуализацией функциональным признакам. В терминологии Т. Н. Мальяр предлог *over* задает понятие «области»¹, т. е. пространственного сегмента: а) непосредственно примыкающего к ориентиру, в рассматриваемом случае, сверху (т. е. верхняя сторона ориентира является нижней стороной примыкающего к нему пространства), и б) воспринимаемого как «приписанного» ориентиру («его» пространства). В отличие от этого слово *above* задает плоскость или линию, параллельную ориентиру, но расположенную выше его и отделенную от него и пространственно, и по типу отношения к нему, — это отделенный от ориентира пространственный сегмент, не «его» пространство. Таким образом, здесь, в отличие от [Brugman, Lakoff], кроме траектора (обозначим его знаком X) и ориентира (обозначим его знаком Y) вводится пространственный сегмент (S), который и является местом нахождения X-а. Этот пространственный сегмент S по-разному представлен словами *over* и *above*. (См. Рис. 1.)

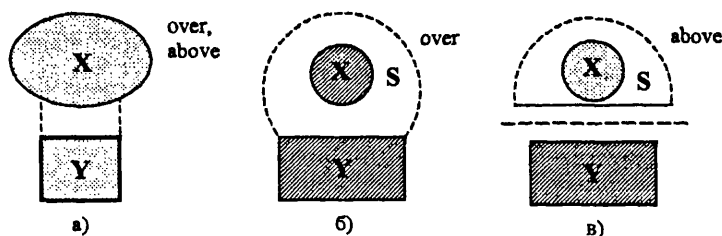


Рис. 1

Вариант а) соответствует изображению семантики *over* и *above* в [Brugman, Lakoff].

Вариант б) и в) приблизительно соответствуют описанию семантики *over* и *above* в [Мальяр 1995].

Разные характеристики пространственного сегмента S коррелируют и с разными функциональными признаками, выражаемыми словами *over* и *above*. Так, например, функция «экранирования» Y-а от падающих на него сверху потоков энергии или частиц и т. п. должна связываться с положением X-а в «области» Y-а, а не в пространственном сегменте, отделенном от Y-а, независимом от него. Отсюда можно сказать: *She held an umbrella over her head* (**above her head*). Напротив, положение подноса, который несет над собой официант, должно описываться через предлог *above*, хо-

¹ Это понятие было первоначально введено при описании предлогов «горизонтальной оси» — *у, около, возле, by* [Мальяр, Селиверстова 1993].

тя «денотативно» его пространственная позиция может точно совпадать с положением зонта. Подобных различий по разнообразным функциям очень много (наиболее детально они рассмотрены в указ. работе К. Ковентри). Отмечу только, что все они согласуются с описанным выше различием в пространственной концептуализации.

Из проведенного сопоставления видно, что в работе К. Бругман и Дж. Лакоффа дается обедненное описание приведенного значения предлога *over*. Такая неполнота выявления семантических концептов представляется довольно характерной чертой исследований американских когнитивистов. Отмечу, например, работы А. Герсковиц [1986, 1988]. В этих работах пространственным предлогам приписывается некоторое «идеальное значение», описываемое только через набор относительно простых геометрических понятий. Сама А. Герсковиц понимает, что представленное таким образом значение не отражает ту сложную информацию, которая выражается пространственными предлогами, но считает, что в речи происходят определенные отклонения от «идеального» значения и его пополнения, обусловленные контекстом употребления. При этом не выделяются достаточно четкие критерии, которые позволили бы установить, имеет ли место добавление к языковому значению контекстной информации или же все-таки происходит изменение самого значения, а также приводит ли наличие определенного несоответствия между «идеальным значением» и денотативной ситуацией к изменению значения или речь идет о некоторой закономерности построения речи (например, связанная с допустимостью игнорирования несущественных отклонений денотативной ситуации от информации, передаваемой о ней языковым знаком. Здесь имеются случаи типа *книга лежит на столе*, когда она непосредственно лежит на скатерти). Таким образом, в работе предлагается весьма спорное решение проблемы соотношения значения и контекста (данная проблема, как представляется, вообще является одной из центральных для современной семантики), а также принимается упрощенное понимание исходного пространственного значения.

Представление об обедненности собственно языковых лингвистических концептов иногда принимается даже как самоочевидное и кладется в основу других теоретических положений. Так, например, Р. Лангакер выдвигает положение о неоправданности отделения собственно языковой семантики от прагматических характеристик и общих знаний о мире, опираясь прежде всего именно на это положение. Он пишет, что такое отделение можно провести, но при этом встает вопрос о том, «будет ли содержание этой выделенной части иметь независимую значимость и заслуживать серьезного интереса» [указ. соч. 1988: 17]. Представляется, что отказ от разграничения семантики и прагматики семантики и общих энциклопедических

знаний резко отрицательно сказался бы на успешном развитии рассматриваемой области исследований. Из-за недостатка места здесь данный вопрос не анализируется. В отношении термина *прагматики* отмечу только, что он употребляется в лингвистике и в философии в весьма разных, а иногда и прямо противоположных смыслах [Степанов 1988: 377–380]. Вследствие этого ответ на вопрос о соотношении семантики и прагматики в сильной степени зависит от содержания, вкладываемого в термин «прагматика».

Я опускаю здесь также рассмотрение очень интересного понятия *дектики*, введенного Ю. С. Степановым, и его соотношения с понятием прагматики.

Возвращаясь к проблеме неполноты или неточности раскрытия семантических концептов, составляющих означаемое языковых знаков, следует сказать, что, как хорошо известно, проблема остается все еще не решенной в языкознании в целом, что в значительной степени связано с ее исключительной сложностью. Однако, кроме этого, были и частично остаются некоторые «неудачные» общетеоретические предпосылки, тормозящие ее решение. Если для американской лингвистики это, может быть, прежде всего сознательное и подсознательное отождествление значения и денотата, то для европейской лингвистики это в первую очередь, скорее, недостаточная широта внедрения экспериментальной методики как средства проверки предсказательной силы описания, а также то, что можно было назвать крайним структурализмом, который также приводит к упрощенному представлению о характере и содержании тех концептов, которые могут разграничивать значения членов семантических групп.

Характерная для американской лингвистики традиция идти от денотата проявляется, как мне представляется, и в преувеличении роли прототипа в семантике. Можно полностью согласиться с тем, что прототипическое значение часто лежит в основе организации полисемии, хотя, как я думаю, это не единственный тип многозначности. Понятие прототипа здесь, в сущности, соответствует старому понятию «исходного, или основного», значения. Представление о прототипической организации, однако, распространяется когнитивистами и на структуру отдельного значения. Возможность такого или, точнее, близкого к нему построения значения отмечалась и в других лингвистических направлениях. Так, в исследованиях по функциональной грамматике А. В. Бондарко [например, 1990] большинство категориальных значений представлено как складывающееся из набора вариантов, одни из которых являются центральными, а другие — периферийными. Именно так описана и категория посессивности в работах автора данной статьи [например, Селиверстова 1990]. В этой работе, однако, высказывается предположение, что за всеми выделяемыми вариантами все-таки стоит некоторый

инвариантный, хотя и очень нечеткий концепт [указ. соч.: 19–27]. Таким образом, я разделяю взгляды когнитивистов о существовании значений, распадающиеся на варианты, объединенные по принципу семейного сходства.

Однако место, занимаемое семантическими структурами такого типа, представляется мне в работах когнитивистов сильно преувеличенным. Как убедительно показано А. Вежбицкой [1996: 201–212], представление о том, что понятие прототипа более точно соответствует структуре значения, часто вызвано просто неправильным толкованием значения. Добавлю к этому, что сами эти неправильные толкования чаще всего определяются тем, что рассматриваются фактически потенциальные денотаты, а не сами концепты. Так, например, как справедливо отмечает А. Вежбицкая, даже если говорящий, поздравляя кого-то с успехом, совсем не испытывает при этом радости, то это не значит, что изменяется значение самого слова *поздравлять*: оно в любом случае выполняет функции выражения «положительного» отношения говорящего к случившемуся. Что же при этом реально ощущает говорящий — характеризует лишь саму денотативную ситуацию.

2.2. Если давняя традиция не ставить в фокусе исследования «означаемое» языкового знака все еще отрицательно, как я думаю, сказывается на развитии американской когнитивистики, то другая общая тенденция, а именно стремление сделать лингвистику «точной» наукой, а как следствие этого постоянная проверка предсказательной силы описания, является важнейшим фактором, стимулирующим ее развитие. Правда, сама по себе тенденция превратить лингвистику в точную науку в свое время способствовала отказу от ментализма как чего-то, как тогда казалось, недоступного экспериментальной проверке, но одновременно сам по себе критерий предсказательности и помогает отбросить неправильные теоретические предположения. Так, например, в работах когнитивистов (см. прежде всего Hergskowitz 1988) была блестяще показана недостаточность модели «простых (пространственных) отношений», которая использовалась в компьютерной лингвистике для объяснения функционирования в речи пространственных предлогов и наречий.

Необходимость опираться на принцип предсказуемости описания при работе над современными языками также осознается в европейской, и в частности русской, лингвистике [см. знаменитую работу Л. В. Щербы «О тройном характере языковых явлений и об эксперименте в языкознании»]. Однако широта внедрения этого принципа в практику семантических исследований представляется мне гораздо меньшей.

Формы применения эксперимента, проверяющие предсказательность полученного описания, естественно, зависят от того, что рассматривается в качестве объекта исследования. При принятом в американской лингвистике

отождествлении значения с условиями истинности устанавливалось, правильно ли предсказывает предлагаемое описание эти условия. В когнитивных работах, несмотря на то, что семантическое описание должно устанавливать все особенности употребления, и тот факт, что описание значения не предсказывает их полностью, заставил когнитивистов ослабить требование предсказательности. Так, Р. Лангакер пишет: «ожидать полную предсказуемость в большинстве случаев нереалистично: многое носит приблизительный характер (*much is a matter of degree*), и роль условностей очень существенна» [указ. соч. 1988: 4].

Сказанное безусловно справедливо по отношению к возможностям употребления языковой единицы, но если значение языковой единицы — это концепт, т. е. явление, принципиально отличное от денотативной отнесенности, и, больше того, если признать справедливым прозрения лингвистов психологической школы конца XIX и начала XX века о том, что эти концепты соответствуют не уровню восприятия, а сформировались на более высоком уровне обработки и переработки (переосмысления) получаемой извне информации (см. об этом выше), то почему вообще ожидать от описания значение такой предсказуемости? Существование разных явлений, взаимодействующих в актах формирования и понимания речи, заставляет, как представляется, отдельно говорить о разных аспектах предсказательности. Во-первых, о способности семантического описания предсказывать само значение, т. е. то, как будет представлен денотат, если он будет обозначен описываемым языковым знаком (причем здесь учитывается только «вклад» самого знака, а не общего контекста, в котором он использован, или общих знаний о мире). Во-вторых, о том, в какой степени само значение предопределяет денотативную отнесенность и вообще условия употребления языкового знака. В-третьих, насколько полно предлагаемое семантическое описание учитывает все те факторы, которые наряду со значением влияют на возможности функционирования языкового знака в речи, и в частности на его понимание.

В отношении самого значения, как я думаю, можно ожидать и требовать полную предсказательность. Понятно, что при доказательстве правильности постулируемой гипотезы относительно значения той или иной языковой единицы исследователь не может не обращаться к контекстным условиям ее употребления и к возможности ее соотнесения с различными типами денотатов, но для этого достаточно отобрать так называемые «диагностирующие» контексты и денотативные ситуации. Свое понимание данной проблемы я рассмотрела в [например, Селиверстова 1980].

Говоря о предсказуемости семантического описания, нужно в то же время иметь в виду, что в самом значении могут быть заключены довольно

неопределенные представления. Так, предложение *Идите прямо* совсем не означает, что нужно обязательно идти строго по прямой линии. Оно показывает лишь, что «результатирующее» движение должно приблизительно соответствовать прямой, что не исключает возможность временных небольших отклонений. Как я думаю, нет никакого основания считать, что допустимость подобных отклонений свидетельствует об искажении в речи «идеального» точного значения. Скорее, есть основания говорить, что «точное» описание значения должно отразить содержащиеся в нем «приблизительные» представления.

Даже при отсутствии неопределенности в самом значении степень выводимости из него обязательных и необходимых свойств денотатов в сильной степени зависит от ряда других характеристик отдельных значений. Так, очень обобщенный и абстрактный характер многих языковых концептов часто не позволяет полностью определить условия истинности употребления языковой единицы. Сюда, например, относятся большинство оценочных слов (*хороший, добрый, красивый, хорошенький* и т. п.), которые не содержат в своем значении строгих критериев, позволяющих определить, какие объекты соответствуют данным оценкам, а какие — нет. Далее, многие семантические представления, фактически связанные с количественными характеристиками, в языке определены лишь качественно. Отсюда естественен довольно большой разброс в субъективных представлениях о том, какое, например, именно расстояние связывается у разных говорящих с понятием близости, даже при заданном типе ситуации. Так, при том же самом расстоянии места жительства от метро оценка его как близкого или неблизкого может расходиться у разных респондентов.

Подобно этому, хотя носители русского и английского языков осознают, что рассмотренное выше понятие «области», входящее в семантику предлогов *over, у, около, возле (стоять у шкафа)*, предполагает наличие внешней границы, дальше которой оно не распространяется, место, где проходит эта граница, можно определить лишь приблизительно.

Неполная выводимость из значения языковой единицы его экстенционала определяется также, как справедливо отмечал Р. Лангакер, существованием конвенциональных употреблений. При этом, однако, неверно было бы считать, что они абсолютно произвольны. Поэтому важно выделить предпосылки их возникновения. Возможно, главный источник появления конвенциональных употреблений связан с существованием денотатов и денотативных ситуаций, которые по своим объективным свойствам допускают разное осмысление. Так, например, если место нахождения (Y) некоторого объекта (X) характеризуется наличием впадин и выпуклостей (горы, холмы и т. п.), то появляется потенциальная возможность «увидеть» ситуацию, с одной

стороны, как нахождение X-а на поверхности Y-а и, следовательно, описать ее через предлоги типа *на, sur, on*, а с другой стороны, как нахождение внутри объемного слоя, создаваемого чередованием впадин и выпуклостей, и, следовательно, описывать ситуацию через предлоги *в, dans, in*. При возникновении подобных «двусмысленных» ситуаций могут иногда допускаться разные способы их представления, но во многих случаях устанавливается единое для носителей данного языка конвенциональное представление ситуации. Например, русск. *в горах*, но: *на холмах*; на Урале, на Кавказе, англ. *in the mountains, in the hills*.

Существование конвенциональных осмыслений «двусмысленных» денотативных ситуаций свидетельствует о необходимости выделять особый уровень концептуализации, который предшествует ее обозначению через языковой знак [Селиверстова 1975: 11]. Среди когнитивистов данный уровень описания выделяется только Л. Талми. Он употребляет здесь термин «культурный предвыбор» [например: 1983].

Кроме перечисленных причин, определяющих неполную выводимость «правильной» денотативной отнесенности из семантического содержания значения, отмечу еще возможность расхождений в индивидуальном осмыслении мира отдельными говорящими. Например, слова Иешуа в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» о том, что все люди добры, как бы противоречащие наблюдаемым фактам, определяются видением природы человека как исходно светлой, которая может лишь в той или иной степени искажаться внешними влияниями.

Таким образом, семантическое описание должно адекватно представлять само значение языкового знака, но не имеет полной предсказательной силы по отношению к условиям его функционирования. Особенности в денотативной отнесенности и сочетаемости, не выводимые прямо из значения, но присущие всем носителям языка, должны просто задаваться списком или через определенные модели сочетаемости. При этом, однако, существенно выявление причин появления конвенциональных употреблений, связанных, в частности, с интерпретацией «двусмысленных» ситуаций. Выделение таких ситуаций позволяет предсказать условия, в которых эти конвенциональные употребления могут возникнуть.

В настоящей статье не рассматривались конкретные достижения «когнитивной лингвистики». Они подробно рассмотрены в указанных выше обзорах. С моей точки зрения, очень важен вклад когнитивной лингвистики: 1) в установление различных особенностей употребления, в частности, денотативной отнесенности (но не в раскрытие собственно семантических концептов, составляющих означаемые языковых единиц, о чем говорилось выше); 2) в выявление типизированных преобразований языковых значений,

в том числе связанных с метафорой и метонимией (хотя, как представляется, иногда эти последние понятия используются излишне широко); 3) в постановку вопроса о наличии общих когнитивных процессов, возможно, стоящих за весьма разнообразными языковыми значениями.

Итак, в статье утверждалось, что когнитивная лингвистика по своим общетеоретическим положениям (понимание языка, и в том числе ее грамматики как системы двусторонних символов, имеющих свое формальное выражение и значение, трактовка значения как концепта в том смысле, как он был определен выше) относится к концептуальной семантике, которая, не существуя в качестве самостоятельного направления, составляет важнейшую общетеоретическую часть в целом ряде лингвистических направлений. К ним относится, прежде всего, психологическое направление конца XIX — начала XX века, значительная часть работ, проводимых в рамках структуралистического направления, а также работы многих лингвистов разных стран, не относящиеся к какому-то одному определенному направлению.

Основным методом, применяемым в когнитивной семантике, служит эксперимент, используемый, прежде всего, в качестве верификационной процедуры. Этот метод, об исключительной значимости введения которого в «синхронную» лингвистику писал еще Л. В. Щерба, применяется и в европейской, и в частности русской, лингвистике. Однако широта его распространения пока еще меньшая, чем в американской лингвистике.

В рамках работ, объединенных отмеченными общетеоретическими положениями и методикой исследования, когнитивная семантика в ее американском варианте занимает особое место, прежде всего, по отбору тех семантических проблем, которые оказываются в фокусе внимания: 1) выявление различных типов семантических преобразований; 2) исключительное внимание к установлению разнообразных условий употребления, часть не выводимых их самого значения. Своеобразие американского когнитивизма определяется также той ролью, которая приписывается перцепции, в формировании языковых значений, и, наконец, поисками общих когнитивных «установок», стоящих за разнообразными особенностями функционирования и разными значениями.

Литература

- Баранов А. М., Добровольский Д. О. Постулаты когнитивной семантики // Изв. РАН, СЛЯ, 1966, т. 55, № 6.
- Бондарко А. В. Темпоральность // Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность. Л., 1990.

- Вежбицка А.* Прототипы и инварианты. Язык. Культура. Познание. М., Русские словари, 1996.
- Виноградов В. В.* Русский язык. М., 1986.
- Грамматика 54: Грамматика русского языка, т. II. М., 1954.
- Грамматика 80: Русская грамматика 1980, т. II.
- Демьянков В. З.* Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода // ВЯ, 1994, № 4.
- Касевич В. Б.* О когнитивной лингвистике // Общее языкознание и теория грамматики. С.-Петербург, 1998.
- Кубрякова Е. С.* Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика — психология — когнитивная наука // ВЯ, 1994, № 4.
- Кубрякова Е. С.* В защиту когнитивной лингвистики // Изв. РАН. Серия литературы и языка, т. №, 2000 г.
- Маляр Т. Н., Селиверстова О. П.* Понятие «пространства» и расстояния в семантике некоторых русских и английских предлогов и наречий // Типологические и сравнительные методы в славянском языкознании: Сб. статей. М., Ин-т славяноведения, 1993.
- Маляр Т. Н.* О семантике предлога over // Концептуализация и когнитивное моделирование мира: Сб. научных трудов МГЛУ, № 430. М., 1995.
- Потебня А. Н.* Мысль и язык. М., 1999, гл. VIII.
- Рахилина Е. В.* О тенденциях в развитии когнитивной семантики // Изв. РАН. Серия литературы и языка. 2000, т. 59, № 3.
- Селиверстова О. Н.* Компонентный анализ многозначных слов. М., 1975.
- Селиверстова О. Н.* Некоторые типы семантических гипотез и их верификация // Гипотеза в современной лингвистике (ред. Ю. С. Степанов). М., 1980.
- Селиверстова О. Н.* Контрастивная синтаксическая семантика. М., 1990.
- Степанов Ю. С.* Язык и метод. М., 1998.
- Ченки А.* Семантика в когнитивной лингвистике // Фундаментальные направления современной американской лингвистики. М., 1998, гл. 10.
- Фундаментальные направления современной американской лингвистики. Изд. Московского Университета. М., 1997.

- Brugman Cl., Lakoff J.* Cognitive Topology and Lexical Networks (ch. 18) // Lexical Ambiguity Resolution, *Small St., Cottrell W., Tanenhaus M.* (eds). Morgan Kaufmann Publishers, Inc., 1988.
- Coventry K. R.* Geometry, function, and the comprehension of *over, under, above* and *below* // Eds. *Gernbacher M. A. and Derry S. J.* Proceedings of the cognitive science society. Mahwah, New Jersey, London, 1998.
- Herskovits A.* Spatial Expressions and the Plasticity of meaning // Topics in cognitive Linguistics (ed. Brygida Rudzka-Ostyn), 1988. Benjamins.
- Lakoff J.* Women, Fire, and Dangerous Things, Chicago. 1987.
- Langacker R. W.* A Overview of Cognitive Grammar // Topics in Cognitive Linguistics ed. Brygida Rudzka-Ostyn, John Benjamins. 1988.
- Talmy L.* The Relation of Grammar to Cognition // Topics in Cognitive Linguistics (ed. Brygida Rudzka-Ostyn), Benjamins Publishing's Company. 1988.
- Talmy L.* How Language Structures space // Spatial Orientation. Theory. Research and Application. New York, 1983.

Лингвистическая интерпретация текста: универсальные и национальные (идиоэтнические) стратегии

1. Введение

В обыденной речи слово *интерпретация* употребляется часто и даже стало модным. Однако это слово обладает каким-то уничижительным привкусом, когда говорят: *Это — не непреложная истина, это — всего лишь интерпретация*. Ну что же, в таком случае филологи занимаются «всего лишь» языком. Однако в этом «всего лишь» — и наша жизнь.

Подходя к интерпретации не только как к инструменту, но и как к объекту филологии, литературоведения, философия языка и лингвистика обретают общий язык, общие интересы и общий материал исследования.

Интерпретация в филологии затрагивает две стороны:

- понять самому
- объяснить и/или обосновать это понимание другим.

Чисто национальной установке интерпретирования можно — в известной степени условно — противопоставить межнациональную или межкультурную установку. Именно она и проявилась к концу 20-го в., когда в филологии выработалось направление — **интерпретационизм в широком смысле** (синонимы: **интерпретирующий подход, интерпретивизм**). Основной тезис этого направления можно сформулировать так: «Значения вычисляются интерпретатором, а не содержатся в языковой форме».

При таком подходе развитие теории связывается с выяснением значения, с передачей взглядов теоретиков и с установлением гармонии между взглядами, на первый раз противоречащими друг другу. Благодаря этому мы и наблюдаем такое разнообразие подходов в теоретическом мышлении: чужие теории становятся сырьем для теоретика. Традиции мышления, ранее малоизвестные или обходимые молчанием, вышли на передний план. Теоретизирование связано не только с продуцированием, но и с интерпретацией чужого дискурса.

До прихода интерпретационизма вопросы «интерпретации» уходили на второй план: как предполагалось, цель науки — выявление объективных законов или систем законов на основе исключительно эмпирических наблюдений. То, как в науке открываются и формулируются законы, не связывалось с окружающей культурой мышления и процедурами обмена мнениями. Когда же это положение было осмыслено в заостренной форме, оно вызвало сомнения у скептиков: неужели, действительно, методология науки находится вне рамок остальной мыслительной деятельности человека?

Тогда возникает следующий вопрос: полностью ли интернациональны стратегии интерпретации научных теорий? Полностью ли внеположены они национальным стратегиям и традициям восприятия чужого? Позволяют дать ответ на этот вопрос результаты исследования Ю. С. Степанова последних лет, особенно [Ю. С. Степанов 1998], книги, содержащей огромный материал из истории европейской мысли. Этот материал подтверждает, по существу, интерпретативный взгляд на научную парадигму как на одно из воплощений более широкой парадигмы ментальности — в искусстве и литературе.

2. Стратегии интерпретации

В лингвистике последних 30 лет понятие «интерпретация» в первом смысле стало особенно популярным продолжением понятия «стратегии восприятия» (Т. Бивер, А. Гросу и др.): такие стратегии, используемые в восприятии речи, могут ограничивать приемлемость, а иногда даже грамматичность предложений. Тот факт, что носители языка отвергают некоторые конструкции, гораздо лучше объясняется факторами восприятия, чем через чисто формальный анализ. Так, градации приемлемости объясняются через различную интерпретацию тех или иных сущностей как занимающих определенную позицию на шкале одушевленности, см. [E. Ransom 1977: 418–419]¹:

- (1a) They fed a lion a lamb / ?the lamb
- (1b) They fed the lion the lamb / ?the Christian
- (1c) They fed the lion a Christian
- (2a) A cat is being chased by a dog /?the dog
- (2b) The cat is being chased by the dog /?the man
- (2c) The cat is being chased by a man.

Одним из парадных примеров являются предложения с «временной неоднозначностью» (т. н. *garden-path sentences*), которые в начале свое-

¹ Знаком вопроса перед выражением мы указываем на сомнительную приемлемость, а звездочкой — на неправильность.

го развертывания интерпретируются не так же, как в конце, например: *Bill knew the answer was correct, The candidate expected to win lost.*

Пик полезности интерпретирующего подхода, звездный час интерпретациониста — когда в тексте сталкиваются с недосказанностью или избыточностью. По таким моментам теоретик реконструирует общую механику языковой интерпретации текста, что делает работу теоретика похожей на процедуру языковой реконструкции.

Взаимодействие различных видов интерпретации дает понимание — внутренне реализованную «удачную интерпретацию», не обязательно проявленную внешне, для других людей². Понимание — оценка результата интерпретации или ее хода, воплощенная по-разному в зависимости от личностных характеристик интерпретатора. Так, *Я понял, что вы хотите сказать* можно перифразировать следующим образом: «Моя интерпретация вашей речи совпадает с вашей интерпретацией вашей собственной речи», «Моя интерпретация совпадает с замыслом, возможно, неудачно воплощенным в вашей речи» и т. п.³ Естественно, что языковые аспекты интерпретации не исчерпывают понимания в целом⁴.

В теории игр, приложенной к описанию речевой деятельности, к отличительным признакам стратегии относят (см. [J. Ossner 1985: 133], [M. Schecker 1983: 81], [E. Goffman 1971], [I. Kurcz 1987: 165], [T. A. v. Dijk 1984: 115]):

- наличие плана (или принципа), регулирующего на каждом этапе действий выбор из набора возможных действий (альтернативы должны всегда существовать) в конкретной ситуации;
- этот выбор оценивается под углом зрения целесообразности и эффективности;

² Иначе разграничивал понимание и интерпретацию Дройзен, полагавший, что к интерпретации мы прибегаем, только если нет непосредственного личного контакта с автором; отсюда — следующие виды интерпретации: а) прагматическая — по делам и по фактам, б) интерпретация окружения — времени и пространства, в) психологическая — по мотивам и т. п., г) по идеям или по этическим факторам [Droysen 1943, с. 153].

³ Ср.: «Возможности и степень понимания (или непонимания) „заданы“ не только специальной и общей эрудицией ученого, но и типом его сознания („конформистский“, либо „творческий“), тем, на основе каких научных императивов производится оценка новых данных и какие субъективные возможности „открыты“ специалисту для перевода научной информации в состав оперативных структур мышления» [Гранин 1987, с. 72].

⁴ Впрочем, при когнитивистском подходе границы между языковым и внеязыковым настолько размыты, что это положение становится либо трюизмом, либо бессмысленным, см. [Singer 1996, с. 3–5].

- в отличие от правила, исход применения стратегии далеко не всегда предсказуем: знания о контрагентах неполны, цели неопределенны, размыты и т. п.

Итак, правило применяется или не применяется, причем в рамках алгоритма, а стратегия осуществляется, успешно или безуспешно, в менее ясных обстоятельствах. В столкновении с незапланированной ситуацией правила бессильны, и человек может опираться, в лучшем случае, на стратегии, несущие в себе меры оценки действий.

Если стратегия применена успешно, мы непосредственно добиваемся цели; тактические приемы позволяют достигать менее крупных целей.

В логике действия, опирающейся на логику возможных миров, пучок этих свойств считается ключевым для формального определения стратегии действия [Ch. L. Hamblin 1987: 155—156].

Идиотнические стратегии интерпретации являются частью национальных традиций. Эти стратегии проявлены:

- в практике восприятия — понимания, интерпретации (традиция истолкования), перевода и т. п. текстов; например, *Штирлиц проглотил сообщение верховного главнокомандующего, не моргнув глазом* может интерпретироваться буквально, переносно или одновременно буквально и переносно, в зависимости от «ключа» прочтения: серьезного или шуточного (о стратегиях метафорической интерпретации см. [J. R. Searle 1979b]);
- в традициях описания «своего» vs. «чужого» (иностранного) языка, что особенно явно отражается в лексикографической и грамматической традициях; в восприятие своего vs. чужого всегда входит и оценка «чужого»⁵;

⁵ Ср.: «... Strategien, die zum Zweck der Wertung eingesetzt werden. Sie reichen von dezidiierter Parteinahme... bis hin zu verhüllender Scheinargumentation... zwischen denen eine Vielzahl von Übergangsphänomenen angesiedelt ist. Die Kritik wird stets über die handelnden Figuren transportiert und richtet sich, ausgehend vom Fremden, an die Adresse des eigenen Verhaltens bzw. Fehlverhaltens. Das Bemühen, den Effekt der kritisierenden Aussagen zu steigern, indem man sie hinter ihrem Gegenteil verbirgt, auf andere Sinnebenen 'verschiebt' bzw. verlagert, gehört in den Bereich rhetorischer Strategien. Zusammen mit dem Impetus, der sich als Gut-Böse-Dichotomie innerhalb des Referenzsystems moralischer Werturteile beschreiben läßt, umfassen die Anstrengungen des Verhüllens das Spektrum dessen, was mit «retórica moral» (R. Catz) gemeint ist. Das Verhältnis von Fremdheit und moralisch wertenden Aussagen ist ein zweiseitiges: In der einen Richtung werden Wertungen auf das Fremde projiziert, indem der Erzähler die für ihn fremde Lebenswelt phänomenologisch oder deskriptiv entfaltet und einen Maßstab religiös-moralisch akzentuierter Wertungskriterien anlegt. In einer dazu gegenläufigen

- в традициях культурологической и литературоведческой рецепции текстов, своих (создаваемых данным этносом) и чужих (текстов, пришедших из чужих культур и от других народов). Мир толкуемого текста отдален от интерпретатора в пространстве и/или во времени и в принципе недоступен. Чужой считается:
 - жизнь народа, удаленная от актуальности читателя во времени. Например, в центре внимания романтической герменевтики [Ast 1808, с. 1] находился дух древности, отражаемый трудами древних писателей и частной жизнью «классических народов». Внешнее проявление жизни считалось содержанием, а представление и язык — формой классической жизни; возможно, через сто лет из интерпретации русских предложений конца 20-го в. читатель сделает свои выводы о нашей эпохе; например: *Кириенко назвал Жириновского скрытым демократом, и Жириновский тоже оскорбил Кириенко*;
 - народ-современник, но с иной культурой, в том числе с иной текстовой культурой.
- в грамматических и лексикографических традициях, среди прототипов *национальных традиций* можно указать: русскую (и — с некоторыми модификациями — западноевропейскую), санскритскую (древнеиндийскую), семитскую и китайскую.

В словаре лексические истолкования дают правила интерпретации и охватывают как прямые, так и переносные значения слова. Лексикограф-практик пытается ухватить и сгруппировать наиболее броские, типичные значения — «прототипичные» эталонные истолкования. Но в реальном контексте бывает невозможно следовать ни одному из таких «правил» — например, при переводе. Вот тогда-то и прибегают к помощи стратегий интерпретации. Стратегии интерпретации, результат которых мы наблюдаем в речи и который пока еще не отражен даже самым полным словарем, регистрируются следующим поколением или версиями словарей, но история значения слова на этом не кончается. Фиксированные словарем значения образуют островки, между которыми располагаются реальные значения слова в тексте. Интерпретация речи не менее креативна, чем продуцирование речи.

Richtung kommt aber innerhalb des vom Erzähler etablierten Wertmodells das Fremde selbst in Gestalt von individuellen Figuren dadurch zu Wort, daß diese sich ihrerseits bei Urteilen über die Portugiesen DERSELBEN Wertvorstellungen wie diese bedienen, sie aber gerade für die Gegenposition instrumentieren. Fremdheit und Wertung sind damit in ein deutliches Spannungsverhältnis gestellt» [J. Reck 1997: 39].

3. Принцип доверия к интерпретатору

Разные структуры языков и письменностей предполагают разную степень доверия к интерпретатору. Вспомним противопоставление «языки говорящего — языки слушающего» (О. Есперсен, Р. Якобсон). Однако в языке трудно разграничить свойства, являющиеся следствием продуцирования речи, от свойств, родившихся из потребности интерпретации. Кроме того, есть и универсальные черты, предполагающие наличие универсальных стратегий интерпретации.

Паркуя машину, опытный водитель стремится в последний момент развернуть колеса, чтобы потом лучше было выехать. Так и при построении речи мы делаем — и далеко не в последний момент — усилия для облегчения интерпретации нашей же речи. Но языки различаются параметрами, по которым продуцент больше или меньше полагается на возможности своего интерпретатора, на стандартное, или реквизитное в рамках данной культуры, интерпретаторское мастерство адресата:

- само различие систем письменности предполагает разную степень доверия к интерпретаторскому мастерству адресата, ср. китайскую, японскую, семитскую и почти фонологическую (типа финской) системы;
- последовательности предложений вроде русских *Принес стулья. Сели* или *Пришел просить денег. Не дам.*⁶ Особенно интересно представлены такие случаи в русских загадках, например: *Четыре ноги, да не зверь; Есть перья, да не птица* (постель); *Зимой нет теплей, летом нет холодней* (печь и погреб). Чтобы восстановить до полного предложения, эти загадки должны быть основательно синтаксически переделаны. Что и делает загадывающий, разъясняя явный и скрытый смысл загадки. Тексты загадок и сакральные тексты с «темными местами» ценны для носителей языка как тренинг: они дают возможность проявить интерпретаторский талант;
- *resumptive pronouns* в испанском; в придаточных относительных в кельтских [S. Harlow 1981] и семитских языках (в работе Зализняка и Падучева эти факты описываются в рамках придаточных относительных); например: *la causa POR LA que se sacrifica; aquello EN LO que confias*; ср. в валлийском: *y dyn y siaradasoch chwi* (= ты) *ag* (вместе, с) *ef* (= он) «человек, который ты разговаривал с ним». Есть похожее

⁶ Эти примеры невозможно столь же коротко передать, например, по-английски или по-немецки: обязательно потребуется дополнение. В китайском же они бывают сплошь и рядом, см. [Li, Thompson 1978a].

во многих языках, но как бы на границе приемлемости; например, в английском: *the guy who I hate almost everything he does* (пример из [R. Кауне 1981a]). Это явление характерно для «недоверчивых» языков; а в доверчивых (как в китайском, в хинди и урду) его нет [A. Davison 1988: 208];

- посессивность в венгерском типа: *az én apám szűcs volt* (Móricz) «мой отец был скорняком»; *az én könyvem*, итал. *il mio libro* etc., когда артикль допускается, а в некоторых контекстах даже обязателен. По этому параметру такие языки противопоставлены, скажем, арабскому, где при посессивном же аффиксе артикль недопустим, ср. неправильное * *al-kitābī*; это аналогично запрету в европейских языках с артиклями: * *the my book*.

По подобным же параметрам различаются языки с морфологическим падежом и без него, с категорией времени и без нее и т. п. Именно в силу этого исследователи языков прибегают к принципу различительности и тесту на коммутацию (замену некоторого элемента в высказывании, с исследованием получаемого смысла): в качестве выступающего колеса или колышка выступает соответствующая грамматическая категория. В этом случае можно сказать, что мы имеем дело с *language-specific* стратегиями. А те места в языковой системе, где колышков нет, подлежат универсальным стратегиям интерпретации. Итак, описывая *language-specific* стратегии, мы вскрываем конкретную структуру языка.

4. Сверхдоверие

Сверхдоверие — тот крайний случай, когда говорящий просто молчит, полагая, что его поймут и без слов.

Интерпретация молчания сродни «восприятию» платья голого короля, недаром говорят: «Молчи, за умного сойдешь». Тем не менее в качестве объекта интерпретации «чужого» молчание оценивается неоднозначно.

Европейцы оцениваются японцами как слишком говорливые, иногда неуместно говорливые — даже там, где европеец считает, что молчание было бы знаком враждебности. Европейцам же японцы кажутся слишком молчаливыми: не требуется никаких реплик, когда подают еду в ресторане (ср. *Спасибо*, произносимое клиентом в русском и официантом в немецком), не принято извиняться, нечаянно толкнув кого-либо в метро: ведь все и так ясно. Более того: «У европейцев не принято пристально всматриваться в собеседника, вложив в свой взгляд чувство безграничной любви, как это делают японцы, и это им не понятно. Если в молчащем человеке нельзя

разглядеть ни покушения, ни безоговорочной капитуляции, то, вероятно, по европейским меркам такого человека трудно признать нормальным. . . » [С. Кимура 1976: 248]; «Для европейцев человек, не подающий голоса, воля, не выраженная голосом, в общественном смысле равны нулю» [С. Кимура 1976: 244]⁷.

Для европейцев и для японцев молчание — одна из стратегий речевого действия, в частности сценического; вспомним афоризм «Kunst besteht aus Prätiken des Verschweigens» («Искусство — это практики умолчания»), принадлежащий венгерскому поэту и писателю Милану Фюшту (Milán Füst, 1888—1967) [А. Ном 1995: 21]. «Эстетика умолчания» исследуется в последнее время довольно активно, особенно как один из компонентов постмодернизма, см., например, [Militz 1997], [Malekin, Yarrow 1997], [С. Е. Kunz 1996] и др. Однако лингвистические механизмы стратегий интерпретации умолчания с точки зрения слушающего остаются гораздо более таинственными, чем стратегии самого умалчивания с точки зрения говорящего.

Л. Wittgenstein считал так: если нельзя нечто точно сформулировать, то об этом лучше молчать («Was sich sagen läßt, läßt sich klar sagen, und worüber man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen»). Ему вторил Карл Поппер: «Wer's nicht einfach und klar sagen kann, der soll schweigen und weiterarbeiten, bis er's klar sagen kann».

Лаконизм, таким образом, в западной культуре можно было бы истолковывать как частичное признание говорящим собственного невежества. Возможно, это справедливо в науке. Но в жизни не так: молчат чаще о том,

⁷ Ср. также: «Compared with Western languages, the typical style of communication in Japanese is intuitive and indirect. The basis of this style is a set of cultural values that emphasize 'omoiyari' (empathy) and are so widely shared that overt verbal communication often is not required. Thus, in Japan, the ideal interaction is not one in which speakers express their wishes or needs adequately and addressees understand and comply, but rather one in which every party understands and anticipates the needs of the other and fills them before any verbal communication becomes necessary. Silence is more highly valued in Japan than in the West; if all is going well, there should be no need for speech. . . If verbal communication enters in, it will not be explicit; rather the speaker will rely upon the hearer's ability to realize what she or he means, often in spite of what is actually said. This style of communication may cause tremendous problems for Americans, who discover to their frustration that 'yes' often means 'no', but cannot figure out when» [P. Clancy 1990: 27]. И далее: «In Japan, the individual is seen primarily as a member of a social group, with a responsibility to uphold the interests of the group. Thus arises the need for empathy and conformity, which help to preserve group harmony and group values. The importance of empathy and conformity in Japanese culture gives rise, in turn, to certain characteristics of Japanese communicative style, such as the use of indirection both in giving and refusing directives» [P. Clancy 1990: 33].

что ясно и без слов⁸. Не так в других культурах. Так, японцам западные люди, особенно американцы, см. [McCreary, Blanchfield 1986: 165], кажутся прямолинейными, невежливыми и порой даже грубыми именно потому, что невежливо недоверчивы по отношению к своим интерпретаторам.

Казалось бы, тогда полное молчание — сверхдоверие. Но зачем тогда мы вообще говорим? Потому что подозреваем, что адресат чего-то не знает или не чувствует, и мы пытаемся это положение исправить до той степени, какая нам кажется существенной (для нас? для адресата?). Однако все это затрагивает стратегии продуцирования речи.

Трехэтажный мат (русские примеры широко известны, их я опускаю) в такой теории — также выражение сверхдоверия. Прямое истолкование слов, содержащихся в ругани, бывает зачастую очень далеко от того ситуативного смысла, который воспринимает слушающий, в общем-то правильно устанавливающий значение и референцию обращенных к нему укоров и пожеланий. Этот случай демонстрирует то положение, что доверие к интерпретатору далеко не всегда предполагает симпатию к интерпретатору.

5. Типология стратегий понимания затрагивает не только «упаковку» (packaging) текста (в терминах У. Чейфа), но само содержание, «сообщение» (message).

Если, согласно [Т. А. v. Dijk 1981: 33], упорядоченное множество «участников» и обстоятельств события приравнять «статичным ситуациям» (состояниям), то изменение состояний, в частности событие, может быть описано как удаление, добавление или перестановка ролями объектов, свойств и отношений. Эти изменения, как и другие характеристики события, рассматриваются в определенной перспективе, связанной с языковым узусом. Так, японец, наблюдающий за ловлей рыбы, может воскликнуть: *Aa! Sakana-ga цурэта* (букв. «Ага, рыба поймана»), англичанин в этом случае скажет: *Look! He caught a fish!* («Смотрите, он поймал рыбу»), а в русском узусе приемлемы оба варианта: *Попалась!* и *Поймали!* Это можно связать с тем, что носитель английского языка видит событие как изменение от «непоимки» к

⁸ В японской риторике есть понятие *haragei* = 'acting (gei) on guts (hara) alone' (тот же корень, что в слове *характери*). В частности, *pregnant silence* [McCreary, Blanchfield 1986: 165]. Эти предписания доверять слушающему формулируются так: be euphemistic, eschewing logic or reason; be sensitive to empathy; keep the message vague and ambiguous; let silence talk and language be silent; don't tell the truth; don't seek the truth; don't publically disagree; don't be legalistic; play it artistically and wholeheartedly; don't attract attention; don't come on strong [McCreary, Blanchfield 1986: 165].

«поймке», а японец — от «непойманности» к «пойманности» (воспринимая то же референтное событие в «пассивной» перспективе). Это, в свою очередь, связано с тем, что в японском узусе грамматикализована та «техника избегания», с помощью которой можно не указывать лицо, «ответственное» за какое-либо событие (особенно если это лицо — говорящий, адресат или известный обоим другой человек), ср. [W. Jacobsen 1981: 104].

Однако различные языковые узусы (а не только различные языковые структуры) представляют различные возможности для подобной деперсонализации событий: так, немецкие тексты по истории архитектуры могут иногда полностью состоять из предложений, в центре внимания которых произведение искусства, а не его автор, что для английского текста было бы скорее аномалией (хотя чисто грамматически и было бы зачастую допустимо) [K. Lodge 1982]. И тем более «сложными» являются в английском те предложения, которые представляют события с существующим агенсом, не указанным явно [A. Saksena 1982a].

6. Культуры интерпретации

В реализации стратегий интерпретации имеется аналогия с исполнительским мастерством в других областях человеческой деятельности. Например, у музыкантов техника игры зависит от школы исполнительского мастерства; одни склонны только слегка касаться клавиш, другие с силой вдавливают их. Так и в диалоге. Одни лучше освоили технику возражений, другие — духовного поглаживания собеседника, поддержания его интеллектуального тонуса. (Например, японцы избегают слова «нет», о чем есть много анекдотов. От интерпретатора тогда требуется очень большое искусство, чтобы вовремя уловить, в какой же момент начинается отказ.) Игра третьих напоминает душ Шарко, четвертые одинаково плохо владеют всеми техниками. Однако мы настраиваемся на собеседника, даже когда техника его понимания оставляет желать лучшего. Скажем, не очень внимательно вслушиваемся в речи собеседника, когда чувствуем, что для него наше понимание не очень важно.

Человек обладает свободой не только совершать наблюдаемые поступки, но и интерпретировать по-своему чужие дела и речи. В диалоге мы стремимся понять: понять другого человека, понять себя, понять только текст и т.д. — в зависимости от нашей техники понимания, от того, к чему мы подготовлены в большей степени своим предшествующим диалогическим опытом. Понимание же — одновременно и интерпретативная деятельность, и идеал, к которому мы стремимся. «Понимание» — оценочный термин. И как все, что связано с ценностями, а потому и с выбором из множества альтернатив, понимание обладает своей культурой.

В самом деле, культура предполагает право субъекта на выбор из нескольких возможностей. Таково словоупотребление. Например, нельзя говорить о культуре пищеварения в узком, чисто физиологическом, смысле; не обладая властью над своим организмом, мы не обладаем и выбором в этом поведении. О культуре сновидения трудно говорить также до тех пор, пока мы не научились сознательно регулировать образы, которые должны или которым можно появиться в нашем сне.

Культура понимания — это культура интерпретации, стремление к идеалу интерпретирования. Идеал этот — как и в культуре вообще — предопределен, во-первых, преемственностью национальных, этнических, социальных и т. п. канонов интерпретации, передачей этих канонов от поколения к поколению; а во-вторых, нормированием: аналогично правилам хорошего тона, культуре речи; это воспитание общества в духе идеалов адекватного интерпретирования.

Культуры понимания неоднородны, в них прослеживаются две крайности — сверхтерпимость и сверхнечетерпимость к чужому.

Все эти крайности традиционных канонов интерпретирования, а также бесконечные промежуточные ступени между крайностями прослеживаются в самых разных областях духовной культуры. Так, при восприятии художественной литературы если находятся ближе ко второй, ригидной крайности, то всерьез и буквально воспринимают такое положение: «Литература — учительница жизни». Отсюда и известная в истории духовной жизни многих народов тяга на определенных этапах к дидактичности литературы и шире — к дидактическому искусству. Я утверждаю, что в этом проявляется господствующая в конкретный момент культура интерпретирования, предопределяющая, в свою очередь, стандарт свободы диалога. В восприятии научных текстов ригидная крайность характерна для тех периодов духовной жизни общества, когда приписывают злонамеренность даже чисто абстрактным построениям, ср.: «Кибернетика — продажная девка империализма».

В последнее время особенно наглядно влияет культура понимания на ход политических событий. Обращаясь к широкой аудитории, политик всегда проявляет свои презумпции об общей ее культуре понимания. Желая добиться успеха у публики, следует хорошо представлять себе культуру понимания адресатов. Вряд ли развитие культуры понимания можно однозначно определять как приближение к одному из полюсов на шкале «гибкость — ригидность» интерпретации. Напомним, что культура — это каноны в выборе альтернатив. Соответственно, прогресс культуры понимания — расширение свободы каждого отдельного человека в выборе своего «параметра», своей позиции на шкале альтернатив. Это способность выбрать, как воспринимать речь в данном эпизоде своей жизни.

7. Заключение

Стратегии интерпретации в науке не внеположены национальным стандартам. На протяжении последних лет мы наблюдаем передвижение рамок «свое — чужое»: то, что еще десять лет назад воспринималось как «их», то есть не наши, научные нравы, сегодня не воспринимается столь же обостренно как чужое. Человек-интерпретатор не перерос еще своего внутреннего мира: вряд ли кто-либо не ощущает разницы между Вселенной и своим внутренним миром. Мания интерпретационного величия — все-таки аномалия, а не среднестатистический случай.

Литература

Гранин Ю. Д.

- 1987 О гносеологическом содержании понятия «оценка» // *Вопр. филос.*, 1987, № 6, с. 59–72.

Кимура С.

- 1976 «Люди зрения» и «люди голоса» / Пер. с яп. // *Человек и мир в японской культуре*. М., Наука (Глав. ред. вост. лит-ры), 1985. С. 248–251.

Степанов Ю. С.

- 1998 *Язык и метод: К современной философии языка*. М., Языки русской культуры, 1997.

Ast F.

- 1808 *Grundriss der Philologie*. — Landshut: Krüll, 1808.

Bader M.

- 1996 *Sprachverstehen: Syntax und Prosodie beim Lesen*. — Opladen: Westdeutscher Verlag, 1996.

Carroll J. M.

- 1981 On fallen horses racing past barns // *Papers from the parasession on language and behavior*. — Chicago (Ill.): U. of Chicago Press, 1981. 9–19.

Clancy P. M.

- 1990 *Acquiring communicative style in Japanese // Developing communicative competence in a second language*. — N.Y.: Newbury, 1990. 27–34.

Davison A.

- 1988 Operator binding, gaps, and pronouns // *Linguistics* 1988, v. 26, № 2, 181–214.

Dijk T. A. v.

- 1981 Studies in the pragmatics of discourse. — The Hague etc.: Mouton, 1981.
1984 Prejudice in discourse: An analysis of ethnic prejudice in cognition and conversation. — A.; Ph.: Benjamins, 1984.

Droysen J. G.

- 1943 Historik: Vorlesungen über Enzyklopädie und Methodologie der Geschichte / Hrsgn. v. Rudolf Hübner, im Auftrage der Preussischen Akad. der Wissenschaften. — 2. Aufl. — München; B.: R. Oldenbourg, 1943.

Goffman E.

- 1971 Relations in public: Microstudies of the public order. — N.Y.: Bb, 1971. Repr: L.: Penguin books, 1972.

Hamblin C. L.

- 1987 Imperatives / Foreword by Nuel Belnap. — O.: Blackwell, 1987.

Harlow S.

- 1981 Government and relativisation in Celtic // *Binding and filtering*. — L.: Croom Helm, 1981. 213–254.

Hawkins J. A.

- 1992a A performance approach to English / German contrasts // *New departures in contrastive linguistics: Neue Ansätze in der Kontrastiven Linguistik: Proceedings of the Conference held at the Leopold-Franzens-University of Innsbruck, Austria, 10–12 May 1991*. — Innsbruck: Universität Innsbruck, 1992. Vol. I. 115–136.

Horn A.

- 1995 «Kunst besteht aus Praktiken des Verschweigens»: Einige Formen und Gründe der Indirektheit in der Literatur // «Verbergendes Enthüllen»: Zur Theorie und Kunst dichterischen Verkleidens: Festschrift für Martin Stern. — Würzburg: Königshausen & Neumann, 1995. 21–30.

Jacobsen W. M.

- 1981 The semantics of spontaneity in Japanese // *BLS* 1981, v. 7: 104–115.

Kayne R. S.

- 1981a On certain differences between French and English // *LI* 1981, v. 12: 349–371.

Kunz C. E.

- 1996 Schweigen und Geist: Biblische und patristische Studien zu einer Spiritualität des Schweigens. — Freiburg etc.: Herder, 1996.

Kurcz I.

- 1987 Język a reprezentacja — świata w umyśle. — Warszawa: PWN, 1987.

Li C. N., Thompson S. A.

- 1978a An exploration of Mandarin Chinese // *Syntactic typology: Studies in the phenomenology of language*. — Austin; L.: U. of Texas, 1978. 223–266.

Lodge K.

- 1982 Transitivity, transformation and text in art-historical German // *JPr* 1982, v. 6, 159–184.

Malekin P., Yarrow R.

- 1997 Consciousness, literature and theatre: Theory and beyond. — N.Y.: St. Martin's Press, 1997.

McCreary D. R., Blanchfield R. A.

- 1986 The art of Japanese negotiation // *Languages in the international perspective: Proc. of the 5th Delaware symposium on language studies October 1983, the U. of Delaware*. — Norwood (N.J.): Ablex, 1986. 154–177.

Militz K. U.

- 1997 Die Durchbrechung des Schweigens: Heteroglossie in Filmen Rainer Werner Fassbinders // *Text und Ton im Film*. — T.: Narr, 1997. 251–264.

Ossner J.

- 1985 Konvention und Strategie: Die Interpretation von äusserungen im Rahmen einer Sprechakttheorie. — T.: Niemeyer, 1985.

Ransom E. N.

- 1977 Definiteness, animacy, and NP ordering // *BLS* 1977, v. 3, 418–429.

Reck J.

- 1997 Eine ambivalente Repräsentation des Fremden: Beobachtungen zur Darstellung Chinas in Ferno Mendes Pintos 'Peregrinação' // *Übersetzung als Repräsentation fremder Kulturen*. — B.: Schmidt, 1997. 21–41.

Saksena A.

- 1982a The basicness of transitives // JL 1982, v. 18, № 2, 355–360.

Schecker M.

- 1983 Strategien alltäglichen Sprechhandelns // Textproduktion und Textrezeption. — T.: Narr, 1983. 81–89.

Searle J. R.

- 1979b Metaphor // Metaphor and thought. — Cambr.: Cambr. UP, 1979. 92–123. Repr. // Searle J. R. Expression and meaning: Studies in the theory of speech acts. — Cambr. etc.: Cambr. UP, 1979. 76–116.

Singer J.

- 1996 Grundzüge einer rezeptiven Grammatik des Mittelhochdeutschen. — Paderborn etc.: Schöningh, 1996.

Wittgenstein L.

- 1953 Philosophical investigations: Philosophische Untersuchungen. — O.: Blackwell; N.Y.: Macmillan, 1953.

Семантическая типология: время и пространство

Рассматривая культурный концепт времени, Юрий Сергеевич Степанов обращает внимание на происхождение идеи времени: «В наиболее конкретном виде тот же вопрос принял форму вопроса о происхождении идеи времени, и ответы на него разделились в соответствии с теми же двумя линиями: А) идея времени возникает в результате эволюции человеческого сознания; в соответствии с тем, как конкретно мыслится исследователями эта революция, названный общий ответ подразделяется далее на два подхода: 1) ассоцианисты (Г. Спенсер) считают исходными представления времени, на основе которых затем, по их мнению, формируются представления пространства — идея пространства; 2) другие (М. Гийо, Ф. А. Ланге, У. Джемс и др.), напротив, считают исходными представления пространства, на основе которых, как вторичная, возникает идея времени; абсолютна противоположна тем и другим концепция — Б) теория Канта, согласно которой время и пространство суть независимые от опыта, априорные, формы представлений, делающие возможной самую способность суждения» (Степанов 1997, с. 176). По существу, этот же вопрос лингвисты решают, когда говорят о темпорально-пространственной полисемии.

Темпорально-пространственная полисемия

Полисемия существует во всех языках. Однако наборы значений конкретных языковых единиц в разных языках практически никогда не совпадают. Один из наиболее важных видов полисемии связан с семантическим параллелизмом пространства и времени. Для лексики многих языков характерно противопоставление в пределах одной языковой единицы пространственных и временных значений, сходных по своей структуре и функционированию. Это касается и знаменательной лексики (например, глаголы движения *идти*, *бежать*, *ползти* и т. д. относятся и к перемещению в пространстве, и к течению самого времени: *Куда он бежит?* и *Как время бежит!*), и служебных слов, и даже морфем (например, предлоги *перед*, *после*, *в* и др. выражают отношения и в пространстве, и во времени: *Вы*

передо мной не стояли, вы после меня стояли и Но я хочу это знать перед тем, как мы поженимся, а не после того).

Традиционно пространственное значение считается исходным, а соответствующее темпоральное значение рассматривается как результат метафорического переноса. В рамках когнитивной лингвистики эта точка зрения доминирует, ее придерживаются, например, Дж. Лакофф и Р. Лангакер (однако ср. Jackendoff 1983).

Эта позиция не бесспорна, поскольку основана не на языковых данных, а на самых общих представлениях о мышлении человека. Но в любом случае важно понять, откуда берутся правила метафорического переноса и какой им приписывается статус. Так, они могут рассматриваться как универсальные (то есть определяемые законами человеческой логики или восприятия) или как присущие конкретному языку. Обычно исследователи обращаются к правилам второго рода. Настоящих универсалий, независимых от культуры и языка, не так много (если они вообще есть), чтобы с их помощью можно было связывать различные значения языковых единиц. Действительно, почему идея завершения процесса (то есть некоторый мыслительный конструкт во временном пространстве) должна связываться с идеей удаления (с мыслительным конструктом в локативном пространстве), как в русской приставке *от-*, а не, скажем, с идеей движения вниз? В одном языке может быть представлена одна метафора, а в другом — другая.

Так, например, как показала Т. А. Михайлова (Михайлова 1994), совершенно особая пространственная модель времени имеет место в ирландском языке. Время устроено по принципу спирали и движется по вертикали, что имеет много интересных следствий. Слабым аналогом вертикального движения времени может служить в русском языке этимология темпорального предлога *спустя*.

Некоторые пространственно-временные пары значений воспроизводятся в языке неоднократно: в рамках различных языковых единиц. Такие значения предлагается называть «спаренными». Наличие таких значений у глагольных приставок в русском языке отмечено в [Кронгауз 1998]. Наиболее подробно рассматривается в этом аспекте приставка *про-*.

Спаренные значения приставки *про-*

С точки зрения темпорально-пространственной полисемии довольно легко сблизить такие ряды употреблений приставочных глаголов, как *протти* (*пробежать, проехать, провезти...*) / *километр* и *проходить* (*пробегать, проезжать, провозить, проспать, проработать...*) / *час*, традиционно толкуемых совершенно независимым образом. Глаголы первого ряда

выражают идею преодоления пространства, а глаголы второго ряда — идею заполнения времени.

Прежде всего обращает на себя внимание четкий сочетаемостный параллелизм.

В первом случае приставочный глагол обычно сопровождается сочетанием числительного и существительного, обозначающего единицу измерения длины: *Много, под стать пехоте, / верст я прочаял пыльных...* (Ю. Кублановский). Синтаксическая вершина этого сочетания имеет форму винительного падежа. Пространственный отрезок задается также винительным падежом существительного, обозначающим естественный отрезок, часто с местоимением *весь* (*весь путь, всю дорогу, улицу*), или же существительным, которое интерпретируется как двухмерное, даже если в словаре оно имеет другие характеристики: *пройти весь город*.

Пространство интерпретируется как отрезок, а действие — как движение в одном заданном направлении. При переходных глаголах движения может быть два зависимых винительных падежа: *пронести бревно еще метров пять и бросить на землю*.

Аналогичным образом глаголы второго ряда сопровождаются винительным падежом синтаксической вершины сочетания числительного с существительным, а последнее обозначает специальную единицу времени. Это словосочетание фиксирует временной отрезок, в течение которого выполняется действие. Опять же допустимо определение временного отрезка с помощью винительного падежа имени существительного со значением естественного отрезка времени (как правило, со словами *весь, целый*): *день, год, обед, урок* и т. п. Для временных контекстов существен и тот факт, что для многих переходных глаголов винительный падеж, выражающий время, может оказаться вторым: *Петр прорубил дрова весь день* (ср. также употребление бесприставочного глагола: *Петр рубил дрова весь день*).

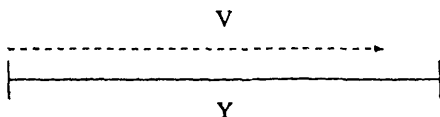
Группа с числительным и единичной соответствующего измерения фактически обозначает ограничение рамок действия во времени или в пространстве, причем существенно не только само ограничение, но и возможность растянуть действие в пределах этих рамок: 'заполнить, покрыть соответствующий отрезок пространства или времени'. Именно этот факт может становиться ассерцией высказываний: *Он даже эти две минуты не смог просидеть спокойно*. Это особенно важно для естественных с наивной, бытовой точки зрения отрезков.

Перенос ассерции, то есть тот факт, что в фокусе внимания оказывается, скорее, не действие, а отрезок времени, подтверждает возможная пассивизация конструкций с приставочным глаголом и отрезком времени или

пространства, абсолютно недопустимая для соответствующих бесприставочных коррелятов: *путь пройден, день прожит*.

Следует также сказать о семантических признаках глагольных основ. В первом случае это движение, интерпретируемое как однонаправленное (*идти, нести, скользить, шагать* и т. д.), а во втором — это процесс, состояние или действие, интерпретируемые как деятельность, которая происходит в течение некоторого времени (*бегать, думать, любить, совещаться, спать* и т. д.).

Нахождение словесного инварианта двух этих структур толкования достаточно сложно, поскольку в качестве метаязыка используется русский язык, не имеющий одного обобщающего глагола для обозначения движения, преодолевающего, или покрывающего, пространство, и действия, занимающего время. По-видимому, точнее всего говорить о заполнении отрезка пространства направленным движением и отрезка времени определенной деятельностью (процессом, состоянием). Эту идею легче выразить рисунком, где соответствующие структуры толкований передаются векторами, соединяющими концы пространственного или временного отрезков.



Здесь $Y = \{t, S\}$, $V = \{\text{движение, деятельность}\}$.

Следствием заполнения времени каким-либо действием часто оказывается невозможность совершить в это же время другое действие. В том случае, если прямое дополнение подразумевает некое действие (*обед, урок* и т. д.), данная импликация может становиться ассерцией — главным содержанием высказывания: *Пробежать обед, проболтать урок* означают фактически 'пропустить Y (не совершить действия, соответствующего Y), занимаясь деятельностью V'.

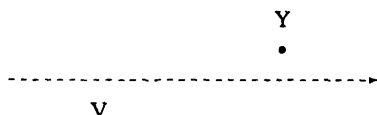
В связи со сказанным представляет особый интерес фраза: *Он проговорил весь обед (гуляш, кисель) и, ковыряя сломанной спичкой в зубах, пошел соснуть*. (В. Набоков). Она может означать и 'он говорил в течение обеда... ', и 'вместо того, чтобы есть, он говорил... '; и только более широкий контекст убеждает в том, что герою все же удалось совместить оба действия — еду и разговор. Таким образом, данная импликация появляется не всегда (она не вынуждена контекстом), а только в том случае, когда говорящий хочет ее выразить.

Параллелизм времени и пространства имеет место не только для двух рассмотренных значений. В словосочетаниях типа *проехать Мытищи* или *А теперь посмотрели налево: мы проезжаем памятник архитектуры четыр-*

надцатого века также реализуется идея движения в пространстве. Однако в отличие от уже рассмотренного выше пространственного значения пространство концептуализируется не как отрезок, а как точка, мимо которой направлено движение. В этом случае может возникать импликатура «пропуска». Это происходит тогда, когда соответствующая точка является целью движения. Именно поэтому сочетания типа *проехать Мытищи* омонимичны. В контексте *Ну вот, Мытищи проехали, скоро Москва* имеется в виду «чистое» пространственное значение. В контексте же *Как ты ухитрился проехать Мытищи, я же тебе говорил: «Пятая остановка!»* речь идет не просто о «движении мимо», а именно о «пропуске в результате движения мимо». Во фразе *Опять я проехал свою остановку* возможно только импликатурное значение, поскольку слово *свой* подчеркивает тот факт, что данная остановка («которую проехали») и была целью движения.

Временной аналог этих двух точечных пространственных значений (с импликатурой и без) также существует, правда, только в одном варианте — импликатурном. Так, в словосочетании *проспать солнечное затмение* выражается идея пропуска солнечного затмения, момента времени, включенного в период сна. Во фразе *Студент проспал лекцию* возникает омонимия двух импликатурных временных значений: точечного и «отрезочного». В первом случае имеется в виду пропуск студентом лекции из-за того, что он в момент ее начала спал. Лекция или ее начало интерпретируются как точка на временной оси, включенная в отрезок, соответствующий сну. Во втором случае имеется в виду присутствие студента на лекции и тот факт, что в течение лекции он спал. Лекция рассматривается как отрезок времени, использованный для сна. Омонимия может сниматься с помощью различных средств, например слов *весь* и *целый*, подчеркивающих длительность лекции, то есть предполагающих ее интерпретацию как отрезка времени: *Студент проспал всю лекцию*.

Общая идея точечных значений также легко выражается рисунком.



Здесь $Y = \{t, S\}$, $V = \{\text{движение, деятельность}\}$.

Таким образом, взаимодействуют все шесть описанных значений: три пространственных и три временных, три отрезочных и три точечных, три прямых и три импликатурных (импликатурные значения связаны также с другими «несудачными» значениями, свойственными приставке *про-* и другим, невременным и непространственным, приставочным глаголам: *проиграть, пролить, просыпать* и т. д.).

Пространство и время

В результате рассмотрения конкретных значений остается открытой проблема выбора слушающим правильной интерпретации. Естественно считать, что своего рода подсказкой является контекст. Однако часто интерпретация самого контекста зависит от интерпретации полисемичной языковой единицы.

Так, создается впечатление, что рассматриваемые выше «пространственное» и «временное» значения приставки *про-* дополнительно распределены по приставочным глаголам. Действительно, пространственный контекст нормален только при глаголах направленного движения (*пройти три километра, проехать долгий путь* и т. д.). Временной же контекст возникает при глаголах деятельности или процесса, протяженных во времени, и в частности у глаголов ненаправленного движения (*проплавать три часа, проработать весь день, проболеть зиму* и т. д.). Однако дополнительная дистрибуция по бесприставочным глаголам — очевидная иллюзия. Так, глагол *проскакать* может интерпретироваться и как деятельность, и как направленное движение, причем эта интерпретация как раз и зависит от того, какой семантический вариант приставки *про-* к нему присоединяется.

Глагол *проскакать* может сочетаться и с пространственным, и с временным контекстом. При этом в сочетаниях типа *проскакать три километра* глагол *скакать* интерпретируется как глагол направленного движения, а в контексте *проскакать три часа* глагол *скакать* интерпретируется как деятельность или как движение вообще. Иначе говоря, приставка сама вчитывает релевантный семантический признак в глагольную основу или, возможно, актуализирует некий признак, в ней заложенный (выбор того или иного решения зависит от способа описания глагола *скакать*, а именно от того, приписываются ли ему в словарном описании некие потенциальные признаки или нет). Более того, даже эталонные глаголы направленного движения допускают погружение во временной контекст, хотя нельзя сказать, что он для них обычен: *Мы проехали только три часа, а ты уже хочешь есть*. В этом случае речь также идет об особой интерпретации направленного движения. Оно рассматривается как протяженное во времени. Такая интерпретация не вполне обычна для него (или, лучше сказать, не вполне частотна), но не невозможна. Во всяком случае, она не вступает в противоречие ни с какими компонентами его значения. Совершенно нормальны, например, фразы типа *Туда идти часа два* или *От Москвы до Щербинки — минут тридцать*, в которых как раз единственно возможной интерпретацией оказывается измерение пути в единицах времени. Конечно, здесь следует сказать, что конкретный путь интерпретируется как процесс его прохождения, или «проезжания», или какого-нибудь другого способа его покрытия

(ср. *От Москвы до Щербинки — поездом минут тридцать, а на машине и того меньше*). В любом случае временное (или процессное) понимание пространственных слов расширяет их сочетаемость. Следует напомнить о классическом примере *две жены тому назад, 250 тысяч сигарет тому назад, три тысячи литров спиртного тому назад* К. Воннегут, где процессная интерпретация навязывается контекстом.

Измерение времени в единицах длины — вещь, пожалуй, еще более редкая, однако также допустимая, например *Тебе осталось спать километров двадцать*. В этом случае на самом деле опять происходит переосмысление именно пространственного отрезка, но таким образом становятся возможны фразы типа *Он проспал всю дорогу* или *Он проспал километров двадцать* (то есть 'пока проехали еще двадцать километров').

В данном случае временное значение приставки *про-* остается временным, а вот контекст переосмысливается: *километров двадцать* интерпретируется как отрезок времени, затрачиваемый на их покрытие. В первом же случае мы также имеем дело с временным значением, но семантический вариант приставки *про-* навязывает переосмысление не контекста, а глагольной основы, так что *ехать* воспринимается как процесс.

Из этих примеров видно, что темпоральная или, напротив, пространственная интерпретация осуществляется на основе комплексного анализа, то есть анализа всех единиц. При этом темпоральный смысл может появляться даже у таких «пространственных» знаков, как единицы измерения времени. Здесь мы имеем дело с метонимическим переносом. «Пространственные» слова (в том числе единицы измерения) могут обозначать процесс преодоления соответствующего пространства или время, затрачиваемое на его преодоление. Следует заметить, что потенциал темпоральной интерпретации у разных слов разный. Так что, хотя речь идет об окказиональном переносе, в некоторых случаях соответствующие семантические особенности должны отражаться и в словарном толковании.

Путь — дорога

Словарные статьи слов *путь* и *дорога* структурно схожи. Так, в Словаре русского языка для них отмечаются и пространственные значения («полоса земли, служащая для езды и ходьбы», «место для прохода, проезда» и «направление»), и темпоральное («путешествие, поездка»). Однако очевидно, что как раз проверку темпоральной интерпретацией эти слова проходят по-разному. Так, во фразе *Всю дорогу мы проехали молча* слово *дорога* должно получить темпоральную интерпретацию: это время, затраченное на преодоление соответствующего пространства. Интересно, что идея пространства

здесь также сохраняется, и заменить слово *дорога* на предлагаемые словом «синонимы» путешествие или поездка просто невозможно. Ни *путешествие*, ни *поездка* невозможны в контексте глагола *проехать*. Аналогичная интерпретация возникает и во фразе *Он проспал всю дорогу*.

Использование слова *путь* в соответствующих контекстах хотя и возможно, но затруднено и воспринимается как значительно менее естественное: *Он проспал весь путь*.

Таким образом, можно сказать, что темпоральный потенциал слова *путь* гораздо меньше, чем у слова *дорога*. *Дорога* может одновременно обозначать не только некоторый пространственный отрезок, но и процесс его преодоления, и время, затрачиваемое на этот процесс. Для *пути* одновременная реализация этих значений затруднительна, хотя самостоятельное выражение такой идеи в принципе допустимо (ср. сочетание с предлогом *в пути* и т. п.).

Заключение

В статье рассмотрены отношения между темпоральными и пространственными значениями в рамках одной языковой единицы. В некоторых случаях эти значения следует считать с точки зрения их функционирования вполне равноправными, что, в частности, отражается (или должно отражаться) в словарных статьях соответствующих единиц. В некоторых случаях одно из значений в рамках языковой структуры не существует (и не должно отражаться в словаре). Оно появляется только в определенных контекстах. Можно даже сказать, что контекст навязывает такую интерпретацию. Рассмотренные примеры показывают, что в контексте глаголов движения становится возможной (и обязательной) темпоральная интерпретация языковых единиц с «пространственным» значением. В этих случаях отрезок пространства интерпретируется как процесс его преодоления или же как время, затрачиваемое на этот процесс.

Таким образом, идея движения оказывается связующей для значений времени и пространства. Время и пространство рассматриваются как две стороны одного явления. Соответственно языковые единицы, обслуживающие значение пространства, могут приобретать темпоральное значение. Обратное, по-видимому, маловероятно.

Литература

Кронгауз М. А. Приставки и глаголы в русском языке: семантическая грамматика. М., 1998.

Михайлова Т. А. Нечто о пространственной модели времени (на материале ирландского языка) // Семиотика и информатика. 1994. Вып. 34. С. 114–123.

Степанов Ю. С. Время // Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М., 1997. С. 171–188.

Jackendoff R. Semantics and cognition. Cambridge, 1983.

К вопросу о релятивизации времени в тексте

В фундаментальном труде «Константы. Словарь русской культуры» Юрий Сергеевич Степанов, трактуя проблему соотносительности времени с системой того или иного языка, поднимает вопрос о релятивизации понятий пространства и времени в разных системах их теоретического описания [Ю. Степанов 1997: 178 и др.].

В языке относительность понятия времени воплощается в текстах. Поэтому, как представляется, одним из направлений в исследовании и описании языковой релятивизации времени могут стать наблюдения над формированием темпоральных структур текста.

В море информации и премудрости, бьющемся о берега «Констант», встретился фрагмент басни Крылова «Ворона и лисица», на котором Юрий Сергеевич показывает, как в языке басни писатель обнаруживает и свое пред-знание развития событий и свое отношение к ним [ibid.: 750–751]. Так намечается связь между проблематикой релятивизации времени и проблематикой «образа автора». Возникает мысль проследить, как на протяжении долгой истории названного сюжета развивалась его композиция, какие средства релятивизации времени и выражения авторской точки зрения использовались.

Известен один из древних вариантов этого сюжета — о шакале и вороне — в древнеиндийской книге «Джатак» [История Всемирной литературы 1983: 234].

Европейская история «Лисицы и ворона», как и сам жанр басни, восходит к легендарному Эзопу. В эзоповских сборниках [Гаспаров 1991: 7, 446 и др.] его нравоучительные миниатюры в прозе представлены в переводах на латынь, позднее на другие языки.

В I веке нашей эры басня «Лиса и Ворон» стихами изложена Федром, позже Бабрием.

Классическую форму приобрела эта басня под пером Ж. Лафонтена, став образцом и для русских баснописцев. Тексту И. А. Крылова предшествовали басни на эту тему В. К. Тредиаковского, А. П. Сумарокова и М. М. Хераскова.

Предварим анализ способов организации текстовой структуры несколькими исходными положениями [Золотова 1998].

По В. В. Виноградову [Виноградов 1936, 1947], основным средством, формирующим текст, служат видо-временные формы глаголов определенной семантики в нескольких функциях: с функцией **аористивной** — глаголы совершенного вида акционального значения, последовательно сменяющие друг друга в динамическом развитии сюжета; с функцией **перфективной** — глаголы совершенного вида, называющие фиксируемое наблюдателем состояние в определенный момент текстового времени либо интерпретируемый им результат действия. Глаголы несовершенного вида в **имперфективно-процессуальной** функции выступают как обозначение протяженного во времени действия или состояния субъекта, в **имперфективно-характеризующей** функции — как обозначение свойств, обычных признаков лица или предмета.

Понятие текстового времени, вопреки мнению некоторых специалистов, несводимо к прямолинейному и однонаправленному движению времени физического (T1); в текстовом времени (T2) возникает темпоральное пространство текста, порождаемое совокупностью таксисно связанных событий, порядок и соотношение которых определяется точкой зрения говорящего/наблюдателя (перцептивное время T3). Говорящий волен перемещаться в обоих направлениях по горизонтальной линии происходящего (в действительности или в воображении) и вертикально, по ступеням абстракции, от соприсутствия в хронотопе событий до выходов в гномическое время за пределы времени T2.

На основе указанных критериев предложено возможное решение поставленной В. В. Виноградовым задачи [Виноградов 1930] выявить речевые, текстовые единицы с типическими, доступными систематизации характеристиками.

Выделено 5 коммуникативных типов (регистров) речи:

Р е п р о д у к т и в н ы й регистр воспроизводит в сообщении наблюдаемое — реально или виртуально — в хронотопе происходящего (сенсорное восприятие).

И н ф о р м а т и в н ы й сообщает мнение или знание о предмете (ментальное восприятие).

Г е н е р и т и в н ы й регистр обобщает, соотнося текстовое событие с универсальным опытом, за рамками текстового времени.

Различия по признакам соприсутствия, дистанционированности наблюдателя, сенсорного/ментального восприятия, а также динамики/статики в происходящем (последним признаком обусловлено выделение в репродуктивном и информативном регистрах подтипов **п о в е с т в о в а т е л ь н ы й** и

описательный) пополняются набором критериев для диалогической речи.

Включаемые в монологическое повествование сценки с прямой речью персонажей представляют репродуктивный регистр, но направленность прямой речи на адресата связана часто с иными коммуникативными интенциями: кроме сообщения, здесь фигурируют речевые акты *волюнтивного* и *реактивного* (не содержащего самостоятельного сообщения) регистров. Происходит смена говорящего, который так же, как и автор, вправе ориентировать свое высказывание, будь то сообщение или волеизъявление, в любой временной план, актуальный, узуальный или гномический. Таким образом, диалог в монологическом обрамлении — это как бы текст в тексте.

Смена точек зрения говорящего (перцептора), чередование и сопоставление регистров речи отражают способы познания мира человеком и создают композицию текста.

С этими предварительными сведениями можно приступить к анализу текста. Начнем с вершины басенного мастерства — текста И. А. Крылова (1808 г.).

Неотъемлемая компонента басенной композиции — мораль — занимает первые три строки и выдержана в тоне сожаления о бесплодности увещаний (информативный регистр первых двух строк с имперфективным первым предикатом, вторым — в настоящем всевременном, третьим — перфективным безглагольным) и предостережения в третьей, генеритивной строке с перфективной функцией глагола будущего времени:

*Уж сколько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок,
И в сердце льстец всегда отыщет уголок.*

История открывается информативной экспозицией с перфективным глаголом:

Вороне где-то Бог послал кусочек сыру. . .

Далее видим репродуктивную картинку — результат последовательных действий вороны: *взгромоздившейся* на ель, *собравшейся* позавтракать (намерения персонажа скорее известны автору, чем наблюдаемы), да *позаду-мавившейся*. Как бы в знаменателе этого ряда действий — наличие повода для последующей коллизии, *casus belli*, в имперфективной предикативной единице с присоединительным союзом *а*:

А сыр во рту держала.

Информативная строка сообщает о роковой случайности — пересечении маршрутов персонажей в пространстве и времени: *На ту беду* (автор горестно предвещает нас об исходе — см. [Ю. Степанов:750]) *Лиса близехонько бежала*. Имперфективное перемещение Лисы вдруг остановлено.

Информация сменяется репродукцией: *Лисица видит сыр*; напряженность происходящего передвигает наблюдательный пункт рассказчика в момент событий. Два перфективных глагола *сырный дух остановил*, *сыр пленил* включают в то же настоящее время сжатую, не без иронии мотивацию происходящего. Далее нам предстает артистически разыгранная драматическая сценка: движения «плутовки», пластика, интонация придыхания предельно изобразительны. Весь этот презенсный фрагмент с живописными деталями замедляет темп текстового движения, демонстрируя искусную тактику Лисы, вместе с тем млеющей от предвкушения вожаденной добычи.

Лексика и синтаксис прямой речи Лисы, восхищенно оценивающей воронью прелесть, насыщена, как это многократно отмечалось, уменьшительно-ласкательными суффиксами и фарисейски-вкрадчивыми обращениями. Оценочно-фразеологическую конструкцию *Рассказывать, так прямо сказки!* можно рассматривать как реактивную, усиливающую убедительность льстивой информации. В кульминации этой речи описательно-информативный регистр сменяется волюнтивным: *Спой, светик, не стыдись!* Подкрепляет это побуждение коварно-провокационная условная конструкция информативного типа.

Последовавшая реакция Вороны на *приветливы Лисицыны слова* (восприятие с точки зрения доверчивой Вороны) выражена через перфективные физиологические проявления *с похвал вскружилась голова, от радости в зобу дыханье сперло* — это информация от автора, окрашенная и сочувственно и насмешливо. И последняя репродуктивная сценка — аористивное действие Вороны: *каркнула во все воронье горло* и два лаконичных перфективных результата: *сыр выпал* — *с ним была плутовка такова*.

Итак, перед нами литературное построение, в котором средства всех пяти регистров и функционально-текстовые возможности всех предикатов создают объемный пространственно-временной континуум с чередованием рассказа и показа, драматическим представлением происходящего, со сменой точек зрения автора и живых красок авторской экспрессии.

Вернемся в глубь истории, к античной басне, которая являет собой «жанровый перекресток», по слову М. Л. Гаспарова [Гаспаров 1991: 3, 11 и др.] (его же — переводы текстов). Сам переводчик характеризует Эзоповы басни как прямолинейный рассказ о действии, но не о лицах и обстановке, стиль их «сух, как либретто».

Действительно, вся басня «Ворон и лисица» из основного эзоповского сборника в русском переводе рассказана в информативном регистре: аористивные глагольные предикаты называют сменяющие друг друга действия персонажей:

Ворон унес кусок мяса и уселся на дереве. Лисица увидела, и захотелось ей заполучить это мясо. Стала она перед вороном и принялась его расхваливать...

Похвалы лисицы переданы косвенной речью:

... уж и велик он, и красив, и мог бы получше других стать царем над птицами...

Но право судить потерпевшего предоставляется обидчику. Лисе все-таки дано слово для морализующего поучения Ворону; значимость ее прямой речи подчеркивается и презенсом предварающего речевого глагола:

А лисица подбегала, ухватила мясо и говорит: «Эх, ворон, ворон, кабы у тебя еще и ум был в голове — ничего бы тебе больше не требовалось, чтобы царствовать».

Эзоп для басни подобрал предмет, а я

Отполировал стихами шестистопными

— так выразил преемственную связь с Эзопом Федр (хотя стихотворные версии эзоповских басен известны с V века до н. э.).

Композиционно пересказ Федра отличается оформлением слов Лисы в виде прямой речи. Повествовательные части текста, до и после речей Лисы, емко спрессованы каждая в одно сложное предложение, где имперфективный предикат в экспозиции *comesse vellet* темпорально обрамлен причастными формами (*de fenestra raptum caseum* — мотивирующий завязку из предпрошедшего и *corvus ... residens arbore* — таксисно одновременный с основным предикатом). Союз *cum* (зд. *когда*) связывает имперфективное время благодушного Ворона с аористивными действиями предприимчивой Лисы:

Vulpes hunc vidit, deinde sic coepit loqui:...

Лаконичная развязка с предикатами перфективной функции (*emisit ore caseum*) и аористивной (*quem celeriter rapuit*) остается в рамках информативного регистра, не содержит изобразительных средств, но оживлена экспрессивно-оценочными: Ворон именован субстантивированным прилагательным *stultus* (глупый), Лиса выступает с эпитетом *dolosa* (коварная), схватила жадными зубами (*avidis dentibus*)

Авторский вывод из рассказанного — в заключительной фразе *Tum dem(um) ingemuit corvi deceptus stupor*, где два перфективных предиката *ingemuit* (раскался) и *deceptus* (обманутый) создают впечатление некоторого интервала во времени, позволяющего квалифицировать происшедшее (в переводе М. Гаспарова: *И лишь тогда воронья дурь раскаялась.*) Интересно, что сила обобщения этой морализующей фразе придается субъектом — отвлеченным понятием. Эта синтаксическая особенность, по наблюдениям

Ю. С. Степанова, характерна для более позднего этапа развития романских языков [Ю. Степанов 1957].

Заметим, что достаточно точно следующий оригиналу переводчик, не без влияния позднейших басенных композиций, несколько украшает текст изобразительными и стилистически окрашенными деталями (*Лиса, подкрavшись — Vulpes hunc vidit; Том, сдуру вздумав отличиться пением — At ille stultus, dum vult voc(em) ostendere; воронья дурь — corvi deceptus stupor*), так же как и перемещением двух строк развязки (*выпускает сыр, хватает. . .*) в настоящее время.

В изложении той же басни Валерия Бабрия, младшего современника Федра, укрепляются элементы репродуктивного регистра. Сюжет начинается без предыстории, hic et hunc (перев. М. Гаспарова):

Сидел однажды ворон, стиснув сыр в клюве.

Сообщения о намерениях и психологических состояниях персонажей в двух предикативных единицах представляют информативный регистр:

Лисица, поживиться захотев сыром, и

Безмерно возгордился от похвал ворон.

Остальные действия, наблюдаемые, последовательно сменяясь, ведут к развязке.

Лиса держит прямую речь дважды — сначала обольщая, потом — обличая, опять оказываясь носительницей морали (обе в информативно-описательном регистре). Однако, репродуктивно представляя действия Лисы, автор пользуется и оценочными определениями (в русском переводе: *. . . с такой лукавой речью. . . и говорит колко. . .*). Лаконичный авторский текст составляет 6 строк, столько же, сколько и речи Лисы.

«Ни один француз не осмелится кого бы то ни было поставить выше Лафонтена», — писал Пушкин. Басня *Le Corbeau et le Renard* блистает игрой по-французски ироничной авторской экспрессии. Персонажи почтительно именуются *Maître Corbeau* и *Maître Renard*. Мэтр Ренар, любезно обращаясь к Ворону *Monsieur du Corbeau, Mon bon Monsieur*, изъясняется достаточно книжно (*si votre ramage se rapporte a votre plumage. . .*), модальные слова с интонацией уверения (*sans mentir, sans doute, me semblez*) усиливают суггестивность его речей. Зполучив желанный сыр, он находит возможным увещавать Ворона снисходительной сентенцией и коммерчески-умиротворяющим заключением: *Этот урок стоит куска сыра — Cette leçon vaut bien un fromage. . .* Ответную речь, хотя и косвенную, держит и Ворон, пристыженный и смущенный: поклялся (*no поздновато — mais un peu tard*, как с усмешкой комментирует автор), что больше его не проведут.

Регистровая структура этой басни выразительнее прежних. В завязке репродуктивно-описательное представление Ворона с имперфективным пре-

дикатом и репродуктивно-повествовательное с предикатом в *passé simple* — Лисы. Перфективно-причастные обороты создают темпорально-таксисную перспективу, добавляя вместе с тем изобразительную деталь *sur un arbre perché* и мотивацию *par l'odeur alléchée*. После прельстительной речи Лисы развитие сюжета переключается в драматическое настоящее время. Как и в прежних текстах, динамическое репродуктивное повествование прослаивается необходимой информацией о ненаблюдаемых, но известных автору обстоятельствах. Новым композиционным элементом оказывается и речевое участие Ворона в общении с Лисой.

Из русских докрыловских текстов сопоставим басни В. К. Тредияковского «Ворон и Лисица» и А. П. Сумарокова «Ворона и Лисица».

Попутно можно отметить изменение гендерного соотношения персонажей (прежде их уравнивал французский язык, где в паре с *le genard* остался *le corbeau*, но не *la corneille*). Кажется, что на ходе басенных событий эти особенности именования героев не отражаются, хотя могут служить дополнительной психологической причиной неразумного возбуждения мужского самолюбия Ворона от женских похвал. Для Сумарокова и Крылова, вероятно, более значимой была фольклорная иносказательность образа Вороны.

Итак, почти одноименные, басни Тредияковского и Сумарокова резко несходны по стилистике. Тяжеловесный книжный язык Тредияковского, громоздкие синтаксические конструкции, обилие причастных, деепричастных оборотов и придаточных предложений с перфективными в основном функциями создают грузную, нединамичную композицию басни. Информация о намерениях, о мотивах, причинах и целях перевешивает сообщения о действиях. Лисьи похвалы вороновой красоте, кроме последнего коварного аргумента, оформлены косвенной речью. Вот примеры:

*Оного [сыру] лисице захотелось вот поестъ;
Для того домочься б, вздумала такую лестъ;
Воронову красоту, перья цвет почтивши
И его вещьбу еще также похваливши,
Прямо говорила: . . .
. . . Ворон, похвалой надмен, мя себе пристойну,
Начал сколько можно громче кракать и кричать,
Чтоб похвал последню получить себе печать.
Но тем самым из его носа растворенна
Выпал на землю тот сыр. . .*

В заключение Лиса высказывает Ворону свое снисходительное суждение о нем. Выстроенный большей частью в информативном регистре, текст требует добавочных средств для передачи темпоральных отношений, движения событий. И действительно, последовательность во времени передается

через причинно-следственные и целевые отношения между предикативными единицами, а также с помощью частиц, союзов, неполнознаменательных слов (*вот, и, еще также, для того, тем самым, чтоб, начал*).

Басня Сумарокова, напротив, изобразительна, легка и синтаксически, и в общем построении.

В языке живая разговорная лексика иногда просторечна, иногда перемежается архаично-книжными оборотами:

Являет то твой зрак.

Прекрасная то птица.

Я прямо говорю, как добрая лисица:

Какие ноженьки! Какой носок!

Какие перушки! Да ты ж еще невица:

Мне сказано, ты петь велика мастерица!...

В похвальном слове Лисы Сумароков — прямой предшественник Крылова.

Поступательное движение сюжета обеспечено регистровыми средствами. Линия Лисы выдержана в изобразительном настоящем времени. Ее алчные намерения не объясняются, а демонстрируются наглядно:

Лисица скалит зубы

И разекает губы

Со умилением взираючи на сыр

И говорит:...

Ворона после информативной экспозиции также предстает пред зрителем в репродуктивно-описательном регистре:

И на дубу сидела,

Во рту его держав,

Ни крошечки еще не поклевав.

Лаконична и репродуктивная развязка: единственный аористивный глагол сменяется результативно-перфективным: *Раскрыла дура рот, упал кусок*.

Здесь и авторская экспрессия — и насмешливая, и сожалеющая. Концовка смазывается резонерством Лисы, изрекающей мораль, адресованную потерпевшей. Эта традиционная функция Лисы под занавес еще и невыполнима, поскольку в устах она держит схваченный кусок.

Пройдя пунктирно историю разработки рассмотренного сюжета, можно полнее оценить басенное искусство И. А. Крылова и эволюцию возможностей литературного языка к началу XIX века.

Русский язык в баснях Крылова, писал Пушкин, «сохраняет драгоценную свежесть, простоту и чистосердечность выражений». «Чувство соразмерности и сообразности» (по слову Пушкина), отличающее дар Крылова,

обусловило не только живость народного языка, богатство разговорных интонаций, красочность изобразительных средств, но и высокий артистизм в построении текста.

Развязка басни доведена до исчерпывающей краткости чередованием трех предикатов — аористивного (действие) и двух перфективных (его последствия):

Ворона каркнула во все воронье горло:

Сыр выпал — с ним была плутовка такова.

Разгрузив концовку от злорадного и противоречащего положению дел резонерства Лисы, Крылов помещает мораль в начало басни (*надбасным* называл истолкование, мораль первый в России (1607 г.) переводчик басен Эзопа Ф. К. Гозвинский) и обращает ее не к Вороне, а к «миру», как предостережение мудрого рассказчика читателю. Можно предположить, что и предысторию с похищением сыра Крылов заменяет туманно-запредельной ситуацией *где-то Бог послал*, чтобы сделать правомернее сочувствие к потерпевшей. В свое видение построенного им мира автор впускает взгляд простодушной Вороны, но не «точку зрения» Лисы.

Очевидно возрастает в крыловском тексте роль изобразительных средств репродуктивного регистра, соединяющихся в целой композиции с ресурсами всех других регистров и различных текстовых функций языковых единиц. «Читатель точно присутствует мысленно при том действии, которое описывает стихотворец» — так оценивал роль репродуктивного регистра в баснях Крылова В. А. Жуковский.

Текстовое время релятивизируется в композиции произведения соотносительно смене точек зрения рассказчика, видения и знания, его пространственно-временной позиции по отношению к происходящему. При том что время самого события, заложенного в сюжет, остается общим для всех авторов, текстовое время, распределение его между частями, звеньями сюжета, темп движения и — соответственно — способ представления этих частей читателю явно различны, достигая наибольшей эффективности под пером Крылова.

Краткий анализ развития известного басенного сюжета, его текстовых воплощений позволяет заключить, что прослеживается тенденция к постепенному усложнению темпоральной структуры басенной композиции — от однолинейной смены последовательных действий до объемного представления описания, повествования и мотиваций, обусловленных движением авторского восприятия. Постепенно все ярче и многоцветнее становится изобразительная палитра. Д. С. Лихачев писал о том, что «в XVIII веке драматургические жанры воздействуют на художественную структуру других литературных жанров» [Лихачев 1971: 328]. Если авторы ранних басен могли бы ввести свой текст в модусную рамку «Я слышал такую историю...»,

то мир басни Крылова воспринят «глазами очевидца», живописующего сценически достоверную картину происходящего. В. В. Виноградов в заключении своей статьи о Крылове приводит высказывание о нем П. А. Плетнева: «Даже старая мысль, „несколько раз являвшаяся у его предшественников“, облеченная им в новые образы, является „как создание, трепещущее свежестью бытия“» [Виноградов 1945].

«Средства художника отличить свой мир развиваются» [Ю. С. Степанов 1997: 749]

Методологический вывод может быть следующим: при различиях в семантико-грамматических системах времен, в морфологической технике (релятивизация в плане сопоставительном) общность текстовых функций, определяемых смысловым характером предикативного признака, его ролью в развитии сюжета и способом восприятия (перемещающейся точкой зрения) говорящего/перцептора, позволяет наблюдать сопоставимость композиционно-темпорального строения текстов на разных языках (релятивизацию текстовую).

Понятие релятивизации времени, таким образом, плодотворно не только для типологического изучения языков, но и применительно к проблемам структуры текста в ее диахроническом и синхроническом многообразии и развитии.

Литература

- Виноградов В. В. О художественной прозе. М.;Л., 1930.
- Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М.;Л., 1947.
- Виноградов В. В. Стиль «Пиковой дамы» // Временник Пушкинской комиссии, II, М., 1936.
- Виноградов В. В. Язык и стиль басен Крылова // Известия АН СССР, СЛЯ, 1945, т. 4, вып. 1.
- Гаспаров М. Л. Античная басня. М., 1991.
- Золотова Г. А., Ониненко Н. К., Сидорова М. Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. М., 1998.
- История всемирной литературы. Т. I. М., 1983.
- Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1971.
- Ониненко Н. К. Спор о басне и «Нравоучительные четверостишия» // Пушкин и поэтический язык XX века. М., 1999.

Пушкин А. С. О предисловии г-на Лемонте к переводу басен Крылова // *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений. В 17 т. Т. 11. М.;Л.: АН СССР.

Русская басня XVIII–XIX веков. Л., 1977. (Сер. Библиотека поэта).

Степанов Н. Л. Русская басня: [вступ. статья] // Русская басня XVIII–XIX веков. Л., 1977.

Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры. М., 1997.

Степанов Ю. С. Проблема предложения в сравнительно-историческом синтаксисе. // Вестник МГУ, 1957, № 2.

Пространственная локализация «верх — низ»¹ во вьетнамском языке

Общеизвестен тот факт, что один и тот же предмет (или явление объективной действительности) может описываться в различных языках в зависимости от «видения мира» (*Weltansicht*) носителей того или иного языка. Сущность этих различий, как отмечал еще 35 лет назад Ю. С. Степанов, заключается в том, что «точка зрения говорящего как бы перемещается [...], он как бы смотрит на одно и то же явление [...] с разных мест» [Степанов 1965: 107].

Для установления специфического для каждого языка способа видения мира особую роль играет организация семантического материала в сфере пространства, имеющая оттенок национального своеобразия, и поэтому неслучайно автор данной статьи выбирает локализацию «верх — низ» во вьетнамском языке в качестве фокуса своего исследования.

Когда речь идет об особенностях восприятия, концептуализации и кодификации пространственных отношений в языке, то обычно используются следующие универсалии, которые являются результатом лингвистических и психологических исследований носителей индоевропейских языков.

(а) Наивное восприятие человеком сущности и природы пространства является «эгоцентрическим», как говорят об этом Дж. Миллер и В. Джонсон-Лэрд: «При эгоцентрическом использовании концепта пространства эго ставится в центр мироздания. Исходя из этого человек может устанавливать трехмерную систему координат в соответствии со своей собственной ориентацией» [Миллер, Джонсон-Лэрд 1976: 394—395].

(б) Этот взгляд на мир является антропоморфическим, и как это суммирует Дж. Лайонз, «в мире человека, — в мире, как он его видит и описывает в повседневном языке, — человек является мерилем всех объектов в точном смысле этого слова» [Лайонз 1977: 690].

¹ Вьет. «trên — dưới». *Trên* обычно переводится как 'верх; верхний; сверху, наверху, вверху; на(д)'; *dưới* — как 'низ; нижний; внизу, снизу, под'. Во вьетнамском языке *trên* и *dưới* могут выступать и как существительные и как предлоги.

(в) При локализации и ориентации в пространстве человек использует систему координат или референциальные фреймы, построенные на основе измерения «верх — низ» (вертикальная позиция человека), ассиметрии строения человеческого тела (измерение «перед — зад» на горизонтальной поверхности, измерение «правый — левый» для боковых поверхностей). Более того, эта система координат «проецируется» с говорящего на слушающего или на предмет, локализация или ориентация которых определяется. По мнению Дж. Лайонз, среди всех пространственных измерений ось «верх — низ» как психологически, так и физически является наиболее значимой, это измерение является основным также с точки зрения языка. Человек обычно движется вперед по направлению взгляда и контактирует со своим собеседником, находясь к нему лицом к лицу и на некотором расстоянии, чтобы видеть его. Земля играет важную роль как исходная поверхность, зафиксированная системой координат и референциальными фреймами. Существовая на поверхности земли и под воздействием силы притяжения, человек ощущает и осознает, что, например, небо находится сверху.

Чтобы внести свою лепту в анализ приведенных выше постулатов, я хочу описать здесь способ локализации в пространстве по вертикальной оси «верх — низ» во вьетнамском языке. Однако в рамках данной статьи я подробно остановлюсь только на концепте «верх» (и не буду тщательно анализировать концепт «низ») и на ряде связанных с ним понятий для того, чтобы понять, что представляет собой локализация «верх» во вьетнамском языке.

1. Концепт «верх» во вьетнамском языке

Во вьетнамском языке часть объекта (или область пространства), рассматриваемая как «верх», всегда является частью, которая «выше по сравнению с остальными частями», если:

- исходной точкой системы координат является поверхность земли (или центр земного шара);
- объект находится в своей канонической позиции.

Концепт «верх» присутствует в толковании ряда слов:

Концепт	Языковое выражение
«верх»	<i>đầu</i> 'голова' (человека)
	<i>ngọn</i> 'верхушка' (деревя)
	<i>đỉnh</i> 'вершина' (горы)

trần 'потолок' (дома)

nóc 'верхняя поверхность' (шкафа)

Например, *đầu* 'голова' (человека) — «верхняя часть тела человека»; *đỉnh* 'вершина, макушка' (горы, склона, головы) — «самая верхняя часть вертикально ориентированного предмета»; *trần* 'потолок' (дома, вагона) — «ровная горизонтальная поверхность, ограниченная самым верхом» (цит. по [Từ điển tiếng Việt 1997]).

2. Понятие «абсолютной ориентации»

Если способ употребления слова *trên* определяется только строением предмета (и при этом часть этого предмета связывается с пространственным атрибутом «trên»), то в этом случае речь идет об абсолютной ориентации [Апресян 1974: 110]. Например, в выражении *tóc trên đầu* 'волосы на голове' (букв. волосы **верх** голова) со словом *đầu* 'голова' всегда употребляется *trên* 'верх', независимо от того, как мы смотрим на самую высокую часть человека (голову): справа или слева, спереди или сзади, сверху или снизу, находится ли субъект в обычном вертикальном положении, лежит ли он горизонтально или, может быть, наклонился (например, сажая бананы) (см. рис. 1—3).

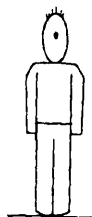


Рис. 1.

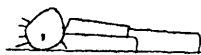


Рис. 2.

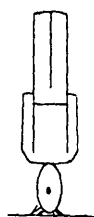


Рис. 3.

В этом отношении мы можем считать вьетнамский язык языком, использующим абсолютную ориентацию даже в том случае, если человек не находится в вертикальном положении (т.е. в исходной позиции системы координат пространственной локализации). Например, если человек находится в горизонтальном положении, то все пространственные отношения «верх — низ» между локализуемым предметом и референциальным предметом все равно остаются абсолютными (ср. рис. 4).

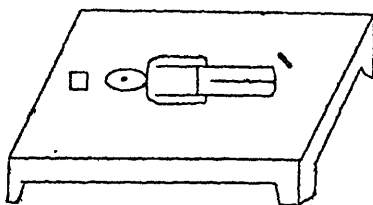


Рис. 4.

- (1)
- Sách ở trên đầu.*

‘Книга у головы’ (букв. находится **верх** голова);

- (2)
- Bút ở dưới chân.*

‘Ручка у ноги’ (букв. находится **низ** нога).

Если у человека болит спина, то он может попросить массажиста:

- (3)
- Anh đấm lên trên nữa.*

‘Помассируйте меня еще **повыше**’ (букв. массировать **подниматься** **верх** еще, т. е. в сторону головы);

- (4)
- Anh đấm xuống dưới nữa.*

‘Помассируйте меня еще **пониже**’ (букв. массировать **спускаться** **низ** еще, т. е. в сторону ног).

Этот принцип локализации и ориентации может распространяться и на предметы, не являющиеся людьми:

- (5)
- Mọi người chạy lên phía trên đầu máy bay.*

‘Все побежали к **голове** самолета’ (букв. бежать **подниматься** **сторона** **верх** голова самолет).

При описании ситуации локализации, как на рис. 3, вряд ли можно встретить следующую пространственную конструкцию:

- (6)
- *Tóc dưới đầu anh bạc nhiều quá.*

‘**На** вашей голове (букв. волосы **низ** голова **вы**) так много седых волос’.

Если употребление слова *trên* не связано со строением предмета, а обуславливается какими-либо другими факторами, то мы имеем относительную ориентацию. Например, предложение

(7) *Quyển sách ở trên hộp.*

‘Книга на коробке’ (букв. находится **верх** коробка)

описывает ситуацию на рис. 5:

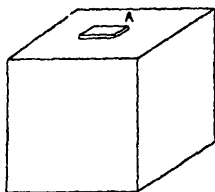


Рис. 5.

Здесь определение поверхности А как верхней поверхности, верха коробки, значимо только в момент речи — если мы перевернем коробку, то в новом положении поверхность А станет нижней поверхностью, низом коробки.

Аналогично локативное предложение

(8) *Nam chơi ở trên nhà Việt.*

‘Нам играет дома у Вьета’ (букв. играть находится **верх** дом Вьет)

употребляется только в том случае, если говорящий живет, например, на нижнем этаже, а квартира Вьета на третьем. Наоборот, если говорящий живет на пятом этаже, то, очевидно, локативное предложение будет иметь вид:

(9) *Nam chơi ở dưới nhà Việt.*

‘Нам играет дома у Вьета’ (букв. играть находится **низ** дом Вьет).

Здесь важно отметить, что локализация «верх — низ» может быть отменена и заменена на другую локализацию — локализацию по расстоянию («далеко — близко»), как в случае следующей ситуации (рис. 6): говорящий находится на третьем этаже многоэтажного дома (на рисунке слева), а Нам (локализуемое лицо) — в комнате Вьета (локализованное лицо-ориентир) на пятом этаже многоэтажного дома (на рисунке справа).

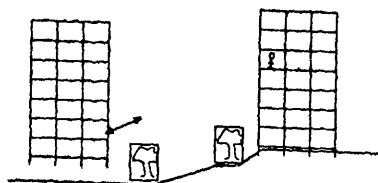


Рис. 6.

В этом случае от говорящего можно ожидать только следующее локативное предложение:

- (10) *Nam chơi ở bên nhà Việt.*

‘Нам играет дома у Вьета’ (букв. играть находиться боковая сторона дом Вьет),

а не предложение:

- (11) **Nam chơi ở trên nhà Việt.*

‘Нам играет дома у Вьета’ (букв. играть находиться верх дом Вьет),

хотя в действительности Нам находится в более высоком месте по сравнению с позицией говорящего. Употребление слова *bên* ‘боковая сторона’ в предложении (10) показывает, что здесь мы имеем противопоставление эго-пространства другому пространству, как в случае:

- (12) *Hôm nay Nam được nghỉ ở nhà.*

‘Сегодня Нам отдыхает дома (букв. отдыхать находиться дом)’ (эго-пространство);

- (13) *Nam đang chơi ở bên hàng xóm.*

‘Нам сейчас играет у соседей (букв. отдыхать находиться боковая сторона соседей)’ (другое пространство).

Говорящему нужно лишь покинуть свое пространство, и если он(а) будет, например, стоять между многоэтажными зданиями, то мы сразу же будем иметь право описать местонахождение Нама предложением (8).

3. Когнитивные особенности использования локатива «верх»

Сравним способы описания локализации предметов в комнате, показанной на рис. 7.

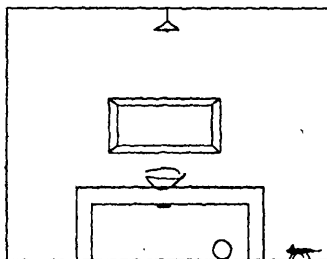


Рис. 7.

«ВЕРХ»:

- (14) *Đèn ở trên trần.*

‘Лампа на потолке’ (букв. находиться верх потолок)

- (15) *Tranh treo ở phía trên bàn.*

‘Картина висит над столом’ (букв. висеть сторона верх стол)

- (16) *Cốc ở trên (mặt) bàn.*

‘Стакан на столе’ (букв. находиться верх [поверхность] стол).

«НИЗ»:

- (17) *Kẹo cao su ở dưới (mặt) bàn.*

‘Жвачка под столом’ (букв. находиться низ [поверхность] стол)

- (18) *Bóng ở dưới gầm bàn.*

‘Мяч под столом’ (букв. находиться низ пространство под чем-л. стол)

- (19) *Chuột bò dưới sàn.*

‘Мышь бегает по полу’ (букв. ползать низ пол).

Если мы попробуем перевести эти предложения на другие языки, например английский, французский или русский, то мы обнаружим следующую интересную особенность.

3.1. В примерах (14) и (19) локализация лампы и мыши во вьетнамском языке определяется, следуя принципу «логика вещей», т. е. опираясь на внутреннюю (intrinsic) ориентацию потолка и пола: *trên trần* 'на потолке' (букв. верх потолок) и *dưới sàn* 'по полу' (букв. низ пол), потому что в доме или квартире потолок действительно представляет собой «верх», а пол — «низ» строения. В английском языке в данном случае употребляется предлог *on*: *on the ceiling* 'на потолке', *on the floor* 'по полу', т. е. здесь используется другой принцип пространственной концептуализации, и употребление предлога *on* 'на, над' предполагает выполнение двух условий [Leech, 1969; Herskovits, 1988]: 1) локализуемый объект X (здесь это *потолок* и *дом*) обычно воспринимается как плоскость (двухмерное пространство); 2) локализуемый объект — это объект, на котором размещается локализуемый объект Y (здесь это *лампа* и *мышь*), соприкасающийся с X. В этом отношении французский частично схож с английским и отличается от вьетнамского, т. е. можно сказать (цит. по [Vandeloise, 1987: 186]):

(20) La mouche est **sur** le plafond

'Муха на потолке',

но нельзя сказать:

(21) *La lampe est **sur** le plafond

(букв. лампа находится на потолок).

Из этого становится ясно, что во вьетнамском языке имеются две стратегии локализации:

- **прямая стратегия**, при которой предмет X воспринимается как находящийся на предмете Y, если X расположен выше Y по вертикальной оси. Например:

(22) *Sách ở trên bàn.*

'Книга на столе' (букв. книга находится **верх** стол);

- **опосредованная стратегия**, при которой предмет X воспринимается как находящийся выше предмета Y (хотя в действительности X может не быть расположенным выше Y по вертикальной оси), если

позиция X определяется в соответствии с абсолютной ориентацией Y или в соответствии с позицией наблюдателя (обычно это говорящий). Например: *Đèn ở trên trần (nhà)* 'Лампа на потолке [дома]' (букв. лампа находится **верх** потолок [дом]).

Можно утверждать, что во вьетнамском языке опосредованная стратегия локализации используется много чаще по сравнению с индоевропейскими языками, в частности с английским, французским или русским; ср., например:

вьет. *trên trời* (букв. **верх** небо)

англ.: *in the sky*

фр.: *dans le ciel*

рус.: *в небе*

При опосредованной стратегии отношение «верх — низ» не обязательно должно удовлетворять условию, что при проекции двух предметов X и Y на горизонтальную поверхность они должны включаться один в другой или соприкасаться. Например, можно сказать:

(23) *Quả bóng ở dưới chân ghế.*

'Мяч у ножки стула' (букв. находится **низ** ножка стул)

(24) *Cái bút ở dưới chân nó.*

'Ручка у его ноги' (букв. находится **низ** нога он)

(25) *Cụ già ngồi dưới gốc cây.*

'Старик сидит под деревом' (букв. сидеть **низ** комель дерево),

чтобы описать ситуации локализации на рис. 8–10:

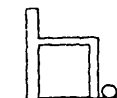


Рис. 8.

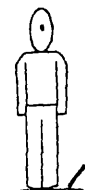


Рис. 9.



Рис. 10.

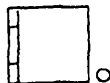


Рис. 8'.



Рис. 9'.



Рис. 10'.

При прямой стратегии локализации мы не можем установить пространственное отношение по вертикальной оси, если при проекции X и Y раздвинуты. Например, нельзя построить предложение:

(26) **Dèn treo ở trên bàn.*

(букв. лампа висеть находится **верх** стол)

для следующего пространственного фрейма (рис. 11):

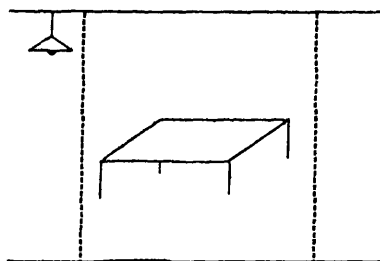


Рис. 11.

Рассмотрим два предложения:

(27) *Tiền để ở trên tủ.*

‘Деньги лежат в шкафу’ (букв. класть находится **верх** шкаф)

(28) *Tiền để ở trong tủ.*

‘Деньги лежат в шкафу’ (букв. класть находится **внутри** шкаф)

Слово *trong* ‘внутри’ в предложении (28) показывает, что пространственное отношение между деньгами и шкафом — это прямое отношение локализации между вместилищем и вещью, которая содержится внутри него. А в предложении (27) в это отношение включается третий участник — позиция говорящего: слово *trên* употребляется здесь только потому, что говорящий находится на нижнем этаже, а шкаф — на верхнем, а в действительности деньги по-прежнему находятся в шкафу. Здесь говорящий использует опосредованную стратегию локализации.

3.2. Как мы видим, слову *trên* в других языках соответствуют разные пространственные предлоги, как, например *on, on top of, over, above* в английском языке. Поэтому вьетнамский язык использует дополнительные

средства — это уточнение части (или области пространства) локализуемого предмета Y, которую занимает локализующий объект X (в языке tzeltal обнаружено аналогичное явление, см. [Levinson 1994]).

Рассмотрим еще раз уже приведенные примеры (15) и (18). В примере (15) благодаря слову *phia* 'сторона' позиция картины определяется более точно: она не соприкасается непосредственно со столом, а находится на некотором расстоянии от него по вертикальной оси, а в примере (18) обязательно наличие слова *găm* 'пространство под чем-л.', что позволяет увидеть очень характерное для вьетнамского языка выделение части предмета (или области пространства).

На рис. (12–14) показаны (штриховкой) области и пространства, называемые *găm* 'пространство под чем-л.'. Таким образом, *găm* 'пространство под чем-л.' (столом, шкафом, машиной, мостом) обозначает свободное пространство от нижней поверхности предмета до поверхности земли. Выражение *duói găm bàn* 'под столом' означает, следовательно, «на поверхности земли и внутри свободного пространства, называемого *găm*». В английском, французском и русском мы встретим только более простые выражения (соответствия слову *găm* в этих языках отсутствуют): *under the table*, *sous le table*, *под столом*.

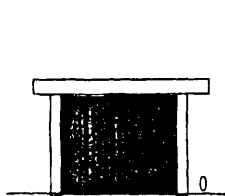


Рис. 12.

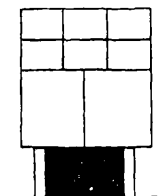


Рис. 13.



Рис. 14.

В других случаях также необходимо наличие аналогичных дополнительных слов, например *mặt* 'поверхность' и *lưng* 'спина' в двух следующих предложениях:

(29) *Lá rơi đầy trên mặt đất.*

'Листья падают на землю' (букв. верх поверхность земли)

(30) *Em bé ngồi trên lưng trâu thổi sáo.*

'Ребенок сидит на буйволе (букв. верх спина буйвол) и играет на флейте'

В английском языке это выражается по-другому:

(31) The leaves are on the water

‘Листья плавают по воде’

(32) The woman is on the horse

‘Женщина сидит на лошади’.

В следующих предложениях

(33) The house is on the lake

‘Дом расположен у озера’

(34) La maison est sur le lac

‘Дом расположен у озера’

(35) *Ngôi nhà bên/ven/cạnh hồ.*

‘Дом расположен у озера’ (букв. боковая сторона / вдоль / около озера).

В отличие от английского (33) и французского (34), во вьетнамском языке требуется указать конкретнее часть пространства, которую занимает на берегу озера дом.

Мы видим, что во вьетнамском при локативном отношении «X ở trên Y» предмет X прямо локализуется в конкретной части предмета или пространства предмета Y, в которой он занимает место или с которой он соприкасается.

3.3. Рассмотрим некоторые пространственные выражения, описывающие локативное отношение на рис. 15 (см. с. 359).

Из приведенных примеров видно, что во вьетнамском языке в процессе локализации предметов на вертикальной оси используются три референциальных фрейма:

- внутренняя референция, т. е. связанная со структурой предмета в его типичном положении:

lóc trên đầu ‘волосы на голове’ (букв. верх голова)

sẹo dưới chân ‘шрам на ноге’ (букв. низ нога)

- относительная референция, производимая в соответствии с визуальной ориентацией и позицией говорящего:

cá ở dưới sông ‘рыба живет в реке’ (букв. жить низ река)

đất ở dưới đáy sông ‘земля на дне реки’ (букв. находиться низ дно река)

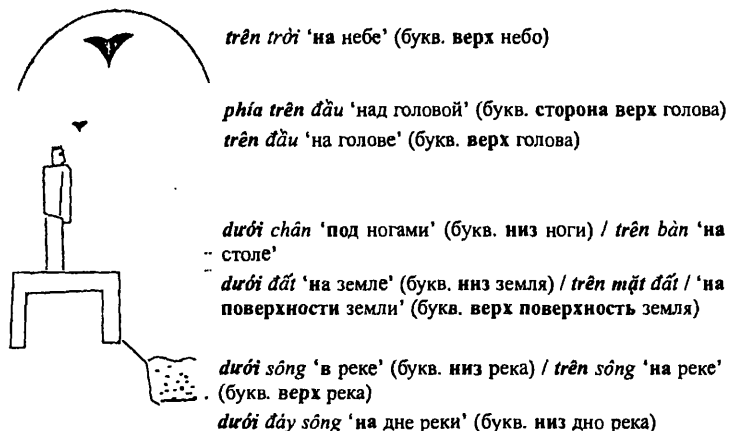


Рис. 15.

- абсолютная референция, осуществляемая в соответствии с направлением силы притяжения земли, земной поверхностью или центром земли:

cỏ mọc trên mặt đất 'трава растет на земле' (букв. расти верх поверхность земля)

tàu chạy trên sông 'пароход плывет по реке' (букв. бежать верх река).

Обычно эти три референциальных фрейма переплетаются, как в случае *mây bay trên đầu* 'облака плывут в небе' (букв. плыть верх небо), однако во вьетнамском языке, как нам представляется, доминируют внутренний и относительный фреймы. Для того чтобы удостовериться в этом, достаточно лишь попытаться перевести некоторые вьетнамские локативы на какой-либо индоевропейский язык, как английский, французский или русский. Например, оригинальное название пьесы известного русского писателя М. Горького «На дне» (*Trên đáy*) представляет собой прямую локализацию при помощи фрейма с абсолютной референцией. Однако при переводе на вьетнамский язык оно превращается в *dưới đáy* (букв. низ дно) (и это действительно отличный перевод), и это является опосредованной локализацией

при помощи фреймов с внутренней и относительной референцией. Название американского фильма «In bed with Madonna» переведено на вьетнамский как *Trên giường với Madonna* (букв. **верх** кровать). Если в английском языке локализация проводится, опираясь на евклидову геометрию и топологические характеристики кровати, чтобы локализовать местонахождение певицы, то во вьетнамском языке рассматривается лишь отношение «верх — низ» при выборе соответствующего фрейма. Можно провести дополнительные сравнения:

(36) *ngủ trên giường* и *ngủ dưới đất*

‘спать в постели’ (букв. **верх** кровать) и ‘спать на земле’ (букв. **низ** земля)

(37) *tờ báo trên giường* и *đôi giầy ở dưới chân giường*

‘газета на кровати’ (букв. **верх** кровать) и ‘обувь у ножки кровати’ (букв. **находиться низ** ножка кровать).

С точки зрения общих принципов восприятия, если используется фрейм с внутренней референцией для локализации предмета, то, вообще говоря, наивная геометрия является бинарной. Во вьетнамском языке «бинарный» способ мышления имеет еще более глубокий источник, как отмечает Ха Ван Тан: «Бинарность мышления управляет восприятием мира и при этом все концепты распределяются по парам: земля / вода, птица / зверь, мужской пол / женский пол и т. д.» [1994: 42]. Пространственная локализация «верх — низ» с опосредованной стратегией, в особенности для вьетнамского языка, как это можно было увидеть в приведенных выше примерах, не выходит за рамки этих когнитивных установок:

(38) *máy bay trên trời* и *người đi dưới đất*.

‘облака плывут в небе’ (букв. **плыть верх** небо) и ‘люди ходят по земле’ (букв. **ходить низ** земля)

(39) *mũ trên đầu* и *tất dưới chân*.

‘шляпа на голове’ (букв. **верх** голова) и ‘носки на ногах’ (букв. **низ** ноги)

(40) *chim đậu trên ngọn cây* и *cụ già ngồi dưới gốc cây*

‘птица села на верхушку дерева’ (букв. **верх** верхушка дерева) и ‘старик сидит под деревом’ (букв. **сидеть низ** комель дерево).

Таким образом, вьетнамский язык не похож на индоевропейские языки типа английского, а скорее отражает локативную когницию, «опираясь почти исключительно на качественные и топологические свойства [Talmy 1983: 234]». Во вьетнамском языке предметы и пространственные отношения могут выражать другой способ «видения мира».

Литература

- Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974.
- Апресян Ю. Д. Образ человека по данным языка: попытка системного описания. «Вопросы языкознания», 1995, № 1.
- Арутюнова Н. Д. (издатель). Понятие судьбы в контексте разных языков. М., 1994.
- Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. М., 1994.
- Ли Тоан Тханг. Пространственная модель мира: когниция, культура и этнопсихология. М., 1993.
- Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры. М., 1997.
- Степанов Ю. С. Структура французского языка. М., 1965.
- Clark H. Space, Time Semantics and the child. «Cognitive development and the acquisition of language». New York, 1973.
- Friedrich P. Shape in grammar. «Language», 1970, v. 46, № 2 (pt. 1).
- Hà Văn Tấn. Quá trình hình thành và bản sắc văn hoá Việt // Văn hoá và phát triển kinh tế — xã hội. Hà Nội, 1994.
- Heine B. Cognitive Foundation of Grammar. Oxford Univ. Press, 1997.
- Herskovits A. Language and spatial cognition. Cambridge, 1988.
- Jackendorf R. Semantics and cognition. Cambridge (Mass.), 1983.
- Langacker R. Foundations of cognitive grammar (v. I), Stanford (Cal.), 1987.
- Leech G. Towards a semantic description of English. London, 1969.
- Levison S. Relativity in spatial conception and description. «Rethinking linguistic relativity». (J. Gumperz, S. Levinson ed.), Cambridge Univ. Press, 1996.
- Levison S. Language and space. «Annual Review of Anthropology». 1996, № 25.

Lý Toàn Thắng. Ngôn ngữ và sự tri nhận không gian // Ngôn ngữ. 1994. № 1.

Lyons J. Semantics (v. 2), Cambridge, 1977.

Miller G. & Johnson—Laird P. Language and perception. Cambridge (Mass.), 1976.

Svorou S. The grammar of space. Amsterdam: John Benjamins, 1994.

Talmy L. How language structures space // Spatial orientation: Theory, research, and application. New York, 1983.

Từ điển tiếng Việt. TP HCM, 1997.

Vandeloise C. L'espace en français. Paris, 1986.

Wierzbicka A. Semantic primitives. Frankfurt, 1972.

Wierzbicka A. Semantics, culture and cognition: Universal human concepts in culture—specific configurations. New York: Oxford Univ. Press, 1992.

Тождество и одноименность

В лингвистической литературе различаются некорреферентные и корреферентные компаративные конструкции. В первом случае сравниваются степени проявления качества у различных предметов, во втором референтом субъекта и объекта сравнения является один предмет в своих различных временных состояниях или в различных условиях. Следует сказать, что провести разграничение корреферентного и некорреферентного употребления компаратива не всегда просто, так как для корреферентных компаративов, как уже отмечалось исследователями, может возникать проблема «тождества объекта и стандарта сравнения» [1, 135], или, в иной терминологии, леворасположенного аргумента компаратива (субъекта сравнения) и праворасположенного аргумента компаратива (объекта сравнения). Причем факт опущения, неназывания объекта сравнения сам по себе не влечет с необходимостью вывод о том, что в данном случае имеет место именно корреферентное употребление компаратива.

Вполне очевидна некорреферентность компаратива в высказываниях типа *Он умнее меня*. Как корреферентные обычно рассматриваются построения вроде *Сегодня ты выглядишь лучше, чем вчера* и подобные. Однако в этом случае ситуация не столь прозрачна. В принципе, еще необходимо доказать, что объекты *ты сегодня* и *ты вчера* могут рассматриваться как один референт, то есть что они тождественны, и доказательство этого факта требует значительной философской изощренности, но все же может привести и к отрицательному результату.

Проблема единства личности во времени — одна из наиболее сложных в философии. Эрвин Шрёдингер, например, размышлял следующим образом: вот вам было 16 лет, и вас раздирали страсти. А что осталось от того «я», которое было носителем этих страстей? Как некое воплощение «я», ведь это были вы — вместе с вашим телом, с вашими переживаниями и т. д., но вы же его не помните. А вы есть. Значит, вы — другое «я»! (цит. по: [2, 25]).

Философски не менее сложен вопрос и о единстве во времени «вещей немых», то есть предметов в прямом смысле этого слова. Борхес в

одном из своих блестящих рассказов описывает фантастический мир, обитатели которого не допускают, что нечто пространственное может длиться во времени. Утверждение, что потерянная, а затем найденная монета является одной и той же, то есть что она тождественна сама себе, что она существовала — «хотя бы каким-то потаенным образом, для человека непостижимым», — во все моменты отрезка времени между ее потерей и нахождением, представляется им абсурдным [3, 56–57].

К выводу о дискретности «вещи» во времени мы придем, если примем ее расселовское определение. Рассел полагал: «то, что обычно называется «вещью», есть не что иное, как пучок сосуществующих качеств, таких как краснота, твердость и т. п.». Причем как разновидности свойств он рассматривал также пространственные и временные координаты «вещи». «Вещь», таким образом, это «совокупность свойств, существующих в данном месте в данное время» (об этом см.: [4, 516–517]). Следовательно, *эта монета сегодня* и *эта монета вчера*, строго говоря, нетождественны, так как в определяющие эти объекты пучки свойств входят различные временные координаты.

Так понимаемая «вещь» не может быть тождественна сама себе не только в различные моменты времени, но и в различных пространственных точках. Это вполне понятно: две внешне неразличимые монеты «там» и «тут» — две разные «вещи» и тождественными быть не могут никогда, так как «один и тот же объект не может находиться в разных местах одновременно» [5, 275]. Таким образом, тезис Рассела «неразличимое — тождественно» может быть отнесен только к одному случаю, то есть тождественна сама себе «вещь», находящаяся здесь и сейчас. Именно о так понимаемом тождестве Л. Витгенштейн замечал: «Между прочим, сказать о двух предметах, что они тождественны, бессмысленно, а сказать об одном предмете, что он тождествен самому себе, — значит, ничего не сказать».

Итак, если в строгом смысле «вещь» может быть тождественна только сама себе в пространственно-временных координатах *здесь и сейчас*, то и о строго понимаемой кореферентности компаратива речь идти не может. Впрочем, очевидно, что нетождественность вещи самой себе в разные моменты времени — это утверждение парадоксальное и наивным языковым мышлением не воспринимаемое. *Я сегодня* и *я вчера*, *эта монета сегодня* и *эта монета вчера* — для языка вещи все же тождественные. Поэтому построения типа *Сегодня ты веселее* или *Эта монета тусклее, чем была вчера* признаются кореферентными, поскольку их референты можно считать онтологически тождественными в языковой картине мира.

Во всех же иных случаях речь об онтологической кореферентности субъекта и объекта компаративного сравнения идти не может. Так, в раз-

личных построениях типа *A(P)-ее, чем A кажется, представляется, изображается* и пр. онтологически нетождественный статус субъекта и объекта сравнения очевиден: «вещь в реальности» сравнивается с различными типами ее ирреальных образов. Если мы говорим *Там ты нужнее*, мы не имеем в виду, что *ты там* нужнее, чем *ты здесь*. Это высказывание имеет значение «Если бы ты был там, ты был бы нужнее, чем сейчас, когда ты находишься здесь» или «Когда ты будешь там, ты будешь нужнее, чем здесь и сейчас». Иными словами, сравнивается реальное состояние объекта с его возможным, ирреальным состоянием.

Нужно отметить, что в языковой картине мира прошлое по онтологическому статусу практически равно настоящему (я *сегодня* и я *вчера* тождественны). Будущее же лишено онтологической реальности: оно может быть таким либо иным. И. А. Мельчук определяет эту особенность человеческого восприятия как асимметрию прошедшего и будущего времени и отмечает: «Прошедшее время описывает нечто реально прожитое (= факты, которые произошли, т. е. уже имели место в действительности), тогда как будущее время описывает то, что только еще должно или может произойти» [6, 67]. Поэтому в высказывании *Я сегодня чувствую себя лучше, чем вчера* субъект и объект сравнения кореферентны, а в высказывании *Завтра я буду чувствовать себя лучше, чем сегодня* — нет, поскольку *я сегодня* — реальность, а *я завтра* — только возможность.

Понятно, что онтологически некорреферентны все конструкции, в которых сравниваются аналогичные части разных объектов, аналогичные объекты, принадлежащие различным субъектам или расположенные в различных местах и т. д. В высказываниях типа *Мои руки сильнее твоих*, *Моя ручка лучше твоей* или *В этом магазине ручки лучше* субъект и объект сравнения не кореферентны, а кономинантны, или одноименны, поэтому название объекта и может быть опущено.

Мы подошли к моменту, когда необходимо затронуть еще одну проблему, связанную с понятием кореферентности. Это проблема различения онтологического тождества и тождества, связанного с одноименностью объектов (пока не будем присваивать этому типу тождества никакого собственного имени).

Рассмотрим следующее высказывание: *Бывший премьер оперетты сказал: «В молодости все лучше: и соловьи звонче, и звезды ярче, и женщины красивей»* (Ю. Нагибин. Певучая душа России). Можно, очевидно, сказать, что перед нами типичный случай сравнения степеней качества в различные временные моменты: *Тогда (в молодости) все было лучше, чем сейчас (в старости)*. Однако можно ли говорить об онтологической тождественности всех представленных в высказывании субъектов сравнения и объектов

сравнения (имена которых в данном случае опущены по причине кономи-нантности объектов и субъектов сравнения)? Ясно, что кореферентно высказы-вание *Звезды в молодости были ярче, чем звезды сейчас, в старости*, так как *звезды тогда* и *звезды сейчас* — это одни и те же звезды: за при-близительно пятьдесят лет, прошедших между молодостью и старостью, на карте звездного неба вряд ли произошли какие-либо существенные пе-ремены. Как кореферентное можно истолковать и высказывание *Женщины в молодости были красивей, чем сейчас, в старости*, если иметь в виду конкретных женщин молодости говорящего: к его старости они, естествен-но, тоже постарели и стали менее красивыми. Высказывание же *Соловьи в моей молодости были звонче, чем соловьи в моей старости* нельзя считать кореферентным в том смысле, что референты субъекта и объекта сравне-ния онтологически тождественны: *соловьи пятьдесят лет назад* и *соловьи сейчас* — разные соловьи, эти птицы так долго не живут.

Однако понятно, что такое конкретно-денотативное толкование исполь-зованных в этом высказывании имен не единственно возможное и, более того, не вполне адекватное. Высказывание в целом носит сентенциозный характер, а для сентенции характерно именно не конкретно-предметное, а обобщенно-отвлеченное использование имен. Говорящий имеет в виду не столько реально существовавшие в его молодости звезды, соловьев, жен-щин, сколько «звезды вообще», «соловьев вообще», «женщин вообще», и «вообще все»: вино, солнце, книги, моря, города, весь мир. И сама мо-лодость имеет значение не просто *моя молодость*, но *молодость любого*, «молодость вообще». Именно поэтому, кстати, в высказывании отсутствуют сигналы реальной отнесенности *молодости* к прошлому, одним из которых могла бы стать форма прошедшего времени *было*.

Высказывание не привязано к конкретным пространственно-временным координатам *сейчас, здесь* или *тогда, там*, оно претендует на универсаль-ную истинность *всегда и везде*, отнесено как бы к некой вневременной и внепространственной сфере. Эта сфера может вполне быть истолкована в духе платоновской «сферы идей», и в таком случае мы должны обра-титься к вопросу о понятии «сущности», градации сущностей и иерархии бытия. Признание или непризнание онтологического бытия различного ти-па сущностей влечет за собой и вполне определенную трактовку понятия «тождество». Н. Д. Арутюнова по этому поводу пишет: «Понятие тожде-ства, подобно тени, постоянно сопутствует сущностям: No entity without identity „Нет сущности вне понятия тождества“» [5, 276]. Как известно, Аристотель в «Категориях» различал первые, индивидуальные сущности (от-дельный человек, отдельная лошадь и т. п.) и вторые, видовые и родовые сущности (человек вообще, живое существо вообще и т. п.). И первые, и

вторые сущности равно наделены онтологическим бытием, но в разной степени: первые — в наибольшей, видовые — в меньшей, родовые — еще в более меньшей, наивысший род «Сущность» — в наименьшей степени (см.: [7]).

В зависимости от того, признаем мы или не признаем так понимаемое бытие сущностей, ответы на вопрос, тождественны ли *соловьи в моей молодости* и *соловьи в моей старости*, будут различными. Так, для Рассела, который, как известно, не признавал никаких сущностей, ответ был бы отрицательным. Напротив, положительным он был бы для Лейбница, который утверждал: «Помимо разницы во времени и месте должен всегда иметься внутренний принцип различия. . . Таким образом, хотя время и место (то есть отношение к внешнему) служат нам для различения вещей, которые мы не умеем достаточно различать сами по себе, вещи все же различимы в себе. Следовательно, сущность *тождества* и *различия* заключается не во времени и месте, хотя действительно различие вещей сопровождается различением времени и места, так как они влекут за собой различные впечатления об одной и той же вещи». [8, 230]. Иными словами, для Лейбница существует «неразличимое для восприятия» и «неотличимое по внутренней природе». То, что неотлично по природе, по внутренне присущим свойствам, является одним и тем же. Поэтому понятно, что *соловьи в те годы* и *соловьи сейчас*, «неотличимые по своей внутренней природе», могли бы рассматриваться Лейбницем как тождественные.

Две эти точки зрения представляют две линии в истории философии: идущую от «Категорий» Аристотеля линию *реализма* (к которой принадлежал Лейбниц) и отразившуюся в аристотелевской «Метафизике» линию *номинализма* (представителем которой был Рассел). Продолжением первой линии является в современной российской философии языка направление, которое Ю. С. Степанов определяет как Новый реализм. Формулируя основные положения, характеризующие это направление, Ю. С. Степанов цитирует следующие высказывания, относящиеся к проблемам лингвистики и математики: «Интенционалы сами по себе, как функции от возможных миров к объектам различного вида, являются абстрактными объектами, могущими существовать независимо от людей, подобно числам. . . » [9]; «Представители одной из них (линий. — Ю. С.), известной под именем *платонизма*, утверждают, по сути дела, что понятия числа и множества существуют в действительности (независимо от нашего знания о них). . . » [10]. Центральная идея Нового реализма формулируется Ю. С. Степановым следующим образом: «В признании сущностей, стоящих за логическими рассуждениями. . . и, далее, в признании некоторых еще более общих предпосылок познавательной деятельности, более общих, чем логическая система и „ее онтология“ по отдельности, и состоит общее основание целого класса со-

временных логико-философских систем, к которому принадлежит и Новый реализм» (см.: [4, 711–712, 730]).

Причисляя себя к сторонникам идей Нового реализма, мы полагаем, что онтологическим бытием наделены как первые, индивидуальные сущности (*эта монета, этот соловей, эта женщина*), так и вторые сущности (*монета «вообще», соловей «вообще», женщина «вообще»*). Таким образом, отмеченная нами ранее кономинантность субъекта и объекта сравнения в определенных типах компаративных конструкций может трактоваться как свидетельство включенности обозначаемых ими индивидуальных сущностей во вторые сущности: виды, роды и т. д. Именно в этом качестве они могут рассматриваться как тождественные: *монета здесь* и *монета там* отнесены к единому таксономическому классу «монета»; *соловей пятьдесят лет назад* и *соловей сейчас* — к единому виду «соловей» и т. д.

Впрочем, необходимо подчеркнуть, что так понимаемая тождественность не равносильна утверждению о полном онтологическом тождестве *монеты здесь* и *монеты там*, которое ведет к *reductio ad absurdum*, например, к выводу, что две монеты — это одна монета или что боль, которую испытывают девять человек девять ночей подряд, — это одна и та же боль (см.: [3, 57]). Индивидуальные вещи и родо-видовые сущности, как уже говорилось, наделены онтологическим бытием в разной степени: индивидуальные вещи существуют независимо, роды и виды же — «в вещи», «как сущности вещей» (см.: [4, 211]), однако их существование все же онтологично в том смысле, что они существуют «независимо от людей», «независимо от нашего знания о них» (см. цитаты выше).

Для описанного выше типа тождества не очень просто найти соответствующее наименование. Это, конечно, не семантическое тождество, предполагающее эквивалентность разных имен одной «вещи», не приравнивается оно и к сигнификативному тождеству, или, в терминологии Е. В. Падучевой, концептуальному тождеству [11, 5], понимаемому как тождество понятий. Ближе всего этот тип тождества находится к тому, что Н. Д. Арутюнова называет гносеологическим тождеством, противопоставляя его онтологическому (субстанциональному) тождеству. О различиях между онтологическим и гносеологическим тождеством Н. Д. Арутюнова пишет: «В первом случае речь идет о тождестве *per se*, во втором о включении объекта в класс» [12, 307]. Онтологическое тождество связано только с индивидами, то есть с первыми сущностями, гносеологическое тождество, имеющее отношение к классам, то есть ко вторым сущностям, — это, собственно говоря, не тождество, а подобие: «Индивидуальность и единичность — сфера показателей тождества. Категории и классы — сфера показателей подобия» [5, 312]. Однако, исходя из нашего понимания статуса таких единиц, как класс, вид, род, ис-

пользование термина «гносеологическое тождество» нам не представляется возможным, поскольку, как мы полагаем, эти единицы существуют независимо от нашего знания о них. Рассматриваемый тип тождества может быть обозначен термином «тождество в сущности» или «сущностное тождество». В таком случае тот тип тождества, который обычно называется онтологическим (субстанциональным), мог бы в противоположность сущностному тождеству именоваться индивидуальным тождеством.

Одним из средств языкового выражения индивидуального тождества являются кореферентные компаративные конструкции. Кономинантные построения могут свидетельствовать о сущностном тождестве субъекта и объекта сравнения.

Литература

1. Теория функциональной грамматики: Качественность. Количественность. СПб., 1996.
2. Мамардашвили М. К. Картезианские размышления. М., 1993.
3. Борхес Х. Л. Проза разных лет. М., 1989.
4. Степанов Ю. С. Язык и метод. К современной философии языка. М., 1998.
5. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М., 1998.
6. Мельчук И. А. Курс общей морфологии. Т. II. Ч. 2: Морфологические значения. Москва-Вена, 1998.
7. Аристотель. Категории. С приложением комментария Порфирия. Пер. А. В. Кубицкого. М., 1939.
8. Лейбниц. Сочинения. В 4-х т. Т. 2. М., 1983.
9. Холл Парти Б. Грамматика Монтегю, мысленные представления и реальность. Пер. с англ. // Семиотика. Сост., вступ. статья и общая ред. Ю. С. Степанова. М., 1983.
10. Карри Х. Б. Основания математической логики. Пер. с англ. М., 1969.
11. Падучева Е. В. Высказывание и его соотношенность с действительностью (референциальные аспекты семантики местоимений). М., 1985.
12. Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл. М., 1976.

Коммуникативная структура повествовательных предложений с препозицией глагола*

Порядок слов в предложениях с препозицией глагола в германских языках (исландском и идише), славянских языках и древних языках подвергались детальному обсуждению в лингвистической литературе, см. например, Bernéker 1900; Ковтунова 1976: 121; Степанов 1989: 227; Sigurðsson 1990; Rögnvaldsson, Thráinsson 1990; Luraghi 1995; Золотова, Онипенко, Сидорова 1998: 382. Между тем коммуникативной структуре предложений с препозицией глагола не всегда уделялось должное внимание. Так, коммуникативно ориентированный термин «topicalisation», который используется во многих работах по препозиции глагола, как кажется, вводит в заблуждение, потому что выдвижение глагола в препозицию еще не предполагает, что глагол действительно становится топиком (темой), см. критику идеи топикализации глагола при его выдвижении в препозицию в работе Maling 1990: 88.

Есть основания полагать, 1) что особый порядок слов может быть связан со специальными (не-нейтральными) коммуникативными стратегиями говорящего в процессе порождения речевого акта; 2) что существует не одна, а несколько различных коммуникативных (тема-рематических) структур, в которых препозитивный глагол играет различные коммуникативные роли. Так, в русском языке препозитивный глагол может быть темой предложения, как в примере (2), ремой, как в примере (3), а также фрагментом ремы, но не собственно ремой (акцентоносителем ремы¹), как в примере (1).

(1) *Служил † на Кавказе один барин ‡;*

(2) *Звали † его Жилин ‡;*

* Работа выполнена при поддержке РГНФ (грант № 99-04-00294а)

¹ Ремой в предложении (1) служит компонент *служил один барин*, а акцентоносителем ремы — словоформа *барин*.

(3) *(Пришел больной к врачу.)² Осмотрел \ врач больного³.*

Для полноты картины отметим, что препозитивный глагол также может быть фрагментом нерасчлененного предложения, но не собственно ремой, как в предложении (4), и фрагментом темы, как в предложении (5).

(4) *Стоял мороз \;*

(5) *Опротивели Марусе \ пелухи да гуси \⁴.*

В дальнейшем мы не будем рассматривать примеры типа (4) и (5): мы приводим их здесь для того, чтобы сделать список возможных тема-рематических типов предложений с препозицией глагола более или менее полным. Ниже мы сосредоточимся главным образом на широко распространенном в русском языке типе предложений, который представлен примером (1). Другие типы, которые мы тоже рассмотрим, приводятся в основном для того, чтобы специфицировать коммуникативную структуру предложения (1). Мы также сопоставим анализируемые предложения с их нейтральными коррелятами, которые не отмечены препозицией глагола. Это исходные предложения с той же лексико-синтаксической структурой, что и предложения с препозицией глагола, но с минимальным вкладом коммуникативной структуры в семантическую⁵.

Русский язык мы используем как пример и точку отсчета для распространения на другие языки гипотез, возникающих при анализе русского языка. После анализа русских предложений мы обратимся к примерам из исландского, фламандского диалекта голландского, венгерского, арчинского (Дагестан), латыни, древнегреческого и древнеисландского языков, которые, как кажется, реализуют те же стратегии, что и русский язык.

² В угловые скобки помещается необходимый для анализа предложений контекст.

³ Мы остановимся на характеристике коммуникативно релевантных акцентов, которые фиксируются на глаголе, ниже. Для начала нам будет достаточно констатации того, что все три препозитивных акцента в примерах (1)–(3) разные. Это показывают знаки акцентов в виде стрелок.

⁴ Тема-рематическая структура предложения (5), которая здесь приводится, — это не единственная возможная коммуникативная интерпретация лексико-синтаксической структуры предложения (5).

⁵ Здесь мы вслед за Е. В. Падучевой (1984) рассматриваем не-нейтральные предложения как результаты линейно-акцентных преобразований исходных предложений. У исходных предложений вклад коммуникативной структуры в семантическую минимальный, а у структур, служащих результатом преобразований, обычно возникают новые смыслы.

Рассмотрим линейно-акцентную структуру предложений (1)–(3). Для наших целей потребуются различать три коммуникативно релевантных акцента: два восходящих (вслед за Е. А. Брызгуновой мы называем их ИК-6, знак $\uparrow$, см. пример (1), и ИК-3, знак $\nearrow$, см. пример (2)) и один нисходящий (ИК-1, знак $\searrow$). ИК-3 и ИК-6 различаются заударной зоной: ИК-3 имеет падение на заударной части акцентоносителя, если таковая есть, а ИК-6 характеризуется ровной заударной частью.

Вернемся к предложению (1). Приведем также несколько других примеров того же коммуникативного типа: *Посадил дед репку; Возвращается Петька из разведки; Поступает чукча в Литературный институт*. Этот тип широко используется в сказках и анекдотах. Любовь русскоязычных говорящих к анекдотам делает тип (1) чрезвычайно продуктивной коммуникативной стратегией русской речи. Она используется не только в фольклорных жанрах, но и в разговорной речи при воспоминаниях о прошлом (пример (6)) или в мечтах о будущем (пример (7)):

(6) *Вышел $\uparrow$ на площадку нападающий Пахутин $\searrow$;*

(7) *Поеду $\uparrow$ я завтра на дачу $\searrow$.*

Препозитивные глаголы в предложениях (1), (6) и (7) не темы, так как они не могут принимать акцент ИК-3, характеризующий тему. Так, произнесение предложения (1) с ИК-3 в абсолютном начале текста невозможно:

(1а) *$\nearrow$ Служил $\nearrow$ на Кавказе один барин $\searrow$*

В этом отношении предложения (1), (6) и (7) можно сравнить с предложением (2), где на глагольной словоформе *звали* фиксируется акцент ИК-3. Этот глагол служит темой предложения. Попутно заметим, что предложение (2) представляет широко распространенный в русской речи коммуникативный тип, который специально предназначен для сообщения информации о признаках объектов. В предложении (1), которое предшествует предложению (2), вводится новый герой, поэтому в следующем предложении естественно сообщить некоторую информацию о нем, например как его звали. В рассматриваемом коммуникативном типе, представленном предложением (2), имя признака — тема, а значение признака — рема: *Звали его Жилин*. Здесь имя признака — глагол *звали*, а значение признака — *Жилин*. Ср. также другие предложения, которые служат для фиксации «анкетных данных», они

⁶ В данной работе мы придерживаемся классификации акцентов, разработанной Е. А. Брызгуновой; см. Русская грамматика 1982: 107, где для коммуникативно релевантных акцентов используется термин «интонационная конструкция» (ИК).

построены по той же схеме: *Жил он на Арбате; Женат он был на Марье Ивановне*. Таким образом, дискурсивная ситуация введения в рассмотрение нового объекта вызывает другую дискурсивную ситуацию, связанную с сообщением его «анкетных данных». Эту вторую ситуацию обслуживает коммуникативная структура, представленная предложением типа (2)⁷.

Вернемся к примерам (1), (6) и (7): мы показали, что препозитивный глагол в них — не тема. Между тем в этих предложениях тема есть. Косвенным свидетельством этого служит то, что предложения содержат известную информацию, которая либо активирована в предтексте, либо принадлежит долговременной памяти говорящего и слушающего. Мы говорим здесь лишь о косвенных свидетельствах, так как известное не всегда служит темой. В примерах (1), (6) и (7) претендентами на роль темы являются группы *на Кавказе*, *на площадку* и *я завтра* соответственно⁸. Эти темы занимают позицию между началом и концом предложения.

Таким образом, мы вслед за И. И. Ковтуновой (1976: 121) рассматриваем ремы предложений (1), (6) и (7) как расщепленные на две части: глагол и его дополнения (включая группу подлежащего) или обстоятельства. Глагол занимает начальную позицию, а второй фрагмент ремы занимает конечную позицию и несет акцент ИК-1, характерный для ремы. Тема помещается в образовавшуюся при разрыве ремы нишу между началом и концом предложения. У предложений (1), (6) и (7) есть нейтральные корреляты (1а), (6а) и (7а) с нормальными препозитивными темами *на Кавказе*, *на площадку* и *я завтра*:

(1а) *На Кавказе* ↗ служил один барин ↘;

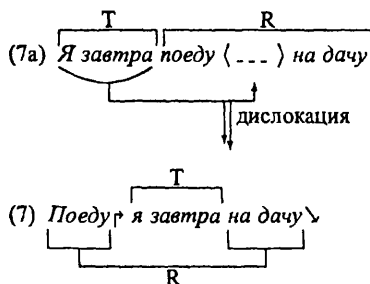
(6а) *На площадку* ↗ вышел нападающий Пашутин ↘;

(7а) *Я завтра* ↗ поеду на дачу ↘.

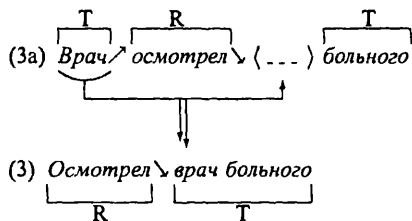
Расщепление (дислокация, по И. И. Ковтуновой) ремы создает условия для отвода ремы на второе место в предложении. Так, предложение (7) может быть представлено как результат дислокации ремы в нейтральном предложении (7а):

⁷ Ср. о функциях типов предложений в тексте: «На втором этапе повествования „введенный в бытие“ предмет должен быть поименован... Жил-был один мальчик. Звали этого мальчика Коля» (Арутюнова 1976: 357).

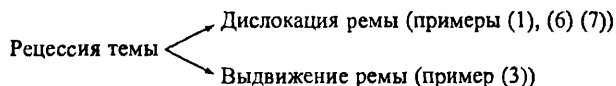
⁸ На то, что в предложениях *Посадил дед репку; Сидит Василий Иванович у реки; Выходит Анка замуж*, а также в предложениях (1), (6), (7) известный герой (дед, Василий Иванович, Анка), время или место, обратил мое внимание Ю. С. Степанов (в устной беседе).



Другой тип с темой на втором месте представлен предложением (3). Рема предложения (3) — глагол *осмотрел*. Две другие словоформы обозначают врача и больного, которые введены в рассмотрение в предыдущем предложении, и им естественно быть темой. Глагол-рема помещен в препозиции, и опять тема оказывается на втором месте. Однако в предложении (3) нет дислокации, потому что рема состоит только из одной словоформы, т. е. расщепление невозможно. Коммуникативная структура предложения (3) может быть представлена как результат выдвигания ремы в нейтральном предложении (3a):



Результатом дислокации ремы и выдвигания ремы служит уход темы в позицию Ваккернагеля. Мы называем эти линейно-акцентные преобразования рецессией темы.



Темы в предложениях (1), (3), (6) и (7) коммуникативно подавлены, потому что они убраны с начальной заглавной позиции в ваккернагелевский тыл. Соответственно, герой, его время и место уже не служат точкой отсчета

для старта речевого акта, и слушающий погружается непосредственно в гущу событий. Таким образом, рецессия темы сосредоточивает внимание слушающего на событии в целом. Семантический эффект рецессии темы состоит в создании впечатления, что событие, которое в действительности имеет место вне восприятия слушающего, происходит как будто у него перед глазами.

Парадоксально, но при репортаже о текущих событиях, действительно происходящих на глазах у коммуникантов, рецессия темы невозможна. Так, предложение (6) абсолютно несовместимо с речью спортивного комментатора в момент матча. Единственная возможность — это предложение (6а) с полноценной темой *на площадку* в начале предложения.

Следует заметить, что предложения с препозицией глагола, но в отсутствии рецессии темы абсолютно естественны в репортаже о текущих событиях:

(8) а. *Выходят* ↑ игроки Автодора ↓. б. *Выглядят* ↑ они по-боевому ↓

Предложение (8а) нерасчлененное, ср. предложение (4) того же типа. А в предложении (8б) есть полноценная тема. Это глагол *выглядят*. *Выглядят* — это имя признака нового объекта, появившегося на сцене в предшествующем предложении (8а). Значение признака — рема *по-боевому*. Таким образом, в примерах (8) не следует ожидать рецессии темы, потому в (8а) темы нет вообще, а в (8б) есть полноценная препозитивная тема. И семантический эффект рецессии в примерах (8) отсутствует: этот эффект возникает, только когда тема есть, но она отведена в позицию Ваккернагеля. Поэтому предложения (8) свободно употребляются в жанре репортажа.

Таким образом, предложения с препозитивным глаголом (1) и (2), хоть и принадлежат одному тексту, реализуют различные коммуникативные структуры и вносят различный вклад в организацию текста.

Ю. С. Степанов обращает внимание на весьма ограниченную применимость предложений с начальным глаголом, высказывая несогласие с мнением Э. Бернекера (Berneker 1900), который считал, что «в русском языке порядок слов VSO (*Посеял мужик репу*) равноправен с порядком SVO и чуть ли не преобладает над ним» (Степанов 1989: 227). Действительно, как мы надеялись показать выше, по крайней мере один тип таких предложений — предложения с рецессией — функционирует в текстах особого рода — сказках, анекдотах, воспоминаниях и мечтах. Нейтральными структурами с препозицией глагола для русского языка могут считаться только те, у которых лишь один актант и он — акцентоносите́ль предложения: *Пришла весна* ↓; *Явился Иоанн* ↓; *Купили пианино* ↓; *Умер Ремарк* ↓. Во всех других предложениях препозиция глагола служит либо наследием контекстного

фактора, как в предложении *Звали його Жилин*, либо результатом действия специальной коммуникативной стратегии (*Посадили дед репку*).

Известно, что русский язык не принадлежит к числу ваккернагелевых языков. Между тем в некоторых чертах он сохраняет верность закону Ваккернагеля⁹. Некоторые из этих черт могут быть интерпретированы не в терминах энклитик, которые занимают в предложении второе место, а в терминах коммуникативных компонентов предложения, которые тоже занимают в предложении второе место и не несут никакого коммуникативно релевантного акцента, т. е. их можно назвать атоническими. Так, в предложении (1) выделяется ваккернагелевская тема *на Кавказе*. В применении к коммуникативным структурам закон Ваккернагеля имеет расширенную интерпретацию, потому что во второй позиции оказываются не «маленькие» слова, которые играют роль энклитик по определению, а полноценные составляющие, такие как *на Кавказе*, которые в других условиях могут нести коммуникативно релевантные акценты.

Намек на расширенную трактовку закона Ваккернагеля можно найти и в знаменитом труде самого Ваккернагеля об индоевропейском порядке слов: Ваккернагель указывает, что атоническое употребление может иметь глагол. Он ведет тогда себя, как частица. Мы предполагаем, что рецессия темы служит одним из проявлений закона Ваккернагеля в его расширенной интерпретации.

И наконец, можно предположить, что рецессия темы не является специфической деталью типологического портрета русского языка¹⁰. Так например, обращает на себя внимание характерный порядок слов и сопутствующий семантический эффект в венгерских народных сказках. Рассмотрим примеры из венгерской народной сказки «Ludas Matyi».

- (9) венг. *Volt egyszer egy szegény asszony*
была однажды одна бедная женщина

В примере (9) наречие *egyszer* 'однажды' занимает вторую позицию. Между тем в других случаях оно может располагаться и в начальной позиции, как в примере (10), который взят не из народных сказок, а из переводов с немецкого. Это говорит о том, что наречие *egyszer* не обязательно используется в качестве энклитики. Можно также предположить, что переводы

⁹ В формулировке К. Уоткинса закон Ваккернагеля гласит: «энклитики занимают в предложении вторую позицию» (Watkins 1964: 1036).

¹⁰ Примерами, которые здесь приводятся, я обязана Чикос Вег Яношне (разговорный венгерский язык), Д. Дивьяк (фламандский диалект голландского языка), А. В. Циммерлину (древнеисландский язык).

сказок братьев Гримм, которые содержат значительно меньше предложений с препозицией глагола, чем народные сказки, испытали влияние немецкого порядка слов, в котором препозиция глагола невозможна.

- (10) венг. *Egyszer egy királynak a két nagyobbik fia*
 однажды один король два старшие сына выйти
elindult szerencsét próbálni
 счастье испытать

Рассмотрим еще несколько примеров из народных сказок. Так, в примере (11) препозитивный глагол *mondja* 'сказала'-рема, как и в примере (3). Дислокации ремы в нем нет, но рецессия темы очевидна.

- (11) венг. *Mondja egyszer a szegény asszony Matyinak*
 сказала однажды бедная женщина Мати

- (12) венг. *Behajtja Matyi a tizenhat libát a döbrögi vásárra*
 гонит Мати шестнадцать гусей Дебрегский базар
 'Погнал Мати шестнадцать гусей в село Дебрег на базар'

Предложение (13) иллюстрирует рецессию темы в современной разговорной речи, темой в этом предложении служит наречие времени *holnap* 'завтра':

- (13) венг. *Elutazom holnap a nyaralóba*
 еду завтра на дачу

Древнеисландские примеры также служат прекрасной иллюстрацией эффекта развертывания картины перед мысленным взором наблюдателя. Рассмотрим пример (14) (Gunnars saga Þiðrandabana 1950):

- (14) др.-исл. (a) *(En Þiðrandi kom til Kórekssona um sumarit.)* (b) *Tóku þeir við honum einka vel.* (c) *Var hann þar um nóttina.*

'(a) (А Тидранди пошел к сыновьям Корека летом.) (b) *Приняли* они его как нельзя лучше. (c) *Остался он там* на ночь'.

Пример (14) демонстрирует две стратегии, выделенные нами на примере русского языка. Это дислокация ремы в предложении (14с) и стратегия с препозитивным глаголом-темой в (14b). Предложение (14а) служит контекстом для (14b). В (14а) вводится новый объект. Это визит Тидранди к сыновьям Корека. Глагол *tóku* 'приняли' в (14b) обозначает признак визита. Это качество приема, оказанного хозяевами гостю. Таким образом, глагол, обозначающий имя признака, — тема предложения (14b). Значение признака — обстоятельство *einka vel* 'особенно хорошо' — играет роль ремы. Та же стратегия, нацеленная на отражение значений признаков объекта, введенного ранее в рассмотрение, реализуется в русском примере (2). Далее, предложение (14с) реализует стратегию с дислокацией ремы. *Var um nóttina* 'остался на ночь' — это рема, которая, расщепляясь, пропускает тему *hann þar* 'он там' в позицию Ваккернагеля. Предложение (14с) знаменует новый шаг в развитии сюжета.

Приведем примеры из других языков, древних и новых, в которых препозиция глагола подозрительна на рецессию темы. Недостаток контекста в некоторых случаях не позволяет сделать атрибуцию коммуникативных структур с препозицией глагола более определенной.

- (15) исл. *Kom Ólafur seint heim*
пришел Олаф поздно домой (Sigurðsson 1990: 41).

- (16) лат. *Erat inter Labienum atque hostis difficili*
Была между Лабиемом и врагами с трудно
transitu flumen ripis
проходимыми река берегами (Luraghi 1995: 370).

- (17) др.-греч. *Édokseiv auto:is apiénai:*
казалось хорошо им идти
(Luraghi 1995: 378).

- (18) флам. *Verhuis ik naar een andere kamer. Zitten daar*
Перезажую я в другую комнату. Сидят там
kakkerlakken
тараканы

- (19) арчинск. *óqIali xīta tot lo*
пошел тогда этот мальчик

(Кибрик, Кодзасов, Оловяникова, Самедов 1977: 63–64)¹¹.

- (20) португальск. *Comei a galinha o gato*
съела курицу кошка (Tsunoda 1995: 5).

- (21) альяварра (семья пама-ньюнга, Австралия)
ayrtirnika atha rinha ilipila
порубил я его топором (Tsunoda 1993: 27).

- (22) гуниянди (семья Бунаба, Австралия):
booroowanbirri laandi yarrbanyi yoowooloo
Прятались наверху новые люди
(McGregor 1984: 303).

*
* * *

Мы надеялись показать, что препозиция глагола может использоваться в качестве дискурсивного приема, призванного подавить тему предложения путем ее отвода с начальной позиции в позицию Ваккернагеля. Этот прием используется для создания впечатления, что событие, которое имело место в прошлом или планируется в будущем, разворачивается как перед глазами наблюдателя. При этом в жанре репортажа о событии, действительно происходящем перед глазами, данный прием не применяется: он нацелен на создание умозрительного образа действительности. Препозиция глагола как средство подавления темы встречается во многих древних и современных языках мира.

Литература

Арутюнова Н. Д.

1976 Предложение и его смысл. М., Наука.

Золотова Г. А., Ониненко Н. К., Сидорова М. Ю.

1998 Коммуникативная грамматика русского языка. М., 1998.

¹¹ Заметим, что слово *xīā* 'тогда' не обязательно энклитика, ср.: *xīā t'ibis-ewxdili mallā nāsurtin*. . . 'Тогда, жалея Муллу Насреддина. . .'

Кибрик А. Е., Кодзасов С. В., Оловянникова И. П., Самедов Д. С.

- 1977 Арчинский язык. Тексты и словари. М., издательство Московского университета.

Ковтунова И. И.

- 1976 Современный русский язык. Порядок слов и актуальное членение предложения. М., Просвещение. 239 с.

Падучева Е. В.

- 1984 Коммуникативная структура предложения и понятие коммуникативной парадигмы // Научно-техническая информация. Сер. 2. № 10.

Степанов Ю. С.

- 1989 Индоевропейское предложение. М., Наука.

Gunnars saga Þiðrandabana

- 1950 Ízlensk fornrit. XI bindi. Reykjavík.

Luraghi S.

- 1995 The pragmatics of verb initial sentences in some ancient Indo-European languages // Word Order in Discourse. John Benjamins. Amsterdam/Philadelphia.

Maling J.

- Inversion in embedded clauses in modern Icelandic // Syntax and Semantics. Modern Icelandic Syntax. Vol. 24. Academic Press Inc., San Diego.

McGregor W. B.

- 1984 A grammar of Kuniyanti: an Australian aboriginal language of the southern Kimberley, Western Australia. Ph. D. Thesis. University of Sydney.

Rögnvaldsson E., Thráinsson H.

- 1990 On Icelandic Word Order Once More // Syntax and Semantics. Modern Icelandic Syntax. Vol. 24. Academic Press Inc., San Diego.

Sigurðsson H. Á.

- 1990 V1 Declaratives and Verb Raising in Icelandic // Syntax and Semantics. Modern Icelandic Syntax. Vol. 24. Academic Press Inc., San Diego.

Tsunoda T.

- 1993 Typological Study of Word Order (15): Warlpiri, and (16): Alyawarra // Studies in language and literature. № 24. University of Tsukuba.

Tsunoda T.

- 1995 Typological Study of Word Order (21): Portuguese, and (22): Italian
// Studies in language and literature. № 27. University of Tsukuba.

Wackernagel J.

- 1892 (ber ein Gesetz der indogermanischer Wortstellung // Indogermanische
Forschungen. P. 333—436.

Watkins C.

- 1964 Preliminaries to the reconstruction of Indo-European sentence struc-
ture // Proceedings of the 9th International Congress of Linguists.
Hague. P. 1035—1042.

Н. Н. Болдырев

Функционально-семиологический принцип исследования языковых единиц

«Центром... языка является предложение. Исходя из высказывания как центра, исследователь с помощью «челночной процедуры» совершает операции абстрагирования от синтаксиса к семантике, от семантики снова к синтаксису и обратно, пока — в процессе расширяющейся абстракции — не установит, по крайней мере гипотетически, все связи семантики и синтаксиса, т. е. систему в целом»

[Степанов 1981, 9]

В своем развитии любая наука неизбежно сталкивается с необходимостью уточнения и переосмысления основных понятий в результате появления новых данных и разработки новых методов, подходов и направлений исследования. Цель данной статьи — вновь привлечь внимание к семиологическому принципу описания языка и языковых единиц в свете современных разработок в области когнитивных наук в целом и когнитивной лингвистики в частности.

Один из незыблемых постулатов лингвистики гласит, что каждый язык представляет собой не только и не столько статическую систему отражения внешнего мира, его семантическую модель, сколько и прежде всего средство коммуникации, орудие речевой деятельности, что даже системный аспект языка обязательно отражает его функциональный потенциал и признаки его реального функционирования. В наиболее отчетливой форме этот тезис сформулировал Э. Косериу, написав, в частности, что язык относится к явлениям целевого характера, к фактам, которые определяются своей функцией. Следовательно, язык необходимо понимать функционально, «сначала как функцию, а потом как систему... поскольку язык функционирует не потому, что он система, а, наоборот, он является системой, чтобы выполнять свою функцию и соответствовать определенной цели» [Косериу 1963,

156]. Не менее иллюстративным является и высказывание С. Д. Кацнельсона: «Вне функционирования языка не существует и языковой материал» [Кацнельсон 1972, 102]. Практически ни один исследователь не может не учитывать этого в своей работе и вынужден так или иначе решать для себя вопрос о соотношении языка и речи. Поэтому неудивительно, что вся вторая половина XX столетия в лингвистике отмечена постоянным поиском методологического принципа изучения языка и языковых единиц, в наибольшей степени отражающего диалектически сложную природу языка как системы и как деятельности.

Именно в этот период стало очевидно, что формальная лингвистика во многом исчерпала себя, и наметился коренной поворот в сторону изучения содержательного аспекта языка. Немалая заслуга в этом принадлежит генеративной лингвистике, вернувшей языку его утраченный статус «созидающего процесса», деятельности (по В. фон Гумбольдту). Этот поиск осуществлялся в рамках различных направлений и исследовательских подходов в виде функциональных грамматик, функционально-семантических полей, семиологической, денотативной и когнитивной грамматики, в плане изучения роли человеческого фактора в языке, взаимодействия семантики и прагматики, учета национальной специфики конкретных языков.

Этот поиск был характерен и для философов, психологов и лингвистов прошлых столетий. Например, Декарт и другие философы Картезианской школы отмечали новаторский характер языка в смысле его неповторимости: многое из того, что мы произносим в ходе использования языка, является абсолютно новым, а не воспроизведением чего-либо слышанного ранее и даже не является чем-либо подобным по модели тем предложениям и текстам, которые мы слышали в прошлом [Chomsky 1968, 9–21]. В лингвистике эту же мысль развивал В. фон Гумбольдт, подчеркивая, что говорящий использует бесконечным образом конечные средства.

В результате были накоплены достаточные эмпирические данные в разных языках, изучены и осмыслены различные сферы языковой деятельности, даны детальные характеристики разным аспектам языковой системы: структурному, функциональному, когнитивному. Назрела необходимость разработки единого методологического принципа исследования языка как онтологически единого объекта, принципа, объединяющего языковую систему и речевое функционирование.

Представление о двуединой сущности языка было, в частности, положено в основу семиологического принципа его описания, предложенного еще в

начале века Ф. де Соссюром¹ и позже сформулированного Э. Бенвенистом в виде тезиса о двойном означивании языковых единиц [Бенвенист 1974, 87]. В отечественной лингвистике данный принцип получил дальнейшее развитие в работах Ю. С. Степанова [Степанов 1976; 1981; 1985; 1989; 1997; 1998] и других исследователей. На основе семиологического принципа раскрываются общие связи семантики и синтаксиса, условия и механизмы первичного и вторичного означивания языковых единиц, выявляются сложные отношения между «означающим» и «означаемым» словесного знака, проявляющиеся в виде трех принципов структурирования языка — асимметрии, иерархии и метаморфизме.

В отличие от структурного и генеративного подходов семиологический принцип предполагает использование реально наблюдаемых фактов языка, восстанавливает роль наблюдения над конкретными языками во всей противоречивой сложности их проявлений [Степанов 1976, 206]. Слово рассматривается в двух его основных аспектах: как виртуальный словесный знак в системе языка (лексема) и как актуализованный словесный знак в речи (словоупотребление). Основная цель исследования при этом заключается в изучении соотношения двух сторон словесного знака, в определении и описании механизма семантической актуализации, условий и средств семантического варьирования слов в предложении-высказывании, т. е. всех связей семантики и синтаксиса, которые и составляют систему языка в целом.

Разработанная на этой основе Ю. С. Степановым семиологическая грамматика, как справедливо подчеркивает автор, предполагает статический характер семантико-синтаксической системы языка, поскольку всякая система относительно стабильна [Степанов 1981]. Проблема, однако, заключается в том, что в практике лингвистических исследований идея «двойного означивания» языка часто приводит к искусственному разделению единого объекта — языка-речи. Приемы и способы анализа языка иногда получают онтологический статус, т. е. рассматриваются как свойство самого языка. В результате, и об этом пишет В. М. Павлов, — «совершенно оправданная и необходимая в исследовательских целях процедура «поуровневого» анализа объекта, которая требует различения уровней, оборачивается их разделением в теоретическом отображении объекта, претендующем на онтологическую адекватность, вместо того, чтобы завершаться попыткой синтеза его разноуровневых определений» [Павлов 1984, 45]. Расчленяя целое на составные части, мы часто упускаем из виду и специфику целого. К тому же выделение именно этих частей, а не других во многих случаях

¹ О двухплановом модусе существования языка — как комплексе категорий и как беспрерывно повторяющемся процессе — писал также И. А. Бодуэн де Куртенэ [Бодуэн де Куртенэ 1963, 77].

определяется целью исследования или же исходными представлениями о природе изучаемого объекта.

В то же время двойственный характер языка (как системы и как деятельности) подразумевает единство статического и динамического в языке, тем более что и сама система языка как отражение всех связей семантики и синтаксиса устанавливается с помощью «челночной процедуры» абстрагирования от синтаксиса к семантике, от семантики снова к синтаксису и обратно [Степанов 1981, 9]. Следовательно, семиологическая грамматика, как и семиологический подход в целом, также предполагает единство статического и динамического, системного и функционального аспектов изучения языка, на что ориентирует и само определение языка в семиологической грамматике: «Язык вообще можно определить как совокупность категорий и правил» [Степанов 1981, 8].

Из этого следует необходимость дальнейшей разработки и уточнения семиологического принципа именно с функциональной точки зрения, т. е. разработки функционально-семиологического подхода к изучению языковых единиц. Отражая динамическую сторону языка, функционально-семиологический подход должен быть направлен на функциональное (в момент использования языкового знака в высказывании для выражения определенной мысли) изучение семиозиса как процесса формирования значения знака, что отражает и само название данного подхода.

С тем чтобы передать конкретную мысль собеседнику, говорящий должен не просто использовать данное слово как языковой знак в закреплённом за ним значении, но и определённым образом подстроить это значение под выражаемую мысль, т. е. сформировать его функциональное значение (смысл) с помощью конкретных языковых средств: грамматического значения этого слова, лексического и грамматического значений других, сочетающихся с ним, слов, типа синтаксической конструкции и т. п. Иначе говоря, необходим переход «от таксономических классификаций к сущностям иного рода — высказываниям» [Степанов 1981, 17].

В сознании человека за каждым словом всегда закреплёно какое-либо одно (первичное, основное) значение, все остальные значения — это контексты употребления данного слова. Степень устойчивости и регулярности всех других значений слова зависит от степени вероятности и частотности их проявления в определённых контекстах (например: *большая голова* — *в голову ничего не идет* — *светлая голова* — *голова поезда* — *городской голова* — *всему голова* и т. д.). Изучение конкретных механизмов и различных языковых средств, обеспечивающих формирование многообразных функциональных смыслов, в их взаимодействии позволяет в полной мере вскрыть возможности языка как функционирующей системы, как средства обще-

ния. Это, в конечном итоге, и формирует системные знания говорящих, т. е. систему языка.

Разработка семиологического принципа в функциональном аспекте требует уточнения с функциональной точки зрения некоторых ключевых понятий: языка как объекта исследования, категории, языкового значения и других. Рассматривая язык как объект исследования, представляется необходимым принять точку зрения Э. Косериу [1963, 157–161], утверждавшего, что не следует искать выхода из существующей антиномии «язык — речь», пытаясь определить, что является первичным. Эта антиномия действительно имеет место в речевой деятельности, и нет никаких оснований рассматривать один из полюсов в качестве первичного. С этих позиций очевидными являются преимущества именно функционально-ориентированного подхода, позволяющего охватить одновременно и речь и язык, поскольку, как справедливо замечает Э. Косериу [1963, 158], «язык дан в речи, в то время как речь не дана в языке». Иначе говоря, при функционально-семиологическом подходе язык выступает как единый объект — язык-речь, что позволяет учитывать взаимодействие двух его аспектов: статического и динамического, системного и функционального (деятельностного). Очевидно, что в обыденном сознании носителей языка эти два аспекта практически неразделимы. Слово «язык» для всех говорящих означает не только знание языковых единиц, но и владение определенными навыками их использования, например: знать английский, французский или немецкий языки.

Учитывая тот факт, что язык — это прежде всего комплекс категорий, поиск адекватного методологического принципа, вероятно, также необходимо связывать с самим определением языковых категорий и принципов их формирования. В настоящее время известно несколько точек зрения на природу категорий. Одна из них — аристотелевская — считается традиционной. Согласно этой точке зрения, каждая категория определяется жестким набором характерных признаков, и каждый элемент данной категории в обязательном порядке должен обнаруживать тот же набор признаков. В результате изучение реальных фактов использования языковых единиц сводится в основном к определению границ варьирования их системных значений, а наличие многих переходных явлений приписывается специфике функционального уровня и, как правило, остается за рамками таких исследований. В то же время именно переходные и ненормативные (в рамках существующих правил) явления, как представляется, и позволяют судить о реальной системности языка, заложенных в нем механизмах передачи практически неограниченного количества смыслов.

С этих позиций действительным открытием стала разработка прототипического принципа формирования категорий в рамках когнитивной науки.

В соответствии с данным принципом (см. работы Э. Рош, Дж. Лакоффа и др.) категории формируются вокруг своих «лучших образцов» — прототипов — и имеют нечеткие, размытые границы. Категориальная принадлежность элементов определяется их сходством (а не тождественностью) с прототипом, т. е. наличием у них некоторого числа (не обязательно всех, как при классической трактовке) прототипических характеристик. Градация прототипических характеристик по их общему количеству и значимости для данной категории обуславливает градацию (степень типичности) элементов категории, которые могут образовывать непрерывный континуум. Прототипические элементы категорий обладают наибольшим количеством характеристик, общих с другими членами данной категории, и наименьшим количеством признаков, характерных для членов других категорий. Соответственно прототипы одних категорий максимально отличаются от прототипов других категорий. Непрототипические (или промежуточные между категориями) элементы имеют лишь некоторое число характеристик, общих с другими элементами данной категории, и обнаруживают целый ряд признаков, свойственных и другим категориям.

Внутренняя структура категории, в соответствии с прототипическим подходом, определяется не жестким списком обязательных, наиболее существенных признаков (как этого требовал классический подход), а разнообразием характеристик, организованных по принципу «семейного сходства», из которых наиболее значимыми оказываются те, что свойственны прототипу и являются общими для всех членов данной категории. Например, для категории птиц это: 1) откладывание яиц, наличие 2) клюва, 3) двух крыльев и двух ног и 4) наличие оперения. Категориальная принадлежность не совсем типичных и нетипичных элементов и их место в структуре категории определяются также признаками, которые являются общими не только с прототипом, но и с другими, непрототипическими членами категории. В частности, то, что страус однозначно относится к категории птиц и занимает в ней периферийное положение, обусловлено не только тем, что он обнаруживает определенные черты сходства и отличия с прототипом: откладывает яйца, имеет два крыла, две ноги и оперение, но не умеет летать, петть и т. д., — но также и тем, что у него длинная шея и большие крылья, как у лебедя и цапли, красивое оперение, как у павлина, и т. д., т. е. признаками «семейного сходства» (примечательно, что в словарях часто фиксируются именно эти, отличные от прототипа, признаки).

Анализ языкового материала показывает, что эти же принципы применимы и в отношении языковых категорий. Так, например, категория глагола как части речи может быть представлена в качестве единой гиперкатегории с общим значением событийности. Прототипическое ядро этой катего-

рии образуют акциональные глаголы, т. е. глаголы, выражающие действие (вспомним классическое определение, что глагол как часть речи выражает действие), поскольку они реализуют наибольшее количество событийных (в отличие от предметных) прототипических признаков: актантных, аспектуальных, темпоральных, модальных. На периферии данной категории с той или иной степенью удаленности от прототипического ядра располагаются различные типы неакциональных глаголов, выражающих значение процессуальности, свойства, статальности или релятивности в зависимости от числа и характера реализуемых прототипических признаков.

Этот же принцип лежит в основе формирования категориального значения глагола в предложении-высказывании, т. е. в основе его функциональной категоризации. Акциональная или неакциональная категоризация глагола в предложении-высказывании также обусловлена реализацией определенных прототипических признаков. В частности, анализ фактического материала показывает, что градация категориальных значений глагола связана в основном с градацией прототипических признаков активности субъекта и результативного воздействия на объект, отражающих степень реального взаимодействия субъекта и объекта. Это взаимодействие может быть представлено в языке как имеющее конкретно-референтный (результативное воздействие на объект, акциональная категоризация глагола: *Он красит дом; He is painting the house*) или условно-грамматический (отсутствие реального взаимодействия между субъектом и объектом, неакциональная категоризация глагола: *Он красит дома; He paints houses*) характер. Существенную роль в формировании акционального значения глагола играют также признаки волитивности и контролируемости [подробнее см.: Болдырев 1995]. При этом для выражения того или иного категориального значения не обязательно используются глаголы соответствующего класса, и, наоборот, тот или иной глагол не всегда реализует свое исходное (системное) категориальное значение. Например, акциональные глаголы могут быть использованы для выражения значения процессуальности (*Играла музыка; Music was playing*), свойства (*Он разрушает все, чего касается; He destroys everything he touches*), статальности (*Предложение звучит привлекательно; The offer sounds good*) или отношения (*Подснежники объявили приход весны; Snowdrops announced the arrival of spring*). Напротив, неакциональные глаголы довольно часто употребляются для передачи акциональных смыслов: *Все, что я могу сделать, это быть там в 5 часов; Он извинился за то, что не узнал ее; Он жил так, как ему хотелось; All I can do is be there at 5 o'clock; He apologized for not having known her; He lived his life exactly as he wanted to live it* и т. д.

Соответственно «челночная процедура» взаимодействия семантики и синтаксиса не сводится к простому воспроизведению системного значения слова, т. е. к вариантно-инвариантным отношениям между системным значением слова и его функциональным осмыслением. Она базируется на трех основных принципах: 1) актуализации системного значения знака в предложении-высказывании, 2) перекатегоризации (переосмыслении) и 3) поликатегоризации. Актуализация, включая различные модификации, основана на вариантно-инвариантном принципе функциональной реализации прототипических характеристик системного значения слова. Последнее при этом выступает в качестве смыслового инварианта. Перекатегоризация связана с функциональной реализацией (или метафоризацией) прототипических признаков других категорий и, как следствие, функциональным (метафорическим) соотношением слов с другим лексико-грамматическим классом (*Она пришла* — *Посылка пришла*; *She arrived* — *The letter arrived*). Поликатегоризация предполагает одновременную (синкретичную) реализацию прототипических признаков разных категорий (*Он поспешил в свою комнату* — *Он пошел в свою комнату* + *Он спешил*; *He hurried into his room*).

Возможность реализации одним и тем же глаголом прототипических признаков разных категорий обуславливает многообразие способов структурирования смысла, т. е. лабильность всей системы языковой категоризации, и соответственно — нежесткий характер языковой таксономии, связанный с высокой степенью динамичности категориальных значений языковых единиц. Это означает, что в рамках функционально-семиологического подхода значение слова должно пониматься не как статическая единица, а как динамическая структура, отражающая функциональное соотношение предмета мысли с той или иной концептуальной категорией [см.: Болдырев 1994, 68–71]. Психологической основой такой интерпретации служит разработанная Л. С. Выготским теория речемыслительной деятельности «как живого процесса рождения мысли в слове» [Выготский 1982, 360]. В качестве логического обоснования могут служить идеи Г. Фреге и Б. Рассела о значении слова как его употреблении [Frege 1974; Russel 1956].

Процессуальная интерпретация категориального значения слова, необходимая для функционально-семиологического изучения языковых единиц, становится возможной и в свете современных лингвистических представлений о номинации как неотъемлемой части, элементе и статическом результате речемыслительной (синтагматической) деятельности, о взаимном отражении семантики и синтаксиса, порождающем как лексические, так и грамматические знаки и значения, и о предикации как базовой смыслообразующей структуре речемыслительной деятельности [см.: Кубрякова 1984; 1997 и др.]. В контексте данных представлений процессы обо-

значения и категоризации рассматриваются как однопорядковые явления, представляющие собой элементарную предикацию (А есть В). Как базовая структура речемыслительной деятельности предикация (категоризация) порождает основные категориальные формы определения действительности: и сами понятия, и суждения, раскрывающие содержание этих понятий. Тем самым предикация (категоризация) выступает как базовая смыслообразующая структура и составляет пропозициональное (субъектно-предикатное) смысловое ядро и слова, и предложения.

В заключение сущность функционально-семиологического подхода к изучению языковых единиц и его исходные установки можно сформулировать в виде следующих основных положений, которые, по существу, являются дальнейшим развитием некоторых положений семиологической грамматики, разработанной Ю. С. Степановым:

- Объектом конкретных лингвистических исследований является «язык-речь», представляющий собой онтологически единый объект, который обладает структурной и функциональной целостностью, что обязательно должно учитываться при выделении и изучении отдельных аспектов, единиц или уровней данного объекта.
- Значение слова едино, это обычно то значение, которое принято называть главным. Оно репрезентирует в системе языка и активизирует в речи соответствующий концепт, на базе которого формируются различные функциональные смыслы, существующие только в рамках определенных контекстов. При этом каждый функциональный смысл уникален по своему содержанию и формируется как бы заново, а не воспроизводится в готовом виде. Соответственно системные знания языка включают знание главных значений и принципов и механизмов формирования функциональных смыслов.
- Значение слова отражает его лексическую и грамматическую категоризацию в системе языка и рассматривается не как статическая единица, а как динамическая структура, способная к порождению различных смыслов. Функциональное осмысление слова (его функциональный смысл) связано с функциональной категоризацией этого слова, в основе которой лежит взаимодействие системного значения слова и его функционального осмысления.
- Процесс взаимодействия системного значения слова и его функционального осмысления базируется на трех основных принципах: актуализация, перекатегоризация, поликатегоризация, частной разновид-

ностью которых могут выступать модификация, импликация, грамматизация и т. д.

- Реализация того или иного принципа обеспечивается действием различных языковых факторов (механизмов) лексического и грамматического характера: лексического и грамматического значений слова, его позиции в высказывании, структуры самого высказывания, ближайшего лингвистического контекста в виде лексических и грамматических значений связанных с этим словом других элементов предложения. Тем самым функциональная категоризация — это многофакторный процесс, в рамках которого обеспечивается взаимодействие лексики и грамматики, лексической и грамматической категоризации, взаимодействие семантики и синтаксиса.
- Смысл высказывания представляет собой результат взаимодействия всех элементов высказывания в рамках его конкретной грамматической структуры, т. е. его формирование носит интегративный характер (этим обусловлена и многофакторность функциональной категоризации слова). При этом за единицу высказывания принимается предложение (как структурная схема, пропозиция), выделяемое в составе текста или дискурса, т. е. предложение-высказывание как самостоятельная лингвистическая единица функционального уровня, принадлежащая одновременно языку (как функционирующей системе) и речи (тексту).
- Языковые категории, как и другие концептуальные категории, обнаруживают прототипический принцип организации. Когнитивный механизм функциональной категоризации слова заключается в реализации концептуальных характеристик соответствующей категории, т. е. ее прототипических характеристик.

Литература

Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., Прогресс, 1974.

Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию. Т. 1. М., изд-во АН СССР, 1963.

Болдырев Н. Н. Категориальное значение глагола: Системный и функциональный аспекты. СПб., изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 1994.

- Болдырев Н. Н.* Функциональная категоризация английского глагола. СПб. — Тамбов, изд-во РГПУ им. А. И. Герцена и ТГУ им. Г. Р. Державина, 1995.
- Выготский Л. С.* Собрание сочинений: В 6-ти томах. Т. 2. М., Педагогика, 1982.
- Кацнельсон С. Д.* Типология языка и речевое мышление. Л., Наука, 1972.
- Косериу Э.* Синхрония, диахрония и история // Новое в лингвистике. Вып. III. М., Прогресс, 1963.
- Кубрякова Е. С.* О номинативном компоненте речевой деятельности // «Вопросы языкознания», 1984, № 4.
- Кубрякова Е. С.* Части речи с когнитивной точки зрения. М., изд-во Ин-та языкознания РАН, 1997.
- Павлов В. М.* Темпоральные и аспектуальные признаки в семантике «временных форм» немецкого глагола и некоторые вопросы теории грамматического значения // Теория грамматического значения и аспектологические исследования. Л., Наука, 1984.
- Степанов Ю. С.* Общая характеристика семиологического принципа // Принципы описания языков мира. М., Наука, 1976.
- Степанов Ю. С.* Имена, предикаты, предложения: Семиологическая грамматика. М., Наука, 1981.
- Степанов Ю. С.* В трехмерном пространстве языка: Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства. М., Наука, 1985.
- Степанов Ю. С.* Индоевропейское предложение. М., Наука, 1989.
- Степанов Ю. С.* Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М., Языки русской культуры, 1997.
- Степанов Ю. С.* Язык и Метод. К современной философии языка. М., Языки русской культуры, 1998.
- Chomsky N.* Language and Mind. N.Y.: Harcourt, Brace and World, 1968.
- Frege G.* On Sense and Reference // Logic and Philosophy for Linguists. The Hague-Paris: Mouton, 1974.
- Russell B.* Logic and Knowledge. N.Y.: MacMillan, 1956.

Септуагинта в дискурсивной парадигме описания языка

Дискурсивная модель описания языка стала возможной после констатации принципа, звучавшего вполне революционно еще четверть века назад: *чтобы осуществить адекватное описание лингвистической структуры и ее элементов, необходимо выйти за пределы предложения (sentence), которое традиционно (со времен стоиков и до видных представителей лингвистики XX века, включая де Соссюра, Блумфилда и Хомского¹) понималось как самостоятельное обособленное речевое единство²*. За границами предложения, преодоленными новым методом, простирается контекст, текст и — еще шире — дискурс, или коммуникативная ситуация. Последняя, отчасти вопреки определениям, ориентированным на устный диалог³ или на погруженность в непосредственно воспринимаемую действительность⁴, может, по нашему мнению, рассматриваться как *любое использование языка говорящим (пишущим) для адекватного (т. е. нужного автору текста) восприятия слушающим (читающим)*; так, в коммуникативную ситуацию попадает любой субъект речевой деятельности, рассчитывающий на *адекватное восприятие* своего речевого акта, независимо от формы реализации коммуникации, устной или письменной, при этом любой создатель текста находится

¹ Напр., Bloomfield, L. *Language*, NY, 1933, p. 170; Chomsky, N. *Aspects of the Theory of Syntax*, Mass., 1965, p. 8.

² Longacre, R. Why We Need a Vertical Revolution in Linguistics, *The Fifth Locus Forum*, Columbia, 1978, p. 247–270. В действительности наиболее определенно обозначенной отправной точкой «революции», по-видимому, следует считать работу — Weinrich, H. *Tempus: Besprochene und erzählte Welt*. Stuttgart: Kohlhammer, 1964, автор которой рассматривает текст в качестве ключевого понятия при описании лингвистических феноменов, прежде всего, глагольного времени; при этом в качестве предшественников им указаны Pike, Pickett, Loos. Кроме того, в поисках истоков нельзя не упомянуть работы Бенвениста, Харриса, Греймаса и др., отодвигающие временные рамки к 50-м годам.

³ Ср. Levinson, S. *Pragmatics*, Cambridge 1980.

⁴ Ср. Арутюнова Н. Д. Дискурс, ЛЭС, 1990, с. 137.

(или находился) в определенных условиях и предполагает (предполагал) актуализацию своего текста в определенных условиях⁵.

Составляющие *коммуникативной ситуации*, способные при надлежащем описании быть ее характеристиками, — это 1) *фреймы* (общие знания о мире и о данной его части, напр. фрейм поездки в метро, фрейм газеты или художественной литературы и т. д.), 2) *факты и данные*, непосредственно связанные с моментом акта коммуникации (расстановка 1—2—3 лиц в акте коммуникации, присутствие в поле зрения коммуникантов неких объектов, других людей, предшествующие коммуникативные акты; предшествующая часть письменного текста, предисловие к роману, знание структуры данного сборника текстов и др.), 3) *модели речевой деятельности* на макро- и микроуровнях текста, актуальные для данной ситуации или ее момента (этот пункт составляют разнообразные формы устной и письменной речи, которые приняты и подходят для тех или иных ситуаций построения текстов, в том числе жанровые композиционные особенности, способы выражения вовлеченности 1—2—3-го лиц, т. н. «выбор слов», текстовые координаторы, также все то, что обыкновенно определяется как *парадигматика* языка, например употребления падежей, предлогов, глагольных форм в соответствующих ситуациях текста, и многое другое, составляющее для носителя языка арсенал *нетеоретизированных речевых формул, или моделей*⁶), 4) *лингвистические* характеристики коммуникативного акта (темп речи, интонация, жесты и др.; неразборчивый почерк, качество печати, дефекты носителя текста, рукописная традиция текста и разнообразные текстологические проблемы и др.)⁷. Кроме того, в каждый из этих пунктов необходимо ввести еще и переменную *индивидуальности*, т. е. 5) фактор *личных особенностей* в восприятии и использовании элементов коммуникативной ситуации, или фактор *дектики*, в концепции Ю. С. Степанова⁸.

Дискурсивная модель описания, основанная на понятии коммуникативной ситуации (дискурса), с очевидностью предполагает *иное понимание синтаксиса*. В самом деле, если лингвистическая теория выходит из границ

⁵ Кроме того, поскольку любой коммуникативный акт (в том числе написание художественного или делового текста) реализуется как *линейная* последовательность, делящаяся во времени, в целях теоретизации элементов словесного текста, на наш взгляд, необходимо ввести понятие *момента* коммуникативной ситуации, соответствующего в структуре текста данному, подвергаемому анализу и описанию, лингвистическому феномену.

⁶ В настоящей статье термин «модели» (мн. ч.) относится к конкретным, «предметным», элементам языка, в то время как «модель» (ед. ч.) имеет в виду саму концепцию описания языка.

⁷ Cp. van Dijk, T. A. *Studies in the Pragmatics of Discourse*. Ch. 9: Context and Cognition: Knowledge Frames and Speech Act Comprehension. The Hague, 1981, p. 218.

⁸ Степанов Ю. С. *Язык и метод*. М., 1998, с. 378.

предложения и констатирует, что интегрирующий, «связывающий» принцип, необходимый для адекватного описания, есть *коммуникативная ситуация* с ее фреймами, актуальными особенностями, моделями, паралингвистическими факторами и дектикой, то прежний синтаксис как связь слов в предложении (в крайнем случае связь нескольких простых предложений между собой) — связь, описываемая в традиционной теории синтаксиса по внутри-фразовым отношениям, лишь иногда с некоторыми элементами сверх-фразовости в целях грамматикализации все того же отдельного предложения⁹, — превращается в другой синтаксис, понимаемый как *интегрированность элементов текста в коммуникативную ситуацию*, или *интегрирование элементов текста коммуникативной ситуацией*¹⁰. Таким образом, любой элемент текста, в том числе значение отдельной лексемы, определяется позицией в дискурсивном (прагматическом, или дектическом) синтаксисе.

Такое определение синтаксиса, в свою очередь, предполагает следующую констатацию: *словесный текст есть предикат коммуникативной ситуации*, т. е. текст содержится в ситуации как в своем «субъекте» и актуализуется (оказывается уместным и необходимым, достигая цели произнесения/написания) только в непосредственной связи с соответствующей коммуникативной ситуацией¹¹; каждый элемент текста, в свою очередь, актуализуется как *момент* данной коммуникативной ситуации, фиксированный в линейной и временной последовательности словесного текста; практически это выражается в том, что автор текста в любой момент текстовой последовательности, т. е. на микроуровне, исполняет перманентный императив избирать и затем встраивать элементы текста в реализуемую текстовую структуру, и, таким образом, изначально идентифицированная — и посто-

⁹ Ср., напр., понятие *пресуппозиции*, в котором имплицитно содержится признание того, что данное объясняемое предложение составляет единственный интересующий теорию предмет анализа (другими словами, то, что на самом деле интегрирует данное предложение и задает его параметры на всех уровнях, становится всего лишь вспомогательным средством для «спасения» целостности и законченности предложения).

¹⁰ Вероятно, здесь следует говорить об оппозиции — *прагматический синтаксис vs грамматический синтаксис*, с признанием сугубо вспомогательного, условного статуса последнего. Ср. Степанов Ю. С. *Методы и принципы современной лингвистики*. М., 1975, 2001, с. 31–32. Возможно, такое определение синтаксической системы составляет альтернативу другому — также синтаксическому — определению структуры языка, постулированному Хомским.

¹¹ Ср. суждение, высказанное А. А. Потемной о басне как о постоянном предикате при меняющихся субъектах (т. е. данных ситуациях), см. Потемня, А. А. *Из записок по теории словесности*, Харьков, 1905, с. 310–311 (в статье — *Stepanov, J. S. Les relations inter- et intra-predicatives sont-elles sémantiquement identiques?* в сб: *Les relations inter- et intra-predicatives*, Lausanne 1993, p. 271).

жно, в любой момент, идентифицируемая автором текста — макроситуация задает параметры каждого элемента текста (таким образом, словесный акт теоретически моделируется не в статике, а в динамике, не как сложившаяся система, а как процесс порождения системы — как и любой реальный текст производится и воспринимается не в статике, а в линейной и временной динамике).

Данный теоретический вектор, по-видимому, намечает некоторые изменения в сложившейся системе отношений лингвистических категорий и уровней. Из положений, актуальных для ситуации Септуагинты, нужно отметить следующие три: 1. Если любая речевая деятельность есть предикация соответствующей ей коммуникативной ситуации, то любой словесный текст уже не является самодостаточным объектом лингвистического описания, «объектом в себе и для себя». Его описание как «предиката ситуации» становится невозможным без теоретизации роли «субъекта», самой коммуникативной ситуации с ее характеристиками¹². По сути, речь идет о том, чтобы теоретически заметить нечто необсуждаемое, данное всем участникам коммуникации в опыте, незамечаемое по причине полнейшей очевидности, т. е. теоретизировать *подлежащее* текстовой предикации (скорее даже, *предлежащее* предикации), и признать за ним первенство в процессе порождения любого текста (в ситуации с древним текстом именно это некогда очевидное «подлежащее» перестало быть столь же очевидным для современного реципиента; от некогда целостной «пропозиции» зачастую имеется в наличии только «предикат»). Таким образом, акцент с описания лингвистической структуры как самостоятельного, организованного в себе логико-математического объекта переносится на *описание самого принципа порождения* этой зависимой, организованной не самой в себе, дискурсивно упорядоченной субъективной структуры¹³, принципа, без которого немислимо найти объяснения связей элементов структуры между собой. Другими словами, если объяснение лингвистического феномена (функтнва) есть констатация параметров соответствующей функции, то функтором выступает сама коммуникативная ситуация с ее нелогическим и нематематическим характером (так, например, понятие дектики как одного из свойств ситуации само по себе содержит отрицание логико-математического стандартизированного процесса порождения текста, поскольку сама дектика конституируется ролью субъекта речи, т. е. непредсказуемым «говорящим в себе»). 2. Затем, если текст есть предикат ситуации, то по самому факту наличия данного тек-

¹² Нужно признать, что практическая работа по истолкованию текста всегда осуществлялась в направлении «от большей структуры», однако эта работа приносила и приносит плоды, скорее, *вопреки*, а не *благодаря* теории.

¹³ Ср. Степанов Ю. С. В мире семиотики, в сб.: Семиотика, М., 1983 (2-е изд. 2001), с. 19.

ста можно констатировать его *актуальность*, уместность и необходимость в соответствующей (возможно, не вполне известной) коммуникативной ситуации — в противном случае, т. е. не будучи актуальным, текст просто не имел бы причин быть порожденным автором. При этом текст актуализуется (или некогда был актуализован) не благодаря тем или иным речевым моделям, реализованным в данной словесной последовательности (последние, нужно признать, всегда являются для исследователя непосредственным материалом, зачастую увлекающим своей «очевидностью» и оставляющим исследование на стадии дизъюнкции), а *благодаря самой коммуникативной ситуации*, предполагающей (предполагавшей) использование тех или иных моделей, которые входят в структуру ситуации как подчиненный элемент, не определяя ее, а, наоборот, подчиняясь ее требованиям. Так, например, актуальность, констатируемая по самому факту текста, делает излишними рассуждения о мере нормативности текста (которая обыкновенно устанавливается на основании анализа использованных в тексте языковых моделей); здесь, как видно, вместо схематичного, изъятото из реальной ситуации и оттого вполне произвольного постулирования нормы/не-нормы дискурсивный метод предлагает определить *соответствующие параметры* данной коммуникативной ситуации, *которые* в данном актуальном тексте *обуславливают и предполагают* (т. е. заставляют автора текста избирать из всех как заведомо «правильные» и «приемлемые») *именно такие языковые модели*. Другими словами, «презумпция» актуальности текста, по существу, вводит *синтезирующий* принцип лингвистического описания, корректирующий результаты неизбежной аналитической работы над иноязычным (тем более древним) текстом. 3. И, наконец, если значения элементов текста не определяют лингвистическую систему, а определяются самой системой, понятие о которой возводится на другой уровень лингвистической абстракции, более высокий, чем тот, что соответствует предметному компоненту словесного текста, — т. е. определяются коммуникативной ситуацией, — то по отдельным элементам, произвольно выделяемым в структуре текста, уже нельзя судить о содержании более высоких уровней и, в конечном счете, всей системы. Наоборот, значения элементов не могут быть констатированы вне той лингвистической системы, в которую они интегрированы. И, таким образом, без первоначального воссоздания базовых параметров системы, полагающихся, по-видному, в сфере коммуникативной ситуации и прагматического синтаксиса, невозможно адекватно понимать значения отдельных элементов. Другими словами, «наивный лингвистический эмпиризм», часто наследуемый — и часто неосознанно — от уже отвергнутых парадигм описания языка

и выражаемый в формуле «find, filter, focus, follow facts»¹⁴, ведет к тому, что в лингвистический материал, «прочитываемый» бессистемным теоретическим зрением и размеченный по традиционному эмпирическому шаблону, «вчитываются» все свойства зрения и шаблона. Хомский в этой ситуации, т. е. прежде всякой лингвистической работы над языком или неким его элементом, выдвигал требование иметь ясную теорию языка, синтаксическую по своей природе. Как видно, дискурсивная модель предлагает для воссоздания общей системы языка также синтаксическую модель, с несколько иным направлением теоретического вектора. Именно эта *дискурсивно синтаксическая целостность*, определяемая понятием коммуникативной ситуации (с соответствующими характеристиками), оказывается необходимой для адекватного понимания значения частей, а не наоборот.

Септуагинта (далее — LXX) как лингвистический материал дает интересный пример реализации дискурсивной модели описания и одновременно тех проблем, с которыми неизбежно сталкиваются недискурсивные концепции. Феномен языка первого греческого «перевода» древнееврейской Торы составляет предмет дискуссий по сей день¹⁵. Во избежание излишне детализированной картины теоретическую ситуацию можно обобщить посредством всего двух наиболее значимых концептов. Первый — это понятие *гебраизма*, которое неизбежно возникает во всех суждениях о характере языка LXX. Второе — понятие о некой *греческой аутентичности*, «правильности» языка, на фоне которой и осознается гебраизм как отступление от аутентичной нормы. По существу, проблема языка LXX состоит в том, чтобы наиболее адекватно истолковать отношения между этими концептами в проекции на общую грекоязычную лингвистическую ситуацию.

Наибольшим весом обладает концепция А. Дайссманна и его многочисленных последователей, которые утверждают, что язык LXX представляет собой *регулярное греческое койнэ*, на котором говорили в то время в Египте; одновременно представители этой школы признают, что в тексте присутствуют *гебраизмы* и что в целом язык имеет *характер переводного греческого*¹⁶.

Нужно признать, что, согласно такому определению, язык LXX не констатируется как целостность, как некий единый в себе объект лингвистического исследования (получается, что языка LXX как единой системы про-

¹⁴ Longacre, R. Why We Need a Vertical Revolution in Linguistics, *The Fifth Lacus Forum*, Columbia, 1978, p. 247.

¹⁵ См. Olofsson, S. *The LXX Version. A Guide to the Translation Technique of the Septuagint*. Stockholm, 1990.

¹⁶ Silva, M. Bilingualism and the Character of Palestinian Greek, *Biblica* 61 (1980), p. 200.

сто нет; вместо этого имеет место постоянно нарушаемый «расстроенный» строй койнэ, возникший в результате пословного перевода; описание такого языка с очевидностью мыслится как всецело аналитическая работа по установлению признаков различных «норм» в рамках единого текста без ответа на вопрос, как устанавливаемые разнородные элементы образуют единство). Также нельзя не признать, что на уровне самой логической конструкции схемы содержится неустраненное противоречие — с одной стороны, констатируется факт *регулярности* языка LXX («normal Koine Greek»), с другой стороны, признается факт *гебраизмов* и *переводного греческого* (т. е. заведомых *нарушений регулярности*). Таким образом, сама формулировка, скорее похожа на *констатацию противоречия*, непреодоленной теоретической априории, чем на целостное непротиворечивое суждение о языке LXX.

Здесь вполне уместны вопросы, заставляющие еще более усомниться в и без того не столь убедительной попытке объяснения.

Почему переводчики LXX не стали переводить древнееврейский текст на всецело нормативный греческий язык? Здесь инициированная Дайссманом схема предполагает две возможности: переводчики попросту не владели литературной нормой греческого языка¹⁷, или такова была традиция перевода текстов подобного рода¹⁸. Первому объяснению противоречит тот факт, что различные представители иудейской диаспоры засвидетельствовали способность писать по-гречески безупречно, т. е. создавать сочинения на литературном греческом языке, строй которого невозможно упрекнуть в отступлениях от классической нормы¹⁹. Соответственно, неквалифицированная работа (тем более при переводе на греческий язык Книги Книг для иудейской общины) — объяснение невероятное. Вторая возможность рассматривает работу по переводу как целенаправленные усилия в русле определенной традиции, т. е. предполагает осознанность методов и адекватность результатов. В таком случае получается, что переводчики *осознанно* создавали целевой текст со столь многочисленными нарушениями, которые неизбежно должны были квалифицироваться как таковые *аудиторией*, для которой и создавался перевод. Таким образом, получается, что сама *традиция* перевода требовала создания *неправильного* (= нетрадиционно-го) текста, что само по себе невероятно. Вопрос, таким образом, остается без ответа.

¹⁷ E. g., Rabin, Ch. The Translation Process and the Character of the Septuagint, *Textus* 6 (1968), p. 21.

¹⁸ Cf. Jellicoe, S. The Septuagint and Modern Study, Oxford 1968, p. 284; Brock, S. P. The Phenomenon of Biblical Translation in Antiquity, *Alta* 2: 8 (1969), 70 ff.

¹⁹ Cf. Sweete, H.B. An Introduction to the OT in Greek, Cambridge 1900, p. 300; Dorival, G., Harl, M., Munnich, O. *La Bible Greque des Septante*. P., 1988, p. 230.

Затем, как объяснить, что сами субъекты лингвистической ситуации (например, Аристобул и Филон Александрийский, писавшие по-гречески без каких-либо признаков гебраизмов) воспринимали текст LXX как боговдохновенный и, соответственно, правильный и толковали его как священный, явно не видя в нем того, что с уверенностью констатирует концепция Дайссманна? Здесь, по-видимому, следует подозревать, что сами субъекты лингвистической ситуации — т.е. замкнутая в себе религиозная община грекоговорящих иудеев, за пределы которой не выходил текст LXX и которая использовала его в качестве литургического на субботних чтениях Закона, — имели *иные* критерии для его оценки и вряд ли согласились бы с мнением позднейших исследователей. Не повод ли это пересмотреть сами критерии «нормативности» и не следует ли признать, что искомая «норма» устанавливается, скорее, субъектами лингвистической ситуации, чем позднейшим наложением на материал вполне произвольных, изъятых из ситуации внешних критериев?

Характерно, что Дайссманн оставил теоретическую часть своей концепции в такой форме и не предпринял последующих шагов к устранению противоречий, — *характерно* метода лингвистической работы и самой модели описания языка, которую явно или подспудно реализовал ученый и его школа. Материал, как видно, оставлен на стадии первых результатов исследования, которые не дают возможности представить, как констатируемые элементы превращаются в функциональное единство. Другими словами, в рассматриваемом явлении посредством произведенного анализа не воссоздается некая «одушевляющая связь», которая только и может претендовать на объяснительность и должна составлять цель исследования — цель, которая в концепции Дайссманна просто не ставилась и потому не была достигнута.

Итак, можно ли принять такую концепцию языка LXX? Другими словами, следует ли констатировать противоречие и странность на уровне самого лингвистического материала (т.е. считать язык LXX набором разнородных элементов, вне принципов единства, и на этом остановиться), или признать несовершенство инструментария и метода, при использовании которых получаются не вполне удовлетворительные результаты?

Вторая возможность, кажущаяся более вероятной, сразу обязывает к ответу на вопрос: *что* для Дайссманна и его последователей *конституирует* язык? По всей видимости, нечто такое, для чего формулировка его концепции представляется правдоподобным объяснением. И здесь с очевидностью нужно прежде всего указать на *языковые модели*, констатированные Дайссманном в рамках единого текста LXX и признанные им разнородными, одни — правильно, другие — неправильно греческими (при этом речь идет

о конструкциях, выделяемых на микросинтаксическом уровне²⁰). Именно языковые модели («выражения»), выделяемые в тексте, определяют, по Дайссманну, язык LXX, поскольку именно они с очевидностью составляют анализируемый текст. Указать на эти модели — значит объяснить феномен языка LXX, что и предпринято со всей возможной скрупулезностью в русле данного направления.

Кроме того, очевидной составляющей текста являются греческие *лексем*ы. Как видно, наравне с «выражениями» они также конституируют для Дайссманна язык LXX. Чтобы ощутить правомерность этой констатации, можно сослаться на один из главных вопросов септуагинтоведения, инициированных в разбираемой концепции: «какое значение имеет та или иная лексема в тексте LXX?» При этом сам Дайссманн, очевидно, имел в виду, что содержание текста возникает из сложенных в последовательность *значений отдельных лексем*, поскольку, рассуждая о том, как следует переводить текст LXX, он рекомендует ориентироваться на *норму греческого койнэ*, т. е., очевидно, на те семантические значения, которые имеют *отдельные лексем*ы LXX в аутентичном греческом словаре²¹ (если бы подразумевался какой-то иной уровень, например грамматического синтаксиса, то вопрос о переводе не решался бы столь просто — тотчас возникал бы другой — о том, как следует переводить с нормативного койнэ то, что выражено с точки зрения койнэ *синтаксически неправильно*, т. е. как адекватно передать в переводе *синтаксические нарушения* в языке источника; если же придерживаться позиции «суммирования лексем» — что и делает Дайссманн, — то каждая из них благодаря своему греческому облику неизбежно приобретает какое-то греческое значение, и текст «переводится» действительно просто — как набор изолированных вокабул словаря греческого койнэ).

Таким образом, нужно признать, что в целом язык для Дайссманна конституирован по преимуществу и почти исключительно предметным элементом, т. е. самым словесным текстом, непосредственно «данным в ощущении», который организован сам в себе и лингвистический анализ которого заключается в констатации составляющих элементов. Вольно или невольно при таком несинтезирующем подходе реализуется описательная модель «от слова к тексту», с использованием единственно известных (а потому не обсуждаемых) лингвистических методов и категорий, которые благодаря своей «точности» и «очевидности» получают право создавать теоретическую картину ситуации. Действительно, если в тексте со всей определенностью

²⁰ Cp. Maloney, E. C. *Semitic Interference in Marcan Syntax*, Michigan, 1981, p. 7.

²¹ Deissmann, A. *The Philology of the Greek Bible*, London 1908, pp. 89–91. Эта рекомендация реализована, например, в переводе LXX на французский язык; о принципах этой работы см. Dorival, G., Harl, M., Munnich, O. *La Bible Greque des Septante P.*, 1988.

присутствуют греческие лексемы, а также чужеродные греческому языку выражения и если сам перевод был сделан для грекоговорящих иудеев (а их разговорным языком было койнэ), то — ничего не поделаешь — следует констатировать факт *регулярного койнэ*, с отступлениями в сторону *нерегулярности* (или, наоборот, *нерегулярного койнэ с островками регулярности*). Как видно, Дайссманн и его школа следуют недискурсивной модели описания языка и не задаются целью найти вне самого текста то, что и придает LXX как лингвистическому феномену целостность, — *коммуникативную ситуацию*, для которой текст LXX является предикатом и, соответственно, в которой он органично содержится, т. е. актуализуется и «нормализуется».

Для дискурсивной парадигмы описания имеет значение уже упомянутый простой факт, позволяющий обрести ясно обозначенную точку отсчета в рассуждениях о лингвистической природе LXX: *синтаксические элементы греческого текста точно повторяют последовательность синтаксических элементов древнееврейского источника*, лексемы греческого текста поставлены на тех же местах, что и лексемы древнееврейского текста, в огромном большинстве случаев в соотношении «одна к одной». Данная констатация с необходимостью обязывает признать: в результате такого способа передачи древнееврейского оригинала *на целевом языке, т. е. на греческом, не мог получиться аутентичный текст* (ср. «семитизмы» и «персводной греческий» в концепции Дайссманна). Так, например, огромное большинство древнееврейских предложений в нарративных структурах начинается с элемента Waw, затем следует глагольная форма и затем подлежащее; такой порядок возможен в отдельно взятом греческом предложении, но совершенно невозможно представить, чтобы такая схема использовалась в аутентичном греческом тексте на протяжении *всей текстовой* последовательности, в *каждом* предложении, с поразительной для греческого слуха монотонностью; в нарративных структурах для реализации континуума на линии повествования древнееврейский текст имеет всего один текстовый координатор, фиксированный словом (а не «порядком слов»), — союз Waw («и»), который в передаче на греческий посредством *καί* (часто *καί/δέ*) выводит текст перевода за рамки греческого восприятия нарративного литературного текста, поскольку в последнем обычно присутствует *множество* текстовых координаторов, варьирующих и изолирующих авторскую риторику (*καί, δέ, γάρ, μέν... δέ, οὐ, μέντοι, ὅτι* и др). Явления такого свойства присутствуют на всех уровнях анализа — текста, предложения, словосочетания, лексемы. В результате такой работы переводчиков получается *текст и текстуальность, всецело чуждые аутентично греческой*.

Таким образом, на уровне моделей необходимо констатировать факт греколексемного подстрочника древнееврейского текста, что, очевидно, при-

близительно *совпадает* с уже обозначенной позицией Дайссманна. Несовпадение обнаруживается в другом: недискурсивная модель описания на этой стадии исследования исчерпывается, останавливается, поскольку с очевидностью выясняется, что в языке (конституированном, как считается, *моделями*) *нет законченной системы*. Другими словами, с точки зрения недискурсивной парадигмы в исследуемом тексте нельзя констатировать *систему* какого-то уже известного и описанного языка, на котором был создан текст LXX (текст, как считается, *не может создаваться на не существующем доколе языке*). Это знаменует конец поисков точной структуры и логики в материале. Напротив, дискурсивное лингвистическое описание не останавливается на результатах аналитической работы, поскольку в случае LXX следует *a priori* констатировать факт *актуализации* и, соответственно, нормализации текста (соответственно, следующая теоретическая задача состоит в том, чтобы найти *критерии* актуализации и нормализации); кроме того, языковые модели суть *подчиненные*, а не «подчиняющие» элементы, не определяющие коммуникативную ситуацию, а *определяемые* коммуникативной ситуацией; соответственно, теоретическая задача состоит в том, чтобы найти *новую систему координат*, с новыми параметрами, в которой данные («неправильные») модели осознавались бы и исчислялись как правильные. Другими словами, речь идет о теоретическом описании процесса *создания языка текстом*, или, в конечном счете, о создании языка *коммуникативной ситуацией*, которая в качестве субъекта создает себе текст (и его язык) как свои предикаты.

Описание коммуникативной ситуации следует, по-видимому, начать с той роли, какую текст Писания играл в жизни иудейской общины — греко- или арамеоязычной. Именно это обстоятельство обусловило необходимость создания версии Торы для грекоговорящих иудеев. Как существовавшая практика чтения Закона в синагогах, так и сам способ перевода, по-видимому, свидетельствуют о том, что грекоподобный текст LXX был, по сути, функцией самого древнееврейского текста, возможностью древнееврейского текста быть распознаваемым в своих элементах по греколексемному тексту. Именно в этом следует полагать критерий актуализации LXX: она создавалась не как текст на целевом (греческом) языке, а как подстрочник, озвучивавший каждое слово священного оригинала²². Правильность LXX состояла не в следовании греческим языковым моделям, а в правильной передаче слова древнееврейского священного текста, вне которого он не имел оправдани, — так же как и вне самой иудейской религиозной традиции. Мог ли перевод священного текста (считавшийся уже во II в. до Р. Х. боговдохновенным) быть неправильным по языку? В такой ситуации, пожалуй,

²² Cp. Tov, E. Three dimensions of LXX Words, RB 83 (1976), p. 538.

очевидно, что норма устанавливается как отношение к тексту субъектов, которые воспринимают и нормализуют его в своем восприятии, а не как позднейшее наложение на материал внешних для ситуации критериев правильности и неправильности. Другими словами, особый статус LXX обусловил особое восприятие языковых моделей, которыми пользовался текст. Последние воспринимались и оценивались не в обширном контексте, создаваемом неким общим для всех языком, а в контексте замкнутой в себе иудейской общины, которая, безусловно, представляла собой сугубо специальный обособленный контекст, фиксирующий и нормализующий особую лингвистическую практику в сфере функционирования письменного священного текста. По всей видимости, сама инаковость LXX, ее невописанность в рамки чуждой — языческой — литературной традиции уже составляла для нее фактор целостности и правильности. Таким образом, коммуникативная ситуация предполагала скорее ненормативность (и уж тем более неактуальность) всех остальных грекоязычных текстов, чем текста иудейского Закона, который, очевидно, *должен* был говорить другими моделями. Здесь, в сфере «нарушений» греческого строя языка, с определенностью прослеживаются *системные* отношения, возникающие из факта *прямой и дословной передачи элементов синтаксической системы древнееврейского оригинала* (последние выделяются и осознаются в русле телелингвистической теории древнееврейского синтаксиса, образуя систему параметров, не реализуемых в традиционной грамматике древнееврейского языка; так, значимым для структуры древнееврейского текста становится порядок синтаксических элементов, новые элементы, считавшиеся ранее не значимыми, оппозиция «нарратив» vs «диалог», новое содержание и роль текстовых координаторов в организации текста, выделение новых, текстуально значимых, параметров глагольных форм, понятие иерархии текста в качестве необходимого условия его адекватного понимания и др.²³). Именно эти аутентичные для древнееврейского текста элементы переданы *систематически и правильно* в греколексемной версии. В результате на грекоязычной почве возникает текст, внутренне организованный связями негреческой по происхождению системы. Именно эта система и становится аутентичной для священного текста и воспринимается субъектами иудейской традиции как его особый язык. Таким образом, LXX как огромный массив лингвистического материала создает на грекоязычной почве свою собственную лингвистическую страту, или «извод» греческого языка. Здесь, в свою очередь, замечателен

²³ Подробнее, см. Vdovichenko, A. *Hebrew Narrative Syntax in the Septuagint and New Testament Greek*, *Filologia Neotestamentaria*, 2001; Вдовиченко, А. В. Традиционный литературный язык Евангелий. Новая модель описания, в сб.: Православное богословие на пороге третьего тысячелетия. Материалы конференции, М., 2000, p. 213–249.

другой факт: тексты Евангелий, как и другая (позднейшая по отношению к LXX) иудейская грекоязычная литературная продукция пророческого содержания, созданы всецело на языке, конституированном LXX²⁴. Таким образом, в случае Евангелий имеет место традиционный литературный сакральный язык, принятый в иудейской общине, для которого можно констатировать *генезис, литературную традицию* и особую внутреннюю *структуру*, — соответственно, в случае LXX имеет место факт *конституирования* предметного компонента этого языка. Процесс порождения данного литературного языка текстом, как видно, мог реализоваться только в условиях иудейской религиозной общины, создававшей в себе и вне себя особый контекст, т. е. искомую *коммуникативную ситуацию, генерирующую и нормализующую языковые модели*.

Таким образом, дискурсивный синтезирующий подход делает возможным системно описать материал, признаваемый в иной парадигме описания бессистемным. Языковые модели, как видно, не имеют значения сами по себе, а лишь по мере осознания их роли в большой структуре, определяемой как коммуникативная ситуация. Последняя актуализует «необходимую и достаточную» словесную последовательность, содержа в себе текст как предикат. Описание «субъекта» актуального текста, как видно, предшествует описанию «предиката», интегрируя и корректируя результаты неизбежного аналитического подхода к иноязычному (древнему) лингвистическому материалу.

²⁴ Вдовиченко, А. В. *Op. cit.* p. 213–249.

Концептообразующая флуктуация константы культуры «родная земля» в наименовании *родина*

Культура и язык — это семиотически разнородные топосы. Естественный язык — это объемлющее весь мир, в том числе и мир культуры, средство коммуникации, и в этом качестве он отображает предметный и непредметный универсум в знаковых формах, означающими для которых служит звуковая/графическая материя.

Культура означается ее субъектами в материальных «телах» естественных реалий (таких, как небо, земля, растения, дикие животные и т. п.), артефактов (типа крест, дом, чаша и т. п.), ментофактов (большинство из которых, типа добро, зло, истина, совесть и т. п., облекается в языковые знаки как означающие для концептов культуры и тем самым придает им семиотическое бытие). «Символическая Вселенная культуры» (по выражению Кассирера) говорит о самосознании человека. Символярий культуры — это совокупность кодов, ценностным содержанием которых являются прескрипции, или установки, которые в самом общем виде можно передать как суждения о достойном vs. недостойном человека и/или социума мировидения, мироосознания, их деятельностной ориентации и ее последствиях.

По этим причинам, «когда ставится задача, как писал в свое время Ю. С. Степанов, объединить в рамках... единой теории данные языка и данные культуры, то, по-видимому, нельзя переносить языковую модель на предметную область культуры и, напротив, модель культуры на предметную область языка. Речь должна скорее идти о том, чтобы выработать третий, более общий аппарат понятий, приложимый к лингвистической теории, с одной стороны, и к теории культуры, с другой» [Степанов 1974, 574; цит. по: Степанов, Проскурин. Константы мировой культуры. Алфавиты и алфавитные тексты в периоды двоеверия. М., 1993, 15].

Как можно судить по книге «Константы. Словарь русской культуры», базовым в этом аппарате Ю. С. Степанов считает понятие «константа культуры» — т. е. «концепт, существующий постоянно или, по крайней мере, очень долгое время» [Степанов 1997, 76]. Специфическое свойство констант культуры как концептов — это их способность к презентации коллективно

осознанного духовного, социального или «вещного» культурного достояния того или иного сообщества (безотносительно к осознаваемой или бессознательно протекающей рефлексии на это достояние), с одной стороны, а с другой — способность «описывать действительность, но действительность особого рода — ментальную» [Там же, 54–55]. Эта действительность и становится объектом «концептуализированной предметной области в языке и культуре». Концептуализированную предметную область Ю. С. Степанов понимает как «такую сферу культуры, где объединяются в одном общем представлении (культурном концепте) слова, вещи, мифологемы и ритуалы (... в каждом конкретном случае не обязательно должен наличествовать весь перечисленный набор сущностей)». Именно в концептуализированных областях, «принадлежащих, по мнению Ю. С. Степанова, одновременно языку и культуре, вскрывается глубокая мотивированность наименований — неслучайность наименований», поскольку концепты, «выражаясь как в слове, так и в образе или материальном предмете», как бы «прячут» над концептуализируемыми ими областями [Там же, 68].

Мы позволили себе столь пространное цитирование, поскольку намерены в данной статье показать эту глубокую, уходящую корнями к архетипическим формам сознания культурную мотивированность одноименных концептов «*родина 1*» — «*малая родина*» и «*родина 2*» — «*большая родина*», принадлежащих одновременно языку и культуре и входящих в концептуализированную область «*patria*».

Нам уже приходилось писать, ссылаясь на свидетельство С. М. Толстой [Tolstaja 1993], о том, что в изначально сложившемся в русском языке древнейшей поры концепте социально-духовной культуры, представленном наименованием *родина*, проявляется его культурно-мотивированное осознание связи с архетипом «род» (этимологический след этой связи и сохранился в самом наименовании) и что эта связь, в свою очередь, корреспондирует с еще более глубинным архетипом «матери-земли» как праматери всех взрослых, живущих на этой земле или ушедших в нее поколений «своих», а также всего того, что порождено в «материнском лоне» земли, существует или существовало на ней, а потому — «своего», «родного» [Телия 1999].

Выделенная Ю. С. Степановым константа «родная земля», «парящая» и над концептосферой «*patria*», безусловно, является ментально базовой для русского этнического самосознания, что убедительно показано автором [Указ. соч., 493–519]. Однако эта константа «двулика», поскольку она — оязыковленная «свертка» двух комбинаторно «подлежащих» под ее внешней формой архетипов культурного осознания «своего», изначально родового, восходящего к матери-прародительнице, «породившей» его социум, и «своей» же земли как матери всего сущего на ней. Комбинаторное взаимо-

действие этих архетипов и породило культурную идиому «родная земля», форма содержания которой мотивирована архетипом «род» и архетипом «матери-земли», явленных и в форме ее выражения.

Итак, как и всякая культурная идиома (в смысле И. И. Сандомирской), «живущая на уровне языкового подсознания» и «невидимая снаружи», но проявляющая себя в дискурсивных практиках [Сандомирская 1999, 52–56], константа «родная земля» и по форме ее культурно-концептуального содержания и по внутренней языковой ее форме имеет как бы две антенны, обращенных на прием в диапазонах, ассоциированных с восприятием оязыковленных культурных концептов «род» и «мать-земля», а кроме того — с восприятием и всего репертуара собственно языковых презентаций этих концептов.

Как представляется, эта двудиапазонность и обуславливает сохранение или частичную утрату культурно-мотивирующей «вершинности» константы «родная земля» в концептосфере «*patria*», представленной именем *родина*, в чем мы и усматриваем флуктуацию этой константы.

Последняя проявляется в «разломе» описываемой части концептосферы «*patria*». Этот разлом непосредственно связан с константой «родная земля»: эта константа полностью сохраняет свою культурно-мотивирующую «вершинность» в концептуальном содержании наименований *родина 1*, соотносимых со «своими», родными или как бы родными людьми и персонально «своим» местом на земле. Общим содержанием социально-культурного концепта «*родина 2*» является отображение пространства как исторически и культурно сложившейся «коллективно-своей» геополитической ниши. Константа «родная земля» в этом концепте погружена в образно-мотивированный культурно-коннотативный фон осознания этого пространства как «родного» (подробнее о понятии *культурная коннотация* в нашем его понимании см. [1986; 1993, 1996]). Следует отметить, что аналогичная оппозиция — «личностно своего» (соотносимого с персональными истоками, корнями) vs. «коллективно своего, неперсонального пространства» была выделена как различающая для концептов «малой» и «большой родины» А. Вежбицкой [Wiertzicka 1997].

Для верификации концептообразующей роли константы «родная земля», выступающей в качестве базового культурно-мотивированного основания в наименовании *родина 1* и уходящей в культурно-мотивированный же коннотативный фон в наименовании *родина 2*, важную роль играют фразеологические слои этой концептуализированной области.

Обращение к фразеологическим слоям — преимущественно к «фразеологическим сочетаниям» (в терминологии акад. В. В. Виноградова), или лексическим коллокациям, в качестве опорных наименований в которых и

выступают описываемые концепты социально-духовной культуры, дает, как представляется, достаточно полное основание для деконструкции их содержания.

Это наше убеждение вполне согласуется с приведенным выше постулатом Ю. С. Степанова о неслучайности именования в культуре. Более того, этот постулат обретает силу культурно-языковой закономерности при формировании в процессах вторичной номинации таких фразеологических сочетаний, в которых опорное наименование является концептом культуры: выбор признакового для него имени из числа уже существующих в языке словозначений не может не быть культурно осмысленным, в чем мы неоднократно убеждались в своей исследовательской практике (см., например, [Телия 1981, 1996, 214–269; 1998]).

А это значит, по нашему мнению, что и сама фразеологическая устойчивость и воспроизводимость презентирующих эти концепты сочетаний слов — результат их культурного связывания в процессах концептуализации и оязыковления, которое и приводит к связанности лексико-грамматической, поскольку выбор признакового имени свершается в концептуализируемой сфере культуры из пригодных для этого выбора языковых словозначений.

Вполне естественно, что и культурная, и языковая «избирательность» (в смысле, который придает этому термину В. Г. Гак [1977]) корреспондируют: признак опорного для наименования концепта, принадлежащего той или иной этнической или национальной культуре, избирается субъектами языка и культуры для его языкового воплощения из таких лексико-грамматических средств и способов, которые прозрачны для их интерпретации в кодах культуры. Подтверждением этой корреспонденции могут служить сопоставительные исследования наименований, в том числе и фразеологических, принадлежащих концептосфере «*patria*», на материале английского, немецкого и русского языков [Wierzbicka 1997], а также польского и русского [Bartminsky, Sandomirskaja, Telija 1998]. Заметим, кстати говоря, что культурно-языковая избирательность свидетельствует о культурно-языковой идентичности носителей языка, а косвенно — об их культурно-языковой же компетенции.

Итак, неслучайность выбора признакового имени при формировании фразеологических сочетаний — их культурно-языковая — мотивированность открывает надежный доступ к исследованию и деконструкции концептов культуры через их языковую оболочку и к верификации результатов их описания.

В подтверждение высказанного выше постулата о том, что фразеологические сочетания, группирующиеся вокруг имен концептов культуры, создают достаточно полное представление об этих концептах, приведем

конкретные примеры, «упакованные» (для краткости описания) в формат концептуально-лексикографического фрейма, каждая «часть» которого рассматривается нами как концептообразующий признак, в совокупности отображающие знание носителей языка о соотносимом с именем концептом культуры. В основе лингвокультурологического анализа этого знания о концептах культуры лежит принцип его «параметризации», близкий в методах к описанию «лингвистических фреймов» (в понимании Ч. Филлмора [1988]), а также вхождение презентирующих это знание словозначений в семантические сети (как они представлены в моделях типа «Смысл — Текст» [Жолковский, Мельчук 1966; Гак 1977]).

Фразеологические слои культурного концепта *«родина 1»*:

— Родина всегда чья-то: *моя, наша, X-а, X-ов*. Субъект, для которого родина — «свое», персонально-личностное место (или места) на *родной земле* — это лицо или группа лиц, объединяемых кровно-родственными, семейными или неформально-корпоративными отношениями: *родные и близкие люди*.

— На этой родной земле *X* впервые воспринял и осознал себя как часть этого персонально-личностного микросоциума, живущего на ней или ушедшего и противопоставленного всему «чужому»: *родной дом, родная улица, деревня, родные могилы*.

— *X* воспринимает природу и пространство родной земли как родные же для него: *родные березки, родные осины, родные края, родная сторона (сторонюшка)*, где особый *воздух родины*.

— *X* впитал с молоком матери язык родных и близких и потому осознает свою как бы кровно-родственную принадлежность к этому родному для него языковому миру: *родной язык*.

— Родина — это родная земля, воспринимаемая *X-ом* как *родина-мать* — источник, кормилица и попилица всех живущих на ней и принимающая окончивших свой жизненный путь в свое лоно, для которых родная земля становится *матерью-сырой землей*, вызывая в них *мечту жить и умереть на родине*.

— *X* испытал здесь и продолжает испытывать эмоционально положительное отношение к родной земле, к истоку «своих» кровно-родственных «корней», живых и ушедших, к близким людям, к родному языку, к знакомым с детства обычаям и традициям, и поэтому *X*, покинувший родину, *скушает, тоскует по родине*, испытывает желание *не терять, поддерживать связь с родиной, побывать на родине (в родных местах, в/на родной сторонюшке); возвратиться/вернуться на родину (в родные места, края)*.

На основе приведенных примеров можно утверждать, что характерные для них культурные коннотации основаны на ассоциациях с культурной константой «родная земля», «надлежащей» над концептом «родина 1», и с «подлежащей» под ним мифологемой матери-земли как прародительницы всего сущего на земле, восходящей к архетипическим формам осознания мира как локуса человека. Эти ассоциации, воспроизводимые в коннотациях фразеологических наименований, свидетельствуют, как представляется, о прозрачности образно-мотивированных представлений о «малой родине», а также о неслучайности выбора и воспроизведения имен для оязыковления этого топоса культуры. Итак, для культурного концепта «родина 1», укорененного в обыденном сознании, константа «родная земля» является как бы вершинным, парящим над ним концептообразующим началом. «Родина 1» — это кровно-родственный, «родной» микромир с его ориентацией на «свое» пространство. Этот микромир противопоставлен остальным по ориентации на сугубо личностную, интерперсональную сферу восприятия этого пространства, которое *X* считает «родной землей». Ценность этого личностного пространства для *X-а* (*X-ов*) связана с тем, что здесь *X* осознал мир среди родных и близких людей, осознал внешний (физический), внутренний (психический) и языковой микромир, принадлежащий именно ему и его родным и близким. Поэтому *родина 1* и воспринимается как единственная, как неотъемлемая часть микромира субъекта, осознающего свою как бы кровно-родственную, неразрывную связь с родной землей.

Фразеологические слои, презентрующие культурный концепт «родина 1», дают основание и для конструирования основных концептообразующих признаков, соотносимых с наименованием *родина 1*:

— Локализованное пространство, ценностное отношение к которому для *X-а* (*X-ов*) определяется тем, что:

— *X* (*X-ы*) родился здесь и с детства ощутил себя в кровно-родственной связи с окружающими и с ушедшими поколениями;

— в этом месте *X* впервые воспринял себя как «часть» окружающей природы (микро- и макрокосмоса);

— *X* впервые обрел здесь друзей и близких и стал «частью» этого неформального, персонально-корпоративного социума;

— *X* осознал свою как бы кровно-родственную связь с родным для него языком;

— *X* испытал здесь и продолжает испытывать эмоционально положительное отношение к родным местам, к своим родителям и кровно-родственным «корням», к близким людям, к знакомым с детства обычаям и традициям, к родному языку.

Границы между культурными концептами «родина 1» и «родина 2» достаточно размыты — они как бы перетекают друг в друга. И эта диффузность обусловлена тем, что концепт «родина 1», для которого, как уже отмечалось выше, константа «родная земля» является базовой, имплицитно сопresents в «родине 2».

Это сопresents, отмеченное еще в «Толковом словаре» В. Даля, фиксируется практически во всех современных словарях. Характерно, что В. Даль описывает словозначение «родина» в словарной статье «раждать»: Родина — «родимая земля, чье место рождения; в обширном знач. земля, государство, где кто родился; в тесн. город, деревня» [1956, т. IV, 11]. В фокусе этого толкования — персонально-личностное место на земле, как бы включенное в рамки государства — места, определяемого коллективно-социальным обустройством.

Тем, что «родина 1» воспринимается как часть «родины 2», можно объяснить частичную же репродукцию образно-мотивированных фразеологических средств презентации «большой родины» и соответственно — культурных их коннотаций. Однако «родина 2» в отличие от «родины 1» — это не персональное, а социально-политическое пространство, относительно которого его персонифицированные субъекты — народ как социально-корпоративное сообщество, равно как и член этого сообщества — гражданин, — представляют собой референтно неопределенные, «общие имена», что придает и всему этому концепту референтно-денотативную размытость.

«Рамочная» для концепта «родина 2» идея геополитического единства ее субъектов, окончательно сложившаяся и заштампованная в «языке власти» еще в начале XIX в. (по данным И. И. Сандомирской [Сандомирская, 2000]), остается идеологически действенной и в наши дни. Эта патристически идеологизированная идиологема — постоянный источник воспроизведения устойчиво языковых сочетаний, лежащих в основе нарративных презентаций мифа о «родине 2» как о «родной земле-матери» (что также отмечено И. И. Сандомирской [1999; 2000]). Но поскольку «малая родина» — это всегда персонально-личностное пространство, образующее часть «большой родины», обыденно-политизированное сознание если не с полной верой, то с проективным на «малую родину» отношением воспринимает язык этого мифологизированного конструкта и характерные для него нарративы. И это проективное отношение способствует восприятию персонифицированного пространства как «своего». Поэтому и при описании концептообразующих фразеологических слоев наименования *родина 2* мы используем в изложении материала нарративоподобный «стиль», чтобы погрузить эти слои в типовые контексты их употребления.

Фразеологические слои социально-культурного концепта «родина 2»:

— Родина — это страна как единое исторически сложившееся государственно обустроенное геополитическое пространство, охватывающее огромные, *необъятные, широкие, бескрайние, прекрасные просторы (нашей великой родины).*

— Субъект родины — это коллективный *X*: *великий народ* (население) или граждане, объединенные территорией, как общей и потому как бы *родной для них землей*, а также геополитическими интересами страны, общим для них государственным языком; эта экологическая ниша, безотнositельно к ее этническому заполнению, выступает для него как *Родина-мать*.

— Эмоциональное отношение к родине ее субъектов выражается в чувстве *сыновней любви к родине*, гордости ею и благоговения перед ней как к сакрально-женственному началу: *горячо, пламенно, страстно, всем сердцем, бескорыстно любить (свою) дорогую родину; гордиться (своей) родиной, испытывать святую любовь к родине; славить, прославлять родину; вдали от родины скучают* и потому на чужбине испытывают желание *вернуться на родину; побывать на родине.*

— Моральные императивы отношения к родине связаны с идеей долга перед *многогосударственной Родиной-матерью* как общей прародительницей и донатором, что побуждает субъектов *во имя родины и во славу родины* к верному служению *на благо родины: заботиться о родине (о благе родины); верно служить/послужить родине (на благо родины), благодарить родину за счастливое детство и счастливую жизнь*, а когда *Родина-мать зовет* защитить ее, народ и *лучшие сыновья и дочери родины* готовы к патриотическому подвигу — *встать на защиту родины до последней капли крови: защищать/защитить родину (от врагов); бороться за свободу, независимость родины; умереть, погибнуть, сложить свою голову (в борьбе) за родину, чтобы отстоять родную землю, родной язык и достояние отцов и дедов. Изменить родине — значит продать родину.*

Приведенный материал создает, как представляется, достаточно полное представление о том, что константа «родная земля» доминирует только над теми частями концепта «родина 2», в фокусе которых пространственная локализация. Вершинной концептопорождающей силой для «родины 2» обладает архетип матери-земли в различных ее ипостасях. Думается, что и архетипические истоки, «подлежащие» под концептом «родина 2» и образующие его коннотативный фон, не нуждаются в силу прозрачной мотивации фразеологических сочетаний в дополнительных комментариях.

Фразеологические слон, презентрующие культурный концепт «родина 2», дают основание и для конструирования основных концептообразующих признаков, соотносимых с наименованием *родина 2*:

— страна в целом, ценностное отношение к которой для *X-a* (*X-ов*) определяется тем, что:

— страна — исторически сложившееся государственно обустроенное геополитическое пространство;

— субъект этого государственного образования — все народонаселение (этническое большинство которого составляют русские) — народ и граждане страны;

— патриотическое единство народонаселения;

— языковая общность, обеспечиваемая русским языком как родным для этнического большинства и играющим роль государственного языка.

Итак, приведенный анализ показал, что константа культуры «родная земля» является вершинной для всех концептообразующих слоев концепта «родина 1», содержание которых отображает личностно-персональный локус бытия ее субъекта в прошлом и настоящем течении времени, а также во временной перспективе. В социально-культурном концепте «родина 2», отображающем государственно обустроенный территориально-социальный локус этноса, народа, нации, концептопорождающей вершинной является архетип Матери-земли в ее ипостасных культурно-ассоциативных презентациях, а константа «родная земля» активируется как вершинная в этом концепте, когда в риторических практиках ее субъект проективно фокусирует содержание концепта «родина 2» на свой персонально-личностный локус.

Литература

- Гак В. Г. Сопоставительная лексикология. На материале французского и русского языков. М., 1977.
- Мельчук И. А., Жолковский А. К. Введение // Толково-комбинаторный словарь современного русского языка. Опыты семантико-синтаксического описания русской лексики. Вена, 1996.
- Сандомирская И. Родина, Отечество, Отчизна в дискурсивных практиках современного русского языка. Опыт анализа культурной идиомы // *Etnolinguistika. Problemy języka i kultury*. № 11. Lublin 1999.
- Сандомирская И. Книга о Родине (опыт анализа дискурсивных практик). Вена, 2000.

- Степанов Ю. С., Проскурин С. Г. Константы мировой культуры. Алфавиты и алфавитные тексты в периоды двоеверия. М., 1993.
- Телия В. Н. Типы языковых значений. Связанное значение слова в языке. М., 1981.
- Телия В. Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц языка. М., 1986.
- Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М., 1996.
- Телия В. Н. Рефлексы архетипов сознания в культурном концепте «родина» // Славянские этюды. Сб. к юбилею С. М. Толстой. М., 1999.
- Филлмор Ч. Фреймы и семантика понимания // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXIII. Когнитивные аспекты языка. М., 1988.
- Bartmiński J., Sandomirskaja I., Telija V. Ojczyzna w polskim i rosyjskim językowym obrazie świata // Z polskich studiów slawistycznych, seria IX, Językoznawstwo, Warszawa, 1998.
- Teliya V., Bragina N., Oparina E., Sandomirskaya I. Phraseology as a Language of Culture: Its Role in the Representation of a Cultural Mentality // Phraseology. Theory, Analysis, and Applications. Ed. by A. P. Cowie. Oxford, 1998.
- Tolstaja S. Ojczyzna w ludowej tradycji słowiańskiej // Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich. Lublin, 1993.
- Wierzbicka A. Lexicon as a Key to History, Culture, and Society // 'Homeland' and 'fatherland' in German, Polish and Russian // Current approach to the Lexicon. Eds. R. Dirven and Jvanparis. Peter Lang, 1995.

IV

Литовский язык

Литовский язык в школе академика Ю. С. Степанова

Литуанистическая школа Ю. С. Степанова, первоначально как кружок студентов во главе с их преподавателем, существует с 1962 г., когда ЮС стал вести практические занятия по литовскому языку в Московском университете. Сам ЮС в то время был лишь начинающим литуанистом-энтузиастом. Он только что вернулся из летней поездки в Литву, где в городке Серяджюс на Немане, неподалеку от Каунаса, интенсивно изучал живую литовскую речь. Место это в зоне литературного литовского языка было выбрано по совету Витаутаса Мажюлиса, старого приятеля ЮС еще по аспирантуре МГУ (ныне академика). Ежегодные, иногда по несколько раз в год, поездки в Литву ЮС с тех пор сделал для себя обязательными. Тогда же определились и черты литуанистической школы ЮС: интерес к живой литовской речи, традиционной культуре и быту, совмещение исследования с обучением русских этим предметам.

Постепенно, по мере того как образовывался сам ЮС как литуанист, расширялся круг его учеников-литуанистов — общих языковедов и теоретиков. Аспирантуру у ЮС прошли, написали кандидатские диссертации и защитили их молодые исследователи из Литвы: Р. Венцкute «Литовский аблаут (современное состояние и индоевропейская модель)» (1971), К. Гаршва «Слоговые акценты в фонологической системе (на материале литовского языка)» (1977), С. Криницкайте «К общей теории глагольной переходности (на материале литовского языка)» (1980), Г. Савичюте-Нактинене «Предикаты цели и предикаты каузации (на материале флексивных индоевропейских языков)» (1980), С. Валянтас «Сложное слово и синтаксическая конструкция. Праиндоевропейская модель в балтийских языках» (1980).

Поддержку ЮС как доброжелательного официального оппонента получили докторские диссертации: И. Казаускаса по исторической грамматике литовского языка, А. Гирдяниса по литовской фонетике и фонологии, А. Паулаuskене по литовской морфологии, А. Росинаса по системе местоимений литовского и латышского языков, К. Мустейкиса по сопоставительной грамматике литовского и русского языков — все успешно защищенные в Вильнюсе с 1967 по 1984 г.

Самому ЮС больше всего запомнились три его «литуанистические» поездки в Вильнюс: в радостный теплый апрель 1967 г. на первую в Литве со времен войны докторскую защиту Ионаса Казлаускаса; в холодный октябрь 1970 г., когда ЮС, по срочной телеграмме из Литвы, проведя ночь на московском вокзале, в последнюю минуту добыл билет на стоячее место до Вильнюса, чтобы утром успеть пройти за гробом Ионаса; и в январе 1992 г., в ночь известных событий, когда под звуки выстрелов он кружным путем через темный парк «Вингис» добирался до центра города, чтобы прибыть на собрание протестующей литовской общественности в знак солидарности с ней интеллигенции Москвы. . .



По содержанию литуанистические работы ЮС складываются из трех циклов, каждый из которых, в системе ЮС, расширяет литовский материал данной темы в сторону индоевропейской предыстории.

I. Цикл работ по глагольным системам литовского (вообще балтийских) и русского (вообще славянских) языков, лейтмотивами которых являются следующие положения.

(1) Предварительно ЮС определяет семантическое содержание категорий Вид и Залог в их древнем индоевропейском и балто-славянском статусе (несколько ином, чем, например в современном русском языке) [Степанов 1976 и 1977]. В лексическом содержании слова вообще различаются, с помощью схематизации «семантическим треугольником» Г. Фреге внутреннее семантическое ядро, «сигнификат» и отнесения этого ядра к различным внеязыковым представлениям о ситуациях, «денотатам». Подобно этому и в названных категориях различаются две эти семантические сущности. В категории Вид сигнификатом будет представление о внутреннем собственном характере действия по отношению к «пределу», а денотатом — различные ситуативные явления предела — внутренняя исчерпанность действия (*рождался VS родился*) (VS — знак противопоставления); внешний материальный предел в виде препятствия-предмета (*наступил на. . . ; споткнулся; нашел; толкнул* и т. п.); описание действия как беспредельного фона (*пока он шел. . .*) и т. д. В категории Залог сигнификатом будет отношение действия к его носителю-субъекту, а денотатом (денотатами) — различные ситуативные виды этого отношения: А) не выходящее за рамки субъекта — «внутренний залог», как неактивный — *лежит, спит, болеет*, так и Б) активный — *идет, бежит, дует, кусает, мочится* [как физиологический процесс]. В индоевропейских языках этому разделению соответствуют две древнейшие

отчетливо различные группы глагольных лексем — только с формами перфекта (*perfecta tantum*) и только с формами актива (*activa tantum*). В) Еще одной разновидностью залога по его денотату является раздвоение субъекта между несколькими конкретными исполнителями действия — «взаимный залог»: *бранятся, дерутся, целуются* и т. п. Г) Особую разновидность составляет раздвоение действия между его субъектом и его объектом при так называемых переходных глаголах — *бьет, ранит, колет мост*; эти «активные» глаголы отличаются по своей семантике и формам спряжения от древнейшей группы «*activa tantum*».

Точно также различаются и морфологические формы спряжения: А) перфектный залог древнейшего типа, Б) активный залог также древнейшего типа, В) взаимный, возвратный, Г) активный нового типа. (В работах [Степанов 1978] — обобщение и расширение в сторону индоевропейской предистории в книге [1989, гл. I].)

(Заметим, что названные формы залога, каждая из которых имеет отличное семантическое содержание и особую морфологическую форму глагольного слова — в отличие от синтаксического выражения залога в новых индоевропейских языках, — называются термином *диатеза*; древнейшие формы категории Вид глагола, к сожалению, особого и обобщающего терминологического обозначения в лингвистике не получили.)

(2) После этого ЮС формулирует свое базисное положение: *славянский глагольный вид (древнейшего типа) и балтийский залог (диатеза) имеют единое происхождение — восходят к одному и тому же пучку семантических признаков и одним и тем же формам глагольной морфологии* [Степанов 1975; 1978].

Детально свою реконструкцию ЮС начинает с описания — по этой линии — синхронного современного состояния литовского и русского языков (здесь излагается текстуально по работе [Степанов 1978, 335 и сл.]).

Преобладающими противопоставлениями в глагольной лексике современного литовского языка являются парные оппозиции: простой глагол действия или состояния / каузативный или фактитивный глагол того же корня. Например: *bėgti* 'бежать' / *bėginti* 'заставлять бежать (цедить молоко)', *ėsti* 'есть (о животных)' / *ėdinti* 'кормить (животных)', *siūti* 'шить' / *siūdinti* 'отдавать шить, faire coudre', *kisti* 'меняться' / *keisti* 'менять'. Этому типу противопоставлений отвечает продуктивная грамматическая оппозиция «мягкое» переходное спряжение / «твердое» непереходное спряжение, т. е. тип *ia*-презент *ė*-претерит против типа *a*-презент *o*-претерит. Аналогично этому преобладающими оппозициями в современном русском языке (ср. также другие славянские) являются видовые пары глаголов, включая пары «способов действия, Aktionsarten».

Соответственно их относительной хронологии (периоду наибольшей продуктивности) эти оппозиции в каждом из языков могут быть сгруппированы в классы, образующие параллельные — балтийский и славянский — ряды. При этом делается очевидным, что соответственные классы того и другого ряда достаточно гомоморфны (Степанов, 1976). Например, при основах, имеющих аблаут (старого или нового происхождения), в славянском глагол несовершенного, или старого «неопределенного», вида строится на основе, имеющей наиболее долгий гласный, глагол же совершенного, или старого «определенного», вида — на основе, имеющей краткий гласный: ст.-сл. погрѣти — погрѣвати, родити — раждати, оумрѣтъ, оумрѣти — оумирати и т. п. В балтийском имеется аналогичное противопоставление: лит. klupti — klúpoti 'споткнуться — стоять на коленях как бы споткнувшись', bristi — brýdoti 'переходить, перейти вброд — стоять посреди брода' и т. п. (см. также ниже, пункт 4). Но, с другой стороны, и это особенно важно, функционально такое же различие, восходящее к и.-с. прототипу, использовано в балт. для противопоставления переходный глагол действия — глагол вызванного этим действием состояния: лит. keisti — kisti 'менять — меняться (о вещи)'. Некоторые древние фрагменты тождественны и по морфологии, и по категориальной семантике основ, ср. ст.-сл., др.-рус. -грѣзѣти неперех. и сов. вида — -грѣзѣти перех. и несов. вида, лит. birti, byra < *bi-n-ra неперех. и «определенный» ('начать') сыпаться — barstyli перех. и «неопределенный» 'сыпать, усыпать'.

Вполне согласуются основные отношения в категории переходности / непереходности и «определенного» / «неопределенного» вида. Первичные противопоставленные пары представляют одно и то же действие с двух различных точек зрения: в балт. с точки зрения субъекта / объекта (переходности / непереходности) при каком-либо одном фиксированном видовом значении, так, лит. begiu žimiai 'я (за)сыпаю горох' / žimiai byra 'горох (начинает) сыпаться' при фиксированном видовом оттенке начинательности (ср. barstyti с видовым оттенком длительности или итеративности; так же merkti, no mirkyti); в слав. с точки зрения полагания предела / снятия предела при каком-либо одном фиксированном переходном или непереходном значении, так, ст.-сл. соутн съпе / -сыпати -сыпа 'сыпать'. В этой двойственности точек зрения на одно и то же действие (хотя сами точки зрения различны) состоит общность славянской и балтийской систем и основание единства их прототипа «вид — диатеза». Вторичный же глагол, первоначально часто внепарный, представляет иное действие. Зачастую он достраивает семантическую оппозицию как раз по тому признаку, который в первичной паре был фиксированным, не вариативным и не оппозитивным. Так, в балт. вторичные глаголы типа barstyti 'сыпать, усыпать', mirkyti 'вымачивать', sakyti

‘говорить’ (при *sekti* ‘следить, следовать’), *bradyti*, *braidyti* ‘бродить, брести’ (при *bristi*) объединяются лишь семантикой длительности или интенсивности, итеративности, но могут быть как переходными, так и непереходными. В слав. вторичные глаголы типа рус. *у-сы-нать*, *об-сы́нать*, *вы-сы́нать* объединяются только семантикой переходности, но могут иметь — в части форм — как сов., так и несов. вид, — в частности, в приведенных формах инфинитива.

В литовском языке первичный глагол означает состояние вещи (точнее, каузированный процесс в вещи) типа ‘горох сыплется’; поэтому для передачи состояния субъекта-человека прибегают к возвратным глаголам, произведенным от активного глагола, означающего действие субъекта-человека: *kelti* ‘поднимать, заставлять подниматься’ субъект-человек — *kilti* ‘подниматься’ субъект вещь — *keltis* ‘подниматься’ субъект-человек. Аналогичные отношения существуют в слав., причем тип первичного глагола состояния типа лит. *kilti*, *birti*, *mirkti* в рус. полностью замещен производным возвратным, поэтому все такие лит. глаголы переводятся на рус. возвратными: *подыматься*, *сыпаться*, *размачиваться* и т. п. Остатки незамещенных глаголов имеются в ст.-сл. и др.-рус. *сѣдати* — рус. *сидеть-ся*, др.-рус. *лѣгати*, *лѣгати* — рус. *ложить-ся* и нек. др. (подробнее: [Степанов, 1977]).

Из описанного положения дел мы извлекаем, в частности, один из принципов реконструкции: в прото-балто-славянском диатезы избирательны по отношению к субъектам, и это дает возможность реконструировать синтагмы — как сочетания «субъект (имя определенной лексико-семантической группы) + глагол (определенной диатезной формы)» ([Степанов 1989; Степанов 1992] и здесь ниже раздел о синтаксисе).

Из описанного основного положения (2) в системе ЮС вытекает по крайней мере три следствия — (3), (4), (5).

(3) Базисной формой в литовском и русском языках (и вообще в балто-славянском) является **трехфазовая модель**.

Каждое действие представляется как состоящее из трех фаз: 1) фаза, предшествующая критической точке; процесс, стремящийся к своему пределу, 2) фаза критической точки, наступление предела, 3) фаза, следующая за критической точкой, процесс, ограниченный в начале, исходящий из предела и не ограниченный концом. Например: *Я уже сажусь, сажусь...* (1-я фаза). *Я сел* (2-я фаза, критическая точка). *Я сижу* (3-я фаза). Другой пример: *Я падаю, падаю...* (1-я фаза). *Я упал* (2-я фаза). *Я лежу* (3-я фаза). И в этом отношении модельная группа ‘сесть / сидеть’, ‘встать / стоять’, ‘лечь / лежать’ заключает в себе основную модель. К двум унаследованным от и.-е. в этой группе глаголам 2-й фазы типа *сесть* и 3-й фазы типа *сидеть* на б.-сл. почве подстраивается третий глагол, соответствующий 1-й фазе. В

слав., в соответствии с его «двойкой точкой зрения» (предельный, совершенный вид VS неопределенный, несовершенный), это глагол несов. вида — ст.-сл. **сѣдати**, **ставити**, **-лагати**, а в балт., в соответствии с его «двойкостью», глагол каузативный — лит. *sodinti, statyti, guldyti*. При этом не случайным обстоятельством является то, что в такой сравнительно небольшой группе представлены все основные типы подстраиваемых глаголов: в балт., лит. типы на *-yti, -dyti, -dinti*; в слав., др.-рус. **сѣдати** // **сидити-ся**. В дальнейшем три названные фазы последовательно заполняются глагольными формами, захватывая все более обширные пласты лексики.

Более глубоким историческим прототипом трех фаз выступают три и.-е. категории. В общем и целом глаголы 2-й фазы, действия самого по себе и достижения им критической точки, в балто-сл. заполняются производными от и.-е. аористных корней, нередко с непереходным или нейтральным значением; в приведенной «модельной» группе глаголов этому соответствуют слав. е/о-аористы (**сѣдѣ**, **сѣдѣ**) и корневые аористы типа **ста**. Действия 3-й фазы, состояния, заполняются производными от и.-е. *ē*-претеритов (типа греч. на *-ē* (*η*), *-ō* (*ω*), аорист *ἔρχων*, инфинитив *ἔρχεσθαι, ἐμάνη*) и производными от преобразований и.-е. перфектных корней и форм. Действия 1-й фазы, длительные, но завершающиеся пределом, поэтому также и/или переходно-каузативные действия заполняются производными от и.-е. презентных корней с активным значением; их основное преобразование в балто-сл. идет по линии перестройки в *je/o*-презенты и *aje/o*-презенты; существенную роль сыграли также преобразования *ā*-претеритов. Таким образом, также в общем и целом развитие исходной системы связано с наличием в прото-б.-сл. нескольких типов претерита (е/о-претерита, *ē*-претерита, *ā*-претерита) с различным значением при одной лексической единице. Это положение является основным принципом реконструкции парадигм.

(4) Формы «третьей фазы», содержащие в исходе основы долгий гласный *-ē*-, *-ō*-, дали начало новым формам инфинитива — в греч. лишь спорадически, в редких случаях типа *λῆται* при аористе *ἔλτεν*, *ῥύται* при аористе *ἔρυν* // *ἔρυν*, а через инфинитив и новым лексемам со своим лексическим значением [Степанов 1989. С. 215 и сл.], а в литовском вполне регулярно: *miegoti* — *miega* — *miegojo* глагол состояния 'спать' при глаголе действия 2-й фазы (*už*)*migti* — (*už*)*miŋga* — (*už*)*migo* 'засыпать', так же *kýb-o-ti* — *kyb-o* — *kýb-o-jo* 'висеть, свисать' при *kibtì* — *kimba* — *kibo* 'повиснуть'; *klùpoti* — *klùpo* — *klùpojo* 'стоять на коленях (как бы споткнувшись)' в результате действия 'споткнуться' при *klùpti* — *klumpra* — *klùpo* 'споткнуться' и *klùpėti* — *klùpi* — *klùpėjo* такой же глагол состояния, что и *klùpoti*, с такими же семантическими вариантами суффиксов *-ē*- // *-ō*-, что и в древнегреческом.

(5) Следуя той же логике самой балто-славянской глагольной системы, следует выделить в литовском особую лексико-морфологическую группу глаголов с основой на *-s-ē-*: *dilgsėti, linksėti, striksėti, trinksėti, žliugsėti, žvilgsėti* и т. п. и видеть в их основе древний претерит на *-s-* («сигматический»). Как известно, литовский и славянский обычно считаются находящимися в дополнительном распределении по этой форме: в то время как в славянском сохранился аорист на *-s-*, но нет сигматического будущего (кроме отдельных, не вполне ясных, форм, например причастия буд. времени при глаголе «быть»), в литовском полностью сохранено сигматическое будущее, но — как предполагали — не было сигматического аориста. Приведенные формы доказывают его (дописменное, доисторическое) наличие в литовском языке: он включен в современную основу глагола.

Вообще, претериты нового образования в балто-славянском (все приведенные выше примеры и др.) при очерченном подходе предстают в новом свете — как составные формы, возникающие из сложения основ старого претерита с новыми суффиксами. Эти же факты становятся новым аргументом в пользу давно высказанной гипотезы о таком же происхождении имперфекта в старославянском и, возможно, латинского имперфекта.

Сам претерит на *-s-* стоит в связи с формами балто-славянского инфьюнктива, которые в современных литовском и русском языках сохранились в виде междометий (лит. *ištiktukai*, выполняющих функции предикатного слова: рус. один тип (на согласный): *прыг, бух, шмыг, скок, бац*; другой тип (на гласный *-и-*), тождественный форме повелительного наклонения (старого опатива): *приди, скажи, возьми*; например, *Тут заяц прыг и скрылся в кустах; Тут мальчик и скажи...*; *Скажи мальчик об этом раньше, не было бы беды*. Литов. один тип (на корневой согласный), соответствующий корню непроизводного глагола: *lùp, trùkt, tèp, tùp* и т. п.; другой тип (на *-s-*), соответствующий основе как инфьюнктива, так и претерита на *-s-* (сигматического претерита): *káls, kils, veĩks, dirbs* и т. п. (в деталях см. [Степанов 1981. С. 120—122]). На базе последнего и происходила подстройка новых претеритов со значением нового перфекта, т. е. состояния (3-й фазы), наступившего после действия (2-й фазы); *link=s* инфьюнктив (и он же предикат) со значением недлительного действия, в данном случае «краткого наклона (головы или всего тела)»: (1) инфьюнктив-предикатное слово *link=s* → (2) **link-s-ē* претерит, т. е. предикатное слово + присоединенная морфема претерита (по типу *vedē*) → (3) новый глагол со значением состояния (3-й фазы) *link-s-ėti* → (4) «новый перфект», т. е. претерит к новому глаголу состояния *link=s-ē=jo* '(он) поминутно кивал головой' или '(он) поминутно наклонялся и выпрямлялся' ('находился в таком состоянии, что поминутно... и т. д.'). Формы типа (4) составляют полный параллелизм к славянским имперфектам, т. е.

славянским «новым претеритам» типа $=\check{e}=ax\check{h}$. Эти же формы составляют достаточно хорошие параллели к греческим синонимичным претеритам на $-\epsilon$, $-\delta$ (см. выше).

В литовском языке имеются полностью синонимичные глаголы (3-й фазы), отражающие синонимию претеритов: *dygsėti // dygsóti, dingsėti // dingsóti, dunksėti // dunksóti* и т. п. [Skardžius 1943. P. 528].

(6) Вышеназванные положения ЮС привели его к новому взгляду на реконструкцию балто-славянской глагольной системы, а далее и синтаксиса, причем он радикально разошелся с А. Мейе (вообще остающимся для ЮС высочайшим авторитетом). В своей знаменитой книге «Общеславянский язык» [Мейе 1951. С. 163], рассмотрев некоторые фрагменты глагольной системы, где корни дают по два или три глагола, более или менее сгруппированных вместе, А. Мейе формулирует свой тезис: «Отвлекаясь от этих групп, представляющих чисто лексикографический интерес, рассмотрим...» и т. д. — и переходит к морфологии. Это положение А. Мейе представляется в настоящее время полностью устаревшим: «отвлекаться» от лексических групп при рассмотрении грамматики нельзя. Глагольная система, по ЮС, должна описываться и реконструироваться как единство морфологических классов глаголов, соответствующих лексическим группам и словообразовательным моделям [Stepanov 1992]. (Последних, как известно, недостает даже в таком современном труде, как «Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд» под ред. акад. О. Н. Трубачева.)

II. Цикл работ по литовскому синтаксису (в связи с индоевропейским)

Система синтаксиса описывается и реконструируется ЮС как продолжение его описания балто-славянской глагольной системы. Базисный тезис ЮС здесь таков: балто-славянская грамматика пронизана противопоставлениями (их обозначение — VS) активного VS неактивного начал (в частности, «одушевленного VS неодушевленного»). (На этом же принципе построена в дальнейшем книга ЮС «Индоевропейское предложение» [Stepanov 1989].)

Совмещая элементы реконструкции синтагм и парадигм, — пишет ЮС [Stepanov 1978. С. 360—362], — мы можем выдвинуть следующую гипотезу. В прото-балто-сл. существовало два типа синтагм или простых предложений: 1) один тип состоял из сочетания одушевленного имени с глаголом соответствующей, «одушевленной» диатезы, иными словами, через все сочетание проходил «длинный» семантический компонент «одушевленность»; 2) второй тип состоял из сочетания неодушевленного имени с «неодушевленной» диатезой, т. е. «длинным» семантическим компонентом

была «неодушевленность». На определенном, позднейшем этапе происходит расподобление синтагмы, утрата семантического согласования имени и глагола, «прерывание» «длинного компонента». Это преобразование происходило двумя путями. При одном пути, славянском, семантический компонент — «одушевленность / неодушевленность» сосредоточился в имени, а глагол освободился от этого компонента; в результате создалась лексико-семантическая группировка имен на одушевленные и неодушевленные, в то время как глагол утратил различие «одушевленной» и «неодушевленной» диатез. При втором пути, балтийском, семантический компонент «одушевленность / неодушевленность» сосредоточился в глаголе, в результате создалось противопоставление глаголов по категории «одушевленная, или активная», диатеза (позднее развившаяся в нереходно-каузативную) — «неодушевленная» диатеза (позднее развившаяся в непереходную), различие же «одушевленности / неодушевленности» в балтийском имени было утрачено.

Славянский глагол, освобожденный от семы «одушевленности / неодушевленности», получил возможность сочетаться с различными субъектами, не изменяя своей формы, следствием чего было появление новых, «метафорических» типов синтагм (простых предложений), в которых одушевленное имя сочетается с «неодушевленным» по происхождению глаголом (типа *Дама тает; Я весь похолодел* и т. п.), и, напротив, неодушевленное имя сочетается с «одушевленным» по происхождению глаголом (типа *Солнце садится; Море смеется* и т. п.). В балтийском такую же возможность получило имя, освобожденное от семы «одушевленность / неодушевленность», вследствие чего создались аналогичные два «метафорических» типа высказываний. Отсюда следует, что высказывания с семантической структурой типа «Нечто неодушевленное действует активно» и «Нечто одушевленный действует пассивно (замыкает действие в самом себе)» в обоих языках являются метафорически производными. Свидетельством первого служит существование более старого типа *Молнией зажгло сарай* рядом с более новым *Молния зажгла сарай*. Свидетельством второго является производный характер «активно возвратных глаголов» — позднейшая подстройка частицы -ся: *Человек поднимается, моется* и т. п., лит. *Žmogus kėliasi, plaunasi*. В соответствии с русскими глаголами типа *подниматься* стоят по два литовских: *keltis* — при одушевленном субъекте, более новый, и *kilti* — при неодушевленном, более старый, рус. *Человек поднимается* так же, как *Буря поднимается* — лит. *Žmogus kėliasi*, но *Pūga kyla*.

Если использовать литовские формы, сохранившие более четкие, абстрактные противопоставления, то развитие можно резюмировать следующим образом. Первичные 6.-сл. типы простого предложения: I тип «Нечто одушевленный активно действует на объект», основы типа *lenk-*; II тип «Нечто

неодушевленное пассивно действует (закрывает действие в самом себе)', основы типа *link-*. Вторичные типы после утраты семантического согласования между именем и глаголом: Ia тип (формально тождественный I) 'Некто одушевленный активно действует на объект', *lenkti*, *-lenkia* 'гнет нечто'; Ib тип 'Некто одушевленный пассивно действует (закрывает действие в самом себе)', *lenktis*, *lenkiasi* 'гнется'; IIa тип (формально тождественный II) 'Нечто неодушевленное пассивно действует (закрывает действие в самом себе)' *linkti*, *linksta* 'гнется'; IIb тип смешанный 'Некто одушевленный действует подобно неодушевленному' или 'Нечто неодушевленное действует подобно одушевленному', от основы типа II, *linkėti*, *linki* 'Некто кланяется, выражает пожелания'; так же *byrėti*, *birenti* (при *berti* — *birti*), *skylėti* (при *skelti* — *skilti*) и т. п. К этому развитию можно указать греческие аналоги и частичные хеттские аналоги — связь активной диатезы глагола и «одушевленного» типа имени.

III. Цикл работ по литовским слоговым интонациям и акцентологии

(1) Как и вообще в литуанистической школе ЮС, эти его работы также исходят из наблюдений над живым литовским словом. В просодическом облике литовского слова, — отмечает ЮС, — прежде всего обращает на себя внимание наблюдателя его (слова) пластичность: просодический облик слова изменчив по диалектам и гибок в литературном языке. В литературном языке просодическим центром слова является ударный слог, несущий на себе отчетливо выраженную слоговую интонацию (акут или циркумфлекс в их «литовском» смысле, т. е. акут — сильноначальный, циркумфлекс — сильноконечный, как бы «обратное» тому, что имеем в древнегреческом), но в определенной мере по отношению к ударному слогу выравниваются и все остальные слоги. К. Буга так описывает это явление. Возьмем, говорит он, например, слово *vėgėlė* «налим» с ударением на последнем слоге (т. е. в форме им. ед.); «все предударные слоги, то есть *vė* и *gė*, имеют такую же интонацию, как и ударный *lė*, только более слабо выраженную» [Būga, 1961, 19]. Но в им. мн. ч. то же слово имеет ударение на первом слоге и сильно начальную интонацию (т. е. акутовую в литовском смысле): *vėgėlės*. Используя два знака, эти две формы можно записать так: *vėgėl'ė*, но *vė'gėlės*, иными словами, они различаются интонациями всех своих слогов, как ударных (это основное различие), так и безударных (это сопровождающее, индуцированное различие).

Пример К. Буги, однако, по мнению ЮС, не вполне ясен и даже двусмыслен. Во-первых, Буга записывает им. мн. указанного слова с интонацией акута на первом слоге, в то время как современные нормативные словари дают здесь интонацию циркумфлекса, т. е. *vėgėlės* против *vėgėl's* у

Бути. Во-вторых, поэтому именно из этого примера неясно, выравниваются ли интонации по интонации ударного слога или же только по направлению к месту ударного слога. Первый случай сам К. Буга не рассматривает, и мы говорим здесь о нем лишь как о чисто теоретической возможности. Однако в истории литуанистики известны факты, когда она могла быть принята во внимание. Так, например, Л. Ельмслев сформулировал закономерность, согласно которой «всякий ударный слог принимает интонацию непосредственно следующего за ним слога (т. е. слога „справа“.—Ю. С.)» [Hjemslev, 1932. С. 5 и 234]. Эта закономерность, если она действительно подтвердится на достаточном материале (что, кажется, до сих пор не обследовано), может принадлежать, конечно, только к области живой актуальной деривации, словопроизводства и, следовательно, относиться к сфере метатонии. Но примеры в таком случае могли бы быть очень разнообразны: 1) *kója* → *pakójuĩ* «нога» → «нога в ногу» (наречие); *pakðjė* ‘место у ног под ногами’; при интонации суффиксальных элементов *-ũĩ* (*pakeliũĩ*), *-ė* (*garbė*); 2) *ėsti ėda* «есть, ест» → *ėdesis* «корм» и т. д. Обычно метатония происходит от акута к циркумфлексу, но правило Ельмслева (или, как некоторые говорят, «закон Ельмслева») позволяет объяснить и такой редкий случай обратного, как *garbė* → *garbė-myla* «честь» → «честолюбие», который в ином контексте рассматривается также Е. Куриловичем [Kuryłowicz, 1934. Р. 26]. Метатония вообще — это мена интонации в одном корне, принадлежащем двум разным словам — исходному и производному, т. е. явление, лежащее в плане парадигматики. Здесь же налицо метатония, определенная дополнительным условием — гармонией получающейся новой интонации с интонациями других слов того же слова, т. е. явлением синтагматики, что можно было бы назвать ассимиляцией по интонации соседних слогов. Объяснять метатонию этого типа таким образом кажется более естественным, чем применяя понятие «доминация» имманентных интонаций, или «валентность».

Второй случай, о котором говорит на этот раз и сам Буга, иной: интонации безударных слогов выравниваются по направлению к ударному слогу, как бы фонетически «клонятся к нему», т. е. все предударные слоги будут иметь интонацию сильноконечную (циркумфлекс), а все заударные — сильноначальную (акут), какова бы ни была интонация ударного слога. В условной записи это можно изобразить так (ударный гласный изображен прописной буквой): *rð-rð-rO:* (1), но *rO-rð-rð* (2). Такое соотношение было бы ожидаемым с точки зрения «естественной» индоевропейской фонетики, что делается очевидным, если записать те же примеры в морфологической форме («чашка») означает одну морфемную, вертикальную черту — границу слога):  |  |  (1);  |  |  (2). Иктусы (сильные доли) долгих гласных стремятся занять позицию, ближайшую к основному ударе-

нию (его слог обозначен двумя более черными «чашками»), т. е. получаются циркумфлексы во всех предупдарных слогах (1) и акуты во всех заударных (2) [Степанов 1997. С. 69–70].

Вышеприведенный абзац — это комментарий ЮС к «правилу К. Бути». Но имеются, — отмечает тут же ЮС, — практические описания, вполне соответствующие этому. Так, например: «В неударных слогах интонации не обозначаются по той причине, что они и без того ясны. Обычно все долгие слоги перед ударением имеют сильноконечную интонацию (циркумфлекс. — Ю. С.)» [Kamantauskas, 1928. Р. 7]. В настоящее время имеются более детальные описания этого явления, не отрицающие, однако, «правила К. Бути» [Pakerys, 1982; Гаршва, 1977; Girdenis, 1981. С. 190].

(2) В силу пластичности литовского слова, отмеченной выше, в пункте (1), ЮС с самого начала (его первая работа по этой тематике опубликована в 1972: Степанов 1971) стал стремиться к разделению изменчивого и достаточно зыбкого фонетического представления слова, с одной стороны, и, с другой стороны, его более инвариантного абстрактного представления. Описывая по этим двум уровням передвижение ударения в литовском глаголе «справа налево», от конца слова к его началу, что отмечено на всей территории Литвы в разной степени, ЮС дал опыт представления этого процесса и метатонии как двух сторон одного и того же процесса (см. схему на следующей странице) [указ. раб. 1972. С. 177].

(3) На основании того, что изложено им в названных работах (см. пункт 2 выше), ЮС считает возможным **объяснить закон Лескина** [Leskien 1881] как древнейший (возможно, начальный) этап всей изложенной группы явлений. Как известно, по закону Лескина, «в конечных исконно долгих слогах слоги с циркумфлексной интонацией (*geschiiffener*) сохранили исконную долготу, в то время как слоги с акутовой (*gestossener*) интонацией сократились». По мнению ЮС, во всех слогах, описываемых законом Лескина, произошла метатония, но если слог с индоевропейским акутом, т. е. с восходящим движением — с иктусом на конечной море, перемещая иктус влево, становился слогом с сильной нисходящей интонацией (каковым он и является в историческом литовском — в неконечной позиции), и при этом в конечной позиции терял освобожденную от иктуса мору, сокращался, то слог с индоевропейским циркумфлексом и, возможно, с большей долготой (три моры в циркумфлексе против двух в акуте), перемещая иктус влево и теряя одну мору, оставался долгим, но при этом превращал свою интонацию в восходящую, чем и объясняется «обратность» литовских интонаций сравнительно с индоевропейскими (и.-е. акут — восходящая, литовский акут — резкая нисходящая; и.-е. циркумфлекс — нисходящая, литовский циркумфлекс — плавная восходящая).

Схема. Сдвиг ударения влево и метатония в литовском глаголе (модель)

Примеры	Моры				Этапы
	4 ^я	3 ^я	2 ^я	1 ^я	
1. pa-bēc-ga < *pa-beē-ga	⌣	⌣	⌣	⌣	I. Сдвиг на 1 мору влево
2. pa-geĩ-džia < *pa-gei-džia	⌣	⌣	⌣	⌣	
pa-šau-kia < *pa-šau-kià	⌣	⌣	⌣	⌣	
3. *pa-vē-da < *pa-ve-dà		⌣	⌣	⌣	II. Сдвиг на 2 моры влево (через промежуточный сдвиг на 1 мору)
4. pà-ve-da < *pa-vē-da		⌣	⌣	⌣	
5. nù-s-ve-da < nu-sì-ve-da	⌣	⌣	⌣	⌣	III. Сдвиг на 3 моры влево (через промежуточный сдвиг на 2 моры)
6. pà-šau-kia < pa-šau-kia	⌣	⌣	⌣	⌣	
pasigeidžia < pasigeĩdžia	⌣	⌣	⌣	⌣	
					Резюме:
				⌣	до начала метатонии
			⌣		I
		⌣			II
	⌣				III

Над более детальным описанием этих процессов ЮС работает в настоящее время.

Литература

Гаршва 1977 — Гаршва К. Слоговые акценты в фонологической системе (на материале литовского языка). Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1977.

Степанов 1972 — Степанов Ю. С. Ударение и метатония в литовском глаголе // Baltistica. I Priedas, 1972.

- Степанов 1975 — Об исторической зависимости между балтийской категорией переходности-непереходности и славянской категорией глагольного вида // III Всесоюзная конференция по балтийскому языкознанию. Сент. 1975 г. Тезисы докладов. Вильнюс, 1975.
- Степанов 1976: Вид, залог, переходность (Балто-славянская проблема. 1) // Известия АН СССР, Сер. литер. и яз. 1976. Т. 35, № 5.
- Степанов 1977: Вид, залог, переходность (Балто-славянская проблема. 2) // Известия АН СССР, Сер. литер. и яз. 1977. Т. 36, № 2.
- Степанов 1978: Славянский глагольный вид и балтийская диатеза (проблема общего генезиса и реконструкции) // Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов. Загреб — Любляна, сент. 1978 г. Доклады сов. делегации. М., 1978.
- Степанов 1981: Балто-славянский инъюктив и сигматические формы // *Baltistica* XVII (2), 1981.
- Степанов 1989: Индоевропейское предложение. М., Наука, 1989.
- Stepanov 1992 — *Stepanov Yu. S.* Lexical entries in major sentence types of Proto-Indo-European // *Trends in Linguistics. Studies and Monographs* 58. Reconstructing languages and Cultures. Edgar C. Polomé, Werner Winter (editors). Berlin — New York, Mouton de Gruyter, 1992.
- Būga 1961 — *Būga K.* Rinktiniai rastai. T. III. Vilnius, 1961.
- Girdenis 1981 — *Girdenis A.* Fonologija. Vilnius, Mokslas, 1981.
- Hjelmslev 1932 — *Hjelmslev L.* Études baltiques. Copenhagen, Levin & Munksgaard, 1932.
- Kamantauskas 1928 — *Kamantauskas V.* Trumpas lietuvių kalbos kirčio mokslas. 1 dalis: Teorija. Kaunas, 1928.
- Kuryłowicz 1934 — *Kuryłowicz J.* L'indépendance historique des intonations baltiques et grecques // *BSL*, 1934. T. 35, fasc. 1.
- Leskien 1881 — *Leskien A.* Quantitätsverhältnisse im Auslaut des Litauischen // *Archiv für slavische Philologie* (Berlin). Bd. V, 1881.
- Pakerys 1982 — *Pakerys A.* Lietuvių bendrinės kalbos prozodija. Vilnius Mokslas, 1982.
- Skardžius 1943 — *Skardžius P.* Lietuvių kalvos žodžių daryba. Vilnius, 1943.

Когда и как появились первые христианские молитвы на литовском языке?

Ученых давно интересует вопрос, почему литовская формула крестного знамения отличается от той, что используется другими народами. Литовцы крестятся *Vardan Dievo Tėvo...* — *Во имя Бога Отца...* В текст формулы входит слово «Бога». Поляки крестятся *W imię Ojca...* Слова «Бога» нет. Ср. лат. *In nomine Patris...* Здесь тоже нет слова «Бога». Почему же литовцы в начало формулы крестного знамения вводят слово «Бога»? Это ведь не просто слово, а *Бог*, неуместное употребление которого в старину могло повлечь за собой неприятные последствия. У появления этого слова в формуле крестного знамения, таким образом, должны были быть веские причины. Это загадка, которая давно не давала мне покоя.

Анализ большого числа формул крестного знамения различных народов показал, что формулу со вставкой *Бог* до сих пор используют латыши и использовали исчезнувшие в начале XVIII в. пруссы. Эти народы были крещены немцами. Естественно, наше внимание привлекла немецкая формула крестного знамения. В настоящее время немцы, крестясь, слово *Бог* не произносят, но есть достоверные данные (Mažiulis 1955) о том, что ранее они включали его в канонический текст. Как выяснилось, это обстоятельство связано с арианством, со своеобразной трактовкой Св. Троицы в данном ответвлении христианства. Арианство процветало в IV в., однако пережитки его еще долгое время спустя сохранялись в Германии, а с ними и вставка *Бога* в формуле крестного знамения. Имела место она и в XIII в., когда были крещены вышеназванные народы, и в таком виде формула была переведена на их языки. Именно тогда должна была появиться и литовская формула крестного знамения с указанной вставкой. Она, несомненно, была переведена с немецкого языка, поскольку другие наши соседи не включали слово *Бог* в формулу крестного знамения.

Появление литовской формулы крестного знамения связано с крещением Миндаугаса (Миндовга). На литовский язык ее перевели францисканцы,

прибывшие в Литву из Риги. Тогда были крещены не только правитель Литвы Миндаугас и его семья, но и множество людей из его окружения, литовских вельмож того времени. Искра христианства в Литве не угасла. В период второго крещения Литвы, во времена Йогайлы (Ягелло) и Витаутаса (Витовта) Великого, формула крестного знамения не была изменена (несмотря на то, что начало ей положила арианская ересь!), поскольку к тому времени она получила широкое распространение: в одном только Вильнюсе (Вильне) уже действовали три костела и францисканский монастырь. Видимо, на «еретическую» формулу махнули рукой, посчитав, что есть более важные дела. В наше время Ватикан апробировал формулу крестного знамения со вставкой, поскольку сейчас уже нет нужды бороться с арианством. Эта формула является важным документом истории крещения Литвы.

Сохранилась и еще одна отличительная особенность литовской формулы крестного знамения, свидетельствующая о ее переводе с немецкого языка. Это отсутствие союза *ir* 'и' перед словом *Sūnaus* 'сына' (*Vardan Dievo Tėvo, Sūnaus...* — *Во имя Бога Отца, Сына...*), характерное для древней немецкой формулы крестного знамения и более ранних записей литовской формулы, sporadически встречающееся, однако, в Литве до сих пор.

Разгадка тайны литовской формулы крестного знамения позволяет обратиться к следующей проблеме: когда и где появились первые христианские молитвы на литовском языке? Трудно себе представить, что Миндаугас и литовских вельмож крестили, когда те умели лишь совершать крестное знамение и знали его словесную формулу. Нужно было позаботиться и о литовских переводах для новообращенных важнейших молитв, хотя бы общеупотребительных («Молитва Господня», «Молитва Пресвятой Богородице», «Символ веры» и т. п.). Доскональный анализ общеизвестных литовских молитв, сравнение их с аналогичными христианскими молитвами на других языках подтверждают это предположение. Бытовавшее до сих пор мнение, что общеизвестные молитвы на литовский язык перевел король Йогайла, должно быть опровергнуто уже в силу того, что нигде в мире короли переводом молитв не занимаются. Однако еще важнее то, что в литовских общеизвестных молитвах, особенно в старейших их письменных фиксациях, есть фразы, которые никоим образом не могли быть переведены с польского языка, но совпадают с соответствующими фразами немецких молитв XIII в. Это доказывает, что не только формула крестного знамения, но и общеизвестные христианские молитвы были переведены с немецкого языка во времена короля Миндаугаса.

В книге, над которой я сейчас работаю, будет представлен подробный анализ языка общеизвестных литовских молитв. Их фразы будут сопоставляться с немецкими, польскими, а при необходимости — и с соответствиями

на других языках, что будет способствовать выявлению их происхождения. В данной статье мы ограничимся лишь несколькими примерами из числа не самых сложных.

Возьмем фразу из «Символа веры»: *Tikiu (j)... ir žemeės Sutvėrėją — Верую в... Творца неба и земли*. На месте слова *sutvėrėjas* 'творец' в старинных записях этой молитвы находим слово *darytojas* 'создатель', соответствующее средневековому немецкому *schepher*, современное *Schöpfer*. В литовских общеизвестных молитвах слово *darytojas* сохранилось до конца XVII в. Наряду с ним использовалось и слово *sutvertojas*, калькированное с польского *stworzyciel*, которое со второй половины XVII в. вытесняет прежнее *darytojas*. Сменившее их и сохранившееся до наших дней слово *sutvėrėjas* утвердилось поздно, лишь в начале XX в.

Второй пример — фраза из «Молитвы Господней» *Teesie Tavo valia — Да будет воля Твоя*. Это фраза вторичного происхождения, появилась она вслед фразе из польских молитв, ср. *Bądź wola Twoja*. Слово *valia* 'воля' соответствует польскому *wola*. Однако в катехизисе Мяркелиса Пяткявичюса (Меркеля Петкевича) 1598 г. (второй литовской печатной книге Великого княжества Литовского) в одном из вариантов этой фразы вместо слова *valia* находим *noras* 'желание' (р. 10₁₆), соответствующее немецкому *Wille* 'желание' в данной молитве. В помещенном параллельно литовскому польскому тексте катехизиса Пяткявичюса употреблено слово *wola*. Само собой разумеется, что Пяткявичюс не мог польское *wola* перевести литовским словом *noras*. Следовательно, он не переводил эту молитву с польского языка, а поместил ее в том виде, в каком она бытовала, унаследованная из прежних времен. Об этом же свидетельствует и довольно хороший, правильный, архаичный язык молитвы, хотя катехизис Пяткявичюс перевел дословно с польского, и в основной своей массе это ломаная, сильно жаргонизированная литовская речь. Общеизвестные молитвы представляют собой явное исключение в контексте всего катехизиса.

Рассмотрим еще приветственную фразу Ангела *Tu pagirta tarp moterų — Восхвалена Ты в женах*, употребляемую в молитве и по сей день. Ни в одном из языков эта фраза молитвы не содержит слова 'восхвалена' — лит. *pagirta*. Всюду находим «благословенна», ср. польское *biogostawiona*, латинское *benedicta* и т. д. Откуда же появилось литовское *pagirta*? На наш взгляд, из-за неверного перевода немецкого *gebenedeit* (unter den Frauen). В немецкий язык это слово попало из латинского (от лат. *benedicta*) через посредство итальянского, поэтому немцам было нелегко его понять. Переводили его поморфемно, по образцу латинского *benedicta*: *bene* 'хорошо' + *dicta* 'сказана', то есть 'восхвалена'.

Таких и подобных им примеров можно привести немало. Они доказывают, что литовские общеизвестные молитвы были действительно переведены с немецкого еще во времена Миндаугаса, в период первого крещения Литвы, и лишь позднее их заметно полонизировали. Само крещение времен Миндаугаса было для Литвы весьма значительным событием. В Средневековье страна считалась христианской, если ее правитель был христианином. В правление Миндаугаса Литва трактовалась как христианское государство. После убийства Миндаугаса ее снова возглавили нехристианские правители, поэтому Литва опять стала восприниматься как страна нехристианская. Утратила она и статус королевства. Непрерывная традиция христианских правителей началась лишь после второго крещения Литвы во времена Йогайлы — Витаутаса. Такова значимость этого второго крещения. Однако страна и после этого второго крещения в действительности еще не стала христианской, оставаясь наполовину языческой. Окончательно Литва была христианизирована только после Реформации, и совершили это в основном учрежденные иезуитами миссии.

После второго официального крещения Литвы, как уже отмечалось, молитвы стали полонизировать, точнее, сближать их с польскими молитвами. В отношении языка они заметно разнились в Вильнюсской (Виленской) и Жемайтийской (Жмудской) епархиях, а также в Прусском княжестве.

Общеизвестные молитвы, бытовавшие в Вильнюсской епархии, представляли собой прямое наследие времен Миндаугаса. Молитвы Жемайтийского края появились после второго крещения Литвы, с образованием здесь епархии. Они не переводились заново, а вели свое происхождение от молитв, бытовавших в Вильнюсской епархии, с соответствующей адаптацией фонетики, морфологических форм и лексики к говорам низменностей центральной Литвы. Эти говоры позднее послужили основой для создания использовавшегося в Жемайтийской епархии письменного языка, который с современной точки зрения является аукштайтским (см. об этом Zinkevičius 1974; 1996, 221—226, 246—250).

Литовцы, жившие в Прусском княжестве, или Малой Литве, получили молитвы на родном языке, по-видимому, лишь в период Реформации, эти молитвы в Пруссию были перенесены из Литвы. До тех пор завоевавшие Прусское княжество крестоносцы не отличали, либо с трудом отличали, литовцев от пруссов и специально для местных литовцев молитв не переводили, во всяком случае следов подобных переводов не удалось обнаружить ни в памятниках письменности XVI в., ни в более поздних.

В начале XVIII в. в связи с переходом просвещенной части жителей Вильнюса на польский язык некому стало писать литовские религиозные книги для прихожан этой епархии, и они были вынуждены пользоваться ре-

лигиозной письменностью Жемайтийской епархии, которая из-за языковых различий была им не вполне доступна. Старый письменный язык Вильнюсской епархии, а вместе с ним и основные молитвы перестали функционировать (Zinkevičius 1996, 250–255), ускорив тем самым процесс утраты национальной идентичности жителями этой епархии.

Современные литовские общеизвестные молитвы своим происхождением обязаны тем, которые ранее бытовали в Жемайтийской епархии, лишь их речевое выражение позднее было приведено в соответствие с нормами современного литературного языка, берущего свое начало в Малой Литве.

Заметно ополченные литовские общеизвестные молитвы вновь были литуанизированы накануне Первой мировой войны усилиями ксендза Юозаса Лаукайтиса. Велики заслуги в этой области созданной по его инициативе комиссии, специально занимавшейся ревизией литовских молитв и осуществившей первую существенную их правку, которая была продолжена после Первой мировой войны уже в независимой Литве. Вторая важная правка молитв была проведена около 1962 г., когда были уточнены и даже изменены некоторые фразы.

Литература

- Mažiulis, Antanas, 1955: Lietuviškasis *Wardan Diewa Tėwa*, Aidai, № 3, 103–110.
- Zinkevičius, Zigmas, 1974: Quelques remarques sur les sources de la langue des écrits lituaniens au XVI^e et au XVII^e siècles», *Studia indoeuropejskie—Études indo-européennes*, Kraków, 315–320.
- Zinkevičius, Zigmas, 1996 (и 1998): *The History of the Lithuanian Language*. Vilnius: Mokslo enciklopedijų leidykla.

Об изменении форм среднего рода в жемайтских говорах

В нашем литературном языке (и в большей части аукштайтских говоров) употребляются безличные предложения с причастием в форме им. п. мн. ч. с окончанием *-ę*: *Taip yra buvę*. 'Так было' *Senovėje sakę esant visokių vaistų*. 'Говорят, в прошлом были разные лекарства' *Taip virę, nieko čia nepadarysi*. 'Так получилось, ничего тут не поделаешь' *Jau buvo prašvītę, kai atsikėliau*. 'Уже рассвело, когда я встал' и т. п. Это формы бывшего среднего рода (Endzelīns, 1948, p. 228; Otrębski, 1956, p. 257; Zinkevičius, 1964, p. 381–382; Zinkevičius, 1981, p. 145, 150). В нашей исторической грамматике этот факт стал уже не подлежащей сомнению аксиомой.

В жемайтских говорах (и близких к ним западноаукштайтских) формы среднего рода чаще всего заменяются на прилагательные женского рода в форме именительного падежа ед. ч. (это зафиксировано и исследовано нашими специалистами-диалектологами: Gerullis, Stang, 1933, p. 37–38; Jonikas, 1939, p. 48; Zinkevičius, 1964, p. 1964, p. 268–269 и др.). Причастия бывшего среднего рода в говорах изменяются по-разному.

а) Восточные жемайтские говоры (в окрестностях Акмяне, Векшняй, Тришкяй, Эйгирджай, Рауденай, Ужвентиса, Варняй, Куртувеная, Кельме и др.) в таких случаях используют упомянутый именительный падеж ед. ч. женского рода прошедшего однократного времени: *v'is'ì žinuom / n'ed'ir'p'si / n'e'į'ies'ì / tã'p'ĩ būvus'ì; būva pas'n'igus'ì i pat'izus'ì / n'e'ĩ.k's'en'ì n'iekuĩ.*; *tã'p'ĩ'r'v'ĩr.tus'ì / s'ė.nc užmušams ir ap'ip'ĩ'iesams; i n'epraš'v'itus'ì / k'ė.l'k'ė's su sprã'g'elū tvã't'ĩ't'ĩ* (Krš) 'все знаем: не будешь работать, не будешь есть — так было (букв. бывшая); шел снег (букв. шедшая) и размякло (букв. размякшая), не ходи, старик никуда; так получилось (букв. получившаяся): старого убивают и грабят; и не рассвело (букв. не рассветшая) — вставай цепом бить' *bõ.va p'r'it'ė.ļos'ė / n'epšã.ud'ė / es'ĩ'ĩnkũom lãukũo; pašã'ļos'ė / pas't'ĩrõs'ė / n'ėb'r'ėik põr'v'ĩ'na taš'k'ĩ't'ė; á.udra / kas m'iedž'ũ p'r'iv'ėrtõs'ė* и др. (Pvn) 'все стихло (букв. стихшая), не стреляли — мы выползли; замерзло (букв. замерзшая), затвердело (букв. затвердевшая (грязь)) — больше не нужно грязь мешать; буря, вывернуло (букв. вывернувшая) деревья' *v'ėšõ'r*

pris'm'ērdos'e / tūo muon'ējē ka ōž'v'erstā; ai's'ē.los'e / jau sāl't'is sprūog'es; s'i m'ēta l'īn / v'ērt / eš'm'ērkos'e / jē'va n'ēb'ēbūs (Užv) 'всюду навоняли (букв. навонявшая) этого амониака налили; потеплело (букв. потеплевшая), холод внезапно исчез; в этом году дожди, ветер, слякоть — хлеба не будет; *sut'ēmus'i / kuř. b'ēis'i tuok'ūo tum's'ā.us'uo* (Šauk, дер. Варпутену) 'стемнело (букв. стемневшая), куда же пойдешь в такой темноте'; *vėskās sokr'i'pos'e / n'ēb'te duorūos n'ie ōš tuorūos; e laš'ē'l'e n'enū vā.ru / eš'k'ē'pos'e ežbō.vos'e; dō m'ien'es'ō kapjē n'el'ē.jos'e; v'ēsā'p ī bō.vos'e / tā.rpā's g'ērā / tā.rpā's v'ēsā sorū.gos'e čē ni žmūogā.us prūota pār'ēin* и т. д. (Rdn) 'все испортилось (букв. испортившаяся), нигде нет правды; и капли не упало: запеклось (букв. запекаящаяся), высохло (букв. высохшая), два месяца как не было дождя; всяко бывало (букв. бывшая) — временами хорошо, временами совсем кисло (букв. скисшая) [в семье], это от человека зависит'; *t'r'ēč'ūo jau p'r'ib'r'ieškos'e / t'ēik tūos d'ēinūos ad'v'ē'n't'e; jau ta(p) bō.vos'e pri kolkūoza prādž'ūos / puo d'ēdž'ūoje v'ēž'ē.ma; pal'ē.jos'e / žuol'ē.k'es gā.lv'el'es jau pak'ielos'es* (Trš) 'в три часа уже стемнело (букв. стемневшая), сколько дня-то во время Адвента; уже так было (букв. бывшая) когда начинались колхозы, после больших ссылок; после дождя (букв. полившая) травки головки уже подняли'; *pri mūsa n'el'ē.jos'e / uo p'r'i ōž'v'ē'n't'e g'ēruokā ōš'p'ēltā; nušā'los'e / ž'i d'ēl'ē sōs'etra.uk'ē.n / n'ebūs vāis'ō* (Varn) 'у нас не шел дождь (букв. не лившая), а около Ужвенчиса хорошо пролилось; похолодало (букв. похолодавшая), цветочки съезжились — не будет плодов' и т. д. Приходилось слышать, как говорят и в окрестностях Шакины (*po' šálno's / rabā'lus' i pašā'lus' i v'isur / nēb'ē'pur'v'i na* 'после заморозка побелело (букв. побелевшая), замерзло (букв. замерзшая) везде, нет больше грязи' (район Шяуляй, дер. Раканджю), в окрестностях Загаре *prašvītusi / i kūt's'i / duos'i su sprag'il'ē'l'i* 'рассвело (букв. рассветшая), и будешь молотить, бить цепом' (дер. Дамеляй) и в окрестностях Кузай *praš'vītusi i kē.l'k'is / sprā'g'ela i rañ.kas ir i já.ije* 'рассвело (букв. рассветшая), и вставай — цеп в руки' (дер. Вербунай). Здесь действует одно правило: *grāžū → graži* 'красиво → красивая'; *š'ēñ. d'in s'il.tā / grāž'ē* 'сегодня тепло, красиво (букв. красивая)' (Krš); *šāltā → šaltā* 'холодно → холодная': *nū pāt r'ī.ta šāltā / g'elō n'it'ē* 'с самого утра холодно, морозно (букв. морозная)' (Rdn), и это *pašālē → pašālusi* 'похолодало → похолодавшая', *pribrėškē «pritemę» → pribrėškusi* 'стемнело → стемневшая', *paliję → palijusi* 'пошел дождь (букв. полилось) → полившая' и т. д. Довольно часто здесь употребляется и форма местного падежа ед. ч.: *pal'ijos uo kā'p e s'l'ī'd'i važ'ut'i* 'после дождя (букв. в полившей) так скользко ехать' (Krš); *p'r'it'ē'mos'ūo n'eskait'ik / apā'ks'i* 'в темноте (букв. в стемневшей) не читай — ослепнешь' (Rdn); *pašā'los'ūo tā'p kaukš'iesma sō klum'p'ōkā's* 'после похолодания (букв. в похолодавшей) так

застучим деревянными башмаками' (Trš); *p'r'it'los'uo jōu gal'i pagalvot'ę* 'в тишине (букв. в стихнувшей) лучше можешь думать' (Pr) и т. д.

б) В западных жемайтских говорах (Швекшна, Вейвирженай, Юдренай, Эндревас, Паюрис, Гардамас, Гардждай и др.) вместо формы бывшего среднего рода причастия прошедшего времени с окончанием -ę употребляются сочетания с концевкой -*usiai* (-*os'ę*): *tēp i s'l'inkosē vės-kās nu vėina dā.rba pri k'ė.ta* 'так все переходили (букв. прохोдивши) от одной работы к другой' Edr; *prā.ta mē.ta i krū't'is* [moterims] *bō.va is'em'ā tos'ę v'iez'ū m* 'в прошлом году в грудь (женщинам) попал (букв. попавши) рак' Jdr (дер. Даускяй); *bō.va jau nusausos'ę / ę v'iel l'īn* 'уже было сухо (букв. высохши), и опять дождь' (там же); *č'e bō.va es'k'ertos'ę* [miškus] / *m'ėnkā babō.va* 'здесь вырубали (леса), мелкие только были' Jdr (дер. Леленай); *i'ėn pabā dz'os'ę / i'ėn k'et'ēp / ę pāsakūs* 'там почудилось (букв. почудившись), там иначе — и будет рассказывать' Jdr (дер. Матайчяй); *č'e bō.va s'ėrnū'n ožejos'ę* 'сюда кабаны заходили (букв. заходивши)' Jdr (дер. Шлепштикай); *an'ėi c'ėb'er'ę bōvos'ę* 'они в Сибири были (букв. бывши)' Jdr (дер. Даускяй); *n'ė brō.nc n'ėbūtō m es'kraps't'os'ę* [iš naujos trobos] / *je būtom'ė m g'iv'ėn'ėn* 'сам черт бы из избы не выгнал (букв. выгнавши), если бы жили (в своей избе)' (там же); *rās'et būtō m g'er'au bōvos'ę m'er't'ę* 'может лучше было (букв. бывши) бы умереть' Vvr; *nabō.va bōvos'ę / ka ba bā.tu negalieto ne pro ō.nga es'ėte* 'никогда так не было (букв. бывши), чтобы без обуви нельзя было бы выйти' Vvr (LKT91); *vės.p i bōvos'ę / al'ė vės blúogā* 'всяко бывало (букв. бывши), да все плохо' Grdm (дер. Юшкайчяй); *ėjūot pašā los'ę / s'l'id'ė lābā bōvos'ę* 'шли после похолодания (букв. похолодавши), скользко (в говорах *slydi* 'скользящая' жен. р.) очень было (букв. бывши)' (там же); *kolegānu priv'ėsos'ę ba gā.la* 'хулиганов развелось (букв. разведшись) много' Šv (дер. Блюдсукая); *mōn'i bō.va es'ėv'adōs'ę tā.rd'it'ę* 'меня увели (букв. уведши) на допрос' Šv (дер. Вилку Кампас); *bō.va kūojės ap'temos'ę* l'ę(g) k'ė'l'u [nuo nerų] / *ę dabā dār naesetā.sa* 'ноги окоченели (букв. окоченевши) до колен, и сейчас еще не отошли' (там же); *bagal'ėn'ė bō.va ož'v'ertōs'ę šárnū* 'огоромное количество кабанов появилось (букв. появившись)' Šv (дер. Будвечяй) — LKŽXIX603; *nag'erū'n žmūon'ūn tā.p stā.g'ę ac'erā dos'ę* 'нехорошие люди так внезапно появились (букв. появившись)' Šv (дер. Блюдсукая); *bō.va ap'ėb'r'indos'ę / ka par'ė jūot* 'сырости поубавилось (букв. поубавившись), когда мы пришли' Šv (дер. Стрипейкай) и т. д.

В нашем языкознании этот второй случай известен в меньшей степени и никем еще изучен не был. В настоящее время чаще встречаются попытки доказать вообще существование среднего рода у прилагательных (А. Valeckienė, 1985; А. Valeckienė 1998; D. Tekorienė 1990), и совсем нет исследова-

ний того, как он заменяется на наречия, прилагательные, причастия или употребляется в роли наречия, как в обсуждаемых здесь примерах. Возможно, в эти примеры были включены и формы деепричастий, выраженные впоследствии наречиями по примеру других наречных форм (*ar graži taip daryti* → *a grāžē tāp darīt* 'красиво ли так поступать'; *čia nuobodū* → *ē'e nu būd'e* 'здесь скучно' и др.) Здесь причастные наречия прошедшего времени получили форму именительного падежа мн. ч. действительного причастия прошедшего времени и имеют определенную стилистическую окраску — способ действия как бытия, известного по рассказам определения, оценки, констатации. Это показывают и такие утвердительные предложения, как *ōnc rāša tāp v'ērtos'ē* 'пишет так криво' Šv (дер. Будвечяй); *kāp ē'e pakrīt'pos'ē pastat'ē* 'как ты тут криво поставил?' (там же); *pas't'ēpos'ē nāgrāžē kālbā* 'бешено некрасивый язык' (там же), где форма именительного падежа этого причастия не заменена на причастное наречие. Частое употребление таких форм могло обусловить и более частое употребление частицы *-ai* в жемайтских диалектах: в предлогах *ōncā* 'он', *kōrsā* 'который', *tāsā* 'тот' и др., в третьем лице настоящего времени глаголов *īrāi* 'есть', *k'ēlāi* 'поднимает', *v'ēlāi* 'мнет' Дарбенай Кретинга, Картена Гардждай и др., в возвратных формах: *šnēkā's / šn'ēkā's* 'говорит (с кем-то)', *p'ēšā's / p'ēšā's* 'дерется', *dēdā's / d'ēdā's* 'происходит, девается' (во многих тельшайских говорах) и т. д. Одна фраза из «Хрестоматии говоров литовского языка» и представленные в томах LKŽ XVIII и XIX примеры такого рода не могут во всей полноте проиллюстрировать это явление, поэтому здесь описаны и представлены данные, зафиксированные еще в 1963–64 гг. и позднее. Часть примеров из Šv (дер. Стрипейкяй) и Вилку Кампаса в 1999 г. записала и любезно предоставила лексикограф А. Юдейкене. Более широкая тема «Исчезновение среднего рода и приспособление его к системе говоров» еще ждет своих исследователей (по материалам говоров или письменным источникам).

Это изменение форм среднего рода произошло, как показывают подобные случаи, довольно давно, когда еще не исчезло значение среднего рода форм *būvę* 'бывший', *šaukę* 'зававший', *vaftę* 'ворочавший', — до появления письменного литовского языка (уже очень давно литовцы не воспринимают эту форму как средний род, однако используют в аукштайтских говорах и иногда в литературном языке с обоими родами существительных: *nudžiūvę medžiai* 'засохшие деревья' и *nudžiūvę* (должно было бы и в литературном языке быть *nudžiūvusiois*) *šakos* 'засохшие ветви').

Перевод с литовского М. В. Завьяловой

Литература

- Endzelīns J. Baltu valodu skaņas un formas. — Rīgā, 1948, Latvijas valsts izdevniecība.
- Endzelīns J. Latviešu valodas gramatika. — Rīgā, 1951, Latvijas valsts izdevniecība.
- Gerullis J. ir Stang'as Chr. Žveju tarmē Prūsuoše. — K., 1933, Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos leidinys.
- Jonikas P. Pagramančio tarmė. — K., 1939, Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos leidinys.
- Otrębski J. Gramatyka języka litewskiego. T. 3. — Warszawa 1956, Państwowe wydawnictwo naukowe.
- Tekorienė D. Bevardės giminės būdvardžiai. — V., 1990, «Mokslas».
- Valeckienė A. Lietuvių kalbos morfologinė sistema. Giminės kategorija. — V., 1985.
- Valeckienė A. Lietuvių kalbos funkcinė gramatika. — V., 1998, Mokslo ir enciklopedijų leidykla.
- Zinkevičius Z. Lietuvių dialektologija. — V., 1966, «Mintis»
- Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos istorinė gramatika. — T. 1, V., 1981, «Mokslas».

Сокращения

- Jdr = Judrėnai, Klaipėdos r. (Юдренай, Клайпедский район)
- Krš = Kuršėnai, Šiaulių r. (Куршенай, Шяуляйский район)
- LKT = Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija. — V., 1970
- LKŽ = Lietuvių kalbos žodynas I–XIX. — V., 1941–1999
- Pp = Papilė, Akmenės r. (Папиле, Акмянский район)
- Pvn = Pavandenė, Telšių r. (Павандяне, Тельшяйский район)
- Rdn = Raudėnai, Šiaulių r. (Рауденай, Шяуляйский район)
- Šauk = Šaukėnai, Kelmės r. (Шаукенай, Кельмский район)
- Šv = Švėkšna, Šilutės r. (Швекшна, Шилутский район)
- Trš = Tryškiai, Telšių r. (Тришкяй, Тельшяйский район)
- Užv = Užventis, Kelmės r. (Ужвентис, Кельмский район)
- Vam = Varniai, Telšių r. (Варняй, Тельшяйский район)
- Vvr = Veiviržėnai, Klaipėdos r. (Вейвирженай, Клайпедский район)

Казимерас Гаршва
(Вильнюс)

Проблемы двустороннего сопоставления фонологических систем литовского и русского языков

Хотя литовский и русский языки — родственные, их фонологические системы довольно заметно различаются. Некоторые похожие явления в обоих языках русскими и литовскими языковедами в теоретическом плане истолковываются двояко (русский язык в этом отношении изучен лучше, чем литовский).

1. Как в русском, так и в литовском языках существуют звуки, встречаемые лишь в заимствованных и международных словах. В русском языке такими являются мягкие согласные *к' з' х'*, в литовском — краткий гласный *э* и согласные */f f' h h' x x' t' d'/*. В русском и литовском литературных языках эти звуки не встречаются на конце слова. Кроме того, в литовском языке краткий гласный *ы* не может чередоваться в одной морфеме с долгим гласным такого же качества, как это происходит со всеми другими краткими гласными (ср.: III л. наст. вр. *skiria* 'отделяет (-ют), назначает' — III л. прош. вр. *skýrė*, вин. п. мн. ч. жен. р. *mažàs* 'малые' — им. п. ед. ч. муж. р. *māžas*).

В наиболее авторитетных исследованиях русского языка эти звуки считаются фонемами, в литовском языке — периферийными фонемами. Представителями Московской фонологической школы упомянутые русские согласные отдельными фонемами не считались, а теперь вместе с Ленинградской фонологической школой — считаются. Независимо от этих школ, литовскими языковедами в настоящее время принято компромиссное решение — выделяются периферийные фонемы, которые в звуковой системе основным фонемам не приравниваются и встречаются реже.

2. Московской и Ленинградской фонологическими школами не одинаково истолковываются гласный *ы*, а также оглушение согласных в конце слова. В литовском языкознании существует давняя традиция, в этом случае совпадающая с точкой зрения МФШ. Гласный, подобный русскому *ы*, встречается в восточнолитовских диалектах. Он произносится не после всех

твердых согласных, а только после // в безударных слогах и не может выступать в абсолютном начале слова. Так как употребление *ы* полностью обусловлено фонетическим контекстом, он считается вариантом гласного /*é*/, вместо которого *ы* возникает. В русском языке звук *э* является вариантом гласного /*é*/, звук *ы* — вариантом /*u*/.

В словах *луга* и *лук* 'лук' фонологически существует один и тот же согласный /*z*/ . В некоторых литовских диалектах конечные согласные имеют большую различительную силу и, в противоположность литературному языку, не оглушаются. В именных образованиях северопамявского диалекта литовского языка звонкие согласные не оглушаются даже перед глухими согласными: для оправдания необычных сочетаний в транскрипции в таких случаях после звонкого согласного обозначается практически не произносимый «бормотный» гласный. Звонкий согласный можно считать и морфофонемой, различающей именные образования от глаголов, ср.: *blōgs* 'плохой, худой' — *blōks* 'будет худеть', *blōkt* 'худеть (инф.)'.

3. В отношении признака мягкости гласные и согласные литовского языка находятся в своеобразной «дополнительной дистрибуции»: согласные автоматически бывают мягкими перед гласными переднего ряда, а передние гласные встречаются после мягких согласных. Поэтому признак бемольности-диезности в литовском языке можно отнести не только к согласным, но и к гласным или считать просодемой, т. е. единицей не сегментного, а суперсегментного уровня. В русском языке мягкость согласных является более независимой: 1) твердые и мягкие согласные противопоставляются в конце слова; 2) оппозиция твердых и мягких согласных существует и перед гласными переднего ряда; 3) группы согласных по признаку твердости-мягкости ассимилируются не столь последовательно. Однако этот признак в литовском, частично и в русском языках можно было бы отнести и к суперсегментному уровню, так как признаком твердости-мягкости обладают группы согласных, расположенные как в одном, так и в различных слогах, ср.: *kir'-s't'i* 'рубить', *es'-tes'-твенный* и т. п. В литовском языке перед мягкими согласными не смягчаются лишь /*k g*/.

4. Долгие гласные (и согласные) в русском языке появляются на стыке морфем как результат стяжения двух гласных похожего качества, ср. *лили* — *Лили*. Если не говорить о факультативных вариантах, не различающих значения слов, в пределах одной морфемы долгие гласные не существуют, поэтому русские долгие гласные рассматриваются только как сочетание двух фонем. В общей фонетике существует мнение, что разложность гласных возможна и в тех языках, в которых долгие гласные встречаются не только в пределах одной морфемы, но и на стыке морфем (Зиндер 1979, 189, 190, 126). К такому типу языков принадлежит и литовский язык, однако

здесь долгие гласные принято считать самостоятельными фонемами. Дело в том, что в литовском языке на стыке морфем могут существовать не только два кратких гласных такого же качества или один долгий, но и долгий и краткий, ср.: *pri-irti* 'подгрести', 3 л. наст. вр. *pri-yrė* и т.п. Кроме того, по данным инструментальных экспериментов, долгие и краткие гласные верхнего подъема /i:/, /i/, /u:/, и /u/ различаются и качественно (как напряженные от ненапряженных) (ср. Girdenis 1981, 131); не существует и собственных кратких фонем /è o/, из которых могли бы состоять долгие /ė, o/ (Гаршва 1986, 106—115).

Несколько легче долготу литовских гласных отнести не только к сегментному, но и к суперсегментному уровню.

5. Звуки [ɯ] и [dɜ], [ɕ], [ɕ'] и [dʒɕ] в русском и частично в литовском языках не встречаются в одной позиции. В русском языке эти звуки считаются аллофонами фонем /ɯ/ и /ɕ/ (Панов 1979, 143), а в литовском — отдельными фонемами. В литовском языке /č/ и /dž/ наряду с /t/ и /d/ употребляются перед гласными заднего ряда и (подобно аффрикатам /c/, а также /dz/) почти не выступают перед гласными переднего ряда (не считая продвинутых вперед звуков того же ряда после мягких согласных), ср.: *jáučis* 'бык', род. п. ед. ч. *jáučio*, *mėdis* 'дерево', род. п. *mėdžio* и т.п. Таким образом, /č dž/ напоминают своеобразные варианты /t d/, а также периферийные фонемы, употребляемые в звукоподражательных и производных от них словах, в заимствованиях. По традиции литовские аффрикаты считаются отдельными фонемами, состоящими из звуков *ts* (= c), *tš* (= č), *dz*, *dž*. В отличие от дифтонгов, другими фонемами условно может быть замещен лишь второй компонент аффрикаты, ср.: *tsỹpti* (= cỹpti) / *tšỹpti* (= čỹpti) 'пищать' — *trỹpti* 'топтать'.

6. Дифтонгоиду русского языка /e/ соответствует литовский дифтонг /ie/. Последний, по терминологии Л. В. Щербы, был бы истинным дифтонгом, так как нельзя различить, какой из его составных гласных является вершиной (т.е. оба компонента фонетически равноценны). В литовском языке имеется и второй 'слитный' дифтонг /uo/ — в русском языке ему соответствует несколько похожий дифтонгоид, иногда произносимый как вариант гласного /o/ (*cm(y)oi* и т.д.).

Русский гласный /e/ является фонемой, тогда как литовские /ie uo/ можно считать дифтонгами, а также самостоятельными гласными. Разные компоненты звуков /ie uo/ напоминают дифтонги, а слияние компонентов и слоговые акценты сближают их с гласными. В отличие от «составных» дифтонгов и второго компонента *ie*, *uo*, их первый гласный компонент может коммутировать лишь с согласными: *iėžė* 'лушил' — *vėžė* 'возил', *uolà* 'скала' — *salà* 'остров' — *žalà* 'вред' и т.п. Хотя первый компонент *ie*, *uo* с гласными не

коммутирует, эти звуки можно отнести и к дифтонгам (сочетаниям двух гласных фонем). То обстоятельство, что в слове звуки *ie*, *io* могут быть наряду с другими гласными и в некоторых диалектах безударные *ie*, *io* превращаются в монофтонги, вряд ли может служить аргументом в пользу однофонемной трактовки *ie*, *io*, так как большей частью таким же образом ведут себя и другие сочетания двух гласных, ср.: *prieangis* 'крыльцо', *niŋoalpis* 'обморок'; *grąžes* (= *gražiaĩs*) 'красивыми', *māto* (= *mataũ*) 'вижу' и т. д. (Гаршва 1983, 159—174).

7. Другие литовские, а также русские дифтонги являются сочетаниями гласных и согласных: перед гласными дифтонги делятся на два слога (ср.: *мал* — *ма-ло*; *mālk* (II л. ед. ч. повелит. накл. от 'молотъ') — *mā-la* (III л. наст. вр.)), и оба компонента дифтонгов могут быть замещены другими фонемами (*мал* — *мил*, *мак*; *veĩstas* 'разведенный (-ая)' — *vaĩstas* 'лекарство', *veĩstas* 'вращенный').

Для русского языка сочетания двух гласных или гласного и согласного являются менее типичными и от литовских звуко сочетаний отличаются тремя более важными особенностями: 1) в русском языке встречаются дифтонги *ай*, *ей*, *уй*, *ой*, и *а*, *е*, *и*, *у* + *л*, *м*, *н*, *р*, в литовском языке — *ai*, *au*, *ei*, *ui*, *oi*, *ou* и *а*, *е*, *і*, *и* + *l*, *m*, *n*, *r*; только в литовском языке существуют гласные сочетания *ai*, *ou* (последний, как и *oi*, лишь в заимствованных словах), а дифтонги с первым компонентом *е* (в русском языке) и *е* (в литовском языке) различаются качественно; 2) в русском языке дифтонги бывают лишь сильноначальными (ударение падает на первый компонент), тогда как в литовском языке — и сильноначальными (акутовыми), и сильноконечными (циркумфлексными), чем различаются и значения слов; 3) в русском языке дифтонги, по существу, встречаются в последнем слоге слова (в предпоследнем слоге бывают в производных словах), а в литовском языке порядок дифтонгообразующих слогов не ограничен. Этим обуславливается и то, что соединения двух гласных русского языка часто состоят из разных морфем (первый компонент относится к корню слова, второй компонент — к суффиксу, ср.: *читай*, *бей*, *пой* и т. п.), а в литовском языке дифтонги принадлежат к одной и той же морфеме.

8. В зависимости от фонологической точки зрения исследователей число фонем русского языка варьирует от 39 (5 гласных и 34 согласных) до 41 (6 гласных и 35 согласных), в литовском языке — от 22 (38) фонем (6 гласных и 16 согласных) до 67 (14 гласных, 8 дифтонгов и 45 согласных). Московскую фонологическую школу от Ленинградской отделяет 6 звуков: /*ы* *к* *г* *х* *ш* *ж*/. Фонологическая система литовского языка является несколько более сложной, и крайние точки зрения различаются даже 45 звуками и звуко сочетаниями: долгими гласными (4), дифтонгами (8), аффрикатами

(8), мягкими согласными (18) и звуками, существующими в заимствованных словах и звукоподражаниях (10; считаются не только твердые, но и мягкие согласные) (ср. Степанов 1975).

Русский язык от литовского больше всего отличается следующими фонетическими особенностями, вследствие которых в русской речи литовцев возникает акцент:

1. Долготой гласных. По сравнению с литовским языком ударные гласные русского языка примерно полудолгие, безударные — краткие, а в литовском литературном языке как ударные, так и безударные гласные бывают долгими и краткими.

2. Качествен гласных. В звуковой системе литовского литературного языка нет соответствий гласным /ы э е/. Безударные гласные качественно не редуцируются.

3. Длительностью согласных. В литовском языке все согласные произносятся кратко.

4. Отсутствием твердых и мягких пар некоторых согласных. В отличие от русского языка, в литовском языке твердые шипящие /ž š c/ (/ж ш ч/) могут быть и мягкими, а мягкий /č/ (/ч/) — и твердым.

5. Неоглушением согласного /v/ в литовском языке, хотя звук /f/ существует.

6. Акцентуацией. В русском языке встречаются 10 схем ударения для существительных и 9 — для глаголов, а в литовском языке — соответственно 4 и 3. В литовском языке существуют 4 типа акцентуации существительных и 3 — глаголов, среди которых с русским языком полностью совпадает лишь одна схема ударения (неподвижное ударение на основе всех форм). Кроме того, в отличие от литовского языка, в четырехсложных и пятисложных русских словах ударение может падать на меньшее количество слогов.

7. Сочетаниями согласных. В начале слова в русском языке употребляются около 100 двучленных сочетаний согласных, а в литовском языке — 39 (4 из них не известны для русского языка). Многие сочетания согласных на конце слова в русском языке встречаются в такой же последовательности, как и в начале слова, тогда как литовские конечные согласные являются «зеркальным» отражением начальных. В литовском языке не возможен слогораздел типа *бо-чка*, *во-лна*: один шумный, или сонорный, согласный оставляется у первого слога.

Литература

- Гаршва 1983. *Гаршва К.* Сопоставление фонологических систем литовского и русского языков — *Kalbų kontaktai Lietuvos TSR. Lietuvių kalbotyros klausimai*. Т. 23. Р. 159—174.
- Гаршва 1986. *Гаршва К.* Акустические особенности вокализма русского языка в сопоставлении с литовским языком — *LTSR MA darbai. Ser. A*. Т. 1 (94). Р. 106—115.
- Girdenis 1981. *Girdenis A.* *Fonologija*. Vilnius, Mokslas.
- Грамматика литовского языка. В., 1985.
- Зиндер 1979. *Зиндер Л. Р.* *Общая фонетика*. М.
- Панов 1979. *Панов М. В.* *Современный русский язык. Фонетика*. М.
- Степанов 1975. *Степанов Ю. С.* *Основы общего языкознания*. М., Просвещение.

Алдона Паулаускене
(Вильнюс)

Статус местоимений в грамматической системе языка

Сложившаяся за многие столетия традиция в грамматическом учении настолько крепка, что очень часто нарушить ее не в силах и современная наука, видящая факты языка совсем иначе, чем видели их древние греки или римляне.

Хорошим примером этому служит определение местоимения как части речи. Несмотря на то, что местоимения по характеру отличаются от номинативных слов, к ним все равно до сих пор применяются те же принципы, как и к другим частям речи.

Местоимение — особый класс языковых элементов. Так, В. Жилинскене из 50 000 заглавных слов в «Словаре современного литовского языка» («*Dabartinės lietuvių kalbos žodynas*». Vilnius, 1993) обнаружила только 118 местоимений. В науке существует теория: если класс составляют менее чем сто единиц, такой класс следует считать классом формантов; лексемами или словами являются единицы только многочисленных классов (Pottier B. *Systématique des éléments de relation*. Paris, 1962, p.121). Литовских местоимений 118, но разве в грамматике значимо то, что таких единиц на десяток больше или меньше? Кроме того, местоимения как форманты или служебные слова часто являются независимыми от содержания текста. И частота их употребления очень напоминает употребление формантов.

Перевести местоимения на какой-то другой уровень, отделить их от номинативных частей речи не позволяет древняя традиция. Сначала имена выделялись из других частей речи как названия вещей и их признаков. Потом они противопоставлялись глаголам как склоняемые слова, которым не свойствен признак времени. К ним добавлялись также склоняемые слова, указывающие на предмет или его признак. По-латински они назывались *pronomina*, и этот термин многие европейские языки заимствовали из латыни или калькировали: лит. *įvardis* («*į vardo vietą*»), русск. местоимение («вместо имени»). Таким образом, все остальные дейктические знаки, принадлежавшие тому же самому классу указательных слов, в силу несклоняе-

мости были оставлены за его пределами и причислены к другим несклоняемым словам (наречиям).

Литовский языковед А. Росинас, почти всю свою научную деятельность посвятивший изучению местоимений балтийских языков, тоже не смог оторваться от традиции. (Его монографии: *Lietuvių bendrinės kalbos įvardžių semantinė struktūra*. Vilnius, 1984; *Baltų kalbų įvardžiai*. Vilnius, 1988; *Lietuvių bendrinės kalbos įvardžiai: funkcijos ir semantika*. Vilnius, 1996). В монографии «*Baltų kalbų įvardžiai*» (с. 6–7), опираясь на факты языка и обширную научную литературу, он убедительно показывает, что дейктические слова, указывающие на различные обстоятельства (место, время, способ действия, признак признака) вполне могут входить в класс местоимений, но тут же он делает поворот на 180° к традиции и определяет свой предмет изучения, противопоставляя местоимения как склоняемые слова несклоняемым (наречиям). Склоняемость/несклоняемость здесь считается главным дифференциальным признаком местоимения как части речи.

В грамматиках литовского языка (даже в академических) местоимение всегда считалось отдельной самостоятельной склоняемой номинативной частью речи, в то время как рядом создавались русские академические грамматики, пытавшиеся по функциям и словоизменению приспособить эти слова к другим частям речи, конечно, с оговоркой, что это местоименные существительные, местоименные прилагательные, местоименные числительные (Грамматика современного русского языка. Москва, 1970). В «Русской грамматике» (1980) в главу местоимений включаются только слова — аналоги существительных. Однако и эти местоимения не могут быть определены исходя из одинакового изменения — они склоняются по-разному, только функция их та же, что и у существительного.

Как уже было сказано, в литовских грамматиках местоимение — отдельная часть речи. Но примечательно то, что 118 слов-местоимений этим грамматикам до сих пор не удастся одинаково разбить по одним и тем же семантическим разрядам и одинаково их назвать. Одинаково выделяются и называются только личные, возвратное, притяжательные и вопросительные-относительные местоимения, а все другие разряды устанавливаются и называются по-разному.

Кое-что новое в разрядах притяжательных и личных местоимений появилось в литуанистике с идеями В. Жулиса и А. Гирдяниса. В. Жулис предложил нарушить долго существовавшую традицию и несклоняемые местоимения *mano*, *tavo*, *savo* ('мой', 'твой', 'свой') не считать притяжательными, а включить в парадигмы соответствующих личных и возвратного местоимений (Žulys V. *Vadinamųjų nekaitomųjų įvardžių vieta lietuvių kalbos gramatinėje sistemoje*. — *Baltistica*, V (2), Vilnius, 1969, p. 167–177).

Один из авторов школьной грамматики, А. Гирдянис, эту идею превратил в правило (Dobrovolskis B., Gedvilas L., Girdenis A., Kadžytė L. *Lietuvių kalba*. Kaunas, 1972, p. 185). Это очень редкий случай, когда школьная грамматика оказывает влияние на научную грамматику.

Конечно, не все литуанисты были согласны с таким перераспределением местоимений по семантическим разрядам, поскольку это делалось не на основе семантики (Jakaitienė E., Laigonaitė A., Paulauskienė A. *Lietuvių kalbos morfologija*. Vilnius, 1976, p. 91). Сначала не соглашались и авторы академической грамматики, но, работая над однотомной грамматикой на русском языке, они приняли предложение В. Жулиса и А. Гирдяниса так называемые несклоняемые местоимения (точнее — родительный падеж) *mano* 'мой', *tavo* 'твой', *savo* 'свой' не считать притяжательными, а включить по морфологическому признаку в парадигмы соответствующих личных и возвратного местоимений: *aš* 'я' — *manęs* 'меня', *mano* 'мой'; *tu* 'ты' — *tavęs* 'тебя', *tavo* 'твой'; *savęs* 'себя' *savo* 'свой'.

По поводу выхода в свет «Грамматики литовского языка» (1985) Т. В. Булыгина и Ю. С. Степанов пишут: «Представляется оправданным включение в парадигму местоимений *aš* 'я', *tu* 'ты', *savęs* 'себя', *kas* 'кто/что', *kažkas* 'кто-то/что-то' форм *mano* 'мой', *tavo* 'твой', *savo* 'свой', *kieno* 'чей', *kažkieno* 'чей-то' и подоб., нередко трактуемых как особые «несклоняемые притяжательные местоимения-прилагательные». Неудачен только способ репрезентации этих форм в таблице склонения (см. с. 173), в соответствии с которым формы *manęs* 'меня' и *mano* 'мой', *tavęs* 'тебя' и *tavo* 'твой', *savęs* 'себя' и *savo* 'свой' оказываются вариантами единого падежа — родительного. <...> в данном случае это два разных падежа: «родительный I» и «родительный II» или «родительный» и «посессивный» или что-либо подоб.» (Теория грамматики и теоретическая грамматика. Вопросы языкознания, Москва, 1988, № 3, с. 20).

Предложение выделить «родительный I» и «родительный II» или «родительный» и «посессивный» наводит на размышление: а как интерпретировать родительный имен существительных и всех остальных местоимений, родительный которых в одной форме всегда регулярно совмещает значение объекта и значение признака или функцию несогласованного определения? Например: *Čia nėra mano studentų* 'Здесь нет моих студентов' и *Buvo linksma studentų šventė* 'Был веселый студенческий праздник'. *Man gaila šito beržo* 'Мне жаль этой березы'. *Žiūriu, kaip krinta beržo lapai* 'Смотрю, как падают березовые листья'. *Mūsų čia niekas nelaukia* 'Нас здесь никто не ждет'. *Čia mūsų namai* 'Здесь наш дом'. *Draugai jus ieškojo* 'Друзья вас искали'. *Tai jusų reikalas* 'Это ваше дело'.

Имея такую картину, невольно соглашаешься с теорией Э. Бенвениста (Бенвенист Э. Общая лингвистика. Москва, 1974, главы XX, XXII, XXIII), что местоимения — особые знаки языка. Их нужно вынести «за скобки» в ряду номинативных частей речи, не обращая внимания на *склоняемость/несклоняемость*. Тогда в данный класс легко попадают и местоименные наречия. Функционально местоимения будут соответствовать или существительному, или прилагательному, или наречию. Так как существительные и прилагательные склоняются, склоняются и их дейктические знаки, только окончания падежей местоимений совпадают не с окончаниями существительных, а с окончаниями прилагательных. Особое склонение у личных местоимений и у возвратного. Те дейктические знаки, которые указывают на обстоятельства или на признак признака, как и наречия, являются производными несклоняемыми словами.

Э. Бенвенист говорит, что «я» и «ты» — особые знаки коммуникации и что они отличаются не только от всех других слов, но и от других местоимений. В акте коммуникации участвуют только лица, а не принадлежность им (посессивность). Может быть, именно поэтому литовский «посессивный» в человеческом мышлении оторван от парадигмы личных местоимений. И нет ничего необычного в том, что в разряде притяжательных местоимений он остается неизменным. Все несогласованные определения не склоняются при склонении определяемого слова: *beržo šakos*, *beržo šakų*, *beržo šakoms* и т. д.

Просодические универсалии и законы в балто-славянской языковой области*

Как известно, появление классического индоевропейского языкознания во многом связано с признанием универсального характера действия фонетических законов. Этот тезис, сформулированный Г. Остгофом и К. Бругманом (Osthoff, Brugmann 1878, XIII), уже давно стал одним из краеугольных камней диахронической лингвистики. Говоря о его значении, О. Семереньи верно заметил, что с введением понятия звуковых законов «была преодолена донаучная ступень языкознания» (Szemerényi 1990, 22), однако вряд ли можно согласиться с этим ученым в том, что данное понятие «не имеет научного обоснования, оно является постулатом научных исследований»¹. За прошедшие более чем полтора века со времени начала деятельности Р. Раска, Я. Гримма, А. Востокова и др. было описано огромное количество различных соответствий, разнообразных типов и видов фонетических законов, которые, фонологизируясь в языковой системе, вызывают в ней существенные изменения. Здесь можно отметить такие закономерные явления, как ассимиляцию, палатализацию, передвижение согласных, леницию, гармонию гласных и т. п., встречаемые в самых различных языках. Суть фонетических законов может быть выражена формулой, представленной В. К. Журавлевым (1983, 121):

$$L \left\{ \frac{a > b}{P} \right\} T$$

Согласно данной формуле, в определенном языке (L) звук *a* переходит в звук *b* в строго установленных позициях (P) и в определенное время его

* Основой статьи послужил доклад, сделанный на VIII Международном съезде балтистов в Вильнюсе в 1997 г.

¹ Ср. «Wie ersichtlich, ist der Begriff des Lautgesetzes nicht wissenschaftlich erwiesen, er ist ein Postulat der wissenschaftlichen Forschung» (ср. Szemerényi 1990, 22).

развития (Т)². Эта формула отражает механизм действия фонетических законов только в обобщенном и несколько упрощенном виде, поскольку в действительности в языке происходит не хаотическое изменение отдельных звуков, а их изменение носит в основном систематический характер, т. е. обычно затрагивает определенные части (подсистемы) внутри общей фонетико-фонологической системы конкретно взятого языка (напр., изменяются гласные переднего или заднего ряда, переднеязычные или заднеязычные согласные и т. п.). Отклонения от действия фонетических законов связано с влиянием самых разнообразных процессов: аналогии, парадигматического выравнивания; они могут также вызываться системными ограничениями и т. д. Действие фонетических законов затрагивает вначале фонетико-фонологический уровень, т. е. его определенные фонемы, и только потом может распространяться и на другие уровни.

Как уже давно установлено, фонема служит для опознания и различения значимых единиц языка — морфем. Фонема является сегментным компонентом и для большинства языков — инвариантной единицей языка. Многие изменения во всех языках объясняются и описываются прежде всего посредством действия самых различных фонетических законов.

Однако в языках с музыкальным ударением для опознания и различения морфем очень часто используются также и суперсегментные компоненты фонем — просодемы, которые в языках этого типа являются инвариантными единицами, а их фонемы в таком случае — вариантными. В этих языках различное лексическое, а также грамматическое значение во многих случаях выражают не фонемы, а их просодемы или разные слоговые акценты, ср.: лит. яз. *ginti* 'защищать' и *giñti* 'гнать', *jôjo* 'ехал верхом' и *jôjo* 'его' (род. п. местом. формы *jisaĩ* от личн. местом. *jis* 'он'), *âukštas* 'высокий' и *aũkštas* 'этаж', *kâukė* 'маска' и *kaũkė* 'выл', вин. п. ж. р. *vârna* 'ворону' и м. р. *vařna* 'ворона', *lŷti* 'идти (о дожде)' и 3-е л. *lŷti* от глагола *lytėti* 'дотрагиваться, прикасаться' и мн. др.

Начиная с Ф. Ф. Фортунатова (см. Дыбо 1977, с. 583), были описаны также и самые различные просодические или акцентологические законы, однако их внутренний механизм, или сущность, — в отличие от фонетических законов — оставалась вплоть до последнего времени неизученной (ср. Poljakov 1997₁).

Создавалось определенное впечатление, что просодические законы вообще не имеют внутренних закономерностей и действуют хаотически. Примером здесь может послужить история закона Фортунатова — де Соссюра. Суть этого закона состоит в том, что ударение переходит с предыдущего слога с восходящей или краткостной интонацией на последующий слог с

² Чаще всего здесь имеется в виду не абсолютная, а относительная хронология.

нисходящей интонацией. Однако, как известно, этот закон Ф. Ф. Фортунатов (1895, 62) установил для балто-славянского праязыка (в его терминологии «литовско-славянского»), а Ф. де Соссюр (1896, 157)³ — только для литовского языка. В отличие от них, Г. Шевелов, говоря о действии этого закона в общеславянском языке, утверждает, что здесь ударение передвигается с гласных с нисходящей интонацией и кратких гласных на последующий слог, если он имел восходящее ударение⁴. Этот закон в редакции Ф. Ф. Фортунатова в своих ранних работах активно поддерживал В. А. Дыбо (1958, 1961), однако в дальнейшем он отрицал наличие данного закона в балто-славянском праязыке, ограничивая его действие одним только лишь литовским языком, считая при этом фортунатовскую формулировку «экстраполяцией балтийского состояния на праславянскую почву» (см. 1962, 6—9, ср. также 1962, 1977, 1981). В своих многочисленных исследованиях В. А. Дыбо, как и ранее В. М. Илич-Свитыч (ср. 1963 и др.), постоянно говорит о первоначальной «генетической тождественности» балтийской и славянской акцентуационной системы и обосновывает ее.

Этот закон мы уже рассматривали в одной из наших работ (ср. Poljakov 1995⁵, 159—164). В ней, среди другого, мы обратили внимание на то, что действие этого закона в редакции Ф. Ф. Фортунатова показывает балто-славянская лексика, в то время как при его отрицании приводятся более поздние примеры, связанные уже с отдельным развитием балтийского и славянского праязыков. В последнем случае можно усмотреть явное нарушение принципа относительной хронологии. Сделанный нами в ука-

³ Об этом законе Ф. де Соссюр впервые говорил на X Международном съезде ориенталистов 8 сентября 1894 г. (см. Saussure 1922, 604; Torbiörnsson 1932, 362—363). Однако впервые этот закон был опубликовал Т. Торбиёрнссоном (1893, 57 — на швед. яз.; 1894, 145 — на нем. яз.) со ссылкой на лекции Ф. Ф. Фортунатова. В одной из своих поздних работ Т. Торбиёрнссон вновь специально отметил это, заявив, что «*mir das Gesetz seit meinem ersten Aufenthalt in Moskau (September 1891 — Mai 1992) durch den Unterricht Fortunatovs bekannt war*» (ср. Torbiörnsson 1932, 362—363). На приоритет Ф. Ф. Фортунатова в открытии данного закона уже обращалось внимание и А. Гирденисом (1995, 251).

⁴ Ср. «*In C(ommon) S(lavic) stress was shifted from F(alling) P(itch) and short vowels onto the following syllable, if it had R(ising) P(itch)*» — Shevelov 1964, 55. Здесь он опирается на мнение А. Мейе, который, исходя из тезиса о большей архаичности славянских интонаций по сравнению с литовскими, сделал в связи с этим вывод о «передвижении ударения вперед с гласного отрезка краткого, или в интонационном отношении нисходящего, на гласный отрезок, в интонационном отношении восходящий» (ср. Мейе 1951, 134). Этот тезис является совершенно неверным, ср. объяснения Ю. С. Степанова и В. А. Дыбо ниже, разъясняющие в данном случае причины передвижения ударения вправо.

⁵ Работа написана в 1994 г., см. соответствующую пометку — Poljakov 1995, XIII.

занной работе вывод говорил о том, что этот закон был релевантным для балто-славянского праязыка (ср. Poljakov 1995, 160–163). Однако, к нашему удивлению, к первоначальной точке зрения независимо от нас вновь вернулся В. А. Дыбо, говоря о признании «древнейшим (возможно, балто-славянским⁶) процесса передвижения ударения с циркумфлексированных и краткостных слогов на внутренние слоги с доминантным акутом» (Дыбо, Замятина, Николаев 1993⁷, 15)⁸.

Однако здесь мы должны прежде всего обратить внимание на имеющуюся терминологическую путаницу (см. также Poljakov 1995, 162). Под балто-славянским или только славянским циркумфлексом понимают обычно нисходящую интонацию, исходя из неверного тезиса Хр. Станга⁹ о сохранении первоначальных восходящей и нисходящей интонаций в латышском, древнепрусском и славянском языках при их изменении на совершенно противоположные интонации в литовском языке (ср. Stang 1957, 20; 1966, 125¹⁰). Различные факты говорят нам совершенно о противоположном: в литовском языке старые интонации сохранились, в то время как в других балтийских языках и общеславянском языке, где (в отличие от литовского языка) имели место редукция окончаний и изменение места ударения, первичные балто-славянские интонации поменялись (см. Poljakov 1996)¹¹. Таким образом, тогда под «циркумфлексированными слогами», о которых выше говорит В. А. Дыбо (ср. его объяснение ниже), следует понимать, как и в литовском языке, восходящую интонацию. (Соответственно под «акутом» в балто-славянском праязыке — нисходящую интонацию, релевантную и для литовской просодики.)

Принятие противоположного мнения противоречило бы уже данным для этого закона объяснениям, исходящим из движения тона от одной определенной вершины к другой (см. ниже). Эти объяснения, кроме того, могут

⁶ Выделено нами. — О. П.

⁷ Как указывается на второй странице данной работы, она вышла в свет в 1994 г.

⁸ Признание этого тезиса В. А. Дыбо также подтверждает вывод об архаическом характере литовских интонаций и о вторичности праславянских интонаций (ср. Poljakov 1996, 175–178).

⁹ Данный тезис восходит к предположению Я. Эндзелина (см. Poljakov 1996, 166).

¹⁰ Ср. *«It is generally assumed, and probably rightly so, that the acute was a rising intonation as in Slavonic, Old Prussian and Latvian, and that the circumflex was falling as in these languages. In Lithuanian both intonations have changed character, with the result that the acute has become a falling intonation, and the circumflex has become even or rising»* (Stang 1957, 20).

¹¹ Ранее, исходя только из общей архаичности литовского языка, это предположение без конкретного обоснования было высказано Г. Хиртом и Я. Плакисом (см. Poljakov 1996, 163).

служить нам и отправной точкой для установления внутренних механизмов действия просодических законов и определения на их основе просодических универсалий. Однако, прежде чем обратиться к этому вопросу, нужно обратить внимание на то, что указанные две интонации можно объяснить моровой теорией ударения, согласно которой долгий гласный имеет две моры. Если при нисходящей интонации ударной или более интенсивной является первая мора, то при восходящей — вторая мора (ср. Hořálek 1961, 362; Szemerényi 1990, 22). Таким образом, литовский акут ' (нисходящая интонация) схематически представляет собой *úi* (= *ú*), а литовский циркумфлекс ' (восходящая интонация) — *uí* (= *ū*), где *и* обозначает одну мору гласного.

Схематически закон Фортунатова — де Соссюра можно выразить следующим образом:



Комментируя данный закон «передвижения ударения вправо», Ю. С. Степанов резонно указывает на то, что такое передвижение ударения объясняется «непосредственной близостью слоговых вершин друг другу», в то время как в других случаях такого передвижения ударения не происходит (ср. Степанов 1975, 61). Аналогичное объяснение представляет и В. А. Дыбо (1977, 586), говоря о «близости тонических вершин». Наглядно это можно проиллюстрировать таким примером: им. п. ед. ч. лит. **raĩkà* > **rankà* > *rankà* 'рука', но вин. п. ед. ч. *raĩkà*. (Изменение **rankà* > *rankà* вызвано действием закона А. Лескина, согласно которому конечные акутовые долготы (т. е. слоги с нисходящей интонацией) в пралитовском языке подвергались сокращению.)

Действие закона Фортунатова — де Соссюра можно видеть и в славянских языках, где следы бывшего передвижения сохраняет различие в ударении¹², ср.: рус. им. п. ед. ч. *рукá*, но вин. п. ед. ч. *ру́ку*; им. п. ед. ч. хрв. (чак.)¹³ *rŭkà*, но вин. п. ед. ч. серб. *ру́ку*, хрв. *rŭku* и др.

В литовском языке в силу большей архаичности его звуковой системы действие закона Фортунатова — де Соссюра можно видеть более наглядно, ср. им., инстр. п. ед. ч. *rankà*, вин. п. мн. ч. *rankàs*, дв. ч. ном.-вин. п. *dvi ranki* (*-ie), но в других падежах — *raĩk-*; *laikyti* 'держаться': ед. ч. 1-е *laikau*

¹² Имеющиеся интонации в сербском, хорватском и словенском языках (как и противопоставления долгих и кратких гласных) являются по отношению к праславянским интонациям уже вторичными, ср. лит. им. п. ед. ч. (2-акцентная парадигма) *rankà* 'рука', (3) *galvà* 'голова', (4) *žiemà* 'зима': вин. п. ед. ч. (2) *raĩkà*, (3) *gàlvà*, (4) *žìetà*; им. п. ед. ч. хрв. (чак.) *rŭkà*, *glàvà*, *zìtā*: вин. п. ед. ч. серб. *ру́ку*, *гла́ву*, *зі́му* (хрв. *ruku*, *glàvu*, *zìmu*) и т. п.

¹³ Чакавский диалект, как известно, сохраняет старую систему акцентуации, в то время как в литературном сербском и хорватском языках имеет место ретракция ударения на первый слог, ср. им. п. ед. ч. серб. *ру́ка*, хрв. *ру́ка*.

< **áu*, 2-е *laikaĩ* < **ái* (с передвижением ударения), но 3-е л. (ед. и мн. ч.) *laĩko*, мн. ч. 1-е *laĩkome*, 2-е *laĩkote* (без передвижения ударения) и т. п.¹⁴

В научной литературе действие рассматриваемого закона иногда иллюстрируется примерами: лит. *aĩtras* 'второй', но *antrà* 'вторая'. Соответствиями в древнепрусском языке здесь являются: м. р. (вин. п.) *āntran* 'второй': ж. р. им. п. *antrā* 'вторая', ср. также др. прус. *piēnckts* 'пятый': *pienctā* 'пятая' (соотв. лит. *penktas*: *penktà*). По мнению Я. Эндзеллина (1980, 432), такие примеры показывают также действие закона Фортунатова — де Соссюра и в древнепрусском языке¹⁵. Еще раньше о действии данного закона говорил Р. Траутман, приводя различные примеры, ср.: *ĩmt* 'взять' — ж. р. страд. прич. *imtā*, вин. п. *spĩgsnan* — им. п. *spĩgsnā* 'купание' и др. (см. Trautmann 1970, 194).

Как можно видеть, закон Фортунатова — де Соссюра, основанный на системном анализе, носит строго логический характер, однако до сих пор ученые как-то не обращали внимание на то, что он отражает еще и общую просодическую универсалию и является ключом к пониманию внутренних закономерностей действия просодических законов. Перенесение ударения с краткого слога или долгого слога, имевшего восходящее ударение, на следующий слог, в котором выступает долгий гласный с нисходящим ударением, характерно, к примеру, и для диалектов словенского языка¹⁶, ср. им. п. ед. ч.

¹⁴ В определенных случаях отдельные родственные формы могут не совпадать, напр., действие закона Фортунатова — де Соссюра релевантно для лит. слова *valià* (2) — вин. п. *vàlià*, но является нерелевантным для соответствующего слав. слова, ср. рус. *воля* — вин. п. *волю*, серб. *воља* — вин. п. *вољу*, поскольку акцентологически это слово относится к неподвижной парадигме. Аналогичные расхождения наблюдаются здесь как между различными говорами литовского языка, так и между литовским и латышским языками, ср. лит. (литер.) *bėržas* (3) и (диал.) *bėrzas* (1) 'береза', лит. (литер.) *irklas* (3) и (диал.) *irklas* (1) 'весло'; лит. *siena* (1) и латш. *siena* 'стена', лит. *irklas* (3) и латш. *irklas* 'весло', где литовский акут первой акцентной парадигмы должен соответствовать длительной интонации в латышском языке, а литовский акут третьей акцентной парадигмы — латышской прерывистой, а не длительной интонации. В приведенных выше примерах в последнем случае закономерным было бы здесь акцентологическое соответствие: лит. (диал.) *irklas* (1) и латш. *irklas*.

¹⁵ Данные порядковые числительные, по всей видимости, следует исключить из примеров действия закона Фортунатова — де Соссюра, поскольку этот закон связывается со второй акцентной парадигмой, а указанные примеры представляют четвертую а. п. (ср. Stundžia 1995, с. 39).

¹⁶ Это сравнение является весьма приблизительным и только в самых общих чертах показывает определенные сходства в действии данного принципа, поскольку литовский язык сохранил старое (и.е.) противопоставление долгих и кратких гласных и старую нисходящую и восходящую интонацию, в то время как в словенском языке и долготы, и соответствующие интонации совершенно новые. Следующий краткий слог в словенских диалектах при таком переносе ударения мог удлиняться,

рус. *gorá* — словн. (диал.) *horä* : им. п. мн. ч. рус. *góры*, но словн. (диал.) *horē* < **hóre*; им. п. ед. ч. рус. *gorá* — словн. (диал.) *góra* : им. п. мн. ч. рус. *góры*, но словн. (диал.) *gorē* < **góre*; словн. *zimē*, но рус. *зiмы*, словн. *okō*, но рус. *óко*, словн. *zlatō*¹⁷ — рус. (заимств.) *zláто* 'зóлото', но в формах с нисходящим ударением *gōvor* 'речь' (ср. рус. *góвор*), *dvōjba* 'сомнение' и т. д. (см. Jaksche 1965, 52—54, 70, 77 и др.) сохраняется старое место ударения.

Перенос же ударения в противоположную сторону в языках, имеющих противопоставление восходящей и нисходящей интонации, подчиняется другой важной просодической универсалии, которая схематически выглядит так:



Ее суть заключается в обратном: если происходит ретракция ударения (перенос ударения влево) со слога с нисходящей интонацией, то в новом ударном (предыдущем) слоге возникает восходящее ударение, если слог долг, или краткостное ударение, если слог краткий¹⁸:

лит. *gyvā* 'жива, живая', но лит. (жем.) *gỹva*; лит. *galvā* 'песня', но лит. (диал.) *gaĩva*;

им. п. ед. ч. хрв. (чак.) *rūkā* — рус. *pyká*, хрв. (чак.) *glāvā* — рус. *голова́*, хрв. (чак.) *zīmā* — рус. *зимá*, но серб. *pýka* / хрв. *rúka*, серб. *gláva* / хрв. *gláva*, серб. *zíma* / хрв. *zima* :: вин. п. ед. ч. серб. *pýku* / хрв. *rúku* — рус. *pýку*, серб. *glāvu* / хрв. *glāvu* — рус. *го́лову*, серб. *zímu* / хрв. *zímu* — рус. *зiму* и т. д.

словн. *žēna* < **ženā* — рус. *женá*, словн. *mlāda* < **mladā* — рус. *молодá* и т. п.

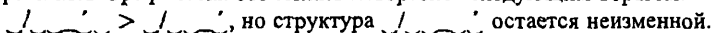
Выше нами уже был упомянут просодический закон А. Лескина (1881), который действовал после закона Фортунатова — де Соссюра. Его сутью явилось то, что конечные акутовые слоги (имевшие нисходящее ударение)

однако при этом получал тут нисходящую, а не восходящую интонацию. Последняя интонация здесь могла также появиться, напр., на ранее ударных гласных, ср. род. п. ед. ч. рус. *горы́* — словн. *goré* и т. п. Если слог имел нисходящее ударение, то такого переноса, как и в литовском языке, не происходило. (Знаки акут и циркумфлекс в литовском языке, с одной стороны, и в словенском и сербо-хорватском языках, с другой стороны, как известно, выражают противоположные интонации.)

¹⁷ Здесь, как и в других случаях, ранее было, по всей видимости, восходящее ударение (в отличие от серб.-хорв. *zláto*, ср. различие серб.-хорв. *máslo*: словн. *máslo* 'масло'), поскольку в формах с нисходящим ударением типа словн. *māčka* 'кошка', *pōlja* 'поля' и др. (см. Jaksche 1965, 10, 77) передвижение ударения на следующий слог отсутствует.

¹⁸ При полной ретракции ударения на первый слог, которая наблюдается в отдельных жемайтских диалектах литовского языка (см. Zinkevičius 1966, с. 37—41, 447), а ранее произошло в латышском языке, ударение переносится с последующего слога, естественно, с любой интонацией, но это уже морфонологическое ограничение, которое нарушает действие просодического закона.

в пралитовском языке сокращались, в то время как циркумфлексные слоги сохранялись. Графически это можно изобразить следующим образом:

но структура остается неизменной.

Этот закон Лескина, по всей видимости, также является также универсальным. Это объясняется тем, что он действует во многих случаях аналогично редукции заударных гласных¹⁹, характерной для самых различных языков. Наблюдаемые здесь исключения имеют закономерные объяснения. Они касаются прежде всего конечных односложных слов, которые в таких случаях претерпевают метатонию, ср. лит. им. п. *jūs* < **jūs* 'вы' ср. род. п. *jūs*, латш. *jūs*; им. п. лит. *tiē* 'те' < **tiē* ср. *tieji* 'те самые', латш. *tiē* буд. вр. 3-е л. *duōs* < **dūos* 'даст, будет давать', но ср. 1-е л. ед. ч. *dūosiu*, 2-е л. ед. ч. *dūosi* (см. Zinkevičius 1980 105—106). То же самое исключение распространяется и на конечные акутовые дифтонги *ei*, *ai*, *au*, сокращение которых не возможно из-за ограничений, налагаемых здесь морфологией, так как такое упрощение флексий могло бы привести в данном случае к полной перестройке всей системы окончаний что, однако, тут не являлось необходимым. Вместо этого здесь естественно появляется метатония — выравнивание по той интонации, которая сохраняется в конечной позиции, ср. 1-е л. ед. ч. *sukai* 'вращаю, верчу', 2-е л. ед. ч. *sukaī*, но 3-е *sūko*. В возвратных формах первоначальная акутовая интонация в верхнелитовских говорах, легших в основу современного литературного языка, также сохранялась: *sukāusi*, *sukāisi*, но позже произошло выравнивание по новым просодическим формам, появившимся здесь согласно исключениям из закона А. Лескина, в результате чего и возникли современные формы литературного языка *sukaūsi*, *sukaīsi*. Первоначальную нисходящую интонацию показывают жемайтйские говоры литовского языка, где она закономерно переходит в прерывистую, ср. лит. (жем.) 1-е л. ед. ч. *sokāu*, 2-е л. ед. ч. *sokā*, но 3-е *sōk* и соответствующие возвратные формы: 1. л. ед. ч. *sokāus*, 2. л. ед. ч. *sokās*, но 3-е *sōkūos* и т. п.

¹⁹ Интересно здесь заметить некоторую другую типологическую параллель, связанную с явлением редукции. В словацком языке действует ритмический закон трех мор, где, однако, сокращается не заударная мора, как в законе А. Лескина, а одна из двух мор следующего безударного долгого слога. В данном языке если два долгих слога следуют друг за другом, то второй слог обычно сокращается на одну мору — т. е. также становится кратким, ср. словц. *krásny*: чеш. *krásný* (но словц. *pekny* 'красивый'), словц. *chváliš*: чеш. *chválíš* 'хвалишь' (но словц. *vidíš* 'видишь'); словц. *viera* 'вера', *verný* 'верный' и т. п. Однако в некоторых случаях определенные формы могут иметь здесь исключения, ср. словц. *mliekáreň* 'молочный магазин', *chváliaci* 'хвалящиеся', *prvýkrát* 'первый раз' и т. д.

Рассмотрим еще одну просодическую универсалию. Она касается прерывистой интонации²⁰. Как установлено, латышские длительная и прерывистая интонации соответствуют литовской нисходящей интонации (акуту), а латышская нисходящая интонация — литовской восходящей (циркумфлексу). Долгое время ошибочно считалось, что прерывистая интонация в латышском языке восходит к восходящей. Это предположение было впервые высказано Я. Эндзелином (см. Endzelin 1922, 26; Endzelins 1951, 38), а вслед за ним и другими для того, чтобы обосновать архаичность латышской системы интонаций. Литовские интонации, по его предположению, поменялись, а в латышском языке сохранилась старая нисходящая интонация, а восходящая интонация в одном случае несколько видоизменилась, превратившись в длительную интонацию, а в других случаях изменилась в прерывистую. Для доказательства последнего положения Я. Эндзелин сравнил латышские формы ед. ч.: им. п. *galva*, род. п. *galvas* и дат. п. **galvai*, вин. п. **galvu*²¹ с соответствующими литовскими диалектными формами им. п. *galva*, род. п. *galvuos* и дат. п. *gālvā*, вин. п. *gālva*. Однако здесь он не учел того обстоятельства, что в приводимом им диалекте литовского языка (район Паневежиса) происходит более поздняя закономерная ретракция ударения на предыдущий слог, чего нет в литовском литературном языке. С другой стороны, Я. Эндзелин опирался тут на предположение, согласно которому также ошибочно утверждалось, что аналогичное явление в датском языке, называемое в нем толчок (датск. *stød*), восходит к восходящей интонации, хотя были и совершенно противоположные точки зрения (подробнее см. Poljakov 1997, 60–63).

Современные экспериментальные исследования опровергли это предположение. А. Гирдянис установил, что спектрограмма прерывистой интонации в жемайтском диалекте литовского языка напоминает спектрограмму обыкновенного акута с той разницей, что «перед „пунктирным“ отрезком внезапно все форманты полностью (или почти полностью) прерываются и затем появляются в ослабленном виде» (Girdenis, 1973, 71; 1981, 23). Общность латышской прерывистой и нисходящих интонаций на примере интонационных кривых установила Д. Маркуса (Markusa 1993, 84). Здесь следует особо заметить то, что прерывистая интонация в жемайтском диалекте литовского языка и в латышском языке имеют различное проис-

²⁰ Фонетико-фонологические и типологические проблемы прерывистой интонации исследует Вяч. Вс. Иванов (1959 с перечнем работ по этому вопросу). Вслед за Я. Эндзелином он обращает внимание на то, что данная интонация также представлена и в ливском языке (см. Иванов 1959, 144–147).

²¹ Здесь можно заметить, что реконструкция Я. Эндзелином интонаций в формах дат. и вин. падежей дается, исходя из более поздних диалектных данных литовского языка, что является заметным нарушением системности анализа.

хождение. Это уже видно на примере того, что в жемайтском диалекте такая интонация возникает в обоих интонационных парадигмах с нисходящей интонацией (акутом — акцентные парадигмы 1, 3), в то время как в латышском языке только в той акцентной парадигме, которая соответствует литовской третьей акцентной парадигме. И в датском языке, как устанавливают современные исследования (см. Naugen, 1982, 22–23; Braunmüller, 1991, 36–37), толчок восходит к нисходящей интонации, что показывает его соответствие шведскому акценту 1.

В определенных случаях в действии таких просодических законов наблюдаются исключения и вместо одной интонации может появляться другая, ср. (выше) лит. (литер.) 1-е л. ед. ч. *sukaĩsi* ‘вращаюсь, кручусь’, 2-е л. *sukaĩsi* вместо закономерных форм *sukáusi*, *sukáisi*; словн. ед. ч. им. п. *līpa* ‘липа’ — вин. п. *lipo* : инстр. п. *lipo*²² (вместо *lipo*) под влиянием²³ вин. п. *zim̃* : инстр. п. *zim̃* — им. п. *zim̃a* ‘зима’ (Jaksche 1965, 24) и т. д. Это явление получило название метатония. Можно заметить, что метатония в отношении действия просодических законов имеет много схожего с аналогией. Если аналогия предотвращает действие фонетических законов, то метатония — просодических.

Общий вывод: просодические законы действуют аналогично фонетическим, т. е. подчиняются внутренним закономерностям. Универсальными просодическими законами являются:

1. Закон переноса ударения вправо: если ударение переносится с восходящей или краткостной интонации (краткого слога) на последующий долгий слог, то в новом слоге возникает нисходящая интонация.

2. Закон ретракции ударения (переноса ударения влево): если ударение переносится со слога с нисходящей интонацией на предшествующий слог, то в другом слоге возникает восходящая или краткостная интонация (ударение появляется на кратком слоге).

3. При сокращении конечных долгот сокращаются слоги с нисходящей интонацией (универсальное следствие из закона А. Лескина).

4. Прерывистая интонация при оппозиции «нисходящая интонация»: «восходящая интонация» возникает только из нисходящей интонации.

Исключения из просодических законов объясняются главным образом метатонией, вызываемой самыми различными причинами.

²² Возникновение метатонии здесь можно объяснить тем, что в таком случае возникла дифференциация морфологических форм на просодическом уровне и тем самым избегались омоформы.

²³ Здесь различие интонаций в падежных формах переносится аналогически на различие интонаций в корне. И в первом, и во втором случае таким образом просодически избегается омонимия грамматических форм.

Литература

- Дыбо В. А. О древнейшей метатонии в славянском глаголе. ВЯ, 1958, № 6, 55–62.
- Дыбо В. А. Ударение славянского аориста. Краткие сообщения Института славяноведения, 1961, вып. 30, 33–38.
- Дыбо В. А. О реконструкции ударения в праславянском глаголе. Вопросы славянского языкознания, 1962₁, вып. 6, 3–27.
- Дыбо В. А. Рец.: Chr. S. Stang «Slavonic accentuation. Oslo 1957.» В кн.: Структурно-типологические исследования. М., 1962₂, 220–225.
- Дыбо В. А. Работы Ф. де Соссюра по балтийской акцентологии. В кн.: Ф. де Соссюр. Труды по языкознанию. М., 1977, 583–597.
- Дыбо В. А. Славянская акцентология. М., 1981.
- Дыбо В. А., Замятина Г. И., Николаев С. Л. Основы славянской акцентологии. М., Словарь, 1993.
- Журавлев В. К. Относительная хронология праславянских процессов по данным внешней и внутренней реконструкции. В. Кн.: Славянское языкознание. IX Международный съезд славистов. М., 1983, 120–134.
- Гирденис А. Западно-литовские и древнепрусские слоговые акценты: В кн.: Балтийские языки и их взаимосвязь со славянскими, финно-угорскими и германскими языками. Тезисы докладов научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения акад. Я. Эндзелина. Рига, 1973, 71–75.
- Иванов Вяч. Вс. О прерывистой интонации в латышском языке, — Rakstu krājums. Festschrift dem Akademiker Professor Dr. J. Endzelin zu seinem 85. Geburtstag und zu Ehren seiner 65-jährlichen (sic!) wissenschaftlichen Tätigkeit gewidmet, Rīga 1959, 133–148.
- Иллич-Свитыч В. М. Именная акцентуация в балтийском и славянском. Судьба акцентуационных парадигм. М., 1963.
- Мейе А. Общеславянский язык. М., 1951.
- Степанов Ю. С. Методы и принципы современной лингвистики. М., 1975.
- Фортунатов Ф. Ф. Критический разбор сочинения Г. К. Ульянова «Значение глагольных основ в литовско-славянском языке». «Отчет о присуждении Ломоносовской премии в 1895 г.» Сборник Отделения русского языка и словесности ИАН, 1897, 64, — 11, 1–158.

- Braunmüller K.*, 1991, Die skandinavischen Sprachen im Überblick, Tübingen.
- Endzelin J.* Lettische Grammatik. Riga 1922.
- Endzelins J.* Latviešu valodas gramatika. Rīga 1951.
- Endzelins J.* Darbu izlase. II. 2. Daļa. Rīgā 1980.
- Girdenis A.* Kuršių substrato problema šiaurės žemaičių teritorijoje: Iš lietuvių etnogenezės. Vilnius 1981, 19–25.
- Girdenis A.* Teoriniai fonologijos pagrindai. Vilnius 1995.
- Haugen E.* Scandinavian language structures. A comparative-historical survey. Tübingen 1982.
- Horálek K.* Zum gegenwärtigen Stand der slavischen Akzentologie. — Zeitschrift für slavische Philologie, 1961, Bd. 29, 357–379.
- Jaksche H.* Slavische Akzentuation. II. Slovenisch. Wiesbaden 1965.
- Leskien A.* Die Quantitätsverhältnisse im Auslaut des Litauischen, AfSIPh, 1881, Bd. 5, 188–190.
- Markusa D.* Zilbes intonācija latviešu valodas skaņu mācībā Rīgā. 1993.
- Matešić J.* Der Wortakzent in der serbokroatischen Schriftsprache. Heidelberg 1970.
- Osthoff H., Brugmann K.* Morphologische Untersuchungen auf dem Gebiete der Indogermanischen Sprachen. I. Leipzig 1878.
- Poljakov O.* Das Problem der balto-slavischen Sprachgemeinschaft. Heidelberger Publikationen zur Slavistik, A. Linguistische Reihe. Herausgegeben von Baldur Panzer. Bd. 8. Peter Lang Verlag. Frankfurt/M., Berlin, Bern, New York, Paris, Wien, 1995.
- Poljakov O.* Zur Rekonstruktion der balto-slavischen Intonationen, Baltistica 1996, XXXI (2), 163–179.
- Poljakov O.* Zum Begriff «prosodische Gesetze». В.: Тезисы докладов VIII Международного съезда балтистов. Vilnius 1997₁, 114–115.
- Poljakov O.* Über Herkunft und Entwicklung der Silbenakzente im Lettischen, Baltistica 1997₂, XXXII (1), p. 57–69.
- Saussure F. de* Accentuation lituanienne, IF 1896, 6, Anzeiger, 157–166.
- Saussure F. de.* Recueil des publications scientifiques. Genève 1922.
- Shevelov G. Y.* A Prehistory of Slavic. The Historical Phonology of Common Slavic. Heidelberg 1964.

Stang Chr. Slavonic accentuation. Oslo 1957.

Stang Chr. Die vergleichende Grammatik der baltischen Sprachen. Oslo etc. 1966.

Stundžia B. Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavimo sistema. Vilnius 1995.

Szemerényi O. Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. 4. Aufl. Darmstadt 1990

Torbiörnsson T. Liquida-Metathese in slavischen Sprachen, BB, 1894, 20, 124—148 = Likvida-metates i de slaviska språken, Språkvetenskapliga Sällskapet i Upsala, Förhandlingar 1891—1894 (написано 1893).

Torbiörnsson T. Zur Akzentuierung der sekundären Nominalableitungen im Litauischen. In: Symbolae philologiae O. A. Danielsson octogenario dicatae. Upsaliae 1932, 363—382.

Trautmann R. Die altpreussischen Sprachdenkmäler. Göttingen 1910 (2. unveränderte Aufl. 1970).

Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos istorinė gramatika. Vilnius 1980.

Zinkevičius Z. Lietuvių dialektologija. Vilnius 1966.

Культура и искусство

Е. М. Верецагин

Древнейший славяно-русский канон Георгию Храброму: первая публикация*

Юрию Сергеевичу Степанову — к юбилею

Юрий = Егор(ий) = Георгий.
Nomen est omen.

Святой славный великомученик, победоносец и чудотворец *Георгий* (*Егорий*, *Юрий*) — один из самых чтимых славянских святых¹. В русском фольклоре св. Егорий имеет постоянный эпитет и регулярно именуется *Храбрым* (или *Хоробрым/Хорабрым*)².

В отличие от греков, чествующих память Георгия лишь раз в году (23 апреля ст. ст.), православные русские празднуют святому в год два раза — во второй раз 26 ноября. Сейчас 26 ноября мало что значит, но когда-то сей день на Руси хорошо знали. На него приходится т. н. *Егорий Холодный* (или *Зимний*; память освящения в Киеве [на Златых вратах] Георгиевского храма), и к этой дате, а не к *Егорию Теплому* (или *Голодному*, или *Вешнему*;

* Работа выполнена при поддержке РГНФ (проект № 99-04-00102а «Лингвистическое исследование и подготовка к изданию архаичного источника — Ильиной книги»).

¹ Научно выверенное сводное житие св. Георгия см.: А. Бугаевский, иг. Владимир (Зорин). Житие и страдания святого великомученика и победоносца Георгия и царицы Александры. «Журнал Московской Патриархии», 1998, 4, с. 65—79.

² Ср. всего три фрагмента из духовных стихов о Егории: Породила она (София. — Е. В.) себе три дочери, / Три дочери да три любимыя, / Четвертаго сына Егория, / Егорня-света *Храброго*; Возговорит царище Демьянище / Ко Егорию *Хораброму*: / «Ой ты гой еси, отче Егорий *Хорабрый*! / Поверуй веру латынскую!»; Поем славу святя Егория, / Святя Егория-свет *Хорабраго*! / Во веки его слава не минуется! / И во веки веков! Аминь! — Цит. по: Ф. И. Буслаев. Русская хрестоматия. Изд. 12-е. 9-е изд. просмотрено и исправлено акад. А. И. Соболевским. М., 1912, с. 366—378. Царище Демьянище — это царь Диоклетиан (время правления — 284—305 гг.), при котором был мучим св. Георгий.

23 апреля) относится до сих пор актуальная пословица: *Вот тебе, бабушка, и Юрьев день*³.

Последование на 26 ноября дошло до нас в древнейшем славяно-русском богослужебном сборнике — *Ильиной книге*, в источнике, выдающееся значение которого стало раскрываться лишь в последнее время.

По традиции древнейшим славяно-русским списком службы Георгию считалась известная Минейя 1096 г.⁴ Ильина книга — древнее.

Ильина книга (сокращенно *Ил*) — это архаичная, единственная в своем роде и весьма интересная славяно-русская рукопись из собрания Российского Государственного Архива Древних Актов (РГАДА [Москва], ф. 381 [Син. тип.], № 131; см. ее описания⁵). Наименование получила по выходной записи (на обороте листа 136): *минеа псалъ бывъи попинъ цркви сѣгаго възнесеннѣа*. Ил с точки зрения ее состава, а также особенностей языка и текстов представляет собой древнейший (из сохранившихся) славянский минейно-триодный сборник. Так, она архаичнее знаменитой Путятиной минеи (XI в.). Ил содержит ряд служб на двенадесятые праздники и избранным святым с сентября по февраль, а далее — последование на Успение Богородицы, стихиры Борису и Глебу и первомученице Христине Тирской, а также последование пророку Илии Фезвитянину. Строгая кодикологическая квалификация источника в его первоначальном составе встречается с трудностями. Первоначально Ил, несомненно, имела также и триодную часть (о чем свидетельствует запись на листе 125 [оборот], строка 15), но, поскольку сейчас в книге содержатся только службы на двенадесятые праздники и избранным святым, ее (так сказать, «по факту») можно рассматривать как *минею праздничную*, или *трефоло(зи)ю*.

Об архаичности самой Ил, о ее восхождении к южнославянскому протографу и о том, что она была переписана на Руси, свидетельствуют многочисленные данные

³ Относительно обстоятельств перехода крестьян от одного помещика к другому (или ухода в город) на Юрьев день см., например: А. А. Коринфский. Народная Русь. Круглый год сказаний, поверий, обычаев и пословиц русского народа. М., 1901, с. 500—501.

⁴ Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь. В церковно-славянском переводе по русским рукописям 1095—1097 гг. Труд орд. акад. И. В. Ягича. СПб., 1886, с. 179—190.

⁵ Описаний — два; см.: Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI—XIII вв. М., 1984, № 76; Каталог славяно-русских рукописных книг XI—XIV вв., хранящихся в ЦГАДА СССР. Ч. 1 и 2. М., 1988, № 16.

языка и текстов⁶; подробнее об этом см. в отдельных обширных исследованиях⁷. Полное издание источника — на повестке дня.

Сейчас мы впервые вводим в научный оборот службу Георгию Победоносцу по Ил. Выбор для публикации именно данного последования объясняется именем нашего юбилея.

Георгиевская служба в Ил начинается на листе 60-м (лицевая сторона, строка 20) и завершается на листе 63-м (оборотная сторона, строка 19). Ирмосы в источнике, как обычно, показываются инципитами (начальными словами).

Размеры настоящей статьи невелики, поэтому пришлось удовлетвориться только публикацией службы Георгию, а от комментариев отказаться. Впрочем, одно наблюдение мы все же сделали. Оно касается устойчивого именования великомученика *храбрым* (соответствующие греко-славянские пары ниже опережающе подчеркнуты: см. среди песнопений №№ 02, 03 и 25).

Учитывается Миней 1096 г. по изданию Ягича. Из нее в притекстовом аппарате приводим лишь такие варианты, которые сказываются на осмыслении текста, — лексические замены и добавления слов (последние имеют помету add. [= addit «прибавлено»]).

Ил воспроизводится буква в букву⁸. Если буква по каким-либо причинам превосходит обычный размер, то эта особенность показывается. Если буквосочетание

⁶ Приведем всего один пример. Порядок следования гимнографических жанров в Ильиной книге более древний, чем в Минее 1096 г., а именно: сначала — канон, затем — стихиры и под конец — седален. Указанный порядок расположения гимнографических жанров (сначала канон, за ним стихира/стихиры и [обычно один] седален) свидетельствует об особой архаичности минеи и ее языка, о ее принадлежности к достудийскому изводу. На это обстоятельство указал еще Ягич (цит. раб., с. LXVII). Недавно проблему обстоятельно исследовала Н. А. Нечунаева (Миней как тип славяно-греческого средневекового текста. Tallinn, 2000, с. 102—112). Ныне коллекция с «обратным» порядком расположения жанров состоит из 6 единиц, а именно: 1) Путятинной минеи (которую единственно и знал Ягич); 2) Ильиной книги, 3) глаголической праздничной минеи № 4/Н, которую ввел в научный оборот Тарнаидис; 4) фрагмента из Июльской минеи собрания РГАДА (ф. 381, № 121; служба Борису и Глебу: лл. 28^v—31^r); 5) Битольской триоди и 6) состоящего из одного листа источника Q. п. I. 25.

⁷ Е. М. Верещагин, В. Б. Крысько. Наблюдения над языком и текстом архаичного источника — Ильиной книги. Статья первая // ВЯ, 1999, 2; Статья вторая // ВЯ, 1999, 3; Верещагин Е. М. Новонайденные тексты гимнографии Кирилло-Мефодиевского времени: исчезнувший жанр праздничных блажен // Byzantinoslavica, 2000, в печати.

⁸ Следуем эдиционным правилам, принятым в Российско-германском коллективе, осуществляющем издание Декабрьской служебной минеи по древнейшим рукописям. См.: 1) Gottesdienstmäum für den Monat Dezember nach den slavischen Handschriften des 12. und 13. Jahrhunderts. Служебная миней за декабрь в церковно-славянском переводе по русским рукописям. Facsimile der Handschriften CGADA

приписано над или под строкой, то оно заключается в разнонаправленные косые скобки (например, \хѡ/ и /моли\). Пунктуация и диакритика рукописи опущены; анахронистически вносим от себя только опоясывающие запятые, чтобы выделить обращения. Песнопения пронумерованы, причем их надписания причислены к тексту первого гимна из цикла. Словоделение и стихометрия (счет стихотворных строк) привнесены нами (они отражают интерпретацию текста публикатором). Конец строки в рукописи обозначается одной вертикальной чертой (|), конец страницы — двумя (||), а сторона листа обозначается поднятыми латинскими литерами (лицевая * и оборотная *).

Всего песнопений — 26. Канон сохранился не полностью. Он состоит из восьми песней, и наполнение их различное: в песнях 1, 3, 4, 9 по четыре тропаря в каждой; в том числе богородичны: №№ 04, 08, 12, 22; из-за утраты листа от 7-й песни сохранились лишь два тропаря Георгию, а богородична нет (хотя в Минее 1096 г. он есть); в 8-й песни представлены не четыре, а лишь три тропаря, в том числе богородичен (№ 18). Стихир — три (№№ 23—25); седален — один (№ 26).

Для всех песнопений приисканы греческие соответствия; в греческой служебной минее⁹ они помещены под 23 апреля. Воспроизводим их без пунктуации, но обращения выделяем в запятых. Публикация осуществляется сразу на двух языках (в согласии с принципами билинейно-спатического метода¹⁰).

01 60^г 20, 60^у 1—7 вѣ· кѣ· сѣаго георги||
ка· гла· б· пѣ· а· вѣ· глаголю|

(1) Θερμότητι πίστει καὶ στοργῇ τοὺς προσκαλουμένους σε,

Теплоу вѣроу и любови призывающ|имъ тѣ,

(2) μάρτυς Χριστοῦ στεφανόρε Γεώργιε,

мчѣне хвѣ вѣнчѣно|сьче георгие

(3) παρεστὼς ὀλόφωτος σεπτῷ βήματι

прѣстопа свѣтлѣ¹ оу чѣ|стнаго ти прѣстола

(4) τοῦ τῶν ὅλων δεσπόζοντος

всѣхъ влады|чствоюща

(5) σοὺ ταῖς ἰκεσίαις καὶ ταῖς προστάσεσιν διαφύλαξον.

твомни млтѣамн н|застоуплениемъ съхрани|

1: всѣ светомъ.

f. 381 Nr. 96 und 97. Köln, Weimar, Wien, 1993; 2) Gottesdienstmenäum für den Monat Dezember nach den slavischen Handschriften des 12. und 13. Jahrhunderts. Служебная минея за декабрь в церковно-славянском переводе по русским рукописям. Т. 1: 1. bis 8. Dezember. Opladen, 1997; 3) Т. 2: 9. bis 19. Dezember. Opladen, 1997; 4) Т. 3: 20. bis 24. Dezember. Opladen, 1999.

⁹ Μηναία τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ. Ἐν Ῥώμῃ, 1888—1901.

¹⁰ См. подробнее: Е. М. Верещагин. «Написание о правой вере» Константина Кирилла Философа: билинейно-спатическая публикация источника; представление и оценка нового издательского метода. Статья вторая. «Русистика сегодня», 1996, № 4.

02 60^v 8–13

(1) Εὐγενὲς γεώργιον Θεοῦ γέγονας, Γεώργιε,
Блгородно въздѣланнѣ хвѣ бысть, | геωργіе мчѣне,

(2) μαρτυρικαῖς γεωργούμενον πράξει·
мжчєннѣмъ въ | здѣланъ дѣанѣемъ

(3) καὶ ὡς πλοῦτον ἔμψυχον
іако вѣатѣство | дѣевно

(4) οὐρανόις σε θησαυροῖς ἐναπέθετο, ὁ ἀγωνοθέτης,
нѣсѣнѣхъ съкровищѣ въ | ложи, вѣнчєдєдєвчє¹,

(5) ὡς διαφερόντως ἀριστεύσαντα.

іако нзѣщєно | хравѣровав²· |

1: вѣнчєносѣцѣ; 2: хравѣръствова.

03 60^v 14–19

(1) Ρωμαλέως καὶ καρτερικῶς ὥρμησας
Хравѣрно и тѣрпѣнно оустѣрми | аъ сѣ кєи

(2) αὐτοκλήτος πρὸς τοὺς ἀγῶνας,
самозѣванно кѣ подвиго | мѣ,

(3) παμμάκαρ Γεώργιε·
прѣблаженѣн геωргіе,

(4) καὶ καταστρεφάμενος τὴν ἀτίθασον τῶν τυράννων παράταξιν
нспрѣврѣглѣ кєи томнѣлєвѣ протнвѣнѣ | а пѣлкѣ

(5) πρὸςβυς ὑπὲρ πάντων τῶν προσκαλουμένων σε γεγένησαι.
молнѣвннѣкѣ за всѣ | кѣ тєбѣ прнтѣкажннѣ¹· |

1: прнѣгающамѣ.

04 60^v 20–21, 61^r 1–4

(1) Οὐρανὸς ἐγένου λογικὸς Λόγον τὸν οὐράνιον
Нѣо бысть истинно слова нѣсѣ | наго

(2) τῇ σῇ γαστρὶ, Θεομήτορ, χωρήσασα
въ твоємъ чрєвѣ, бородитє | а нннѣ, вѣмѣстнѣвшн

(3) δι' οὗ πάντα γέγονεν οὐρανὸς τε καὶ γῆ
нмѣже всѣ | быша нѣо же и землѣ

(4) καὶ τὰ τούτων ἐπέκεινα· ὃθεν παρρησία
и всѣ прочѣ | єгоже¹ дрѣзновєннѣмъ

(5) πρєсβєυє σωθῆναι τοὺς ὑμνοῦντάς σε.
молн єпѣтн | пожѣиѣ тѣ· |

1: add. сѣ.

05 61^r 5–9

пѣ· ѣ· процєвѣ кєтѣ похѣт· |

(1) Στεφάνω τῆς ἀδλήσεως διαλάμπων, ἔνδοξε,

Вѣнчємъ страсотѣрпѣчьскомъ снѣ | а, славнє,

(2) τοὺς εὐσεβῶς καλοῦντάς σε

εἰργαζόμενος πρὸς τὰς ἀνάγκας τῆς

(3) λιτανεύων τῷ λυτρωτῇ καὶ Θεῷ

μοῦ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ ἐν οἴκῳ

(4) ἀπὸ πάσης ἀνάγκης, μάκαρ, λύτρωσαι.

οὗτ' ἐν παντί βοήθει, ἐλπίδα, ἐλπίδα.

06 61^r 10—13

(1) Πλυσίαις φωτιζόμενος λαμπηδόσι, πάνσοφε,

Бѣгатымъ свѣтъ сѧ снѣгъ, прѣмоу|дрε,

(2) τὴν ζοφερὰν ἀπέλασον ἀδυμίαν

ομрачении ѿжени оуныныи

(3) καὶ τὴν ἀγλήν τῶν παθῶν

и мѣ|глогъ грѣхъ оубо

(4) ἀφ' ἡμῶν τῶν ἐν πίστει εὐφημούντων σε.

Ѿ насъ вѣрно хва|лащимъ тѧ.

07 61^r 14—17

(1) Ἐλπίδι στήριζόμενος

Надеждоу оутѣржаемъ

(2) καὶ ἀγάπῃ πίστει τε περιφραχθεὶς, Γεώργιε,

и вѣроу ражда|гомъ², георгіе,

(3) καὶ δυνάμει Χριστοῦ ρωννύμενος

и силоу оукрѣплемъ|хъ оубо

(4) τῶν εἰδώλων τὴν πλάνην καταβέβληκας.

бѣсовскыѧ съблазны низъло|жилъ еси.

1: add. лютевноу н; 2: огражаемъ.

08 61^r 18—21

(1) Φωτίζοντα τὰ πέρατα, Παναγία,

Просвѣщающа въсвѣщаѧ, прсѣта,

(2) τέτοκας μετὰ σαρκὸς τὸν ἄσαρκον

и родила еси съ плѣтню нестѣтворенаго

(3) καὶ πρὸ πάντων Πατρὶ συνάρχον·

прѣ|жде всѣхъ оῦю съвезначальна

(4) Θεοτόκον διὸ σε πίστει σέβομεν.

сего ра|ди тѧ вѣроу чѣстимъ.

09 61^r 1—6 π.β. δ. пришествова о двѣ|

(1) Ὑμνοῦμεν σου τοὺς ἀγῶνας, παμμάκαρ Γεώργιε,

Подемъ твоѧ подвигы, прѣблажене мѣ|чениче¹,

(2) δι' ὧν καταβέβληκας τὰ τῶν εἰδώλων σεβάσματα·

имже низъложилъ еси бѣ|совскыѧ трѣбнища

(3) πᾶσαν δὲ κατήργησας

вѣсѣкоу же| проклѣлѣ кєн
(4) τὴν τῶν δαιμόνων ἀπάτην, παναοίδιμε.
моуѣнтелевоу лѣтъ|, вѣсѣславне·|
I: георгикє.

10 61^v 6—10

(1) Κατεύνασον πειρασμῶν καὶ κινδύνων
ΟΥΤΟΛΗ НСКОУШЕНИИ ВѢДѢ
(2) τὸν τάραχον καὶ πᾶσαν ἐπήρειαν
БЖРЮ И ВЪ|СЮ НАПАСТѢ
(3) τὴν τῶν δαιμόνων ἀπέλασον ἀπὸ τῶν ὑμνούντων σε
ЗЪЛЪХЪ ВѢСОВЪ ѠЖЕИ| Ѡ ПОЮЩИХЪ Т.А.,
(4) ὡς τοῦ Χριστοῦ στρατιώτης, ἀξιάγαστε.
ХВЪ ВОКОВОДО ДОСТОСЛА|ВНЕ¹ ·|
I: вѣсѣславне.

11 61^v 11—14

(1) Ἀνέτειλας ὡς ἀστὴρ ἐωσφόρος, Γεώργιε,
ВЪСНПѦЛѢ КЄН ІАКО ЗВѢЗДА ДЪНННЧНД|А, георгикє,
(2) ψυχῆς γενναϊότητι καὶ στηριγμῷ τῷ τῆς πίστεως
ДШЕВНЮ ДОБЛЕСТНЮ И ОУ|ТВЪРЖЕНИЕМЪ ВЪРЪ
(3) πλάνης τὴν σκοτόμαιναν ἀποδιώκων
СЪΒΛАЗННОУЖ| ТЪМОУ ѠГОНА
(4) καὶ σφύζων τοὺς ὑμνοῦντάς σε.
И СПСН ПОУЩАА Т.А·|

12 61^v 15—18

(1) Σωτηρίαν οὐσιώδη, Παρθένε, γεγέννηκας
ОПЄСЕННЄ СЖЩЄСТВНО, ДВО, РОДИЛА КЄН
(2) πλουσίᾳ χρηστότητι
И| БГАТОЮ БΛГОДАТНЮ
(3) καὶ φυσικῇ ἀγαθότητι σφύζουσιν τὸν ἄνθρωπον
И КЄСТЪСТВНОЖ| БЛГОСТЪИНЕЮ СПСАЮЩАГО ЧЛѢКА
(4) καὶ τὴν φθαρεῖσαν εἰκόνα ἀναπλάττουσαν.
НСТЪ|ЛѢВЪШНИ ОБРАЗЪ ВЪЗЪДАВЪШАГО¹ ·|
I: сѣздавѣшаго.

13 61^v 19—20

п.ѣ·ѣ· просвѣщеннє вѣ тѣ·|
(1) Μαρτυρικὴν παρρησίαν ὡς ἔχων
ІАКО МЧНЧЕСКО ДРЪЗНОВЕНИИ ИМѢІА
(2) πρὸς τὸν Δεσπότην...
сво||

После этого недостает одного листа. В тетради не восемь листов, а только семь (конечный утрачен). Пропущены: 5-я, 6-я песни целиком и, видимо, один тропарь 7-й песни. Продолжается со 2-го (?) тропаря 7-й песни. Пропуск может быть восполнен по Минее 1096 г.

14 62^г 1—3

(1) α

(2) ...ὡν πύργος ἀκράδαντος
нѣтъ стѣлпъ неразорнмъ¹

(3) τοῖς εὐφημοῦσί σε, πάνσοφε Γεώργιε,
хвалл|шимъ тл, геωргіе моудре,

(4) γενοῦ περιτειχίζων ταῖς ἰκεσίαις σου.
бждн огра|ждаѣта млтѣвами си|

1: неоворнтель.

15 62^г 4—9

(1) Σοφῶς ἐγεώργησας τὸν δεῖον σπόρον
Прѣмоудро възоравъ вжѣтвѣноє сѣмл|

(2) καὶ τοῦτον ἐπλήθυνας αἱμάτων σου τοῖς ρεύμασιν
и сего оумноживъ крѣве твоєта проли|тиємъ

(3) ἀρδεύων, μακάριε, καὶ τῇ τῶν πόνων σπουδῇ
напаѣмъ, блажене, и болѣзнь|нѣмъ тыщаниємъ

(4) καὶ ποῖς ἐπαλλήλοις αἰχισμοῖς
и разлнчнѣими| тржды

(5) δι' ὧν τυράννων τὸ θράσος ἔσβεσας.
ниже тарость томнтелевж| посрами·

16 62^г 9—14 пѣ· ѿ· печь огньн·

(1) Ρύμην τῶν δεινῶν παθῶν τε καὶ κινδύνων

Стѣзю грѣховъ въсѣхъ и бѣдъ

(2) καὶ ταραχῶδους περιστάσεως
и воурь|нѣхъ напастни

(3) καὶ νόσων συμπτώματα
и неджжнѣхъ пада|ни

(4) καὶ δαιμόνων μηχανήματα
и бѣсовьскѣхъ нскоушени

(5) καὶ θυμένων ὀρμήματα
и| вражнѣхъ стрѣмлени

(6) παῦσον ταῖς σαῖς πρεσβείαις,
оутнши сво|ни млтѣвами,

(7) στεφανήφορε Γεώργιε.
вѣнченосьче георгіе·|

17 62^r 15—19

(1) Στέφει νοητῶ

вѣнѣцемъ мчѣньскѣмъ

(2) ποικίλως διαπρέπων

нспѣшрено|мъ съподобенъ сѧ

(3) καὶ βασιλείας διαδήματι¹

(4) καὶ σκήπτρῳ κοσμούμενος

н сκнпѣ тромъ о҃крѧ|шаемъ

(5) καὶ πορφύρῳ περιδέμενος

багѣромъ одѣнъ

(6) σὺ φοινηχθεῖσαν αἵματι, μάκαρ,

своєю крѣ|вию очръви сѧ, блажене,

(7) συμβασιλεύεις τῷ βασιλεῖ τῶν δυνάμεων.

н црюеши съ|црьмъ силъ||

1: В Ил строка отсутствует; восполнена по Минее 1096 г.: црскѣмъ вѣнца сѧ.

18 62^v 1—5

(1) Τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς ἀχρόνως

Иже ѿ оца безъ времени

(2) γεννηθέντα

въ время порождѣ|ши

(3) καὶ πρὸ αἰώνων ἀναλάμψαντα

н прѣже вѣкѣ вѣснѣвъши

(4) τὸν πάντα ποιήσαντα

всѧ|чьскаѧ сътворѣша

(5) ὁρατά τε καὶ ἀόρατα, Παρθενομῆτορ, τέτοκας²

внѣдимаѧ н невн|димаѧ, дѣво мѣн, родила еси

(6) ὃθεν σε Θεοτόκον πάντα τὰ ἔθνη δοξάζομεν.

тѣмъ тѧ|вѣцю г҃ъци славѧтъ|

19 62^v 6—11

пѣ· ѿ· безначальна сѧ р·|

(1) Ἀπαύστως τὸν Κύριον ὑπὲρ ἡμῶν δυσώπησον

Непрѣстаньно г҃оу о насъ моли сѧ

(2) τῶν ὑμνούντων σε, μάκαρ,

о поѡж|цнхъ тѧ, блажене,

(3) ὡς χριστομάρτυρα

ѧко х҃ѧ м҃ченика|

(4) ὡς νενικηχότα τυράννους

ѧко побѣждѣ м҃ченителѧ

(5) ὡς πονηρῶν πνευμάτων διώκτην

ѧко непрнѧ|знивѣхъ дх҃ъ ѿгонителѧ

- (6) ὡς ἄγρυπνον φύλακα
 πακο стража| неогсыпакма
 (7) ὡς προστάτην ἀκαταίσχυντον.
 н пако застоупынка ти\χα/·|

20 62^v 12—16

- (1) Τῶν ἄθλων τὰ ἔπαθλα
 Страстоτърпычскы тл вѣнцы
 (2) πλουσίως σοι δεδώρηται ὁ τῶν ὅλων δεσπότης·
 ба̑тъ|но ода̑ри вьсѣхъ вл̑а
 (3) ᾧ παριστάμενος
 кмо̑же прѣсТо|ниши
 (4) μετὰ παρησίας, τρισμάκαρ, μαρτυρικῆς
 съ др̑знове̑ни̑емъ, бла̑жене, м̑ж|чен̑и̑ч̑ско̑мъ
 (5) καὶ μετ' εὐφροσύνης τοὺς προσκαλουμένους σε διαφύλαττε.
 н съ вьсел̑и̑емъ пр̑зъ|ва̑ж̑ца̑ тл съхрани·|

21 62^v 17—19, 63^r 1—2

- (1) Ἡ γῆ σε κατέκρυψε
 Земл̑а те̑е не съкр̑ы
 (2) καὶ οὐρανὸς ἐδέξατο
 нъ н̑бо тл пр̑и̑аТъ|
 (3) καὶ ἡνοίγη σοι πύλη τοῦ παραδείσου σαφῶς
 Ѡ̑брьзо̑ша ти с̑а в̑рата ра̑нска̑а ѡ̑вѣ|
 (4) ὃν περιχαρῶς, ἀλόφορε,
 въ нем̑ъ̑же радост̑но, страстоτър̑пы̑че,||
 (5) χοροβατῶν καὶ περιπολεύων
 о кро̑г̑гъ хо̑д̑а-н-л̑и̑ко̑ѡ̑
 (6) τοὺς πίστει ὑμνοῦντάς σε
 вѣ̑ро̑ж̑ по̑ж̑|ца̑а тл
 (7) σαῖς πρεσβείαις περιφρούρησον.
 съхрани·|

22 63^r 3—7 б

- (1) Σκηνὴ προετίπου σε τοῦ μαρτυρίου, Πάναγνε,
 Те̑е съ̑вѣ̑дѣ̑тель̑ны̑а ски̑ни̑и про̑с̑ε̑ра|зи
 (2) ἐν ᾗ πλάκες καὶ στάμνας καὶ ἡ χρυσῇ κιβωτός·
 въ̑ не̑и̑же ск̑ри̑жали̑ н̑ ста̑м̑на̑ з̑ла|та̑ н̑̑ κ̑и̑во̑т̑ъ
 (3) ὥσπερ γὰρ ἐκεῖνη ἐκεῖνα οὕτω καὶ σὺ
 па̑ко̑ та̑ т̑ѣ̑хъ̑ та̑ко̑ н̑̑ т̑ъ̑|
 (4) τὸν ἄναρχον Λόγον
 в̑з̑на̑ча̑ль̑на̑ сло̑ва̑

(5) ἐν γαστρὶ ἐχώρησας

въ чрѣво вѣмѣ|сти,

(6) Θεοτόκε, σωματούμενον.

вѣе, въплѣ|щамма|

23 63^r 8—15

сѣн· гла· д· по· пако доваа в·|

(1) Ρωμαλέω φρονήματι

Твѣрдѣмь оумомъ

(2) πεποιδώς ἡντομόλησας

оупваа дрѣзнжлѣ|кєн

(3) ὥσπερ λέων, ἔνδοξε, πρὸς τὴν ἄθλησιν

пако лѣвѣ въскочи на моченикѣ|

(4) ὑπεροῶν μὲν τοῦ σώματος ὡς φθίρεσθαι μέλλοντος

прѣзрѣвъ оубо тѣло пако тѣлѣ|щє

(5) τῆς ἀφάρατου δὲ ψυχῆς σοφῶς ἐπιμελούμενος·

нетѣлѣ|щєни же дшн прѣмждрьно при|лежа

(6) καὶ κολάσεων πολυτρόποις ἰδέαις

и мчѣнѣмь многоразличьномъ|

(7) ἐπυρώδης ὡς χρυσὸς κεκαθαρμένος

раждѣ же сѧ пако злато очищено

(8) ἐπταπλασίως, Γεώργιε.

сѣдмь|сѣдмичєю, геωргіє·|

24 63^r 16—19, 63^v 1—3

(1) Τῷ Σωτῆρι συνέπαδες

По хѣѣ мжченѣ кєн

(2) καὶ θανάτῳ τὸν θάνατον

и своєю сѣмьртн|ѣк

(3) ἐκουσίως, ἔνδοξε, μιμησάμενος

волею хѣѣ оуподобѣ сѧ, славьнє|

(4) συμβασιλεύεις λαμπρότατα

(5) πορφύραν ἐξ αἵματος ἐνδυσάμενος φαιδρᾶν

въ прапрждьнж ѿ крѣве овѣлченѣ|свѣтло

(6) καὶ τῷ σκήπτρῳ τῶν ἄθλων σου ἐγκοσμούμενος

и скипѣтромъ сѣраданнѣ||тн оукрашѣ сѧ

(7) καὶ στεφάνῳ τῆς νίκης διαπρέπων

и вѣнчємь славьномъ оу|вазєнѣ

(8) ἀπεράντους εἰς αἰῶνας,

въ вєсконьчьнѣѧ вѣкѣ,

(9) μεγαλομάρτυς Γεώργιε.

вєлн|кѣи мчннчє геωргіє·|

25 63^v 4—10

(1) Τῷ τῆς πίστεως θώρακι

Брънлами вѣрными

(2) καὶ ἀσπίδι τῆς χάριτος

и бл҃годатыными | шлемомъ

(3) καὶ Σταυροῦ τῷ δόρατι συμφραζάμενος

и крѣстными копиемъ о|граждѣ сѧ

(4) τοῖς ἐναντίοις ἀνάλωτος ἐγένου, Γεώργιε·

противными не побѣжде|нъ бысть, георгіе,

(5) καὶ ὡς θεὸς ἀριστεύς

ѧко бж҃и хравѣ|рѣ

(6) τῶν δαιμόνων τὰς φάλαγγας τροπώσάμενος

вѣснаѧ оплченна славьно побѣждѣ|

(7) σὺν ἀγγέλοις χορεύεις

съ англы си прсно

(8) τοὺς πιστοὺς δὲ περιέπων ἀγιάζεις

вѣрныѧ покрыва|ѧ сїсакши

(9) καὶ διασώζεις καλούμενος

и ѿ мжкы сїсакши·|

26 63^v 11—19

сѣ· гла· ѱ· пѣ· прѣмоудрости·|

(1) Εὐσεβείας τοῖς τρόποις ἀνδραγαθῶν

Бл҃гочѣстна образѣ бл҃гочѣте сѧ

(2) ἀσεβείας τὴν πλάνην καταβαλὼν, Μάρτυς,

вечн|сѣтна же льсть ннзѣложи, мжчениче,|

(3) κατεπάτησας τοῦ ἐχθροῦ τὰ φρονήματα·

попѣра вражна шатанна

(4) τῷ γὰρ θεῷ ζήλω τὸν νοῦν πυρπολούμενος

и бж҃ицѣ|любѣвью прсно ражднзакмъ

(5) τῶν τυράννων ἔσβεσας τὸ ἄθεον φρόνημα·

ндо|льскоѣ оугаси везеожноѣ шатаннѣ|

(6) ὅθεν ἐπαξίως ἀμοιβὴν τῶν βασάνων

тѣмже достоино вѣзмьздѣе при|ѧтъ

(7) ἐδέξω τὸν στέφανον

приѧтова вѣнѣцъ

(8) καὶ παρέχεις ἰάματα

и дак|ши нцѣленикѣ,

(9) ἀθλοφόρε Γεώργιε.

страстотѣрпче георгіе,

(1) Πρόσβευε...

/μολι\·||

Такова публикация службы: она, как упоминалось, осуществлена по билинейным принципам, и теперь есть возможность немедленно приступить к сопоставительным разысканиям. В этом отношении источник преизбыточествует проблемами. Примером да послужат нижеследующие наблюдения над устойчивым именованьем св. Георгия *храбрым*.

В двух случаях лексемам *хравьровати* (№ 02, строка 5) и *хравьръ* (№ 25, строка 5) соответствуют греч. однокоренные слова — глагол *ἀρισταίω* 'быть лучшим, славнейшим, первым, выделяться, отличаться' и прилагательное *ἀριστεύς* 'лучший, славнейший, первый, выдающийся, отличный'.

Общая семантика «абсолютного превосходства по оптимальности» присутствует у всех греч. слов (включая дериваты и композиты), содержащих морфему *ἀριστ-*.

Достаточно напомнить, что *ἄριστος* (= *optimus*, т. е. 'наилучший, превосходный, великолепный, самый доблестный') — это супплетивный *superlativus* от *ἀγαθός* (= *bonus*, т. е. 'хороший, добрый, красивый, доблестный'; согласно одной из семантизаций, 'совершенный во всяком роде и отношении'¹¹).

Ср. далее: *ἀρισταρχέω* 'отлично управлять'; *ἀρισταρχής* 'лучший из вождей'; *ἀρισταρχία* 'наилучшее управление'; *ἀριστεία* 'доблесть, отличные деяния'; *ἀριστοβούλος* 'подающий наилучшие советы'; *ἀριστογόνοος* 'рождающий отличных детей'; *ἀριστόδικος* 'наилучший судья'; *ἀριστοεπέω* 'превосходно говорить'; *ἀριστοκρατία* 'власть лучших, аристократия'; *ἀριστολόγημα* 'наилучшая речь'; *ἀριστομαντής* 'наилучший прорицатель'; *ἀριστολύρης* 'отличный игрок на лире'; *ἀριστόμαχος* 'отличный боец'; *ἀριστόνοος* 'благородно, отлично мыслящий'; *ἀριστότεχνος* 'отличнейший мастер'; *ἀριστότοκος* 'отлично рожденный = благородный'; *ἀριστότροφος* 'весьма плодородный' и т. д.

За исключением канона Георгию, в текстах той же Ильиной книги все греч. лексемы, содержащие основу *ἀριστ-*, не переводятся слав. лексемами с основой *хравьръ*. Таких случаев всего девять, и в качестве соответствий используются лексемы с «общеоптимальным» значением: *изъащнь*, *славнь*, *оугоднь* и *хвальнь*. Таким образом, связь *ἀριστ-* — *хравьръ* является для Ил избирательной, нехарактерной: она видна только в каноне Георгию.

По контексту песнопения № 02, в котором речь идет о стойкости Георгия в мучениях, имеется в виду только то, что он был, так сказать, *ἀριστοάθλητης* «наилучший страдалец», а о его храбрости как воина не сказано ни слова. По контексту песнопения № 25, речь идет о духовном борении (с бесами), и для победы здесь важна не мирская воинская доблесть, а «броня

¹¹ См.: Греческо-русский словарь, составленный Иваном Синайским. Ч. 1. М., 1869, с. 3.

верь», «щит благодати» и «копие креста», т. е. духовные доблести, которые (как явные новозаветные аллюзии)¹² и поименованы в стихире.

Слав. переводчик, употребив лексему *храбръ* 'храбрый, отважный, безбоязненный, бесстрашный', произвел две семантических операции.

Во-первых, он выполнил операцию конкретизации: конечно, *коптимальный* воин — в том числе и *храбрый*, но *храбрый* описывает только одно похвальное качество бойца, тогда как *наилучший, отличный, превосходный* — совокупность качеств.

Примерно о том же писал И. Синайский. Уже было сказано, что, по его удачному толкованию, *ἀγαθός* — это «совершенный во всяком роде и отношении». Лексикограф продолжил мысль: «И в сем значении (прилагательное. — Е. В.) переводится применительно к тем существительным, при коих оно стоит; например, *ἀγαθός στρατιώτης* 'храбрый воин', *ἀγαθός γεωργός* 'опытный земледелец', *ἀγαθή γῆ* 'плодородная земля'»¹³.

Во-вторых, поскольку *ἀριστεύς* (как видно на примере вышеприведенного гнезда) может относиться к целому ряду сфер действительности, а *храбръ*¹⁴ — только (избирательно) к тематической области борьбы и военного дела, переводчик выполнил операцию семантической специализации.

Вероятно, он поступил так потому, что в его сознании *воинская* доблесть Георгия (а уже атрибут *Победоносца* говорит о том, что перед нами *воин*¹⁵) вышла на первый план по сравнению со всеми другими достоинствами (например, по сравнению со *стойкостью* в мученичестве).

Что касается песнопения № 03 (строка 1), то здесь греч. *ῥωμαλέως*, производное от *ῥώμη* 'сила, (физическая) крепость', едва ли имеет адекватным смысловым соответствием *храбърьно*, и не случайно *храбърьно* в ходе sprawy тропаря по греч. оригиналу впоследствии (во всяком случае, в синодальный период) было заменено на *твърдо*. Это уже третий случай, когда был выполнен перевод, не полностью поддержанный греч. исходным текстом.

Настойчивое именование св. Георгия *храбрым* в древнейшем богослужебном последовании ему по времени, безусловно, предшествует фольклорным текстам, обнаруживающим ту же настойчивость (их образцы см. выше в сноске 2). В общем виде *post hoc*, конечно, совсем не обязательно *propter hoc*, но в данном случае — весьма вероятно: возможно, именно

¹² Стихира парافразирует Апостола: «Итак станьте... облечись в броню праведности... возьмите щит веры... и меч духовный, который есть Слово Божие» (Еф 6: 14–17).

¹³ См.: Греческо-русский словарь, цит. раб., с. 3.

¹⁴ Всесторонние сведения о семантике лексики *храбръ* см.: К. Куев. Черноризец Храбръ. София, 1967, с. 40–43.

¹⁵ Св. Георгий, по данным его житий, был начальником когорты *инвиктиоров*; за отвагу он был почтен саном *камита*.

в творческих и личностных переводах греч. канона следует искать истоки фольклорного постоянного эпитета *Егория — Храбрый*.

Примечательно, что в агиографии — иначе: в переводном Прологе под 23 апреля Победоносец ни разу не назван *храбрым*; не назван *храбрым* он и в Прологе под 26 ноября, что, впрочем, и понятно, поскольку в данном случае речь идет не о самом Георгии, а о строительстве и освящении цр́кве ст́аго великомч́нка геор́гїа, ѣже в кїевѣ, предѣ враты ст́ым софїи.

Таким образом, старый тезис о воздействии (книжно-письменного) церковного богослужения на устное народное творчество получает еще одно, новое подкрепление.

Н. И. Балашов

«Непринужденное самостояние*» художника: Веласкес

Какая была бы колоссальная польза для русского человека, если бы в Эрмитажных залах висели бы рядом Мане и Веласкес...

Александр Бенуа [1. С. 49]

Понять слова Бенуа (в буквальном смысле кажушиеся странной утопией) легче, когда знаешь, что с середины XIX в., начиная с Бодлера и затем вплоть до петербургской выставки французского искусства в 1912 г., Эдуард Мане характеризуется как художник «непринужденного» таланта [1. С. 41.]

Ясно, что и до Веласкеса были художники весьма самостоятельные. Но все же и значительные художники в рамках заказа и своих привычек не только в портретах, но и в изображении различных сцен частной, придворной, общественной, религиозной жизни писали довольно часто не то, что примерно от них ждали. Но были сферы живописи более вольные, в которых существовала большая стилевая свобода. Это изображения «тихого бытия» — «стильевены» всякого рода — натюрморты, далевые пейзажи, изображение простой утвари или дворцовой обстановки; воспроизведение одежд, то более убогих, то, чаще, богатых, модных и украшенных, которые импонировали заказчикам, и они находили свой облик схожим.

Докомпьютерные попытки сформировать подлежащие определению знаки, например, в колорите и структуре мазков изобразительной живописи не достигали точности. Послекомпьютерные — получались грубыми, агломеративными — поддающимися дальнейшему делению на разнородные единицы, теряющими смысл для восприятия и изучения искусства, практически неважными, если передать, исходя из латыни «нерелевантными», если из греческих прилагательных «лептой» — мелкими до безразличия.

Здесь не имеются в виду декоративные, орнаментальные искусства или искусства, опирающиеся на разработанную религиозную символику, где роль знака (определяемого для художника извне) возрастает.

* Самостояние — термин А. С. Пушкина.

Но в области религиозной живописи здесь этот «натюрмортный», как будто нейтральный декор проникал в произведение в зависимости от волеизъявления художника («Кухня ангелов» Сурбарана, Лувр). Это не поощрялось церковными властями. Даже относительно мягкая в Венеции инквизиция привлекла к ответственности в 1573 г. знаменитого Паоло Веронезе. Художник, изображая «Вечерю в Вифании» во время которой Мария (Вифанийская, сестра воскрешенного Иисусом Лазаря) помазала ноги Иисуса драгоценным миром и отерла их волосами своими (см. [8], Инв., 12, 2—8), ввел в произведение не упомянутые в Евангелии бытовые подробности: различных людей, утварь, собаку.

Между тем ничто не могло ограничить художников невозможным в изобразительной живописи и иконописи безобразным и беззнаковым воспроизведением нескольких строк Писания.

Художник завоевывал самостояние именно в той степени, в которой он умудрялся (пусть неосознанно) ввести элементы декоративной и натюрмортной свободы. Эта тенденция существовала уже в палеохристианском искусстве и не исчезла в строгой православной византийской, русской иконописи — достаточно взглянуть на знаменитую Троицу Рублева, чтобы понять, что, несмотря на богоугодный замысел, многих ее элементов не найти в Священном писании или у авторитетнейших Отцов церкви.

Если художник сумел непринужденность семиотических знаковых законов натюрморта и декора перенести в самую суть своей картины в целом, то он завоевывал большую и большую независимость и мог проявить свое творческое самостояние. Эта тенденция усилилась на подходе к более рационалистическому XVII столетию, но инициировать ее на подготовительном этапе должны были не только скромные зачинатели XV в., но очень крупные художники рубежа XVII в., такие как Караваджо, Рубенс, Гальс, а для завершения реформы — гении XVII в. — Рембрандт, Веласкес, Вермеер.

Вот о роли Веласкеса в новой, более свободной и семиотически маневренной эстетике живописи XVII—XIX вв. и написана эта работа.

Она опирается на наблюдения автора в музеях (подавляющее большинство упоминаемых работ Веласкеса автор видел в Прадо в Мадриде, в Эрмитаже, в Риме, Милане, Лондоне, Брюсселе, Киеве). Что касается других художников, то их работы рассматривались большей частью в вышеупомянутых музеях, а также в Лувре, в музее Орсе в Мюнхене, Дрездене, ГМИИ имени Пушкина и на различных выставках в Москве. Для читателя совокупность альбомов и частных исследований о Веласкесе могут отчасти заменить русские издания: «Сто лет французской живописи (1812—1912)» [1], работа Т. П. Каптерева [2], монография В. С. Кеменова о Веласкесе, очень устаревшая в рассуждениях, но удовлетворительно воспроизводящая

в цвете произведения художника [3], а также многоязычный французский альбом ин-фолио «Веласкес» в серии «Мировое искусство» [4] и итоговый полуторатысячестраничный сборник «*Vaia Velazqueña*», 1960 [5].

Не раз академик Ю. С. Степанов и я обсуждали, в частности, в музее Прадо роль живописности как таковой, образующей важнейшую составляющую в приковывающих внимание «загадках» Веласкеса, и искали пути к их разъяснению. Речь шла о сопоставлении свечения во тьме в испанских распятиях без предстоящих фигур. Это касается Веласкеса и Сурбарана; таких картин, как эрмитажные «Распятия» Рибальты и Сурбарана; таких, как небольшое мадридское «Распятие», где в правом углу все же виден евангелист Лука (предполагаемый автопортрет Сурбарана), запечатлевающий Страсти Христовы. Особое внимание привлекало живописно убедительное внутреннее свечение одинокого и всеми оставленного Богочеловека у Веласкеса в «Большом Распятии» для монастыря Сан-Пласидо.

В картине можно разглядеть едва заметную тень, которую в «мировое пространство» (до Христа) отбрасывает древо распятия за спиной Иисуса. Глубочайшая идея и высокое искусство изображения следа остаточного мрака дохристианского мира. Это поразило Ю. С. Степанова и меня в Прадо.

Это своего рода кульминация, выраженная живописным приемом, неразделимой веры в Бога и в человека, в Богочеловека, который сам изнутри освещает не только свое мертвое тело, но и осветил все кругом.

Такая художественная сила может частично идти от Эль Греко. Он с православного Крита принес в Испанию иконную византийскую традицию изображать самодовление Иисуса Христа при всех обстоятельствах. Можно сравнить с идеей «большого распятия» Веласкеса будапештское «Моление о чаше» Эль Греко, где в страшный для христианства час последнего вечера Христа на свободе даже четыре самых верных апостола уснули, позабыв просьбу молиться о Спасителе, уснули и оставили Его одного в виду врагов, шедших взять и распять Его.

У Веласкеса освещенность и простота рисунка, особенности колорита обуславливают безмолвной речью живописи естественный, спонтанный дуализм самых драматических картин. Таково грустное полотно «Бог Марс» (около 1640—1642 гг.), которое безмолвно, живописными средствами, начиная с приглушенного колорита, свидетельствует об огорчении художника воинственной политикой Испании.

Нечто подобное есть в прославленном обширном полотне Веласкеса «Сдача города Бредá» (1635; 3,07 на 3,67 см) с пророческой двусмысленностью изображения циклического движения коней и людей, угроз дальних пожаров и затоплений, предвещающих все вместе недоброе. Таковы же пророческие перспективы в полотнах 1650-х гг. «Менины» и «Пряхи»,

представляющих собою своего рода завещание художника. Оно впоследствии оказало решающее воздействие на Гойю. Это сказывается не только в копии Веласкесова портрета папы Иннокентия X, в котором Гойя воспроизвел необходимость Божия суда над папой; это сказалось вообще в портретах работы Гойи, в его знаменитых «Махах» и в изображающей панику, вызванную трагедией Испании, темной картине «Колосс» (ок. 1808 г.: 116 на 105 см) (Сравни Ю. С. Степанов [6] С. 34, 289, 291–293, 295, 286).

Веласкес не имел склонности к стенной живописи, которая наподобие архитектуры в известных обстоятельствах гарантирует художнику возможность устойчивой организации перспективных ансамблей. Развеска картин в музее Прадо (коллекции которого объединили дворцовые, монастырские и частные собрания произведений Веласкеса), несмотря на свою блестящую продуманность и цельность, не всегда могла сохранить или реконструировать возможности ансамблево-перспективной воли Веласкеса, хотя подавляющее большинство его произведений сосредоточено именно в Прадо.

В статье нет ни места, ни возможности исследовать историю экспозиции произведений художника в Прадо, но мы как свидетели обязаны высказаться в отношении центрального зала на основном (втором) этаже музея, двенадцатого большого полузакругленного «зала Веласкеса», где вплоть до рубежа 1970–1980-х гг. сохранялась удивительно удачная композиция размещения основных картин.

В ходе понятной и вообще-то вполне оправданной расширенной ре-экспозиции 80-х гг. произошли и утраты, которые нынешним посетителям Прадо едва ли когда-нибудь смогут быть возмещены. Веласкес, конечно, не умещался в большом XII зале основного этажа, но, когда вы входили в зал, прямо перед вами, вдали, в полукружии, висела огромная картина «Сдача города Бредá», а первой с левой стороны от входа — «Пряхи», с правой — «Менины».

Эти две картины, выделявшиеся также размером, находились на одной поперечной оси зала, от середины которой можно было провести перпендикуляр вперед к «Сдаче Бредá».

Если зритель догадывался прийти в обеденное время, когда музей бывал пуст, он видел то, что уже зависело не просто от совершенства творений Веласкеса, а от системы перспективы, в которую зритель попадал. Представьте, что вы оказывались в «перспективном коридоре», который пересекал зал, уходя в обе стороны, в глубину, с не отпускающей внимания линейно-воздушной перспективой обеих картин, уводившей взгляд в бесконечность, как в «Пряхах», где вдалеке на третьем плане виделось небо над морем, так и в «Менинах», где на задней стене дверь дворца была распахнута наружу, в слепящее пространство, в котором совсем нельзя ничего различить.

Остальные развешенные в XII зале замечательные творения мэтра, среди которых находится посетитель, в том числе и большие портретные и специфические «коннопортретные» полотна Веласкеса, просвечивающие особым лучом скрытые судьбы, мысли и чувства сильных мира сего; портреты придворных шутов, глубокомысленных мудрецов, поэтов-рабов, скованных своим положением, — все это (великое само по себе!) можно было как следует рассмотреть и оценить, выйдя из середины заколдованного «зрительного коридора». Единственное, чем из центра «коридора» можно было насладиться сполна, кроме парных картин о труде и искусстве («Пряхи») и внутренней жизни королевского двора («Менины»), была «Сдача города Бредá», картина, которая по своей живописной природе, еще более прозрачно-воздушной, а также по философскому характеру уводила не только в бесконечность далекого горизонта за дымами пожарищ и затоплений — следов вчерашней войны, но и во временную перспективу, в даль переменчивого будущего.

Пока не появлялись посетители, пока их не собиралось много, выйти из зрительного центра зала кроме как на краткое время, чтобы углубиться в ту или другую из трех пространствообразующих картин, не было душевных сил.

Это легче было сделать потом, вздохнув, когда XII зал заполнялся, а пока, имея и за спиной достаточно обширный прямоугольный XXVII зал, тоже посвященный Веласкесу, естественно было виртуально дополнить созерцаемое, представив, что двери входа расширены, а на оси, против «Бредá», сохранилось сгоревшее в 1754 г. при пожаре мадридского Алькасар (Алькáсар — старая резиденция королей, находившаяся там, где теперь стоит королевский дворец, построенный в XVIII–XIX вв.), соотносившееся по размеру полотну «Изгнание морисков из Испании» — еще одна из четырех самых больших картин Веласкеса.

Мы не знаем материалов, по которым эту утраченную картину можно было бы представить хотя бы по описанию, но дух картины на тему трагедии морисков, волновавшей до глубины души Сервантеса, Кальдерона, а еще раньше в иной модуляции авторов многочисленных испанских «мавританских» романсов, возникает сам по себе, по аналогии с непринужденно-гуманистическим взглядом гения на судьбы людей в «Бредá», «Менинах», «Пряхах», в изображении шутов, Эзопа, постаревшего Марса и самосвечении «Большого Распятия».

Подобные композиции встречаются в стенной росписи, где произведения неподвижны, например в «Станцах» Рафаэля в Ватиканском дворце. Конечно, ничто не может быть «лучше» «Станцев» Рафаэля, но там был исконный живописно-архитектурный план автора. А в Прадо (через столетия после кончины автора) в построенной однажды умозрительно композиции

возникла уводящая в бесконечность перспектива, поддерживаемая изображением зрителя. Возможность построения такой перспективной композиции картин Веласкеса с разлетом на все четыре (если учесть «Изгнание морисков») стороны света — это одно из свидетельств непринужденности Веласкеса, его прикровенного всеприсутствия.

Духовная перспектива четырех всеобъемлющих картин Веласкеса по своему масштабу и разносторонности сравнима со свободной духовной насыщенностью и всепроникновенностью романа «Дон Кихот» Сервантеса. И то, и другое — самый разносторонний лирический эпос близких стадий великого Золотого века испанского искусства.

Обращаясь к проблеме зеркально-перспективных гуманистических живописных идей позднего Веласкеса, обратимся к той, которая осуществлена в знаменитых сложностью построения «Менинах» (Прадо, 1656; 318 на 276).

Исходное название картины точно не известно («La Familia», то есть «Королевская семья»?). Картина впервые с удивительной внешней простотой, чуть ли не «жанрово» представляет домашнюю жизнь испанских королей. (Король и королева смутно мреют в зеркале в дальней перспективе. Это король Филипп IV и его вторая жена Мариана Австрийская. Филипп IV в значительной мере был покровителем Веласкеса как официального придворного художника.)

Формально в световом и геометрически нижнем центре картины изображена в придворном наряде младшая, любимая отцом инфанта донья Маргарита среди «мений» («компаньонки-гувернантки»), обслуживающих инфанту дам, карликов, карлиц и дремлющего на самом первом плане большого пса...

К картине трудно приложить слово «придворная». Она тоже по-своему «натюрмортна», приглушенна, непринужденна. Большая часть помещения затенена, а украшения дворцового апартамента — картины Рубенса и Якоба Иорданса (копия Масо, зятя Веласкеса) на задней стенке — видимо, тонули в общей затененной атмосфере второго плана уже до естественного потемнения за 350 лет.

Основная более или менее освещенная линия предметов и лиц странным с точки зрения дворцового этикета образом начиналась с верхней части доски — торца задника огромного, небрежно обтесанного мольберта Веласкеса. Световая дуга образует широкую и не строго правильно выпуклую по отношению к зрителю параболическую кривую, создающую ощущение глубины пространства, которое на картине необычайно глубоко. В одном месте внешнее, светлое безграничное пространство прорывается сквозь распахнутую наружную дверь в апартаменты дворца. Контрастное восприятие

глубины пространства усиливается тем, что в картине выпуклая световая дуга противостоит естественной в интерьере — для художника и созерцателя — слабо эллиптической вогнутости перспективной дуги. Таким образом, взгляд зрителя совершает движение и по светлой дуге, и по темной, вогнутой в затененной части помещения.

Главная линия освещенности дуги следует от мольберта и автопортрета Веласкеса (какой по тем временам это могло показаться дерзостью!) через младшую менину к находящемуся в световом центре лицу инфанты Маргариты. Затем световая линия дробится, но следует в основном через лицо старшей менины к открытой наружу, в ярко освещенную даль двери. На лесенке двери четко виден, как черная паучья фигура на свету, дворцовый квартирмейстер дон Хосе Ньето Веласкес, должно быть, весьма не расположенный к своему «удачливому» однофамильцу, осмеливавшемуся устроить такой беспорядок во дворце и вольготно расположившемуся писать все это.

Есть, правда, и точка зрения, будто дон Хосе — родственник живописца и персонаж нейтральный. Помимо вопроса о документации этих предположений нужно учитывать, что отрицательная характеристика дона Хосе прочно вошла, например, в сознание Пабло Пикассо. Он в серии своих вариаций на тему полотна «Менины» (ныне находящегося в Барселонском музее Пикассо) всюду подает Ньето зловещим и колющим, как репейник. Впрочем, узловато-колюч силуэт Ньето, выходящего вон из картины на ярком фоне открытой наружу двери и у самого Диего Веласкеса.

Живописец был не так прост и уязвим, как хотелось его врагам. Десятилетия придворной жизни не отняли у него смелости, но научили отстаивать достойные истины не безрассудно прямо, как делал Дон Кихот, но осторожно и непринужденно, «само собой», так, как делал Сервантес.

Для Ньето донос о беспорядочности в картине не сулил успеха, а мог бы другим концом ударить по самому Ньето, по ябеднику.

В картине несколько центров и с логической и живописной точки зрения. Веласкес автопортретный, не тот, что показан пишущим картину, а тот, который ее писал на самом деле, но на картине невидим, стоял, разумеется, вне картины, там, где теперь находится зритель. Художник изобразил апартамент прямо, но не против его середины, а так, что в ракурсе видна правая боковая стена с окнами и дальний правый угол по пространственной диагонали от основания огромного мольберта направо, вверх.

Кого же или что же писал Веласкес на холсте, натянутом на огромном мольберте, чей задник заслоняет левую часть апартаментов и дисгармонически врывается в дворцовую обстановку?

На картине есть ответ: надо взглянуть в зеркало, висящее на поперечной стене, точно под промежутком между картинами Иорданса и Рубенса,

как раз на половине расстояния между мольбертом и вертикалью правого заднего угла. Это второй центр по сравнению с тем, который представляет головка девочки-инфанта. Там, на стене, в небольшом, но примерно соотношенном по форме со всей картиной «кадре» зеркала смутно видятся молодая королева Мариана Австрийская и король Филипп IV. Этот кажущийся совсем удаленным и «задним» второй (после святящейся головки инфанты) зрительный центр, центр схождения диагоналей внутреннего пространства между мольбертом и задним правым сходом стен очень важен. Он свидетельствует о присутствии их величеств при работе Веласкеса, то есть о высоком одобрении работы. Раздвоенные Диего Веласкесы будто оба работают на королевскую чету. Видимый Веласкес пишет ее парный портрет, а невидимый, виртуальный — находится рядом с их величествами и пишет инфанту среди менин.

Второй центр выделен тем, что все линии, исходящие от упомянутой выше световой дуги, сближаются именно в королевском зеркале.

Едва ли Веласкес в великой картине имел в виду оборону от зложелателей. Скорее всего, без всякого умысла сложилось так, что наветчик Ньето мог понять композицию «Менин» с опаской по-своему: король и королева присутствовали при работе художника, он занят делом и в своей стоящей у мольберта ипостаси пишет портрет короля и королевы, да еще присматривается к задаче написать возле них любимую дочь короля.

Выходило, что пытается внести дисгармонию сам Ньето: он неодобрительно (!) уставил взор на прямо видимых ему en face короля и королеву, да еще засветил для зрителей четкость зеркального изображения, открыв наружу дверь. Сказать Ньето было нечего, хотя его злые сомнения (если они существовали на самом деле) были бы частично оправданы.

Веласкес творил не так, как ему полагалось. Это ведь Диего Веласкес (а не Ньето) при помощи ломаных (зеркалом) перспективных линий и игры воздушной перспективы отдалил монархов от тех, кто будет любоваться картиной.

Автопортрет Веласкеса виднее, крупнее и, конечно, одухотвореннее, чем бледные зеркальные отблески королевской четы. Живописец, правда, не поставил себя в центр, но, что «хуже», — в начало свершения действия в картине и выпятил грудь, как будто уверен, что на ней вскоре (именно так и случилось в жизни) будет начертан знак высшего почета Испании — крест Сантьяго (по имени св. апостола Якова Старшего, считавшегося небесным покровителем страны).

Художник уверен в себе больше, чем тот солдат-писатель, герой разгрома флота Османской империи 7 октября 1570 г. при Лепанто, который, хотя и был отмечен самим Хуаном Австрийским, сыном императора Карла

У, всю жизнь бедствовал, но ощущал, что значит быть Сервантесом, верил, что написанный им роман и его герой принадлежат ему, как он — им. И на самом деле, хотя от «Дон Кихота» до «Менин» прошло пятьдесят лет, роман тот не забыт, и автор его не будет забыт спустя четыре века.

Если бы дон Хосе Ньето былмышленей в живописи, он подсказал бы королю, что такой высокий мольберт не подходит, чтобы писать парный портрет королевской четы и, скорее, Диего Веласкес, стоявший у мольберта, уже задумал изобразить не короля, а каких-нибудь «Прях», что художник и сделал через два года, в 1657 г.

Веласкес и поступил так, как мог заподозрить Ньето. Картина о пряхах получила высокопарное мифологическое название «Наказание Арахны». Произведение содержит намек на несправедливость наказания художника властью, а к тому же чуть ли не наводит на ассоциацию силуэта дона Ньето с пауком (по-гречески: арахнэ — паук). В довершение художник придаст «Пряхам», как «Менинам» (289 на 220 см), редкостную глубину и почти такой же размер.

Формально в «Пряхах» зеркала нет, но квазизеркальная оптика намечена. Картина трехпланова и далеко уводит линейной, воздушной, колористической и совсем из ряда вон выходящей смысловой перспективой от мифологии к современности. Поучителен третий план — ковер или гобелен с изображением наказания Афиной пряхи за то, что она осмелилась состязаться с богиней в пряже, а вдобавок, выткала любовное похождение отца Афины, Зевса, похищающего Европу. Афина за это и превращает прядильщицу в Арахну, то есть в паука.

Этот третий, задний план картины отличается светлыми тонами, размытостью рисунка, затруднением в исчислении (условно многосотметрового) геометрического расстояния, отделяющего море, где плывет Зевс-бык, от второго и особенно от первого плана с его интенсивным и в то же время неясным в отношении точного определения источника ярким светом. Ковер или гобелен — готовая работа прях — больше похож на картину, натянутую на подрамник, а в данном положении — некой мифологической страны, да еще в удаленном «волшебном зеркале», далеко упрятанном художником в мнимую глубину дальней перспективой.

Специалисты по Веласкесу уже полвека назад уверились, что это так и есть. Веласкес действительно скопировал в общих чертах с поправками, обусловленными перспективным удалением и усилением света, верх находившегося в Мадриде полотна Тициана «Похищение Венеры», на котором ласковый бык (Зевс) в ясный день уносит Европу в море. Море у Веласкеса в большей части заслонено стоящими перед ковром и разглядывающими его дамами. Таким образом, третий план уводит зрителя в небесную даль.

(Картина Тициана в настоящее время находится в Бостоне в частной коллекции. Ни у Ю. С. Степанова, ни у меня, находившихся в Бостоне краткий срок, времени узнать, в какие дни и на каких условиях эту коллекцию можно посетить, не было.)

Видимая в «Пряхах» часть картины изображает небо над морем, то есть, согласно Бодлеру, самый наглядный для человека образ бесконечности.

Выше мы напомнили, что когда «Пряхи» и «Менины» находились в Прадо на одной оси друг напротив друга, то перспективный «зрительный коридор» казался манящим и бесконечным в обе стороны.

Второй план «Прях» занят дамами, рассматривающими ткань с мифологическим сюжетом и таким образом заслонивших от зрителя Зевса и Европу. Только одна дама повернулась в сторону прядильщиц, но смотрит, скорее, не на пряжу, а на зрителя (или... на художника!). При некотором спорном напряжении фантазии может показаться, что лицо этой дамы схоже с отраженным в зеркале лицом в картине Веласкеса «Венера с зеркалом», написанной около 1650 гг., то есть на семь лет раньше «Прях».

Никогда нельзя забывать, что показываемый дамам гобелен выткан самими пряхами. Веласкес дает их искусству невероятно высокую оценку: простые испанские труженицы способны воспроизвести полотно Тициана так, что оно светится, как и сам шедевр гениального создателя!

Но потрясающим в прославленном полотне «Пряхи» является и первый план, с которым не поспорить никакому «производственному роману» недавнего прошлого. Картина несколько повреждена при пожарах в XVII—XVIII веках, была частично обрезана и дописана по краям, но в принципе замысел художника не пострадал.

Во-первых, знакомо по «Менинам» дуговое (выпуклое) расположение четырех сравнительно (для такого сюжета) ярко освещенных прях и их простых инструментов при затемнении лишь одной работницы, оставшейся вне световой дуги и очень темной. Возможно, эта фигура была записана при реставрации.

Во-вторых, демонстративен напоминающий опыт ранних «бодегонов» облик босых и по-народному одетых прях. Среди них выделяются две опытные прядильщицы, которые даны в большем размере и находятся на самом виду, а по содержанию выполняют функцию обучения остальных. Размеры этих двух прях «циклопичны», а огрубелые босые ноги упираются в само основание картины.

В третьих, весьма значащая непропорциональность ширины первого, «рабочего» плана (2,89 при высоте 2,20) по сравнению с более узкими вторым и третьим; второй план, где находятся дамы, сужен до трети, но еще больше сужен третий план с изображением вытканного пряхами по

картине Тициана gobелена. Сходящиеся кверху картины арки оставляют видимой не более одной шестой всей ширины картины, пока наконец все пространство не заслоняется арочным сводом.

Сразу очевидна Веласкесова — неслыханная в живописи других стран, даже у братьев Ле Нэн во Франции, — апология работающих женщин. На полотне Веласкеса голова и плечи великой богини Афины меньше щиколотки босой ноги правой мастерицы, меньше головы кошки у ног левой женщины, приводящей в движение нижние колеса станка. Если предметы вторых планов утоплены в рассеянно светлом и чарующем, но размывающим их воздушном пространстве, то на первом плане в картине абсолютно господствует некий, несслуханный ни у одного караваджиста, ни у самого Караваджо, трудовой «Мир прях».

Набор ткацкого инвентаря (вспомним значение бodeгонов в реформе живописи у Веласкеса) расставлен и разбросан повсюду, начиная от станков и мотков ниток до грубо сбитой, подобно мольберту в «Менинах», приставной лестницы, стоящей позади старшей (левой) мастерицы, на месте, соответствующем мольберту в «Менинах», под косым углом, напоминающим угол того же мольберта.

Относительно приглушенный колорит мастерской способствует встречному (вопреки мифологии) движению исходящих из нее основных динамических импульсов, которые ведут зрителя вдоль первого плана картины и к тому же порождают эффект «света в конце туннеля» задних планов.

Теперь, если вновь вернуться к началу статьи, легче понять, почему при развеске в зале Веласкеса в Прадо в середине XX в. мог возникнуть пункт, из которого налево и направо в «Пряхах» и «Менинах» открывались, если условно можно так выразиться, «две бесконечности». Между ними в перпендикулярном векторе прямо вперед (под прямым углом) были видны на самой большой картине Веласкеса (3,07 на 3,67) «Сдача города Бреды» иные перспективы безмерного. За заключившими перемирие полководцами двух армий виден не только живописно-перспективный пейзаж земли и неба над горизонтом, но открывается столь же бесконечный пророческий пейзаж — действительно наступившее через три года (после 1635 г. — даты написания картины) поражение Испании и отвоевание города голландцами, предсказанные Веласкесом циклическим движением гигантских коней против часовой стрелки, слева направо внизу картины, то есть по ходу, обратному движению победителей — Амброзио Спинолы и его испанцев. (Гуманнейший из испанских полководцев XVII в. генуэзец Спинола был лично знаком с Веласкесом. Они в 1630 г. плыли на одном корабле в Италию. Его изображение Веласкесом — гениальный образец портрета-самостояния.)

Зеркало у Веласкеса играло большую роль и в картине совершенно другого рода, чем ранние бодегоны и поздние «Менины», — в его «Венере с зеркалом» (1,25 на 1,77 см), с начала XX в. находящейся в Национальной галерее в Лондоне.

В Лондонской галерее из-за старинной манеры плотной развески картин, практиковавшейся еще в домусейных коллекциях (сравнить: музей в Петергофе, в галерее Останкинского дворца под Москвой и др.), «Венера» Веласкеса (во всяком случае, на рубеже 70-х гг. (когда у меня была возможность рассмотреть ее в оригинале) поражала. Она даже вырывалась из контекста с некоторым ущербом (не для произведения Веласкеса, а для окружающих картин). В галерее отчетливее, чем на репродукциях, она казалась произведением более нового времени (в хорошем значении этих слов).

Даже в сравнении с картинами собственно Возрождения «Венера с зеркалом» может показаться чуть ли не превышающей ренессансные «непревосходимые» достижения. Она, как произведения Рембрандта или Вермеера, относилась к особому синтетическому направлению в живописи XVII столетия, в котором Рембрандт и Веласкес отходили от того прославленного специфического ренессансного маятникового или бустрофедонного движения между жизненно-реальным и идеальным в искусстве [7, С. 10 и след.].

Веласкесова Венера, подобно рембрандтовской Данае, мало общего имеет с мифологией и с (в какой-то степени позирующими даже «во сне» и в покое) небесно-земными Венерами предшествующих веков — у Боттичелли, Джорджоне, Тициана, Рубенса. У этих художников все же Венеры, «небесные» и «земные», — Венеры; Данаи — это Данаи. Не то у Рембрандта или Веласкеса (несмотря на все их различия).

Венера Веласкеса кажется написанной незамысловато. Она — просто чарующе привлекательная своей безыскусной красотой обнаженная женщина. Даже когда несколько нескладно манерный Амур держит перед ней зеркало, она не любит себя собой, как, увы, бывшая эрмитажная «Венера с зеркалом» Тициана, не задумывается о том, будут ли ею, ее лицом любоваться другие. Героиня Веласкеса, кажется, и не думает о том очаровании, которое излучает ее свободно и как бы небрежно опустившееся на ложе тело.

Конечно, преобразование искусства к началу XV в. Брунеллески, Мазаччо, Яном ван Эйком тоже с большим трудом подлежит четкому объяснению теми или другими внешними или внутренними причинами. Но таким спонтанным, как Веласкес в «Венере с зеркалом» (или Рембрандт в «Данае»), у великих основоположников Возрождения оно не было. Они в той или иной степени творили и теорию своего искусства и учили ей.

Недаром, несмотря на наличие учеников и непосредственных продолжателей у Рембрандта и Веласкеса, ни один художник впоследствии не до-

стигал, быть может, такого универсального совершенства, как они, а оценка основоположников по достоинству произошла только к XIX столетию.

Несмотря на разные манеры письма, на полное несходство наложения мазка, на противоположность колористических гамм, у того и другого художника наблюдается сходство, особенно в портретах. Среди картин Веласкеса и Рембрандта, наряду с отражавшими то беспощадное отношение, то весьма сочувственное сопереживание с объектом, были картины именно спонтанные. Тут сразу заметна мгновенность «просвечивания» с кистью в руке или по памяти, гениальность (в полном смысле слова, часто употребляемого всеу), обгоняло логическое освоение, притом в том же направлении, в котором потом могла следовать логическая мысль и у самого художника и у зрителей.

У Веласкеса все очарование Вены передано, можно сказать (на двести лет обгоняя события, как обгонял их сам художник), естественно, почти «импрессионически»: рисунок и легкие светлые полупрозрачные мазки передают конкретные особенности тела, причем не «en beau» (не приукрашивая), а, пожалуй, чуть ли не «en laid», едва ли не замечая его пусть милые, но несовершенства. Веласкес ради спонтанной свободы рисунка жертвует реальной красотой плеча правой руки женщины, снизу заслоненного модной тогда темной простыней так, что верх руки может показаться искаженным. Совершенно не идеализировано в сравнении с изображением Венер с зеркалом ренессансного времени (Ср. картину «Сладострастие» А. Янсенса ван Нейссена (1575—1632). См. [8. Р. 153].) небрежно размещены относительно простыни ступни и подошвы ног. Обращает внимание и укрытие белой материей верхнего изящного контура бедра. Загадочно, как бы удержанное памятью художника в иной момент, чем написание тела, отражение лица в зеркале: таким оно не могло быть ни по углу отражения, ни по большему (несмотря на перспективное удаление) размеру отражения, чем лицо. Наконец, образ в зеркале не кажется ни портретным, ни неким идеалом для лежащей женщины. Возможно, такое изображение лица было некоторым мнемоническим, невольно синтетическим (или сознательно маскирующим) приемом Веласкеса. Отражение, вопреки тому, что должно было быть, напоминает написанный Веласкесом ранее женский портрет в профиль, считающийся по разным соображениям портретом доньи Хуаны Пачеко, жены Веласкеса (Прадо).

Как бы то ни было, изображение обнаженной женщины с (волшебным) зеркалом Веласкеса во всем отстоит от знакомого художнику ренессансного идеала на ту же тему — прославленной, некогда эрмитажной (а после сталинского разграбления ставшей чужеземной) «Венеры с зеркалом» Тициана. [9], [10].

Если как-то свести наблюдения не столько на языке искусствознания, сколько на языке логического обобщения, то можно сказать, что поворот Веласкеса в поздних перспективно-зеркальных картинах вроде «Менин», «Прях» или как в нежной, ускользающей от мысли о прикосновениях «Венере с зеркалом» был важным для европейского искусства поворотом к воздушности и непринужденности — к «непринужденному самостоянию» художника.

Литература

1. Сто лет французской живописи (1812—1912). СПб.: «Аполлон», 1912.
2. Кантерева Т. П. Веласкес. М., 1961.
3. Кеменов В. С. Картины Веласкеса. М., 1969.
4. Velázquez. L'Art du monde. Paris; Tokio, [s. d.].
5. *Varia Velazqueña*. Homenaje a Velázquez. 1660—1960. Vol. I—II. Madrid, 1960.
6. Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры. М., 1997.
7. Балашов Н. И. Соотношение идеального и жизненно-реального в художественных системах Ренессанса и XVIII столетия как критерий разграничения этих систем // Известия РАН. Сер. лит. и яз. 1993, № 1.
8. *Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Département d'Art Ancien: Catalogue inventaire*. Bruxelles, 1984.
9. Проданные шедевры / Под ред. М. М. Пиотровского. СПб., 2000.
10. Кабанова О. Шедевры на распродаже. (Вышла книга о торговле советской власти художественными ценностями) // Известия. 2000. 4 дек.

Примечание автора. Продолжение поднятой здесь темы по линии «От Веласкеса до Мане» можно будет найти в работе, готовящейся к публикации в журнале «Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка» в 2001 г., том 60.

В. Сильонас

Космовидение Лопе де Веги и судьба художественных стилей

Подмостки испанского публичного театра-корралья во времена Лопе де Веги почти с такой же наглядностью, как подмостки елизаветинского театра, в котором частично их покрывающий навес назывался небом, а пространство под сценой — адом, представляли собой символическую картину космоса. Подъемные машины доставляли с верхней сцены ангелов, в люки же проваливались черти. Корраль унаследовал и машинерию и топографию у мистерий и средневековых зрелищ, таких как торжественные въезды августейших особ, коронации и проч., когда сверху спускались небожители, вручавшие дары венценосцам, и т. п. Праздник, как и мистерия, давал возможность воочию узнать то, что средневековый человек постоянно держал перед мысленным взором, — представителей загробного мира, рассказы о котором — к их числу принадлежала и знаменитая «Божественная комедия» Данте — влекли и интриговали больше, нежели вести о том, что происходит на земле.

Положение дел стало решительно меняться с наступлением Возрождения. Новости о земных событиях не только все более властно приковывают внимание, но и претендуют на исключительную важность. Знаменательно, что в постановках светских комедий, сочиняемых Лопе де Вегой, «небеса» над основной сценой корралья, как и «ад» под ней, бездействовали — события развивались без вмешательства иных миров. Космос этих комедий — вотчина любви. Дамы, обитающие в ней, столь совершенны, что их красота не уступает ангельской, под стать им и кавалеры; так олицетворяется светозарная утопия Возрождения — идеальное полностью реализуется, все лучшие надежды сбываются, и безраздельно торжествуют счастье и молодость. Средневековая резкая поляризация космоса, по сути, упраздняется: ад предельно редуцируется и трансформируется, превращается в обитель ревности (напомним, что «обитель ревности» — название одной из комедий Сервантеса), зародившейся в груди влюбленного и побеждаемой любовью, земля и небо сливаются воедино, и человек — образ и подобие Божье — царит в своего рода земном раю, где жизнь является великим чудом.

Но стоило испанскому зрителю прийти не на комедию, а на «драму о святых» того же Лопе де Веги, его ждали чудеса совсем другого рода, и земля вновь оказывалась между непримиримо и неустанно враждующими небесами и преисподней. В «Юности Святого Исидора», согласно ремаркам, Христос «поднимается в воздух и исчезает под аккомпанемент музыки»¹, наверху его ждет Дева Мария, а «из адской пасти появляется огонь и выходит Зависть»². Публика видела геенну огненную и Дьявола и в «Божественном африканце», наверху же всходило солнце, «на котором нарисован образ Святой Троицы»³, к нему поднимался Святой Августин; в «Святом Николае Толентинском» в вышине два ангела набрасывают на Христа черную тунику с золотыми звездами; Святой Николай спускается вниз, чтобы вызволить души из чистилища, изображенного в виде скалы, и вместе с ним взмывает к небесам, в «Капеллане Девы Марии, Святом Ильдефонсо» «Ильдефонсо становится на подьемник и поднимается ввысь, в то время как Дева Мария спускается на троне в окружении ангелов, держащих ризу»⁴, в нее между небом и землей облачают счастливого героя. . .

Таково последнее выражение совершенно особенной специфики агнографических драм Лопе де Веги. Если сравнивать их с его любовными комедиями, то нет сомнения, что это произведения, не только принадлежащие разным жанрам, но и тяготеющие к разным стилям. Комедии, подчеркнем еще раз, овеяны ренессансной гармонией, предметом изображения в них является одна только земная реальность, в которой исключительно правдоподобно царит счастье, любовь и радость, «драмы о святых» откровенно пренебрегают законом правдоподобия, сверхъестественные силы то и дело вторгаются в естественный порядок вещей, конкретные люди оттесняются символами и аллегориями — такими как Плоть, Милосердие, Непослушание, Гнев в «Святом Николае Толентинском», Разум и Разумение в «Невинном младенце из Ла Гуарди», Ересь в «Божественном африканце» и т. п.

Очевидно, что жанры и стили, по крайней мере в XVII веке, не сменяют друг друга, а развиваются параллельно.

Согласно авторитетному суждению выдающегося французского испаниста Нозля Саломона, «Святой Исидор, землепашец Мадридский» был сочинен около 1596—1598 гг.⁵, автограф «Варлаама и Иосафа» помечен 1 февраля 1611 года, в июне того же года написана агнографическая драма

¹ Lope de Vega. Obras escogidas, Madrid, Aguilar, 1955, t. III, p. 339.

² Ibid., p. 335.

³ Ibid., p. 227.

⁴ Ibid., p. 304.

⁵ Salomon N. Sur la date de «San Isidoro labrador de Madrid», comedia de Lope de Vega, en: Buletin Hispanique, LXVIII, 1961, p. 4—27.

«В притворстве правда», «Божественный африканец», между 1619 и 1622 годами создаются «Капеллан Девы Марии», «Святой Ильдефонсо», в 1622 году — «Детство Святого Исидора» и «Юность Святого Исидора» и т. п.

На первый взгляд создается впечатление, что на рубеже XVI—XVII веков Лопе де Вега поворачивается вспять, к традициям Средневековья. Так, явно более архаической становится структура драматического текста. В комедиях композиционной стройности и цельности способствовало непрерывное движение мысли и чувств в человеческом «микрокосме» — прежде всего единая история зарождения, перипетий и торжества любовной страсти. Агиографическое произведение — мозаика самостоятельных эпизодов, подобных многочисленным клеймам, окружающим лик святого; как и в средневековой мистерии, эти эпизоды обладают суверенностью и связаны друг с другом преимущественно лишь идейно-тематически. Они составляют дробящиеся, не изолированные картинки космоса жития.

Таково, например, в «Святом Николае Толентинском» приключение в I акте с племянником Святого Урсина, не имеющее продолжения в дальнейшем. Во время праздника одна из Масок приближается к нему и обещает провести его к некой обожавшей его даме. Урсино поднимается к ней по лестнице, но Маска сбрасывает его, и он падает замертво. Маска снимает маску — это Смерть; наверху появляются Божественный Судья, Справедливость и Милосердие, и Смерть сообщает, что тот, кто хотел достичь высоты, низвергается вниз и лежит умершим в грехе... Микрокосмом здесь оказывается не безграничный внутренний мир человека, а имеющая четкие границы модель сакрального мира, соотносящаяся с ним по принципу аналогий: в этой модели, как и в космосе в целом, господствует вертикаль, соединяющая ад с небом. Все здесь символично и «аналогично»: стремление Урсино подняться к окну дамы — это не возвышение — грехопадение, его следствием становится его физическое низвержение и смерть...

И в этом, и в других эпизодах агиографических драм за житейской видимостью открывается уопостигаемый мир идей, который и составляет истинное содержание подобных произведений. Пустой, хоть и обольстительной, видимостью оказывается любовь Урсино и каждое чувственное влечение, тем самым «драмы о святых» входят в резкое противоречие с любовными комедиями.

Все зримое в «драмах о святых» лишь репрезентирует незримое — реальность оказывается обманчивой маской трансцендентного — ренессансный маскарад как наивысший подъем молодых жизненных сил, их расцвет и радостное буйство оборачивается зловещей пляской смерти.

Антагонизм с Ренессансом возникает на всех уровнях. На идейном уровне — это антагонизм комедий, в которых раскрывается благо Земной любви

и «драм о святых», в которых любовь — пагубное искушение. На художественном уровне в комедиях мы видим удивительное богатство внутренней жизни героев, в «драмах о святых» — сведение человека к внешнему знаку и элементу параболы. Знак нетождественен самому себе, он лишь отсылает к чему-то иному, есть частица иносказания. И это относится также к системе знаков в целом. Земное существование — не самоценно, оно лишь прообраз ино-бытия, не что иное, как вереница призраков, бледных отражений высших сущностей. Сам по себе этот театр теней не обладает завершенностью — ряду «драм о святых» не хватает композиционной стройности: подлинный смысл приоткрывается как бы сквозь сюжет. Важна не столько чья-либо судьба сама по себе, сколько то, что она означает; агиографические драмы знаменуют собой веру в сакральные знаки, верность знакам, по которым опознается «свое» и «чужое» в войне Бога и дьявола. . .

Можем ли мы, однако, на этом основании считать, что в Лопе де Вега уживались два совершенно разных писателя? На этот вопрос трудно ответить односложно, ибо между его комедиями и «драмами о святых» существует перекличка. Да, комедии воспевают эротическую любовь, но это эрос преображенный, предельно одухотворенный. В агиографической драме Лопе «Хуан Божий и Антон Мартин» Хуан основывает в Гренаде госпиталь для тех, кто страдает из-за недозволенных греховных ласк, он обращает блудниц на путь истинный. Но и светские комедии нашего автора решительно противостоят языческой эротике, и их героини являют полярную противоположность торгующим своим телом или знающим лишь плотские утеху героиням античной или итальянской ренессансной комедии. Можно сказать, что на облик героинь комедий Лопе ложится ответ христианских небес, так же как на лик Богоматери в агиографических драмах ложится ответ ренессансной гармонии — Хуан Божий неустанно твердит о чудесной прелести и красоте Девы. . . Едва ли не в каждой комедии Лопе де Вега подчеркивает, сколь добродетельны его героини; малейшее сомнение в этом — вопиющий оскорбительный и несправедливый вызов их чести. Очень важно и то, что испанский художник стремится в идеале согласовать честь и благочестие. Примечательным аналогом благочестия является Милосердие в комедии «Милосердный венецианец» («El piadoso veneciano»), созданной на рубеже XVI—XVII столетий. Распутный вельможа Фульхенсио во что бы то ни стало намерен добиться благосклонности жены венецианца Сидонио Лусинды. Слуга Фульхенсио пытается шантажировать Лусинду: если она не отдастся Фульхенсио, он велит племянникам убить ее мужа, но Лусинда отвечает, что ее тело не может принадлежать тому, кому не принадлежит ее душа. Фульхенсио продолжает свои наглые домогательства, и Сидонио, защищая жену, убивает насильника. Венецианские законы преследуют его,

ему грозит смертная казнь, но, ограждая честь жены и дочери, он решает пожертвовать собой и предать себя в руки правосудия. Милосердие, однако, торжествует, и все завершается полным примирением сторон: сын убитого, Октавио, женится на дочери Сидонио, Элисе. . .

И все же, подчеркнем еще раз, нельзя закрывать глаза на различия, существующие между «драмами о святых» и комедиями, как на эстетико-стилистическом, так и на идейно-тематическом уровне. В «Святом Николае Толентинском» Николай уходит в монастырь после того, как услышал рассказываемую августинским проповедником притчу о Блудном сыне, который «кистратил свое достояние среди друзей и потаскух»⁶, — ее можно считать историей ренессансного человека, познавшего чару чувственных наслаждений. . . Между тем в комедии «Раба своего возлюбленного» Лопе де Вега безоговорочно принимает сторону своего героя, студента-богослова дон Хуана, который наотрез отказывается принять сан священника и одевать сутану, пылко полюбив Элену. Правда, он увлечен не какой-либо легкомысленной особой («Я женюсь на благородной / Добродетельной девице»)⁷, но явно предпочитает любовные обеты церковным. . . В подавляющем большинстве комедий Лопе герои как нельзя более далеки от того, чтобы отречься от земных благ, они упиваются радостью красочного бытия, и если в «Святом Николае Толентинском» за карнавальской маской скрывается Смерть, то в комедиях царит дух веселой карнавальской праздничности, игры и веселья.

Приходится констатировать, что в драматическом творчестве Лопе де Веги параллельно развиваются разные стили: ренессансный стиль и стиль, идущий от Средневековья и ведущий к барокко.

Мы сталкиваемся с полистиличностью испанской художественной культуры, с симультанным существованием стилей, предполагающим, как указал Михаил Соколов в своей монографии «Мистерии соседства. К метаморфологии искусства Возрождения», кроме эволюции огромный спектр всевозможных отношений — согласие, недоверие, народное перемешивание, попытку гибридизации, волю к единству, динамичность и пр.⁸

И все же эволюция стилей также происходит, и внимание исследователя привлекают произведения, в которых заметна не столько стойкость давних художественных черт, сколько кристаллизация новых стилистических образований. Так обстоит дело с лучшим агнографическим произведением для театра, созданным Лопе де Вегой, — драмой «В притворстве — правда» («Lo

⁶ Lope de Vega. Obras escogidas, Madrid, Aguilar, 1955, т. III, p. 243.

⁷ Лопе де Вега. Собрание сочинений в шести томах. М., 1962, т. 2, с. 184.

⁸ Соколов М. Н. Мистерия соседства. К метаморфологии искусства Возрождения. М., 1999, с. 21.

fingido verdadero», написана не позднее 1618 г., опублик. в 1621 г.), в которой чрезвычайно рельефно и значимо проступают совершенно определенные приметы нарождающегося барокко.

Драма имеет сложную комбинацию; 1-й ее акт, изображающий на первый взгляд хаотическую смену власти в императорском Риме, — красочная мозаика, постепенно складывающаяся в стройную картину.

... Император Аврелий Карр ослеплен своим могуществом, он не страшится охваченного бурей неба, грозит пойти на него приступом, взгромоздив гору на гору, и вдвинуть полчища солдат, и падает с почерневшим лицом, сраженный ударом молнии. . .

Карино возле дома знаменитого актера Хинеса (в такой транскрипции появляется в драме Лопе римское имя Генезия) хвалится тем, что, в отличие от комедианта, не притворяется императором, а является им — «я живу, а не играю»⁹, — что ему в его величии не страшна сама смерть, и умирает, заколотый сенатором Лелио, над женой которого надругался, сознавая, что его жизнь промелькнула быстро, как комедия, и что костюм императора уже переходит к тому, кто после него будет играть эту роль. . .

Жизнь постигается как игра, как спектакль, имеющий конечные пределы, как быстротечная видимость.

Игра вскоре обретает совсем зловещие черты: тесть императора Нумериано, Апро, убивает своего зятя, но закутанный и посаженный в кресло мерзавец играет для ничего не подозревающих подданных роль правителя, его венчают лавровым венком, ему желают здоровья, не догадываясь, что видят не праздник жизни, а апофеоз смерти. . .

Первый акт драмы «В притворстве — правда» тем самым оказывается трагикомедией хаотического и правового языческого мира, в котором царит игра судьбы — слепой фортуны, чьими марионетками и жертвами становятся Аврелий Карр, Карино, Нумериано и сам убитый Диоклетианом убийца последнего Апро. Это мир, в котором еще не открылась христианская истина, но она начинает проступать, и зло, порок и гордыня терпят крах.

Трагикомедия языческого мира продолжается и во втором акте: в честь воцарения Диоклетиана устраивается комнатный спектакль — для потехи черни рабов и преступников бросают на съедение диким зверям. Появляется новый император, не меньше прежних упоенный своей ролью и, так же как и они, не могущий постичь ее смысл. В этом контексте возникает драма Хинеса, любящего актрису Марселу, влюбленную в Октавио, — актер оказывается игрушкой страсти, подобно тому как все другие были игрушками рока.

⁹ Lope de Vega. Obras escogidas, Madrid, Aguilar, 1955, t. III, p. 171.

Вместе с тем в творении Лопе де Веги обретает огромное значение другая важнейшая барочная тема — тема взаимоотношения иллюзии и реальности театра и жизни, мнимого и действительного. Перед императором Диоклетианом Хинес разыгрывает комедию, написанную им для того, чтобы сблизиться с Марселей. Хинес исполняет роль Руфино, Марсела — роль Фабии; но каждый так увлекается на сцене своими подлинными чувствами, что Хинес не может скрыть своей ревности, называет Марселу ее настоящим именем, предлагает ей руку и сердце, и Марсела убегает из театра вместе с Октавио от великого артиста — слишком назойливого ухажера. . .

Два первых акта драмы «В притворстве — правда» посвящены различным степеням иллюзорности. Комедия, на которую смотрит римский императорский двор, на который, в свою очередь, смотрят зрители в испанском публичном театре Золотого века, — это «театр в театре»; события на подмостках, стоящих перед Диоклетианом, — невосприимчивы, но и сам Диоклетиан, как и Аврелий Карр, Карино и Нумериано, — не более чем фантом в Великом Театре Мира. Императорам мнилось, что нет ничего более реального, чем их могущество, — выясняется, что все мигом улетучивается, как морок. Смешение же комедийного сюжета с подлинными переживаниями свидетельствует о том, как трудно или невозможно установить границу между призрачным и настоящим. История отношений Фабии и Руфино, разыгрываемая на подмостках в драме «В притворстве — правда», подчеркивает коренное отличие любовных комедий Лопе де Веги и его агиографических произведений: в комедиях любовь увидена глазами тех, кому она несет счастье; здесь же — глазами разочарованного в ней, обманутого и покинутого влюбленного, она сопрягается с чувством горечи, непостоянства, обмана.

В языческом мире царит сплошная относительность; драма актера Хинеса — это и драма всякого человека, выступающего в Великом Театре Мира и не ведающего в этом театре Главного Действующего Лица и сокровенного смысла действия. Зритель на какое-то время идентифицируется с героем — чувства актера, показывающего боль и тягчайшее разочарование, сообщаются залу. В пределах мира, в котором за миражом открывается все новый мираж, Хинеса ждет только отчаяние. Но третье действие неожиданно выходит за пределы сплошной иллюзорности.

По приказу императора Диоклетиана Хинес сочиняет и собирается представить на сцене произведение о мученике-христианине. Актер репетирует в одиночестве, входя в образ, кляня императорскую тиранию, а затем пылко обращается к небу, умолая, чтобы его крестили, и тут же, придя в себя, удивляется, как он мог произнести слова, которых не было в написанном им тексте. Тем временем наверху театра открываются врата, и появляются Христос и Богородица в окружении праведников. Хинес вновь просит Гос-

пода помочь ему удачно подражать христианину, и голос свыше обещает ему, что он будет играть не напрасно и обретет спасение. Комедиант все больше и больше увлекается этим видением и вещими голосами.

Мальчик Фабио сообщает, что вернувшаяся в труппу Марсела поручила ему в грядущем спектакле роль ангела; во все более насыщенном смысловом поле драмы Марсела перестает быть добрым ангелом Хинеса — не земная любовь поведет его на небо!

Начинается представление, в котором Хинес выступает в образе христианина Льва. Во время спектакля спускается с небес Ангел, но никто об этом не догадывается, принимая его за переодетого Фабио. До этого момента все на подмостках было художественным вымыслом, чистой мнимостью, теперь среди мнимого появляется нечто подлинное, наделенное высшим смыслом. Хинес поднимается за Ангелом на небо, повергая остальных актеров в смятение, ибо на репетициях не происходило ничего подобного. На небе Ангелы крестят Хинеса, и, спустившись на землю он говорит, что готов принять мученичество, ибо понял, что те, кто не знают слов, вдохновенных Богом, не знают смысла своих ролей; до сих пор он был скверным исполнителем — теперь само небо суфлирует ему... И участники спектакля и зрители — Диоклетиан и его присные — не понимают, что происходит, и окончательно запутываются, когда появляется Фабио в роли Ангела: ему указывают, что он уже сыграл свой эпизод, он же клянется, что еще не выходил на сцену... Хинес уверяет всех, что они перед этим видели настоящего Ангела и что теперь он сам вместе с небожителями выступает в совсем другой труппе — труппе Христа — и получил другой текст. Жизнь тем самым постигается у Лопе де Веги как письмена Бога или как текст, который следует соотносить с замыслом Вседержителя. Так устанавливается господство мистической семиотики, которая будет иметь огромное значение в барокко и согласно которой все события на земле являются развертыванием изначального Слова — божественного Логоса. Хинес объявляет, что уже написаны грядущий гнев императора, который обречет его на мученичество. И Диоклетиан следует этому предначертанию: убедившись, что исполняющий роль христианина актер стал христианином и что игра обернулась правдой, он велит казнить Хинеса.

Перед кончиной Хинес сознает, что «завершилась человеческая комедия, которая состояла из сплошных нелепостей»¹⁰ и в которой он терял голову из-за любви. На любовь падает мрачная тень: галантный влюбленный Диоклетиан, ухаживающий в духе кавалеров «комедии плаща и шпаги» за Камиллой, кровавый палач, устраивающий зверскую расправу над актером...

¹⁰ Lope de Vega. Obras escogidas, Madrid, Aguilar, 1955, t. III, p. 199.

Драма «В притворстве — правда» отсылает к картине барочного космоса. Это космос, объемлющий общество и Вселенную, находящиеся во взаимосвязи. Он предстает в виде грандиозного театра, в котором человек, хочет он того или нет, непременно выступает перед другими людьми и Богом и обязан играть определенную роль. Диоклетиан казнит христиан — такова обязанность римского цезаря: в труппе дьявола, говорит Хинес, Иуде принадлежит роль предателя, а императорам — роль жестоких сатрапов. Сам же Хинес — и это очень важно в смысловом контексте драмы — переходит в труппу Христа на театральных подмостках. Он делает это перед лицом римского двора — и перед небесным престолом; им, как сказано у Лопе, «перед амфитеатром высочайших сфер и небесными ложами»¹¹.

Накануне появления первых драм молодого Кальдерона Лопе де Вега создает модель барочной драмы. Это социально-религиозная драма, драма публичного существования, перманентной публичности — если вас и не видит никто из смертных, вам не скрыться от глаз Господних. Каждый человек — актер, и вся наша жизнь — игра, в которой можно выиграть райское блаженство или, проиграв, очутиться в аду, и то, что каждый является участником вселенского действия, ко многому обязывает: значимость человека в барокко неотделима от его огромной ответственности. «В притворстве — правда» раскрывает постижение этой ответственности. Границы сознания Хинеса расширяются по мере того, как расширяются его представления о театре. Сперва они ограничены рамками небольшой труппы, в которой участвует и возлюбленная Марсело, и ее отец, и соперник Октавио, — с ней связаны все надежды и разочарования. Затем герой осознает, что театром является весь космос, и в этом театре он выбирает героическую роль, за которую получает вечную награду. Зрелый мастер Лопе де Вега в конце второго десятилетия XVII века утверждает концепцию барочного космоса и барочной театральности.

Шаткость надежд и упований, трагизм социального бытия — нелепая чехарда самонадеянных и обреченных внезапно сгнать властелинов, жестоко распоряжающихся жизнью своих подданных, трагизм личного бытия — несчастная любовь Хинеса — находят свое разрешение: выясняется, что это трагизм преходящего времени, и сам он преходящ и теряет свою непомерность перед лицом вечных истин. В нарождающемся барочном космовидении все земное выглядит относительным — совершается прорыв к небесному абсолюту. Но, постигая его, человек и в своем земном существовании обретает устойчивый смысл и значимость.

Об этом свидетельствует и другая зрелая, написанная в 1611 году агнографическая драма Лопе де Веги — «Варлаам и Иоасаф» («*Barlam y Josa-*

¹¹ Ibid., p. 198.

фа»), в которой главное — столкновение языческого, близкого ренессансной комедии гедонизма и христианского протобарочного трагического чувства жизни. Индийский царь Абенир воспитывает своего сына Иоасафа в заточении в чудесном дворце, чтобы он не знал о печалях, о смерти и горестях и не соблазнился новой, быстро распространяющейся, несмотря на все преследования, верой — христианством. Но так как принца гнетет неволя — в обращении, чьи мотивы будут отчетливо слышны в знаменитом монологе Сехисмундо в драме Кальдерона «Жизнь есть сон», он жалуется, что зверь и птица свободнее его, — царь соглашается его выпустить в город, но приказывает, чтобы улицы убрала шелками и принца встречали «музыкой, танцами праздниками, развлечениями»¹², чтобы жизнь предстала перед ним сплошным весельем и удовольствием. Принц, однако, замечает жалкого нищего, от которого узнает о слепых, хромых, прокаженных и других увечных, о гангрене, лихорадке, недугах сердца, тошноте, кашле, параличе и тысячах прочих хворей, сталкивается с несчастным стариком, угнетенным годами, и убеждается, что все живое ждет увядание и смерть. Печальные размышления бередают душу Иоасафа и готовят ко встрече с отшельником Варлаамом, который открывает ему христианскую доктрину и крестит его. Тщетны все попытки царя сбить сына с толку различными искушениями, прельстить его красавицей Левкипой. Кончина отца укрепляет принца в мыслях, что смерти никто не в силах сопротивляться: «безграничная власть, царства и гордыня суть лишь прах и дуновение ветра»¹³. Иоасаф крестит своих подданных, оставляет на троне наместника и удаляется в пустыню, опоясавшись веревкой «в знак презрения к миру». Там он живет в душевном покое, счастливый, что «оставил непрестанную заботу, оставил сон жизни... и мнимую красоту»¹⁴. Здесь находит приют и обратившаяся к святой жизни Левкипа, умирающая, обняв крест, со словами:

Уже связи с телом
Низменные узы разрываю,
Чтобы насладиться вне его темницы
Высшими сокровищами...¹⁵

Так происходит движение от ренессансного «идеализма» к барочному «реализму», от прекрасной картины мира к его несовершенному образу. В «драмах о святых» Лопе де Вега открывает реальность того, о чем не было

¹² Lope de Vega. Obras escogidas, Madrid, Aguilar, 1955, t. III, p. 137.

¹³ Ibid., p. 153.

¹⁴ Ibid., p. 156.

¹⁵ Ibid., p. 164.

речи в его комедиях — реальность жестокости, несправедливости, страданий, неминуемой, а то и внезапно подстерегающей кончины, — и ищет спасения в вечной жизни. Он сохраняет преданность идеальному — но это уже трансцендентные идеалы.

Лопе де Вега оказывается писателем воистину универсальным. В своих комедиях он рисует радостный образ счастливого земного рая, в агиографических драмах захватывает нарастающим по мере приближения к барокко чувством трагизма человеческого существования и возможностью религиозного преодоления этого трагизма. В его космовидении над земным раем эротической любви возвышается небесный рай любви божественной, и он является необманным царством для тех, кого охватила печаль и подстерегают беды в земном раю.

С этим связана и полистилистичность творчества Лопе де Веги: наряду с развивающимися барочные темы или уже являющимися, по существу, барочными произведениями он до конца своих дней создает произведения, проникнутые ренессансным духом, прославляющие радость и счастье земного бытия.

Суриков: национальные аспекты творчества

Говорить о Сурикове трудно. О нем очень много и хорошо написано. Тем не менее мы должны отдавать себе отчет в том, что этот художник до сих пор остается неразгаданной фигурой, а может быть, и останется такой надолго. Первая неясность связана с вопросом — откуда он появился? Конечно, нельзя сказать, что Суриков вовсе не был подготовлен предшествующей живописью, развивавшейся в России по путям реализма с середины XIX века. Он связан и с исторической живописью того времени, и с жанровой, и с портретной, и с пейзажем. Но лишь какой-то одной своей стороной — общими параметрами стиля, самыми общими содержательными характеристиками. Другая же сторона ни с чем не сопоставима, не совместима и остается загадочной. Эту загадку скорее следует разгадывать на более широкой территории русской культуры — рядом с Достоевским, Мусоргским, Ключевским, Вл. Соловьевым, каждый из которых является такой же загадкой. Здесь мы можем приблизиться к ответам на некоторые вопросы. Но при этом оторвавшись от живописи второй половины XIX столетия. Что касается параметров, установленных ее стилем и творческим методом, то они оказываются преодоленными нашим художником, и нам остается оценивать открытия мастера, полагаясь на такие категории, как провидение, интуиция, озарение, пророчество, — именно в этих категориях реализуется своеобразие Сурикова. Неразгаданность лишний раз подтверждает нам тот факт, что мы имеем дело с великим искусством, которое не поддается исчислению.

Как известно, историческая картина как жанр — в устоявшемся, традиционном своем проявлении — в европейской живописи истожила СВОИ возможности к середине XIX века. Самые яркие звезды исторического жанра к тому времени уже ушли за горизонт. Мы можем назвать лишь одну фигуру, которая, хотя и с трудом, может стать рядом с мастерами первой половины века — Давидом, Жерико, Делакруа. Это — Адольф Менцель. Но он снижает уровень исторического жанра до бытовой истории. Суриков же, как нам представляется, оказывается на высоте Давида и Делакруа, хотя предлагает совершенно независимый от их традиции вариант исторической

картины¹. Откуда этот рывок? Мы знаем, что русская живопись в течение XVIII—XIX столетий шла вслед за европейской, с трудом догоняла, хотя не утрачивала при этом своеобразия и своей собственной проблематики. Время обгоняющих рывков было впереди (я имею в виду 1910-е годы). Суриков же явился неожиданно, занял свое место, хотя и остался непризнанным Западом. Это непризнание тоже остается загадкой. Суриков не входит в большие истории искусства. Он не упомянут не только в замечательной истории мирового искусства Гомбриха, но и в известной книге Розенблюма и Янсона, посвященной специально искусству XIX века, хотя там есть и Репин, и Матейко, и многочисленные салонные мастера исторического жанра. Еще Абрам Эфрос задумывался над природой этого непризнания Сурикова и так и не смог дать вразумительный ответ на этот вопрос².

Следует вспомнить, что и современники понимали Сурикова далеко не всегда. Даже Крамской узрел в «Меншикове» ошибки в перспективе и в пропорциях. Тогда еще не пришло время ценить ошибки. Позже — уже в другую эпоху — Серов признается, что «без ошибки скучно». Современники считали, что Суриков не умеет рисовать. Да, он не владел академическим рисунком. Но сегодня, когда познали цену академическому рисованию, мы видим, что Суриков гениально рисовал. Только такой рисунок, составлявший неотъемлемую часть всей его художественной системы, открывал путь к постижению смысла бытия, сущности исторического события.

Разгадку Сурикова обычно ищут в его сибирском происхождении. Это протоптанная тропинка, по которой можно дойти до какого-то места на пути к истине. Но не до конца. Действительно, Сибирь дала Сурикову живую историю. История как бы сопрягалась с географией. Уже не раз было сказано о том, что Суриков, перебравшись из Красноярска в Петербург, словно переселился из XVII века в XIX. Но вряд ли это обстоятельство было решающим моментом в творческом становлении художника, который в Петербурге себя еще не нашел. Скорее, в Москве он ощутил себя историческим живописцем. Во время создания своих знаменитых картин 80-х годов он ни разу не побывал в Сибири. А в поздние годы бывал довольно часто, но это не открыло перед ним возможность вновь обрести былую силу.

Но, так или иначе, благодаря Сибири судьба вручила Сурикову исторический жанр. В этом событии принимала участие также императорская Академия художеств. Сурикову повезло: он попал в Академию уже после того, как оттремел «бунт 13-ти», а позиции исторического жанра в Акаде-

¹ См. об этом: Сарабянов Д. В. Суриков и европейская историческая картина второй половины XIX века. В кн.: Русская живопись XIX века среди европейских школ. Опыт сравнительного исследования. М., 1980, с. 141–165.

² Эфрос А. М. Профилн. М., 1930. С. 33–35.

мии укрепились. В других сферах живописи он вряд ли нашел бы себя. Именно с историческим жанром связаны художественные открытия Сурикова. Только в этом жанре мог развернуться его *монументальный станковизм*. Бытовой жанр не смог бы выдержать его нагрузки. А этот монументальный станковизм породил совершенно оригинальный слав суриковской «математики в живописи», живописной свободы и раскованности, зоркости, позволяющей говорить о монументальном импрессионизме, *фресковой* выстроенности пространства, особом истолковании времени. Последняя категория в суриковской художественной системе особенно важна. Художник вводит нас в сюжетное время картины так же, как это делает жанрист. Но, введя нас в реальное время картины, он останавливает его, закрепляет сюжетную ситуацию таким образом, что мы не проявляем заинтересованности в продолжении. Когда мы смотрим на «Не ждали» Репина, нас интересует и предшествующее действие и последующее. Нам хотелось бы узнать, как развернется встреча ссыльного с родными. Мы словно ждем следующего момента. В «Боярыне Морозовой» мы его уже не ждем. Все выражено. Точки над *i* поставлены, закреплённая ситуация до конца выявила сущность исторического события. Время перерастает жанровые рамки и становится историческим.

Когда оцениваешь историческую живопись Сурикова, первичные соображения начинаются не с рассуждений о художественной системе, а с восприятия поразительного события, запечатленного средствами живописи и рождающего ответные мысли. Эти мысли не есть какой-то круг идей об истории, о судьбе России, о тех или иных исторических процессах — круг идей, заимствованных у историков или философов. Суриков не заимствовал идеи, чтобы потом их иллюстрировать в живописном произведении и каким-то образом соединять с современностью. Историческое событие в картине превращается в событие живописно-пластическое. Событие — живописная пластика — идея — такова последовательность восприятия суриковских полотен. Что же касается совпадения этого процесса с творческим процессом, то этот вопрос требует дополнительных комментариев. Какова была мера осознанности этого движения к желанной выразительности образа, была ли именно здесь сосредоточена творческая программа мастера? Я думаю, львиная доля в творческом процессе принадлежала интуиции художника, а исходным импульсом его личных исканий была не знающая удержу жажда правды, и эта жажда открывала такие истины, к которым, может быть, и не могла прийти историография или философия.

Исторический жанр Сурикова не из современности приходит в историю, а, наоборот, из истории выносит нас в современность — и даже не столь в современность, сколь в извечность. Суриковские трагедии архетипичны —

особенно если иметь в виду русскую историческую реальность. Всегдашние жертвы в борьбе за собственную правду. Архетипичен конфликт истории и человеческой личности, жаждущего собственного места в этой истории. Изначально и извечно трагично противоречие между прогрессом и народом (о чем писал еще Л. Н. Толстой³). Всегда в России безжалостно относились к своему прошлому. Все это было, есть и будет. И дело здесь не только в искаженной и трудной судьбе России. Все это — общие проблемы человеческого бытия, коренящиеся в первородном грехе человечества и воплощающиеся по-разному в судьбах разных наций или различных представителей рода человеческого. И в суриковских картинах эта тема звучит не просто как трагедия России, а как неразрешимая трагедия человеческого бытия. Ведь есть же такие неразрешимые проблемы жизни вообще. Не они ли возникали «в датском королевстве» у Шекспира или в Российской империи у Достоевского? Было бы иллюзией представить себе возможность их разрешить.

У Сурикова они обнажены с необычайной откровенностью и смелостью. Думаю, смелость — это качество суриковской натуры, данное ему от рождения и затем подкрепленное условиями сибирской жизни. Он смело смотрит в глаза реальности, осуществляет свой выбор, творит, подчиняясь интуиции, не оглядываясь на разного рода «кученные мнения», ищет крайности, заинтересован в «последних» решениях, ощущает несправимую трагичность бытия человека в мире.

Еще одна важная черта, которую следует отметить. Суриков живет в мире мифопоэтических представлений. Он не заимствует образы из фольклора, как это делает В. Васнецов. Но сам склад его художественного мышления тяготеет к эпическим принципам. Этот процесс имеет два пути: назад — к «историческому» быту Сибири, к «культу предков», о котором прямо говорит художник, и вперед — в XX век с его символизмом и поисками народных художественных истоков.

Сплав перечисленных выше качеств дает высшее проявление реализма в русской живописи, которое можно уподобить сверхреализму, программно выдвинутому Достоевским. Именно это «сверх» делает Сурикова нестареющим художником. Его произведения по мере развития человека все более ярко и многогранно раскрываются. Это свойство великих произведений искусства. Будучи созданными и оторвавшись от автора, они подчас открывают такие значения и смыслы, о которых автор и не помышлял.

³ Например: «Интересы общества и народа всегда бывают противоположны. Чем выгоднее одному, тем невыгоднее другому... Прогресс тем выгоднее для общества, чем невыгоднее для народа». Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. VIII. М., 1936, с. 336—337.

Сегодня Суриков ждет нового осмысления. Однако второе (или, может быть, уже третье) открытие замечательного исторического живописца пока лишь подготавливается освоением неизвестных доселе фактов, углублением в те области суриковского творчества, которые были в нем сопутствующими (портрет, пейзаж). Думается все же, новое прочтение Сурикова — дело будущего.

Не помышляя о подобной задаче, я хотел бы в этой краткой заметке, пользуясь уже утвердившимися истинами, конспективно перечисленными мной выше и касающимися общих параметров суриковского творчества, сопоставить образный мир Сурикова с теми особенностями, которые объединяют в общий сложный комплекс национальную культуру, историю, географию России, миропредставление русского человека, судьбу нации. В суриковских картинах все это высвечивается, приобретая характер очевидности. Ассоциации, которые возникают при сопоставлении образного мира Сурикова с уже давно дебатруемыми в науке особенностями русской ментальности, касаются и самих исторических идей, пробивающихся через покров его живописи, и характера его героев, и позиции художника, и его творческого метода. Коснусь лишь некоторых — далеко не всех — параллелей.

Первое положение связано со своеобразным пониманием категории памяти. Суриков не столько изучает историю (научно-исторический компонент играет в его творчестве вспомогательную роль), сколько каким-то образом *вспоминает* историческое событие, которое является ему как живая сцена и которое не затуманено и не заслонено философскими или историко-софскими соображениями. В народной памяти, у которой «своя хронология» (В. О. Ключевский⁴), события меняются историческими местами, нарушая временную последовательность и подвергаясь мифопоэтическому претворению. Они ищут способа выразить свою сущность как вечные, вневременные явления, не поддаваясь соблазну войти в исторический ряд.

Иногда задаются вопросом: почему Суриков, открыв Новое время в истории России своими «Стрельцами», а затем как бы продемонстрировав плачевный итог Петровских реформ в «Мешикове», вернулся в Средневековье в «Боярыне Морозовой»? Можно этот вопрос расширить, выйдя за пределы 80-х годов — «золотого десятилетия» художника: почему он застрял в Средневековье («Покорение Сибири Ермаком», «Степан Разин»), а когда обратился к событиям, уже достаточно близким его времени («Переход Суворова через Альпы»), потерпел фиаско?

⁴ См. об этом: Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М., 1997, с. 73–74.

Подобные хронологические измерения Сурикову не подходят. Он не искал хронологии, его вряд ли интересовала историческая последовательность событий. Он выбирал из них те, в которых народная память запечатлевала или могла бы запечатлеть глубинные свидетельства жизни нации, знаки ее судьбы (в суворовской эпосе этих знаков не оказалось). Он не вдавался в сложную ученую проблематику исторической закономерности, хотя архетипичность национальных трагедий, продемонстрированные им «проклятые вопросы» русской истории и были полным выражением этих закономерностей, которые обнажались сами, как бы помимо каких бы то ни было концепций.

Помимо той исторической памяти, которая В. О. Ключевским названа народной и которой владел Суриков (не просто в силу своего народного — казачьего происхождения и тех форм народной жизни, к которым он был приобщен на родине, а в силу необычайного художнического провидения), важнейшую роль в его творческой позиции играли правда и вера.

Правда — вечный спутник народных чаяний — категория, получившая в среде не только простых людей, но и в интеллигентском сообществе высший статус. Она охватывает и намерения художника, боящегося сделать самый малый шаг в сторону, грозящий согрешить против истины, и характеристику его персонажей, алчущих истины. Эта национальная черта откликнулась в творчестве Сурикова своеобразным пафосом правды, которым проникнуты его произведения. При этом Суриков шел на сознательное искажение внешней конкретно-исторической или бытовой правды, произвольно переносил на Красную площадь сцену казни стрельцов, втискивая крупную фигуру Меншикова в не соответствующий ей размерами малый интерьер избы или «перенаселял» пространство московской улицы в «Боярыне Морозовой». Именно это искажение реальности позволяло ему добиваться высшей правды, что выше уже послужило предметом сравнения со сверхреализмом Достоевского.

Правда сопрягалась с верой. Для суриковских героев это было своего рода непреложным правилом. С верой и правдой шли на казнь и пытку, в бой или в поход. Художник часто передавал своим героям те качества, которые были свойственны ему самому. Для него вера не исчерпывалась православным преданием и христианскими правилами. Она распространялась на творчество — способствовала рождению замыслов, управляла процессом, преобразовывала догадку в правду. Суриков обретал «художественную веру», которую именно так можно обозначить по аналогии с ясперовской «философской верой».

Здесь возникает потребность вспомнить о том, что в то же самое время, когда художник формировался и был готов совершить творческий скачок в

новое истолкование исторической картины, формировалась философия всеединства Вл. Соловьева, обещавшая стать в скором времени выражением сущности русской философской мысли и собрать ее цвет в едином пространстве, окрашенном неповторимым национальным колоритом. Едва ли не важнейшим в философии всеединства готов был стать принцип цельного знания, в котором участвуют вера, обещающая божественное откровение, наука, философия. Позже к этому «тройственному союзу» начали причислять и четвертый компонент — искусство. Надо полагать, что Суриков не читал книги Соловьева «Кризис западной философии (Против позитивистов)», «Философские начала цельного знания» и «Критика отвлеченных начал» — работы, в которых формировалась философия всеединства. Поэтому о каком-то прямом влиянии Соловьева говорить невозможно. Но дело не в прямом влиянии, а в том, что художник интуитивно выражает именно ту концепцию, которая реализует национальное миропредставление. В процессе постижения исторической реальности у Сурикова ведущее место принадлежит интуиции, угадыванию. Разумеется, это не само божественное откровение, но его отзвук в сфере художественного творчества — некий аналог откровения — прозрением, распознаванием божественного промысла в истории, в судьбе народа или человека.

Выше уже шла речь о том, что изучение, научное постижение исторических фактов играло вспомогательную роль в творческом процессе Сурикова. Перед тем как начать картину «Покорение Сибири Ермаком», он не читал Кунгурскую летопись, в которой описано это событие, а потом, когда прочел позже, удивился тому, как все было им угадано. Пара рисунков с прижизненного портрета Меншикова, чтение Тихонравова, дневников Корба — все это, разумеется, пополнило багаж исторического живописца. Но важнее оказался облик отставного учителя, с которого писался Меншиков, кремлевские стены, которые сами рассказывали о прошлом, донские казаки, являвшие собой готовые исторические типы, и, разумеется, фантастическое воображение, которое жидилось на вере и правде.

При известной доле воображения можно представить себе тот «союз» веры, науки и философии, который мог возникнуть на заре философии всеединства и как раз в то время, когда Суриков готовился к осуществлению своего истинного предназначения. В этот союз Суриков мог бы внести свое интуитивное прозрение, творческое озарение, подобное откровению. Цельное знание, законам которого, не ведая того, художник подчинялся, давало ему еще одно незаменимое качество. Философия всеединства допускала существование противоречий и в человеческом мышлении, и в самой жизни⁵,

⁵ См. об этом: Акулинин В. И. Философия всеединства. От В. С. Соловьева до П. А. Флоренского. Новосибирск, 1990, с. 101 и сл.

не требовала их разрешения и должна была смириться перед их неразрешимостью. Она открывала возможность не только обнажить неразрешимые конфликты, но и встать над ними. Суриков, как ни один исторический живописец XIX века, воспользовался этим правом — не судить исторических персонажей, вознося одних и обрекая на историческую неправду других.

Когда смотришь на суриковские картины, следишь за поведением стрелцов или Меншикова, возникает чувство, что Суриков больше всего верит в божественный промысел, к каким бы печальным результатам в отношении к этим героям этот божественный промысел ни вел. Все изображенные события происходят по воле Божьей. Они (эти события) могут озадачить человеческий разум своей абсурдностью, они противоречивы. Но знак высшей воли примиряет и оправдывает. Это чувство примирения, как можно понять, исследуя творческие процессы художника, дается ему дорого. Еще дороже — его персонажам. Сам художник оказывается в затруднительной ситуации перед волей Божьей и человеческой, но вновь находит в себе силу встать над этим противоречием, не скрывая его остроты. Выше уже шла речь о «крайних» положениях, воссозданных в картинах, — казнь-смерть, обреченность на пытки и страдания, безнадежное ожидание конца. Вслед за художником его герои принимают этот исход.

Даже тогда, когда не верят в его справедливость, как в случае с рыжебородым стрелцом, вперившим свой взгляд-выстрел в фигуру Петра, ненавистного ему царя-антихриста, или с опальной боярыней, в гневном экстазе призывающей народ следовать за ней, и еще с двумя-тремя персонажами главных картин художника. Выражают ли их герои некое противодействие или безропотно повинуются, все они — перед лицом своей судьбы, неповторимой и оригинальной. Поэтому каждый герой — личность, ответ Богочеловеческого идеала и одновременно индивидуальность. Зададимся вопросом: персонажи каких жанровых или исторических картин того времени наделены столь определенно и безоговорочно своими судьбами, своими неповторимыми личностными качествами, как стрелцы, боярыня Морозова и окружающие ее люди? Ведь этого не скажешь о большинстве персонажей репинского «Крестного хода», или о «Запорожцах», или о любом герое жанровой картины Савицкого, или о солдате Верещагина.

Суриковский собственный опыт экзистенциального восприятия человека дает ему необычайные преимущества перед современниками. В этом своем качестве Суриков в исторических картинах преодолевает жанровые барьеры, что проявилось, в частности, в том, как восприняла художника бубновалетовская молодежь, начисто чуждавшаяся исторической картины.

Подводя итоги краткому разбору суриковского творчества в контексте русской культуры, можно предположить, что именно Суриков был тем ху-

дожником Нового времени, который с максимальной полнотой и силой выразил в своем искусстве национальные особенности. Это и делает его не разгаданным до конца. Ибо всякая нация таит в себе возможности преобразования, которое бросает свет не только на настоящее и будущее, но и на прошлое, и эта тайна передается выразителю национальной культуры.

Н. Д. Арутюнова

Символика уединения и единения в текстах Достоевского*

Право мне всё кажется, что у нас наступила какая-то эпоха всеобщего «обособления». Все обособляются, уединяются, всякому хочется выдумать свое собственное, новое и неслыханное.

Ф. М. Достоевский

1.

В любом художественном тексте встречаются слова, несущие дополнительную смысловую нагрузку, окруженные особым коннотативным ореолом и нередко получающие символическую функцию. Чем объяснить их отмеченность? Причины могут быть самые разные. Их часто видят в сохранившихся в подсознательном слое психики архетипах, в архаичных схемах мифологического мышления [Топоров 1995; Топоров 1997], в культурных или библейских ассоциациях, ритуале или обряде — концептосфере (по терминологии Д. С. Лихачева [Лихачев 1993]), семиосфере (в терминах Ю. М. Лотмана [Лотман 1992, 11–25], в личном опыте автора, иногда в самом звучании или созвучности слов. Нам представляется, что не последнюю роль в этом процессе играет и та функция, которую выполняет соответствующий слову денотат (или денотативная ситуация) в практике жизни.

Здесь существенно различать фонд слов, относящихся к миру природы (включая физического человека) — земной и космической, и концепты, относящиеся к миру культуры и цивилизации. Непосредственно окружающая человека земная природа не любит геометрии. В ней редко встречаются прямые и параллельные линии, в ней нет прямых углов, а следовательно, квадратов, прямоугольников, кубов и параллелепипедов. Черный квадрат, изображенный на известном полотне Казимира Малевича (мы отвлекаемся здесь от замысла автора), воспринимается как своего рода манифест

* Работа выполнена при поддержке РГНФ (грант № 99-04-00294а).

кубизма, символ цивилизации, выстроившей мир регулярных и рациональных геометрических форм и приступившей к геометризации земной природы (ср., например, план французского парка), или символ нового языка искусства (живописи), черпающего свои образы в мире цивилизации. Он может, впрочем, восприниматься и как символ, синтезирующий макро- и микромиры, природу и культуру, поскольку четыре угла маркируют четыре стороны (угла) света, который в некоторых культурах (например, китайской) представлялся в виде квадрата, и четыре угла человеческого жилища (традиционного и современного), в которых внешняя среда особенно тесно соприкасается с внутренним пространством (см. ниже).

Характерно, что параметрическая (точнее, размерная) лексика иногда меняет свое значение в зависимости от того, относится ли она к искусственным или природным объектам. Так, в сочетании *широкое поле* прилагательное относится к величине (общей площади) природного пространства, определяемой его диаметром, то есть к его *широте*. Если бы, однако, под *полем* подразумевалась игровая площадка, например *футбольное поле*, то прилагательное могло бы быть отнесено только к его *ширине*, то есть к его поперечному (меньшему) параметру. Вместе с тем *широта* в контексте культуры — геометрии земного шара — обозначает не пространство неопределенной формы, а линию, охватывающую шар. О моделях мира (вселенной, универсума, возможных миров) в разных культурах см. подробно в кн. [Степанов 1977, 95—142].

Говоря очень огрубленно, можно утверждать, что «строительство», осуществляемое человеком, и прежде всего градостроительство, в той мере, в которой оно придерживается рациональных принципов, создает все более и более геометризованный мир, структурированный в пространстве и времени по правилам, возведенным в ранг законов.

Видимый мир природы далек от геометрии, но придерживается вполне определенных закономерностей. В природе, образующей воспринимаемый человеком пейзаж или, шире, географическую среду, в которой живет общество, причудливы формы, но регулярны законы. В нем «геометрично» время и хаотично пространство. Модель природы как космоса, мироздания со времен античности — Эвклида, Платона (см. его диалоги, особенно «Государство» и «Тимей») [Платон 1971] строится по строгим правилам геометрии. Жизнь человека сочетает в себе природу и культуру, космос и хаос. Человек постоянно меняет свою ориентацию. Так, он может воскликнуть: «Для чего я не родился этой синей волной!» (Лермонтов) и вместе с тем заключает «волну» в бассейн правильной формы. Он то стремится к простору, то затворяет себя в тесном и душном помещении — коморке или келье, а иногда забивается в угол. Искусство, предметом которого

является феномен человека, соединяет подражание природе (мимесис) и строгость форм, предложенных разными типами культуры. Мы позволили себе коротко остановиться на известной проблеме постоянно меняющегося взаимодействия природы и культуры, поскольку она во многом определяет авторскую символику и в очень большой степени символику Достоевского. Мы хотим подчеркнуть здесь нестабильность и изменчивость самих этих понятий. Напомним, что Платон различал в мироздании «вечное, не имеющее возникновения бытие и... вечно возникающее, но никогда не сущее» [Платон 1971, 469]. Первое — прообраз космоса — постигается средствами размышления и объяснения и является *вечно тождественным* бытием. Второе (Платон называет его *иным*) «подвластно мнению и неразумному ощущению, возникает и гибнет, но никогда не существует на самом деле» (там же). Человек имеет дело с *иным*, вечно изменчивым, в котором хочет увидеть *вечно тождественное*. Но *иное* наглядно, ощутимо и очень подвижно. В сфере образных представлений и выбора символов оно часто одерживает верх над *тождественным*.

Итак, мифологизацию природы постепенно сменила мифологизация исторически изменчивого мира человека. На смену мифов природы пришли мифы города, обыденной реальности городской жизни. Изменился смысл символов, изменились их образы. Так, сила и власть стали ассоциироваться с деньгами, богатством (см. ниже о смене образа силы в «Подростке» Достоевского), точно так же постоянно меняется идея свободы: волю-стихию, волю-движение заменяет свобода мысли, мнения, поступков. Земля в контексте природы служит символом зарождения жизни, плодородия и жизнелюбия. Так Достоевский называет любовь к жизни Карамазовых *земляной карамазовской силой*. Вместе с тем для Алеши Карамазова земля стала источником духовной твердости и укрепила пошатнувшую веру; см. главу «Кана Галилейская» (14, 325–328)¹. Марья Тимофеевна Лебядкина, которой встреченная ею старика шепнула, что Богородица есть мать сыра земля, молилась земле, обливая ее слезами (10, 115), Раскольников, совершая покаяние, целует землю (6, 405). В итоге символы утрачивают устойчивость, колеблясь между природой и культурой в разных их вариантах. Нестабильность ключевых понятий человеческой жизни, а также постоянная смена форм культуры влекут за собой не только смену образов, но также смену самой логики практического рассуждения. Символ становится подвижным, но подвижными оказываются также нормы жизни. Мысль Достоевского постоянно обращается к проблеме сложных отношений между культурой и

¹ Отсылки к текстам Достоевского даются в круглых скобках с указанием тома и страницы по Полному собранию сочинений в 30 т. (Л., 1972–1990). Курсив в примерах мой. — Н. А.

природой и попыток человека достигнуть их гармоничного сосуществования.

Говоря схематически, философские размышления Достоевского сосредоточены на двух темах.

Первая касается отношений между устройством человеческого сознания, в котором укоренено чувство справедливости, и реальным устройством мира, в котором зло, и в особенности зло, причиненное невинным созданием, остается неотмщенным. Эта тема раскрыта в хорошо известном разговоре между Иваном и Алешей Карамазовыми и в сочиненной Иваном «Легенде о Великом инквизиторе». Иван исходит в своих рассуждениях из предпосылки существования Бога как всевышней силы, определяющей судьбы мира.

Вторая тема касается отношений между неукоснительными и мертвыми законами природы, выведенными современной наукой, и свободой воли человека. В этом втором варианте высшую власть осуществляет бездушная Природа, как бы занявшая в атеистической модели мира место Бога; см. например, рассуждение Ипполита в его «Необходимом объяснении»: «Природа мерещится при взгляде на эту картину² в виде какого-то неумолимого и немного зверя или, вернее, гораздо вернее сказать, хоть и странно, в виде какой-нибудь громадной машины новейшего устройства, которая бессмысленно захватила, раздробила и поглотила в себя, глухо и бесчувственно, великое и бесценное существо — такое существо, которое одно стоило всей природы и всех законов ее, всей земли, которая и создавалась-то, может быть, единственно для одного только появления этого существа!» (8, 339).

В обоих вариантах речь идет о неприятии мира человеком, которое в первом случае выражается в ситуации «возвращения билета» (14, 223), вызванного наличием в мире ничем не оправданного и неискупленного зла, а во втором — в решении уйти из жизни, вызванном ее бессмысленностью перед лицом неизбежного исчезновения человека, человечества и всей вселенной; см. исповедь Ипполита перед задуманным самоубийством (8, 321–341) [Степанов 1997, 450–454] и особенно статью «Приговор», помещенную в «Дневнике писателя» (23, 146–148); см. подробнее ниже.

2.

О человеке и его мире было принято говорить исключительно языком природы, служившим неисчерпаемым источником метафор и разных других видов переносных значений. Мир искусственных конструкций и их форм существенно меньше использовался в разговоре о внутреннем человеке и

² Имеется в виду картина Ганса Гольбейна «Снятие с креста».

человеческой жизни. Язык культуры является в большой степени продуктом переработки языка природы. Образ человека пишется в основном естественными красками. Однако культура (сначала в образе «дома», а затем города) все более активно вмешивалась в разговор о человеке, вводя в него свои коннотации, метафоры, мотивы и символы. Одним из первых среди авторов так называемого «Петербургского текста» [Топоров 1995], текста, возникшего под влиянием «самого отвлеченного и умышленного города на земном шаре» (5, 101) и вместе с тем «самого фантастического города с самой фантастической историей из всех городов» (5, 57), обратился к этому источнику Достоевский. Символика Достоевского лежит на границе между миром природы и формами городской цивилизации, на искусственность и геометричность которых Достоевский неоднократно обращал внимание. Так, черт говорит Ивану Карамазову: «Тут у вас все очерчено, тут формула, тут геометрия, а у нас все какие-то неопределенные уравнения!» (15, 73). Можно напомнить также протест Ивана против утверждений философов и геометров о том, что «все бытие было создано лишь по эвклидовой геометрии» (14, 214).

Обращение Достоевского к теме отношения между природой и культурой объясняется интенсивным развитием естественных наук, а также той переходной порой, в которой протекала жизнь писателя: Россия сделала шаг в сторону европейской цивилизации. Поэтика города Достоевского занимает промежуточное место между поэтикой Петербурга в повестях Гоголя и мифологизацией города на Неве в романе «Петербург» А. Белого. См. об этом подробно в работах В. Н. Топорова [Топоров 1995]. О мифах Петербурга см. [Lo Gatto 1991]. В образе Петербурга, как отмечает В. Н. Топоров, осуществлен некий «природно-культурный синтез» (Топоров 1995, 230–238, 281–313), чреватый конфликтными ситуациями, которые нередко разрешаются в пользу природы, превращающей город в мираж, своего рода виртуальный мир. Напомним «навязчивую грезу» Подростка: «А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подыметесь с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото. . . » (13, 113). Сосредоточившись на городской жизни, Достоевский соединял мистику с реализмом, городской быт с мистерией, конкретные образы с символическими значениями, трагедию с гротеском.

В текстах Достоевского символическую функцию, как известно, приобретают многие имена, относящиеся к миру природы и, прежде всего, глобальный символ земли (см. выше). К числу «природных» символов, восходящих к метафоре, относятся также имена насекомых и всякого рода «мелкой твари», нередко «вселяющейся» в жилище человека, то есть проникающей

в мир жилых строений, — *мышь, муха, мошка, таракан, блоха, клоп, паук, жучок, вошь, скорпион (piccola bestia)* и некоторые другие. Известна также склонность Достоевского к «зоо-антропонимам», среди которых не последнее место занимают «птичьи» фамилии; ср. *Лебедев, Лебядкин, Птицын, Куропаткина, Перепелицына, Кукушкин, Орлов, Куликов, Дятлов, Иволгин, Дроздов, Голубенко, Синицкая, Чижов, Снегирев, Сокольский, Барашкова, Мышкин* и др. См. подробно [Владимирцев 1999]. С космической природой связан символ заката и косых лучей заходящего солнца [Топоров 1997, 602–604]. Он был поднесен картиной Клода Лоррена «Асис и Галатея», символически интерпретированной Достоевским, о чем он неоднократно упоминает в письмах и дневниках, а также в исповеди Ставрогина (глава «У Тихона», т. 11, с. 21). С земной природой связан образ «клеящих листочков», символизирующий волю к жизни.

Другим источником символики Достоевского был мир, в котором живет человек, и прежде всего его непосредственные впечатления от петербургской жизни — прямых улиц-«линий» и кубических домов. Жилище в таких домах утратило связь с сакральным центром. На первый план выдвинулась оппозиция *замкнутость — открытость, духота — свежий воздух*. Дом, точнее комната, в которой живет человек, предстает как своего рода тюремная камера. Достоевский сосредоточен на тех чертах городского жилья, которые противостоят миру природы. Для Достоевского значима форма и величина комнат, такие компоненты дома, как лестница, коридор, углы, высота потолка, цвет обоев, окно и порог. Так, порог обычно интерпретируется как «*хронотоп кризиса и душевного перелома*» [Бахтин 1975, 397; разрядка автора]; см. также [Лотман 1973, 34–35]. О символике порога у Достоевского см. [Арбан 1976; Родина 1984, 169; Топоров 1995, 207]. Аналогом порога является у Достоевского *мост* (ср. встречу на мосту Ставрогина с Федькой Каторжным); ср. также (6, 388, 404). К этой же серии образов относится мотив лестницы [Топоров 1995, 206–207, 248; Дилакторская 1999, 166–185]. В этих образах часто видят «отдаленное продолжение индоевропейской мифологической традиции» [Топоров 1995, 204].

Но некоторые из них можно соотносить также с непосредственными житейскими впечатлениями, привычками и повседневной практикой. Происходит, как было отмечено выше, смена образов, в которых представляются вечные проблемы бытия человека. Процесс мифологизации действительно протекает постоянно, и в него вовлекаются все новые формы человеческого существования, бытие осмысливается через быт [Лосев 1990].

Интересно отметить, что даже неукоснительно действующие и не считающиеся с человеком законы природы предстают у Достоевского в образе «стен», то есть компонента не природной, а городской жизни. Мотив

стены в текстах Достоевского тонко проанализирован Ю. С. Степановым [Степанов 1997, 448—453]. Образ стены возникает уже в «Записках из подполья», где речь идет о том, что современный человек в своих действиях, рассуждениях, понятиях и мыслях о переустройстве мира, будь он даже напорист, «как взбесившийся бык», тотчас смиряется перед невозможностью — *стеной*, которая имеет для него нечто «окончательное и, пожалуй, даже что-то мистическое» (5, 103—104). И далее: «Невозможность — значит каменная стена? Какая каменная стена? Ну, разумеется, законы природы, выводы естественных наук, математики» (5, 105); см также (5, 125). Подпольной человек не хочет мириться с ними: «Как будто такая каменная стена и вправду есть успокоение и вправду заключает в себе хоть какое-нибудь слово на мир, единственно только потому, что она дважды два четыре. . . То ли дело все понимать, все сознать, все невозможности и каменные стены; не примиряться ни с одной из этих невозможностей и каменных стен, если вам мерзит примиряться» (5, 106). Образ стены как границы, предела возможностей человека, поставленного природой, встречается и в других текстах Достоевского, в частности в «Идиоте», в котором речь идет о Мейеровой стене, заслонявшей вид из окна комнаты умиравшего от чахотки Ипполита (8, 322, 326). Ю. С. Степанов видит в этих произведениях Достоевского — «Записках из подполья» и «Исповеди Ипполита» (главе романа «Идиот») — «начало русского экзистенциализма и одно из основоположений экзистенциализма мирового» [Степанов 1997, 448]. В исповеди Ипполита, полагает Ю. С. Степанов, возникает ряд важных тем экзистенциализма, в их числе образ «стены» — будущая тема Ж.-П. Сартра (новелла «Стена») — и образ «скорлупчатого гада», который появляется в комнате Ипполита, — будущая тема Кафки («Превращение») (с. 453). Заметим, что мотив стены прослеживается и в других текстах Достоевского. Например, Катерина Ивановна в отчаянии бьется головой о стену (6, 245) и др.

3.

Ниже мы попытаемся показать связь непосредственно наблюдаемых форм жизни с теми коннотациями, которые приобретают соотносительные с ними слова.

Мы начнем с символика угла, столь характерной для Достоевского и обнаруживающей колебания между бытовыми ассоциациями и традиционными народными поверьями. Символика угла представляет интерес уже по одному тому, что своим содержанием (означаемым) она связана с одной из основных тем философской антропологии Достоевского — одиночеством человека, а своим означающим — с миром культуры — традиционным домом,

с одной стороны, и геометризованными формами городской цивилизации — с другой. О символике угла в «Преступлении и наказании» см. [Топоров 1997, 611 и сл.].

Угол — внешний и внутренний — представляет собой важнейший и очень значимый компонент как деревенской, так и городской жизни.

Внешний угол в городе служит ориентиром. Так, Раскольников первоначально жил в Петербурге в доме у Пяти углов (6, 412). На углу назначают встречи. За углом скрываются и прячутся. За угол поворачивают, чтобы скрыться от чьих-либо глаз: *Вот мы уже поворотили за угол, теперь нас брат не увидит* (6, 375). Из-за угла удобно подстергать, следить и подсматривать (*заугольничать*), а выбежав из-за угла, нападать: *Из-за угла, да камнем; Из-за угла хоть шапкой накрой*. В одном из своих очерков Достоевский пишет о *пасквилях из-за угла*, рассчитанных на приобретение анонимного могущества (25, 134). Угол разделяет городское пространство, а угол стола — сидящих за столом людей. Тот же, кто сидит на углу стола, отделен от всех. Недаром считается, что занявший угловое место обречен на семь лет без взаимности. Таким образом, внешний угол скрывает и разъединяет. На внешний угол домов и предметов часто натываются, об углы ушибаются и расшибаются. С углом связана угроза. Напомним, что Версильов разбивает образ об угол печки. Он говорит: «Знаешь, Соня... мне ужасно хочется ударить его об печку, об этот самый угол. Я уверен, что он разом расколется на две половины» (13, 409). И действительно, когда он «свирепо размахнувшись, из всех сил ударил его (образ) об угол изразцовой печки, образ раскололся ровно на два куска» (там же). Вместе с тем при строительстве углы фундамента служили опорой дома, и в них помещались наиболее надежные — *краеугольные* — камни.

В Италии (во Флоренции) слово *canto* «сторона, внешний угол дома» относилось также к улице (ср. *Canto alle rondini*, *Canto delle badesse*). Любопытно, что углы угловых домов часто срезались, и на срезах помещали иконы или живописные полотна религиозного содержания. Угол как бы выполнял функцию часовни (*tabernacolo*). Таким образом, исходящая от угла опасность уменьшалась, а его ориентирующая функция, напротив, увеличивалась.

Еще большую роль в жизни человека издавна играет внутренний угол дома, то есть пространство на стыке стен. Не случайно говорят: *Красна изба углами, а обед пирогами*. В избе каждый угол функционально отмечен. Принято различать: *красный* (*передний, старший, образной, святой*) *угол*, *бабий угол, стряпной* (*печной*) и, наконец, *задний* (*дверной*) *угол*. Передний угол (правый угол со стороны окна) назывался также *матица*. С каждым

углом связаны определенные традиции: *В передний угол посоха не ставят. Принимают, за обе руки берут, да в красный угол сажают.*

В славянском мире внутренние углы деревенской избы сакральны. «Они связаны с духом-хранителем дома, домашнего очага, семьи и скота, то есть с домовым и ему подобными духами» [Толстой 1998, 9]; см. также [Дом в культуре 2000; Никитина, Кукушкина 2000; Цивьян 1978]. При этом за каждым углом избы закреплена вполне определенная функция. С углами связано множество ритуалов задабривания домового и других хтонических божеств и духов [Толстой 1998; там же см. библиографию по теме]; см. также о функции угла в свадебном обряде [Кукушкина, Никитина 2000]. В латышском фольклоре «темный угол — это граница между космосом и хаосом, но это и граница между природой и культурой» [Курсите 1998, 429], между *нашим* и *чужим* миром, угол — это «вход в иной мир» (там же, с. 424). «По отношению к человеческому миру семантика угла понималась тройко: а) как место, способствующее плодородию; б) как место, указывающее на социальную изоляцию или на самый низ в социальной иерархии; в) как эквивалент загробного мира („темный угол“)» (там же).

Таким образом, символика угла многообразна и имеет разные источники. Для нас особенно важно подчеркнуть, что внутренний угол сельского жилья («темный угол») маркирует границу между миром природы с ее стихийными силами и миром человека, от природы отделившимся и превратившим кривизну, запечатленную в и-евр. этимологии этого слова, в правильный прямой угол. Соответственно, амбивалентна символика угла. В ней сочетаются мифологические и социально-бытовые значения. При этом повседневная жизнь выдвигается на передний план и предлагает основную интерпретацию мотива угла.

Действительно, существует множество обыденных (не ритуальных) практик, относящихся к внутренним углам жилого помещения вообще, то есть независимо от их ориентации по сторонам света. Они порождены «двустенной» защищенностью этого места от посторонних глаз, а также его недостаточной освещенностью. Когда человек не хочет быть заметным или замеченным, он становится в угол: «До сих пор он (Мармеладов) не замечал ее (Соню): она стояла в углу и в тени» (6, 144). *Укромные* уголки удобны для нескромных дел: *Онегин тихо увлекает/Татьяну в угол и слагает/Ее на шаткую скамью/И клонит голову свою/К ней на плечо* (Пушкин). В углу уединяются пары: «По его же (Версилова) словам, они *прятались по углам*, поджидали друг друга на лестнице. . . » (13, 12). В углу делают засаду. Так, в углу на лестнице Рогожин с ножом поджидал Мышкина (8, 499). В углу сообщают секреты или информацию, не предназначенную для посторонних ушей: *Родион Романович, имею вам два нужных словечка передать, —*

подошел Свидригайлов... и увел удивленного Раскольникова еще подальше в угол (6, 334); Немец взял муттер и удалился с нею на совещание в угол (5, 200). Дети и даже взрослые забиваются в углы или, закрыв лицо руками, поворачиваются лицом в угол от смущения, страха, даже ужаса или стыда. В угол уходят, повинуюсь невольному порыву, который постепенно становится своего рода конвенциональным жестом стыда и отторжения от других. Примеров тому немало в текстах Достоевского. Когда Аркадий сказал Татьяне Павловне, что она сама была всю жизнь влюблена в Версилова, «она ушла в угол, стала лицом к углу и закрыла лицо платком» (13, 434). Вот еще примеры. «Когда Коля кончил, то передал поскорей газету князю и, ни слова не говоря, бросился в угол, плотно уткнулся в него и закрыл руками лицо» (8, 221). Подросток говорит о себе: «Я буду стоять в углу, стыдясь самого себя» (13, 421); «Смущение быстро с каждой минутой овладевало ею (Матрешей) все более и более. Наконец она закрыла лицо руками и стала в угол лицом к стене неподвижно. (...) Полагаю, что все случившееся должно было ей представиться окончательно как беспредельное безобразие, со смертным ужасом» (11, 16). В угол уходят, чтобы отстраниться от происходящего в комнате: «Затем я тотчас же отвернулся и поскорей отскочил в другой угол, чтобы не видеть по крайней мере...» (5, 176; также 177). В углу занимают оборонительную позицию: «А! Так это насиле? — вскричала Дуня... и бросилась в угол, где поскорей заслонилась столиком» (6, 380). Смысл ухода в угол закреплён школьной практикой. Чтобы пристыдить провинившихся детей, их ставят лицом в угол, отделяя их тем самым от товарищей. Когда человек хочет продемонстрировать свою отъединенность от присутствующих, он смотрит в угол. Так, подчеркивая, что он сам по себе, Подросток «обыкновенно входил молча и угрюмо, смотря куда-нибудь в угол, а иногда, входя не здоровался» (13, 82). Заметя это, Татьяна Павловна спросила его: «Что ты в угол-то смотришь, входя?» (13 84). В угол (или в сторону) смотрят, чтобы избежать взгляда собеседника или слишком близкого с ним контакта: «Ои (Раскольников) и говорил-то с нею (Соней) глядя как-то в угол и точно избегая взглянуть ей прямо в лицо» (6, 403); «Кириллов опять уселся на стул и опять уперся глазами в угол» (10, 290). Но случается, что, отделяясь от общества, человек смотрит не в угол, а, напротив, из угла. Забившись в угол, он наблюдает: «Татьяна Павловна усевшись в углу, продолжала проникать меня дурным взглядом» (13, 93); «О, как он (Мышкин) боялся взглянуть в ту сторону, в тот угол, откуда пристально смотрели на него два знакомые глаза» (8, 275); «В углу их каморки я заметил Матрешу. Она стояла и смотрела на мать и на гостью неподвижно» (11, 17); «Не замечай меня вовсе, а только дай из угла смотреть на тебя», — говорит муж Кроткой (24, 28). Часто не выходят из угла, сознавая свою «малость»,

недостойность присоединения к обществу: «... он так ничтожен, *стоит в углу* и злится потому что *маленький*» (13, 196). «Я знал в Москве одну даму, отдаленно, я *смотрел из угла*» (13 93). Иногда садятся в угол, чтобы не отвлекаясь сосредоточиться на своих мыслях: «... но этот (Подросток) *сидел в углу*, думал один» (16, 71). Когда, входя в общественное место, люди хотят уединиться, чтобы иметь конфиденциальный разговор, они садятся в угол: «Привел он меня в маленький трактир на канаве, внизу. Публики было мало... *Мы уселись в углу*» (13, 222). Напомним, слова Ивана Карамазова о том, что *иные русские мальчики любят засесть в угол* какого-нибудь трактира, чтобы потолковать о вечно вечных вопросах (14, 213). Если человека хотят отделить от общества, его сажают в угол: «— Милый мой... *посиди в углу*,... пока мы кончим с бароном. Не беспокойтесь барон, он *только посидит в углу*. . . Я *сел молча в угол*, как можно *более в угол*. . . » (13, 260). Подчеркивая свою разединенность, люди садятся в разные углы: «Князь сидел на диване за круглым столом, а Анна Андреевна *в другом углу*. . . » (13, 433); «Но нас он... давеча не отрекомендовал и мы продолжали сидеть по своим углам» (13 183). Если человек не хочет привлекать к себе внимание, он садится в угол. Рассказывая об одном «ничтожном и как бы забитом» корнете, князь Сергей Петрович говорит: «Он просиживал у меня *в углу молча по целым дням*» (13, 255). Угол становится своего рода прибежищем для обиженных. Напомним, что Чацкий бежит из России в поисках места, «где оскорбленному есть чувству уголок»; ср. также у Достоевского о русских скитальцах, которые «ищут отрадного уголка в Европе» (5, 63). Уменьшительная форма придает имени положительный смысл.

Если в комнате живет несколько человек, каждый стремится получить в ней *свой угол*. *Свой уголок всего краше. Свой угол — свой простор. Свой уголок — хоть боком пролезть, а все лучше.*

В городах была известна практика сдавать комнаты «по углам», то есть пускать в одну комнату несколько жильцов: Пселдонимов до женитьбы «бедствовал у одной немки *в углах*» (5, 22; также 35). «Я прямо *требовал угла*, чтоб только повернуться» (13, 125). «Угол» в этом смысле маркирован тем, что в твор. пад. ед. ч. имеет форму *угле* (а не *углу*): «О, я слишком сумел бы спрятать мои деньги, чтоб их у меня *в угле* или приюте не украли» (13, 69), «... а живем мы в холодном *угле*» (6, 15), «Проживаем же теперь *в угле* у хозяйки» (6, 16), «А с мальчиком вышло худо: заболел, у матери *в угле* лежит» (13, 316).

Традиционные и повседневные поведенческие обычаи, связанные с внутренним пространством жилого помещения, придают соответствующим словам дополнительные смыслы. Так, с «углом», в силу специфики этого места, прежде всего ассоциируется идея отъединенности находящегося в нем че-

ловека от других людей, его одиночества, изоляции, иногда отверженности, исторгниутости из людского сообщества или желания самому уединиться, быть самому с собой и самому по себе, выйти из поля зрения других, сохранив их в своем поле зрения, обезопасить себя от посягательств других. Свидригайлов говорит о себе: «Я ведь человек мрачный, скучный. . . вреда не делаю, а *сизжу в углу*; иной раз три дня не разговарят» (6, 368). Характерно, что, даже если человек *один* в комнате, *желание быть одному* увлекает его в угол: «*Я хотел быть один, один. . . Я машинально прибрел к князю Сергею Петровичу. . . Кабинет его был большая, очень высокая комната, загроможденная мебелью. Я забрел в самый темный угол, сел на диван и, положив локти на стол, подпер обеими руками голову*» (13, 263); ср. также (16, 235; 16, 387; 13, 422 и др.). С углом связана также идея безысходности: *загнать в угол* значит поставить человека в безвыходное положение. Приведенные выше примеры показывают, что Достоевский хорошо понимал весь диапазон функций угла в повседневной городской жизни, а следовательно, и тех коннотаций, которые может получать соответствующее слово независимо от связанных с углом традиционных ритуалов и обрядов. Основными коннотациями угла являются: 1) отъединенность от других людей — уединение или одиночество, 2) безвыходность, 3) опасность. Последнее значение определяется ситуациями, характерными как для внешнего, так и для внутреннего угла (см. выше).

4.

Теперь мы рассмотрим роль угла и коннотативных синонимов этого слова в языке, которым Достоевский говорит об одиночестве человека. Тема уединения, одиночества занимает, как упоминалось, одно из центральных мест в произведениях Достоевского. Все его персонажи одиноки. Даже благополучные чиновники любят «систематическое одиночество» (5, 6). Герои Достоевского не образуют «пар» со своими парами (партнерами и партнершами). Иногда они нуждаются друг в друге, иногда их соединяет любовь-страсть, перемежающаяся с ненавистью, иногда жалость или интерес. Так, Ставрогин ищет любовницу в Лизе, а «сиделку» в Даше. Версилова страсть влечет к Ахмаковой, а нужда в заботе — к Софье Долгорукой. Но при этом все остаются одинокими.

Здесь необходимо отметить, что *уединение* и *одиночество* не являются полными синонимами. *Уединение* — отглагольное имя. Оно предполагает некоторое действие. *Уединение* обычно сопровождается поиском для себя *уединенного места*. Оно локально ориентировано. Человек *уединяется* у себя в комнате, *в углу*, в ските. Уединение ассоциируется с местом и от-

сутствием в нем других (или нежелательных) людей. В языке Достоевского имеется целая серия слов, символизирующих уединение, из которых основным является *угол*. С этим словом ассоциируется прежде всего «одинокость на миру». Но оно может быть также отнесено к комнате, в которой уединенно живет человек. Желание уединиться, как показывают приводившиеся выше примеры, может быть вызвано конкретными обстоятельствами, но более всего оно характерно для внутренне *одиноких* людей.

Одинокость (от прилагательного *одинокий*) непосредственно не связана ни с действием, ни с местом. Это, прежде всего, внутреннее *состояние* человека, свойство его натуры. Одинокость в высшей степени характерно для людей, которых влечет к себе трансцендентное, выходящее за грани и пределы. Суть одинокости «в стремлении Я к бесконечно удаленному от Я, к тому, чего „не увидеть“, о чем „и не услышать“» [Розанов 1996, 578]. Наконец, одинокость может быть вызвано неприятием мировой данности [Бердяев 1990, 25].

«Уединение» — сознательный акт, «одинокость» — свойство характера (прежде всего неспособность любить другого) или результат стечения обстоятельств. Напомним, что Достоевский неоднократно писал об утрате человеком дара любви к ближнему и даже определял муки ада человека, прожившего жизнь без любви, как «страдание о том, что нельзя более любить» (15, 292). Вместе с тем оба эти явления — одинокость и уединение (состояние и действие) тесно между собой связаны. Отвержение человека семьей или обществом возбуждает в нем чувство одинокости. Одинокость толкает его к уединению, которое он находит *в углу*: *угол* приобретает ассоциации не только с уединением, но и с одинокостью. Этот механизм эксплицитно раскрыт в «Подростке», на котором мы остановимся ниже.

Во времена Достоевского феномен одинокости человека в мире становился все более ощутим. Тому способствовал ряд факторов: разрушение традиционных форм жизни, распад семей, усиление личностного начала, падение веры, а вместе с ней и чувства любви к ближнему. Напомним рассуждение Ивана Карамазова о том, что «Христова любовь к людям есть в своем роде невозможное на земле чудо» и что «любить можно разве что дальних» (14, 215). О том, что «всякий-то теперь стремится отделить свое лицо», говорит в своих поучениях старец Зосима (14, 275). Ср. также слова Крафта о том, что «скрепляющая идея совсем пропала. Все точно на постоялом дворе живут и завтра собираются вон из России» (13, 54). Мысли Крафта, приведшие его к самоубийству, подтверждаются далее непосредственными наблюдениями Подростка, которые, видимо, были близки и самому Достоевскому, любившему всматриваться в лица людей улицы (21, 111): «Сколько угрюмых лиц престопающего, торопливо возвращающегося

в углы свои с работы и промыслов. У всякого своя утрюмая забота на лице и ни одной всесоединяющей мысли в этой толпе! Крафт прав: все врознь» (13, 64). Ср. также рассуждения Лебедева об утрате в «наш век пороков и железных дорог» «связующей, направляющей сердце и оплодотворяющей источники жизни мысли» (8, 315).

Одиночество человека далеко не однородное явление. Оно варьируется в зависимости от природы человека, его склонностей, условий жизни и причин его отъединения от людей. Соответственно этому меняется и язык одиночества. Ниже мы рассмотрим некоторые типы одиночества, представленные в текстах Достоевского, и соответствующие им коннотативные синонимы.

5.

Начнем с одиночества Подростка.

Одиночество Подростка вынужденное. Его бросили родители. «Не незаконнорожденность меня мучила. То, что меня оставили одного, меня мучило» (16, 213). Одиночество Подростка — результат превращения семьи в *случайное семейство*. Это понятие, введенное Достоевским в «Подростке», разъясняется им в его публицистических очерках (22, 7–8; 25, 178 и сл.). В пансионе, в который он был помещен отцом, Подросток, чувствуя свою социальную неполноценность, стал *уделяться*, забиваясь в угол. Он говорит о себе: «В гимназии я с товарищами был на ты, но ни с кем почти не был товарищем, я сделал себе угол и жил в углу» (13, 43) и в другом месте: «Вся цель моей „идеи“ — *удединение*» (13, 72). Ср. также в подготовительных материалах к роману: «В конце концов Подросток обижен, но удаляется в себя. Идея более чем когда-либо УЕДИНЕНИЕ» (16, 395). И далее после позорной болтовни у Дергачева: «Воспоминание скверное. Нет, мне нельзя жить с людьми; я и теперь так думаю; на сорок лет вперед говорю. *Моя идея — угол*» (13, 47–48). Таким образом, в самом тексте можно обнаружить не только источники метафоры угла, но и то значение, в котором ее использует автор: *угол* соединился с *удединением*.

Однако Подростка влечет к людям. Он хочет высказаться, показать себя. «Это желание прыгнуть на шею, чтоб признали меня за хорошего и начали обнимать. . . я считаю в себе самым мерзким из всех моих стыдов и подзрелвал его в себе еще очень давно, и именно *от угла*, в котором продержал себя столько лет» (13, 47). Обратной стороной «угла» является болтливость и даже исповедальность. Подросток принял одиночество как *вызов судьбы*, на который захотел ответить *вызовом судьбе*. Он стал разрабатывать *идею* удединения, придав ему цель. Первая мысль его была о том, что в

уединении он сможет накопить силы для будущих дел (16, 75). Идея «угла» стала видоизменяться. «А „идея“ (т. е. идея уединения)—он понял это только теперь — была лишь развитием мести за все, за все, хоть на 50 лет» (16, 340). Уединение униженности хочет стать уединением избранности. В подготовительных материалах к «Подростку» Версиров говорит: «Лучший человек не может не быть в уединении» (16, 366). Так к мысли об уединении присоединяются мечты о свободе и о силе, дающей власть над людьми: «Мне нужно лишь то, что приобретается могуществом... это *уединение и спокойное сознание силы!* Вот самое полное определение свободы» (13, 74); см. также (16, 152).

Расширение «идеи уединения» ведет к видоизменению образа: вместо угла появляется *остров*. В подготовительных материалах к «Подростку» мелькает фигура Унгерн-Штернберга — пирата, ставшего властелином на острове Хаума (Даго) (7, 406). Выслушав рассказ Подростка об Унгерн-Штернберге, Васин говорит ему: «Я замечаю две вещи — *уединение и первый человек*, ни за что второго места». То же говорит ему Версиров: «У тебя идея? Независимым королем острова» (16, 419). «Ты царь: живи один», — как бы думает о себе Аркадий. Но еще прежде о Подростке сказано: «Идея отчуждения родилась у него еще давно, именно в желании сделаться царем острова, который бы никто не знал, на полюсе или на озере средней Африки» (16, 93); см. также (16, 152, 161); ср. сходный образ одиночества у Н. А. Бердяева: «По характеру я феодал, сидящий в своем замке с поднятым мостом и отстреливающийся» [Бердяев 1990, 423]. Образ острова имеет и другие коннотации. С ним, в частности, ассоциируется идея личностного начала в человеке, его индивидуальности [Азропетян 2000, 125 и сл.]. Однако образ «острова» не перешел в окончательный текст романа. Возможно, это объясняется модификацией понятия «силы»: силу и власть оружия заменила сила и власть денег, а также тайная власть «документа», оказавшегося в руках Подростка. Унгерн-Штернберг обернулся Ротшильдом, а остров — игорным домом.

«Угол» также не единственный символ одиночества человека среди людей. В детстве Подросток уединяется, закрывшись с головой одеялом (16, 213), затем знаком уединения становится *скорлупа*, потом речь идет о *норе*. Иногда мелькает формула «я в пустыню удалюсь». Так выстраивается ряд коннотативных синонимов, то есть слов, получающих в тексте синонимические коннотации. Сравнение со скорлупой спонтанно приходит на ум Подростку: «Но чуть увижу, что этот шаг... все-таки отдалит меня от *главного*, то тот час же с ними порву, брошу все и уйду в свою скорлупу. Именно в скорлупу. Спрячусь в нее, как черепаха. Сравнение это мне очень понравилось» (13, 15 — *курсив автора*). Вот еще несколько примеров:

«Пойду в мою свободу, в мою волю, в скорлупу, в мою идею» (16, 218), «Я завтра же отошлю ей (письмо), а сам в мою скорлупу, где мои три года уединения» (16, 192), «Отмстить честно и удалиться в скорлупу» (16, 231). Образ скорлупы повторяется в «Преступлении и наказании»: «Он (Раскольников) решительно ушел от всех, как черепаха в свою скорлупу» (6, 25); см. также (6, 26), а также в «Записках из подполья» (5, 168); ср. также: «Ты хочешь удалиться в свою нору от всех и берешь к тому меры» (16, 81 — *курсив автора*).

Коннотация тайной силы, распространяющей свою власть на других, не вполне согласуется с образами норы и скорлупы, которые больше не повторяются в тексте «Подростка». По ходу повествования предпочтение отдается образу угла. Можно допустить, что ассоциация «угла» с идеей силы поддержана библейской притчей о краеугольном камне, отвергнутом строителями, но сделавшемся главою угла (Мф. 21, 42), которая восходит к толкованию пророком Даниилом сна Навуходоносора (Дан. 2). Нам важно подчеркнуть здесь постоянные колебания в выборе образа-символа, обусловленные нестабильностью его содержания, появлением тех или других смысловых нюансов. Угол является частью помещения, в котором находятся или могут находиться другие люди. Поэтому, как отмечалось, константой символа «угла» является «одинокчество на миру». Когда речь идет о полной замкнутости или отъединенности от людей, символ одиночества либо видоизменяется, либо варьируется контекст употребления слова *угол*, в котором заметны следы контаминации: «Все это от невыдержки и оттого, что вырос *в углу*. . . Но вместо приобретения выдержки я и теперь предпочитаю *закупориться еще больше в угол*, хотя бы в самом мизантропическом виде: „Пусть я неловок, но прощайте!“ » (13, 25). В подготовительных материалах к «Подростку» мелькает еще одна формула одиночества: «Сей, — говорит он (Версиров) Подростку, — вся твоя идея — это „я в пустыню удалюсь“ » (16, 242). Версиров, по-видимому, цитирует здесь строку из романа. Эта формула одиночества, однако, не переходит в окончательный текст романа. В тех же материалах можно найти объяснение того, почему она была отклонена. Макар Долгорукий говорит: «Леса-луга, природа. Сначала среди природы, *жалко было, что один*, а потом я увидел, что я *со всеми*. Так и пустынный, сорок лет в пустыне, а *со всеми*» (16, 342 — *курсив автора*); ср. также: «Макар про пустынного, что он не один. . . Травка растет» (16, 365). Таким образом, отшельник или пустынный, одиноко живущий среди природы, не одинок, ибо он верует в Бога, а Аркадий уже заражен неверием. Природа в этом контексте предстает как часть единого Божьего мира, в который входит также мир человека. Верой достигается единство этих миров.

Очень характерно, что космическая природа способна осветить «угол» Подростка лишь тогда, когда луч солнца действует как бы совместно с лучами, исходящими из глаз природного человека (*l'homme de la nature e de la vérité*). В материалах к «Подростку» о приезде Макара Ивановича лаконично сказано: «Воротился, и возрождение в новую жизнь. А сначала просто луч» (16, 364). В окончательном тексте этот эпизод развернут следующим образом. Аркадий после болезни лежит у себя в комнатке, напоминающей, как заметил Версиков, гроб. «Коморка была узкая и длинная; с высоты плеча моего, не более начинался угол стены и крыши, конец которого я мог достать ладонью», — говорит о своем жилище сам Аркадий (13, 101). Итак, Аркадий лежит в постели: «На четвертый день моего сознания я лежал, в третьем часу пополудни, на моей постели и никого со мною не было. День был ясный, и я знал, что в четвертом часу, когда солнце будет закатываться, то косой красный луч ударит прямо в угол моей стены и ярким пятном осветит это место. Я знал это по прежним дням, и то, что это непременно случится через час, а главное то, что я знал об этом вперед, как дважды два, разозлило меня до злости. Я судорожно повернулся всем телом и вдруг, среди глубокой тишины, ясно услышал слова: «Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас» (13, 285). Это был голос Макара Ивановича. Аркадий спускается вниз и с ним знакомится. Во время этого их первого разговора «солнце ярко светило в окно перед закатом» (13, 287). Когда Подросток вернулся в свою комнатку и лег в постель, вновь возникает тема луча. «Я лежал лицом к стене и вдруг в углу увидел яркое, светлое пятно заходящего солнца, то самое пятно, которое я с таким проклятием ожидал давеча, и вот помню, вся душа моя как бы выиграла и как бы новый свет проник в мое сердце. Помню эту сладкую минуту и не хочу забыть. Это был лишь миг новой надежды и новой силы» (13, 291). Эпизод символичен. Луч солнца сам по себе не сулил Аркадию духовного обновления. Он был частью бездушной и законопослушной природы. Он появлялся в углу его комнаты строго по расписанию. Природа действовала по раз навсегда заведенным, а потому мертвым правилам, и именно это угнетало Подростка. Однако, соединившись с образом странника, луч как бы изменил свой статус: он перешел из мира косных правил в одухотворенный Божий мир. Взглянув в *очень голубые, большие лучистые глаза* Макара Ивановича, чувствуя на себе его *лучистые* взгляды, услышав его тихий смех, «светлый веселый след которого остался в его лице и, главное, в глазах» (13, 283), Аркадий почувствовал себя обновленным. Он почувствовал, что луч заходящего солнца и лучистый взгляд Макара Ивановича участвуют в некоем совместном действии.

Мы хотим здесь еще раз подчеркнуть важность для Достоевского противостояния Эвклидовой модели мира, построенной человеком, миру при-

роды, сотворенному Богом. Этой оппозиции соответствует определенная символика. Так, одним из символов геометризованного мира цивилизации и одиночества в нем человека является *угол*, которому противостоит проникающий в тесный *угол* человека *луч*, представитель космической природы в мире конструкций. Другим символом цивилизации является у Достоевского *железная дорога*, противостоящая *пути*, а также *большой дороге* (*большаку*), символу традиционной жизни; ср. рассуждения Лебедева о мире «пороков и железных дорог» (8, 315) и ситуацию ухода из дома Степана Трофимовича Верховенского, идущего по большой дороге, уводящей его в сторону от железнодорожной магистрали (10, 479 и сл.).

Итак, в «Подростке» достаточно хорошо прослеживается одно из возможных направлений развития понятия одиночества, а подготовительные материалы к роману демонстрируют колебания Достоевского в выборе адекватного образа.

Теперь мы коротко рассмотрим другой вид одиночества, в символизации которого также участвует *угол*. Речь пойдет об одиночестве Ставрогина, одиночестве человека, неукорененного в мире, душа которого не сопричастна никакой другой душе. Ставрогин может получать удовольствия от жизни, от творения добра и зла, но он не может любить жизнь. Одиночество Ставрогина неизбежно и безысходно. Оно вызвано пустотой безверия. Мотив угла становится зловещим: угол предвещает недоброе. Он сопровождает Ставрогина в его роковом путешествии в Заречье. Перед выходом Ставрогин долго и неподвижно, как бы в забытьи сидит в своем кабинете *в углу* дивана. Бока и *углы* комнаты остаются в тени. *Угол* письма с вызовом на дуэль виднеется из-под пресс-папье, и Ставрогин его не прикрывает. Очнувшись, Ставрогин стал «как бы упорно и любопытно всматриваться в какой-то поразивший его предмет *в углу* комнаты, хотя там не было ничего ни нового, ни особенного» (10, 182). Возможно, ему мерещился образ Матрешки. Принесенное ему камердинером платье было сложено *в углу* на стуле, а фонарь и зонтик были положены *в углу* в сених. Ставрогин выходит через маленькую калитку *в самом углу* садовой ограды и попадает в *тесный и глухой* переулок. Когда Ставрогин приходит в дом Лебядкиных, опять возникает мотив угла: столик с угощением поставлен *в углу*. Лебядкин говорит: «Имею *угол*». Выход через *угловую* калитку как бы символизирует попытку найти выход из *угла*. Однако ночной путь вел Ставрогина опять в *угол* и кончился встречей на мосту с Федькой Каторжным. В последний раз Ставрогин надеется обрести выход «из угла» в «углу», созданном самой природой, — в мрачном ущелье кантона Ури, в котором «горы теснят зренье и мысль» (10, 513). Но чувство безнадежного одиночества привело его не в кантон Ури, а в маленькую комнатку под самой крышей дома в Сквореш-

никах. Поднявшись в этот «угол» по «длинной, очень узенькой и ужасно крутой лестнице», Ставрогин окончил свои счеты с жизнью. В этой развязке обнаруживается истинная природа его одиночества — это одиночество мертвого среди живых. Окончателность уединения в углу иллюстрируют и другие самоубийства — Кириллова и девочки Оли (13, 147). Обычно в этом случае речь идет об угле со стороны двери, то есть темном угле. Так, мать нашла повесившуюся дочь Олю «у кровати, в углу, у двери» (13, 147). Перед самоубийством Кириллов пытается скрыться в углу: «У противоположной окнам стены, вправо от двери стоял шкаф. С правой стороны этого шкафа, в углу, образованном стеною и шкафом, стоял Кириллов, и стоял ужасно странно — неподвижно, вытянувшись, протянув руки по швам, приподняв голову и плотно прижавшись затылком к стене *в самом углу*, казалось, желая весь стусеваться и спрятаться» (10, 475).

Однако Раскольников видит во сне убитую им Алену Ивановну «в углу между маленьким шкапом и окном» (6, 213). Положение у окна обусловлено трагикомичностью последующей сцены — смехом жертвы над убийцей — и тем, что преступник стоял на виду у всех: «двери на лестнице отворены настежь. . . и все смотрят, но все притаились и ждут, молчат» (6, 213).

Итак, тема одиночества, символизируемая «углом», эволюционируя в другом направлении, соприкасается с темой смерти — одиночеством абсолютным и безысходным.

Теперь мы хотим коротко остановиться на одиночестве интеллектуала, человека, во внутренней структуре которого превалирует рассудок, сознание и особенно самосознание. Эта тема эксплицитно выражена Достоевским в исповеди «подпольного парадоксалиста» — героя «Записок из подполья», человека усиленного сознания, прошедшего 20 лет в полном и добровольном одиночестве *у себя в углу* — «дрянной, скверной комнате, на краю города». Уже в юности он вел жизнь «угрюмую, беспорядочную и до одичалости одинокую. . . ни с кем не виделся и даже избегал говорить и *все более и более забивался в свой угол*» (5, 132). Получив небольшое наследство, он бросил службу и затворился в своем углу. «Я и прежде жил в этом углу, но теперь я поселился в этом углу», — пишет он в своих «Записках» (5, 101). Угол мелькает и в других местах «Записок», иногда рядом с *подпольем*. Так, их автор пишет о своих возвращениях *в угол*, о том, что он доживает теперь свой век *в углу* (5, 5, 100, 102), о том, что он «манкировал свою жизнь нравственным растлением *в углу*, недостатком среды, отвычкой от живого и тщеславной злобой *в подполье*» (5, 178). В углу вызревает философия, которую исповедует, а иногда и проповедует автор «Записок». (Напомним, что первый вариант повести назывался «Исповедь».) «Я уже свои заветные *идейки*, в углу выжитые, жаждал изложить» (5, 155; курсив автора).

В тексте «Записок» встречаются и другие метафоры одиночества. Так, в одном месте автор «Записок» говорит о себе: «Мне нельзя было жить в шамбр-гарни: моя квартира была *мой особняк, моя скорлупа, мой футляр*» (5, 168). Последняя метафора невольно вызывает в памяти чеховского «Человека в футляре». Однако центральным символом одиночества служит более широкое понятие *подполья*. Образ подполья вторичен. Его источником является метафора «мыши»: так определяет свою сущность сам автор «Записок», называющий себя «усиленно сознающей мышью» (5, 104). Мыши живут *под полом*. Туда они проскальзывают через щель из жилья человека и там таятся. Мышь принадлежит хтоническому миру, и это придает «подпольному одиночеству» отрицательный оттенок. Но для нас здесь важнее другое: в образе подполья как бы соединились природа и культура, и этот синтез имеет своим источником представление о традиционном доме, объединяющем ту и другую — культуру и природу. Достаточно вспомнить о скребущейся в номере Свидригайлова мыши, которая затем является ему во сне. Любопытно также, что «природная» метафора отнесена к «ретортному», то есть искусственно созданному, человеку, рожденному как бы не от живого отца, а от идеи (5, 104, 179).

Обратим внимание еще на одну особенность текста «Записок». В них наглядно продемонстрировано, что одиночество неизбежно ведет к раздвоению личности, проявляющемуся во внутреннем диалоге (полифонии, по Бахтину). Одиноким интеллектуал хоть и молчалив, но болтлив. Поток его усиленного сознания течет непрерывающимся потоком речи, расходящимся двумя ручьями. В них происходит раздвоение понятий, получающих разные интерпретации. Так, в «Записках» подпольный парадоксалист относит понятие природы к вольному хотению, а его внутренний оппонент — к неумолимым и автоматически действующим законам мироздания, противным жизни и человеку. Точно так же «болтлив» и другой одинокий философ — Раскольников, который уже в самом начале романа говорит о своем затворничестве: «Я слишком много болтаю. Оттого и ничего не делаю, что болтаю. Пожалуй, впрочем, и так: оттого болтаю, что ничего не делаю. Это я в последний месяц выучился болтать, *лежа по целым суткам в углу и думая... о царе Горохе*» (6, 6).

Итак, полное одиночество в подполье, компенсируемое только чтением книг, развивается в сторону философских размышлений, принимающих диалогическую форму и уводящих от живой жизни. Когда в «подполье» появилась Лиза, автор «Записок» не мог этого вынести: «Я хотел, чтобы она исчезла. „Спокойствия“ я желал, остаться один в подполье желал. „Живая жизнь“ с непривычки придавила меня до того, что даже дышать стало

трудно» (5, 176). И в самом конце повести: «Ведь мы даже не знаем, где и живое-то живет теперь и что оно такое, как называется?» (5, 178).

Заметим, что в «Записках» намечен еще один путь развития темы одиночества — путь разврата («развратика», как говорит о своих эскападах подпольный человек). Одиночество этого типа представлено фигурой Свидригайлова, которую также сопровождает мотив угла (6, 388—394). Мы на этом останавливаться не будем.

Обратимся к одиночеству Раскольникова, одиночеству мономана, как сказано о нем в романе, человека идеи, которую он собирается проверить действием. Приведенные в эпиграфе слова Достоевского (22, 80) относятся более всего к «обособлению» Раскольникова. Раскольников, в отличие от подпольного парадоксалиста, — философ-практик. Он размышляет, как и другие герои Достоевского, над влиянием атеизма на «права человека», на этические нормы, которые постепенно переносятся со средств (способов действия) на цели, с *как* на *что*: «Одни выживают, другие богатеют; и все любым способом» (6, 118). В этом заметна грустная логика жизни: между целями, особенно благородными, и средствами их достижения нет аксиологической гармонии, причем средства, нарушающие этические нормы, обычно более эффективны, чем действия, согласные с нравственным законом. Следуя этой логике или, вернее, практике жизни, Раскольников пытался переориентировать свою совесть с *как* на *что*. Но когда он *посмел* воспользоваться правом избранного, его постигает другой вид одиночества — абсолютное одиночество отверженности, отъединенности от всех людей — чужих и своих, избранных и «материала» (косной массы). «Ему показалось, что он как будто ножницами отрезал себя сам от всех и всего в эту минуту» (6, 90). Когда Раскольников пришел по вызову в контору, «мрачное ощущение мучительного, бесконечного уединения и отчуждения вдруг сознательно сказались душе его» (6, 81). Это чувство не исчезает, а, напротив, становится все более острым, о чем сообщается в разных местах романа: «Никогда, никогда он не чувствовал себя так ужасно одиноким!» (6, 326); «Ему подумалось остаться одиноким на всю жизнь» (6, 337). Заметим попутно, что точно то же чувство отъединенности от людей и «причастности мирам иным» испытывают Свидригайлов, Смердяков и Иван Карамазов.

При свидании с матерью и сестрой Раскольников понял также, что он ни с кем никогда не сможет *говорить*, то есть быть искренним и откровенным (6, 176). Он замечает: «Да и все-то кругом точно не здесь делается». Мать думает, что его меланхолия наполовину вызвана дурной квартирой, похожей на гроб. Раскольников с ней соглашается: «Да, квартира много способствовала. . . я об этом тоже думал». И добавляет, странно усмехнувшись: «А если бы вы знали, какую вы странную сейчас мысль сказали, маменька» (6, 178).

В отличие от этики Диогена Синопского, «выдержанной», подобно вину, в бочке, философия нравственности Раскольникова вызревала в крошечной и душной камерке *разлинованного* города. В ней Эвклидов ум создавал этику на началах арифметики. Комната, в которой зрела этика Раскольникова, называется в романе по-разному: *комнатушкой, клетушкой, камеркой, клеткой, конурой, морской каютой, гробом, шкафом, сундуком, углом*, но во всех номинациях — прямых и метафорических — подчеркивается ее малость и замкнутость, душность и убогость. Еще до преступления сама камерка прямо ассоциируется в сознании Раскольникова с его нравственными идеями и замыслами. Он стал бояться своей комнаты. Так, однажды, раздумав идти к Разумихину, «он хотел было поворотить назад, к дому, но домой идти ему стало вдруг ужасно противно: там-то в углу, в этом-то ужасном шкафу и созревало все *это* вот уже более месяца, и он пошел куда глаза глядят» (6, 45; *курсив автора*). Сам Раскольников говорит о себе Соне: «Я тогда, как паук, к себе в угол забился. Ты ведь была в моей конуре, видела. А знаешь ли, Соня, что низкие потолки и тесные комнаты душу и ум теснят! О как ненавидел я *эту конуру*! А все-таки выходить из нее не хотел. . . Я лучше любил лежать и думать. Я все думал. . . » (6, 320). В сходных *домах* живут и другие *домо-*рожденные философы Достоевского — Кириллов и Шатов, Свидригайлов и Смердяков, Версиков и Подросток. На их концепциях лежит отпечаток их «дома», не традиционного дома, не *своего угла*, а случайной клетки, в которую они попали и, попав, попались. Клетушка встроена в некую правильную конструкцию — «Ноев ковчег», населенный случайными и разобщенными жильцами. В клетушке воздух удушлив, спирает дух от духоты и душно на душе. Не хватает воздуха. Даже Свидригайлов восклицает: «Всем человекам надобно воздуху, воздуху, воздуху-с. . . Прежде всего!» (6, 336). На другой день эти слова повторяет Раскольников (6, 339); см. также (6, 345, 351, 362). Но в клетушке нет воздуха. Поэтому в ней возникает «философия духоты». Оппозиция природы и культуры (цивилизации) предстает в виде контраста удушливой духоты замкнутого помещения и свежего воздуха открытого пространства; см. об этом [Топоров 1997, 609].

Здесь мы позволим себе обратить внимание на параллелизм в текстах Достоевского трагедии и гротеска. В период работы над «Преступлением и наказанием» Достоевский написал небольшой рассказ «Крокодил, или пассаж в Пассаже». В рабочих тетрадях Достоевского заметки, планы и черновые заготовки к тексту рассказа перемежаются с набросками к «Преступлению и наказанию»; см. об этом в «Комментариях» к «Крокодилу» (5, 388). Это наводит на мысль о некотором содержательном и образном взаимодействии этих столь разительно различных произведений.

Герой рассказа — чиновник весьма прогрессивных взглядов по имени Иван Матвеевич — накануне отъезда в Европу был заживо проглочен крокодилом, привезенным в Петербург на показ немецкой четой. И вот, лежа на боку в тесной и душной крокодиловой утробе, он предается размышлениям о будущем человечества. Иван Матвеевич вознамерился стать «если не Сократом, то Диогеном, или тем и другим вместе» (5, 199). Он говорит: «Но я докажу, что и лежа на боку, — мало того, — только лежа на боку, и можно перевернуть судьбу человечества... Стоит только *уединиться куда-нибудь подальше в угол* или хоть попасть в крокодила, закрыть глаза, и тотчас же изобретешь целый рай для всего человечества» (5, 197). И в другом месте: «Из крокодила выйдет теперь правда и свет» (5, 194). Мы не беремся здесь судить о том, оказало ли влияние различие в убежищах (природа vs. цивилизация) на вызревшие в них идеи. Заметим лишь, что Раскольников, затворившись в камерке большого городского дома, кладет в основу своей этики законы природы. Он говорит: «Я только в главную мысль мою верю. Она именно состоит в том, что люди по закону природы разделяются *вообще* на два разряда: на низший (обыкновенных), то есть, так сказать, на материал... и собственно на людей, то есть имеющих дар или талант сказать в среде своей *новое слово*» (6, 200 — *курсив автора*). Философ, замкнувшийся в утробе крокодила, скорее, наоборот, основывает свои идеи на экономических принципах цивилизованного общества.

Итак, широкие герои Достоевского живут в узеньких каморках, в которых расширяется и усиливается их сознание. И только широкая природа может сузить их «широкий и независимый» взгляд на мир. Именно это случилось с Раскольниковым на каторге: «Раскольников вышел из сарая на самый берег... и стал глядеть на *широкую* и пустынную реку. С высокого берега открывалась *широкая* окрестность. С дальнего другого берега чуть слышно доносилась песня. Там, в *облитой солнцем необозримой* степи чуть приметными точками чернелись кочевые юрты. Там была свобода и жили другие люди... но какая-то тоска волновала его и мучила» (6, 421). «Вдруг подле него очутилась Соня... Как это случилось, он и сам не знал, но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к ее ногам... Они оба были бледны и худы; но в этих больных и бледных лицах уже сияла заря обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь» (там же). Как и в случае с Подростком (см. выше), действие природы — Божьего мира — соединилось с любовью человека, и это совместное действие двух природных начал воскресило Раскольникова. Он еще не мог думать, он только чувствовал. «Вместо диалектики наступила жизнь, и в сознании должно было выработаться что-то совершенно другое» (6, 422). Начался «постепенный переход из одного мира в другой». Раскольников переступил

через порог. *Покаяние*, которое он совершил перед народом, лишь теперь стало *раскаянием*, а раскаяние — порогом в новую жизнь, из духоты на воздух. Он оказался в другом мире, но не в том мире новой культуры, в мире избранных, к которому он хотел присоединиться, *посмея* совершить преступление, а в христианском мире страдания и любви. Периферия стала для него центром, культура и природа поменялись местами. Закончим этот раздел следующим наблюдением И. Бродского: «Если в пространстве заложена идея бесконечности, то — не в его протяженности, а в сжатости. Хотя бы потому, что сжатие пространства, как ни странно, всегда понятнее. Оно лучше организовано, для него больше названий: *камера, чулан, могила*. Для просторов остается лишь широкий жест» [Бродский 2000, 20].

6.

Итак, тема одиночества в разных ее версиях занимает одно из центральных мест в творчестве Достоевского. Ей соответствует целая серия слов-спутников с локальным значением, иногда перерастающих в символы: *подполье, угол, скорлупа, нора, каморка и комнатуха*, называемые также *углом, шкаф, сундук, гроб* и некоторые другие. Слово *гнездо* в этот ряд не входит. В определенной степени мотив одиночества является развитием популярной в русской литературе XIX в. темы «лишнего человека». Но мы бы хотели здесь обратить внимание на другое, а именно на то, что теме одиночества сопутствует в творчестве Достоевского другой мотив — антитеза одиночества — единение людей. Достоевский касается этой темы и в своих художественных произведениях, и в публицистике, особенно в Пушкинской речи.

В путевых очерках «Зимние заметки о летних впечатлениях» (1862—1863) Достоевский довольно подробно пишет о том, что «братство», к которому призывают французские революционеры и социалисты, «сделать нельзя», потому что оно «само делается, дается, в природе находится. А в природе французской, да и вообще западной, его в наличности не оказалось, а оказалось начало личное, начало особняка, усиленного самосохранения, самопромышления, самоопределения в своем собственном *Я*, сопоставление этого *Я* всей природе и всем остальным людям, как самоправного отдельного начала, совершенно равного и равноценного всему тому, что есть кроме него. Ну, а из такого самопоставления не могло произойти братства» (5, 79). «Как же это сделать?» — спрашивает Достоевский и отвечает: «Сделать никак нельзя, а надо, чтоб оно *само сделалось, чтоб оно было в натуре*, бессознательно в природе всего племени заключалось, одним словом: чтоб было братское, любящее начало — надо любить. Надо, чтобы самого ин-

стинктивно тянуло на братство, общину, на согласие, и тянуло, несмотря на все вековые страдания нации, несмотря на варварскую грубость и невежество, укоренившиеся в нации, несмотря на вековое рабство, на нашествие иноплемеников, одним словом, чтоб потребность братской общины была в натуре человека, чтоб он с тем и родился или усвоил себе такую привычку испокон веков» (5, 80, — курсив автора). Далее Достоевский рассуждает о том, что для осуществления идеи всеобщего братства «не надо быть безличностью, но именно надо стать личностью, даже в гораздо высочайшей степени» (там же). И немного ниже: «Сильно развитая личность. . . ничего не может и сделать другого из своей личности, то есть никакого более употребления, как отдать ее всю всем, чтоб и другие все были точно такими же самоправными и счастливыми личностями. Это закон природы; к этому тянет нормального человека» (там же). Отказывая в инстинкте, влекущем людей к братскому единению, западному обществу, Достоевский считает его свойством русского, шире — славянского, мира. В знаменитой Пушкинской речи эта мысль выражена прямо. В ней Достоевский говорит о наклонности русского народа к «жизненному воссоединению, к единению всечеловеческому». В создании общечеловеческого братства Достоевский видит всемирное назначение русского народа (26, 147). Оно тем более знаочно, что в Европе «в сущности единение исчезло окончательно» (2, 85).

Одиноким человек выйдет из своего угла и поселится во дворце будущего. Но вот возникает вопрос: не будет ли ему там скучно, не откажется ли он от всех преимуществ и выгод мирной братской жизни ради того, чтобы по своей глупой воле пожить, ибо «человеку надо — одного только *самостоятельного* хотения, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела» (5, 113). Личность хочет проявить себя не столько в самопожертвовании, сколько в вольном хотении, следующем формуле «не хочу, потому что так хочу» (5, 168). Будет ли соответствовать всемирное братское единение устройству человеческого сознания? Этот вопрос, всегда беспокоивший Достоевского, препятствует созданию положительных образов будущего всеединства. Идея единения людей в форме всемирной монархии, как подчеркивает Достоевский, была рождена Древним Римом. Затем ее заменила идея «всемирного единения во Христе», «Этот новый идеал раздвоился на восточный, то есть идеал совершенно духовного единения людей, и на западноевропейский, римско-католический, папский, совершенно обратный восточному» (25, 151—152). . . В восточном варианте превалирует идея духовного единения, в западном — государственного. Далее в романском мире идея всеединения эволюционировала в направлении социалистической идеологии, то есть «всеединения людей на основаниях всеобщего уже равенства, при участии всех и каждого в пользовании благами мира сего. . .

Осуществить же это решение положили *всякими* средствами, то есть отнюдь уже не средствами христианской цивилизации, и не останавливаясь ни перед чем» (25, 152—153; — *курсив автора*). Первым практическим шагом стало соединение всех неимущих, всех рабочих, всех обездоленных, то есть всех будущих борцов новой идеи. «Явились Интернационалка, международные сношения всех нищих мира сего, сходки, конгрессы, новые порядки, законы. . . » (25, 154). Этот путь к всеединению подробно освещен в романе «Бесы». Таковы, говоря схематически, мысли Достоевского об эволюции идеи всеединения людей. Мы не будем говорить о них подробно. Мы хотим только очень коротко остановиться на тех символических образах, в которых эти мысли обобщены.

Где же, в каком «здании» произойдет единение людей, каковы его образы? Все они гротескны. Уже в «Зимних заметках» мелькает образ муравейника. Достоевский пишет о «борьбе на смерть всеобщезападного личного начала с необходимостью хоть как-нибудь ужиться вместе, хоть как-нибудь составить общину и устроиться в одном муравейнике; *хоть в муравейник обратиться*, да только устроиться, не поедая друг друга» (5, 69; см. также с. 81).

Мысль об устроении в муравейнике повторяется в «Записках из подполья». Подпольный парадоксалист ее решительно отвергает. Он говорит, что человек только любит созидать здание будущего счастья, а не жить в нем. «Вот муравьи совершенно другого вкуса. У них есть одно удивительное здание, навеки нерушимое — муравейник» (5, 118). Чем же непривлекателен евромуравейник? Более всего своей окончательностью. Он навеки нерушим: «С муравейника достопочтенные муравьи начали, муравейником, наверно, и кончат» (там же). Человек же любит разрушать и нарушать, создавать и созидать, творить и вытворять. Он любит непредвиденное и неожиданное. Вспомним тоску, охватившую Аркадия при мысли о регулярности появления в его каморке солнечного луча (см. выше), а также скуку от раз навсегда заведенного порядка, о которой в разной связи писал Достоевский; см. (18, 12, 13); ср. также рассуждения черта о том, что «если бы на земле было все благоразумно, то ничего бы и не произошло. . . а надо, чтобы были происшествия», надо, чтобы было страдание, «ибо страдание-то и есть жизнь» (15, 77). Итак, в навеки благоустроенном муравейнике жить человеку было бы скучно, и в нем проснулся бы инстинкт разрушения.

Если ослабить строгость порядка и распорядка, то для человеческого единения может послужить и «куратник», в котором, по крайней мере, если пойдет дождь, человек спрячется, чтобы не замочиться. Всем был бы хорош курятник, «если б надо было жить только для того, чтоб не замочиться» (5, 120). Пока же, говорит подпольный парадоксалист, «я уж не

приму курятника за дворец» (5, 120), равно как не приму и «капитальный дом, с квартирами для бедных жильцов по контракту на тысячу лет» — за венец моих желаний (там же).

Наконец, возникает навеянный Всемирной Лондонской выставкой, которую посетил в 1862 г. Достоевский, образ вечно нерушимого хрустального дворца, в котором человек обретет благоденствие. Об этом подробно пишет Ю. С. Степанов [Степанов 1997, 449—451]. В его книге воспроизведен и сам дворец — его интерьер и фасад. (Дворец сгорел в 1936 г.). Но человек любит не одно благоденствие. «Любить одно благоденствие даже как-то и неприлично», — говорит автор «Записок». Человек любит также страдание. «Страдание — да ведь это единственная причина сознания», — говорит он (5, 119). Однако «В хрустальном дворце оно и немисливо: страдание есть сомнение, есть отрицание, а что за хрустальный дворец, в котором можно усомниться? А между тем я уверен, что человек от настоящего страдания, то есть от разрушения и хаоса, никогда не откажется» (5, 119). Но, может быть, еще важнее другое. Хрустальный дворец, в котором поселится социалистическое общество (см. коммент. на с. 385, где отмечена его аналогия с «чугунно-хрустальным зданием-дворцом» из четвертого сна Веры Павловны в романе «Что делать?» Н. Г. Чернышевского), своей окончательностью неизбежно аннулирует в человеке игровое начало. «Ну, а я, может быть, потому-то и боюсь этого здания, что оно хрустальное и навеки нерушимое и что нельзя будет даже и украдкой языка ему выставить» (5, 120). Заметим, что в «Преступлении и наказании» «Хрустальным дворцом», по-видимому, не случайно назван трактир, в котором произошел разговор Раскольникова с Заметовым, чиновником сыскающей конторы. Во время этого разговора собеседники разыгрывали некую игру, причем Раскольников все время как бы «высовывал язык», о чем прямо говорится в тексте; ср.: «Раскольникову ужасно вдруг захотелось опять „язык высунуть“» (6, 127; см. также с. 126). Здесь мы позволим себе обратить внимание на то, что прием «высовывания языка» (если воспользоваться метафорой самого автора) очень характерен для межличностного общения персонажей Достоевского и, в особенности, для героев «Преступления и наказания» (ср. диалоги Раскольникова с Порфирием Петровичем) и в немалой мере определяет поэтику диалогического дискурса Достоевского, в котором правда сопровождается симптоматикой розыгрыша, а глубочайшая насмешка имеет образ искреннего простодушия (13, 104).

Итак, «Хрустальный дворец», в котором можно «высунуть язык», оказался трактиром, а не зданием, в котором произойдет всеобщее единение.

Таким образом, одинокому русскому человеку, живущему в большом городе и испытывающему нужду в общении с людьми, как это случилось в

тот вечер с Раскольниковым, или желание поведать им о себе, поговорить по душам (ср. например, разговор Раскольникова с Мармеладовым), оставалось разве что пойти в трактир. Не случайно именно в трактире «сходятся русские мальчишки», чтобы поговорить о смысле жизни и бессмертии души. В трактире знакомятся и ведут философскую дискуссию Иван и Алеша Карамазовы. Время всеединения не настало. Пока же образы единения, нарисованные Достоевским, отрицательны и ассоциируются с рациональным западным миром, склонным к разъединению.

Вернемся к мотиву одиночества, не получившему у Достоевского адекватного противовеса.

Мы рассмотрели четыре «угла» одиночества.

1. Одиночество Подростка — это одиночество брошенного ребенка из случайного семейства, который всеми силами стремится выйти из угла победителем.
2. Одиночество Ставрогина — это безысходное одиночество человека, неукорененного в живой жизни вследствие утраты веры.
3. Одиночество подпольного парадоксалиста — это одиночество интеллектуала, живущего в мире книг, склонного к философским размышлениям и постепенно утратившего связи с живой жизнью.
4. Одиночество Раскольникова — это сначала одиночество мономана, захотевшего проверить действием свою теорию, затем преступника, отрезавшего себя от людей, но причастного «мирам иным».

Во всех случаях одиночество в большей или меньшей степени связано со склонностью к метафизическим размышлениям (ср. также одиночество Кириллова и Шатова).

Литература

- Арбан Л. «Порог» у Достоевского (тема, мотив и понятие) // Достоевский. Материалы и исследования. Вып. 2. Л., 1976.
- Айрапетян В. Русские толкования. М., 2000.
- Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л., 1983.
- Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.

- Белобровцева И. З.* Мимика и жест у Достоевского // Достоевский. Материалы и исследования. Вып. 3. Л., 1978.
- Бердяев Н. А.* Самопознание (гл. «Одиночество») // Опыты. Литературно-философский ежегодник. М., 1990.
- Бродский И.* Поклониться тени. СПб., 2000.
- Владимирцев В. П.* Поэтический бестиарий Достоевского // Достоевский и мировая культура. Вып. 12. М., 1999.
- Дилакторская О. Г.* Петербургская повесть Достоевского. СПб., 1999.
- Дом в культуре. Серия статей // Живая старина. 2000. № 2 (26).
- Кукушкина Е. Ю., Никитина С. Е.* Жанровые «портреты» фольклорного дома // Живая старина. № 2 (26). 2000.
- Курсите Я.* Семантика угла в латышском фольклоре // Политропон. К 70-летию В. Н. Топорова. М., 1998.
- Лихачев Д. С.* Концептосфера русского языка // Известия ОЛЯ РАН, 1993, № 1.
- Лотман Ю. М.* Статьи по типологии культуры. Тарту, 1973.
- Лотман Ю. М.* О семиосфере // *Лотман Ю. М.* Избранные статьи. Т. 1. Таллинн, 1992.
- Никитина С. Е., Кукушкина Е. Ю.* Дом в свадебных причитаниях и духовных стихах. Опыт тезаурусного описания. М., 200.
- Платон.* Сочинения. В 3 т. Т. 3. М., 1971.
- Родина Т. М.* Достоевский. Повествование и драма. М., 1984.
- Розанов В. В.* Легенда о Великом инквизиторе. М., 1996.
- Степанов Ю. С.* Константы. Словарь русской культуры. М., 1997.
- Толстой Н. И.* «Без четырех углов изба не строится» (заметки по славянскому язычеству) // *Studia mythologica slavica.* № 1. Ljubljana; Pisa, 1998.
- Топоров В. Н.* Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. М., 1995.
- Топоров В. Н.* О структуре романа Достоевского в связи с архаическими схемами мифологического мышления («Преступление и наказание») // Из работ Московского семиотического круга. М., 1997.

Цивьян Т. В. Дом в фольклорной модели мира (на материале балканских загадок). Труды по знаковым системам. Т. 10. Тарту, 1978.

Lo Gatto E. Il mito di Pietroburgo. Milano. 1991.

**«Мертвые души» и «Хитроумный идальго
Дон Кихот Ламанчский»
(к новой постановке проблемы)**

Сопоставление «Мертвых душ» с «Дон Кихотом» имеет большую историю, восходящую еще ко второй половине XIX века, когда попытки сближения этих произведений предпринимались как с русской, так и с испанской стороны. Систематизировавший эти опыты, В. Е. Багно¹ приводит немало аргументов в подтверждение родственности двух произведений, особо акцентируя идентичность положений, занимаемых каждым в национальной литературной традиции (оба — первые, по мнению исследователя, образцы жанра реалистического романа). Однако в той же работе, хотя и по иному поводу, солидаризируясь с Ю. В. Манном², В. Е. Багно пишет о связи «Мертвых душ» с традициями пикарески³ (характеризуя при этом сам сюжет романа Гоголя как... «антиплутовской»⁴). А ведь плутовской роман и роман «сервантесовского типа», не говоря о самом «Дон Кихоте», — антагонистические линии развития романного жанра⁵. Так что, если в «Мертвых душах» и произошло объединение обеих жанровых линий, сам этот факт требует специального анализа и разъяснения. Иными словами, сопоставление «Дон Кихота» и «Мертвых душ» обязательно предполагает более

¹ См.: В. Е. Багно. Гоголь и испанская литература // Гоголь и мировая литература. М., Наука, 1988.

² См.: Ю. В. Манн. Поэтика Гоголя. Вариации к теме. М., Coda, 1996.

³ В. Е. Багно. Указ. соч. С. 222.

⁴ Там же.

⁵ См. W. L. Reed. An Exemplary History of the Novel. The Quixotic versus the Picaresque. The University of Chicago Press, 1981, а также: С. И. Пискунова. «Дон Кихот» Сервантеса и жанры испанской прозы XVI—XVII веков. М., Издательство Московского университета, 1998. Неслучайно Ю. В. Манн, выступающий в данном случае вполне последовательно, анализируя жанр «Мертвых душ», о романе Сервантеса практически не вспоминает, хотя известное признание Гоголя, содержащееся в «Авторской исповеди», о том, что Пушкин, советуя ему взяться за большой роман, ставил в пример Сервантеса, могло бы исследователя за собой и повести.

широкую (и точную) постановку проблемы: «Дон Кихот»/плутовской роман и «Мертвые души». Она же, в свою очередь, неотделима от вопроса о жанровой сущности гоголевского сочинения: начатый еще Белинским и Аксаковым спор о том, поэма «Мертвые души» или роман, продолжается до сих пор⁶, а именно в ориентации Гоголя — создателя «Мертвых душ» на жанр плутовского романа видит Ю. В. Манн доказательство органичной встроенности этого произведения в романную традицию. Трудности решения обеих задач усугубляются тем, что «поэма» Гоголя сущностно не завершена, а ее жанровое оформление уже в процессе создания условно-законченного первого тома претерпело существенные изменения.

Тем не менее очевидно, что художественное пространство «Мертвых душ» охватывает множество жанровых регистров: от «Одиссеи» до спародированной романтической повести (с непрямым мотивом похищения девицы — губернаторской дочки), авторами коей являются дамы губернского города NN. Одним из таких жанровых составляющих «Мертвых душ», несомненно, является и плутовской роман. Но сколь обоснованна мысль об *изначальной* ориентации Гоголя на «плутовской роман» или *пикареску* (этот термин корректнее применять к совокупности текстов, включенных романоведением XIX в. в историю литературы под грифом «плутовской роман»)? Для ответа на этот вопрос стоит вспомнить о том, что представлял из себя этот жанр, возникший в Испании практически одновременно с «Дон Кихотом»⁷.

Пикареска — это не просто жизнеописание героя — пикаро, а в своих истоках — спародированная исповедь, вставленная в раму эпистолы. Повествование от первого лица — обязательный конститутивный момент классического плутовского романа. История пикаро непременно начинается с его рождения, поскольку его судьба во многом обусловлена его происхождением (вопреки представлениям Ю. Манна, в происхождении этом не должно быть ничего тайного, хотя оно и весьма сомнительно). Далее пикареска включает в себя рассказ о своеобразном «антивоспитании» будущего «приходи» и о его попытках «прыгнуть выше головы», вписаться в социум («причленись к добрым людям», как говорит о себе Ласарильо — герой прообраза жанра — плутовской повести «Жизнь Ласарильо де Тормес»), для чего он готов воспользоваться любыми нечестными средствами, хитрить и обманывать, при этом всячески отстаивая свою иллюзорную «честь» (еще одно ключевое для пикарески понятие). Но всякий раз когда пикаро, казалось

⁶ См. подведение итогов этого спора на сегодняшний день в кн.: В. А. Недзвецкий. Русский социально-утопический роман XIX века. Становление и жанровая эволюция. М., Диалог-МГУ, 1997.

⁷ О времени рождения жанра плутовского романа см.: С. И. Пискунова. Указ. соч. С. 127 и сл.

бы, добивается желаемого, всемогущая Фортуна низвергает его с вершины успеха на дно жизни — туда, откуда он начинал движение вверх. При этом пикаро — вовсе не обязательно слуга многих господ⁸, и подглядывание за чужими жизнями — отнюдь не главное его занятие.

Нетрудно заметить, что отдельные приметы пикарески присутствуют лишь в ретроспективной биографии Чичикова в одиннадцатой главе первого тома «Мертвых душ»: именно тогда — *и не раньше*⁹ — гоголевское повествование *эпизодически* переходит в жанровый регистр плутовского жизнеописания. «По мере движения сюжета, — пишет С. А. Гончаров, рассматривающий „Мертвые души“ в контексте „учительной“ культуры, — риторический принцип (у Гоголя. — С. П.) все более утверждается в своих правах, обретая полноту воплощения в заключительной главе, в которой контрастным (а на самом деле — вполне традиционно-барочным. — С. П.) образом сходится жанрово-стилевой пласт авантюрно-плутовского романа... с риторикой проповеди и поучения»¹⁰. Правда, повествование у Гоголя ведется не от первого лица, но отказ от *Ich-Erzählung* в данном случае в известной степени компенсируется сближенностью на данном этапе развития повествования точки зрения повествователя и точки зрения героя, так что жизненный путь Чичикова раскрывается в этой плутовской псевдоисповеди не только извне, но и частично изнутри (Гоголь исподволь готовит Павла Ивановича к превращению из «человека внешнего» в «человека внутреннего», запланированного на второй том, хотя тема «человека внутреннего», столь значимая для эразмиста Сервантеса и вовсе не существенная для пикарески, с полной силой звучит и в одиннадцатой главе первого).

Тем не менее, оказавшись на *какое-то время* во власти пикарескного жанра, Гоголь позволяет себе рассуждение, от которого он в дальнейшем всячески стремился отмежеваться¹¹, — о врожденной склонности человека к пороку, о власти над ним «страстей» (в данном случае — страсти к приобритательству). Все эти мотивы запрограммированы в исповедях пикаро-героев жанра. Но они были глубоко чужды Гоголю-проповеднику.

Правда, и в классической пикареске рядом с темой зависимости человека от своего происхождения, от своего тела (мотив голода в «Ласарильо»)

⁸ «Красноречивый послушник Алонсо, слуга многих господ» — герой одноименного романа Х. Алькала Яньеса-и-Рибера — вполне добродетельный по природе человек.

⁹ До того, лишь во второй главе Чичиков лишь вскользь и явно ернически признается в своем темном происхождении — «человек без племени и роду».

¹⁰ С. А. Гончаров. Творчество Гоголя и традиции учительной культуры. СПб., 1992. С. 129.

¹¹ См. Е. А. Смирнова. Поэма Гоголя «Мертвые души». Л., Наука, 1987. С. 150 и сл.

и своих чувственных влечений, от обстоятельств и от Фортуны звучит тема свободы воли, выбора между добром и злом, дарованном человеку Богом. Она вложена в уста переродившегося пикаро, пикаро-повествователя. Такова композиция классической — барочной — пикарески, достаточно далекой, по мнению современных исследователей¹², от жанра романа. Так называемые «плутовские романы» в своем большинстве — это риторические, при этом нередко сплошь карнавализованные, дискурсы, плутовские проповеди¹³. Произнося их, пикаро или антипикаро черпает аргументы для подтверждения своих моральных и социально-антропологических тезисов из собственного жизненного опыта. Но и пикаро-повествователь, и пикаро-персонаж — «человек внешний». Строй гоголевской «проповеди» (так В. А. Недзвецкий не без основания определяет жанр «Мертвых душ») в этом плане коренным образом отличается от проповеди «плутовской». «... Автор, — пишет о Гоголе С. А. Гончаров, — стремится эмпирическому изображению придать не только предельное обобщение и символический смысл, но и возвести читателя в область „внутреннего духа“, религиозно-символического понимания, которое автор стремится замкнуть на самопознание читателя, на вопросы, обращенные к себе. Поэтому движение читателя подобно „лестнице“, пути восхождения от конкретному к духовному, который может прочитываться как путь откровения и спасения»¹⁴. На этом пути каждый читатель гоголевской поэмы должен открыть Чичикова в себе.

При этом дидактическая нацеленность гоголевского дискурса опирается на мощную традицию «низового» украинского барокко, существеннейшим мировоззренческим компонентом которого был гностицизм. В вырастающем из гностической мифологии «герменевтическом сюжете» поэмы Гоголя, реконструируемом исследователями (М. Вайскопфом, С. Гончаровым), отчетливо просматривается архетипический сюжет «песен посвящения» (К. Наранхо), восходящих к ритуалу инициации и включающих в себя мотив испытания и сопутствующие ему мотивы смерти/воскресения, нисхождения/восхождения, борьбы света и тьмы. В метажанровую парадигму «песен посвящения», как правило, глубоко «законспирированную» в недрах иных жанровых традиций, встраиваются и «Одиссея», и «Божественная комедия», и рыцарские романы (прежде всего О Ланселоте Озерном и поисках

¹² См., например, F. Cabo Aseguinolaza. El concepto de género y la literatura picaresca. Santiago de Compostela, 1992.

¹³ Получается, что, возводя «Мертвые души» к пикареске, Ю. В. Манн, вопреки собственным намерениям, оказывается среди тех, кто считают, что жанрово-завершающий принцип «поэмы» Гоголя лежит не в романной плоскости, плоскости диалогического сопряжения разных точек зрения на мир, а в плоскости «учительной» литературы и культуры.

¹⁴ С. А. Гончаров. Указ. соч. С. 20.

св. Грааля), и «Ласарильо де Тормес»¹⁵, и — «Дон Кихот», жанрообразующая тема которого связана с рождением самосознания новоевропейской личности в мире распавшихся тождеств.

В «Мертвых душах» можно отыскать сходство со всеми названными сочинениями, в числе которых не только романы, но и барочные аллегорические эпосы¹⁶, непосредственные предтечи масонских аллегорических «романов» XVIII столетия. Однако в композиции аллегорических «эпопей в прозе» миф и дидактика сопряжены напрямую, а в «Мертвых душах» между ними встроено третий план — детально прописанный образ современной России. Современность опосредует, травестирует архетипический сюжет, разворачивает вертикальную композицию «поэмы» в горизонтальной плоскости романа-странствия, романа-испытания. В этом пространстве разворачивается и «фиктивная» (Андрей Белый) фабула первого тома «Мертвых душ», за которой прорисовывается сюжет испытания Чичикова и испытания» Чичиковым — всех, кто оказывается на его авантюрно-мистическом пути¹⁷.

Чичиков — герой, которым не только владеют низменные «человеческие страсти», но и тот, кого ведет по миру иная страсть — из числа тех, «которых избранье не от человека»: «высшими начертаниями они ведутся, и есть в них что-то вечно зовущее, неумолкающее всю жизнь»¹⁸. Его авантюрно-фантастический план скупки не вошедших в ревизские списки душ

¹⁵ «Ласарильо» — в этом, как и во многих других аспектах существенно отличается от своих жанровых «потомков». В сюжете первой плутовской повести, возникшей в процессе полемики «новых христиан» с ренессансно-гуманистическим «мифом о человеке», — «Жизни Ласарильо де Тормес» (сохр. изд. 1554) — травестируется евангельский сюжет о воскресении Лазаря (исп. Ласаро), сталкиваются жизнь и смерть, разворачивается история омертвления души «частного» человека по мере его превращения в человека «публичного», если пользоваться определениями М. М. Бахтина.

¹⁶ Именно к ним, а не к «Дон Кихоту» и к роману Нового времени (novel) в целом, вопреки мнению В. Е. Багно, более всего приложимо определение «эпическая поэма в прозе». Разработанная Алонсо Лопесом Линьяно («Философия поэзии древних», 1596) и вложенная Сервантесом в уста каноника — персонажа Первой части «Дон Кихота» (гл. XLVII и сл.), теория «эпической поэмы в прозе» нашла воплощение прежде всего в барочном аллегорическом эпосе, базирующемся на фабульном каркасе романа гелиодоровского типа (romance). Образцами «эпической поэмы в прозе» в эпоху барокко были, в частности, последний роман Сервантеса «Странствия Персилеса и Сихизмунды» (о нем, скорее всего, и говорил каноник), «Критикои» Бальтасара Грасиана. Возможно, какой-то одной своей стороной в XIX в. в эту барочную жанровую традицию встраиваются и «Мертвые души».

¹⁷ В «Мертвых душах», отмечает С. А. Гончаров, «... между фабульным и сюжетным смыслом возникают отношения референта и знака» (см. С. А. Гончаров. Указ. соч. С. 21).

¹⁸ Н. В. Гоголь. Собр. соч., т. 6, с. 228.

умерших крестьян рожден не только жаждой обогащения: Чичикову надо обогатиться, чтобы обрести пристанище, дом и *потомство*. Иными словами, герой Гоголя жаждет *бессмертия*. В глубине его души живет романтик, спародированный Гоголем в эпизоде чтения Чичиковым Собакевичу «послания в стихах Вертера Шарлотте». Павел Иванович хочет остаться *в вечности*, но не в вечности печатного листа — романа, на страницах коего будут запечатлены его подвиги, а в вечности природно-родового начала. Безвестно-темное у корней, оно должно возвыситься и высветиться (отсюда мотивы света, пронизывающие поэму, начиная с эпизода вечеринки у губернатора и — особенно — в эпизоде встречи героя с губернаторской дочкой), воссиять. В другой системе образов Чичикову нужно *отмыться* (отсюда — его подчеркнутая чистоплотность), счистить с себя дорожную и всякую другую грязь. И, вопреки самоуничтожительно-театрализованному уподоблению себя «барке» посреди «свирепых волн» (мотив-клише и позднего греческого романа, и плутовского дискурса), герой Гоголя в реализации своего фантастического замысла маниакально последователен. Он рационален и иррационален одновременно. Он использует случай, а не отдается случаю на волю. Он знает, что именно ему «предназначен этот подвиг».

И вот здесь-то создателю «Мертвых душ» оказывается по-настоящему нужным опыт автора «Дон Кихота», в котором не раз цитируется только что процитированный нами испанский романс. Именно в «Дон Кихоте» в классическом виде представлен так называемый сюжет-ситуация, коренным образом отличный от сюжета-фабулы и являющий собой специфический — собственно романский — этап развития европейской сюжетики¹⁹. Пушкин «подарил» Гоголю не фабулу «Мертвых душ», а лично-авторский сюжет-ситуацию (сюжет-фабула, как всеобщее достояние, не может рассматриваться в качестве личного дара). Точнее, анекдотическая история (фабула) в творческом диалоге одариваемого и дарителя должна была сразу же оформиться как оксюморонная метафора «мертвые души», за которой просматривался и архетипический сюжет нисхождения в преисподнюю (мотивы столкновения и взаимопревращения мертвого и живого, телесного и духовного, смертного и бессмертного во всевозможных комбинациях этих начал), и взятая из современной действительности афера, основанная на «магической» роли «бумаги», «документа» в бюрократизированном государстве. Подаренный Пушкиным сюжет-метафору Гоголь и развернул в сюжет-ситуацию, в сквозное сюжетное положение.

«Без серии приключений, без многочленной композиции романа, — писал Пинский о «Дон Кихоте», — еще нет фабулы (строго говоря, сюжета. —

¹⁹ См. Л. Е. Пинский. Сюжет-фабула и сюжет-ситуация // Л. Е. Пинский. Реализм эпохи Возрождения. М., 1963.

С. П.) о герое-энтузиасте, упорно игнорирующем опыт жизни. . . »²⁰ Без методичного упорства Чичикова в осуществлении своего плана²¹ — без *серии* посещений им помещиков, живущих в окрестностях города NN, — фигура гоголевского «ловца душ» не выросла бы и в сознании других персонажей поэмы и в сознании читателя до таких масштабов, чтобы в округлом безликом Павле Ивановиче стало возможным разглядеть не только профиль Наполеона или Ринальдо Ринальдини, но и двоящийся лик Антихриста/апостола Павла²².

Конечно, по всем своим внешним приметам Чичиков — анти-донкихот, о чем иронически напоминают его «мокрые доспехи», отданные на просушку Фетинье в доме Коробочки. В городе NN он является почти незамеченным и столь же незаметно из него исчезает. Его округлость, его протезизм резко контрастируют с донкихотовским тотальным несовпадением с окружающим миром. За «безумного» его может принять разве что Манилов. Но результат посещения Чичиковым города NN — по-донкихотски плачевен. Он — не разоблаченный жуликом Ноздревым жулик, а обогланный и разочарованный в своих лучших чувствах человек. Сотворенный им мираж — образ любимого всеми «милейшего» Павла Ивановича — развеялся. Единственный зримый результат его посещения города NN — освобождение души прокурора из прокурорского тела, встреченного им на выезде.

Знаменательно, что в своем нисходящем развитии сюжет-ситуация в «Мертвых душах», как и в «Дон Кихоте», подводит героя (у Сервантеса — героев) и читателя к пасторальному «аду»: в «Дон Кихоте» он располагается в Сьерра-Морене, в «Мертвых душах» — в поместье Плюшкина, с его знаменитым садом, явленным, как во всякой классической пасторали, в двух ипостасях: естественной и искусственной. С пасторальным «адам» в «Дон Кихоте» связано пробуждение самосознания героя, с посещением Плюшкина в «Мертвых душах» — первое пробуждение в Чичикове «человека внутреннего» (в сцене составления купчей): ведь из ада, из крайней точки нисхождения остается лишь один путь — наверх. Но и для героя Сервантеса, и для героя Гоголя этот подъем поначалу оказывается иллюзорным возвышением к вершинам «светской» славы: пребывание Дон Кихота во дворце герцогов во второй части романа Сервантеса, оформленное как театральное действие, как дворцовая комедия, типологически сходно со сценой бала у губернатора в «Мертвых душах», где Чичиков накануне своего

²⁰ Л. Е. Пинский. Указ. соч., с. 299.

²¹ «Гоголь, вероятно, пародирует энтузиазм Дон Кихота энтузиазмом своего героя», — пишет В. Е. Багно, подыскивая в содержательной плоскости объяснение функциональному сходству двух героев.

²² См.: М. Вайскопф. Сюжет Гоголя. М., Радикс, 1993.

разоблачения наслаждается всеобщим (в действительности — иллюзорным) признанием, где перед ним мелькает лик его «Дульсинии» — губернаторской дочки. Наконец, в состоянии униженности и разочарования герои Сервантеса и Гоголя вновь оказываются на дороге — на пути к своему духовному исцелению, которое успел вполне запечатлеть Сервантес и лишь частично, в полу-«виртуальном» пространстве второго-третьего томов «Мертвых душ», — Гоголь.

Серьезным подтверждением жанрового родства «Хитроумного идаляго...» и поэмы Гоголя (из числа аргументов, использовавшихся критиками) могло бы стать и сходство позиции каждого из авторов по отношению к создаваемым им художественным мирам, с одной стороны, и к читателю — с другой. В первую очередь, это — «прямой разговор» с читателем, который, как отметила А. А. Елистратова²³, ведут и Сервантес, и Гоголь, демонстрируя сам процесс рождения текста романа. Правда, этот прием, по мнению исследовательницы, Гоголь непосредственно перенял у Филдинга, поскольку гоголевская поэма в целом не принадлежит «к тому же ряду литературных явлений, что и произведения Сервантеса...»²⁴ У Филдинга же, по мнению Ю. В. Манна, автор «Мертвых душ» унаследовал и принцип так называемого «аукториального» повествования, составной частью которого являются комментирующие вторжения автора — всеведущего незримого «историка» — в процесс рассказывания произошедших событий.

Вряд ли можно что-то оспорить в предложенном Ю. В. Манном доскональнейшем описании этого повествовательного принципа в том виде, как он реализован у Гоголя. Только вот у истоков этой повествовательной стратегии стоит — вопреки мнению Ю. В. Манна и немецкого нарратолога К. Штанцеля, разработчика теории «аукториального» повествования, за которым следует русский гоголевед, — вовсе не Филдинг, а Сервантес. Правда, помимо «аукториального» повествования создатель «Дон Кихота» использует и другие повествовательные стратегии: повествование от первого лица (во вставных новеллах и эпизодах), использование фигуры «подставного автора» — Сиды Ахмета Бененхели и т. д.. В свою очередь, творец «Тома Джонса», подобно Сервантесу, может иронически дистанцироваться от рассказываемых событий, может эпизодически вмешиваться в их ход, комментируя происходящее, но он утрачивает доминантную сервантесовскую установку на разговор с читателем *на равных*, на диалогическую синкризу в композиции романа равноценных точек зрения на мир, сервантесовский *перспективизм*. Иными словами, Филдинг во многом монологизирует роман

²³ См. А. А. Елистратова. Гоголь и проблемы западноевропейского романа. М., «Наука», 1972. С. 111.

²⁴ Там же. С. 18

сервантесовского типа²⁵. Но в своей основе «аукториальное» повествование — изобретение автора «Дон Кихота». Кроме того, как показал Р. Леблан²⁶, автор «Мертвых душ» был лишен возможности непосредственно следовать Филдингу-романисту, поскольку тогдашние переводы Филдинга на русский язык полностью разрушали структуру «аукториального» дискурса. «Дон Кихот», преломленный в призме переводов-обработок Флориана Жуковского, и тот сохранял больше черт «аукториального» стиля.

Конечно, в любом случае Гоголь должен был реконструировать строй романа «сервантесовского типа» спонтанно-самостоятельно, опираясь на «память жанра», к которой и апеллирует Р. Леблан, стремясь связать «комическую эпопею» Филдинга и поэму Гоголя. Но «память жанра» тем и ценна, что уводит и читателя (в том числе читателя-критика), и творца в самую глубь жанровой традиции — к ее истокам. В нашем случае — к «Дон Кихоту», сколь бы ограниченно-просветительски ни трактовал образ героя Сервантеса сам Гоголь. Ведь линия исторической преемственности жанровых структур проходит поверх конкретного содержания конкретных литературных образов. И даже — поверх такого существенного разграничения, как прозанческая и стихотворная речь: не только эпос, но и романы могут создаваться и в стихах, и в прозе.

И здесь нужно вспомнить, что у Гоголя перед глазами был и свой национальный образец романа, с «Дон Кихотом» чрезвычайно сходный, — «Евгений Онегин»²⁷. Так что, скорее всего, Гоголь-романист — бессознательно или целенаправленно — изначально ориентировался не на пикареску, а если и не на «Дон Кихота», то на роман сервантесовского типа, представленный на русской почве «Евгением Онегиным»²⁸. Затем, по мере перестройки гоголевского замысла в «учительном» ключе, этот роман под пером Гоголя трансформировался в барочную дидактическую поэму — «эпопею в прозе» (с включением элементов плутовского жанра), чтобы позднее (во втором-третьем томах) выйти на стезю нравоописательно-утопического романа, по-

²⁵ См. об этом подробнее: W. L. Reed. *Op. cit.*

²⁶ См. Р. Леблан. В поисках утраченного жанра. Филдинг, Гоголь и память жанра у Бахтина // Вопросы литературы. Июль—август, 1998.

²⁷ О типологическом сходстве двух романов мы писали в работе: С. И. Пискунова. «Дон Кихот» и «Евгений Онегин». Опыт типологического сопоставления // Московский пушкинист — VII. М., Наследие, 2000.

²⁸ Даже если, как считает Е. Смирнова (см. указ. соч.), Гоголь в «Мертвых душах» «Евгений Онегина» и пародирует, то это — пародия сервантесовского типа, сохраняющая в себе пародируемое в качестве своей составной части. Кроме того, нельзя не согласиться с Д. Фэнджером, считающим, что «Гоголь мог найти прецедент для своих повествовательных отступлений у Стерна и Филдинга, но прецедентом в русской литературе» для него «могли быть только лирические отступления Пушкина» (цитир. по Р. Леблан. Указ. соч. С. 104).

вторив и в этом путь создателя «Дон Кихота»²⁹. Что касается жизнеописаний плутов, то «жильбласам» в России так и не удалось утвердиться в виде оформленной и сколь-нибудь значимой жанровой традиции.

²⁹ Во Второй части «Дон Кихота» Сервантес, как не раз отмечалось критиками, прямо выходит на путь пасторального романа.

Н. Ю. Бокадорова

Опыт описания классического балета как семиотической системы

От танцев и балетов, сударь, нынче все без ума. Они возбуждают какие-то неистовые восторги, и никогда еще ни одно искусство не поощрялось столь пылкими рукоплесканиями.

Ж.-Ж. Новерр. «Письма о танце»

Искусство балета, основой которого является классический танец, — одно из наиболее любимых и популярных искусств. Вместе с тем изучение балета с теоретических позиций практически не велось, хотя работы по методике классического танца, критические статьи о балете и книги историкомемуарного плана выходят во всем мире достаточно регулярно. За последние 40 лет в России и за рубежом были изданы словари балета¹, создатели которых вообще отказались от изложения теоретических основ искусства балета. Например, «Словарь современного балета», изданный во Франции в 1957 г., содержит более 700 статей; около 250 из них посвящены анализу основных балетов, созданных в XX в., а остальные описывают историю балетных театров и трупп, освещают биографические материалы, связанные с жизнью и творчеством балетмейстеров, музыкантов, художников и наиболее крупных продюсеров, работавших и работающих в балете.

Возможно, трудность описания балета как единого искусства заключается в том, что в нем «сталкиваются, прежде чем прийти к единой цели, разные виды искусства. Искусства изобразительные: живопись, скульптура, пантомима. Искусства выразительные: музыка и танец»².

Известный французский эстетик и педагог Шарль Батте (Batteux) писал: «... сами по себе звуки и жесты нельзя считать ни естественными, ни искусственными; они — лишь знаки, которыми пользуются искусство или при-

¹ См., напр.: Все о балете. М.; Л., 1966; Dictionaire du ballet moderne. P., 1957; Балет. Русский Балет. Энциклопедия. М., 1997.

² В. М. Красовская. Статьи о балете. М., 1967, с. 122.

рода, реальность или выдумка, правда или ложь»³. Но в истории искусств не предпринимались еще попытки изучить балет как систему знаков, рассмотреть вопросы о типе знаков в классическом балете, об основных и второстепенных типах знаков, составляющих единое целое (балетный спектакль). Не менее важно рассмотреть и взаимодействие искусств в балетном спектакле. В отношении изучения собственно классического танца, являющегося основой балета, необходимо обратиться к сравнительному анализу различных танцевальных канонов и рассмотреть канон европейского классического танца в ряду этих канонов. Современный классический танец как танцевальный канон изучен и методологически разработан очень детально. Здесь исследователь классического балета как семиотической системы может опираться на такие прекрасные сочинения крупнейших педагогов-методистов, как книга А. Я. Вагановой «Основы классического танца»⁴. Само название «классический танец» применяется как к экзерсису в широком смысле (основные позы и движения как инварианты), так и к танцам в балете, основанным на элементах классического экзерсиса. Поэтому важно не только различать эти два значения термина «классический танец», но и изучить, как связан экзерсис (как система инвариантов) с возможными сценическими вариантами движений и их комбинаций. Здесь исследователь может опираться на методы изучения соотношений «язык — речь», «грамматика — текст», «парадигматика — синтагматика», разработанные в лингвистике.

«Танец, — писал Ж.-Ж. Новерр, — есть не что иное, как искусство изящно, точно и легко выполнять всевозможные па в соответствии с темпами и ритмами, заданными музыкой. . . »⁵ Но замечательный французский балетмейстер и теоретик балета XVIII в. предостерегал от увлечения лишь технической стороной танца, от стремления «усладить глаза» зрителя, не обращаясь к его «душе». Он полагал, что «танец содержит в себе все необходимое, дабы стать красноречивейшим из языков, но мало еще знать один только его алфавит, чтобы на нем разговаривать»⁶. Новерр предлагал балетмейстерам «устремитесь за пределы материальной формы танца», «согласовывать танцевальные па, жесты и выражения лиц с чувствами, которые нужно изобразить»⁷.

Со времени Новерра вопросы о том, что можно выразить языком танца, каков должен быть сюжет балета, каково соотношение между танцем

³ Ш. Батте. Изящные искусства, сведенные к единому принципу // Музыкальная эстетика Западной Европы XVII—XVIII веков. М., 1971, с. 401.

⁴ А. Я. Ваганова. Основы классического танца. Л.; М., 1963.

⁵ Ж.-Ж. Новерр. Письма о танце и балетах. Л.; М., 1965, с. 42—43.

⁶ Ж.-Ж. Новерр. Ук. соч., с. 65.

⁷ Там же. с. 43.

и пантомимой, находились в центре внимания балетмейстеров и критиков. Вопросы эти решались в разные эпохи по-разному. В силу очень ограниченного объема статьи у нас нет возможности даже кратко рассмотреть проблему «семантики» балета⁸. Важно другое: описание классического балета как семиотической системы позволит отделить проблемы «семантики» балета от перечисленных выше проблем семиотики балета, которыми фактически часто подменяются собственно семантические проблемы. Кстати, многие вопросы, относившиеся ранее к проблемам выразительности и не отделявшиеся от собственно сюжетной, содержательной стороны балета, получают в свете семиотического подхода более дифференцированное и адекватное решение.

Язык балета не однороден по составу. Собственно пластическая сторона спектакля включает классический танец, пантомиму и сценические варианты народной или бытовой пляски. Соотношение этих элементов различно в разные эпохи. В XVIII в., в эпоху героико-пантомимных, трагических балетов это соотношение определялось так: «танец есть искусство различных па, грациозных движений и красивых поз. Балет, заимствовавший у танца часть его прелестей, есть искусство последовательной компоновки форм и фигур. Пантомима же есть исключительно искусство чувств и душевных движений, выраженных с помощью жестов»⁹.

Пантомима в балете стала играть роль смысловой связки между танцами. Пантомиму можно достаточно однозначно «перевести» на язык слов. Традиционная балетная пантомима была языком жеста, имеющего словесный коррелят. Сейчас искусство традиционной балетной пантомимы почти забыто. Ему не обучают в балетных школах, а старые балеты («Жизель», «Коппелия», «Лебединое озеро» и др.), идущие на сценах мира, подвергаются различного рода переделкам или ставятся в новых авторских редакциях¹⁰.

Ж. Баланчин в книге «Histoire de mes ballets» пишет, что «старые балеты надо стараться сохранять в их первоначальном виде» и, соответственно, надо сохранить искусство «условной» пантомимы. Он дает краткий словарь, содержащий пантомимные аналоги ряда понятий («Вы», «Прекрасная или молодая девушка», «Принцесса», «Поцелуй», «Любовь», «Женитьба», «Король», «Королева», «Остановитесь» (хватит), «Гнев», «Грусть», «Прости(те)», «Нет», «Друг», «Смерть», «Сон», «Ребенок», «Благодарность» и др.). Вот как описывает Баланчин на языке «условной» (старой балет-

⁸ См. об этом: М. М. Фокнн. Против течения. Л.; М., 1962; В. М. Красовская. Статьи о балете. М., 1967; Ю. И. Слонимский. В честь танца. Л.; М., 1968.

⁹ Ж.-Ж. Новерр. Ук. соч., с. 309.

¹⁰ Например в редакциях «Лебединого озера», «Спящей красавицы», «Щелкунчика», созданных на сцене Большого театра Ю. И. Григоровичем, почти все старые пантомимные сцены заменены танцем или «естественной» пантомимой.

ной) пантомимы понятие «принцесса» — «руки подняты и кисти рук находятся над головой в таком положении, будто в руках корона»¹¹. «Условная» пантомима неоднородна с точки зрения ее мотивированности бытовой (естественной) пластикой: такие понятия, как «остановитесь», «нет», «да», «слезы», «воспоминание», почти буквально (хотя и «укрупненно») воспроизводят естественную пластику, сопровождающую речь.

В разных «школах» и течениях в балете классическому танцу и пантомиме отводятся разные роли. В «программах» («композиционных планах»), написанных М. Петипа для своих балетов, все действие, которое можно описать с л о в а м и, раскрывается в пантомиме; для классических вариаций, па-де-де, па-де-труа (катров) и т. п. даны только общее описание, характер и музыкальный размер¹².

М. Фокин, выдающийся русский балетмейстер, создатель «нового балета», старался «моделировать» поведение человека в пантомиме и танце, не противопоставляя последние столь резко, как это делал М. Петипа. Во-первых, он пытался изгнать из балета условную пантомиму, которую он считал незстетичной, называя «языком глухонемых». Конечно, он оставлял балету пантомиму как искусство жеста, но это были «те жизненные жесты, которыми мы сопровождаем свою речь»¹³. Во-вторых, в балетах Фокина невозможно отделить собственно танцевальные куски от пантомимных: одно естественно переходит в другое. Из этих балетов трудно «вырвать» отдельные танцевальные номера, там почти нет классических па-де-де (па-де-труа и т. д.), нет классических вариаций¹⁴. Поэтому изменилось и отношение к спектаклю в целом. Если в балетах Петипа балерины часто бисировали вариации, кланялись после исполнения наиболее трудных вариаций или даже отдельных сложных движений и это несколько не нарушало целостности спектакля, то балеты Фокина воспринимались как неделимое целое (вот почему он так яростно боролся против традиционных поклонов во время спектакля¹⁵).

В истории развития балета можно наблюдать и тенденции к уподоблению движений классического танца бытовым жестам или словам естествен-

¹¹ George Balanchine. Histoire de mes ballets. Fayard, 1954, p. 313.

¹² М. И. Петипа. Музыкально-сценические планы балетов П. И. Чайковского и А. К. Глазунова // Мариус Петипа (материалы, воспоминания, статьи). Л., 1971, с. 129–155.

¹³ М. М. Фокин. Против течения. Л.; М., 1962, с. 243.

¹⁴ Это, конечно, не относится к «стилизациям» М. Фокина. Например, балет «Шопениана» был создан им как спектакль-воспоминание об эпохе романтизма в балете, как с т и л и з а ц и я.

¹⁵ М. М. Фокин. Ук. соч., с. 226–228.

ного языка («драмбалет»), и тенденции к приравниванию танцевальной лексикой к элементам музыкального языка («танцсимфонии»).

Богатство стилей и жанров балета, разнообразие исторических форм классического балета заставляют обратиться к более пристальному изучению балета с теоретических позиций.

В статье дается лишь краткий обзор важнейших проблем семиотики балета. Каждый из предлагаемых разделов может стать предметом отдельного исследования.

I. Правила создания и развития танцевальных канонов

Любой танцевальный канон вводится как правила пластического поведения, расподобленные с пластическим поведением в жизни.

Танец не похож на обыденную пластику, и в этом его основной смысл для человека. Наше тело всегда обременяет нас, накладывая физические ограничения на духовную жизнь, заставляя нас жить не по *д у х о в н о м у* расписанию, а по *ф и з и ч е с к о м у*. Смена пластического поведения создает у человека иллюзию освобождения от «бренности», немедленно отражающуюся на его духовном состоянии. Всеобщее участие в первобытных плясках, обязательность танцев в обрядах, введение танцевальных канонов в быт (историко-бытовой, народный танец) предполагают преодоление «телесного отягощения» за счет определенных правил пластического поведения, отличных от правил бытовой пластики. Изучение танцев — всегда физическая тренировка, смысл которой заключается в том, чтобы натренировать тело, сделать определенные мышцы привычными для временного преодоления «бренности» тела.

Хореографических канонов может быть множество. Все каноны различаются по тому, какие вводятся «запрещения» на свободное пластическое поведение, т. е. по исходным началам. Так, канон классического танца предполагает следующие «запрещения»: идеальная симметрия человеческого тела, позиции рук и ног, выворотность, натянутость ноги от верха до выгнутых книзу кончиков пальцев.

Эти *н а ч а л а* диктуют и характер классического танца: выворотность увеличивает амплитуду подъема и размаха ноги; позиции рук и ног в выворотном положении уравнивают тело, вырабатывают устойчивость в пируэтах; натянутая до предела нога помогает развитию элевации и баллона (в прыжках).

Все указанные принципы классического танца были сформулированы еще в XVIII в. (Р. Фейе, 1700; Ж.-Ж. Новерр, 1760).

Канон индийского классического танца базируется на иных исходных началах. В этом каноне разрешены выворотные (*en dehors*) и невыворотные положения ног (*en dedans* и классическая 6-я позиция). Разрешаются положения и движения тела как симметричные, так и несимметричные (разнонаправленные). Эти исходные принципы исключают развитие в индийском классическом танце сложных прыжков и пируэтов. Детализация движений происходит за счет развития движений рук, пальцев, глаз. Количество поз в индийском классическом танце значительно превышает количество поз в европейском (классическом танце), где поз всего три (*attitudes, arabesques, ecartée*)¹⁶.

Развитие новых движений происходит всегда в пределах канона, по пластическим «законам» данного канона. Так, развитие классического танца в XVIII–XX вв. — это развитие всех возможностей человеческого тела в пределах указанных исходных принципов.

Принцип симметрии, положенный в основу классического танца и возводимый к одному из двух основных европейских пластических канонов¹⁷, имел в европейской культуре особое значение. Симметрия в расположении вещей, в дворцово-парковой архитектуре, в позах человека всегда являлась признаком э л е г а н т н о с т и. Асимметричность всегда являлась признаком с в о б о д ы.

Последовательное развитие принципа симметричности (собранности, элегантности) привело к тому, что классический танец стал приобретать все большую слитность движений, которая происходит за счет того, что все движения экзерсиса строятся так, чтобы одно легко переходило в другое. Исходных позировок становится все меньше. Новое соотношение элементов экзерсиса, обеспечивающее подобную «слитность», рождено в России и является достижением советской хореографической школы, развившей и обогатившей французскую и итальянскую школы классического танца.

II. Канон классического танца

Систему классического танца можно описать как систему основных движений, на которые опирается балетный танец определенной эпохи в пределах определенной «школы». Исторические балетные «школы» складывались в национальных границах, например «итальянская школа», «фран-

¹⁶ Возможность варьирования этих поз за счет *croisée et effacée* не изменяет их основной сути.

¹⁷ Еще в греко-латинской античности были введены два канона: симметричный и асимметричный (разнонаправленность). Последний всегда считался антихореографическим каноном.

цузская школа», «русская школа», но могли различаться «школы» в пределах одной национальной «школы» (например, «московская» и «петербургская/ленинградская» «школы»). Внешне различие между «школами» проявляется в экзерсисе.

Описание различий между «школами» предполагает их единство, основанное на некоторых общих для экзерсиса классического танца принципах. Эти принципы дают своего рода язык-эталон для описания каждой «школы». Так, в книге А. Я. Вагановой «Основы классического танца» дается такой язык-эталон, позволяющий ей описать не только «систему Вагановой», но весь наличный набор движений классического танца в различных «школах».

Основная часть книги Вагановой озаглавлена «Формы классического танца». Они сведены в «Основным понятиям», «Battements», «Ronds de Jambes», «Рукам», «Позам классического танца», «Связующим и вспомогательным движениям», «Прыжкам», «Заноскам», «Танцам на пальцах», «Tours», «Другим видам поворотов».

«Основные понятия» — это «позиции ног», «plié», «épaulement», позы «croisée et effacée», «en dehors et en dedans», «arabesque». Описание их (как и все описания в книге) строятся по принципу сочетания словесного описания с иллюстрациями. Иллюстрация представляет собой крайне схематический рисунок, который легко упростить в соответствии с определенными принципами¹⁸. При этом словесное описание ориентировано на рисунок.

Говоря об «Основных понятиях», Ваганова выделяет основу всех понятий классического танца — **выворотность**.

«Выворотность — анатомическая неизбежность для всякого сценического танца, желающего охватить весь объем движений, мыслимых для ног и неисполнимых без выворотности. Смысл воспитания ног классического танцовщика заключается в строгом en dehors (здесь en dehors выступает в значении *выворотности*, в то время как основным значением en dehors является в настоящее время направление «наружу» во вращательных движениях, на что указывает и Ваганова¹⁹). Это не эстетическое понятие, а профессиональная необходимость»²⁰.

Ваганова пытается, таким образом, определить систему классического танца как все «мыслимые для ног» движения, основой для исполнения которых служит в первую очередь выворотность²¹.

¹⁸ М. Bourgat. Technique de la danse. P., 1968.

¹⁹ А. Я. Ваганова. Ук. соч., с. 29.

²⁰ Там же, с. 30–31.

²¹ А. Я. Ваганова. Ук. соч., с. 30–31.

Подробный разбор «методики Вагановой» с семиотических позиций, который мы не можем здесь привести из-за ограниченного объема статьи²², показывает, что развитие системы классического танца Агриппина Яковлевна видит в том, чтобы одни позы и движения его легко и свободно переходили в другие (именно из-за неудобства итальянского и французского attitude для tours или перехода к другим движениям и позам Ваганова отвергает их, предлагая свой вариант). Возможность свободного и естественного перехода одних движений классического танца в другие создает, несмотря на сложность классического танца, аналог естественной пластики человека в смысле видимой свободы и легкости движений. Одним из основных требований к исполнению классического танца является «чистота» (правильность). Первым требованием правильности является четкая «различенность» движений в исполнении, «членораздельность» танцевальной речи.

III. Типы знаков в классическом балете

Система классического танца предполагает существование двух видов знаков: знаков «прямых» и знаков «косвенных».

«Прямые» знаки — это элементы экзерсиса. Эти знаки двусторонни: определенным последовательностям звуков или условных значков придается пластическое содержание. Экзерсис условен и организован социально как «договор» между людьми. Так же как мы обучаем людей иностранному языку, сообщая им значение определенных форм (последовательностей звуков — словоформ, морфем, словосочетаний и т. д.), так же обучаем их и основам классического танца, сопоставляя терминам пластическое выражение.

Но язык классической хореографии пользуется и другими формами выразительности: ритмами и темпами музыки (адажио, аллегро), ритмическим рисунком «фразы», знаками музыкальной партитуры и т. п. Это — «косвенные» знаки.

Существует еще два вида «косвенных» знаков, широко используемых в балете. Это в первую очередь либретто: словесная мотивировка и «объяснение» хореографического действия в целом, выражающая не собственно содержание балета, а его *у с л о в н о е* содержание.

Третий тип «косвенных» знаков — это декорации, цветовое решение сцены, костюма, цвето-музыкальные эффекты и т. п.

Балетный «текст» строится из хореографических знаков экзерсиса. Мы можем описать балетные партии на «языке» экзерсиса, но вместе с тем можем поставить их в соответствие с «косвенными» знаками.

²² Н. Ю. Бокадорова. Язык классического балета (рукопись), 1995.

Балетный текст — это текст украшенный, так же как поэтический текст и определенные виды прозы (художественная проза) являются «украшенными» по сравнению с нейтральными текстами (научными, официально-деловыми и т. д.). «Украшенность» поэтического текста выражается в том, что в нем, помимо непосредственного содержания слов, мы пользуемся ритмом, мелодией, рифмой, которые создают новые смысловые эффекты²³. (Последнее объясняет, почему поэма чаще может служить основой балета, чем проза; см. Ф. Лопухов. Хореографические откровения. М., 1972.)

Балетный спектакль в целом состоит из «прямых» и «косвенных» знаков. Эти знаки взаимно обогащают друг друга, но ошибочно думать, что балетный спектакль синокретичен. Именно различенность друг относительно друга указанных типов знаков отличает театральное действие от обряда.

Спектакль воплощается и готовится в определенной последовательности. Балет формально начинается с либретто. У разных балетмейстеров формы «приноравливания» к либретто различны (я выбрала именно это слово, чтобы еще раз подчеркнуть, что не либретто — основа танцев в балете). Либретто организует пластику героев балета и кордебалета, помогает балетмейстеру найти лейтмотив, лейтдвиги и лейтгероев (см. ниже).

Затем балетмейстер включает в работу два других типа «косвенных» знаков: ритмико-музыкальные и декоративно-цветовые. Он разбивает балет на темпы, ритмы, чередования пластики и классического танца. Исходя из этого, он может либо заказать музыку, либо выбрать какое-нибудь из ранее написанных и законченных произведений. Если выбирается непрограммная, не написанная специально для танцев музыка, то в этом случае «либретто» будет являться смена ритмов, настроений и т. п., а не развернутый сюжетный балет²⁴.

Отступления от правила последовательности выбора и взаимодействия «косвенных» знаков проводят к вторичности хореографии, к попыткам приспособить хореографию к музыке, декорациям.

²³ Я совсем не собираюсь утверждать, что любой балетный текст пользуется всеми видами «косвенных» знаков. Могут быть, например, бессюжетные балеты; балеты, где декорации и оформление сведены к минимуму. Можно даже представить себе танцы без музыкального оформления. Но всегда мы воспринимаем «хореографически неукрашенные тексты» на фоне «украшенных».

²⁴ Безусловно, эта схема слишком приближительна, но с теми или иными «поправками» (случаи аранжировки музыки, приспособление старых декораций, костюмов и т. п.) она применима к процессу создания любого балета.

Отсюда первое правило, которое семиотика предлагает балетмейстеру: для того чтобы реализовать все возможности современного классического танца в балете, необходимо соблюдение последовательности использования «прямых» и «косвенных» знаков.

Указанное первое «правило» семиотической правильности относится к балетному спектаклю в целом, второе же — касается построения «балетного текста» (танцев в балете). Для этого сравним экзерсис и текст (танец).

Элементами (или экзерсисом) фольклорного танца²⁵ является фигура (серия движений, заключающаяся в пространственном перемещении). Фигуры могут иметь разную меру сложности, дифференцированности.

В бальном танце уже можно различать па и фигуру. Па — типичное движение танца. «Освоение исторических танцев следует начинать с разучивания основных элементов, которые могут быть общими для всех или большинства исторических танцев: например, танцевальный шаг, *pas chassé*, *pas élevé*, *pas balancé*, *pas de basque*... или же с элементов, специфичных для данного танца (па вальса, па польки, па полонеза, па мазурки и т. д.)²⁶. С возникновением бального танца возникает деление на тип пространственного перемещения и положения рук, ног, корпуса. Эта степень «членимости» была присуща королевскому балету во Франции XVI — пер. пол. XVII в.

Введение сценического танца привело к дальнейшему расчленению «экзерсиса». Были введены позиции ног и рук, позы, элементы движения ног (каждая нога в отдельности) и па (движение обеих ног).

Система классического экзерсиса представляет собой систематическое развитие движения от семиотически простого к сложному (семиотическая простота или сложность движения не совпадает с физической трудностью исполнения). Ежедневный балетный станок артистов балета — это не только ежедневные упражнения мышц, это еще и постоянная тренировка в области семиотического развития тела и духовного ощущения системы классического танца. В связи с этим глубоко неверными представляются попытки перестройки экзерсиса в соответствии с возрастом физической трудности элементов.

Разбиение экзерсиса на элементы, каждому из которых поставлен в соответствие термин, включает элементы исходные (семиотически простые) и элементы, производные от исходных либо состоящие из них (семиотически сложные). Так, примерами семиотически простых элементов являются

²⁵ Фольклорный танец и современный народный танец (обработанная сценическая форма фольклорного танца) — разные формы существования пластического выражения.

²⁶ Е. Васильева. Танец. М., 1968, с. 71.

battement tendu simple, pas de bourrée; примерами производных (семиотически сложных) — grand battement jeté balancé, pas de bourrée en tournant (en dedans et en dehors).

Степень «различности» (дробности или семиотичности) экзерсиса придает разным типам танцев (фольклорному, историко-бытовому, классическому) различные типы смысла, значения. В фольклорном танце смысл глобален (собственно танец неотделим от костюма и музыки); в балетном танце смысл самого танца (настроения, смена ритмов, индивидуальное поведение в танце) уже не так тесно связан с костюмом и музыкой. В классическом танце смысл максимально дифференцирован. Эта дифференциация происходит за счет соотношения движений классического танца (текст) с экзерсисом. Чем больше в тексте (танце) движений возводится к классическому экзерсису, тем более сложное и дифференцированное значение имеет танец.

IV. Изучение связей экзерсиса и классического танца в балетном спектакле

Балетмейстер при создании танцев в балете опирается на элементы экзерсиса. Так же как мы строим тексты (речь) из языковых единиц, можно строить из единиц классического танца сами танцы.

Система классического танца, или совокупность элементов экзерсиса, связанных системными отношениями, — это совокупность инвариантов, в то время как в конкретных танцах и у конкретных исполнителей мы всегда наблюдаем варианты элементов экзерсиса. Так, при grand battements jeté можно поднимать ногу на 90, 100, 135 и более градусов, но тем не менее разные варианты исполнения мы можем свести к одному инварианту — элементу экзерсиса, названному вышеуказанным термином.

Отношение экзерсис — танец можно сопоставить с отношением язык — речь (система — текст) в лингвистике. Но известно, что далеко не любой классический танец в балете можно свести к элементам экзерсиса. При этом необходимо различать два случая: 1) некоторые движения можно возвести к нескольким экзерсисным движениям сразу; 2) некоторые движения танца не возводятся ни к одному элементу экзерсиса. В последнем случае мы имеем дело либо с пантомимной вставкой, либо с «хореографической нелепостью» (Ф. Лопухов)²⁷. Так, когда Р. Захаров уверяет, что танец развивается по законам «жизненной» логики, предметного поведения человека, он тем самым совершает серьезную ошибку. Классический танец — это

²⁷ Подобными «нелепостями» наполнена книга Р. В. Захарова «Искусство балетмейстера» (М., 1954).

максимально обобщенная модель пластического поведения человека, строящаяся на пластических движениях, очищенных от бытовой конкретности. Восприятие классического танца не коррелирует у зрителя с восприятием обычного, бытового поведения человека.

М. Фокин считал, что пространство сцены подобно живописному полотну, чем тоже обеднял выразительные возможности классического танца (правда, он пытался ввести в балет канон, дополнительный по отношению к канону М. Петипа)²⁸.

Пространство сцены, на котором исполняется балетный спектакль (танец), становится как бы з р и м ы м музыкальным пространством, где важным является сам процесс «искажения» пространства условным танцем²⁹.

«Сгущение» и «разрежение» сценического пространства, создаваемые танцующими на сцене актерами, играют ведущую роль в восприятии классического танца, роднят этот танец с симфонической музыкой. Очень сценичны варианты танцев с шарфами, полотнищами материи, костюмы, использующие легкие, «летающие» формы, и т. п. Это объясняется тем, что указанные «сгущение» и «разрежение» пространства становятся осязаемыми, усиливая зрительное впечатление от формы (рисунка) танца, создавая своеобразный эффект «резонанса». Кстати говоря, подобные эффекты создаются и в бытовом пластическом поведении, и в любом сценическом движении, и в обряде, и т. д.

Р. Арнхейм в книге «Искусство и визуальное восприятие» пишет о «динамической природе кинестетических ощущений», полагая, что «танцор создает свой танец, используя чувства напряжения и расслабления»³⁰. «Когда танцор поднимает свою руку, он в первую очередь испытывает напряженность. Благодаря зрительному образу руки танцора аналогичная напряженность поднятия в зрительной форме передается зрителю»³¹. В связи с этим, считает Арнхейм, самым важным становится изучение «влияния движений на окружающее зрительное поле»³².

Основным в выборе балетмейстером синтагматической последовательности движений экзерсиса является его представление о «зрительном поле» танца. Возможных «зрительных полей» может быть очень много, ибо четкая пластическая сетка экзерсиса создает возможность для максимального абстрагирования от бытовой пластики. Можно уподобить «зрительное по-

²⁸ М. М. Фокин. Против течения. Л.; М., 1962.

²⁹ В связи с этим приобретает особую актуальность вопрос фильма-балета (как снимать классические танцы, в какой рамке, в каком ракурсе, на каком фоне).

³⁰ Р. Арнхейм. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974, с. 372.

³¹ Там же, с. 372.

³² Там же, с. 372.

ле» бегущему ручейку («Ручеек» М. Петипа), плывущему лебедю (лебедям), пылающему огню и т. д.

Динамическое «зрительное поле» должно по рисунку и ритму совпадать с музыкой, поддерживаться ею как единство, находящееся в динамическом равновесии. На это «зрительное поле», координатной сеткой восприятия которого является система классического экзерсиса, накладываются другие знаковые области, в частности «те знаки, кои налагает душа человека на черты его и глаза»³³.

На общий рисунок танца накладываются соответственно «явный» национально-жестовый колорит, «неявный» (этносемиотический, зависящий от того, к какой этнической общности принадлежат артисты балета), индивидуальный и т. д. Каждый из них принадлежит к более сложным семиотическим системам, входящим в уровень «явной» или «неявной» культуры³⁴.

Классический танец в балете может являться результатом сложного взаимодействия «чистой классики» с семиотическими системами, принадлежащими «явной» или «неявной» культурам.

В современный классический танец все чаще вводятся элементы, которые можно условно назвать *детализацией экзерсиса*. Так, можно ввести и «обыграть» движение пальцев (признак «характерности» на фоне принятой собранности кисти), можно поднять ногу согнутой, ненатянутой, на манер индийских, китайских и других хореографических поз, но если это танец классический (ведь в балете есть и пантомимные сцены, и народные танцы!), то *развивать* в танце чуждое классическому экзерсису движение надо по семиотическим правилам классического танца. Во-первых, нельзя сделать одно такое движение в ряду «правильных» классических движений, а надо развивать это движение на *фоненормативных*, по правилам экзерсиса: от простого к сложному.

Принцип доминирования одного из движений и его постепенное развитие на фоне остального лежит и в основе ежедневного экзерсиса артистов балета (уроки А. Мессерера).

Этим же приемом пользовался и М. Петипа, вводя для танцев героев доминирующие — (лейт) движения. Так, «лейтдвижение» Авроры в балете «Спящая красавица» — *attitude*. Но Петипа почти всегда выбирал лейтмотивом нормативное движение, хотя пользовался и характерными (венгерский колорит в танцах Раймонды).

Таким образом, прием характерной окраски и введения новых движений не нов и не только не *противоречит* природе классического танца, но естественно вытекает из нее.

³³ Ж.-Ж. Новерр. Ук. соч., с. 331.

³⁴ Ю. С. Степанов. Семиотика. М., 1971, с. 19–22, 32–46.

В статье были затронуты наиболее важные вопросы изучения балетного спектакля как единого целого. От замысла (представляющего собой высший уровень или «означаемое» художественного произведения) до конечного его воплощения в последовательности сигналов, воспринимаемых органами чувств.

В создании собственно танцевальной части балетного спектакля (в современном балете уже практически нет деления на классические и характерные танцы) замыслу, выраженному словесно, нет танцевального коррелята. Танец в балете описывается не словами, а элементами экзерсиса. Это позволяет предположить, что не только язык в ряду семиотических систем обладает свойствами самоописания.

Целью данного опыта описания классического балета как семиотической системы была попытка «воспроизвести функционирование иной, нежели язык, знаковой системы согласно цели всякого структурного исследования, которая заключается в создании п о д о б и я наблюдаемого объекта»³⁵. Поэтому вне круга исследования остались, например, вопросы эстетики балета, проблема записи балетных спектаклей (особенно танцев) и др. Но несомненно, что дальнейшее изучение вопросов семиотики балета поможет прояснить очень многое в общем балетоведении.

³⁵ Р. Барт. Основы семиологии // Структурализм: «за» и «против». М., 1975, с. 160.

А. Д. Михайлов

Почему Жан Сантей? (Об имени главного героя первого романа Марселя Пруста)

Известно, что Пруст колебался, выбирая имя герою своего первого романа, романа, который не был им завершен и был опубликован только через тридцать лет после смерти писателя, в 1952 году. Эти колебания отразились в рукописи (В. N. n. a. ff. 16615—16616), где герой неизменно называется Жаном, но его патроним постоянно варьируется — то это Жан Франкёй (Francueil), то Жан Франтёй (Franteuil), то Жан Франкей (Francueil), то, наконец, Жан Сантёй (Santeuil). Возможно, в рукописи попадаются и другие варианты, например, неустойчивость написания последнего патронима — Santeuil и Santeul), но издатели их не указали (речь идет о единственном пока научном издании романа¹), выбрав один как чаще остальных встречающийся, и этот вариант стал названием книги уже при первой, впрочем, довольно несовершенной, ее публикации². Мы, к сожалению, не знаем, насколько часто встречается именно этот вариант, не знаем также, какова вообще дистрибуция этих вариантов и какой из них хронологически первый. Впрочем, в исследовании, специально посвященном этому произведению Пруста, говорится, что имена героев меняются постоянно, чуть ли не на соседних страницах³. Думаем, это утверждение несколько поспешно и не вполне корректно, по крайней мере нуждается в тщательной проверке: вполне может оказаться, что в связанных кусках текста (а рукопись книги в основном состоит из достаточно больших — от пяти-шести до сорока страниц — блоков последовательного текста) нет колебаний в номинации главного персонажа,

¹ Proust M. Jean Santeuil précédé de Les plaisirs et les jours. Edition établie par P. Glarac avec la collaboration d'Y. Sandre. Paris, 1971 (Bibliothèque de la Pléiade). P. 990.

² См.: Proust M. Jean Santeuil. Edition établie par B. de Fallois. Préface d'A. Maurois. 3 vols. Paris, 1952.

³ См.: Marc-Lipiansky M. La Naissance du Monde Proustien dans Jean Santeuil. Paris, 1974 P. 13.

а если они и есть, то являются результатом последующей правки, хронология которой совершенно неясна.

Пруст в своей переписке нигде не называет героя романа по имени, в отличие от некоторых других персонажей⁴. Он и вообще пишет о своей работе над книгой крайне редко — матери⁵, близкому другу музыканту Рейнальде Ану⁶, его родственнице Мери Нордлингер⁷. Творческая история этой книга изучена еще плохо, хотя о ней постоянно упоминается в большинстве посвященных писателю работ. О происхождении патронима центрального персонажа, как правило, не задумывались.

Лишь Жан-Ив Тадье коснулся этого вопроса; в своей капитальной биографии Пруста он высказал верное, с нашей точки зрения, предположение, что речь может идти о полузабытом поэте XVII столетия Жане Сантее, но тут же предпочел ему топонимы — название двух небольших деревень (обе называются Сантей), одна из которых находится в долине реки Висны (приток Уазы), северо-западнее Понтуаза, другая — относительно недалеко от Шартра (а следовательно, и от Илье), юго-восточнее этого города⁸.

Ход рассуждений Ж.-И. Тадье в общем верен: в художественном мире Пруста топонимы играли очень большую роль, они нередко давали имена персонажам (таковы Германты в «Поисках», Ревейоны в «Жане Сантее»).

Однако представляется, что имя поэта XVII века здесь явно предпочтительнее. Что, когда и откуда узнал о нем Пруст, что мы знаем о нем?

Жан-Батист Сантей⁹ родился в Париже в 1630 году. Выходец из слоев зажиточной буржуазии, он был плоть от плоти этого города. Выбрав церковную карьеру, он очень рано, примерно в двадцать лет, стал каноником знаменитого монастыря (аббатства) Сен-Виктор, игравшего, как известно, заметную роль в жизни парижского университета. Сантей не имел священнического сана и далеко не всегда жил в монастыре. Он много времени проводил в городе, во дворцах вельмож, от которых нередко получал щедрые вознаграждения за свои латинские стихи. Сантей был, бесспорно, очень значительным поэтом-гимнографом, возможно, последним действительно крупным латинским поэтом. Его гимны печатались в виде листовок, входили в многочисленные молитвословы, собирались в отдельные сборники. Среди последних укажем: «Hymni Sacri» (1685, 1694, 1698), «Opera poetica»

⁴ См., например: *Correspondance de Marcel Proust. Texte établi, présenté et annoté par Ph. Kolb*. Paris, 1976. T. 2. P. 214.

⁵ *Ibid.* P. 124, 137.

⁶ *Ibid.* P. 52, 118.

⁷ *Ibid.* P. 377.

⁸ См.: Tadié J.-Y. Marcel Proust: Biographie. Paris, 1996. P. 338.

⁹ См. о нем: *Dictionnaire des lettres françaises: Le XVII^e siècle*. Paris, 1996. P. 1153; *Dictionnaire du Grand Siècle*. Paris, 1990. P. 1406–1407.

(1698), «Opera omnia» (1729), «Oeuvres, avec les traductions par différents auteurs» (1698).

Но Жан Сантей был знаменит не только своими духовными стихами, которые в самом деле заслуживают внимания, но и всевозможными выходками, скандалами, стишками на случай, вплоть до озорных надписей на парижских фонтанах. Сантей был очень популярен и как официальный поэт, и как острослов, и как завсегдатай салонов, литературных кафе и просто кабачков. Он сам творил о себе легенду, добавляя к своему облику поэта и человека все новые штрихи. Вот почему его жизнь и его стихи и крылатые высказывания вскоре стали предметом своеобразного собирательства и публикации¹⁰.

Яркий портрет Жана Сантея нарисовал в своих «Характерах» Лабрюйер (здесь Сантей выведен под именем Теодата):

«Представьте себе человека обходительного, кроткого, благожелательного, уступчивого и вместе с тем крутого, гневливого, вспыльчивого, капризного; он простодушен, непринужден, доверчив, шутилив, легкомыслен — сущее седовласое дитя; но дайте ему сосредоточиться или, вернее, предоставьте свободу его гению, который бурлит в нем, так сказать, без его участия и ведома, — и как вдохновенно, возвышенно, образно зазвучит его неподражаемая латынь! «Да это, наверно, другой человек!» — воскликнете вы. Нет, это все тот же Теодат. Он кричит, беснуется, катается по полу, опять вскакивает, мечет громы и молнии, но тут же вновь начинает сиять отрадным и ярким светом. Скажем прямо: он говорит как безумец и мыслит как мудрец, облекая истины в смешную, а верные и меткие суждения в нелепую форму, и вы с удивлением видите, как сквозь шутовство, гримасы и кривлянья сперва проглядывает, а потом в полном блеске предстает пред вами здравый смысл. Что могу я прибавить? Он сам не подозревает, как хороши могут быть его слова и поступки; в нем как бы живут две души, которые не знают друг друга, не связаны между собой, проявляются поочередно и каждая в своей особой сфере. В этом поразительном портрете не хватало бы последнего штриха, не упомяни я, что он ненасытно жаден до похвал, готов выцарапать критикам глаза и, тем не менее, достаточно податлив в душе, чтобы внять их замечаниям. Теперь я и сам начинаю сомневаться, не изобразил ли я здесь два различных лица; впрочем, у Теодата, пожалуй, есть еще и третье: он добрый, остроумный и превосходный человек»¹¹.

¹⁰ См., например: *Vie et bons mots de Santeul* (Cologne, 1735); Dinouart J.-A.-T. *Santoliana* (Paris, 1764).

¹¹ Лабрюйер Ж. де. *Характеры, или нравы нынешнего века*. Пер. с фр. Э. Линецкой и Ю. Корнеева. М.-Л., 1964. С. 290.

Марсель Пруст, бесспорно, хорошо знал это место из «Характеров» Лабрюйера, который был одним из его любимых писателей и оказал на него влияние. В переписке писателя имя Лабрюйера появляется как раз в год работы над «Жаном Сантеем».

Несомненно, читал Пруст и не менее яркое описание смерти Сантея, которое дал в своих «Мемуарах» Сен-Симон:

«Сантей, каноник аббатства Сен-Виктор, был слишком хорошо известен в литературных кругах и в свете, поэтому не лишу себя удовольствия задержаться на нем. Это был самый крупный латинский поэт на протяжении многих веков; он был полон ума, огня и самых забавных фантазий, что делало его желанным в любой компании. Он был особенно хорош как собутыльник, так как любил вино и всяческие яства, но не любил скандалов; все это не очень соответствовало его положению, и хотя с его умом и талантами он не очень подходил для монастырской жизни, на поверку он был в глубине души добрым христианином и монахом. Принц почти всегда брал его с собой, когда отправлялся в Шантийи. Господин Герцог также не мог без него обходиться: одним словом, принцы и принцессы, да и весь дом Конде любили его, любили непрерывный поток его остроумных созданий, в прозе и в стихах; любили его всевозможные шутки, розыгрыши, забавные проделки; и так продолжалось многие годы. Однажды Господин Герцог захотел взять его с собой в Дижон, Сантей начал было отказываться, приводя всяческие отговорки, но пришлось все-таки подчиниться. И вот Сантей у Господина Герцога, в Дижоне, на время Генеральных Штатов. Каждый вечер закатывались пиры, либо во дворце у Герцога, либо у кого-нибудь еще, и Сантей был их неперменным участником, развлекая собравшихся. Однажды, когда Герцог пировал у себя, он принялся подливать Сантею шампанского и, дальше-больше, посчитал забавным высыпать в его большой бокал полную табакерку испанского табака и заставить Сантея все это выпить, дабы посмотреть, что из этого впоследствии. Ему не пришлось долго ждать: у бедняги началась рвота, потом лихорадка, и через двое суток Сантей скончался в страшных мучениях, но полный раскаяния и в благостном состоянии духа, с которым он и принял святое причастие»¹².

Имя Сен-Симона появляется в прустовских текстах, в том числе в его переписке, также в пору работы над романом. Тогда же в письмах и иных писаниях Пруста начинает мелькать и имя Сент-Бева, освоение метода которого привело в конце концов к отталкиванию от этого метода, к разоблачению его, что, как известно, сыграло такую значительную роль в творчестве писателя.

¹² Saint-Simon. Mémoires. Texts établi et annoté par G. Truc. Paris, 1953 (Bibliothèque de la Pléiade). T. 1. P. 427—428.

Среди многих десятков статей Сент-Бева есть и работа о Сантее. Она была напечатана двумя частями, 1 и 8 сентября 1855 года, и затем вошла в очередной том «Бесед по понедельникам»¹³. Поводом к написанию этой статьи послужило появление книги Ж. Монталана-Буглье, посвященной забытому поэту-латинисту XVII столетия¹⁴.

Как ему и было свойственно, Сент-Бев подробно и обстоятельно пересказывает рецензируемую книгу, особое внимание уделяя причудливой и бурной биографии Сантея. Ссылается он, конечно, и на Лабрюйера и на Сен-Симона, как и на целый ряд менее известных современников поэта. Но за странностями, фанфаронством, озорством Сантея Сент-Бев постарался увидеть поэтическую душу, чуткую, ранимую, вынужденную нередко замыкаться в себе и не показывать окружающим своих глубин. «На первый взгляд, — писал знаменитый критик, — Сантей предстает поэтом-раблезианцем, подлинным поэтом карнавала; но если взглянуть поглубже, то нельзя не обнаружить, что в этом сердце ребенка подлинная вера и даже какая-то внутренняя чистота оставались нетронутыми»¹⁵.

Возможно, как раз это чистое поэтическое начало, свойственное душе Сантея, а также бесспорно целому ряду его серьезных стихотворений, и обратило на себя внимание Пруста и заставило, может быть даже не вполне осознанно, выбрать именно это имя для героя романа. Не могло не заинтересовать писателя не столько многообразие биографии поэта, сколько многообразие его характера: Жан Сантей в прустовском романе, как мы знаем, хотел все испробовать, все познать, не отстраняясь от различных искушений и соблазнов, не боясь окунаться в живую жизнь. В этом его отличие от героя «Поисков», созерцателя и аналитика, в большей мере смотревшего на жизнь со стороны.

Таким образом, имя героя романа восходит не к топониму (название деревни, о которой, впрочем, Пруст мог и знать), а если и к топониму, то не только и даже не столько к нему. Пруст мог и знать парижскую улицу, проложенную в середине 60-х годов XIX века недалеко от Ботанического сада, то есть в тех местах, где когда-то находились владения аббатства Сен-Виктор, каноником которого и был Жан Сантей. Этой улице дано его имя.

Не прогулки в дальних окрестностях Илье и не разглядывание географических карт и железнодорожных справочников, а чтение Лабрюйера, Сен-Симона и конечно же Сент-Бева определило выбор Пруста. Добавим также, что писатель дал своему герою имя Жан, и как раз то же имя но-

¹³ Sainte-Beuve Gh.-Au. *Gauseries du lundi*. Troisième édition. Paris, 1870. T. XII. P. 20—56.

¹⁴ Montalant-Bougheux J. *Santeul, ou de la poésie latine sous Louis XIV*. Paris, 1855.

¹⁵ Sainte-Beuve Ch.-Au. *Op. cit.* P. 34.

сил и латинский поэт XVII столетия, так неожиданно вошедший в круг литературных и человеческих интересов писателя.

В. А. Лукин
(г. Орел)

«Как-художественный» текст и его структура

— Прекрасное — это не образ, а изображение идеи.
— Но какое изображение? Мы, видимо, должны понять, что возможно чистое явление, которое хотя и не содержит в себе сущности идеи, но может дать представление о ней?

К.-В.-Ф. Зольгер
«Эрвин. Четыре диалога о прекрасном и об искусстве» (1815)

Известно, что, несмотря на относительно обширный перечень свойств художественного текста, не существует удовлетворительного критерия для отграничения данного типа текста от прочих — «любой текст можно прочесть как „литературный“» [Тодоров 1983, с. 358]. Не пытаясь решить эту проблему, попробуем приблизиться к возможному ее решению хотя бы на один шаг: если выяснить, как нельзя определять свойства художественного текста и как с лингво-семиотических позиций это делать целесообразно, то не получим ли мы в итоге суммарную характеристику множества тех текстов, которые теоретически должны быть признаны художественными? Заранее можно предположить, что среди них окажутся некоторые, например научные или философские, тексты, по этой причине назовем всю их совокупность множеством «как-художественных» текстов. Интересно знать, какие именно тексты и на каком основании могут быть включены в искомое множество «как-художественных», а какие — нет и почему?

I.

Один из наиболее известных подходов к определению специфики художественного текста был обоснован в работе Р. О. Jakobson «Лингвистика и поэтика» (1960). Jakobson исходит из понятия поэтической функции языка. Ее суть в том, что адресат так пользуется языком в речевой коммуникации, что в центре его внимания находится создаваемое им же сообщение. Важно

не то, о чем сообщение (референт), а сообщение само по себе. Такого рода интенция адресата обеспечивает, по Jakobson, существенное свойство порождаемого текста (сообщения): «Поэтическая функция проецирует принцип эквивалентности с оси селекции на ось комбинации» [Jakobson 1975, с. 204].

«Принцип проекции», несомненно, соответствует своей онтологии, но эта онтология — не художественный текст, а текстопорождающая стратегия отправителя. Для последнего реальностью является именно поэтическая функция и работа по ее реализации, в процессе которой он решает проблему эквивалентности как выбора между равноправными возможностями (парадигматика) с целью их воплощения в синтагме. Готовый текст имеет место тогда, когда отправитель закончил свою работу. Известно, что полученный результат (текст) не зависит от намерений автора, следовательно, и от поэтической функции.

Графоман может писать, реализуя поэтическую функцию, но будет ли готовый текст художественным? С другой стороны, художественный текст может быть результатом не поэтической, а коммуникативной функции (внимание адресанта направлено на референт): «Мастерство есть мастерство, и дело это наживное. И если бы писатель-рассказчик не сразу делал (старался делать) это главным в своей работе, а если главным оставалась его жизнь, то, что он видел и запомнил, хорошее и плохое, а мастерство бы потом приложилось к этому, получился бы писатель неповторимый, ни на кого не похожий. {...} И, стало быть, тот рассказ хорош, который... не умертвил жизни, а как бы „пересадил“ ее, не повредив, в наше читательское сознание» (В. М. Шукшин. «Как я понимаю рассказ»).

II.

Текст, как таковой, является реальностью именно для получателя. Для него первичной по времени восприятия будет «ось комбинации» (синтагматика). Основываясь на ее материале, он производит селекцию из множества неравноправных выборов при декодировании текста. Когда текст освоен и усвоен, уместно говорить не о поэтической функции, а о поэтическом эффекте. Он является следствием восприятия адресатом целого текста во всей совокупности его свойств (если адресат в известном смысле идеален). Эти свойства, на наш взгляд, — самое надежное основание для классификации текста.

Итак, позиция получателя является относительно текста «основной, немаркированной» (Я. Мукаржовский). Получатель, пытающийся рефлексировать, рассматривающий текст с учетом своей позиции относительно текста, становится наблюдателем. Это позиция, с которой логично обсуждать основные свойства художественного текста.

Предпочтительность позиции наблюдателя в деле анализа текста имеет давнюю традицию — от Шлейермахера до Гадамера или, например, от Потебни до Барта и далее. В семиотическом аспекте ее преимущество в том, что «наблюдатель извне относит к наблюдаемой знаковой системе, по крайней мере, на один ярус больше... чем наблюдатель-участник» [Степанов 1998, с. 130].

III.

Существеннейшее преимущество наблюдателя по отношению к отправителю состоит в возможности выявления структуры текста. Понятие поэтической функции сопрягается с позицией отправителя (автора), понятие целого текста как объекта восприятия — прежде всего с позицией получателя (наблюдателя-участника, по Ю. С. Степанову), понятие структуры текста — только с позицией наблюдателя («наблюдателя извне»). Заняв эту позицию, будем исходить из существующего на сегодняшний день положения дел. В соответствии с ним ясно, что: а) известны существенные свойства художественного текста; б) логично полагать, что, когда получатель расценивает текст как художественный, он явно или неявно опирается на эти свойства; в) художественный текст как целое имеет структуру; г) эта структура может быть присуща и другим типам текстов.

С позиции наблюдателя можно говорить о следующих основных лингво-семиотических свойствах художественного текста.

1. В основе художественного текста лежит код естественного языка, однако в самом тексте создается собственная кодовая система, которую получатель должен «дешифровать», чтобы понять текст. Поэтому всякий художественный текст закодирован как минимум дважды (принадлежит к так называемым вторичным моделирующим системам) и, следовательно, принципиально гетерогенен (Ю. М. Лотман).

2. Код художественного текста принципиально отличен от языкового, поэтому при декодировании незнакомого текста получатель постоянно должен сверяться с языковым кодом, делая его одним из центров внимания. Тем самым языковой код и его элементы выводятся из сферы бессознательного, «всплывают в светлое поле сознания» (Л. П. Якубинский). Иными словами, в процессе воссоздания кода художественного текста «заново продумывается весь язык» (У. Эко), а сам такой текст «превращается в урок языка» (Ю. М. Лотман).

3. Будучи нарушением языкового, код каждого художественного текста имеет собственные нормы. Коды различных текстов сходны в том, что с позиции читателя их «важнейшие элементы должны быть непредсказуемы» (М. Риффатер). Кодовая норма, усваиваемая по ходу чтения получателем, создает пред-

сказуемость, монотонность декодирования, несвойственную художественному тексту. Система ожиданий, складывающаяся на определенный момент времени у получателя, должна нарушаться введением нового элемента. После этого складывается новая система ожиданий, которая, в свою очередь, должна быть нарушена. Поэтому говорят, что «художественность зиждется на повторе прерванного повтора» (И. П. Смирнов), а в общем случае художественный текст «оказывается неоднозначным прежде всего по отношению к той системе ожиданий, которая и есть код» (У. Эко).

4. Существенное отличие кода художественного текста от языкового состоит в «гиперсемантизации» (У. Вейнрейх). Она предполагает, в частности, что условные отношения между означающим и означаемым в языковом знаке тяготеют в тексте к отношениям сходства. Иконичность знаков художественного текста максимальна относительно других типов текстов (Ю. М. Лотман). В художественном тексте «все стремится стать мотивированным со стороны своего значения», поэтическая рефлексия «мотивирует немотивированное», и в итоге «язык (художественный язык, по Г. О. Винокуру. — В. Л.) означает сам себя» (Г. О. Винокур).

5. Из сказанного вытекает такое свойство художественного текста, как автореферентность (на уровне отдельных знаков): порождаются «объекты, замкнутые на себе»: знаки текста становятся «объектом, а не посредником — „тем, на что смотрят“, а не „тем, сквозь что смотрят“» (П. Рикер). Вследствие этого знак «склонен превращаться в объект несемантический... приобретать „непрозрачность“, свойственную предметам» (Я. Славинский).

6. Художественный текст нереферентен в том смысле, что не отсылает к внешней для него действительности — «главное качество, свойственное литературе, — „вымышленность“» (Р. Уэллек и О. Уоррен), — но он осуществляет референцию к объектам возможного мира, создаваемого в самом этом тексте: «Сообщение само из себя строит собственную реальность и само из себя строит ее знак» (Е. Фарини). Отсюда авторефлексивность художественного текста как целого.

Множество знаков авторефлексивного текста образуют сложную сеть взаимосвязей, в которой они оказывают друг другу ту поддержку, которой им не предоставляет языковой код. В итоге художественный текст «безостановочно преобразует денотации в коннотации, заставляя значения играть роль означающих новых означаемых» (У. Эко).

7. Авторефлексивность художественного текста рассматривается как причина изоморфизма всех его уровней (У. Эко). Художественный текст в высшей степени когерентен. У наблюдателя появляется тенденция все в тексте трактовать как неслучайное, системным образом взаимосвязанное. В частности, всякие смежные единицы текста расцениваются как семантически сходные, и, наоборот, высока степень ожидания реализации всех семантически сходных знаков в смежном текстовом пространстве (Р. О. Якобсон).

Этими и другими факторами обусловлено то обстоятельство, что языковые знаки, попадая в «среду» художественного текста, «тяготеют к превращению

в единый знак-носитель смысла», «текст стремится превратиться в отдельное „большое слово“» (Ю. М. Лотман), и потому «чем меньше дробь поэтической речи, тем она более обесценена, обескачествлена» (Б. А. Ларин).

Возможен и иной порядок изложения свойств художественного текста. Однако мы полагаем, что названы были наиболее значимые и, самое главное, взаимосвязанные, то есть представляющие собой единое целое со своей структурой. Под структурой будем понимать такую конфигурацию абстрактного (семантического) пространства, на которой могут быть проинтерпретированы все приведенные свойства художественного текста. Структура, следовательно, понимается как эвристическая, по аналогии, например, с образными схемами в когнитивной лингвистике¹.

Имеется возможность не просто привести какой-либо рисунок (диаграмму), в той или иной степени удовлетворяющий приведенным требованиям, а обосновать искомую структуру в плане историко-философском и историко-семиотическом: обнадеживающие попытки найти, сконструировать «топологию художественного» уже имели место.

Цветан Тодоров в своей книге «Теории символа» [Тодоров 1998] дает семиотический анализ взглядов немецких романтиков, представителей эстетики и философии, на искусство, свойства произведения искусства и язык искусства.

Тодоров опирается прежде всего на работы Морица и Новалиса. Среди прочих они особо отмечают такие свойства произведений искусства, как нетранзитивность (термин Тодорова), то есть нереферентность относительно внешнего мира, из которой следует автотеличность (от *αὐτοτελής* — в самом себе имеющий цель, заверченный, самостоятельный). В свою очередь, из абсолютной автономности и завершенности вытекает полная когерентность произведения искусства, которая сочетается с синтетичностью — единством противоположностей, или парадоксальностью. Поскольку произведение искусства совершенно и самодостаточно, его нельзя описать «извне», оно само себя описывает и иначе никак быть описано не может. В то же время имеющие место попытки анализа произведения искусства, по причине его самоописания, обречены на бесконечность своих версий.

По мнению Тодорова, наиболее значимые из позднейших определений «литературного произведения» и поэтического языка, например у Якобсона и русских формалистов, лишь «защищают» те, что были даны немецкими романтиками.

¹ Или еще проще: «Лейбниц советовал думать рисунками. Возникает вопрос, почему это так. Ответ: удобство. Рисунок (схема) показывает лучше, чем слова, систему отношений. А с того момента, как вслед за де Соссюром стало принятым видеть в языке систему, рекомендуется графическое изображение» [Гийом 1992, с. 21].

Добавим к этому, что искусство и язык в системах философов и эстетиков немецкого романтизма взаимопределяют друг друга: искусство для них есть язык; искусство — единственный язык для описания искусства (*Selbstsprache* Новалиса); искусство, с другой стороны, — «духовный внутренний праязык» (Ф. Шлегель) всех существующих (этнических) языков; со своей стороны, язык является природным произведением искусства (*ein natürliches Kunstwerk*, по Шеллингу). Причем эти и другие определения даются с позиции наблюдателя, которая теоретически обосновывается как приоритетная: философ, по словам Шеллинга, яснее видит саму сущность искусства, чем даже сам художник, творчество которого направляется бессознательным.

Любопытно, что, помимо высокой насыщенности их текстов вербальными метафорами с пространственной семантикой, и теоретики и художники романтизма постоянно обращаются к пространству, телу, фигуре, линии, поверхности и пр. либо как к терминам геометрии, либо переосмысливая их в связи и на основе геометрических дефиниций. Сама геометрия (математика вообще) мыслилась как родственная искусству в силу общей для них высочайшей когерентности («Алгебра — это поэзия», — говорил Новалис). Геометрические фигуры используются в качестве символов категорий философии искусства. Так, одним из центральных символов красоты был эллипс — «эллипс красоты» (Винкельман), — которому посвятил отдельную работу К.-В.-Ф. Зольгер [см. Зольгер 1978, с. 421]. Другим геометрическим символом был круг. Его архетипическая семантика сочетается с диалектической интерпретацией — как символа «идеальных отношений»: «Это такие отношения, когда один элемент является одновременно и частью, и образом целого, когда он „входит в состав“ и в то же время „имеет сходство“» [Тодоров 1998, с. 213]. Такое истолкование круга легло в основу понятия «герменевтический круг», сформулированного Астом и Шлейермахером.

Примечательно, что романтики выходят за пределы архетипического набора символов. Так, Гельдерлин в незаконченном теоретическом наброске «Гемократ к Кефалу» задает «геометрический» вопрос: «Пока же разреши мне все-таки спросить: в самом деле, гипербола соединяется со своей асимптотой, [в самом деле] переход от... [?]» [Гельдерлин 1988 а, с. 262]. И отвечает, проясняя символический смысл вопроса, в «Предисловии» к своему знаменитому роману «Гиперион»: «Мы вырвемся из мирового *σ'Ευ καὶ πάν* мира, чтобы вновь восстановить себя, через самих себя. (...) Однако ни наше знание, ни наши действия не приводят ни в какой период бытия (*Dasein*) туда, где прекращается всякое противостояние, где все становится одним; определенная линия (= асимптота. — В. Л.) соединяется с неопределенной (= гипербола. — В. Л.) лишь в бесконечном приближении» [Гельдерлин 1988 б, с. 37–38]. Тем не менее должно быть «то бесконечное

соединение, то бытие, в единственном смысле слова. Оно существует — и это есть Красота» [Там же, с. 38].

В двух цитатах из Гельдерлина особенно явственна тяга его великих современников выйти в поисках топологии красоты (того, что делает текст художественным) за пределы, намеченные Евклидом². Дело, наверное, в том, что описанные ими свойства произведения искусства не могли быть спроецированы на какую-либо известную тогда геометрическую фигуру.

Ср. образец, так сказать, «геометрической диалектики» красоты у К.-В.-Ф. Зольгера: в Прекрасном два центра — фантазия и чувственность, окруженные разумом, нескончаемо движущимся по эллипсу. «Один из этих центральных пунктов — фокус (здесь и далее выделено мною. — В. Л.) чувственности или фантазии — светится собственным извечным светом, и поэтому многие видят только его и считают его единственным. Однако и второй... является не менее действительным. И только простейшему познанию, живущему на темной поверхности, он кажется темным, так как свет не только поглощается им, но и из него распространяется в многообразную массу. То, что их охватывает и обвивает, выглядит извне как становление и движение, но то, что находится в этом становлении, — это всегда лишь то общее, состоящее из того и другого, которое вновь и вновь возвращается к самому себе, и как раз этим... привлекает взгляд, смотрящий снаружи» [Зольгер 1978, с. 377].

Нетранзитивность и обусловленные ею автотеличность и самоописание индуцируют архетипический круг (окружность). Движение по круговой (или эллиптической) траектории бесконечно, сама окружность конечна. Труднее подобрать фигуры или геометрические символы, безусловным образом передающие идею диалектического движения от противоречия к тождеству и обратно между всеми членами известных бинарных отношений, при помощи которых немецкие романтики описывали произведение искусства. Заключенные в кругообразную траекторию, эти категории³ сопрягаются с метафорами центра и круга, внешнего (снаружи, вовне) и внутреннего

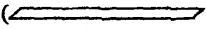
² Это тем более очевидно, что их геометрические образы всегда подаются в диалектическом контексте. Ср.: «Главный и едва ли не единственно достойный предмет изобразительного искусства — фигура человека. Внутренне и по своей сущности организм представляется в виде последовательности, самое себя порождающей и к себе возвращающейся; эту же форму он выражает и внешним образом через преобладание эллиптических и параболических форм, которые наилучшим образом выражают различие в тождестве» [Шеллинг 1966, с. 228]. Прямой аналогией этого синтеза служат две неевклидовых геометрии: одна называется эллиптической (геометрия Римана), другая параболической (геометрия Лобачевского).

³ Например, общеизвестные форма (тело) и содержание (сущность, идея), явление (видимое) и сущность (созерцаемое), идеальное (например, философия) и реальное (например, искусство), сознательное (vs. философ vs. наблюдатель) и бессознательное (vs. художник vs. участник), первообраз (Urbild, например, красота) и отображение (Gegenbild, например, произведение искусства)...

(внутри, вовнутрь), замкнутого и открытого, глубины (глуби) и поверхности (покрова). . . Как будто есть так организованное пространство, где одно ($\epsilon\nu$), описывая круг, оборачивается иным, а затем вновь возвращается к себе уже как к тождеству с иным, обнаруживая внутреннее единство с ним; это одно ($\epsilon\nu$) конфигурацией своей диалектики предъявляет всеобщий закон: $\epsilon\nu$ καὶ πᾶν (одна из формул красоты, органически вошедшая в романтизм).

Более всего для топологической интерпретации сказанного подходит лист Мебиуса.

Эта фигура достаточно часто используется как топологическая (и одновременно эвристическая) метафора для семантического пространства художественных текстов. Вот только один пример из работы А. Белого о Гоголе:

«Вырежьте полоску бумаги ( — В. Л.); переверните ее, чтобы на середине полоски был перегиб: ( — В. Л.) от изнанки к лицу; склейте концы: лицо с изнанкой; будет поверхность, у которой не различишь изнанку от лица;



— В. Л.

нечто подобное практикует Гоголь с системой повторных обрывов, введенных в ткань сложного повтора. И эту фигуру он применяет ко всему. . .» [Белый 1996, с. 266].

Оставим пока романтизм, обратившись к современным определениям свойств художественного текста. Взятые в совокупности, они хорошо «укладываются» на листе Мебиуса — односторонней поверхности, обладающей «неевклидовыми» параметрами. Авторефлексивности соответствует замкнутость; иконичность моделируется абсолютным подобием «внешней» и «внутренней» сторон листа, которые визуальнo легко различимы на каждом отдельном участке ленты Мебиуса, но в масштабе всей фигуры абсолютно неразличимы: внешняя (расположим на ней, например, означающее, денотацию, пространство («ось») эквивалентностей, языковой код) при перемещении, движении по ней плавно переходит во внутреннюю (на ней — означаемое, коннотация, пространство («ось») комбинаций, код текста). Поэтому привычное ожидание того, что, совершив круг, мы окажемся в исходной точке, оказывается нарушенным, и оно вновь нарушается, когда, пройдя еще один круг, мы приходим туда, откуда первоначально шел путь (см. свойство 3). . . Поскольку движение непрерывно, совершенно невозможно

указать, где именно внешнее становится внутренним: сегментация, дробление пространства модели затруднено, целое превалирует над частями (см. свойство 7).

Разумеется, на листе Мебиуса можно «расположить» и другие понятия, то есть лист может быть проинтерпретирован и иначе, что, собственно, и имело место первоначально — у немецкого математика А. Мебиуса (≈ 1860 г.). Однако, надеюсь, проведенный анализ дает основания расценивать лист Мебиуса как модель (диаграмматический знак) свойств художественного текста, хотя художественный текст — не единственный референт этого диаграмматического знака. Немецкие романтики как раз стремились описать весьма обширный класс подобных референтов: от природы, — «поэмы, скрытой от нас таинственными, чудесными письменами» (В. Ф. Шеллинг), и собственно искусства как творчества (*ποίησις*), создающего произведение подобно природе, до науки и философии, которые «рождены и питаемы поэзией» (В. Ф. Шеллинг).

Тем не менее — и в этом наша гипотеза — применительно к текстам модель в виде листа Мебиуса может служить структурным критерием: любой текст, если он может быть проинтерпретирован на такой модели, обладает свойствами художественного. С этой точки зрения «быть художественным» — это транстипологический предикат, иначе говоря, художественный текст «как свойство» не задает достаточно определенно границы художественного текста «как класса». Наша модель поможет ответить в каждом конкретном случае, следует ли расценивать отдельно взятый текст как художественный. Все множество таких текстов (а это, бесспорно, не все, не всякие тексты) назовем «как-художественные». «Как художественные» тексты должны быть поделены на два класса: художественные тексты (классические, признаваемые таковыми по традиции)⁴ и собственно «как-художественные». «Как-художественных» текстов много. Так, типичными текстами такого рода являются естественноязыковые формулировки «парадокса Лжеца» и других семантических парадоксов. Из научных текстов наибольшее число «как-художественных» встречается среди математических. Возможно, поэтому математики чаще других ученых, становясь в позицию наблюдателя, оценивают красоту математического текста.

«Как художественный» — это всегда хороший, образцовый или классический текст своего типа. Из лингвистических текстов примером тому является книга Юрия Сергеевича Степанова «Семиотика». Интерпретация данного текста, по существу в качестве «как-художественного», предлага-

⁴ Анализ показывает, что такими текстами описанная выше структура реализуется полностью (см., например, [Лукин 1999, с. 118–127, 137–141]).

ется в рецензии Ю. Н. Караулова и Р. Г. Пиотровского (на первое издание «Семиотики» в 1971 г.):

«Наше положение „наблюдателя извне“ по отношению к знаковой системе, обрисованной автором (Ю. С. Степановым. — В. Л.)... дает возможность представить эту систему в несколько ином виде, чем она дана в рецензируемой книге, показав тем самым, как семиотический подход позволяет автору решить две важные проблемы лингвистики... : проблему знака и значения и проблему лингвистической относительности...» [Караулов, Пиотровский 1975, с. 179]. Остановившись на первой проблеме, интерпретаторы продолжают: «Здесь мы позволим себе предложить простейшее разрешение соссюрковского парадокса в виде модели, навеянной идеями рецензируемой книги. Для разрешения этого парадокса превратим „лист Соссюра“ в „лист Мебиуса“, т. е. склеим его концы, предварительно повернув один из них на 180°. Полученная топологическая фигура лишена разрывности обычного листа, она имеет только одну сторону, т. е. любые две точки на листе Мебиуса можно соединить друг с другом и при этом не надо переходить через край. Граница между означающим и означаемым становится условной» [Там же, с. 180]. Далее рецензенты, используя модель «лист Мебиуса», дают топологическое обоснование закону обращения планов и другим семиотическим законам, сформулированным Юрием Сергеевичем в его замечательном — мы бы сказали, «как-художественном» — тексте.

Литература

- Белый А. Мастерство Гоголя: Исследование. М., 1996.
- Гельдерлин Ф. Гемократ к Кефалу // Гельдерлин Ф. Гиперион. Стихи. Письма. М., 1988а.
- Гельдерлин Ф. Предисловие [Предпоследняя редакция] // Гельдерлин Ф. Гиперион. Стихи. Письма. М., 1988б.
- Гийом Г. Принципы теоретической лингвистики. М., 1992.
- Зольгер К.-В.-Ф. Эрвин. Четыре диалога о прекрасном и об искусстве. М., 1978.
- Лукин В. А. Художественный текст: Основы лингвистической теории и элементы анализа. М., 1999.
- Никитин А. Н. (Караулов Ю. Н.), Пиотровский Р. Г. Рец. на кн. Ю. С. Степанова «Семиотика» // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1975. № 2.
- Степанов Ю. С. Означаемое и Означающее // Степанов Ю. С. Язык и метод. К современной философии языка. М., 1998.

Тодоров Ц. Понятие литературы // Семиотика / Под ред. Ю. С. Степанова. М., 1983.

Тодоров Ц. Теории символа. М., 1998.

Шеллинг Ф. В. Философия искусства. М., 1966.

Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». М., 1975.

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА

Факты и ценности

К 70-летию Юрия Сергеевича Степанова

Издатель А. Кошелев

Корректор Л. А. Бондарева

*Фотография автора на вклейке любезно предоставлена
И. А. Долгопольским*

Подписано в печать 04.07.2001. Формат 70×100¹/₁₆.
Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 37,5. Тираж 1500 экз. Заказ № 1390.

Издательство «Языки славянской культуры».
129345, Москва, Оборонная, 6-105; № 02745 от 04.10.2000.
Тел.: 207-86-93. Факс: (095) 246-20-20 (для аб. М153).
E-mail: mik@sch-lrc.msk.ru
Каталог в ИНТЕРНЕТ <http://www.lrc-mik.narod.ru>

Отпечатано с готового оригинал-макета в ФГУП ордена «Знак Почета»
Смоленской областной типографии им. В. И. Смирнова.
214000, г. Смоленск, пр-т им. Ю. Гагарина, 2.

★

Оптовая и розничная реализация — магазин «Гнозис».
Тел.: (095) 247-17-57, Костюхин Павел Юрьевич
(с 10 до 18 ч.).

Адрес: Зубовский б-р, 17, стр. 3, к. 6.
(Метро «Парк Культуры», в здании изд-ва «Прогресс».)

Foreign customers may order this publication
by E-mail: koshelev.ad@mtu-net.ru
or by fax: (095) 246-20-20 (for ab. M153).

**В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
ВЫШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ**

- Вардан Айрапетян. Русские толкования. 208 с. 2000.
- В. М. Алпатов. История лингвистических учений. 368 с. 2000.
- Г. Г. Амелин, В. Я. Мордерер. Миры и столкновения Осипа Мандельштама. 320 с. 2000.
- А. Ю. Андреев. Московский университет в общественной и культурной жизни России начала XIX века. 312 с. 2000.
- Н. Д. Арутюнова. Язык и мир человека. 914 с. 1998.
- В. С. Баевский. Лингвистические, математические, семиотические и компьютерные модели в истории и теории литературы. 336 с. 2001.
- Джеймс Бейли. Избранные статьи по русскому народному стиху. 416 с. 2001.
- Э. М. Береговская, Жан-Мари Верже. Занятая риторика. 152 с. 2000.
- Марк Блок. Короли-чудотворцы. 712 с. 1998.
- С. Г. Бочаров. Сюжеты русской литературы. 632 с. 1999.
- Василию Ивановичу Абаеву 100 лет: Сб. ст. по прагматике, общему языкознанию, евразийским культурам. 328 с. 2001.
- Л. И. Вольперт. Пушкин в роли Пушкина. 328 с. 1997.
- Восточная Европа в исторической ретроспективе: К 80-летию В. Т. Пашуто. 328 с. 1999.
- В. П. Григорьев. Будетлянин. 816 с. 2000.
- С. А. Григорьева, Н. В. Григорьев, Г. Е. Крейдлин. Словарь языка русских жестов. 256 с. 2001.
- Г. А. Гуковский. Ранние работы по истории русской поэзии XVIII века. 352 с. 2001.
- А. С. Демин. О художественности древнерусской литературы. 848 с. 1998.
- Н. Н. Дурново. Избранные работы по истории русского языка. 816 с. 2000.
- В. А. Дыбо. Морфонологизованные парадигматические акцентные системы: Типология и генезис. Т. I. 736 с. 2000.
- А. К. Жолковский. Зощенко: Поэтика недоверия. 392 с. 1999.
- В. А. Жуковский. Полное собрание сочинений: В 20 т.
Т. I. Стихотворения 1797–1814 годов. 760 с. 1999.
Т. II. Стихотворения 1815–1852 годов. 840 с. 2000.
- Иван Забелин. Домашний быт русского народа в XVI и XVII ст. В 3 кн. 2000.
Т. I. Ч. 1: Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст. 480 с.
Т. I. Ч. 2: Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст. 520 с.
Т. II. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII ст. 792 с.
- А. А. Зализняк. Древненовгородский диалект. 720 с. 1995.
- Анна А. Зализняк, А. Д. Шмелев. Введение в русскую аспектологию. 226 с. 2000.
- Вяч. Вс. Иванов. Избранные труды по семиотике и истории культуры.
Т. I. 912 с. 1998.
Т. II. 880 с. 2000.

Из истории русской культуры.

Т. I. Древняя Русь. 760 с. 2000.

Т. III. XVII век. 768 с. 1995.

Т. IV. XVIII – начало XIX века. 832 с. 1996.

Т. V. XIX век. 848 с. 1996.

История и антиистория: Критика «новой хронологии» акад. А. Т. Фоменко. 528 с. 2000.

Р. Ипатова. Избранные стихи. 416 с. 2000.

В. В. Калугин, Андрей Курбский и Иван Грозный. 416 с. 1998.

И. Каценельсон. Сказание об истребленном еврейском народе. 240 с. 2000.

В. Д. Кузнецов. Организация общественного строительства в Древней Греции. 536 с. 2000.

Летописи (Полное собрание русских летописей):

Т. 1. Лаврентьевская. 496 с. 1997.

Т. 2. Ипатьевская. 648 с. 1998.

Т. 3. Новгородская первая. 832 с. 2000.

Т. 4. Новгородская четвертая. 728 с. 2000.

Т. 5. Вып. 2. Псковские. 368 с. 2000.

Т. 6. Вып. 1. Софийская. 320 с. 2000.

Т. 6. Вып. 2. Софийская вторая. 248 с. 2001.

Т. 7. Воскресенские. 360 с. 2000.

Т. 8. Воскресенские. 312 с. 2000.

Т. 9. Никоновская. 288 с. 2000.

Т. 10. Никоновская. 248 с. 2000.

Т. 11. Никоновская. 264 с. 2000.

Т. 12. Никоновская. 272 с. 2000.

Т. 13. Никоновская. 544 с. 2000.

Т. 14. Никоновская. 608 с. 2000.

Т. 15. Тверская и Рогожский летописец. 432 с. 2000.

Т. 16. Авраамки. 252 с. 2000.

Т. 19. История о Казанском царстве. 368 с. 2000.

Т. 24. Типографская. 288 с. 2000.

Тамара Лёнигрен. Сборник Нила Сорского. Ч. 1. 472 с. 2000.

Ю. М. Лотман. Письма. 800 с. 1996.

П. Е. Лукин. Письмена и православие. 376 с. 2001.

Б. Н. Любимов. Действо и действие. 520 с. 1997.

Е. Э. Лямина, Н. В. Самовер. «Бедный Жозеф»:

Жизнь и смерть Иосифа Вильгоровского. 560 с. 1999.

Н. А. Макаров, С. Д. Захаров, А. П. Бужилова. Средневековое расселение на Белом озере. 496 с. 2001.

К. А. Максимович. Пандекты Никона Черногорца. 296 с. 1998.

Л. П. Маринович, Г. А. Кошеленко. Судьба Парфенона. 352 с. 2000.

И. А. Мельчук. Курс общей морфологии. Т. I–IV.

Т. I. 416 с. 1997.

Т. II. 544 с. 1998.

Т. III. 368 с. 2000.

Т. IV. 584 с. 2001.

- И. А. Мельчук.** Опыт теории лингвистических моделей «Смысл↔Текст». 2-е изд., доп. 368 с. 1999.
- И. А. Мельчук.** Русский язык в модели «Смысл↔Текст». 684 с. 1995.
- А. В. Михайлов.** Обратный перевод. 856 с. 2000.
- Мир Велимира Хлебникова.** 880 с. 2000.
- Н. Н. Моисеев.** Судьба цивилизации. Путь Разума. 224 с. 2000.
- А. В. Назаренко.** Древняя Русь на международных путях. 784 с. 2001.
- Т. М. Николаева.** От звука к тексту. 800 с. 2000.
- Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Под ред. акад. Ю. Д. Апресяна.**
Вып. 1. 552 с. 1997;
Вып. 2. 488 с. 2000.
- Н. В. Перцов.** Инварианты в русском словоизменении. 280 с. 2001.
- Л. В. Пумпянский.** Классическая традиция. 864 с. 2000.
- А. С. Пушкин.** История Петра. 392 с. 2000.
- Ж. де Пюиже.** Шовен, солдат-землепашец: Эпизод из истории национализма. 400 с. 1999.
- Е. Б. Рогачевская.** Молитвы Кирилла Туровского. 280 с. 1999.
- Русский язык в научном освещении.** ИРЯ РАН. № 1. 2001.
- Русский язык конца XX столетия (1985–1995):** Сб. ст. 480 с. 2000.
- Слово в тексте и в словаре:** Сб. ст. к 70-летию академика Ю. Д. Апресяна. 648 с. 2001.
- А. В. Смирнов.** Логика смысла. 504 с. 2001.
- С. Г. Смирнов.** Годовые кольца истории. 304 с. 2000.
- Старообрядчество в России (XVII–XX):** Сб. ст. 552 с. 1999.
- А. Ю. Суконик.** Места из переписки. 200 с. 2001.
- Кирилл Тараковский.** О поэзии и поэтике. 432 с. 2000.
- А. Б. Тарасов.** Что есть истина? 176 с. 2001.
- В. Н. Телия.** Русская фразеология. 288 с. 1996.
- Б. А. Успенский.** Борис и Глеб: Восприятие истории в Древней Руси. 128 с. 2000.
- Б. А. Успенский.** Семиотика искусства. 480 с. 1995.
- Б. А. Успенский.** Царь и император: Помазание на царство и семантика монарших титулов. 144 с. 2000.
- Б. А. Успенский.** Царь и патриарх: Харизма власти в России. 680 с. 1998.
- Ф. Б. Успенский.** Имя и власть: Выбор имени как инструмент династической борьбы в средневековой Скандинавии. 160 с. 2001.
- А. А. Формозов.** Пушкин и древности: Записки археолога. 144 с. 2000.
- Е. А. Хелимский.** Компаративистика, уралистика. 640 с. 2000.
- М. О. Чудакова.** Литература советского прошлого. Т. 1. 472 с. 2001.
- М. И. Шапир.** UNIVERSUM VERSUS: ЯЗЫК–СТИХ–СМЫСЛ в русской поэзии XVIII–XX веков. Кн. 1. 544 с. 2000.
- А. С. Шатских.** Витебск: Жизнь искусства. 1917–1922. 256 с. 2001.
- Дж. Шоу.** Конкорданс к стихам А. С. Пушкина. Т. 1–2.
Т. 1. 672 с. 2000.
Т. 2. 640 с. 2000.
- Е. Г. Эткинд.** Божественный глагол: Пушкин, прочитанный в России и во Франции. 600 с. 1999.

